

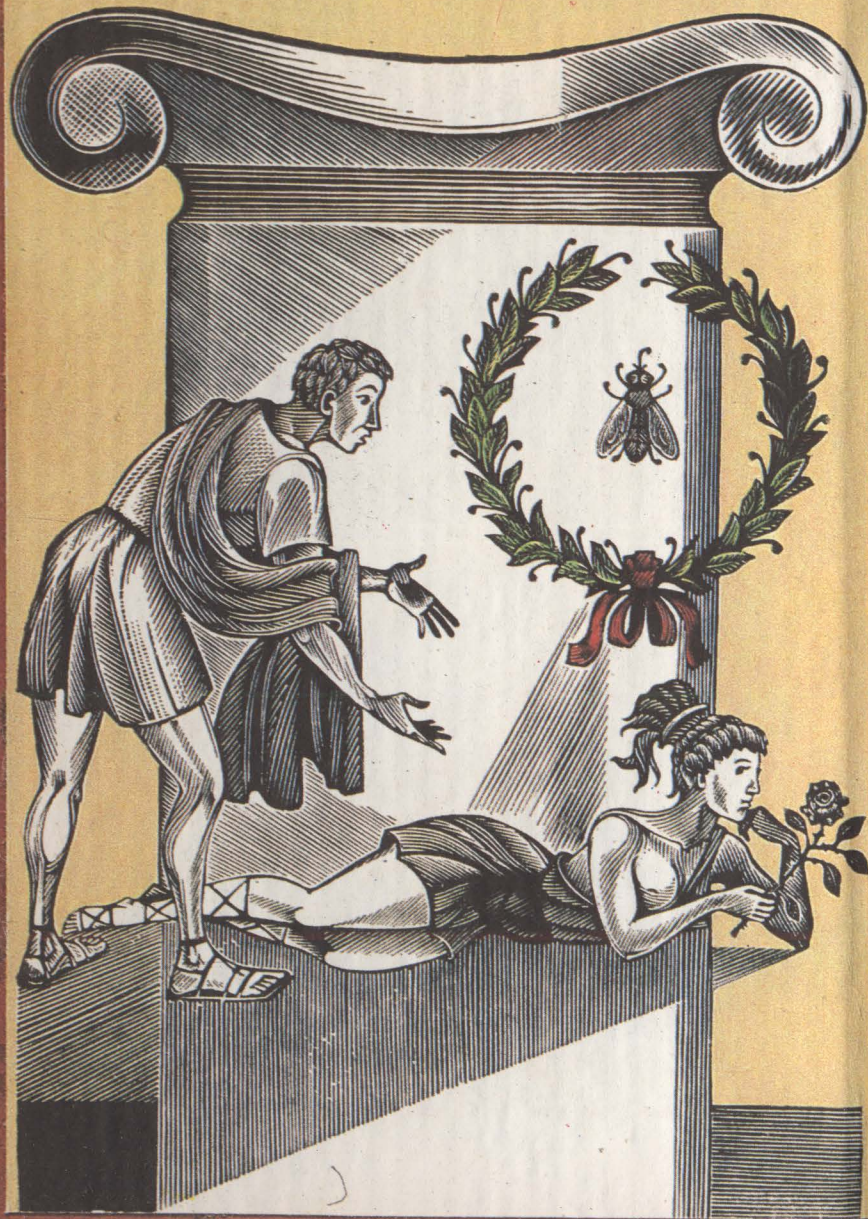
ЛУКИАН

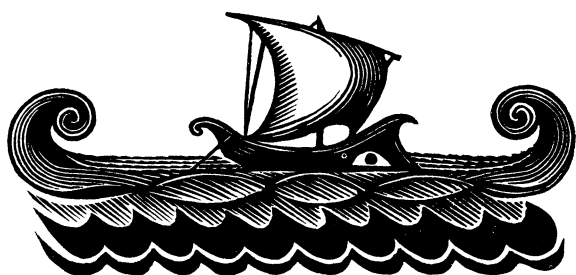


ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

ЛУКИАН







ЛУКИАН

ИЗ САМОСАТЫ



ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991

84(0)3

Л 84

Перевод с древнегреческого

Составление,
вступительная статья и комментарии
И. Нахова

Оформление и иллюстрации
В. Носкова-Нелюбова

Л $\frac{4703000000-2043}{080(02)-91}$ 2043-91

ISBN 5-253-00167-0

© Издательство «Правда», 1991.
Составление.



ЛУКИАН ИЗ САМОСАТЫ

Творчество крупнейшего писателя-сатирика и мыслителя поздней античности Лукиана из Самосаты (Сирия) оставило заметный след в истории мировой духовной культуры. В лучших произведениях Лукиана (ок. 120 — после 180), написанных на древнегреческом языке, с большой художественной силой и динамизмом представлены картины общественной и умственной жизни мировой Римской империи эпохи Антонинов (II в. н. э.).

Маркс и Энгельс, Герцен и Белинский высоко ценили писательский дар Лукиана, позволивший запечатлеть наиболее существенные черты его эпохи — полнейшую беспочвенность и неуверенность греков и римлян на закате древнего мира, дававшее себя знать то тут, то там недовольство народа и жалкое положение некогда знаменитых философских школ. В Лукиане поражает непримиримость ко всяческой мистике и суевериям. Ему удалось образно, с точки зрения «здравого смысла», раскрыть нелепость отживающей веры в старинных эллинских богов, а также в догмы уже укреплявшего свои позиции первоначального христианства. Маркс поставил Лукиана в один ряд с величайшим античным материалистом Лукрецием, Энгельс, как и Герцен, назвал Лукиана «Вольтером классической древности». Белинский считал его наряду с Аристофаном одним из тех счастливых умов, которым под силу проникнуть в сущность событий и предвидеть будущее.

В сатирическом диалоге, литературном жанре, созданном Лукианом, наиболее полно реализовался его талант, блещущий остроумием и неиссякаемой фантазией, поражающий богатством идей, изяществом, тонким ощущением формы и стиля, ясностью языка. Все это с давних пор привлекало к Лукиану не одних только знатоков античности, но и широкого читателя.

Несмотря на то что Лукиан был одним из наиболее читаемых в древности авторов, уже современники старались замолчать или просто-напросто уничтожить его вольнодумные сочинения. Недаром до нас не дошло ни одного обрывка античного папируса с его произведениями, ни одного внятного свидетельства из его непосред-

ственного окружения. Не случайно Флавий Филострат (II—III вв.), автор жизнеописаний знаменитых софистов, большинство из которых ныне прочно забыты, ни единым словом не обмолвился о существовании Лукиана. Христианские же апологеты и ученые, вроде составителя знаменитого византийского лексикона «Суда», не довольствовались «фигурой умолчания», но ругательно ругали эту «пропадающую душу», нечестивца и богохульника, который наверняка горел в вечном огне сатаны, и не скрывали своей радости по поводу слуха, что Лукиан погиб, якобы растерзанный собаками.

Смиренные «рабы божьи» — монахи в средние века послушно переписывали лукиановские тексты, которые им порой неосторожно давали, и оставляли на полях рукописей обращенные к автору строчки, полные благочестивого ужаса: «Что это ты бреешь, проклятый, о нашем спасителе Христе?!» А в XVI веке католические цензоры включили антихристианский памфлет Лукиана «О смерти Перегрина» в «Индекс запрещенных книг». Но даже в византийскую эпоху у Лукиана нашлось немало почитателей и подражателей (Феодор Продром, Тимарион, Арефа и др.). В X веке какой-то безбожник воспользовался именем древнего атеиста, чтобы среди прочего высказать свои еретические мысли о христианском вероучении. Так был создан диалог «Филопатрис», приписывавшийся Лукиану вплоть до XIX века.

Начиная с эпохи Возрождения, открывшей человечеству светлый мир античности, сочинения самосатского сатирика десятки раз переводились и издавались на многих языках мира. Поджо Браччолини, Эразм Роттердамский, Ульрих фон Гуттен, Рейхлин, Франсуа Рабле, Томас Мор, Шекспир и другие великие гуманисты высоко ценили Лукиана и подражали ему. Был он близок по духу и эпохе Просвещения. Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Свифт, Виланд, Гете, Шиллер — вот далеко не полный перечень писателей и философов того времени, взявших Лукиана в соратники своей борьбы за прогресс и справедливость.

В XVIII веке творчество великого сатирика античности стало известным и в России. Мастерство и живость его диалогов привлекали Ломоносова, в своих трудах по риторике сославшегося на авторитет Лукиана. Показательно, что именно в этот период было сделано несколько переводов сочинений Лукиана на русский язык¹. В XIX веке его эпиграммы переводил поэт-революционер М. Михайлов. Полностью проза Лукиана (вместе с приписываемыми ему сочинениями) была у нас переведена только в советское время (1935 г.).

Эпоха Антонинов, на которую падают жизнь и литературная деятельность Лукиана из Самосаты и чью внутреннюю несостоятельность и противоречивость он так выпукло обрисовал, настолько завораживала своим внешним блеском и благополучием, что в буржу-

¹ См., например, «Разговоры Лукиана Самосатского». 3 части. Перевод с греческого И. Сидоровского и М. Пахомова. СПб., 1775—1784.

азной историографии даже получила похвальный титул: «золотой век Римской империи». Впрочем, начало «лакировки» этого периода было положено еще в древности: ее породили верноподданнические чувства придворных историков и лесть софистов, обласканных императорами. Знаменитый ритор II века Элий Аристид в своем «Панегирике городу Риму» восторженно писал: «В наше время все города соперничают между собою в красоте и привлекательности. Повсюду множество площадей, водопроводов, пропилеев, храмов, ремесленных мастерских и школ. Города сияют блеском и роскошью, и вся земля украшена, как сад... Возможен ли лучший и более полезный строй, чем нынешний?!» В парадных речах, надписях на памятниках, на медалях и монетах назойливо повторялись два главных лозунга официальной пропаганды: «счастливое время» и «римский мир».

Что же в действительности представлял собой хваленый век Антонинов и что принес народам и племенам, населявшим грандиозную империю, пресловутый «римский мир»?

Во втором веке Римская империя достигла своего наивысшего внешнего расцвета. Римские легионы стояли в Британии и Галлии, в Греции и Испании, на Крите и в Сирии, на Дунае, Рейне и Евфрате, в Парфии и Армении, Африке и Азии. Завоеватели стремились уничтожить политическую независимость и культурную самобытность покоренных стран, приспособив их к более планомерной и эффективной эксплуатации Римом, чем во времена республики. Императоры решили положить конец неприкрытому грабежу и разорению подвластных им земель. Но улучшение экономического положения империи было лишь относительным, подъем — временным и частичным, стабилизация — неустойчивой. Вся тяжесть двойного гнета (центральных и местных властей) в провинциях обрушилась на плечи рабов, вольноотпущенников, мелких крестьян, колонов, поденщиков и постоянно нищавших ремесленников.

«Благополучный» век Антонинов, по существу, не знал мира — ни внешнего, ни внутреннего. Воинственный Траян вел своих ветеранов на Дакию и парфян, «миролюбивый» Адриан умирал Иудею, «благочестивый» Антонин Пий воевал в Британии и интриговал на Востоке, «философ на троне» Марк Аврелий почти все время своего правления провел в седле, осуществляя карательные экспедиции то в одной, то в другой «варварской» стране, жаждавшей свободы. На его царствование приходится две тяжелейших войны — Парфянская (161—165) и Маркоманнская (167—180). Тяготы постоянных войн усугублялись эпидемиями чумы.

В разных концах империи вспыхивали восстания рабов и бедноты и войны угнетенных народов против римского владычества. В юности сирийцу Лукиану пришлось, вероятно, немало слышать о восстании против римлян в соседней Иудее (132—135). Позднее начались волнения в Ахайте и Северном Египте (движение пастухов-буколов), Испании, Британии и Галлии. Таким образом, «римский мир», торжественно провозглашенный еще во времена принципата Октавиана Августа, был не чем иным, как исторической фикцией.

В наивысшей фазе развития, которой достигла во II веке Римская империя, уже таились признаки загнивания, бурно давшие о се-

бе знать в кризисе III века. Духовная жизнь второй половины II века, на которую падает расцвет творчества Лукиана, в основных своих проявлениях отмечена печатью упадка, эпигонства и пессимизма. Начавшееся разложение рабовладельческой формации незамедлительно сказалось в сфере идеологии — литературы и философии, чутко отреагировавших на сдвиги в социально-экономической области. Культура Римской империи не была этнически однородной, в ней всегда видную роль играли греки и такие высокоразвитые цивилизации, как египетская, ближневосточная (сирийская, финикийская) и др. Литература ранней Римской империи, по преимуществу двуязычная (греко-латинская), своих наиболее значительных представителей рекрутирует из провинций: Лукиан родом из Сирии, Апулей — из Африки, Плутарх — из Греции, Дион Хрисостом — из Малой Азии (Вифиния). Основным языком литературы этого времени — греческий. Второй век заслуженно получил название Греческого Возрождения.

Наиболее заметные явления в литературном процессе эпохи — «вторая софистика» и связанный с ней «античный роман», нашедшие своеобразный отклик и в творчестве Лукиана. Хотя оба эти явления не были в социальном и идейно-художественном отношении однородными, однако их представители в своей массе защищали отживающий строй и привычные ценности. Даже такой свободомыслящий писатель и философ, как Дион Хрисостом, недвусмысленно высказывался в пользу римского руководства миром. «Античный роман», достигший расцвета во времена Лукиана, нередко называют «софистическим». Этот популярный жанр литературы, построенный на авантюрных сюжетах и эротике, ориентированный на массового читателя, включал иногда и подлинные жемчужины («Дафнис и Хлоя» Лонга), но рядовая «романная» продукция, наполненная фантастическими путешествиями, надуманными ситуациями и мистикой, была заслуженно высмеяна Лукианом в его иронической «Правдивой истории», а сочинителей романов Лукиан вывел в диалоге «Любитель лжи», веселя душу собственным воображением.

Смелыми выдумками Лукиана недаром вдохновлялись великие писатели и фантазеры — Свифт, Рабле и др. В лукиановском «Любителе лжи» впервые появился известный сюжет об ученике чародея, мимо которого не прошел Гете. Сюжет знаменитого романа Апулея «Метаморфозы», более знакомого под названием «Золотой осел» (II в.), в кратком изложении известен нам и по Лукиану («Лукий, или Осел»).

«Вторая софистика», оказавшая сильное влияние на современное общественное мнение и образование, имела мало общего с деятельностью софистов классической эпохи, теоретически поставивших ряд важнейших вопросов политики, морали, мировоззрения. «Вторые софисты», отделенные от «первых» шестью-семью столетиями, занимались главным образом сочинением довольно поверхностных и вторичных по содержанию, хотя формально изощренных речей, перепевавших классиков жанра — Исократы, Лисия, Демосфена. Наиболее видные софисты-риторы верно служили императорскому режиму, их выступления в разных городах империи (свое-

образные «концерты») приносили им славу, деньги и высокое положение (Герод Аттик, Фронтон, Элий Аристид, Филостраты и др.). Рядом с этой элитой подвизались претенциозно-кичливые и нередко невежественные учителя красноречия, захватившие в свои руки школьное образование и претендовавшие на то, чтобы заменить риторико-философию, науку и искусство.

Идеализация героического прошлого Эллады, сведенная на уровень риторических упражнений, во «второй софистике» прекрасно уживалась с возвеличиванием римских завоевателей. В «Учителе красноречия», где мишенью сатирического обстрела стал влиятельный софист II века Поллукс, высмеивается эта запоздавшая псевдопатриотическая болтовня с набившими за семь столетий оскомину рассуждениями о марафонских бойцах и героях Саламина. В декламациях и упражнениях (*мелетах*) то и дело мелькает обойма имен-символов: Солон, Крез, Дарий, Ксеркс, Сарданапал, Александр. В мелетах частенько фигурируют участники вымышленных судебных процессов. Здесь оправдываются уличенные в прелюбодеянии, разоблачаются клятвoprеступники, отравители, тираны, разрешаются мнимые споры о наследстве и т. п. Софисты брались писать о чем угодно: наряду с похвальными речами в честь вельмож и целых городов они создавали так называемые парадоксальные хвалебные речи (*энкомии*), в которых почти всерьез восхваляли пыль, блох, моль, комаров, мух, попугаев, шевелюру и лысину — словом, любой пустяк, с привлечением всех ухищрений риторической «оркестровки».

Периоды безвременья, упадка и кризисов в мировой истории обычно характеризуются усилением религиозно-мистических настроений, суеверий и иррационализма: не видя спасения на земле, люди искали его в небесах, сверхъестественном, оккультном. Так случилось и в Римской империи во II веке. В религиозной жизни шло ожесточенное соперничество двух фундаментальных принципов: старого языческого многобожия и нового христианского монотеизма (единобожия) во главе со спасителем-богочеловеком. В эти годы христианский пророк находился в том же положении, что и проповедник любой другой религиозной секты, чаще всего пришедшей с Востока. Отживающая олимпийская религия не хотела сдаваться и по этой причине предпочла впустить в свое лоно всех богов, которым поклонялись племена и народы, населявшие Римскую империю (*теокрасия*): Кибелу, Аттиса, Митру, Исиду, Сераписа и др. Мировая империя дополнялась мировой религией. В то же время между сторонниками разных религий шла, по выражению Энгельса, прямо-таки дарвиновская борьба за существование. У Лукиана не было оснований относиться к христианскому прозелиту иначе, чем к любому другому религиозному фанатику.

Наряду с памфлетом против христианского фанатика Перегрина-Протея он создает «житие», разоблачающее языческого мага и шарлатана Александра из Абонотиха, задевает и другого популярного чудотворца — неопифагорейца Аполлония Тианского (I в. н. э.). Лукиан «осыпает насмешками за их суеверие, — почитателей Юпитера не меньше, чем почитателей Христа» (Энгельс).¹

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 469.

Процесс сближения различных религий облегчался наличием ряда общих положений в религиозном сознании и популярной философии поздней античности, окрашенной в мистико-религиозные тона (вера в загробное воздаяние и бессмертие души). Философия того времени, эпигонская по существу, занималась почти исключительно вопросами практической морали, уча людей покорности судьбе и богам (стоики Эпиктет и Марк Аврелий). Четыре основных философских школы античности (академики, перипатетики, эпикурейцы, стоики) пришли в упадок, грани между ними растворились в эклектике. Недаром и для Лукиана расхождения между направлениями — вздор, пустяк, «спор о тени осла» («Гермотим», 71).

Вся политика Антонинов являла собой цепь попыток предотвратить исторически неизбежное падение римского господства и рабовладельческих порядков. Идеологи этой эпохи обосновывают и воспевают процветание империи, доброту «просвещенных» монархов и всеобщий мир. Лукиан среди них — «белая ворона», вольнодумец и просветитель. Его произведения являют нам истинное лицо «золотого века» Римской империи, смывая с него жизнерадостные румяна парадных славословий.

Биографические данные о Лукиане довольно скудны. Современники о нем оскорбительно молчат, а единственный сравнительно древний источник — краткая заметка богобоязненного автора лексикона «Суда» — приходится уже на византийское время (X век). Вот она:

«Лукиан Самосатский прозван богохульником и злословцем за то, что в его диалогах содержатся насмешки и над божественным. Жил он при императоре Траяне¹ и его преемниках. Сначала Лукиан был адвокатом в сирийском городе Антиохия, но, не добившись успеха на этом поприще, обратился к ремеслу логографа (т. е. составителя судебных речей по заказу.— *И. Н.*). Написано им без числа. Говорят, что умер он, растерзанный собаками, ибо боролся против истины. И в самом деле, в «Жизнеописании Перегринуса» он нападает на христианство и надругается, нечестивец, над самим Христом. За эти бешеные выпады было ему уготовано достойное наказание в этом мире, а в будущем вместе с Сатаной он получит в удел вечный огонь».

Все наиболее достоверное о жизни Лукиана извлекается из его же сочинений (особенно важны «Сновидение, или Жизнь Лукиана» и программный диалог «Дважды обвиненный»). Родился Лукиан, вероятно, в 120 году н. э. в Самосате, небольшом старинном городке в верховьях Евфрата, административном и хозяйственном центре Коммагены, самой северной области Сирии. Самосата с ее довольно сильными укреплениями была расположена на торговом пути из Малой Азии в Персию. В городе стоял римский гарнизон, проходили купеческие караваны, останавливались путешественники из Индии, Персии, Армении, греческих причерноморских колоний и других дальних стран.

¹ Под «императором Траяном» здесь разумеется римский император Адриан (117—138), полный титул которого цезарь Траян Адриан Август.

Лукиан любил свою родину, одну из важнейших провинций Рима, и не упускал случая подчеркнуть свое сирийское происхождение («Рыбак», 19; «Дважды обвиненный», 14, 15, 34 и др.). Искренним патриотизмом проникнута его «Похвала родине», трогаящая и в наши дни: «Слово «отечество» из всех слов — первое и для нас самое близкое. Ибо ничего нет для нас ближе отца!» Главный город Сирии Антиохия славился своей пышностью и великолепием. Здесь, пребывая на Востоке, любил проводить досуг римские императоры.

Знавший с детства только родной язык, Лукиан еще в школе начал изучать греческий и овладел им в совершенстве, что сделало его произведения практически понятными в любом конце империи. Детские годы будущего писателя протекали в бедности, и ему рано пришлось начать трудовую жизнь и попасть в зависимое положение. Родители отправили его к дяде — скульптору, но когда по неловкости мальчик разбил мраморную заготовку и дядя поколотил его, ему ничего не оставалось, как убежать в слезах домой. Обо всем этом он вспоминал в своем автобиографическом «Сновидении».

Покончив навсегда с ваянием, Лукиан принялся серьезно изучать риторику и оказался в древнейшей области греческой цивилизации — Ионии, где в Эфесе и Смирне читали лекции видные софисты Скопелиан и Полемон. Позднее он, вероятно, познакомился и с другими знаменитостями — Геродом Аттиком и Лоллианом. Приобщившись к тонкостям риторики и юриспруденции, Лукиан становится адвокатом в Антиохии, но, не добившись успеха, бросает судебную карьеру, чтобы целиком посвятить себя профессии гастроллирующего оратора.

Это занятие принесло Лукиану известность и достаток. Замелькали города Малой Азии, Греции, Македонии, Италии, Галлии, где он на время становится даже модным учителем риторики. Успешно выступая в разных частях Римской империи, Лукиан не только оттачивал словесное мастерство, но и накапливал жизненный опыт, впитывал впечатления, штудировал великих греков в тиши афинской библиотеки, знакомился с памятниками архитектуры и искусства. Побывал он и в космополитическом Риме. Не довольствуясь школьными риторическими схемами и нормами, языковыми и стилистическими предписаниями, Лукиан основательно изучает древнюю философию и присматривается к современной ему духовной жизни.

Переход Лукиана от риторики к философии произошел не вдруг. В двадцатипятилетнем возрасте он впервые всерьез ею заинтересовался («Гермотим», 24). Беседы с философом-платоником Нигрином, знакомство с которым состоялось в Риме, утвердили его в мысли окончательно посвятить себя философии. Образ идеального мудреца, у которого избранные однажды принципы не расходились с поступками, сопутствовал Лукиану всю жизнь. Наконец, с риторикой, кажется, покончено навсегда, и сорокалетний литератор все свои помыслы отдает философии, хотя и не становится профессиональным любомудром («Гермотим», 13; «Дважды обвиненный», 32; «Рыбак», 29). Это произошло в шестидесятые годы, после возвращения Лукиана в Афины.

Парфянская война застала Лукиана уже в Сирии. Побывав до этого в Египте, он возвращается на родину и останавливается в Ан-

тиохии. К этому времени относится восторженное описание смиренной красавицы гетеры Панфеи, наложницы Луция Вера («Изображения», «В защиту изображений» — 163 г.). Вряд ли эти сочинения, полные эстетического любования, можно считать комплиментом разгульному и бесцветному соправителю императора Марка Аврелия, скорее укором. Увлеченный балетом и пантомимой, которыми славилась сирийская столица, Лукиан пишет диалог «О пляске» (163—165 гг.), важный источник по античной хореографии и эстетике. Впечатления этого периода отразились также в историко-религиозном очерке на ионийском диалекте «О сирийской богине». В ореоле софистической славы Лукиан приезжает в родную Самосату, где выступает перед согражданами с взволнованной «Похвалой родине» и воспоминаниями о детстве («Сновидение»).

После окончания Парфянской войны, где-то на рубеже 164 и 165 годов, Лукиан вместе с семьей отправляется в Грецию. Путь лежал через Каппадокию и Пафлагонию к берегам Черного моря. В приморском городке, перед отплытием, он знакомится со знаменитым пророком и жрецом Асклепия Александром, чьи протодушно-жульнические фокусы, рассчитанные на легковверных, Лукиан смело разоблачает. Влиятельный шарлатан, пользовавшийся покровительством властей, становится смертельным врагом писателя. Он договаривается с капитаном корабля, на котором Лукиан должен отправиться в плавание, чтобы тот умертвил его, а труп выбросил в море. Заговор был раскрыт, но мысль о возмездии пришлось Лукиану оставить. «Мне пришлось умерить свой пыл и оставить смелость, неуместную при таком настроении судей», — вспоминал впоследствии Лукиан в памфлете «Александр, или Лжепророк» (180 г.).

На корабле судьба свела Лукиана с Перегрином-Протеем. С этим христианским пророком и фанатиком ему привелось снова встретиться на Олимпийских играх 165 года. Встреча была необычной. После окончания игр Перегрин, обуреваемый жадой славы, но все же уповавший на спасение, в лунную ночь при большом стечении народа бросился в пылающий костер. Жалкий и трагический конец и полную превратностей жизнь этого несчастного фигляра и авантюриста Лукиан описал в другом блестящем памфлете, «О смерти Перегрин»¹, вызвавшем огромный интерес историков раннего христианства и накликавшем на сатирика проклятие церковников всех времен. Александр и Перегрин — не плод художественного вымысла, а характеры и типы, выхваченные писателем из самой жизни. Недаром Энгельс считал Лукиана «одним из наших лучших источников о первых христианах»².

Сочинения, обнажавшие язвы современности, не принесли Лукиану ни почета, ни признания, ни доходов. Писатель жалуется на тяжелые обстоятельства, отчасти вынудившие его в конце жизни

¹ У других древних писателей (Авл Геллий, Евсевий, Аммиан Марцеллин) приводятся мнения и сведения, не столь порочащие Перегрин, как у Лукиана. Лукианова сатира говорит о его неприимности к любой форме религиозного дурмана. Отсюда крайности и, возможно, перехлесты. Существует предположение, что Перегрин мог быть автором «Послания Игнатия» (Д. Фельтер).

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 469.

пойти на императора и его службу. Это была старость, бедность и болезни («Апология», 10). Можно полагать, кроме того, Лукиан питал некоторые иллюзии, что, находясь на высоком государственном посту, окажется сколько-нибудь полезным населению поработанных земель. Именно эти иллюзии позволяют ему делить службу на частную и государственную. Первая — унижительна, вторая — почетна и полезна.

Уже на склоне лет Лукиан переселяется в Александрию, космополитическую столицу Египта, где в первые годы царствования императора Коммода выполняет обязанности крупного судейского чиновника. Но и эта карьера, от которой писатель ждал материальной независимости и благополучия, явно не удалась. Видимо, и здесь он пришелся не ко двору и вынужден был возвратиться к постылому ремеслу гастролирующего риторика. Об этом свидетельствуют его поздние произведения: «Геракл», «О Вакхе», «Геродот», «О янтаре», «Об ошибке в приветствии» и др., отмеченные печатью увядания: энергия и сила таланта были уже не те, что в молодости.

Во все периоды своего творчества Лукиан был склонен к пародии, сочинял между делом эпиграммы, которые дошли до нас, но по своим достоинствам неравноценны и не все могут считаться подлинными (так, например, подложна, по-видимому, первая эпиграмма). Кроме того, ему приписываются две пародийные драмы («Трагоподагра» и «Быстроног»), посвященные одному и тому же недугу, которым Лукиан, должно быть, страдал в старости. «Трагоподагра», скорее всего, действительно принадлежит Лукиану, а «Быстроног», как полагают некоторые исследователи, относится к более позднему времени (IV в.). Умер Лукиан около 185 года, когда правил последний из династии Антонинов — свирепый и необузданный Коммод (180—192).

Что касается двух риторических периодов творческой биографии Лукиана — раннего (до 165 г.) и позднего (после 180 г.), то они отмечены несомненным влиянием «второй софистики», от которого писатель не мог уйти. Но, отдав ей должное, Лукиан, благодаря силе таланта, рвет уже на первых порах путы софистических стандартов и избегает банальных общих мест, внося в привычные жанры дыхание живой жизни, элементы реализма и сатиры; хотя и робко поначалу, он ставит весьма актуальные вопросы. Этим самым он вступает на новый путь, отличный от того, на котором добивались успеха его собратья по риторскому цеху.

Вот для примера псевдоисторические защитительные речи, связанные с именем Фаларида, прославившегося своей жестокостью тирана из Акраганта (VI век до н. э.). В них уже звучат разоблачительные мотивы, по которым угадывается будущий автор «Александра» и «Перегринна». В риторическом экзерсисе «Лишенный наследства» рассказывается о воображаемом судебном процессе, на котором сын защищается от несправедливых обвинений отца. Несмотря на известную надуманность ситуации, здесь встречаются многие реалистические бытовые подробности, характеризуется положение врачей, да и сама тема — сын, домогающийся наследства, — была весьма актуальной и неоднократно привлекала внимание сатириков (Гораций, Петроний, Ювенал).

Выступления софистов обычно открывались краткими вступительными речами (*пролалиями*), в которых демонстрировалось словесное мастерство, способное сразу же завоевать одобрение искушенной аудитории. Лукиан насыщал свои пролалии красками повседневной жизни, наблюдениями и размышлениями. В речи «Геродот, или Аэгий» Лукиан не придумывает, а описывает в действительности виденную им в Италии знаменитую картину «Бракосочетание Александра и Роксаны». Это описание (*экфраза*) вдохновило Рафаэля написать полотно на ту же тему и побудило Содóму (Джованни Бацци) создать великолепную фреску в Villa Farnesina в Риме.

Так риторические жанры, общие места, приемы и топику Лукиан заставлял служить новым задачам. Если же обратиться к его «чисто риторическим» произведениям, то сознательно или ненароком, но доведенные до своих логических пределов, они производили впечатление пародий или, возможно, были уже задуманы как пародии на излюбленные софистами формы, темы и жанры («Похвала мухе», «Тираноубийца», «Суд гласных» и др.). «Похвала мухе» начинается сопоставлением мухи с комарами и слепнями. Лукиан прозрачно намекает на распространенные сочинения такого рода (у риторика Фаворина была «Похвала комару») и тем самым дает понять шуточный характер своего замысла. Далее он как бы серьезно рассуждает о достоинствах мухи, привлекая для ее воспевания самого Гомера. Заключительная фраза нарушает панегирическую иллюзию и раскрывает игровой характер всего сказанного: «...прерву свое слово, чтобы не казалось, что я, по пословице, делаю из мухи слона».

«Вторая софистика» обычно связывается с так называемым аттицизмом, вдохновителем которого был всемогущий воспитатель императоров Герод Аттик. Софисты, призывая «подражать древним», прежде всего брали за образец язык и стиль древнеаттических классиков — Фукидида, Платона, Еврипида, Аристофана, Лисия, Демосфена, Исократа. Само по себе подражание классическим традициям (*мимесис*), разумеется, не было злом, но Лукиан считал, что древние творения нужно воспринимать не только как стилистическую модель, но и как призыв к подражанию героям прошлого и добродетельной жизни: «Есть две вещи, которые человек может приобрести от древних, — умение говорить и действовать надлежащим образом, стремясь к лучшему и избегая худшего...» («Против неуча», 17).

Сам Лукиан писал на классически ясном аттическом диалекте, близком к языку образцовой греческой прозы, который был понятен всему грамотному населению империи. Но этот же язык становился почти невразумительным в обработке модных риториков «гиператтицистов», охотившихся за словесными раритетами, старинными словами и фразеологизмами, которыми их услужливо снабжали специальные словари, глоссарии и учебники. Лукиан вышучивал тех, кто щеголял «непонятными и странными речениями и выражениями, лишь изредка употребляемыми старинными писателями» («Учитель красноречия», 17). Риторов, предлагавших «откапывать давно схороненные слова», он называл «выходцами с того света, дурнями мифических времен» (там же, 10). Язык, по его мнению, должен быть

«ясен и достоин образованного человека — таков, чтобы им можно было наиболее отчетливо выразить мысль» («Как следует писать историю», 43). Он должен быть понятен всем. Творчество Лукиана ставит на античном материале проблему традиции и новаторства, подражательности и оригинальности.

Уже в раннем творчестве Лукиана постепенно вызревает талант будущего сатирика, преодолевавшего обветшалые штампы школьной нормативной риторики и ограниченность ее кругозора. Возвращение Лукиана к риторике в конце жизни носит чисто внешний, вынужденный характер. Так, вступительная речь «Прометей красноречия» риторична лишь постольку, поскольку предназначена для публичного произнесения (*рецитации*). Это яркое и глубокое выступление по эстетическим вопросам имеет мало общего с риторическими «концертами». Однако большинство сочинений обоих риторических периодов, несмотря на их своеобразие и даже блеск, намного уступают по своим идейно-художественным достоинствам подлинно новаторским произведениям Лукиана-сатирика.

Лукиан на собственном опыте познал уязвимые места «второй софистики». Поэтому так метки и жалищи его характеристики. Наиболее жесткой атаке подвергается риторика в его «Учителе красноречия» (около 178 г.), знаменующем открытый разрыв Лукиана с эстрадной риторикой своего времени. Самый быстрый способ достичь успеха на поприще красноречия — это невежество, самоуверенность, наглость и бесстыдство, иронически поучает сатирик своего юного друга. Нужно уметь как можно громче вопить, крикливо одеваться, важно шествовать, патетически рычать, а в удобный момент даже запеть. «Учитель красноречия» рисует сатирически заостренную картину современной Лукиану риторики и таких ее служителей, как реально существовавший любимец императора Коммода Поллукс. Разоблачение показной риторской формалистики содержится в большинстве зрелых сочинений Лукиана.

В своих занятиях философией Лукиан склоняется к взглядам наиболее радикальных школ. Философия обострила его духовное зрение, углубила его художническую критику. Если бы Лукиан оставался всю жизнь только ритором, как это нередко утверждается, он никогда не сумел бы подняться до обличения существующих порядков и официальной идеологии, не стал бы «Вольтером классической древности». Область сатирика — критика, основной жанр риторики века Антонинов — панегирик. Риторика уводила от жизни — сатира вторгалась в нее.

Зрелое творчество Лукиана, составившее его славу в веках, было настолько актуальным, что даже такие крупные исследователи, как Моммзен, Виламовиц-Меллендорф, Круазе и др., именуют его «газетчиком», «журналистом», «фельетонистом» античности. Но именно то, в чем они порой упрекают Лукиана, является одной из главных его заслуг. Нет, пожалуй, ни одного заметного явления общественной, интеллектуальной или религиозной жизни эпохи Антонинов, которого он не коснулся бы.

Годы странствий и учения, раздумий и поисков не прошли даром. Ко времени разрыва с риторикой Лукиан пришел в основном к своему собственному жанру — сатирическому диалогу. Создавая

новый жанр, Лукиан использовал достижения философского диалога и комедии: «Мое произведение слагается из двух частей — диалога и комедии» («Прометей красноречия», 5). Диалог, позволяющий выяснить сложные проблемы в столкновении мнений, в форме драмы идей, стал со времени Платона (427—347) классическим жанром философской прозы. К «возвышенному» диалогу Лукиан «присоединил комедию» и тем самым отнял у него «трагическую и благодарную маску и надел вместо нее другую — комическую и сатирическую» («Дважды обвиненный», 33). Таким образом, заключает Лукиан, я преподнес «комический смех, скрытый под философской торжественностью» («Прометей красноречия», 7). О значении лукиановского смеха говорит Маркс: «Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия. Богам Греции, которые были уже раз — в трагической форме — смертельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз — в комической форме — умереть в «Беседах» Лукиана»¹.

Существует расхожее мнение, что сатира Лукиана — плод равнодушно-формалистической игры скептического ума, что критика его поверхностна, нигилистична в своей основе и не имеет положительных идеалов и целей. Это ошибочный тезис, ибо диалектика высшей сатиры в том и состоит, что идеал утверждается через отрицание, а добро — через обличение зла. «От насмешки никакого худа не рождается, а, напротив, самое что ни на есть добро — словно золото, очищенное чеканкой, ослепительнее сверкает и выступает отчетливей», — утверждает Лукиан («Рыбак», 14). Он сознательно сближает свою сатиру с тенденциозной, политически острой древнеаттической комедией Аристофана и Евполида (там же, 25), говорит, что вместе с комедией в его диалог пришли «насмешка, ямб, речи киников, Евполид и Аристофан» («Дважды обвиненный», 33), то есть новое содержание — критическое, злободневное, демократическое.

Диалог Лукиана развивался, а не стоял на месте — его шутки и смех становятся все злее, целенаправленнее и злободневнее. В нем появились и некоторые формальные новшества: цитаты из поэтов, стихотворные вставки, сочетание реалистических сцен с фантастическими эпизодами, свободное перемещение героев в пространстве — с небес в подземное царство — и другие сказочно-фольклорные неожиданности. Здесь не обошлось без влияния любимого Лукианом кинического философа и писателя Мениппа из Гадары (330—260 гг. до н. э.), которого он «откопал» в библиотечной пыли.

Персонифицированный Диалог в «Дважды обвиненном» жалуются: Лукиан «натравил на меня какого-то Мениппа, из числа древних киников, очень много лающего, как кажется; Менипп страшен, как настоящая собака, и кусается исподтишка, кусается он, даже когда смеется». «Мениппова сатира», или «мениппея», вышедшая из лона кинической диатрибы, явилась для Лукиана, наряду с другими жанрами, орудием идейной борьбы и средством утверждения собственных взглядов. «Мениппее» была уготована долгая жизнь в литературе (Эномай, Филон, Эпиктет, Варрон, Горацій, Сенека, Петро-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 418.

ний и др.), вплоть до наших дней. Ее формальным признаком является органический сплав прозы и стихов, пришедший в греко-римскую античность из литератур Востока.

Опираясь на опыт всего предшествующего развития словесного искусства, Лукиан высказывается против ложного новаторства в пользу классической «соразмерности и красоты целого» («Прометей красноречия»). В своем творчестве он широко использует древние мифы, которые некогда воспринимались как священная история, но для него уже перестали быть *почвой* искусства, а превратились в иронический *арсенал* художественных образов, типов и ситуаций. Остро злободневная тематика у зрелого Лукиана, как правило, не рядится в мифологические одежды, символы и аллегории, а выступает в виде жизненных образов и картин. К мифологическому маскараду писатель прибегает все реже и реже (см. «Кроновы сочинения»).

Много для себя полезного нашел Лукиан в проникнутых духом насмешки и отрицания формах кинико-стоической пропаганды, основанной главным образом на эстетике фольклора, поскольку она обращалась к массам. Основопологающим для творчества Лукиана был принцип *серьезно-смешного*, разработанный и примененный на практике основателями школы киников Антисфеном и Диогеном, когда правила суровой морали преподносились с помощью шуток и острого словца. Это «серьезно-смешное» лежало и в основе жанра *диатрибы*, представлявшей нечто вроде проповеди и живой беседы, где оратор, обращаясь к собравшимся, спорит с воображаемым оппонентом, защищающим расхожие ценности. Диатриба, насыщенная образностью, поговорками, притчами, получила жанровую завершенность в творчестве киника Биона Борисфенита (IV в. до н. э.) и обрела свое место как в сочинениях Лукиана («О скорби», «О жертвоприношениях» и др.), так и у Сенеки, Эпиктета, Плутарха и у христианских проповедников.

Немало размышлял Лукиан и о призвании писателя. В своем трактате, или точнее — послании, непосредственно обращенном к современности, — «Как следует писать историю», где подвергается резкой критике охранительная историография, освещавшая недавние события Парфянской войны в лживо-верноподданническом духе, Лукиан выражает взгляды не только на задачи истории, но и свое творческое кредо, эстетические и литературно-критические воззрения. Весь пафос послания направлен против лживого искусства, риторически приукрашивающего неприглядную действительность, на утверждение правдивой и нелицеприятной литературы. Истину нельзя исказить — ни под влиянием страха перед расплатой за критику, ни из-за жажды богатства и славы. В своих требованиях к историкам Лукиан продолжает линию Фукидида.

Все лучшее в творчестве Лукиана — плод правдивого и критического воспроизведения жизни, не исключая, однако, выдумку, фантазию, «сочинительство» в самом высоком смысле этого слова. Он призывал художников и мыслителей глубже всматриваться в действительность: «Лучше всего писать о том, что сам видел и наблюдал» («Как следует писать историю», 47). В основу писательского труда следует положить «искренность и правдолюбие»

(там же, 44). Важно, чтобы ум взявшегося за него «походил на зеркало... Какими оно воспринимает образы вещей, такими и должно отражать, ничего не показывая искривленным, или неправильно окрашенным, или измененным» (там же, 51). Писатель, говорит Лукиан, должен быть «бесстрашен, неподкупен, независим, друг свободного слова и истины, называющий... смокву смоквой, а корыто — корытом» (там же, 41). Во всех произведениях писателя, посвященных вопросам искусства и литературы, уже выступает тот феномен, который, по выражению советского философа А. Ф. Loseva, можно назвать «античным художественным материализмом».

Нередко Лукиан, изображая в духе эллинистических предшественников то, что видел вокруг себя, выступает как бытописатель. Из-под его пера вышли обаятельно-откровенные «Диалоги гетер», жанровые зарисовки, порою фривольные, полные жизненной правды, юмора и сочувствия к девушкам, способным на серьезное чувство, но брошенным на путь служения самой древней профессии. Даже здесь Лукиан — не равнодушный регистратор нравов, не «физиолог», а прежде всего гуманист. В иных диалогах темперамент бойца и моралиста выступает отчетливее и резче, агрессивнее: «Я ненавижу хвастунов, ненавижу религиозных обманщиков, ненавижу ложь, ненавижу чванство и все эти породы дрянных людей! А их так много... Пятьдесят тысяч врагов!» («Рыбак», 20).

Кто же конкретно вызывал ненависть у сатирика? Ведь не только по друзьям, но и по врагам можно судить о человеке. Среди противников писателя — льстивые и близкие к верхам софисты: циничный Поллукс («Учитель красноречия», «Лексифан»), невежественный и развратный Тимарх («Лжеученый»), болтливый Лоллиан из Эфеса (26-я эпиграмма), богатый неуч, коллекционирующий книги, которые не читает («Против неуча»); далее, религиозные обманщики всех мастей: языческий гаер Александр и христианский проповедник Перегрин; придворные историографы, лжефилософы, чьи имена названы и не названы («Пир», «Рыбак», «Дважды обвиненный», «Продажа жизней», «Беглые рабы» и т. д.). Чтобы выступить против всей этой влиятельной клики, нужны были не только проницательный ум и неподкупная совесть, но и гражданское мужество.

Среди друзей Лукиана мы встретим честных искателей истины, независимо от принадлежности к той или иной школе, — платоника Нигрина, отрицавшего, по словам писателя, все, что «обыкновенно считается благом, — богатство, славу, власть, почести», бесребренника киника Демонакта. И тот и другой для Лукиана — идеальные философы, для которых характерно единство теории и образа жизни. В их лице, как бы подсказывал Лукиан, воплощались их системы. В числе друзей Лукиана был и Цельс, автор направленного против христиан «Правдивого слова». Именно ему посвящен памфлет о лжепророке Александре.

Знакомство с различными философскими направлениями оставило заметный след в творчестве Лукиана: его диалоги раскрывают «действительное значение последних античных философских учений в эпоху разложения древнего мира»¹. В «Немецкой идеологии»

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 128.

ее авторы советуют для знакомства с философами того времени «найти у Лукиана подробное описание того, как народ считал их публичными скоморохами, а римские капиталисты, проконсулы и т. д. нанимали их в качестве придворных шутов для того, чтобы они, поругавшись за столом с рабами из-за нескольких костей и корок хлеба и получив особое кислое вино, забавляли вельможу и его гостей занятыми словами — «атараксия», «афазия», «гедонé» и т. д.»¹.

Эти слова навеяны диалогом Лукиана «Пир, или Лапифы», где философы, затеявшие спор якобы из-за теоретических расхождений, кончили дракой из-за жирного куска курицы. Вместе с тем Лукиан решительно отделяет редко встречающихся подлинных «любомудров» от полчища пройдох, которые, забыв о собственных призывах к честной бедности, «восхищаются богатыми и на денежки глядят разинув рты» («Рыбак», 34). Больше всего достается тем последователям киников, которые усвоили лишь «собачий лай»², прожорливость, льстивое вилиние хвостом перед подачкой и прыжки вокруг накрытого стола» («Беглые рабы», 16). Даже в диалоге «Две любви» за эротической темой выступает осуждение философов, у которых слова расходятся с делом.

Отрицательное отношение к «философам на жалованье» вовсе не распространялось на философию как таковую, как это бывало у риториков. В обширном диалоге «Гермотим» раскрываются трудности, связанные с выбором школы, необходимость глубокого знания доктрин, на что вряд ли хватит целой жизни. Истину можно постичь, но для этого требуется «некая критическая и исследовательская подготовка, нужен острый ум да мысль точная и неподкупная» (64). Бессилие спекулятивной философии и противоречивость разных философских школ Лукиан демонстрирует в «Мениппе» и «Икаромениппе».

Лукиан отмежевывается от ложных, с его точки зрения, теорий и подходит к той единственной философии, которую считает способной сделать так, «чтобы люди прекратили взаимные обиды и насилия, оставили жизнь похожую на звериную, и, обратив свои взоры к истине, стали более мирно строить свое общежитие» («Беглые рабы», 4). Какие бы петли и зигзаги ни совершала мысль Лукиана на пути познания, взгляды его неизменно обращались к атеизму, здравому скептицизму и рационализму, называемому попросту «здравым смыслом». Напрасно порой с бездумной лихостью чествят это почтенное понятие. Для греческого народного духа в нем — альфа и омега, принцип, который, наряду с творческой фантазией, позволил создать великую цивилизацию.

Если «большие» философские школы античности отразили главным образом идеологию имущих слоев, то кинизм стихийно и противоречиво, но все же определенно выразил думы и чаяния угнетенных низов. В начале новой эры появилось множество приверженцев этого учения — как искренних последователей, так и случайных попутчиков, а то и просто проходимцев, прихвативших атри-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 128.

² «Киник» нередко производят от греческого прилагательного «cyníeos», что значит «собачий».

буты странствующих философов — котомку, сулган, посох и бороду. Идеи древнего радикального кинизма Антисфена и Диогена (признание природного равенства всех людей, прославление свободы, труда, осуждение власти имущих и роскоши, социальной несправедливости и т. п.) находили живой отклик у бедноты, немущей «интеллигенции». Именно к ним обращались кинические проповедники, которых за вольнодумство и смелость преследовала карающая рука императорской власти (специальные указы против киников при Нероне, Веспасиане и Домициане).

Логикой самой жизни, своим собственным опытом выходца из покоренной римскими завоевателями провинции Лукиан был подведен к восприятию кинических идей. В обстановке эпигонства и разложения современной философии казалось, что только кинизм сохранил свои древние принципы. В наиболее плодотворный, так называемый «менипповский» период Лукиан в художественной форме, также восходящей к киникам, воплощает эти принципы, создав серию замечательных диалогов: «Менипп», «Икароменипп», «Зевс уличаемый», «Совет богов», «Пир», «Петух» и др. Киническим влиянием отмечены также «Разговоры богов», «Демонакт» и «Тимон». В ряде сочинений, объединенных образами мудрых скифов, мы вновь встречаемся с «наивным» киническим отрицанием, «острашением» общепринятых ценностей («Анахарсис», «Скиф», «Токсарид»). Киническая этика противопоставляла дружбу отношениям социального неравенства, освященным государственными институтами. В «Токсариде» десять небольших «новелл» воспевают примеры дружбы среди скифов и эллинов, снимающие привычную для классической древности антитезу «эллины — варвары».

Нет противоречия в том, что, восприняв кинические идеи и литературные формы, Лукиан безжалостно высмеивает всех примазавшихся попутчиков и шутов в маске кинических мудрецов («Киниск», «Продажа жизней», «Пир» и др.). Герой «Переправы» и «Зевса уличаемого» Киниск — собирательный образ подлинного киника, а сапожник Микилл, герой «Петуха» и других диалогов, — конкретное воплощение этических требований кинизма. Киническая похвала умеренной бедности, располагающей к мудрости, и поношение богачей содержатся в одном из лучших лукиановских диалогов «Сновидение, или Петух». Мысль о пагубной власти золота пронизывает диалоги «Менипп», «Переправа», «Харон».

В подземном царстве у Лукиана подвергаются переоценке, «перечеканке», как говорили киники, все расхожие ценности. В Аиде безобразного Терсита не отличить от красавца Нирея, нищего проходимца Ира — от мудрого феакийского царя Алкиноя. Все смешалось в преисподней: некогда могущественный царь Филипп Македонский чинит за гроши прогнившую обувь. Грозные владыки Ксеркс, Дарий, Поликрат теперь попрошайничают на перекрестках. Жестокой каре подвергаются в загробном мире, почти как у Данте, богачи, стяжатели, откупщики, лстецы, донощики. «Лучшая жизнь и самая разумная — жизнь простых людей» («Менипп», 21) — вот конечный итог раздумий Лукиана из Самосаты.

Чрезвычайно важное место в творчестве Лукиана занимает критика религии, мистики и суеверий. Основной удар наносится по от-

живающим, но еще сильным языческим верованиям — олимпийским богам и восточным мистическим культам. «Зевс уличаемый», «Зевс трагический» и «Совет богов» опровергают обычные в древности аргументы в защиту существования богов — например, идею неотвратимости рока. Антропоморфность богов — главный объект насмешки в цикле небольших сенок, объединенных в «Разговоры богов» и «Морские разговоры». Изображая в «Икаромениппе» пирующих небожителей похожими на компанию подвыпивших мастеровых, Лукиан сбрасывает их с храмовых пьедесталов. Не внося в сюжеты и коллизии широко известных мифов существенных изменений, он, иронически улыбаясь, наглядно показывает, что суета на Олимпе — лишь сколок с человеческого общества. Принципиальная несостоятельность религии и мифологии как священной истории демонстрируется на ее собственном материале. Классическая мифология как бы отрицает самое себя. Всемогущих олимпийцев Лукиан делает смешными, низведенными до обыденности, а «заставить улыбнуться над богом Аписом значит расстричь его из священного сана в простые быки», — замечает Герцен¹.

Убийственные нападки Лукиана на богов и культовые нелепости впервые возникли под влиянием кинизма, но в дальнейшем, когда в конце жизни сатирик обратился к Эпикуру, его атеизм получил еще более прочную базу в виде философского материализма и атомизма. Лукиан видел в Эпикуре единственного мудреца, познавшего истину и природу вещей («Александр», 25). Его «Основные положения» он считал «источником великих благ для тех, кто с ними встретится» (там же, 47).

Знаток античной литературы константинопольский патриарх Фотий (IX в.) завершает свою характеристику Лукиана следующими словами: «Все обращая в комедию и осмеяние, он никогда не высказывается о том, что обоготворяет». Еще раньше греческий софист IV века Евнапий не без раздражения отзывался о Лукиане: «...очень старался посмеить людей» («Жизнеописание философов и софистов», 454). Этот поверхностный взгляд на «Вольтера классической древности» как на беспринципного и лишенного идеалов остряка, с легкой руки Фотия и французского философа XVII века Пьера Бейля, кочует из книги в книгу вплоть до нашего времени. Страсти вокруг древнего вольнодумца все еще не утихают. Лукиан действительно сильнее, в критике, в «срывании всех и всяческих масок», чем в утверждении, но у него была своя «золотая мечта» о справедливом общественном строе. Черты социальной утопии прослеживаются у Лукиана в изображении подземного царства, где все равны, где всем воздается по заслугам («Переправа», 15); в рассказах об идеальных кочевниках скифах, живущих в согласии с законами природы; в описании идеального государства Добродетели («Гермотим»); в образах «золотого века», когда все — рабы и свободные — были равны и жили по справедливости; наконец в «перевернутых» отношениях на празднике Кроний, где временно устанавливались по-

¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1958, Т. XIII. С. 190.

рядки «золотого века» («Кроновы сочинения»). Однако утопия остается утопией: реальных возможностей ее осуществления Лукиан не видит, да их просто в то время не существовало. Можно было только мечтать.

Лукиан был прежде всего художником. Его интересовали литература, риторика, философия, искусство, религия, вопрос воспитания — короче, вся идеология переживаемого им времени. Критическое отношение ко всем проявлениям господствующей идеологии объективно носило политический характер, но иногда Лукиан и прямо говорит о социальных язвах, называя вещи своими именами. Свой век он считает «свинцовым», то есть худшим из когда-либо существовавших: «Честные люди находятся в пренебрежении и гибнут в бедности, болезнях и рабстве, а самые дурные и негодные, пользуясь почестями и богатством, господствуют над лучшими» («Зевс трагический», 19). Он считает «бессмысленнейшим» такой порядок, «когда одни богатеют без меры и живут в роскоши, а другие от голода погибают» («Кроновы письма», 19). Богачи должны добровольно уступить часть своего имущества беднякам: в ином случае этот передел они произведут сами, насильственно (там же, 31). Симптоматичное предостережение! Софист Элий Аристид захлебывается от восторга, создавая «Панегирик городу Риму», Лукиан включает в диалог «Нигрин» гневную «хулу городу Риму» и рисует столицу Римской империи как средоточие всяческих мерзостей и пороков.

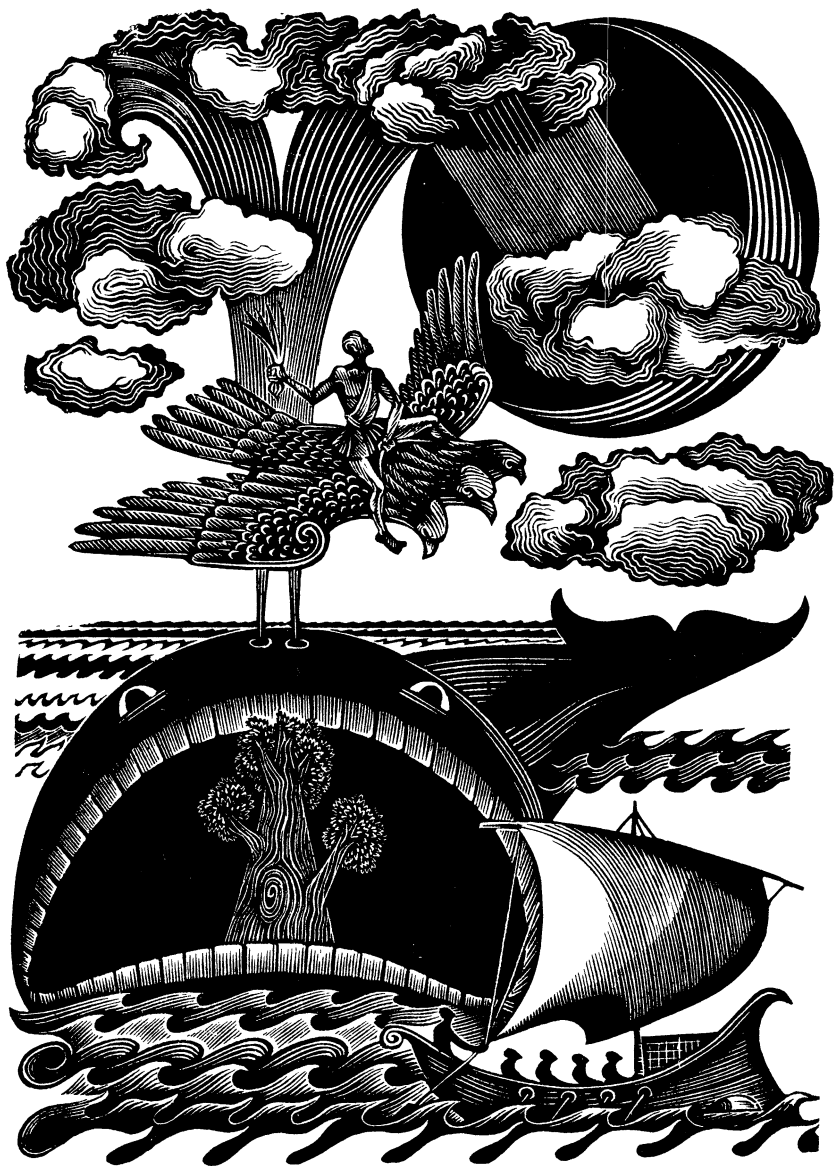
К рабам Лукиан относился противоречиво: их бедственному положению сочувствовал, но героями своих произведений не делал, что, впрочем, имело основание в реальных условиях II века, когда рабы олицетворяли лишь разрушительные силы. Положительный герой лукиановской сатиры — честный бедняк, вроде сапожника Микилла. «Я один из многих, из гущи народа», — говорил о себе Лукиан («Апология», 15). К положительным героям можно отнести и личность самого автора, постоянно дающую о себе знать в тексте, — образ чуткого и просвещенного художника, ироничного и свободлюбивого, имевшего свой человеческий и эстетический идеал. Большая сатира никогда не бывает продиктована пустопорожним зубоскальством, злопыхательством или злорадством, в ее глубине всегда таится тоска по совершенству, брезжит свет надежды.

Лукиан не был склонен идеализировать прошлое. Настоящее ему не улыбалось — он с горечью живописал его распад. Мысленно он в будущем, в лучших временах. Недаром так внятен его мужественный и, в конечном счете, оптимистический призыв творить для грядущего, не рассчитывая на сиюминутный успех: «Работай, имея в виду все будущее время, пиши лучше для последующих поколений и от них добивайся награды за свой труд» («Как следует писать историю», 61). Вот почему так близки и понятны нам сегодня лучшие создания лукиановского гения, донесшие через века живой голос ушедшей античности.

И. Нахов

ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА







**СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ
ЖИЗНЬ ЛУКИАНА**

1. Едва только я, достигнув отрочества, перестал ходить в школу, как мой отец принялся со своими друзьями рассуждать, чему же теперь надо учить меня. Большинство было того мнения, что настоящее образование стоит больших трудов, весьма длительно, связано с большими затратами и предполагает блестящее положение; наши же дела плохи, и в скором времени нам может понадобиться поддержка. Вот если бы я выучился какому-нибудь ремеслу, то сразу же начал бы зарабатывать на жизнь и перестал — такой большой парень — сидеть на отцовских хлебах, а вскоре мог бы обрадовать отца, принося ему постоянно свой заработок.

2. Затем был поставлен на обсуждение второй вопрос — о том, какое ремесло считать лучшим: и чтобы легко было выучиться, и чтобы свободному человеку

оно подходило, и чтобы под рукой было все необходимое, и чтобы доход оно давало достаточный. И вот, когда каждый — в соответствии со своим вкусом или опытом — стал хвалить то или другое ремесло, отец, взглянув на моего дядю (надо сказать, что при обсуждении присутствовал дядя, брат матери, считавшийся прекрасным ваятелем), сказал: «Не подобает, чтобы одержало верх какое-либо другое ремесло, раз ты присутствуешь здесь; поэтому возьми его к себе, — он показал на меня, — и научи его хорошо обделывать камень и быть хорошим ваятелем; он способен к подобным занятиям и, как ты знаешь, имеет к этому природное дарование». Отец основывался на игрушках, которые я лепил из воска. Часто, когда учителя оставляли меня в покое, я соскабливал с дощечки воск и лепил из него быков, лошадей или, клянусь Зевсом, даже людей, делая их, как находил отец, весьма прилично. То, за что меня били учителя, стало теперь предметом похвалы и признаком таланта, все были уверены, что раз уж я умел лепить, то в короткое время выучусь ремеслу ваятеля.

3. Наконец настал день, когда показалось удобным начать мое учение, и меня сдали дяде, причем я, право, не очень тяготился этим обстоятельством: я рассчитывал найти приятное развлечение и случай похвастаться перед товарищами, если они увидят, как я делаю изображения богов и леплю различные фигурки для себя и для тех, кто мне нравится. И конечно, со мной случилось то же, что и со всеми начинающими. Дядя дал мне резец и велел осторожно обтесать плиту, лежавшую в мастерской; при этом он привел общеизвестную поговорку: «Доброе начало — половина дела». Когда же я по неопытности нанес слишком сильный удар, плита треснула, а дядя, рассердившись, схватил валявшуюся поблизости палку и совсем не ласково и не вдохновляюще стал посвящать меня в тайны профессии, так что слезы были вступлением к ремеслу.

4. Удрав от дяди, я вернулся домой, беспрестанно всхлипывая, с глазами, полными слез, и рассказал про палку, показывая следы побоев. Я обвинял дядю в страшной жестокости, прибавляя, что он поступил так из зависти, боясь, как бы я не превзошел его в мастерстве. Моя мать рассердилась и очень бранила

брата. К ночи я заснул, весь в слезах и думая о палке.

5. Все, что я до сих пор рассказывал,— смешная, детская история. Но теперь, граждане, вы услышите серьезные вещи, рассчитанные на внимательных слушателей. Ибо, говоря словами Гомера,

в тишине амбросической ночи
Дивный явился мне Сон,—

до того ясный, что он ни в чем не уступал истине. Еще и теперь, много лет спустя, перед моим взором стоят образы, которые я увидел, и сказанное звучит у меня в ушах. Вот до чего все было отчетливо.

6. Две женщины, схватив меня за руки, упорно и сильно тянули каждая к себе, они едва не разорвали меня на части, соперничая друг с другом. То одна осиливала другую и почти захватывала меня, то другая была близка к тому, чтобы завладеть мной. Они громко препирались друг с другом. Одна кричала, что ее соперница хочет владеть мной, тогда как я уже составляю ее собственность, а та — что она напрасно заявляет притязания на чужое достояние. Одна имела вид работницы, с мужскими чертами; волосы ее были грязны, руки в мозолях, платье подоткнуто и перепачкано гипсом, совсем как у дяди, когда он обтесывал камни. У другой же были весьма приятные черты лица, благородный вид и изящная одежда. Наконец они позволили мне рассудить, с которой из них я бы желал остаться.

Первой заговорила грубая и мужеподобная:

7. «Я, милый мальчик, Скульптура, которую ты вчера начал изучать, твоя знакомая и родственница: ведь твой дедушка (она назвала имя отца матери) и оба твои дяди были камнерезами и пользовались немалым почетом благодаря мне. Если ты захочешь пренебречь ее глупыми и пустыми речами (она показала на другую) и решишься последовать за мной и вместе со мною жить, то прежде всего я тебя выращу крепким широкоплечим мужчиной; кроме того, к тебе никто не будет относиться враждебно, тебе никогда не придется странствовать по чужим городам, оставляя отечество и родных, и все станут хвалить тебя не за твои слова, а за дела.

8. Не гнушайся неопрятной внешности и грязной одежды; ведь, начав с этого, знаменитый Фидий явил

людям впоследствии своего Зевса, Поликлет изваял Геру, Мирон добился славы, а Пракситель снискал общее восхищение; и теперь им поклоняются как богам. И если ты станешь похожим на одного из них, как же тебе не прославиться среди всех людей? Ты ведь и отца сделаешь предметом всеобщего уважения, и родина будет славна тобой...» Это и еще многое сказала мне Скульптура, запинаясь и вплетая в свою речь много варварских выражений, с трудом связывая слова и пытаясь меня убедить. Я и не помню остального; большинство ее слов уже исчезло из моей памяти. И вот, когда она кончила, другая начала приблизительно так:

9. «Дитя мое, я — Образованность; со мной ты уже познакомился, хотя и не изведаль полностью. Она торжественно заявила о том, какие блага тебе достанутся, если ты сделаешься камнерезом. Ты станешь простым ремесленником, занятым ручным трудом и возлагающим все надежды на свою силу; ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и недостойный заработок. Ты будешь недалек умом, будешь держаться простовато, друзья не станут искать твоего общества, враги не будут бояться тебя, сограждане — завидовать. Ты будешь только ремесленником, каких много среди простого народа; всегда ты будешь трепетать перед властью имущим и почитать того, кто умеет хорошо говорить; ты станешь влачить зачье существование и сделаешься легкой добычей более сильного. И даже если бы ты оказался Фидием или Поликлетом и создал много дивных творений, то твое искусство все станут восхвалять, но никто из зрителей не захочет уподобиться тебе, если только он в своем уме. Какого бы ты искусства ни достиг, все будут считать тебя ремесленником, мастеровым, живущим трудом своих рук.

10. Если же ты слушаешься меня, то я познакомлю тебя сперва с многочисленными деяниями древних мужей, с их удивительными подвигами; я прочитаю тебе их речи и открою тебе — если так можно выразиться — источник всякого деяния. Я также украшу твою душу — а это в тебе самое главное — многими совершенствами: благоразумием, справедливостью, благочестием, кротостью, добротой, рассудительностью, силой, любовью ко всему прекрасному, стремлением ко всему, достойному почитания. Ведь все это и есть

настоящее, ничем не оскверненное — спасение души. От тебя не останется скрытым ни то, что было раньше, ни то, что совершается теперь, — мало того: с моей помощью ты увидишь и то, что должно произойти в будущем. И вообще все, что существует, и божественные дела и человеческие, я открою тебе в короткий срок.

11. Ныне ты бедняк, сын такого-то, уже почти решившийся отдать себя столь низкому ремеслу, — а немногим спустя ты сделаешься предметом всеобщей зависти и уважения; тебя будут чтить и хвалить, ты станешь знаменит среди лучших людей. Мужи, знатные родом или славные богатством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показала на свою, — а была она роскошно одета), ты будешь удостоен права занимать первые должности в городе и сидеть на почетном месте в театре. А если ты куда-нибудь отправишься путешествовать, то и на чужбине не будешь неизвестен или незаметен: я окружу тебя такими отличиями, что каждый, кто увидит тебя, толкнет своего соседа и скажет «вот он», показывая на тебя пальцем.

12. Если случится что-нибудь важное, касающееся твоих друзей или целого города, все взоры обратятся на тебя. А если тебе где-нибудь придется говорить речь, то почти все будут слушать раскрыв рты, удивляясь силе твоих речей и считая счастливым твоего отца, имеющего такого знаменитого сына. Говорят, что некоторые люди делаются бессмертными; я доставлю тебе также это бессмертие. Если ты даже уйдешь из этой жизни, то все же навсегда останешься среди образованных людей и будешь в общении с лучшими. Посмотри, например, на знаменитого Демосфена — чей он был сын и чем сделала я его. Посмотри и на Эсхина, сына танцовщицы: однако сам Филипп благодаря мне почитал его. Даже Сократ, воспитанный Скульптурой, как только понял, в чем заключается лучшее, сразу же покинул ваяние и перебежал ко мне. А ты ведь сам знаешь, что он у всех на устах.

13. А ты, пренебрегая этими великими и знаменитыми мужами, отвергая блестящие деяния, возвышенные речи, благородный облик, почести, славу, общую хвалу, почетные места в театре, влияние и власть, счастливую возможность обладать красноречием и умом, — ты решаешься надеть какой-то грязный хитон и принять облик, достойный раба. Ты будешь дер-

жать в руках ломик, резец, молоток или долото, склоняясь над работой и живя низменно и в высшей степени смиренно; никогда ты не поднимешь головы, и никогда не придет тебе в голову мысль, достойная свободного мужа, и ты станешь заботиться только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней».

14. Она еще говорила, а я, не дожидаясь конца, встал, чтобы объявить о своем решении, и, оставив первую, безобразную женщину, имевшую вид работницы, радостный пошел к Образованности,— тем более что я вспомнил палку и те удары, которые в немалом числе получил как раз вчера, когда начал учиться ремеслу. Скульптура, которую я оставил, сперва негодовала, потрясая кулаками и скрежеща зубами, а потом застыла и превратилась в камень, как это рассказывают про Ниобу.

Если вам и кажется, что с ней случилось нечто невероятное, не будьте недоверчивы: сны ведь — творцы чудес.

15. Образованность же, взглянув на меня, сказала: «Я теперь воздам тебе за справедливое решение нашего спора. Итак, взойди на эту колесницу,— она показала на колесницу, запряженную крылатыми конями, похожими на Пегаса,— и взгляни, чего бы ты лишился, если бы не последовал за мной». Только я взошел на колесницу, она погнала лошадей и стала править. Поднявшись ввысь, я стал озираться кругом, с востока на запад, рассматривая города, народы и племена, бросая на землю какие-то семена, подобно Триптолему. Теперь я уже не помню, что я, собственно, сеял,— знаю только, что люди, глядевшие снизу, хвалили и прославляли меня, когда я пролетал над ними.

16. Показав мне все это и явив меня самого людям, возносившим мне похвалы, она вернулась со мной обратно, причем на мне была уже не та одежда, в которой я отправился в путь, но, как мне показалось, какое-то роскошное одеяние. Разыскав моего отца, который стоял, ожидая меня, она указала ему на эту одежду и на мое новое обличие и напомнила, какое решение о моей будущности едва не вынесли родители.

Вот что, мне помнится, я увидел, будучи еще подростком,— должно быть, из страха перед палкой.

17. Во время моего рассказа кто-то сказал: «О Геракл, что за сон длинный и пахнувший судебными делами!» А другой подхватил: «Да, сон, достойный зимней поры, когда ночи бывают длиннее всего, и, пожалуй, даже трехночный, как и сам Геракл. Что нашло на него рассказывать нам все это и вспоминать ночь в молодости и старые сны, которые давно уже одряхлели? К чему эти несвежие бредни? Не считает ли он нас за каких-то толкователей снов?» Нет, любезный. Ведь и Ксенофонт как-то рассказывал о своем сне, будто показалось ему, что в отцовском доме вспыхнул пожар и прочее (ты это знаешь); он затронул это не декламации ради, не потому, что ему просто захотелось поболтать, да еще во время войны и в отчаянном положении, когда враги окружили его войско со всех сторон,— но потому, что рассказ этот был в какой-то мере полезен.

18. И вот я теперь рассказал вам о своем сне с той целью, чтобы ваши сыновья обратились к лучшему и стремились к образованию. И кроме того, вот что для меня самое важное: если кто из них по своей бедности умышленно сворачивает на дурной путь и уклоняется в сторону худшего, губя свои природные способности, то он, я совершенно уверен, услышав этот рассказ и взяв с меня добрый пример, наберется новых сил, помня, что я, хотя был таким мелким и ничтожным человеком, возгорелся стремлением к самому прекрасному и, нисколько не испугавшись своей тогдашней бедности, захотел быть образованным, а также увидев, что я теперь вернулся к вам во всяком случае не менее знаменитым, чем любой из камнерезов.





ПОХВАЛА РОДИНЕ

1. Старая это истина, что «нет ничего сладостнее отчизны». В самом деле, разве существует что-либо не только более приятное, но и более священное, более возвышенное, чем родина. Ведь всему, что люди считают священным и исполненным высокого смысла, научила их родина, ибо она дает им жизнь, вскармливает и воспитывает их. Пусть многих восхищает могущество и великолепие чужих городов, пышность строений, зато все любят отечество. Многие наслаждались — и даже слишком — созерцанием бесчисленных чудес в чужих краях, но никто не был настолько обольщен их обилием, чтобы забыть родину.

2. По-моему, каждый, кто гордится тем, что он гражданин богатого города, не знает истинного смысла любви к отчизне; ясно, что такой человек стал бы скорбеть душой, достанься ему в удел родина поскромнее.

Мне же приятнее чтить само слово «отчизна». Тот, кто станет сравнивать между собой разные города, пусть сопоставит их величину, красоту, изобилие в них товаров. Но когда нужно сделать среди городов выбор, никто, пожалуй, не отдаст предпочтения самому великолепному из них, пренебрегая отчизной; нет, он будет молить богов о том, чтобы родина сравнилась богатством с другими городами, но выберет только ее, какой бы она ни была.

3. Так же поступают добрые сыновья и справедливые отцы. Прекрасный и благородный юноша не предпочтет родному отцу чужого человека, а истинный отец не полюбит чужое дитя, пренебрегая родным. Полные любви к своим детям, отцы отводят им особое место среди всех прочих, и им кажется, что их сыновья самые красивые, самые сильные, самые безупречные. И мне думается, каждый, кто иначе судит о своем сыне, смотрит на него не отцовскими глазами.

4. Нет слова ближе и дороже, чем слово «отчизна», как нет для нас ничего дороже отца. Если юноша полон должного почтения к отцу (таково повеление закона и природы), разве он тем самым не почитает и родину? Ведь и отец его — частица родины, и отец отца, и все предки, пращуры и отчие боги, до чьих имен мы дойдем, поднимаясь от поколения к поколению.

5. Сами боги любят свою родину: как им и подобает, они наблюдают за людскими делами, считая всю землю и море своим владением; однако среди всех городов каждый из бессмертных больше всего почитает тот, в котором появился на свет.

Конечно, города, где родились боги, особенно священны, и благословенны острова, на которых празднуется рождение богов. Даже жертвы, которые человек приносит, приехав на родину бога, считаются угодными небожителям. И если имя отчизны дорого самим богам, то как же людям не дорожить родиной особенно сильно?

6. Ведь и Солнце каждый человек увидел впервые на родине. И хотя Солнце — общий бог всех людей, каждый считает его отчим, так как в первый раз поднял на него взор с родной земли; и говорить каждый начал в отчем краю, раньше всего научившись лепетать на родном языке, и там же познал богов.

Если же человеку в удел досталась родина, из которой ему приходится уехать в чужие края для приобретения больших познаний, то пусть будет он благодарен отчизне и за скромную науку: ведь он не знал бы даже слова «город», если бы на родине не постиг, что существуют города.

7. Я думаю, что все навыки, все знания люди накапливают для того, чтобы принести больше пользы родине; и богатства они умножают из честолюбивого стремления истратить их для блага отчизны. И по-моему, они правы: не следует быть неблагодарным, получив такие великие блага. Ведь если мы благодарны одному человеку, который сделал нам добро (так требует справедливость), то гораздо больше должны мы платить родине подобающей ей любовью.

В городах существуют постановления, карающие дурное обращение с родителями; родину же следует считать общей для всех матерью и приносить ей дары в знак признательности за то, что она вскормила и вспоила людей и дала им знание законов.

8. Никому еще не довелось увидеть человека, настолько забывшего родину, чтобы не думать о ней в чужой земле. Те, чьи дела на чужбине складываются неудачно, в один голос восклицают, что родина — самое великое из благ. И даже преуспевающие считают, что при всем их благоденствии им не хватает главного, ибо они живут не на родине, а в чужой стране. В жизни на чужбине есть даже доля бесчестия. И часто можно наблюдать, как те, кто, живя на чужой земле, прославился, приобрел большие богатства или снискал почет и всеобщее признание подлинным мужеством или обширными знаниями, всей душой стремится на родину, словно не находя в чужих краях свидетелей, достойных оценить их успех. И чем большей славы достиг человек в другой стране, тем сильнее он рвется в объятия родины.

9. Родина желанна для юношей. Но у стариков тяга на родину настолько же сильнее, насколько сами они мудрее молодых. Каждый старец стремится и желает окончить жизнь там же, где начал ее, и сложить свой прах во вскормившую его землю, и разделить отчую гробницу.

10. Лишь по коренным жителям ты сможешь судить, с каким благоговением относятся к родине подлинные ее уроженцы. Иноземцы же, словно незакон-

норожденные, с легкостью переселяются, то ли не ведая слова «отечество», то ли не дорожа им, считая, что всюду они сыщут себе пропитание, они измеряют благополучие радостями желудка. Тем, кому отечество — мать, дорога сама земля, на которой они родились и возмужали, даже если земля эта не обширна, «камениста и скудна плодородною почвой». И даже если нелегко найти, за что хвалить землю, — все же не будет у них недостатка в похвалах родной стране. А услышав, как иноземцы похваляются широкими равнинами и лугами, изобилием всевозможных растений, они и тут не преминут воздать хвалу своей родине; пренебрегая землей, вскармливающей коней, они восславят землю, «питающую добрых юношей».

11. Каждый человек стремится на родину: даже если он островитянин и если чужая сторона сулит ему вечное блаженство, он не примет предлагаемого бессмертия, предпочитая ему погребение в родной земле. И дым отечества покажется ему светлее огня на чужбине.

12. Кажется, отчизна столь дорога всем людям, что законодатели повсюду высшей мерой наказания за величайшие преступления положили изгнание. И не только законодатели, но и полководцы, ободряющие войско, держатся того же мнения: ведь в сражениях самый великий призыв для стоящих в строю — призыв идти в бой за отчизну. И никто, услышав его, не захочет оказаться недостойным, ибо и в робкого вселяет мужество слово «родина».





**ЧЕЛОВЕКУ, НАЗВАВШЕМУ МЕНЯ
«ПРОМЕТЕЕМ КРАСНОРЕЧИЯ»**

1. Итак, ты называешь меня Прометеем. Если за то, что мои произведения — тоже из глины, то я признаю это сравнение и согласен, что действительно схож с образцом. Я не отказываюсь прослыть глиняных дел мастером, хотя глина у меня и похуже, это почти что грязь с большой дороги. Но если ты хотел превознести сверх меры мои речи, будто бы за их искусное построение, и с этой целью, говоря о них, произнес имя мудрейшего из титанов, то смотри, как бы не сказали люди, что скрываются в твоей похвале ирония и чисто аттическая насмешка. В самом деле, откуда моим созданиям быть такими уж искусными? Что за избыток мудрости и прометеевской прозорливости в моих сочинениях? С меня довольно было бы и того, что они не показались тебе созданными из праха и вполне заслуживающими Кавказского утеса. А между тем куда

справедливее было бы сравнить с Прометеем вас, кто прославился невымышленными состязаниями в судах. Ибо воистину живут и дышат ваши создания, и, клянусь Зевсом, насквозь проникнуты они огненным жаром. Вот их можно возводить к Прометею, с одной только, может быть, разницей: вы лепите не из глины, а большей частью из чистого золота.

2. Мы же, выступающие перед толпой и предлагающие слушателям наши чтения, показываем какие-то пустые призраки. Все это — только глина, как я сейчас говорил, куколки вроде тех, что лепят продавцы игрушек. Нет в моих произведениях ни подобия движения, ни признака души; праздная забава, игра — вот наше дело. И потому я начинаю думать, уж не в том ли смысле ты назвал меня Прометеем, в каком прозвал так же Клеона комический поэт. Помнишь? Он говорит про него: «Клеон — что Прометей, когда вершит дела». Да и сами афиняне имеют обыкновение «Прометейями» звать горшечников, печников и всех вообще глиняных дел мастеров, насмешливо намекая на глину и, очевидно, на обжиганье сосудов в огне. Вот если это ты хотел сказать своим «Прометеем», то твоя стрела пущена чрезвычайно метко и напоена едкостью чисто аттической насмешки, потому что наши творения хрупки, как горшочки у всех этих гончаров: стоит кому-нибудь бросить маленький камешек — и все горшки разлетятся вдребезги.

3. А впрочем, может быть, кто-нибудь скажет в утешение, что ты сравнил меня с Прометеем не в этом смысле, а лишь из желания похвалить новизну моих работ и отсутствие в них подражания какому-нибудь образцу, — потому что и Прометей точно так же выдумал людей, дотоле еще не существовавших, и вылепил их, придав этим существам такой вид и устройство членов, чтобы они были легки в движениях и приятны на вид. В целом этот художественный замысел принадлежит ему самому, но частично сотрудничала также Афина, вдохнувшая жизнь в глину и вложившая душу в изваяния. Вот как мог бы сказать человек, чтобы истолковать в лучшую сторону произнесенное тобой слово. И может быть, таков был действительно смысл сказанного. Но я отнюдь не удовлетворюсь тем, что мои произведения кажутся новыми, что никто не может назвать какого-нибудь древнего образца, от которого они ведут свое происхождение. Нет, если в них не будет видно изящества, — я сочту свои произведе-

ния, будь уверен, позором для себя и, растоптав, уничтожу. И новизна, если она безобразна, не поможет — в моих глазах по крайней мере — и не спасет их от истребления. По-моему, стоило бы отдать меня на растерзание шестнадцати коршунам, если бы я держался иных мыслей, зная, что безобразие еще более безобразно в сочетании с необычностью.

4. Так, Птоломей, сын Лага, привез в Египет две диковины: бактрийского верблюда, совершенно черного, и двуцветного человека, у которого одна половина была безукоризненно черной, а другая — до чрезвычайности белой, причем человек окраской был разделен как раз пополам. Созвавши египтян в театр, Птоломей провел перед их взорами много всякой всячины, а напоследок показал и эти чудеса — верблюда и полубелого человека, думая, что присутствующие будут поражены этим зрелищем. Но зрители верблюда просто испугались и едва не убежали, повскакав со своих мест, хотя животное было сплошь украшено золотом и покрыто пурпурной тканью, а узда, усыпанная драгоценными камнями, была, может быть, сокровищем Дария, Камбиза или самого Кира. Что же касается человека, то большинство разразилось хохотом, некоторые же проявляли отвращение, видя в нем нечто чудовищное. Тогда Птоломей понял, что не имел успеха со своими диковинками, что новизна не вызывает в египтянах удивления и что выше новизны они ставят соразмерность частей и красоту целого.

Убрав новинки, Птоломей уже не придавал человеку той цены, что раньше; верблюд, оставленный без ухода, окошел, а двуцветного человека Птоломей подарил флейтисту Феспиду за его прекрасную игру во время попоек.

5. Вот я и боюсь, не получается ли у меня птоломеевский верблюд: может быть, люди дивятся только уздечке да пурпурной накидке. Если мое произведение слагается из двух частей — диалога и комедии, которые сами по себе прекрасны, — этого еще недостаточно для красоты целого, ибо и само оно должно быть гармоничным и соразмерным. Ведь и две прекрасные вещи могут в соединении дать нечто чудовищное, — взять хотя бы, чтобы недалеко ходить, кентавров: вряд ли кто-нибудь назовет эти существа привлекательными; напротив, они в высшей степени дики, если верить живописцам, изображающим их пьяные бесчинства и убийства. И обратно: разве не может

произойти из сложения двух превосходных вещей прекрасное целое? Например, приятнейшая смесь, составленная из вина и меда? Но заявляю: я отнюдь не имею притязаний, будто именно таковы мои произведения; напротив, я опасаюсь, как бы смешение не погубило красоты обеих составных частей.

6. Надо сознаться, что сначала диалог и комедия были не очень близки и дружны между собою: первый заполнял собою досуг домашнего уединения, а равно и прогулки с немногими друзьями, вторая, посвятив себя Дионису, подружилась с театром; играла, шутила, подсмеивалась, выступала размеренным шагом, иногда под звуки флейты, и вообще, обычно уносимая легкими анапестами, издевалась над сторонниками диалога, величая их любителями высоких материй и гуляками заоблачными и тому подобными прозвищами. Комедия поставила своей единственной целью высмеивать их, изливая на них всю свою вакхическую свободу, выводя философов то шагающими по воздуху и ведущими беседы с облаками, то измеряющими блошинные прыжки, и тем намекала, конечно, на то, что они-де занимаются неземными тонкостями. Напротив, диалог создавал величавые беседы, философствуя о природе и добродетели. Таким образом, говоря языком музыки, диалог и комедия звучат как самый высокий и самый низкий тона, разделенные дважды полною гаммой. И все же я дерзнул соединить и согласовать столь далекие друг другу роды искусства, хотя они были не очень податливы и с трудом шли на такое соглашение.

7. Итак, я боюсь, как бы не оказалось снова, что я поступил подобно твоему Прометею, примешав к мужскому женское, и не навлек бы я тем самым на себя обвинения. А еще больше боюсь другого: быть может, мои слушатели сочтут меня Прометеем, ибо я обманул их и подсунил им кости, прикрытые туком, то есть преподнес комический смех, скрытый под философической торжественностью. Только одного — воровства, ибо Прометей является божественным покровителем и воровства, — только этого не подозревай в моих сочинениях. Да и кого бы я мог обокрасть? Разве только одно: может быть, я не заметил, что кто-то еще до меня тоже складывал таких же чудовищ: рыбоконей и козлооленей. А впрочем, что же делать? Нужно продолжать то, что начал: ведь изменять начатому — дело не Прометей, а Эпиметей.



**ГЕРМОТИМ,
ИЛИ
О ВЫБОРЕ ФИЛОСОФИИ**

1. **Ликий.** Судя по книжке в руках и быстрой походке, похоже на то, что ты спешишь к учителю, Гермотим. Я видел: ты что-то обдумывал на ходу и губами пошевеливал, тихонько приговаривая, и рукою вот так и этак двигал, точно слагал про себя какую-то речь. Дело ясное: ты придумываешь какой-то своему собеседнику крючковатый вопрос или повторяешь про себя некое хитроумное рассуждение — и все-то тебе некогда; даже когда шагаешь по дороге, всегда ты занят каким-то спешным делом и самую дорогу превращаешь в учение.

Гермотим. Клянусь Зевсом, Ликий, так это и есть. Я обдумывал снова вчерашнюю беседу с учителем и то, что он говорил нам, перебирая в памяти каждое слово. И я думаю, что всякое время и место удобны для тех, кто знает истину, высказанную коским

врачом: «Жизнь коротка, а наука долга». А ведь он говорил это о врачевании, об искусстве гораздо более легком; философию же не одолеть и в долгий срок без напряженного, непрерывного бдения, без внимательного и неустрашимого созерцания ее. Право же, стоит отважиться, ибо дело идет не о малом: погибнуть ли жалко, затерявшись в невежественной толпе, или — стать философом и достигнуть блаженства.

2. **Л и к и н.** Чудесная, конечно, Гермотим, награда за подвиг. И я вполне уверен, что ты недалек от нее, если позволительно судить по тому, сколько времени ты философствуешь, и еще по тому неумеренному, на мой взгляд, труду, который ты уж так давно несешь. Насколько ведь я припоминаю, прошло уже почти двадцать лет, как я вижу тебя занятым все одним и тем же делом: бродишь по учителям или сидишь, уткнувшись в книжку, да переписываешь свои заметки к их беседам, всегда бледный от размышлений и весь иссохший. Мне кажется, что и сон-то к тебе никогда не приходит, до такой степени ты весь ушел в свои занятия. Вот, поскольку я это вижу, мне и думается, что скоро ты поймешь свою блаженную долю, если только ты не сочетался с нею уже давно, тайком от нас.

Гермотим. Откуда же, Ликин? Я только сейчас начинаю внимательно рассматривать мой путь. А Добродетель живет очень далеко, как говорит Гесиод, путь к ней и долог, и крут, и кремнист, и стоит для путников немало пота.

Л и к и н. Неужели же еще недостаточно ты пропотел и отшагал, Гермотим?

Гермотим. Да, недостаточно: ведь мне ничто не мешало, и сейчас я мог бы уже достигнуть вершины и полного блаженства — а я, Ликин, вот еще только в начале пути.

3. **Л и к и н.** Ну, про начало тот же самый Гесиод сказал, что оно — половина всего дела; значит, мы не ошибемся, сказавши, что ты уже на середине своего восхождения.

Гермотим. О нет, еще нет: как это было бы много!

Л и к и н. Где же ты сейчас? В каком месте пути? Не знаешь, что и сказать?

Гермотим. Ликин! Говори, что я еще внизу, у подошвы, только силюсь выступить в путь, а путь сколь-

зкий и каменистый, на котором нужна поддержка дружеской руки.

Л и к и н. Ну, чтобы сделать это, хватит тебе твоего учителя! Как гомеровский Зевс, он спускает вниз с вершины златую цепь своих речей и на них тащит тебя неуклонно кверху, вознося к себе и к Добродетели — туда, куда сам уже давно взошел.

Гермотим. Так все и есть, Ликин, как ты сейчас сказал. И что до него, то он, конечно, давно бы уже втащил меня на вершину, и я был бы с ними. Но сам я еще не готов.

4. Л и к и н. Не беда; надо быть смелым и сохранять бодрое настроение, имея в виду конечную цель пути и блаженство, которое ждет наверху, особенно при усердной поддержке этого человека. А когда же все-таки, в конце концов, он подаст тебе надежду взойти наверх? Как он предполагает: к новому году будешь ты на вершине? Примерно после мистерий или по окончании панафинейских праздников?

Гермотим. Слишком скоро ты хочешь, Ликин.

Л и к и н. Ну, к следующей олимпиаде?

Гермотим. И это скоро, чтобы усовершенствоваться в Добродетели и стяжать блаженство.

Л и к и н. Так через две олимпиады — это уже обязательно. А то придется признать вас большими лентяями, если вы не управитесь даже и в этот срок, за который легко было бы трижды дойти от Геракловых столпов до Индии и вернуться обратно, — и не то что прямым путем, без всяких задержек, а еще и постранствовать среди живущих по дороге народов. Однако что же это за гора, на которой обитает ваша Добродетель? Насколько, по-твоему, следует считать ее выше и глаже, чем та вершина Аорна, которую Александр занял с боем в несколько дней?

5. Гермотим. Ни малейшего сходства, Ликин. И самое дело это не таково, как полагаешь ты, чтобы совершить его в малое время; гору не взять силой, хотя бы тысячи Александров двинулись на приступ: иначе многие доходили бы доверху. Ныне же немало людей очень крепких начинают подъем и проходят какое-то расстояние — одни очень немного, другие — побольше. Но, подходя к половине дороги, они наталкиваются на множество опасностей и затруднений, приходят в отчаянье и поворачивают обратно, задыхаясь, обливаясь

потом, не вынеся тяжести пути. Те же, кто будет стоек до конца, достигают вершины и с этой поры становятся блаженными; они живут отныне такою чудесною жизнью, и муравьями кажутся им с высоты виднеющиеся внизу люди.

Л и к и н. Ай-ай-ай, Гермотим, какими, однако, ты насставляешь: не пигмеями даже, а просто ползунами, роющимися в земле. Что ж, оно и понятно: высоко ты летаешь мыслью, свысока и глядишь. А мы — жалкое отребье, ползающее по земле, — вместе с богами вознесем свои моления и к вам, ставшим заоблачными и поднявшимся туда, куда так долго стремились.

Г е р м о т и м. Ах, Ликин, если бы это восхождение уже свершилось! Но оно еще все впереди.

6. Л и к и н. А все-таки ты так и не сказал, какой же срок, сколько времени оно займет.

Г е р м о т и м. Да потому, что точно я и сам этого не знаю, Ликин. Предполагаю, однако, что не более двадцати лет, по прошествии которых мы, во всяком случае, очутимся на вершине.

Л и к и н. Гермотим! Срок большой!

Г е р м о т и м. Но велика ведь и цель, Ликин, ради которой мы несем труды.

Л и к и н. Это, конечно, верно... Но вот относительно двадцати лет: учитель твой, что ли, будучи не только мудрецом, но и пророком, ниспослал тебе обещание, что ты проживешь столько времени? Или какой-нибудь предсказатель? Или кто-нибудь, сведущий в халдейской науке? Ведь не стоит же тебе возлагать на себя столь великие труды втемную, не зная, доживешь ли ты до Добродетели-то; и не стоит мучиться денно и ночью, если неизвестно, не предстанет ли тебе судьба, когда ты будешь уже совсем близок к вершине, и не стащит ли она тебя вниз, ухватив за ногу, прочь от несбывшейся надежды.

Г е р м о т и м. Перестань, Ликин: твои слова зловещи. Я готов всю жизнь положить на то, чтобы один только день побыть блаженным и мудрым.

Л и к и н. И тебя удовлетворит, в награду за все усилия, этот единственный день?

Г е р м о т и м. Меня удовлетворит любой самый короткий срок.

7. Л и к и н. Хорошо! А о том, что на вершине такое блаженство, ради которого можно было бы претерпеть

что угодно,— об этом откуда ты знаешь? Ведь сам ты, наверное, еще не бывал наверху?

Гермотим. Не бывал, но верю словам учителя; а он, уже достигший вершины, знает о том очень хорошо.

Ликин. Ради богов, что же он рассказывал? Что там делается? В чем состоит блаженство? Поди, что в богатстве, в славе и в удовольствиях, которым нет равных?

Гермотим. Умолкни, мой друг! Все это прах пред лицом Добродетели.

Ликин. Тогда что же он говорит? Какие блага — если не эти — получают подвижники, прошедшие путь до конца?

Гермотим. Эти блага — Мудрость и Смелость, сама Красота и сама Справедливость и твердое, уверенное Знание всех вещей в их подлинной сущности. А разные там богатства, славу, наслаждения — все вообще, что связано с телом,— человек оставляет внизу и обнаженным восходит кверху; так, говорят, и Геракл, предав себя сожжению на Эте, сделался богом. И он сбросил с себя все человеческое, полученное от матери, а его божественное начало, отделившееся в огне от всяких примесей, очищенным вознеслось к богам. Вот и этих людей философия, как некий огонь, освобождает от всего того, что неправильное суждение толпы считает удивительным; и, взойдя на вершину, они ведут там блаженную жизнь, а о богатстве, славе и наслаждениях даже и не вспоминают больше, и смеются над теми, кто думает, будто все это действительно существует.

8. Ликин. Клянусь сторевшим на Эте Гераклом, Гермотим, в твоих речах мужественны эти люди и блаженны. Однако скажи мне вот что: спускаются они иногда, если захочется, со своей вершины — попользоваться тем, что оставили внизу, или, раз поднявшись, навеки должны пребывать здесь, сочетавшись с Добродетелью и осмеивая богатства, славу и наслаждения?

Гермотим. Гораздо больше того, Ликин: тот, кто достиг совершенства в Добродетели, уже не может быть рабом гнева, страха, желаний; ему чуждо огорчение, и он уже не способен больше страдать от подобных страстей.

Л и к и н. Однако... если сказать правду, без всяких стеснений... Но нет... Замкну уста мои и не стану судить нечестиво о деяниях мудрых.

Г е р м о т и м. Да нет же! напротив: говори все, что угодно.

Л и к и н. Но видишь ли, друг мой, уж на что я... — а вот никак не решаюсь.

Г е р м о т и м. А ты решишь, дорогой мой: ты ведь только со мной говоришь.

9. Л и к и н. Ну хорошо! Пока ты, Гермотим, рассуждал о других вещах, твои слова убеждали меня и я верил, что так оно и есть: что и мудрыми-то они становятся, и смелыми, и справедливыми, и прочее. Я был прямо-таки очарован твоей речью. Но когда ты сказал, что они презирают и богатство, и славу, и наслаждения, что они не знают ни гнева, ни печали, вот тут я — ну, мы ведь одни, — тут я сильно споткнулся, вспомнив, что третьего дня видел, как он... сказать кто? Или лишнее?

Г е р м о т и м. Нисколько не лишнее. Договаривай: кто же он?

Л и к и н. Да этот самый, твой учитель, муж вообще достопочтенный и в годах уже весьма преклонных.

Г е р м о т и м. Итак, что же он делал?

Л и к и н. Знаешь ли ты этого, нездешнего, из Гераклеи, который давно уже занимался с ним философией в качестве ученика? Светловолосый такой, большой спорщик?

Г е р м о т и м. Я знаю, о ком ты говоришь: Дион — его имя.

Л и к и н. Он самый. Так вот, недавно плату он, что ли, не принес своевременно — только старик закрутил ему шею плащом и свел к архонту, с криком, с бранью. И, право, если бы не вмешались кое-какие друзья и не отняли у него из рук юношу, — я уверен, тот набросился бы на него и отгрыз бы ему нос, даром что старик: до такой степени он обозлился.

10. Г е р м о т и м. И понятно: тот всегда был негодяем и нечестен в расплате. Ведь учитель ссужает многих, — и никогда ни с кем из них он еще так не поступал, оттого что они вовремя уплачивают ему проценты.

Л и к и н. Ну, мой милый, а если не выплатят, тогда что? И какое ему до этого дело, если он уже очищен

философией и ничуть не нуждается в том, что оставил на Эте?

Гермотим. Значит, по-твоему, он хлопочет обо всем этом из собственных выгод? Совсем нет: у него дети маленькие. Это о них он заботится, чтобы им прожить, не зная нужды.

Ликин. Нужно, Гермотим, и их возвести к Добродетели, да блаженствуют вместе с ним, предавая осмеянию богатство.

11. Гермотим. Некогда мне, Ликин, поговорить с тобою об этом: уже пора, тороплюсь; надо послушать его, а то и сам не заметишь, как совсем отстанешь.

Ликин. Не бойся, дружище: дело в том, что на сегодня объявлено перемирие. И вот я освобождаю тебя от оставшейся части пути.

Гермотим. Что ты говоришь!

Ликин. Говорю, что сейчас тебе не увидеться с ним,—если, конечно, верить объявлению. Я видел: при входе висела дощечка, которая гласила крупными буквами: «Сегодня философствовать не будем». Говорят, он вчера славно пообедал у Евкрата — у того были гости по случаю дня рождения дочери; за столом он много философствовал и за что-то рассердился на перипатетика Евтидема: разошелся с ним во взглядах на те вопросы, по которым перипатетики обычно выступают против стоиков; от крика у него в голове помутилось, и, кроме того, он крепко вспотел, так как вечеринка, говорят, затянулась до полуночи. К тому же выпил он, я думаю, больше, чем нужно, так как присутствующие, по обыкновению, произносили здравицы, да и пообедал не по возрасту плотно. По возвращении его, говорят, сильно рвало; дома он только пересчитал куски мяса, которые передавал во время обеда стоявшему сзади мальчику, тщательно все переметил и тотчас лег спать, приказав никого не принимать. А слышал я это от его слуги Мида, который рассказывал о происшедшем кое-кому из учеников; я видел многих из них, как они тоже поворачивали домой.

12. Гермотим. Но кто же одержал верх, Ликин: учитель или Евтидем? Не говорил ли Мида и об этом чего-нибудь?

Ликин. Сначала, говорят, силы их оказались равными, но в конце победа склонилась на вашу сторону,

и большой перевес остался за твоим стариком. Так что для Евтидема, говорят, дело даже не обошлось без крови, и он ушел с большущей раной на голове. Все потому, что он оказался хвастуном: начал обличать, не желая соглашаться, и сам не сдавался легко на опровержения. И тут-то твой почтенный учитель схватил свой кубок, вроде кубка Нестора, и двинул им того, возлежащего по соседству. Этим и победил.

Гермотим. И хорошо сделал! Иначе и нельзя было с теми, кто хочет равняться с лучшими.

Ликин. Совершенно правильное рассуждение, Гермотим. Ведь, из-за чего, спрашивается, этот Евтидем взял и рассердил старца, человека спокойного, умеющего обуздывать свой гнев, да еще с таким тяжелым кубком в руках?

13. Но вот что: делать нам сейчас нечего,— почему бы тебе не рассказать своему приятелю, то есть мне, что подвинуло тебя впервые на занятия философией? Да пойду отныне и я, если еще возможно, одною дорожкой с вами. Ибо я уверен, что вы, мои друзья, не отрицаете меня.

Гермотим. Только захоти, Ликин, и очень скоро увидишь, как непохож ты станешь на других. Будь уверен, что все тебе будут казаться ребятами по сравнению с тобой, так высоко ты будешь ценить себя самого.

Ликин. С меня довольно, если через двадцать лет я смогу стать таким, каков ты сейчас.

Гермотим. Будь покоен: я и сам приступил к занятиям философией в твоём возрасте — под сорок лет, тебе ведь сейчас, я полагаю, около того?

Ликин. Как раз столько, Гермотим. Итак, возьми меня с собой и веди тем же путем, ибо это — правый путь! Но прежде всего скажи мне: даёте вы ученикам право возражать, если что-нибудь из сказанного покажется им неправильным, или новичкам вы этого не разрешаете?

Гермотим. Конечно, нет. Но ты, если захочется, задавай время от времени вопросы и возражай, потому что таким образом ты скорее научишься.

Ликин. Прекрасно, Гермотим,— сам Гермес свидетель, именем которого ты как раз прозываешься.

14. Скажи, однако: одна только и есть дорога, ведущая к философии,— ваша, стоическая,— или правду мне говорили, что много есть других направлений?

Гермотим. Очень много: перипатетики, эпикурейцы и те, что идут под вывеской Платона, и такие, что являются ревнителями Диогена и Антисфена, и еще — возводящие себя к Пифагору, и множество других.

Ликин. Значит, правду я слышал: действительно много. И что же, Гермотим, все они говорят одно и то же или разное?

Гермотим. И очень даже разное.

Ликин. Но, во всяком случае, истиной-то, я полагаю, является какое-нибудь одно из них, а не все, так как они различны?

Гермотим. Само собою разумеется.

15. Ликин. Объясни же мне в таком случае, друг мой: на что ты полагался тогда, в самом начале, когда только пошел, чтобы заниматься философией? Перед тобою было распахнуто настежь множество дверей, но ты прошел мимо остальных, подошел к двери Стои и решил, что через нее должно входить к Добродетели, ибо только она одна — истина и укажет прямой путь, другие же заводят в тупик и в слепоту. Какими признаками ты тогда руководился? И, пожалуйста, забудь сейчас нынешнего себя, вот этого, то ли полумудреца, то ли уже настоящего мудреца, который может решать вопросы лучше, чем большинство из нас. Нет, отвечай так, как будто ты обыкновенный человек, каким был тогда и каким я являюсь сейчас.

А между тем я вовсе не задаю тебе хитроумных вопросов. Дело вот в чем — философов много. Платон, например, Аристотель, Антисфен и ваши прародители, Хрисипп и Зенон, и не знаю, сколько еще других... На чем же основал ты свое решение, если, отвергая остальных и выбрав из всего именно то, что выбрал, ты считаешь, что философия должна идти по этому пути? Пифиец, что ли, направил тебя, как Херефонта, к стоикам, указав на них как на лучших? У него ведь такой обычай: обращает одного к тому, другого к этому виду философии, зная, по-видимому, какой кому подходит.

Гермотим. Да ничего подобного, Ликин: я даже не вопрошал бога об этом.

Ликин. Почему же? Полагал, что это дело недостойно божественного совета, или просто считал себя способным самостоятельно, без содействия бога, выбирать, что получше?

Гермотим. Ну да, считал способным.

16. Ликин. Так, быть может, и меня ты прежде всего научишь, как с самого же начала отличить наилучшую философию, которая ведет к истине и которую надо избрать, оставив в стороне все другие?

Гермотим. Изволь, я скажу: я видел, что большинство стремится к ней, и предположил поэтому, что она лучше.

Ликин. Насколько же именно их было больше, чем эпикурейцев, платоников и перипатетиков? Ты ведь, наверно, подсчитал их, как при голосовании.

Гермотим. И не думал я подсчитывать, — я предполагал.

Ликин. Обманываешь ты меня, не хочешь научить: уверяешь, что такое важное решение ты строил на кажущемся большинстве, а правду мне не говоришь, скрываешь.

Гермотим. Не на одном этом, Ликин, но и на том, что слышал отовсюду: что эпикурейцы добродушны и падки до удовольствий, перипатетики корыстолюбивы и большие спорщики, платоники надменны и честолюбивы; о стоиках же я от многих слышал, что они люди мужественные и все знают, и что только идущий их путем — царь, только он — богач, только он — мудрец и все, что угодно.

17. Ликин. Наверно, это говорили тебе о них другие; ведь если бы они сами стали расхваливать собственное учение, ты вряд ли поверил бы им.

Гермотим. Ни в коем случае; но другие говорили это.

Ликин. Однако их противники, естественно, этого не говорили. А они-то и были философы иных направлений.

Гермотим. Не говорили, нет.

Ликин. А значит, говорили это люди, не причастные к философии.

Гермотим. И притом усиленно.

Ликин. Вот видишь: ты опять меня обманываешь и говоришь неправду. Ты думаешь, что разговариваешь с каким-то Маргитом — дурачком, способным поверить, будто Гермотим, человек умный и уже в ту пору лет сорока от роду, в вопросе о философии и философам доверился людям, к философии не причастным, и на основе их слов учинил свой выбор, признав

их наилучшими судьями. Ни за что тебе в этом не поверю, сколько бы ты ни говорил.

18. Гермотим. Знаешь, Ликин, я не только другим верил, но и себе самому: я видел философов, как скромно они выступали в красиво накинутах плащах, всегда рассудительные, мужественные видом, большинство — коротко остриженные; в одежде у них — никакой роскоши, а с другой стороны, нет и того излишества безразличия, которое било бы в глаза, как у настоящих киников. Нет, эти философы держатся той середины, которую все признают наилучшей.

Ликин. Я только что рассказывал о поступках твоего учителя, которые видел своими глазами. Ты видел, конечно, и такие дела философов? Знаешь, как они дают под проценты и как горько приходится должникам? Как вздорно ссорятся на попойках? И все остальное, что бросается в глаза? Или тебя это мало касается, до тех пор пока плащ прилично закинут, борода отпущена по пояс и голова коротко острижена? Итак, мы должны впредь применять, как говорит Гермотим, в этих делах точный уровень и отвес и распознавать лучших людей по наружности, по их походке и стрижке. И кто не подойдет под эту мерку, у кого не будет мрачного вида и озабоченности на лице, — за того мы не подадим своего голоса, долой его! Ой, смотри, Гермотим!

19. Ты опять подшучиваешь надо мной — пробуешь, замечу ли я обман.

Гермотим. Что тебе вздумалось говорить так?

Ликин. Потому что, добрейший, ты предлагаешь мерку, которая годится для статуй: судить по наружности. Конечно, по внешнему виду и по складкам плаща гораздо красивее статуи какого-нибудь Фидия, Алкамена или Мирона, искусного в изображении красоты. И если надлежит судить прежде всего по этим признакам, то что же делать слепому, которому захотелось бы заняться философией? Как отличит он сделавшего лучший выбор, если он не может увидеть ни наружности, ни походки?

Гермотим. Но я ведь говорю не для слепых, Ликин, и мне нет до них никакого дела.

Ликин. Дорогой мой, все же следовало бы установить какой-то общий признак для этих великих людей и для прочих. Впрочем, если хочешь, пусть слепые останутся у нас вне философии, раз они не видят, —

хотя им-то было бы всего нужнее философствовать, чтобы не слишком чувствовать тяжесть своего несчастья,—но ведь и зрячие, будь они даже чрезвычайно зоркими,—как смогут они охватить взором качества души человека, основываясь на этой совершенной внешней оболочке?

20. А в общем, я хочу сказать следующее: не в том ли дело, что ты подходил к ним, любя человеческую мысль и стремясь стать сильнее в сфере мысли?

Гермотим. Как раз в этом.

Ликин. Итак, неужели ты мог по указанным тобой признакам различить, правильно ли кто философствует? Подобные действия не так-то легко выступают наружу; они ведь нечто сокровенное, пребывающее в темноте, и лишь поздно открываются в словах, беседах и соответствующих делах, да и то с трудом. Я думаю, ты слышал рассказ про Мома, как он упрекал Гефеста? А если не слышал, так послушай теперь. Предание гласит, что Афина, Посейдон и Гефест поспорили однажды, кто из них искусней. И вот Посейдон сотворил быка, Афина изобрела дом, Гефест же устроил человека. Когда они пришли к Мому, которого выбрали судьей, тот осмотрел их произведения и в каждом нашел недостатки; о двух первых произведениях говорить, пожалуй, не стоит. Человек же вызвал его издевательство и навлек порицание на своего творца, Гефеста, тем, что в груди у человека не было устроено дверцы, которая, открываясь, позволила бы всем распознать, чего человек хочет, что он замышляет, лжет ли он или говорит правду. Вот как думал о людях Мом — потому, конечно, что слаб был глазами; ты же у нас, как кажется, зорче самого Линкея, видишь насквозь, что делается в груди. Перед тобою все до такой степени раскрыто, что ты не только знаешь мысли и желания каждого, но можешь судить, у кого они лучше, у кого — хуже.

21. Гермотим. Ты шутишь, Ликин. Я же с божьей помощью сделал свой выбор и не раскаиваюсь в нем. Довольно и этого с меня.

Ликин. Однако, дружище, ты так-таки ничего мне и не скажешь? Ты будешь равнодушно глядеть, как я погибаю окончательно в презренной толпе?

Гермотим. Но что же делать: ни одно мое слово тебя не удовлетворяет.

Л и к и н. Вовсе нет, мой милый: это ты не хочешь сказать ни одного слова, которое могло бы меня удовлетворить. Но поскольку ты хочешь скрытничать из зависти к нам, боясь, что мы, пожалуй, станем философами и сравниваемся с тобой,— что же, я попытаюсь, как смогу, собственными силами изыскать и правильное решение вопроса, и надежное обоснование для выбора. Послушай и ты, если хочешь.

Г е р м о т и м. Хочу, Ликин, очень хочу. Я не сомневаюсь, что ты скажешь что-то значительное.

Л и к и н. Итак, слушай внимательно, да не насмехайся, если я буду рассуждать совсем не по-ученому. Ничего не поделаешь, раз ты, более знающий, не желаешь меня просветить.

22. Итак, допустим, что Добродетель представляет нечто похожее на город, обитаемый блаженными гражданами,— так начал бы речь твой учитель, прибывши когда-то из этого города. Граждане эти — существа высочайшей мудрости. Они все отважны, справедливы, благорассудительны и лишь немного уступают богам. В этом городе не увидишь, как говорят, ни одного из тех дерзких деяний, которые во множестве совершаются у нас, где грабят, насилуют и надувают,— нет, в мире и согласии протекает там совместная жизнь граждан; да оно и понятно: ибо то, что в других городах, как я думаю, возбуждает раздоры и ссоры, и то, из-за чего люди строят ковы друг другу,— все это убрано прочь с их пути. Эти обитатели уже не видят денег, не знают ни наслаждений, ни славы, из-за которых могла бы возникнуть рознь, но давно их изгнали из города, не имея нужды в них для жизни совместной. Итак, живут они жизнью ясной и всеблаженной, наслаждаясь законностью, равенством, свободой и прочими благами.

23. Г е р м о т и м. Так что же, Ликин? Не достойно ли всякого человека стремление стать гражданином такого города, невзирая на трудности пути и не отговариваясь длительностью срока, если предстоит по прибытии быть занесенным в списки и получить права гражданства?

Л и к и н. Бог свидетель, Гермотим, ради этого больше, чем ради чего другого, стоит постараться, и следует оставить все другие заботы, не придавать большого значения помехам, чинимым здешним отечеством. Не следует склонять слуха к хныканью хватающих за

плащ детей и родителей — у кого они есть, — а лучше и их звать с собою на ту же дорогу. Если же они не захотят или не смогут, то отряхнуть их с себя и не мешкая идти прямо туда, в тот блаженный город, бросив и плащ, если они, ухватившись, стащат его с плеч: ибо даже если ты придешь туда голым — не бойся: никто не захлопнет перед тобою дверей.

24. Говорю это уверенно, ибо я уже слышал когда-то рассказ одного старца про то, что делается там; старец и меня склонял последовать за ним в тот город: он-де лично меня проводит, занесет по прибытии в списки, сделает членом филы и включит в одну фратрию с собою, да разделю общее блаженство. Но не послушался я по неразумию и молодости, — около пятнадцати лет мне было тогда, — а то, конечно, был бы теперь уже в предместье, у самых ворот. Вот он, этот старец, и рассказывал мне немало об этом городе и, между прочим, насколько припоминаю, говорил, что все население в нем — пришлое, из иностранцев; в городе нет ни одного местного уроженца — гражданами же являются в большом числе и варвары, и рабы, и уроды, и карлики, и бедняки, и вообще всякий желающий может вступить в общину. Ибо у них положено производить запись не по имуществу, не по наружности — по росту или красоте, — не по роду, не по знатности предков, — все это они не ставят ни во что, — но гражданином может стать всякий, кто обладает умом и стремлением к прекрасному, кто упорен в труде и не сдастся, не раскисает при многочисленных трудностях, встречающихся в пути. Поэтому всякий, кто бы он ни был, проявивший эти качества и прошедший путь до самого города, немедленно становится гражданином, равноправным со всеми. А такие понятия, как «подлый» и «знатный», «благородный» и «безродный», «раб» и «свободный», отсутствуют в городе совершенно, и даже слов таких в нем не услышишь.

25. Гермотим. Теперь ты видишь, Ликин, что я не напрасно, не из-за пустяков трачу силы, стремясь войти в число граждан такого прекрасного, блаженного города?

Ликин. Так я ведь, я сам, Гермотим, охвачен той же страстью, что и ты, и ничего так не желаю, как этого. И будь этот город расположен по соседству, на виду у всех, — можешь быть уверен: я бы не колеблясь давным-давно сам отправился туда и был бы теперь

уже его гражданином; но вы — то есть ты с Гесиодом, рапсодом, — утверждаете, что он находится очень далеко. Поэтому приходится искать и дорогу к нему, и проводника самого надежного. Ведь надо? Как по-твоему?

Гермотим. Разумеется, надо: иначе не дойдешь.

Ликин. Так вот, обещающих проводить и заверяющих, что они знают дорогу, хоть отбавляй: столько их стоит, готовых к твоим услугам, и каждый твердит, что он — оттуда, из местных жителей. Однако оказывается, что дорога-то у них не одна и та же, но что имеется множество дорог, и все разные, и друг на друга ничуть не похожи: одна дорога ведет на запад, другая, по-видимому, — на восток, третья — на север, а четвертая — прямехонько к полудню. И еще: одна пролегла по лугам и рощам, с тенью и с ручейками, приятная и легкая дорога, без всяких препятствий; другая же кремнистая, жесткая, сулящая много солнца, жажды и трудов. И все же, по словам проводников, все эти дороги ведут к тому же городу — выходит, что он лежит в прямо противоположных направлениях.

26. Вот в этом и заключается для меня все затруднение; в самом деле: в начале каждой тропинки, к которой ни подойди, стоит при входе муж, внушающий всяческое доверие, протягивает руку и приглашает идти по его стезе; причем каждый из них утверждает, что только он один знает прямой путь, другие же все — блуждают, потому что и сами не нашли дороги, и не пошли за другими, которые могли бы их провести. Подойдешь к соседнему — и он сулит то же относительно своей дороги, браня остальных; то же и следующий; и так все, один за другим. Вот это множество дорог, таких непохожих друг на друга, смущает меня безмерно и приводит в недоумение, а еще больше — проводники, которые из кожи лезут, восхваляя каждый свое, — потому-то я не знаю, куда же обратиться и за кем из них последовать, чтобы добраться до этого города.

27. Гермотим. А я выведу тебя из этого затруднения: доверься проводникам, и ты не собьешься с пути.

Ликин. Кого ты имеешь в виду? Идущих по какой дороге? Или кого-нибудь из проводников? Ты видишь, перед нами встает снова то же затруднение, только в иной форме, перенесенное с вещей на людей.

Гермотим. То есть?

Л и к и н. То есть тот, кто обратился на стезю Платона и пошел с ним, очевидно, будет расхваливать эту дорогу, кто с Эпикуром — ту, третий — третью, а ты — свою. Вот так-то, Гермотим! Разве не правда?

Г е р м о т и м. Конечно, правда.

Л и к и н. Итак, ты не вывел меня из затруднения, и я по-прежнему все еще не знаю, на кого из путников мне лучше положиться. Ведь я вижу, что каждый из них, не исключая и самого проводника, испробовал лишь одну дорогу, которую и расхваливает, уверяя, что только она одна ведет к городу. Но у меня нет способов узнать, правду ли он говорит. Что он дошел до какого-то конца дороги и видел какой-то город, — это я охотно готов допустить. Но видел ли он именно тот город, какой нужно, гражданами которого мы с тобой хотим сделаться, или он, нуждаясь попасть в Коринф и прибыв в Вавилон, думает, что видел Коринф, — вот это остается для меня все еще неясным. Во всяком случае, видеть какой-нибудь город — совсем не значит видеть Коринф, если только Коринф — не единственный город на свете. Но в наибольшее затруднение меня ставит, конечно, то, что истинной-то — я это знаю — может быть только одна дорога: ведь и Коринф — один, и другие дороги ведут куда угодно, только не в Коринф, — если не додуматься до такой совершенно сумасшедшей мысли, будто дорога к Гипербореям и дорога в Индию направляются в Коринф.

Г е р м о т и м. Ну, как это можно, Ликин! Ясно: одна дорога ведет в одно место, другая — в другое.

28. Л и к и н. Итак, любезный Гермотим, немало надо порассудить, прежде чем выбрать дорогу и проводника. Конечно, мы не признаем разумным идти куда глаза глядят, потому что так можно вместо коринфской дороги незаметно попасть на вавилонскую или бактрийскую. Нехорошо также было бы довериться судьбе, как будто она непременно обернется счастливо, и без разбора пуститься по одной из дорог, все равно какой. Конечно, возможны и такие случаи — они и бывали некогда в глубокой древности. Но нам-то, я думаю, не подобает в таком большом деле полагаться отважно на поворот кости и оставлять для надежды совсем узенькую щелку, намереваясь, по пословице, переплыть Эгейское или Ионийское море на рогожке. Нам неразумно было бы жаловаться на судьбу за то, что ее стрела или дротик бьет вовсе не без

промаха, ибо истинная цель — одна, а ложных — мириады, и не миновал этого даже гомеровский стрелок, перебивший стрелой бечевку, когда надо было попасть в голубя, — я говорю о Тевкре. Напротив, гораздо разумнее ожидать, что под выстрел судьбы попадет и нанесет рану какая-нибудь ложь, одна из многочисленных, чем одна-единственная правда. И немалая грозит нам опасность, что мы заблудимся в незнакомых дорогах и не попадем на прямую, понадеявшись на судьбу, которая-де сделает для нас наилучший выбор. Мы будем похожи на того, кто, отпустив причалы, отдался ветрам: раз вышедши в море, ему нелегко уже будет вернуться обратно в спасительную гавань и неизбежно придется носиться по морю, болея от качки, со страхом в сердце и тяжестью в голове. Поэтому должно с самого начала, прежде чем пускаться в путь, подняться куда-нибудь повыше и посмотреть, попутный ли дует ветер, благоприятствующий намеренью совершить переезд в Коринф. Надо и капитана выбрать получше и корабль, сколоченный крепко, способный выдержать такой сильный напор волн.

29. Гермотим. Конечно, Ликин, так будет гораздо лучше. Но только я знаю, что, обойди ты по очереди всех, ты не найдешь проводников лучше и капитанов опытнее стоиков. Если когда-нибудь тебе действительно захочется добраться до Коринфа — последуй за ними, идя по стопам Хрисиппа и Зенона. Иного выхода нет.

Ликин. Видишь ли, Гермотим, то, что сейчас высказал ты, — говорят все: то же самое могут сказать спутники Платона и последователи Эпикура, и все остальные. Каждый заявит, что не дойти мне до Коринфа иначе, как по его дороге. Таким образом, нужно или всем верить, — что может быть смешнее? — или никому не верить; второе, конечно, пока мы не найдем истины, будет всего вернее.

30. В самом деле: положим, что я, в теперешнем моем состоянии, то есть еще не зная, кто именно из всех философов является вещателем истины, выбрал бы ваше направление, положившись на тебя, человека, конечно, мне дружественного, однако знающего лишь стоическое учение и прошедшего только один путь — пусть стоиков. Положим далее, что кто-нибудь из богов оживил бы Платона, Пифагора, Аристотеля и прочих — клянусь Зевсом, они, обступив меня, нача-

ли бы спрашивать или, приведя меня на судилище, принялись бы каждый в отдельности обвинять в высокомерии, говоря так: «Добрейший Ликин, что с тобою случилось и кому это ты поверил, оказав предпочтение Хрисиппу и Зенону: ведь они только вчера или позавчера появились на свет, а мы гораздо старше их. Почему ты не дал нам слова и не сделал ни малейшей попытки узнать, что же именно мы говорим?» Что бы я стал отвечать им на это? Или достаточно будет заявить, что я поверил моему другу, Гермотиму? Но я знаю, они сказали бы: «Мы, Ликин, не знаем этого Гермотима, кто он и откуда,— не знает и он нас; а потому не следовало осуждать нас огулом и выносить нам заочный приговор, поверив человеку, который изучил в философии лишь один путь, да и тот, вдобавок, недостаточно тщательно. Между тем законодатели, Ликин, предписывают судьям поступать иначе: не так, чтобы одного — слушать, а другому — не давать говорить в свою защиту того, что он считает для себя выгодным, но выслушивать обе стороны, чтобы, сопоставляя их речи, легче распознать истину и ложь. Если же судьи будут поступать иначе, то закон дает право перенести дело в другой суд».

31. Философы, естественно, будут говорить нечто в этом роде... А кто-нибудь из них мог бы обратиться ко мне и с такими словами: «Скажи-ка, Ликин, вот что: положим, некий эфиоп, никогда не выдававший других людей, таких, как мы, поскольку он ни разу не выезжал из своей страны, выступил бы в каком-нибудь собрании эфиопов с утверждением, что нигде на земле нет людей ни белых, ни желтых, вообще никаких, кроме черных,—неужели слушатели поверят ему? Разве кто-нибудь из старших эфиопов не скажет ему: «Да ты-то, самонадеянный человек, откуда это знаешь? Ведь ты же никуда от нас не выезжал и, бог свидетель, не видал, что делается у других!» Что мне сказать на это? Прав ли был старик, задавший вопрос? Посоветуй, Гермотим.

Гермотим. Разумеется: он, как мне кажется, выбранил эфиопа совершенно справедливо.

Ликин. Да, Гермотим. Но что касается дальнейшего,—я еще не уверен, покажется ли оно тебе справедливым. Что до меня, оно кажется мне совершенно справедливым.

32. Гермотим. Что же именно?

Л и к и н. Несомненно, такой человек начнет нападать и скажет мне приблизительно вот что: «Аналогично, Ликин, этому будет обстоять дело и с человеком, знающим только одно учение стоиков, как Гермотим, твой друг, который ни разу не побывал во владениях Платона, ни у Эпикура и вообще не был у кого-либо другого. Так вот, если Гермотим станет говорить, что у большинства философов нет ни истины, ни такой красоты, как в Стое и в ее учении,— разве твой разум не признает его человеком самонадеянным и берущимся судить обо всем, хотя знает только одно, не сделав никогда и шагу за пределы Эфиопии?» Что мне отвечать ему? Как по-твоему?

Гермотим. Это, конечно, совершенная правда. Мы изучали взгляды стоиков, и весьма основательно, поскольку считаем, что должно философствовать в этом именно направлении, но мы не являемся невеждами и в том, что говорят другие. Ибо учитель, между прочим, излагает нам и их учения, присоединяя к ним собственные опровержения.

33. Л и к и н. Неужели ты думаешь, что последователи Платона, Пифагора, Эпикура и других промолчат в ответ, а не скажут мне, рассмеявшись: «Что он делает, Ликин, приятель твой, Гермотим? Он находит возможным верить тому, что говорят о нас наши противники, и полагает, что наше учение действительно таково, как утверждают они, не зная правды или скрывая ее? Ну, а если ему доведется быть судьей на состязании и он увидит, как атлет, упражняясь перед борьбой, дает пинки в воздух или поражает кулаком пустоту, как будто нанося удары воображаемому противнику,— неужели он тут же объявит его непобедимым? Или же подумает, что все это пустяки, и дерзкие выпады безопасны, пока никто на них не отвечает? Победу же провозглашать следует тогда, когда атлет одолеет соперника и, оказавшись сильнее, принудит к сдаче,— никак не раньше. Пусть же и Гермотим не заключает по призрачным сражениям, которые дают нам заочно его учителя, как будто они сильнее и как будто опрокинуть такие учения, как наши, не представляет труда! Ведь, право, это значило бы уподобиться детям, которые возводят свои домики и тотчас же сами их с легкостью разрушают; или походит на стрелков, упражняющихся в стрельбе, посадив на шест связанное из соломы чучело; они отходят на не-

сколько шагов, прицеливаются, спускают тетиву и, если попадут, пронзивши чучело, тотчас поднимают крик, как будто совершили нечто великое оттого, что стрела прошла сквозь пучок соломы. Совсем не так поступают персы и скифские лучники: сначала они стреляют, на конях двигаясь сами, а потом заставляют двигаться и свою цель, чтобы она не стояла на месте, дожидаясь, пока в нее попадет стрела, но убегала бы насколько можно быстрее; по большей части они подстреливают животных, иные же и в птиц попадают. Если же понадобится испытать силу удара на неподвижной цели, то они ставят перед собою крепкое бревно или щит из сырой кожи, пробивают его и таким способом удостоверяются, смогут ли их стрелы пройти сквозь доспехи врага.

Итак, Ликин, передай от нас Гермотиму, что его учителя обстреливают выставленные ими же чучела и заявляют потом о победе над вооруженными мужами. Сделав наши подобию, эти учителя набрасываются на них с кулаками и, естественно, их одолевши, думают, что одолели нас. Но каждый из нас мог бы повторить им слова, сказанные Ахиллом о Гекторе:

Пока не блеснет им Ахиллова шлема забрало».

С подобными речами обратился бы ко мне по очереди каждый из философов.

34. А Платон мог бы, я думаю, рассказать кое-что из сицилийских происшествий, хорошо зная страну. Дело в том, что у Гелона сиракузского, как говорят, шел дурной запах изо рта, и он долго не знал об этом, так как никто не решался осрамить тирана, пока наконец одна женщина, иностранка, сошедшись с ним, не набралась храбрости и не сказала ему про это. Тот явился к своей жене, гневный на то, что она, прекрасно зная про зловоние, не открыла ему это. Та же стала просить прощения: она-де, не испытав близкого общения с другим мужчиной, думала, что все они испускают изо рта тяжелый дух. «Вот так-то,— скажет Платон,— и Гермотим: находится в связи только с одними стойками и, разумеется, не знает, каковы рты у других». Нечто подобное, и, может быть, даже еще больше, сказал бы и Хрисипп, если бы я, не рассудив, обошел его и двинулся к Платону, доверившись кому-нибудь из тех, кто имеет дело только с одним Платоном.

Одним словом, я утверждаю, что не следует делать в философии никакого выбора, пока остается неясным, какой выбор будет правильным. И было бы дерзостью по отношению к другим направлениям поступать иначе.

35. **Гермотим.** Ну, ради Гестии, Ликин, оставим в покое Платона, Аристотеля, Эпикура и прочих, потому что не по мне дело — бороться с ними. Мы же с тобой, я да ты, собственными силами разберем, так ли обстоят дела с философией, как я это утверждаю. А эфиопов и Гелонову жену — к чему было приглашать из Сиракуз на нашу беседу?

Ликин. Хорошо, пусть они идут прочь, если тебе кажется, что для беседы они излишни. Тогда говори ты: по-видимому, речи твои будут изумительны.

Гермотим. Мне кажется, Ликин, вполне возможным, изучив только взгляды стоиков, узнать от них истину, не касаясь иных взглядов и не пытаясь изучить все. Рассуди сам: положим, кто-нибудь скажет тебе, что дважды два — четыре, и ни слова больше. Неужели надо будет тебе обходить всех других, сколько есть людей, сведущих в числах, осведомляясь, не скажет ли кто-нибудь, что получится пять или семь? Или ты сейчас же поймешь, что человек этот говорит правду?

Ликин. Сейчас же пойму, Гермотим.

Гермотим. Почему же тогда тебе кажется невозможным, что некто, встречаясь только со стоиками, говорящими истину, верит им и не нуждается больше в других, поскольку знает, что никогда четыре не станут пятью, хотя бы тысячи Платонов и Пифагоров стали утверждать это?

36. **Ликин.** Но ведь речь совсем не о том, Гермотим; ты сопоставляешь положения, в которых все согласны, с такими, которые вызывают споры. Это совершенно различные вещи. Скажи-ка: встречал ли ты кого-нибудь, кто утверждал бы, что два да два будет семь или одиннадцать?

Гермотим. Не встречал. С ума надо сойти, чтобы утверждать, будто не получится четырех.

Ликин. А теперь: встречал ли ты когда-нибудь — только, ради Харит, говори правду, — двоих, стоика и эпикурейца, которые не расходились бы во взглядах и в понимании начала и конца?

Гермотим. Ни разу.

Л и к и н. Смотри, дорогой мой, уж не хочешь ли ты провести меня, своего друга! Ведь мы как раз исследуем, кто в философии говорит правду? Ты же, предвосхитив ответ, взял и решил, что это — стоики, говоря, будто именно они утверждают, что дважды два — четыре; но в этом-то заключается неясность, не так ли? Ибо эпикурейцы или платоники сказали бы, что это у них получается четыре, а у вас — пять либо семь. Разве тебе не кажется, что так же обстоит дело у них, поскольку вы признаете добром только красоту, эпикурейцы же — наслаждение? Или когда вы утверждаете, что все телесно, Платон же думает, что в мире сущего имеется и бестелесное? Но, повторяю: ты с жадностью наложил лапу на то, что вызывает разногласия, как на бесспорную собственность стоиков, и отдал в их руки, хотя и другие притязают на то же и говорят, что это — их достояние. Здесь-то, я полагаю, и требуется прежде всего решение суда. В самом деле: если заранее ясно, что только одни стоики считают дважды два — четыре, то другим остается только молчать. Но пока именно из-за этого происходят битвы, следует выслушивать всех одинаково и помнить, что в противном случае нас сочтут лицеприятными судьями.

37. Гермотим. Ликин! Мне кажется, ты не понимаешь, что я хочу сказать.

Л и к и н. Тогда надо говорить яснее, — но только ничего другого ты ведь не скажешь.

Гермотим. Сейчас тебе станет ясным, о чем я говорю. Итак, положим, что два человека побывали в святилище Асклепия или в храме Диониса, а затем была обнаружена пропажа одной из священных чаш. Конечно, придется обоим подвергнуть обыску, чтобы узнать, у кого из них за пазухой чаша.

Л и к и н. Несомненно, придется.

Гермотим. Находится же чаша непременно у одного из них.

Л и к и н. Если только она пропала, иначе и быть не может.

Гермотим. Значит, если ты найдешь ее у первого, то второго уже и раздевать не станем, так как заранее ясно, что у него ее нет.

Л и к и н. Заранее ясно.

Гермотим. И точно так же, если не найдем ее за пазухой у первого, — значит, наверно, она у второго, и в этом случае тоже повторить обыск будет лишним.

Л и к и н. Потому что чаша у него.

Гер м о т и м. Вот так-то и мы: если уж найдем чашу у стойков, будем считать ненужным продолжать обыскивать других, получив то, чего давно добивались. Для чего еще, в самом деле, мы будем тратить свои силы?

38. Л и к и н. Не для чего, если действительно найдете, а нашедши, сможете установить, что это и есть пропавшее приношение,— другими словами, если оно будет вам совершенно известно. В данном же случае, мой милый, в храме побывали не двое,— что необходимо, чтобы у одного из них должно было непременно оказаться украденное,— но перебывало множество разного люда. Затем и относительно самого пропавшего предмета — не ясно, что он, собственно, собою представляет: то ли чашу, то ли кубок или венок: ведь жрецы, сколько их ни есть, называют предмет так, другие — иначе; даже относительно материала, из которого он сделан, нет согласия, но одни говорят, что он медный, другие — серебряный, третьи — золотой, а четвертые — оловянный. Таким образом, чтобы обнаружить пропажу, необходимо раздеть всех входивших, если бы даже это сделать сразу и у первого ты нашел бы золотую чашу,— все-таки придется и дальше раздевать остальных.

Гер м о т и м. Для чего же, Ликин?

Л и к и н. Да потому, что не ясно, был ли пропавший предмет чашей. Но пусть даже в этом нет разногласий,— не все, однако, показывают, что чаша была именно золотой. Но если бы это и было вполне известно, то есть что пропала и золотая чаша, если бы у первого же нашли золотую чашу,— мы все-таки еще не могли бы отменить обыск для остальных, поскольку остается неясным, принадлежала ли богу именно эта чаша. Разве золотая чаша только одна? Как ты думаешь?

Гер м о т и м. Конечно, не одна.

Л и к и н. Придется таким образом обойти и обыскать всех, потом снести в одно место все найденное и, сравнивши, решить, чему подобает быть достоянием бога.

39. Ибо, помимо прочего, огромное затруднение представляет то обстоятельство, что у каждого из тех, кого мы будем обыскивать, обязательно что-нибудь найдется: у одного кубки, у другого чаша, у третьего

венков, и притом у одного вещь из меди, у другого из золота, у третьего из серебра. Но что именно эта вещь принадлежит храму — остается неясным. Таким образом, неизбежно возникнет затруднение: кого же считать святотатцем? И если бы все имели одинаковые вещи, все равно неясным остается, кто обокрал бога, потому что вещь может быть и частной собственностью. Причина же нашего незнания, по-моему, одна: пропавшая чаша, — предположим, что пропала именно чаша, — не подписана, так как, будь на ней написано имя бога или имя посвятившего ее, мы не трудились бы столько и, нашедши подписанную чашу, перестали бы раздевать и беспокоить остальных. Я думаю, что ты, Гермотим, часто видел гимнастические состязания...

Гермотим. Ты правильно думаешь: видел часто и во многих местах.

Ликин. А если так, то, наверное, сживал иногда около самих судей?

Гермотим. Клянусь Зевсом: на последних Олимпийских играх я сидел слева от элаников благодаря Евандрию из Элеи, который предоставил мне место среди своих сограждан; очень уж мне хотелось поглядеть поближе на все, что совершается эланиками.

Ликин. Стало быть, знаешь ты и то, как они мечут жребий, кому с кем следует бороться или участвовать в кулачном бою?

Гермотим. Прекрасно знаю.

Ликин. Тогда, пожалуй, ты это лучше расскажешь, поскольку видел все вблизи.

40. Гермотим. В древности, когда Геракл устраивал состязания, где награждали листвою лавра...

Ликин. Не надо мне древности, Гермотим: то, что ты видел недавно своими глазами, — про то и рассказывай.

Гермотим. Выставляется серебряная кружка, посвященная богу. В нее бросают маленькие, величиною с боб, жребии, с надписями. На двух — написана буква альфа; на двух — бета, на двух следующих — гамма. Если же борцов окажется больше, то и далее, по порядку, причем всегда два жребия обозначены одной и той же буквой. И вот, каждый из борцов подходит, опускает, помолвившись Зевсу, руку в кружку и вытаскивает один из жребиев; за ним — другой. Около каждого из атлетов стоит слуга с бичом и поддержи-

вает его руку, не позволяет прочесть, что за букву он вытащил. Когда у всех уже имеется жребий, то, кажется, надзиратель, а может быть, один из самих эланоодиков,— сейчас уж не помню,— обходит состязующихся по кругу и осматривает жребии. Того, у кого альфа, ставит бороться или биться с другим, тоже вытащившим альфу; у кого бета — с получившим бету, и так же остальных, по одинаковым буквам. Так делается, если число участников состязания равно: восемь, четыре, двенадцать. Если же один лишний — при пяти, семи, девяти,— то один жребий помечается какой-нибудь буквой и бросается в кружку вместе с остальными, не имея себе соответствующего. Тот, кто вытащит этот жребий, остается в запасе и сидит, выжидая, пока первые окончат борьбу,— ибо для него не имеется соответствующей буквы. Для борца это не малая удача — выступить в дальнейшем со свежими силами против уже утомленных.

41. Л и к и н. Умолкни: вот это мне и было нужно. Итак, все борцы, в количестве девяти человек, вытащили жребий и держат их. А ты — я хочу превратить тебя из зрителя в эланоодика — обходишь их и осматриваешь буквы; однако я думаю, ты сможешь узнать, кто из борцов в запасе, не прежде, чем всех обойдешь и соединишь в пары.

Гермотим. То есть как это так, Ликин?

Ликин. Невозможно сразу найти букву, означающую того, кто в запасе, или, точнее сказать, букву-то ты, конечно, найдешь, но никак не узнаешь, что это именно она, так как заранее не объявляется, что в запас назначается К, или М, или Н. Встретив альфу, ты ищешь второго с альфой и, найдя, из этих двух уже составляешь пару; затем, встретив бету, ищешь, где вторая бета, противник уже найденной, и со всеми остальными поступаешь подобным же образом, пока не окажется у тебя в остатке тот, кто имеет непарную букву, букву без противника.

42. Гермотим. Ну, а если она попадется тебе первой или второй, что ты станешь делать?

Ликин. Я-то — ничего, а вот ты, эланоодик, как поступишь, хотел бы я знать: объявишь ли сразу, что такой-то в запасе, или должен будешь обойти по кругу всех, чтобы посмотреть, нет ли ему одинаковой буквы? Итак, пока не просмотришь все жребии, ты не можешь определить, кто остается в запасе.

Гермотим. Да нет же, Ликин, определю без труда. Так, при девяти участниках, обнаружив первой или второй букву Е,—уже знаю, что тот, у кого она в руках, и есть запасной.

Ликин. Как же это, Гермотим?

Гермотим. А вот так: альфу имеют двое из составляющихся, и бету — тоже двое. Остается четверо; из них одна пара вытащила гамму, другая — наверняка дельту,—на восемь человек нам потребовалось четыре буквы. Ясно, таким образом, что лишней при этом положении может оказаться только следующая по порядку буква Е. А тот, кто ее вытащил, и становится запасным.

Ликин. Не знаю, Гермотим, хвалить ли мне твой ум или высказывать приходящие мне в голову возражения, каковы бы они ни были? Что ты предпочитаешь?

Гермотим. Пожалуйста, возражай,—хотя я не понимаю, какие разумные доводы ты мог бы выставить против моих соображений.

43. Ликин. Дело в том, что ты рассуждаешь так, как будто буквы обязательно писать по порядку: первая — альфа, вторая — бета и так далее, пока на одной из них не окажется исчерпанным число борцов. И я согласен с тобой, что на Олимпийских играх так это и делается. Но что будет, если, выбрав наудачу из всех букв пять: Х, Σ, Ζ, К и Θ, мы четыре из них напишем по два раза на восьми жребиях, а только один раз — на девятом, который и должен будет у нас показывать, кому быть в запасе,—что ты станешь делать, когда тебе в первый раз попадется Ζ? По какому признаку ты распознаешь, что вытащивший ее идет в запас, пока не обойдешь всех и не обнаружишь, что этой букве не отвечает другая? Ведь порядок букв уже не поможет тебе, как прежде.

Гермотим. Трудно что-нибудь на это ответить.

44. Ликин. Ну, так я представлю тебе то же самое несколько иначе. Подумай-ка, что случится, если мы поместим на жребиях не буквы, а какие-нибудь значки и насечки,—вроде тех, что во множестве употребляются вместо букв египтянами: например, изобразим людей с песьими или львиными головами? Или, пожалуй, оставим эти диковинные образы, а давай нанесем на жребии цельные и простые, по возможности, верные изображения: нарисуем людей на двух жребиях,

двух петухов — на двух других, лошадей и собак — тоже два раза; на девятом жребии пусть будет изображен лев. Так вот, положим, в самом начале тебе попадется жребий со львом. Как ты сможешь сказать, что именно он направляет борца в запас, если не пересмотришь предварительно все жребии по порядку, нет ли там еще одного, тоже со львом?

Гермотим. Положительно не знаю, Ликин, что тебе ответить.

45. Ликин. Вполне понятно: ничего не скажешь, что не было бы истинным только по внешности. Итак, если мы можем найти похитителя священной чаши, или запасного борца, или лучшего проводника в город, о котором мы говорили, в Коринф, мы непременно должны будем обойти всех и расследовать точно, допрашивая, раздевая и осматривая, потому что только таким образом, да и то с трудом, мы, может быть, узнаем истину. Поэтому кто собирается давать мне советы по философии, какого направления в ней следует держаться, и кто хочет заслужить мое доверие, должен один знать все ее течения. Каждый другой советчик будет несовершенным, и я не поверю ему, пока для него остается неизвестным хотя бы одно направление, — потому что оно и может легко оказаться наилучшим. Ведь если кто-нибудь покажет нам красивого человека и скажет, что красивее его нет никого, — мы вряд ли поверим ему, не убедившись, что он видел всех людей. Правда, красив и этот человек, но что он всех красивее, может знать только тот, кто видел всех. Мы же нуждаемся не просто в красивом, но в прекраснейшем. Если же мы его не найдем, значит, ничего не достигли. Мы не сочтем себя удовлетворенными, если случайно, где бы то ни было, мы встретим какую-нибудь красоту, — мы ищем той высочайшей красоты, которая по необходимости является единой.

46. Гермотим. Ты прав.

Ликин. Так что же? Можешь ты назвать мне кого-нибудь испытавшего в философии все пути? Кто, зная учения Пифагора, Платона, Аристотеля, Хрисиппа, Эпикура и других, в конце концов выбрал из всех путей один, признав его истинным, и пошел по этому пути, убежденный, что только он один прямо ведет к блаженству? Если бы мы отыскиали такого человека, наши затруднения были бы окончены.

Гермотим. Не легко, Ликин, найти такого человека.

47. Ликин. Что же нам делать, Гермотим? Не отказываться же, я думаю, потому только, что сейчас мы не можем добыть себе ни одного подходящего проводника? И не будет ли тогда лучше и надежнее всего каждому начать дело собственными силами, проникнуть в основы философии и подвергнуть тщательному рассмотрению все, что об этом говорится?

Гермотим. Да, по-видимому, с этого надо начать. Не помешало бы только то, о чем ты сам недавно говорил: не так это сделать легко — решился, распустил паруса да тотчас и вышел в море. Как тут пройти все пути, если на первом же, как ты сам утверждаешь, нас задержат препятствия?

Ликин. Слушай же меня. Воспользуемся знаменитым примером Тесея и, взявши нить трагической Ариадны, войдем в любой из лабиринтов, зная, что, свертывая нить, сможем без труда выйти обратно.

Гермотим. Но кто же будет нашей Ариадной и откуда добудем мы эту нить?

Ликин. Не робей, дружище! По-моему, я уже знаю, за что нам держаться, чтобы найти выход.

Гермотим. За что же?

Ликин. Я скажу сейчас не свои слова, а слова одного мудреца: «Будь трезв и умей сомневаться». Так вот, если мы не будем легковыми слушателями, но станем держаться как судьи, давая высказываться всем философам по порядку, — мы, несомненно, без труда выберемся из лабиринтов.

Гермотим. Прекрасно сказано! Так и сделаем.

48. Ликин. Быть по сему. Итак, с кого бы из них нам начать наш путь? Или это безразлично? Но начнем с любого, кто попадется, — с Пифагора, например. Сколько же нам положить времени на то, чтобы изучить все, изложенное Пифагором? Не забыть бы прибавить и знаменитые пять лет молчания... Что же? С этими пятью, я думаю, довольно будет тридцати лет. Или много? Ну уж, во всяком случае — двадцать.

Затем, по порядку, на Платона надо положить, очевидно, еще столько же, потом на Аристотеля тоже, конечно, не меньше.

Гермотим. Никак не меньше.

Ликин. Что касается Хрисиппа, то я даже и спрашивать тебя не буду, сколько на это надо времени.

С твоих собственных слов я знаю, что сорока лет и то, пожалуй, мало.

Гермотим. Так оно и есть.

Ликин. Затем у нас пойдут Эпикур и остальные. А что я кладу не слишком много — это станет тебе, наверно, понятным, если примешь во внимание, сколько восьмидесятилетних стоиков, эпикурейцев и платоников в один голос говорят, что они еще не знают полностью содержания выбранного каждым направления и что нет недостатка у них в том, чему поучиться. А промолчи они, — об этом, конечно, заявили бы и Хрисипп, и Аристотель, и Платон, и раньше их всех — Сократ, который был ничуть не хуже их и кричал во всеуслышанье, что он не только не знает всего, но и вообще не знает ничего, кроме одного: что он ничего не знает. Теперь подсчитаем с самого начала: двадцать лет мы положили на Пифагора, затем столько же на Платона, затем, по порядку, на остальных. Итак, сколько же получится в общем, если сложить, считая в философии всего лишь десять разных направлений?

Гермотим. Свыше двухсот лет, Ликин.

Ликин. Не убавим ли на четверть, удовлетворившись полуторастами лет? А может, даже вдвое? Как ты думаешь?

49. Гермотим. Тебе самому лучше знать... Я же вижу одно: что даже и тогда лишь немногим, пожалуй, удастся пройти все пути, хотя бы они пустились в дорогу сразу после рождения.

Ликин. Так как же быть, Гермотим, в столь затруднительном положении? Неужели отказаться от того, в чем мы уже пришли к соглашению, а именно: что нельзя выбрать из многого лучшее, не подвергнув испытанию все, и что тот, кто делает выбор без испытания, скорее гадает про истину, чем судит о ней как исследователь? Так ведь мы говорили?

Гермотим. Так.

Ликин. Значит, нам совершенно необходимо так долго прожить, если мы намерены сделать правильный выбор, испробовав все направления; потом, сделав выбор, начать философствовать и, отфилософствовав, достичь блаженства. И пока мы этого не сделаем, мы, как говорится, будем плясать в темноте, натываясь на что попадется, и будем принимать за искомое первое, что попадет нам в руки, из-за незнания

истины. Но пусть даже мы каким-то образом найдем искомое, обнаружив его по счастливой случайности, — мы все-таки не можем сказать уверенно, то ли это именно, что мы отыскиваем. Многочисленны подобию, представляющие одно и то же, и каждое из них утверждает о себе, что оно-то и есть сама истина.

50. Гермотим. Ах, Ликин, я просто не знаю, до чего разумными кажутся мне твои слова, но... надо сказать правду — ты безмерно огорчаешь меня, излагая все это и уточняя без всякой надобности. Да! видимо, не к добру вышел я сегодня из дому и, выйдя, встретил тебя! Я был уже так близок к цели моих надежд — и вот, ты взял и поверг меня в сомнения, раскрывая невозможность отыскания истины, раз на ее поиски требуется столько лет.

Ликин. Ну, мой друг, с гораздо большим правом ты мог бы бранить своего отца, Менекрата, и мать — как ее звали, не знаю, — или — это даже прежде всего — посетовать на свою природу за то, что никто не дал тебе долгой, многолетней жизни Тифона, а очертили человеку пределы жизни в сто лет, не больше. А я в нашем совместном рассуждении только сделал вытекавшие из беседы выводы.

51. Гермотим. Неправда, ты всегда был дерзким человеком, ты ненавидишь философию — за что, не знаю — и насмехаешься над теми, кто занимается ею.

Ликин. Эх, Гермотим! Что такое правда — это вы, то есть ты со своим учителем, люди мудрые, определите, наверно, лучше меня. А я только знаю, что выслушивать ее не очень-то сладко. Ложь пользуется гораздо большим почетом: она красивее лицом, а потому и приятнее. Правда же, которой незачем скрывать подделки, беседует с людьми со всей жестокостью, и за это они на нее обижаются. Так вот и ты сейчас недоволен мной, потому что я нашел правильное решение вопроса и показал, как нелегко удовлетворить страсть, которой мы с тобою охвачены. Это то же самое, как если бы ты влюбился в статую и, считая ее человеком, думал достичь своей цели, а я, обнаружив, что она из камня или бронзы, сообщил бы тебе по дружбе, что страсть твоя невозможна. Ты после этого стал бы подозревать меня в плохом к тебе отношении только из-за того, что я помешал тебе обманывать себя, питая надежду чудовищную и безнадежную.

52. Гермотим. Итак, ты утверждаешь, Ликин, что не к чему нам философствовать, а следует предаться праздности и вести жизнь неучей?

Ликин. Когда же я тебе это говорил? Я отнюдь не утверждаю, что надо бросить философию. Я говорю: если в конце концов философствовать нужно, пути к философии различны и каждый выдается за путь к добродетели, причем остается неясным, какой из путей правилен, то надлежит тщательно провести разграничения. Мы обнаружили далее, что, имея перед собою множество философских учений, невозможно выбрать лучшее, если не обойти все, испытывая их. Ну, и, наконец, оказалось, что испытание будет длительным. А что предлагаешь ты? Я повторяю мой вопрос: разве должно быть так, что кто первый попадетсЯ, с тем ты и пойдешь, с тем и будешь философствовать, а он тебя использует как счастливую находку?

53. Гермотим. Что еще я могу тебе ответить, когда ты утверждаешь, будто самостоятельно сделать выбор возможно, только прожив век Феникса, обойдя и испытав всех кругом? Будто тем, кто раньше производил испытание, доверять не должно, равно как и похвалям многочисленных свидетелей.

Ликин. Кого же ты разумеешь под этим множеством все знающих и все испытывавших? Если есть хоть один такой,—с меня довольно: больше и не понадобится. А если ты говоришь о незнающих, то, как бы их ни было много, это не может заставить меня верить им, пока я буду видеть, что они либо ничего не знают, либо из всего знают только что-нибудь одно.

Гермотим. Ты только один разглядел истину, а остальные философы, сколько их ни на есть, ничего не понимают.

Ликин. Напраслину ты на меня возводишь, Гермотим! Ты говоришь, что я хочу как-то выдвинуть себя перед другими или вообще причисляю себя к знающим. Ты забыл, очевидно, что я не лез выше других, заявляя, будто я сам знаю истину, но согласился, что, подобно всем, не знаю ее.

54. Гермотим. Ты говоришь, Ликин: нужно обойти всех и разузнать, чему они учат, иначе как этим способом не избрать лучшего пути. Это, конечно, правильно. Но положительно смешно отводить на каждое испытание столько лет, как будто нельзя вполне понять целое по малой части. Мне такая задача кажется

даже очень легкой и не требующей большой затраты времени. Рассказывают же, что один ваятель, Фидий, кажется, увидав только коготь льва, рассчитал по нему, каков должен быть весь лев, восстановленный соразмерно с когтем. А показать тебе одну лишь руку, закрыв остальное тело, ты сейчас же, я думаю, узнаешь, что под покрывалом скрыт человек, хотя бы ты и не видел всего тела. Следовательно, главное в каждом учении можно без труда усвоить в несколько часов. Твоя сверхточность, требующая длительного исследования, вовсе не является необходимой, чтобы выбрать лучшее. Можно рассудить и на основании того, что знаешь.

55. Л и к и н. Ой-ой-ой, Гермотим! Вот это — сильный довод: по части можно познать целое. Но я, помнится, слышал обратное: знающий целое может знать и его часть, но знающий только часть еще не знает целого. Вот ответ-ка на такой вопрос: мог бы этот Фидий, увидавший львиный коготь, узнать, что он — львиный, если бы никогда не видал льва целиком? Или ты, увидавши человеческую руку, мог бы сказать, что она человеческая, если бы раньше не знал и не видал человека? Что же ты молчишь? Ну, хочешь, я за тебя отвечу, если у тебя не находится нужных слов? Я боюсь, что Фидию придется уйти ни с чем, напрасно изваяв льва: «ничто не указывало на Диониса», по его словам. И разве можно сравнивать эти положения? Ведь и Фидию и тебе только знание целого — человека или льва — позволило распознать отдельную часть, но в философии, в стоической например, каким образом по части ты мог бы разглядеть остальное? И как мог бы открыть, что оно — прекрасно? Ибо здесь ты не знаешь целого, частями которого является известное тебе.

56. Возьмем теперь твое утверждение, будто главное в любом философском учении можно прослушать в течение неполного дня. Каковы, по мнению философов, начала и цели сущего, что такое боги и что такое душа, кто из философов все считает телесным, а кто допускает и бестелесное бытие, кто полагает добро и блаженство в наслаждении, а кто видит его в красоте, — такие истины выслушать и потом изложить легко и не стоит труда. Но смотри, не понадобилось бы вместо неполного дня много дней, чтобы узнать, кто же из них говорит истину! Из каких побуждений все они написали об этих вопросах сотни и тысячи книг? Разве

не для того, чтобы убедить в истинности того немногo, что кажется тебе легким и простым? Ныне же, кажется, тебе опять придется прибегнуть к гадателю, чтобы выбрать лучшее учение, если не захочешь тратить время на то, чтобы, для точности выбора, самостоятельно продумать все по частям и каждое в целом. Для тебя было бы кратчайшим путем, без путаницы и задержки, пригласить гадателя, прослушать основы всех учений и в честь каждого принести жертву. Бог избавил бы тебя таким образом от тысячи хлопот, показав по печени животного, что надлежит тебе выбрать.

57. А то, если хочешь, я предложу тебе другой, еще более спокойный способ. Не надо никому совершать заклятия животного в жертву, ни приглашать дорогого жреца. Гораздо проще: брось в кружку записочки с именами всех философов, потом вели отроку, не оскверненному сиротством, приблизиться к сосуду и вынуть записочку — первую, какая попадет под руку. Дальше останется — каково бы ни было учение, на которое пал жребий, — философствовать.

58. Гермотим. Все это одно шутовство, Ликин, и совсем не к лицу тебе. Ты лучше скажи, приходилось тебе когда-нибудь самому покупать вино?

Ликин. И частенько.

Гермотим. И что же? Ты обходил по очереди всех торговцев в городе, пробуя, сравнивая и сопоставляя вина?

Ликин. Отнюдь нет.

Гермотим. Вполне понятно: как только тебе попадется доброе, подходящее вино, — его и надо покупать.

Ликин. Именно так.

Гермотим. И по небольшому глотку ты сумел бы сказать, каково все вино?

Ликин. Сумел бы, конечно.

Гермотим. А если бы, подойдя к торговцам, ты стал говорить им: «Эй, вы! я хочу купить кружку вина. Эй, вы! дайте мне выпить по целой бочке, чтобы, ознакомившись со всеми, я мог узнать, у кого вино лучше и где мне следует его купить». Как ты думаешь, не осмеяли бы они тебя за такие речи? А если бы ты продолжал надоедать и дальше, то, пожалуй, облили бы тебя водой.

Ликин. Я думаю, и поделом было бы мне.

Гермотим. Вот точно таким же образом обстоит дело и с философией. Для чего выпивать бочку, если можно по небольшому глотку узнать, каково все содержимое?

59. Ликин. Какой ты скользкий, Гермотим,— так и уходишь из рук. Да только это не помогло тебе: думал убежать, а попал в ту же самую сеть.

Гермотим. Каким же это образом?

Ликин. А таким, что взял ты нечто, не вызывающее разногласий,— взял всем знакомое вино, а сравниваешь с ним вещи совершенно непохожие, из-за которых все спорят ввиду их неясности. Так что я, например, даже сказать не могу, в чем ты видишь сходство между философией и вином. Разве в том только, что и философы, продавая свои учения, подобно купцам, подмешивают, подделывают и обмеривают. Подвергнем, однако, твои слова дальнейшему рассмотрению. Ты утверждаешь, что все вино, находящееся в бочке, совершенно однородно и одинаково,— утверждение, клянусь Зевсом, вполне уместное. Должно согласиться и с тем, что, зачерпнув немного и отведав, мы тотчас узнаем, какова вся бочка. С моей, по крайней мере, стороны это не встречает никаких возражений. Пойдем, однако, дальше. Возьмем философию и тех, кто ею занимается, например твоего учителя,— говорят ли они вам ежедневно все то же и о том же или один раз об одном, другой — о другом? Заранее можно сказать, дружище, что о разном. Иначе, если бы он говорил всегда одно и то же, ты не провел бы с ним двадцать лет, странствуя и скитаясь, подобно Одиссею,— с тебя было бы довольно и один раз послушать учителя.

60. Гермотим. Разве я это отрицаю?

Ликин. А разве мог ты, в таком случае, узнать все с первого глотка? Не одно ведь и то же он говорил, но все время иное, за новым — новое. Это совсем не то, что вино, которое оставалось у нас все тем же самым. Таким образом, мой друг, если ты выпьешь не всю бочку, ты будешь кружиться пьяным, но без всякого проку. Ибо, как мне кажется, бог скрыл блага философии попросту на дне, в винном осадке. Придется, значит, вычерпать все до последней капли, иначе ты так и не найдешь божественного напитка, которого, кажется, давно жаждешь. А ты думаешь, он таков, что стоит только его попробовать, глотнуть чуть-чуть — и ты тотчас сделаешься премудрым, как дельфийская проро-

чица, про которую говорят, что она, напившись из святого источника, тотчас становится боговдохновенной и начинает давать предсказания приходящим к ней. Однако дело обстоит иначе. Ты, по крайней мере, хотя выпил уже больше половины бочки, сам говорил, что стоишь еще в самом начале.

61. Но, посмотри, не больше ли подойдет к философии вот какое сравнение: сохраним по-прежнему твою бочку, оставим и купца, но внутри пусть будет не вино, а смесь разных семян: сверху — пшеница, за ней — бобы, дальше — ячмень, под ячменем — чечевица, затем горох и разные другие. И вот ты подходишь купить семян, а купец, взяв немного имеющейся у него пшеницы, насыпает тебе в руку как пробу, чтобы ты посмотрел, каково зерно. Так разве, глядя на пшеницу, ты мог бы сказать заодно, чист ли горох, не пересохла ли чечевица и не пусты ли бобовые стручки?

Гермотим. Ни за что не сказал бы.

Ликин. Вот так и философия: не выслушав всего, что скажет человек, по одному лишь началу не узнаешь, пожалуй, какова она вся, ибо, как мы видели, она — не единое что-то, подобно вину, с которым ты ее сравниваешь, считая всю одинаковой с первым глотком, — она оказалась, напротив, чем-то неоднородным, требующим исследования, и притом не поверхностного. Ведь при покупке плохого вина всей-то опасности на два обота, но себя самого потерять среди человеческого сброда, — как и сам ты говорил в начале беседы, — немалая будет беда. К тому же тот, кто до дна пожелает выпить бочку, чтобы купить одну кружку, причинит, я думаю, убыток купцу такую неслыханной пробой; с философией же ничего такого не случится, и ты можешь сколько угодно ее пить: ни на каплю не уменьшится содержимое бочки и не понесет ущерба купец. Тут, по пословице «дела не убудет, сколько ни черпай», как раз обратное бочке Данаид, которая даже того, что в нее наливали, не могла удержать, и оно вытекало тотчас же; из этой бочки зачерпни сколько хочешь — останется больше, чем было.

62. Приведу тебе еще одно сравнение о пробе философии, и не сочти меня клеветником на нее, если скажу, что напоминает она ядовитое зелье — болиголов, например, или волчий корень, или еще какое-нибудь в том же роде. И они ведь, хотя и смертоносны, не убивают, однако, если чуть-чуть поскоблить их и по-

пробовать на кончике ногтя; нужно определенное количество, определенный способ и раствор — иначе принявший останется жив. Ты же считал, что достаточно самого ничтожного приема, чтобы до конца познать целое.

63. Гермотим. Что до этого, — пусть будет по-твоему, Ликин. Так, значит, как же? Сто лет надо прожить и столько перенести хлопот? Неужели же нельзя иначе философствовать?

Ликин. Никак нельзя, Гермотим; и ничего в этом нет странного, если только ты был прав, сказавши в начале беседы, что жизнь коротка, а наука долга. А сейчас что-то, не знаю, с тобою случилось, и ты уже недоволен, если сегодня же, прежде чем зайдет у нас солнце, ты станешь Хрисиппом, Платоном или Пифагором.

Гермотим. Обойти меня хочешь, Ликин, и загоняешь в тупик, хотя я тебе ничего плохого не сделал; очевидно, ты завидуешь мне, потому что я пробивался вперед в науках, а ты вон до какого возраста пренебрегал самим собою.

Ликин. Тогда сделай знаешь что? На меня не обращай внимания, как на сумасшедшего корибанта, и предоставь мне молоть вздор, а сам иди себе вперед своей дорогой и доведи свое дело до конца, не меняя своих первоначальных взглядов на эти вопросы.

Гермотим. Но ты же насильно не даешь мне сделать какой-нибудь выбор, пока я всего не подвергну испытанию.

Ликин. И никогда я не отступлюсь от своих слов, можешь быть в этом совершенно уверен. А что насильником ты меня называешь, то, мне кажется, ты обвиняешь меня безвинно, — сошлюсь на самого поэта, уже приводимого нами, пока другое его слово, выступив моим союзником, не лишит тебя силы. Только смотри: сказанное в этом слове будет, пожалуй, еще большим насилием — но ты, оставив в стороне поэта, станешь, разумеется, обвинять меня.

Гермотим. Что же именно? Ведь это удивительно, если какое-нибудь его слово осталось неизвестным.

64. Ликин. Недостаточно, говорит он, все увидеть и через все пройти, чтобы суметь уже выбрать наилучшее, — нужно еще нечто, и притом самое важное.

Гермотим. Что же такое?

Л и к и н. Нужна, странный ты человек, некая критическая и исследовательская подготовка, нужен острый ум да мысль точная и неподкупная, какую она должна быть, собираясь судить о столь важных вещах, — иначе все виденное пропадет даром. Нужно отвести, говорит он, на это немалый срок и, разложив все перед собой, следует выбирать не торопясь, медленно, взвешивая по несколько раз и невзирая ни на возраст каждого из говорящих, ни на его осанку, ни на славу мудреца, но брать пример с членов Ареопага, которые творят суд по ночам, в темноте, чтобы иметь перед собою не говорящих, но их слова; и вот тогда наконец ты сможешь произвести надежный выбор и начать философствовать.

Гермотим. То есть распрощавшись с жизнью? Ведь при этих условиях никакой человеческой жизни, полагаю, не хватит на то, чтобы ко всему подойти и тщательно в отдельности разглядеть, да разглядевши — рассудить, да рассудивши — выбрать, да выбравши — начать философствовать: ведь только таким образом и может быть найдена, по твоим словам, истина, иначе же — никак.

65. Л и к и н. Не знаю, Гермотим, сказать ли тебе, что и это еще не все; думаю, что мы и сами не заметили, как допустили, будто и в самом деле что-то нашли, хотя, может быть, не нашли ничего, подобно рыбакам: они тоже часто закидывают сети и, почувствовав какую-то тяжесть, вытаскивают их, надеясь, что поймали множество рыбы, а когда извлекут сети с великим трудом, то взорам их предстает камень или набитый песком горшок. Смотри, как бы и нам не вытащить чего-нибудь в этом роде.

Гермотим. Не понимаю, к чему тебе понадобились эти сети. Кажется, ты просто хочешь поймать меня в них.

Л и к и н. Так попытайся из них ускользнуть: ты ведь, с божьей помощью, умеешь плавать не хуже других; я же, со своей стороны, полагаю, что мы сможем обойти всех с целью испытать их и, в конце концов, выполнить это, — и все-таки останется по-прежнему неясным, владеет ли кто-нибудь тем, что нам нужно, или все одинаково не знают его.

Гермотим. Как? Даже из этих людей решительно никто им не владеет?

Л и к и н. Неизвестно. Разве тебе не представляется возможным, что все они лгут, а истина есть нечто иное, ненайденное, чего ни у кого из них еще нет?

66. Гер м о т и м. Ну как это?

Л и к и н. А вот так: допустим, у нас будет истинным число двадцать. Пусть, например, кто-нибудь, взявши двадцать бобов в руку и зажавши их, будет спрашивать десять человек, сколько у него в руке бобов; они будут отвечать наугад: кто — семь, кто — пять, а кто пусть скажет тридцать; еще кто-нибудь назовет десять или пятнадцать и вообще один назовет одно число, другой — другое. Может статься, что случайно кто-нибудь все-таки скажет правду. Не так ли?

Гер м о т и м. Так.

Л и к и н. Но, конечно, не исключена возможность и того, что каждый назовет какое-нибудь неправильное число — не то, какое есть в действительности, — и никто из них не скажет, что бобов у этого человека двадцать. Разве ты несогласен?

Гер м о т и м. Да, вполне возможно.

Л и к и н. Вот точно так же и философы: все они исследуют блаженство, что это, собственно, такое, — и каждый определяет его по-иному: один как наслаждение, другой как красоту, третий утверждает о нем еще что-нибудь. И возможно, конечно, что блаженство совпадает с одним из этих определений, но не является невозможным, что оно заключается в чем-то другом, помимо перечисленного. Похоже на то, что мы перевертываем должный порядок и, не найдя начала, торопимся сразу к концу. А нужно было бы, я полагаю, сначала выяснить, известна ли истина и владеет ли ею вообще кто-нибудь из философов, а потом уже, после того, можно было бы по порядку искать, кому следует верить.

Гер м о т и м. Таким образом, Ликин, ты утверждаешь, что, если даже мы пройдем через всю философию, мы и тогда все-таки не сможем открыть истину?

Л и к и н. Дорогой мой, обращай свой вопрос не ко мне, но опять-таки к самим исследуемым понятиям, и, без сомнения, ты получишь ответ: да, мы не сможем, пока будет неясным, является ли истина именно тем, о чем говорит один из этих людей.

67. Гер м о т и м. Никогда, разумеется, судя по твоим словам, мы не найдем ее и не станем философами, но придется нам проводить жизнь в невежестве, отой-

дя от философии. По крайней мере, из твоих слов явствует, что стать философом невозможно и недостаточно — для человека во всяком случае. В самом деле: ты требуешь от того, кто намеревается философствовать, чтобы он прежде всего выбрал наилучшую философию; выбор же этот, по-твоему, мог бы выйти безошибочным лишь при условии, если мы, пройдя все виды философии, выберем самый истинный; затем, подсчитывая количество лет, достаточное для каждого, ты растянул задачу и, перешагнув свое, скатился в чужие поколения, так что для истины, оказалось, не хватит дней никакой жизни. А в конце концов даже и это ты ставишь под сомнение, объявляя неизвестным, найдена ли истина и находится ли у философов или еще вовсе не найдена.

Ли к и н. Ну, а ты, Гермотим, мог бы клятвенно заверить, что истина найдена и находится у них?

Гермотим. Я? Нет, я не дал бы такой клятвы.

Ли к и н. А скольким еще я умышленно пренебрег ради тебя, хотя оно тоже требует длительного исследования!

68. Гермотим. Что же это?

Ли к и н. Разве ты не слыхал, что среди причисляющих себя к стоикам, или к эпикурейцам, или к платоникам одни знают любое положение этой философии, другие же — нет, хотя в прочих отношениях заслуживают доверия?

Гермотим. Это верно.

Ли к и н. Определить тех, кто знает, и отличить их от незнающих, хотя они и говорят, будто знают, — не кажется ли это тебе делом очень трудным?

Гермотим. Еще бы!

Ли к и н. Итак, если ты захочешь узнать, кто лучший стоик, ты должен будешь обратиться... — ну, пусть не ко всем, но, во всяком случае, к большинству из них, испытать их и лучшего поставить своим учителем, предварительно поупражнявшись и приобретя способность разбираться в этих вещах, чтобы незаметно для себя самого не предпочесть худшего. Вот и на это — посмотри сам — сколько еще понадобится времени, которое я умышленно опустил, боясь, как бы не рассердить тебя, — хотя самым-то важным и вместе самым необходимым в таких вопросах, то есть в неясных и спорных, и будет, по моему мнению, — одно это. Нет для тебя иного средства к разысканию истины, кроме

одного, верного и надежного: обладай способностью судить и отделять ложь от истины, отличай, подобно пробирашкам, полноценное и настоящее от поддельного — и, вооруженный этой способностью и знанием, приступай к исследованию предмета нашей беседы,— а не то, будь уверен, ничто не помешает всякому водить тебя за нос или подгонять хворостиной, как барана. Как воду за столом, каждый кончиком пальцев будет передвигать тебя, куда захочет, и, клянусь Зевсом, ты станешь подобен прибрежному тростнику, растущему у реки, который гнется под всяким дуновением, когда даже легкий ветер волнует его.

69. Поэтому, если только найдешь ты какого-нибудь учителя, который, владея искусством неопровержимого доказательства и разрешения сомнений, согласится учить тебя,— ты, конечно, покончишь со своими затруднениями. Ибо тотчас тебе откроется лучшее и истинное, пред лицом этого искусства доказательства, а ложь будет изобличена. Сделав надежный выбор и произнеся свой суд, ты начнешь философствовать и, добившись желанного, будешь жить блаженным, обладая всеми благами!

Гермотим. Правильно, Ликин! Вот это уже лучше и совсем не так безнадежно. Очевидно, надо нам поискать какого-нибудь мужа в этом роде: пусть он сделает нас способными распознавать и, самое главное, доказывать, потому что дальнейшее уже легко, хлопот не представляет и времени много не требует. Я заранее благодарю тебя за найденный тобою наикратчайший и наилучший путь.

Ликин. Правильнее тебе подождать благодарить меня. Ничего ведь я еще не нашел и не показал такого, чтобы приблизить тебя к исполнению надежды,— напротив, мы очутились гораздо дальше, чем были ранее, по пословице: «Трудились много, а толку мало».

Гермотим. О чем это ты? Я чувствую, что-то горестное и безнадежное собираешься ты сказать.

70. Ликин. А вот о чем, друг: если даже мы найдем кого-нибудь, кто станет заверять нас, будто он и сам сведущ в доказательствах и другого научит,— мы не поверим ему, думается мне, сразу, но станем искать другого, который мог бы решить, правду ли говорит этот человек. И если добудем такого судью, опять получим неясность: умеет ли он распознать человека, правильно сужащего, или не умеет; и для него

самого, я думаю, снова нужен иной судья. Ведь нам-то откуда же знать, как судить о способности человека к наилучшему суждению? Видишь, куда заводят нас поиски истины и каким бесконечным становится это занятие: остановить его и овладеть истиной никогда не удастся, так как и сами доказательства, сколько их ни найдется, при ближайшем рассмотрении окажутся спорными и не имеющими ничего прочного. Большая часть доказательств при помощи столь же спорных посылок направлена на то, чтобы насильно убедить нас, будто мы достигли знания. Это то же самое, как если бы кто-нибудь задумал доказать бытие богов тем, что их жертвенники явно существуют. И вот, Гермотим, не знаю, как это вышло, но только мы, словно бегаая по кругу, снова пришли к исходному положению и пребываем в прежнем затруднении.

71. Гермотим. Что ты со мною сделал, Ликин! В угли обратил ты мое сокровище! Очевидно, годы напряженного труда окажутся для меня потерянными напрасно.

Ликин. Однако, Гермотим, ты будешь гораздо меньше огорчен, если примешь в соображение, что не один ты останешься за пределами тех благ, которых надеялся достигнуть,— все философствующие, как говорится, борются за тень осла. Разве кто-нибудь сможет пройти через все затруднения, о которых я говорил? Что это невозможно, ты и сам признаешь. А сейчас твое поведение напоминает мне человека, который стал бы плакать и жаловаться на судьбу за то, что не может взойти на небо, или, опустившись в морскую глубь у Сицилии, вынырнуть около Кипра, или, поднявшись птицей, перенестись в один день из Эллады в Индию. А причиной его огорчения — надежда, которую он питал, увидев, как думается, или какой-то сон, или нечто подобное и не исследовав раньше, достижимо ли то, чего он хочет, и согласно ли с человеческой природой. Вот так и ты, мой друг, спал и видел много чудес во сне, но наша беседа поразила тебя и заставила пробудиться. Теперь, едва открыв глаза, ты сердишься, не желая стряхнуть сон и расстаться с радостями, о которых грезил. Такое же недовольство испытывают люди, создающие себе в мечтах призрак счастья. Если, пока они становятся богачами и откапывают клады и владеют царствами или вкушают иные радости — а подобное легко и в изобилии создает бо-

гиня Мечта, которая в великой щедрости своей никому ни в чем не откажет, даже пожелай он стать птицей или великаном или найти золотую гору,— так вот, если среди таких помыслов придет к мечтателю раб с вопросом о чем-нибудь жизненно необходимом, например, где купить хлеба или что ответить домохозяйину, который требует плату и давно дожидается ее,— как сердятся тогда за то, что спросивший потревожил углубленного в мечты и лишил разом всех благ; кажется, еще немного — и рабу откусили бы нос!

72. Но ты, дорогой мой, не питай таких чувств против меня за то, что я сделал: ты ведь тоже откапывал клады и носился на призрачных крыльях. Ты тоже думал думы необычайные и надеялся на надежды несбыточные, а я, как друг, не мог оставить тебя всю жизнь проводить во сне — пусть сладком, но все-таки во сне,— и потребовал, чтобы ты встал и занялся чем-нибудь полезным, чем ты будешь заниматься всю остальную жизнь, о деле общем заботясь. Что ты до сих пор делал и о чем думал, ничуть не отличается от гиппокентавров, химер и горгон, от всего того, что создают свободно сны, поэты и художники и что никогда не существовало и существовать не может. И все-таки толпа всему этому верит и, как очарованная, глазает и выслушивает выдумки за их новизну и необычайность.

73. Так вот и ты: услышал от какого-нибудь слагателя басен, будто есть на свете какая-то женщина, не превзойденная красотой, превыше самих харит и Афродиты Небесной, и, признав ненужным проверить, правду ли тот говорит и живет ли действительно где-нибудь на земле такая женщина, тотчас же влюбился, как Медея, которая, как говорят, влюбилась в Ясона, увидев его во сне. Скорее всего привело к этой страсти тебя и всех прочих, подобно тебе влюбленных в тот же призрак, то, что человек, рассказывавший о женщине, раз было признано достоверным начало, добавил и остальное. Вы взирали только на одно, а слагатель басен, пользуясь этим, стал водить вас за нос, раз вы дали за что ухватиться, и повел вас к любимой тем путем, который именовал прямым. Дальнейшее, полагаю, было для проводника легким. Никто из вас не пытался, вернувшись к началу, выяснить, верен ли путь и не пошел ли он, не заметив того, не по тому пути, по которому надлежало идти. Напро-

тив, все вы шли по следам ушедших вперед, будто стадо баранов за вожакom, вместо того чтобы в самом начале, при входе, тотчас посмотреть, надо ли было вступать на эту дорогу.

74. Смысл моих слов лучше тебе уяснится, если ты рассмотришь попутно еще одно, вот такое сравнение: если кто-нибудь из поэтов, полных великой отваги, будет рассказывать, что когда-то уродился человек о трех головах и шести руках, и если ты беззаботно примешь эту основную посылку на веру, не исследовав, возможен ли такой случай,— рассказчик тотчас же сделает отсюда и все остальные выводы: окажется, что этот человек имел шесть глаз, шесть ушей, и голосов выпускал он по три разом, и ел тремя ртами, и пальцев имел тридцать, а не так, как мы — каждый по десяти на обеих руках, а когда приходилось сражаться, то этот человек в каждой из трех рук держал по щиту, а из других трех одна рубила секирой, другая метала копье, третья действовала мечом. Кто мог бы отказаться поверить подобным его рассказам? Ведь они — лишь следствие из основного положения, которое надо было сразу рассмотреть, подлежит ли оно принятию и следует ли допускать, что сказанное действительно является таковым. Но если первое дано, остальные положения вытекают из него без всякой задержки, и не поверить им будет уже не легко, так как они являются следствиями и согласованы с принятым основным положением. Как раз это случилось и с вами. Движимый страстным желанием, каждый из вас при выходе на дорогу не исследовал, как, собственно, обстоит с ней дело, и вы идете дальше, следуя за увлекающими вас выводами, и не задумываетесь над тем, не случится ли, что вывод окажется ложью. Например, если кто-нибудь скажет, что дважды пять — семь, и мы поверим ему, не сосчитавши сами, то он сделает очевидный вывод, что и четырежды пять будет равно четырнадцати, и так далее, сколько пожелает. То же делает и удивительная геометрия: она заставляет слушателей сперва выставить какой-нибудь нелепый постулат о неделимой точке или линиях, не имеющих ширины, и тому подобное. Добившись согласия, на этой негодной основе возводят построение. Начав с ложной посылки, геометрия заставляет строгим доказательством признать выставленное утверждение истинным.

75. Так и вы, приняв за данное основные положения той или иной философской школы, верите и последующим, считая признаками их истины то, что они являются выводами,— хотя, по существу, эти выводы ложны. Затем, одни из вас умирают, не утратив надежд, не успев разглядеть правды и понять, что философы обманули. Другие хотя и замечают обман, но поздно, уже став стариками; как это им в таком возрасте признать, что они забавлялись как дети и не поняли этого. Они остаются при том же, боясь позора, и продолжают восхвалять все, как было. Всех, кого могут, они обращают в свое учение, чтобы не одним быть обманутыми, но иметь утешение, видя, что и со многими другими случилось то же самое. Кроме того, эти философы видят также и то, что, скажи они правду, их перестанут считать, как сейчас, людьми значительными, стоящими выше других, и не будет им оказываться уже такого почета. Философы ни за что не скажут правды, зная, с какой высоты им придется упасть и что они станут такими же, как все. Иногда, очень редко, ты можешь встретить смелого человека, который решается признать, что он был обманут, и старается отвратить других от подобных же опытов. Так вот, если придется тебе встретиться с одним из таких людей,— зови его правдолюбом, человеком достойным и справедливым, даже, если хочешь, философом: только за ним одним я готов признать право на это имя. Остальные же или не знают вовсе правды, думая, что обладают знаниями, или знают, но скрывают из трусости, из чувства стыда и желания быть окруженными особым почетом.

76. Но, во имя Афины, бросим сейчас все, что я говорил, и оставим здесь — да будет оно предано забвению, как то, что совершалось до архонта Евклида. Предположим, что есть только одна правильная философия — философия стоиков, другой же никакой не существует, и посмотрим, говорит ли она о достижимом и возможном или же трудятся ее последователи напрасно. Что касается обещаний, то, как я слыхал, это какие-то чудеса, поскольку стоики сулят блаженство тем, кто взойдет на самую вершину: взошедшие будут единственными людьми, которые соберут все подлинные блага и будут владеть ими. Что же касается дальнейшего, то тут, пожалуй, ты осведомлен лучше меня: пришлось ли тебе когда-нибудь встретить сто-

ика, который не печалился бы, не радовался, не испытывал гнева, человека выше зависти, человека, презирающего богатство и в полной мере блаженного? Имеется ли такой строгий образец жизни, построенный по правилам Добродетели? Ведь тот, которому недостает самого малого, — не достиг совершенства, хотя бы он во всем и превосходил других; если же этого нет — он еще не достиг блаженства.

77. Гермотим. Ни одного такого стойка я не видел.

Ликин. Это очень хорошо, Гермотим, что ты сам не хочешь говорить неправду. Но тогда что же ты смотришь, занимаясь философией, если для тебя ясно, что ни учитель твой, ни его учитель, ни учитель того и никто из десяти поколений учителей не сделался подлинно мудрым и через то блаженным? Ты, может быть, скажешь, что достаточно приблизиться к блаженству, — но ты будешь не прав, так как это делу не помогает. Одинаково находятся в пути под открытым небом и тот, кто остановился у двери, не войдя в дом, и остановившийся далее — ведь разница между ними только в том, что первый будет больше тосковать, видя вблизи то, чего он лишен. Допустимо ли, ради того чтобы приблизиться к блаженству, так мучить и изнурять себя, упуская столько лет жизни, пренебрегая собою, проводя время в бессонных трудах и бродя с поникшей от усталости головой? И ты говоришь, что будешь мучить себя и дальше, по меньшей мере еще лет двадцать, чтобы восьмидесятилетним стариком — если у тебя найдется кто будет заботиться о тебе и ты доживешь до таких лет — оказаться всего лишь среди тех, кто еще не достиг блаженства? Или, может быть, ты надеешься, что тебе одному удастся, преследуя, догнать и схватить то, за чем до тебя очень многие люди, более храбрые и более быстрые, чем ты, гнались долго, но так ничего и не поймали.

78. Но пусть так: лови, хватай и держи — и все-таки я не знаю такого блага, чтобы оно могло уравновесить столько мучительных трудов. А потом: сколько же лет тебе останется на то, чтобы насладиться достигнутым благом, если ты будешь уже стариком, переросшим всяческую радость и стоящим, как говорят, одной ногой в гробу? Одно разве только остается, милейший: может быть, ты приготавливаешь себя для жизни иной, чтобы, придя туда, прожить там лучше, зная, как надо

жить,— подобно человеку, который, чтобы получше пообедать, стал бы до тех пор все готовить к пиршеству и устраивать, пока незаметно не умер бы с голоду?

79. И еще, мне кажется, ты не принял во внимание, что Добродетель, конечно, заключается в делах, например в поступках справедливых, мудрых и смелых. Вы же — под вами я разумею величайших из философствующих,— пренебрегая поисками Добродетели и ее осуществлением, занимаетесь жалкими речами, силлогизмами и трудноразрешимыми утверждениями и тратите на эти занятия большую часть жизни. А того, кто окажется в этом сильнее, славите как победителя. Я думаю, вы удивляетесь и этому учителю, престарелому мужу, потому, что он умеет завести в тупик собеседника, знает, как надо задать вопрос, заниматься софизмами и замышлять злые козни, чтобы ввергнуть человека в безвыходное положение. Пренебрегая совершенно плодами — плоды — это дела, — вы занимаетесь только внешней оболочкой и в ваших беседах засыпаете друг друга листьями. Разве не этим занимаетесь вы все, Гермотим?

Гермотим. Этим самым и ничем иным.

Ликин. Тогда разве не прав будет тот, кто скажет, что вы гоняетесь за тенью, забывая тело, или за шкуркой змеи, позабыв о самом гаде, или, пожалуй, поступаете подобно тому, кто, наполнив водою ступу, начал бы толочь воду железным пестом, думая, что он занимается каким-то нужным делом, и не подозревая, что можно, как говорится, оттолочь себе плечи — вода все останется водой?

80. Позволь, наконец, спросить тебя, хочешь ли ты, помимо учености, и в остальном стать похожим на учителя, быть таким же сердитым, таким же мелочным, сварливым и падким до чувственных удовольствий — Зевс тому свидетель, — хотя большинство и не считает это достоинством? Что же ты примолк, Гермотим? Хочешь, я расскажу тебе, что, как я слышал третьего дня, говорил о философии какой-то человек в весьма преклонных летах, к которому за мудростью прибегает вся молодежь? Так вот, требуя плату с одного из учеников, он выражал неудовольствие, говоря, что срок пропущен и за опоздание полагается пеня, так как уплатить следовало шестнадцать дней назад, в новолуние. Так ведь было условлено.

81. Пока он бранился, подошел почтеннейший отец юноши, деревенский житель и, по-вашему, невежественный, и сказал: «Брось, чудака, уверять, будто мы жестоко тебя обидели, не уплатив до сих пор за купленные у тебя словечки. Того, что ты продал нам, у тебя еще осталось достаточно, учености у тебя ничуть не убавилось. А в том, чего я с самого начала так хотел, когда посылал к тебе сынишку,— в этом он с твоей помощью ничуть не стал лучше: он похитил дочку соседа Эхекрата, испортил девушку и не ушел бы он от суда как насильник, если бы я за талант не выкупил грех у бедняка Эхекрата. Затем, третьего дня он дал пощечину матери за то, что та его задержала, когда он уносил под мышкой кадушку,— наверно, чтобы иметь чем за попойку уплатить. По части злобы, буйства, бесстыдства, дерзости и вранья он раньше был куда лучше, чем теперь. Я очень хотел бы, чтобы он в этом отношении получил от тебя пользу, а не учился бы тому, о чем он распространяется каждый день за обедом, хотя нам в этом нет нужды: как крокодил утащил ребенка и обещает отдать его, если отец ответит не знаю что. Или доказывает, что раз сейчас день, то не может быть ночи. А иной раз молодчик рога нам хочет отрастить, когда не знаю как начнет наворачивать слова. Ну, мы над этим смеемся, особенно когда он заткнет уши и твердит про себя разное: «случайное», «постоянное», «понимание», «воображение» — и всякие такие слова произносит. Слышали мы от него тоже, будто бог не на небе живет, а прогуливается по всем вещам, например по деревьям, по камням, по животным — вплоть до всякой дряни. А когда мать спросила его, что за вздор он несет, он засмеялся над ней и сказал: «Вот выучу этот вздор как следует, и ничто уж не помешает только одному мне быть богачом и царем, а всех других по сравнению со мною буду почитать за рабов и за нечисть».

82. Так сказал этот человек. А теперь послушайте, какой ответ, достойный старика, дал ему философ. Он сказал: «Если бы твой сын не сблизился со мной, почему ты знаешь, что он не наделал бы дел гораздо худших и даже — да сохранит нас Зевс — не был бы передан в руки палача? Теперь же, так как философия и стыд перед нею набросили на него некую узду, он благодаря этому стал более умерен, и вы легче можете его выносить. Позором ведь будет, если мой ученик

окажется недостойным одеяния и звания, которые, ему сопутствуя, воспитывают его. Итак, справедливо было бы мне получить с вас плату если не за то, в чем я вашего сына сделал лучше, так за то, чего он не сделал из чувства уважения к философии. Даже кормилицы уже говорят о своих питомцах, что надо их посылать в школу: если они и не смогут научиться там чему-нибудь доброму, то, во всяком случае, находясь в школе, не будут делать ничего плохого. Итак, я считаю, что мною все выполнено. Ты можешь прийти ко мне завтра и испытать любого из выучившихся у меня мудрости,—ты увидишь, как он ставит вопросы, как отвечает, сколько он выучил и сколько уже прочел книг об аксиомах, силлогизмах, о понимании, обязанностях, а также о многом другом. А то, что он ударил мать или похитил девушку,—какое это имеет ко мне отношение? Вы не нанимали меня к нему в воспитатели».

83. Вот что говорил старец в защиту философии. Но ты, пожалуй, и сам скажешь, Гермотим: достаточно ли этого, чтобы начать философствовать? Или же мы с самого начала считали нужным философствовать, питая иные надежды, а не стремились к тому, чтобы, прохаживаясь, выглядеть приличнее простых смертных? Неужели и на этот вопрос ты не ответишь?

Гермотим. Что мне ответить, кроме того, что я готов заплакать? Так глубоко проникли в меня твои речи, открывшие истину! Я горько жалею о том времени, которое я, несчастный, затратил! А я вдобавок еще и плату вносил немалую за свои немалые труды. И сейчас, словно протрезвев после опьянения, вижу, что я так страстно любил и сколько выстрадал ради него.

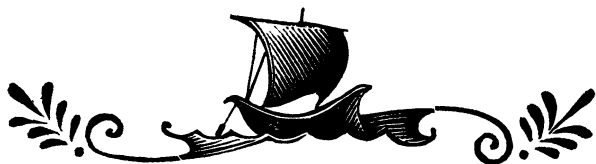
84. Ликин. Но к чему плакать, друг мой? Ведь очень легко понять смысл басни, которую рассказывал Эзоп. Один человек, говорил он, сидя на берегу, считал набегающие волны и, сбившись, стал тужить и горевать, пока не подошла к нему лиса и не сказала ему: «Что ты, мой милый, горюешь о волнах, которые протекли, когда можно начать считать сызнова, не заботясь о прошедших?» Вот так и ты: раз таково твое решение, лучше всего ты сделаешь, если в дальнейшем будешь считать, что надо жить жизнью общей со всеми, и станешь таким же гражданином, как большинство людей, не питая никаких несбыточных и туманных надежд. Начни рассуждать здраво, и ты не бу-

дешь стыдиться, если тебе в преклонных летах придется переучиваться и переходить на лучший путь.

85. И не думай, мой милый, что все сказанное я говорил из предубеждения к Стое или питая какую-то особую вражду к стоикам. Мои слова приложимы ко всем учениям. То же самое я сказал бы, если б ты избрал учение Платона или Аристотеля и осудил все остальные, заочно и без разбора. В данном случае, так как ты предпочел стоиков, необходимо было направить мои слова против Стои, хотя я ничего особенного против нее не имею.

86. Гермотим. Ты прав. Итак, я отхожу прочь и даже изменю свой внешний вид. В недалеком будущем ты не увидишь больше ни густой и длинной, как сейчас, бороды, ни жизни умеренной — будет полная непринужденность и свобода. Может быть, я даже в пурпур облекусь, чтобы все видели, что мне нет никакого дела до всего этого вздора. Если бы можно было изрыгнуть из себя все, что я наслушался от философов, — будь уверен, я без колебания стал бы пить ради этого отвар чемерицы, в противоположность Хрисиппу, чтобы не вспоминать никогда того, что говорят философы. А тебе, Ликин, я приношу благодарность: какой-то мутный бурный поток уносил меня, и я уже отдавался ему, увлекаемый течением водяных струй, но ты вытащил меня, представ, как божество в трагедии. Мне кажется, будет разумно, если я обрею голову, как это делают люди, спасшиеся после кораблекрушения, и сегодня же принесу благодарственную жертву, отряхнув с глаз весь этот мрак.

Если когда-нибудь в будущем, идя по дороге, я встречу, вопреки моему желанию, с философом, я буду сворачивать в сторону и обойду его, как обходят бешеных собак.





НИГРИН

ПИСЬМО К НИГРИНУ

Лукиан желает счастья Нигрину

Пословица говорит: «возить сову в Афины», так как смешно, если кто-нибудь повезет туда сов, когда там их и без того много. Поэтому, если бы я, желая показать силу красноречия, написал книгу и затем отправил ее Нигрину, я был бы так же смешон, как если бы действительно привез сову в Афины; но так как я хочу только высказать тебе мои теперешние взгляды и показать, что твои слова имели на меня сильное влияние, то несправедливо применять ко мне эту пословицу, а равно и известные слова Фукидида о том, что невежество делает людей смелыми, а размышление — нерешительными. Ведь ясно, что во мне не одно невежество является причиной такой решимости, но и любовь к твоим речам.

Будь здоров.

1. Друг. Каким важным ты вернулся к нам и как высоко держишь голову! Ты не удостоиваешь нас даже взгляда, не бываешь с нами и не принимаешь участия в общей беседе. Ты резко изменился и вообще стал каким-то высокомерным. Хотел бы я знать, откуда у тебя этот странный вид и что за причина всего этого?

Лукиан. Какая же может быть другая причина, мой друг, кроме счастья?

Друг. Что ты хочешь сказать?

Лукиан. Вкратце говоря, я к тебе являюсь счастливым и блаженным и даже, как говорят на сцене, «трижды блаженным».

Друг. Геракл! В такое короткое время?

Лукиан. Да, именно.

Друг. В чем же то великое, что тебя наполняет гордостью? Скажи, чтобы мы не вообще радовались, но могли узнать что-нибудь определенное, услышав обо всем от тебя самого.

Лукиан. Разве тебе не кажется удивительным, что я вместо раба стал свободным, вместо нищего — истинно богатым, вместо неразумного и ослепленного — человеком более здравым.

2. Друг. Да, это великое дело, но я еще ясно не понимаю, что ты хочешь сказать.

Лукиан. Я отправился прямо в Рим, желая показаться главному врачу, так как боль в глазу все усиливалась.

Друг. Все это я знаю и от души желал тебе найти дельного врача.

Лукиан. Решив давно уже поговорить с Нигрином, философом-платоником, я встал рано утром, пришел к нему и постучался в дверь. После доклада слуги я был принят. Войдя, я застал Нигрина с книгой в руках, а кругом в помещении находилось много изображений древних философов. Перед Нигрином лежала доска с какими-то геометрическими фигурами и шар из тростника, изображающий, по-видимому, вселенную.

3. Порывисто и дружелюбно обняв меня, Нигрин спросил, как я поживаю. Я рассказал ему и, в свою

очередь, пожелал узнать, как он поживает и решил ли он снова отправиться в Грецию. Тут, мой друг, начавши говорить об этом и излагая свое мнение, он пролил передо мною такую амбросию слов, что Сирены, если они когда-нибудь существовали, и волшебницы-певицы, и гомеровский лотос показались мне устарелыми — так божественно вещал Нигрин.

4. Он перешел к восхвалению философии и той свободы, какую она дает, и стал высмеивать то, что обыкновенно считается благами — богатство, славу, власть, а также золото и пурпур и все то, чем большинство так восхищается и что до тех пор и мне казалось достойным восхищения. Все его слова я воспринимал жадной и открытой душой, хотя и не мог отдать себе отчета в том, что со мной происходит. Испытывал же я всякого рода чувства: то был огорчен, слыша порицания того, что мне было дороже всего — богатства, денег и славы, и едва не плакал над их разрушением, то они мне казались низменными и смешными, и я радовался, как бы взглядывая после мрака моей прежней жизни на чистое небо и великий свет; и, что удивительнее всего, я даже забывал о болезни глаз, а моя душа постепенно приобретала все более острый взор. А я раньше и не замечал, что она была слепа!

5. Наконец я пришел в то состояние, за которое ты меня только что упрекал: я стал горд после речи Нигрина и как бы поднялся выше и вообще не могу думать ни о чем мелком. Мне кажется, что со мною, благодаря философии, случилось то же, что, как говорят, произошло с индийцами от вина, когда они в первый раз напились его: будучи уже от природы горячими, они, напившись крепкого, чистого вина, тотчас же пришли в сильное возбуждение и стали вдвойне, сравнительно с другими, безумствовать. Так вот и я воодушевлен и опьянен словами Нигрина.

6. Друг. Но ведь это не опьянение, а, напротив, трезвость и воздержание. Я хотел бы, если можно, услышать эту речь. Я думаю, что нехорошо будет с твоей стороны отказать в этом, особенно если ее хочет услышать друг, стремящийся к тому же, что и ты.

Лукиан. Будь спокоен, мой милый, я могу ответить тебе словами Гомера:

Почто, как и сам я стараюсь, ты побуждаешь меня?

Если бы ты меня не опередил, я сам попросил бы тебя выслушать мой рассказ: я хочу, чтобы ты засвидетельствовал перед всеми, что я безумствую не беспричинно. Кроме того, мне приятно как можно чаще вспоминать слова Нигрина, и я выработал в себе привычку, даже если никого не встречаю, все-таки два или три раза в день повторять про себя его речь.

7. Влюбленные вдали от любимых вспоминают их поступки и слова и, проводя таким образом время, заглушают самообманом свое страдание, так как им кажется, что любимые находятся с ними; некоторые даже воображают, что разговаривают с ними, и восхищаются тем, что слышали раньше, как будто это было сказано сейчас; занятые воспоминаниями прошлого, они не имеют времени тяготиться настоящим. Так и я, в отсутствие философии, восстанавливаю в памяти слова, которые я тогда слышал, и, снова передумывая их, испытываю большое утешение. Словом, как моряк, носимый в глубокую ночь по морю, ищет глазами маяк, так я ищу Нигрина, и мне кажется, будто он присутствует при каждом моем действии и я постоянно слышу его речь, обращенную ко мне. Иногда же, особенно если душа моя находится в более напряженном состоянии, я вижу перед собой его лицо и звук его голоса отдается в ушах. Он действительно, по выражению комического поэта, оставляет как бы жало в душах слушателей.

8. Друг. Прекрати, странный ты человек, длинное вступление и приступи наконец к передаче слов Нигрина с самого начала, а то я уже изнемогаю от того, как ты меня водишь вокруг да около.

Лукиан. Это правда. Так и сделаем! Только еще одно, мой друг: видал ты когда-нибудь плохих трагических актеров или комических, которых освистывают и которые так портят произведения, что их под конец прогоняют, хотя сами драмы часто бывают хорошими и раньше одерживали верх на состязаниях?

Друг. Я знаю много таких. Но при чем это тут?

Лукиан. Я боюсь, как бы тебе во время моего рассказа не показалось, что я воспроизвожу слова Нигрина то бессвязно, то даже, вследствие моего неумения, искажая самый смысл, и ты невольно осудишь самую речь. За себя лично я нисколько не обижусь, но за содержание моей речи мне будет, конечно, очень больно,

если, искаженное по моей вине, оно провалится вместе со мною.

9. Помни в продолжение всей моей речи, что автор не ответствен за все погрешности и находится где-то далеко от сцены, и ему нет никакого дела до того, что происходит в театре. А на меня смотри как на актера, показывающего образчик своей памяти; ведь я, в общем, ничем не буду отличаться от вестника в трагедии. Поэтому, если тебе покажется, будто я что-нибудь плохо говорю, помни, что слова автора были лучше и что, наверно, он изложил это иначе. Я же совсем не буду огорчен, если ты меня даже освищешь.

10. Друг. Клянусь Гермесом, ты предпослал своей речи хорошее введение, вполне согласное с риторическими законами. Ты, конечно, прибавишь еще и то, что ты недолго общался с Нигрином, и что ты не приготовился к речи, и что лучше было бы услышать ее от него самого, так как ты удержал в своей памяти только немного, что был в состоянии усвоить. Разве не правда, что ты собирался все это сказать? Итак, нет надобности говорить. Считай, что ты это уже сказал и я готов кричать и хлопать тебе; если же будешь еще медлить, я не прощу этого и в продолжение всего представления буду пронзительно свистать.

11. Лукиан. Я действительно хотел сказать то, что ты перечислил, а также что я не буду все передавать в том порядке, как говорил Нигрин, и, одним словом, не скажу обо всем: это свыше моих сил. Кроме того, я не буду говорить от его имени, чтобы еще и в этом отношении не оказаться похожим на тех актеров, которые, надевши личину Агамемнона и Креонта или самого Геракла и накинув тканые золотом одежды, со страшным взором и широко открытым ртом говорят беззвучным голосом, как женщины, гораздо смиреннее Гекубы или Поликсены. Чтобы и меня нельзя было уличить в том, что я надел личину, которая гораздо больше моей головы, и позорю свою одежду, я хочу говорить с открытым лицом — если я провалюсь, то не хочу провалиться вместе с собою и героя, которого изображаю.

12. Друг. У этого человека сегодня, кажется, не будет конца сценическим и трагическим сравнениям.

Лукиан. Ну, хорошо, я кончаю и перехожу к словам Нигрина. Он начал речь с похвалы Элладе и афинянам за то, что они воспитаны в философии и бедно-

сти и не радуются, когда видят, что кто-нибудь из граждан или чужестранцев хочет насильно ввести у них роскошь. Если и является человек с такими намерениями, они постепенно переделывают его, перевоспитывают и обращают на путь умеренности.

13. Нигрин упомянул, например, об одном из богатеев, который, явившись в Афины, обращал на себя всеобщее внимание толпой своих спутников и блестящей одеждой; он думал, что все афиняне ему завидуют и смотрят на него как на счастливого, — им же этот человек казался жалким, и они принялись его воспитывать. При этом афиняне не действовали резко и не запрещали ему жить в свободном государстве так, как он хочет. Но когда он надоедал в гимназиях и банях, а большое количество его рабов производили тесноту и загораживали путь встречным, кто-нибудь спокойно говорил вполголоса, как бы не замечая его и беседуя с самим собою: «Он, по-видимому, боится быть убитым во время мытья, а между тем в бане царит глубокий мир; нет никакой нужды в охране». Тот, слыша это, понемногу учился. Афиняне его отучили носить пеструю и пурпуровую одежду, остроумно высмеивая яркость ее красок. Они говорили: «Уже весна?» — или: «Откуда этот павлин?» — или: «Может быть, это платье его матери» — и тому подобное. Так же афиняне осмеивали и все остальное — множество его колец, вычурность прически, неумеренность в образе жизни. Благодаря насмешкам он постепенно стал скромнее и уехал, сделавшись благодаря общественному воспитанию гораздо лучше.

14. А как пример того, что афиняне не стыдятся сознаваться в своей бедности, Нигрин привел возглас всего народа, который он слышал, по его словам, во время панафинейского состязания. Какой-то гражданин был схвачен и приведен к распорядителю состязания за то, что пришел на празднество в цветной одежде. Видевшие это сжалились и стали просить за него; когда глашатай объявил, что он поступил против закона, явившись на зрелище в такой одежде, афиняне закричали в один голос, как будто сговорившись, что следует его простить, ибо у него нет другой одежды.

Нигрин хвалил все эти качества, а также господствующую а Афинах свободу и возможность жить, не подвергаясь пересудам, и превозносил тишину и спо-

койствие, которыми отмечена вся их жизнь. Нигрин указал также, что такое препровождение времени согласуется с требованиями философии и способствует сохранению чистоты нравов и что тамошняя жизнь как нельзя более подходит для дельного человека, умеющего презирать богатство и избравшего прекрасную жизнь, согласную с природой.

15. Тому же, кто любит богатство, кого прельщает золото и пурпур и кто измеряет счастье властью, кто не отведал независимости, не испытал свободы слова, не видел правды, кто всецело воспитан в лести и в рабстве или кто, отдав всю свою душу наслаждению, умеет служить только ему; кто друг излишества в пирах, друг попок и любовных наслаждений, кто находится во власти шарлатанства, обмана и лжи, или тот, кто наслаждается легкомысленной музыкой или безнравственными песнями, — тому более подходит здешний образ жизни.

16. В Риме все улицы и все площади полны тем, что таким людям дороже всего. Здесь можно получать наслаждение через «все ворота» — глазами и ушами, носом и ртом и органами сладострастия. Наслаждение течет вечным грязным потоком и размывает все улицы; в нем несутся прелюбодеяние, сребролюбие, клевтвopcтyпление и все роды наслаждений; с души, омываемой со всех сторон этим потоком, стираются стыд, добродетель и справедливость, а освобожденное ими место наполняется илом, на котором распускаются пышным цветом многочисленные грубые страсти. Таким Нигрин выставил Рим, изобразив его учителем подобных благ.

17. Когда я, сказал Нигрин, впервые сюда прибыл из Эллады, то, будучи здесь поблизости, остановился и постарался отдать самому себе отчет, зачем я сюда пришел, и произнес про себя слова Гомера:

Что, злополучный, тебя побудило, покинув пределы
Светлого дня, —

Элладу и господствующие там счастье и свободу, «прийти, чтобы увидеть» здешнюю суету, доносчиков, гордое обращение, пиры, льстецов, убийства, домогательства наследств путем происков, ложную дружбу? Что ты собираешься здесь делать, раз ты не в состоянии уйти отсюда и не применяться к здешним нравам?

18. После таких размышлений я решил укрыться «от стрел» — так и Зевс укрыл Гектора «от резни, крови и бурной тревоги» — и сидеть впредь дома, избрав такой образ жизни, который большинству кажется достойным женщин и трусов. Я беседую с самой философией, с Платоном и с истиной и, сидя как бы в театре, наполненном десятитысячной толпой, с высоты наблюдаю за происходящим, которое иногда бывает забавно и смешно, иногда же дает случай узнать и истинно надежного человека.

19. Однако можно найти хорошие стороны и в дурном: не думай, что может существовать лучшее место для упражнения в добродетели и более верное испытание для души, чем этот город и его жизнь. Немалого труда стоит противодействовать желаниям, зрелищам и соблазнам для слуха, которые отовсюду надвигаются и овладевают человеком. Приходится плыть мимо, поступая совершенно так, как Одиссей, но не со связанными руками — это было бы трусостью — и не закрывая уши воском, но с открытыми ушами, свободным и гордым в истинном смысле этого слова.

20. При этом постоянно представляется случай восхищаться философией, видя кругом общее безумие, и учиться презирать случайные блага, наблюдая как бы драму с множеством действующих лиц; один из раба превращается в господина, другой — из богатого в бедняка, третий — из нищего в сатрапа или царя, четвертый становится его другом, пятый — врагом, шестой — изгнанником. Это ведь и удивительнее всего: хотя судьба сама свидетельствует, что она играет людьми, и напоминает, что они ни на что не могут полагаться, наблюдая это каждый день, тем не менее все стремятся к богатству и власти и все бродят, полные неосуществляющихся надежд.

21. Нигрин сказал также, что можно смеяться и забавляться происходящим; перескажу тебе теперь и это. Разве не смешны богачи, показывающие пурпуровые одежды, выставляющие напоказ свои кольца и делающие еще много других глупостей? Удивительнее всего то, что они приветствуют встречаемых при помощи чужого голоса и требуют, чтобы все довольствовались тем, что они взглянули на них. Более высокомерные ждут даже земного поклона, но не издали и не так, как это обычно у персов: надо подойти, склониться до земли, выразить свою униженность и свои душев-

ные чувства соответствующим движением и поцеловать плечо или правую руку; и подобное кажется достойным зависти и восхищения тому, кому не удастся даже это. А богач стоит, предоставляя подольше себя обманывать. Я же благодарю богачей за то, что при своем презрении к людям они, по крайней мере, не прикасаются к нам своими губами.

22. Еще более смешны сопровождающие их и ухаживающие за ними. Они встают среди ночи, обегают кругом весь город, и рабы закрывают перед ними двери; часто им приходится слышать, как их называют собаками и льстецами. Наградой за этот тяжелый обход служит обед, на котором проявляется столько высокомерия и который оказывается причиной столько несчастий; сколько они на нем съедают, сколько выпивают против воли, сколько болтают такого, о чем надо было бы молчать, и, наконец, уходят или недовольные, или браня обед, или осуждая гордость и скупость. Переулки полны ими, страдающими рвотой и дерущимися у непотребных домов. На следующий день большинство из них, лежа в постели, дают врачам повод их навещать: а ведь у некоторых, как это ни странно, нет времени даже болеть.

23. Я, по крайней мере, считаю, что льстецы гораздо вреднее тех, кому они льстят, и что они являются виновниками их высокомерия: если они восхищаются богатством, восхваляют золото, наполняют с раннего утра передние и, приветствуя богачей, называют их господами, что эти, естественно, должны думать? Поверь мне: если бы льстецы сообща решили хотя бы на короткое время воздержаться от своего добровольного рабства, сами богатые пришли бы, в свою очередь, к дверям бедняков и стали бы их просить не лишать их счастья иметь зрителей и свидетелей и не делать бесполезными и бесцельными красоту их пиров и великолепии их домов. Ведь богачи не столько любят самое богатство, как то, что за их богатство их называют счастливыми. Великолепный дом с его золотом и слоновой костью ни на что не нужен живущему в нем, если никто этим не восхищается. Следовало бы сломить и унижить власть богачей, выставив в качестве оплота против их богатств свое презрение к нему; теперь же бедные своим поклонением приводят их к безумной гордости.

24. Но еще до некоторой степени вполне естественно и простительно, что люди простые и откровенно сознающиеся в том, что не получили образования, ведут себя так,— хуже всего, что многие из тех, которые выставляют себя философами, поступают гораздо хуже. Как ты думаешь, что я испытываю, когда вижу, как кто-нибудь из них, особенно если это пожилой человек, смешивается с толпой льстецов, прислуживает кому-то из знатных и сговаривается с рабом, приглашающим на пиры? Его ведь сейчас же можно заметить и узнать среди других по внешности. А больше всего меня сердит, что такие люди не меняют заодно и одежды, раз они во всем остальном похожи на лиц из комедии.

25. А то, что они делают во время пиров, с кем из льстецов мы сравним? Разве они не наедаются еще более некрасивым образом, не напиваются еще более явно, не встают из-за стола последними и не стараются унести с собою больше других? А желающие показать себя наиболее воспитанными доходят даже до того, что затягивают песни.

Все это Нигрин считал смешным. Но чаще всего он упоминал тех, которые занимаются философией за плату и выставляют свою добродетель как товар на рынке. Их школы он называл мастерскими и харчевнями. Нигрин требовал от того, кто учит презирать богатство, чтобы он прежде всего доказал, что сам стоит выше наживы.

26. Действительно, Нигрин и сам всю жизнь поступал так, не только безвозмездно занимаясь с желающими, но и помогая нуждающимся; он настолько был далек от того, чтобы желать чужого, что даже не заботился о своем собственном, если оно гибло. Так, имея землю недалеко от города, Нигрин в течение многих лет не нашел нужным ни разу ее посетить и даже вообще не признавал, что она принадлежала ему, желая этим показать, как я думаю, что по природе мы ничем не владеем, а только по закону и по наследству: получив что-либо в пользование, якобы на неограниченный срок, мы считаемся временными господами; когда истинный срок пройдет, тогда другой, получив имущество, воспользуется им как своим.

Есть у Нигрина и другие, ценные для учеников черты: умеренность в пище, соразмерность физических упражнений, стыдливость во внешности, скром-

ность в одежде, проявляющаяся во всем этом внутренняя гармония и спокойствие характера.

27. Он советовал своим ученикам не откладывать выполнение добра, как поступают многие, назначая себе сроками какие-нибудь праздники или собрания, начиная с которых они предполагают не говорить неправды и исполнять свой долг, — он считал, что стремление к добру не терпит никакого промедления.

Понятно, что Нигрин осуждал тех философов, которые считали полезным упражнением в добродетели, если юноши будут приучаться к воздержанию всевозможными принудительными и суровыми мерами. Многие заставляли юношей сидеть взаперти, другие — приучали их к добру бичеванием, а самые хитрые даже наносили раны железом.

28. Нигрин считал, что гораздо важнее закалять душу и делать ее выносливой и что тот, кто берется хорошо воспитывать людей, должен считаться с их душой и телом, с возрастом и прежним воспитанием, чтобы не возложить на них непосильной задачи. Многие, как он говорил, даже умирали от такой трудной школы. Одного я сам видел: он испытал тяжесть учения у других философов и, как только услышал истинное слово, без оглядки убежал, пришел к Нигрину, и было очевидно, что он почувствовал себя легче.

29. От этих людей Нигрин перешел к другим, говорил о шуме и толкотне в городе, о театре и гипподроме, о статуях возниц и именах лошадей, о постоянных разговорах о них во всех переулках. Страсть к лошадям, действительно, велика и заражает даже людей с виду дельных.

30. Затем он коснулся забот о похоронах и завещаниях. Нигрин сказал, между прочим, что римляне, чтобы не пострадать за откровенность, только раз в жизни бывают искренни, — он разумел завещания. Я даже засмеялся, когда он говорил, что они желают хоронить вместе с собой свою глупость и письменно удостоверяют свое тупоумие: одни — приказывая сжигать вместе с собою любимые при жизни одежды, другие — требуя, чтобы рабы сторожили их могилу, некоторые — желая, чтобы их надгробные памятники украшались цветами: таким образом эти люди и умирая остаются глупцами.

31. Нигрин предложил подумать, как они проводят свою жизнь, если, умирая, заботятся о таких вещах; это те люди, которые покупают дорогие кушанья и нали-

вают себе на пирах вино с шафраном и ароматами, зимой наслаждаются розами и ценят их тогда потому, что они редки и это не их время: ведь когда розы появляются в свое время, согласно с природой, эти люди их презируют как дешевый товар; наконец, это те люди, которые постоянно пьют сдобренные благовониями вина. Больше всего он порицал их за то, что они не умеют находить удовлетворение своих желаний, но нарушают все законы и преступают границы, предаваясь излишеству и губя свою душу. К этим людям можно применить выражение из трагедии и комедии, что они врываются в дом мимо двери. Он назвал это солецизмом в наслаждении.

32. Сюда же относились и дальнейшие слова Нигрина, в которых он подражал Мому: тот порицал бога, создавшего быка, за то, что он не поместил рогов перед глазами. Нигрин же обвинял украшающих себя венками в том, что они не знают места венка. Если, говорил он, им доставляет наслаждение благоухание фиалок и роз, они, чтобы получать возможно большее наслаждение, должны были бы помещать венок под носом, как можно ближе к струе вдыхаемого воздуха.

33. Нигрин осмеивал также тех, кто слишком заботится о пирах, готовя разнообразные подливки и обильные яства: по его словам, им приходится переносить столько хлопот ради непрочного и кратковременного наслаждения. Из-за каких-то четырех пальцев длины, как он говорил,—ведь даже самое большое человеческое горло не длиннее этого,—они несут всяческий труд. Пока они не едят, они не наслаждаются купленным; также и после того, как оно съедено, чувство сытости не приятнее от того, что оно достигнуто такими дорогими вещами. Остается думать, что так дорого платят за наслаждение, получаемое во время прохождения пищи через горло. Причина всему та, что, вследствие своего невежества, они не знают истинных наслаждений. Философия для тех, кто готов трудиться, является руководительницей в этой области и предоставляет в их распоряжение все имеющиеся у нее средства.

34. Нигрин много говорил также о том, что творится в банях, о многочисленной свите некоторых людей, об их наглости, о том, что рабы вносят их на носилках, напоминая погребальное шествие. Одно явление, частое в Риме и обычное в банях, особенно заслуживает

порицания: идущие впереди рабы должны кричать и предупреждать их, чтобы они берегли ноги, если им надо перейти какое-нибудь возвышение или углубление, и, что особенно странно, обязаны постоянно напоминать им, что они идут. Нигрина сердило, что во время еды эти люди не нуждаются в чужом рте или чужих руках, также и пока слушают — в чужих ушах, но, несмотря на то что здоровы, они нуждаются в чужих глазах, которые бы смотрели за них, и, точно несчастные калеки, останавливаются, слыша предупреждение. То же самое делают среди дня на рынке даже должностные лица.

35. Сказав все это и многое подобное, Нигрин окончил речь. До сих пор я, пораженный, слушал, в страхе, чтобы он не замолчал. Когда же он кончил, со мною произошло то же, что с феаками: я долго смотрел на Нигрина как очарованный, потом меня охватило сильное смущение и закружилась голова; у меня то выступал пот, то я хотел говорить, но путался и останавливался — у меня не хватало голоса и язык меня не слушался; наконец я от смущения заплакал. Речь Нигрина коснулась меня не поверхностно и не вскользь, — это был глубокий и решающий удар. Эта речь, метко направленная, — если можно так выразиться, — пронзила самую душу. Если будет мне позволено высказать свое мнение о философских речах, я так себе представляю дело.

36. Душа человека, одаренного хорошими природными качествами, похожа на мягкую мишень. В жизни встречается много стрелков с колчанами, полными разнообразных и всевозможных речей, но не все они одинаково метко стреляют; одни из стрелков слишком натягивают тетиву, и потому стрела летит с излишней силой — направление они берут верно, но стрела не остается в мишени, а в силу движения проходит насквозь и оставляет душу только с зияющей раной. Другие поступают как раз наоборот: вследствие недостатка силы и напряжения их стрелы не достигают цели и часто бессильно падают на полпути, а если иногда и долетают, то слегка только ранят душу, но не наносят глубокого удара, так как им вначале не было сообщено достаточной силы.

37. Хороший же стрелок, подобный Нигрину, прежде всего основательно осматривает мишень, не слишком ли она мягка или не слишком ли тверда для данной

стрелы,— так как есть такие мишени, которых нельзя пробить. Посмотрев это, он смазывает стрелу, но не ядом, как скифы, и не соком смоковницы, как куреты, а постепенно проникающим, сладким лекарством и после этого искусно стреляет. Стрела летит с силой и пробивает мишень настолько, чтобы из нее не вылететь, и выпускает большое количество лекарства, которое, растворяясь, проникает в душу. Тогда слушающие радуются и плачут, как я это и сам испытал в то время, как лекарство постепенно разливалось по моей душе. Мне вспомнились как раз слова: «Так поражай, и успеешь и светом ахейцам ты будешь». Но, подобно тому как слушающие фригийскую флейту не все начинают безумствовать, а только находящиеся во власти Реи благодаря звукам вспоминают пережитое состояние, так и не все слушатели покидают философов вдохновленными и ранеными, но только те, у кого в душе есть какое-нибудь родство с философией.

38. Друг. Какие величественные, удивительные и божественные вещи ты рассказал! А я сначала и не заметил, что ты, действительно, насытился амбросией и лотосом. Пока ты говорил, моя душа испытывала какое-то особое состояние, и я жалею, что ты кончил; употребляя твое выражение, я ранен. Не удивляйся этому: ведь ты знаешь, что укушенные бешеными собаками не только сами беснуются, но, если они кого-нибудь укусят в своем безумии, и те теряют рассудок; это состояние передается вместе с укусом, болезнь распространяется, и безумие переходит все дальше.

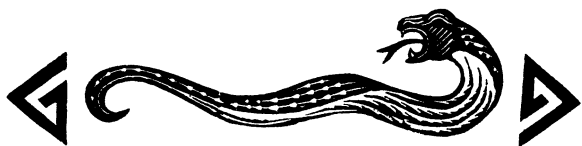
Лукиан. Значит, ты утверждаешь, что и мы охвачены болезнью?

Друг. Несомненно, и прошу тебя изобрести для нас общее лечение.

Лукиан. Тогда нам придется поступить так же, как поступил Телеф.

Друг. Что ты хочешь этим сказать?

Лукиан. Пойти к ранившему нас и попросить его нас вылечить.





ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕМОНАКТА

1. Суждено было, очевидно, и нашему времени не остаться совсем без людей, достойных упоминания и доброй памяти; напротив, современность являет примеры необычайной телесной силы и выдающегося философского ума. Я имею в виду беотийца Сострата, которого эллины называли Гераклом, уверенные в том, что он таковым и является, но главным образом философа Демонакта. Обоих я сам видел и с восхищением наблюдал за ними, а со вторым — Демонактом — провел вместе немало времени.

О Сострате уже написано в другом моем произведении, где рассказано о росте его и колоссальной силе, о том, как он жил под открытым небом на Парнасе, спал на жестком ложе и питался только тем, что мог найти в горах; там рассказывалось и о делах Сострата, не противоречащих присвоенному ему имени Геракла:

о том, что он совершил, истребляя разбойников, проводя дороги и перебрасывая мосты в неприступных и непроходимых местах.

2. Что же касается Демонакта, то о нем ныне следует говорить, во-первых, для того, чтобы он остался, насколько это от меня зависит, в памяти лучших людей, во-вторых, чтобы благородные юноши, склонные к философии, настраивали себя не только по древним образцам, но и в современной жизни имели бы пример для подражания и старались сравняться с лучшим из известных мне философов.

3. Он был родом с Кипра и происходил из семьи не известной по своему положению и состоянию. Однако Демонакт был выше всего этого и, считая себя заслуживающим самой прекрасной участи, устремился к занятиям философией. Причем, Зевсом клянусь, к этому его побудил не Агатобул, не его предшественник Деметрий и не Эпиктет, хотя со всеми этими философами Демонакт был знаком, так же как и с Тимократом из Гераклеи, мудрецом, наделенным замечательным красноречием и умом. Однако, как я сказал, не под влиянием этих философов, а движимый с детства свойственным ему стремлением к прекрасному и врожденной любовью к философии, стал он презирать все человеческие блага; избрав своей долей свободу и независимость, он прожил честно, порядочно, безупречно, и всем, кто знал Демонакта, служили образцом и его характер, и истинность его философского учения.

4. О Демонакте нельзя сказать, употребляя известную поговорку, что он достиг всеобщего уважения, «палец о палец не ударив», напротив, он стал сначала другом поэтов и многие их творения знал на память; он упражнялся в ораторском искусстве и основательно, не скользя, как говорится, по поверхности, изучил различные философские теории. Он развил гимнастическими упражнениями свое тело, сделав его закаленным и выносливым, да и вообще Демонакт заботился о том, чтобы иметь возможность ни в ком и ни в чем не нуждаться, и, как только увидел, что не может более обходиться собственными силами, добровольно ушел из жизни, оставив по себе среди лучших из эллинов светлую память.

5. Демонакт не пренебрегал ни одним философским направлением, но, многие из них соединив в еди-

ное целое, не старался показать, какому именно он отдает предпочтение. Все же, казалось, он более всего примыкал к Сократу, хотя своим обликом и непритязательностью, видимо, стремился скорее походить на синопского философа. Впрочем, Демонакт не фальшивил, не старался представить свой образ жизни иным, чем на самом деле, и тем вызвать всеобщее внимание и удивление; напротив, он жил как все, с людьми держался просто, нимало не был одержим спесью и вместе со всеми исполнял свои гражданские обязанности.

6. Демонакт не допускал в обращении сократовской иронии, а вел беседы, исполненные аттического изящества, так что собеседники не презирали его за невоспитанность и не уходили с единственной целью — избежать его угрюмых порицаний. Нет, его покидали, бурно проявляя свою радость, став намного лучше, сияющие, исполненные надежд на будущее.

7. Никто никогда не видел, чтобы Демонакт кричал, выходил из себя, сердился, даже если ему приходилось порицать кого-либо: да, он осуждал ошибки, но ошибающегося он прощал. В этом Демонакт считал нужным брать пример с врачей, которые лечат болезни, но не испытывают ненависти к больным. Он полагал, что людям свойственно ошибаться, а долг божества или мужа богоравного — направлять оступившихся на истинный путь.

8. Ведя такую жизнь, Демонакт ни в ком и ни в чем для себя не нуждался, но оказывал помощь друзьям, когда это было необходимо: тем из них, кто почитал себя счастливым, он напоминал, как преходящи блага, которыми они кичатся, и в то же время был веселым утешителем для тех, кто жаловался на бедность, тяготился изгнанием, сетовал на старость или болезни, не желая видеть, что вскоре прекратятся все их страдания, через короткое время наступит забвение и хорошего и плохого и все будут надолго свободны.

9. Его заботой было водворять мир среди повздоривших братьев и примирять жен с их мужьями. Как-то он удачно выступил перед пришедшим в волнение народом и убедил чернь благоразумно служить отечеству. Вот какого рода философию он исповедовал: ласковую, кроткую, радостную.

10. Огорчали его только болезнь или смерть друзей, ибо он считал дружбу величайшим из благ. Имен-

но поэтому он был для всех другом и почитал своим близким любого, кто только принадлежал к человеческому роду. От дружбы одних он получал большее удовольствие, от других — меньшее, но пренебрегал лишь теми, кто, казалось ему, не подавал никаких надежд на исправление. Все это он делал как бы вдохновляемый харитами и самой Афродитой, а говорил так, как будто постоянно — по выражению комического поэта — «на его устах пребывала Убедительность».

11. Вот почему афиняне — как народ, так и находящиеся у власти — чрезвычайно уважали его и смотрели как на существо высшее. Правда, в первое время Демонакт вызывал неудовольствие многих афинян и за свою вольную речь и независимое поведение заслужил у толпы ненависть не меньшую, чем некогда Сократ. Нашлись даже некоторые афиняне, которые взяли на себя роль новых анитов и мелетов, выдвигая против него те же обвинения, что и их предшественники против Сократа: никто-де никогда не видел, чтобы Демонакт приносил жертвы богам, и он единственный из всех не посвящен в Элевсинские мистерии.

В ответ на это Демонакт, покрыв голову венком и надев чистый плащ, мужественно явился в Народное собрание и произнес защитительную речь — говорил он временами хорошо и благопристойно, временами же более сурово, чем можно было бы ожидать от такого человека. Возражая на обвинение в том, что он никогда не приносил жертвы Афине, Демонакт сказал: «Не удивляйтесь, афиняне, что я до сих пор не приносил ей жертвы: ведь я полагал, что богиня не нуждается в моих приношениях». Отводя второй упрек, касающийся мистерий, он объяснил свое неучастие в таинствах следующим образом: если мистерии окажутся плохими, он не сможет об этом не рассказать непосвященным, но постарается отвести их от участия в оргиях; если же, напротив, мистерии окажутся хорошими, он всем расскажет о них из человеколюбия. Услышав это, афиняне, уже державшие наготове камни, предназначенные для Демонакта, тотчас преисполнились к нему кротости и доброжелательности и с этого момента начали его уважать, чтить, а в конце концов и восхищаться им. И все это — несмотря на то, что во вступлении к обращенной к ним речи Демонакт

употребил резкие слова. «Афиняне,— сказал он,— видите, я в венке, так принесите же теперь и меня в жертву. Ведь первая ваша жертва не встретила одобрения богов».

12. Хочу привести в качестве примера несколько метких и остроумных высказываний Демонакта. Начну с Фаворина, с того, как удачно Демонакт ему ответил. Фаворин узнал от кого-то, что Демонакт насмехается над его философскими беседами и особенно над включенными в них вялыми, расслабленными стихами, называя их жалкими, бабскими и меньше всего приличествующими философии. Фаворин, подойдя к нему, спросил Демонакта, кто он, собственно, такой, чтобы издеваться над его беседами. «Человек,— сказал Демонакт,— чьи уши не легко обмануть». Однако софист-евнух не унимался и задал другой вопрос: «Что ты взял с собой, Демонакт, оставив детские забавы и вступив на путь философии?» — «Яйца», — ответил Демонакт.

13. В другой раз, приблизившись к Демонакту, Фаворин спросил его, какое философское направление он предпочитает. «А кто тебе сказал, что я вообще занимаюсь философией?» — возразил Демонакт. И, уже отходя от Фаворина, он весело рассмеялся. В ответ на вопрос софиста, над чем он смеется, Демонакт сказал: «Смешным показалось мне, что ты, сам не имея бороды, по бороде узнаешь философов».

14. Одно время в Афинах большой популярностью пользовался софист Сидоний, который, расхваливая себя, утверждал, что он якобы одинаково искушен во всех философских учениях. Говорил он следующее: «Если Аристотель меня позовет, я последую за ним в Ликей, если Платон — пойду в Академию, если Зенон — буду проводить время в Стое, если же меня позовет Пифагор, буду молчать». — «Послушай,— сказал находившийся среди слушателей Демонакт, поднявшись с места и называя софиста по имени,— тебя уже зовет Пифагор».

15. Один молодой красавец, возлюбленный богача Пифона из Македонии, издеваясь над Демонактом, предложил ему софистический вопрос и требовал дать ответ. «Одно мне только ясно, мальчик,— сказал Демонакт,— сам ты, конечно, дашь». Юноша был обижен двусмысленной шуткой и стал угрожать: «Погоди, ты еще увидишь настоящего мужа». — «Мужа? — со

смехом переспросил Демонакт.— Так, значит, у тебя и муж есть?»

16. Как-то один атлет, которого Демонакт высмеял за то, что он, олимпийский победитель, показывается везде в пестрых одеждах, ударил философа камнем по голове так, что потекла кровь. Все, кто видел это, возмутились, словно это их самих ударили, и закричали, что нужно идти к проконсулу. Демонакт же сказал: «Не к проконсулу, а к врачу надо отправиться».

17. Однажды на улице Демонакт нашел золотой перстень с большим отверстием. Он вывесил на рынке объявление, предлагая, чтобы владелец, потерявший перстень, пришел и забрал его, назвав предварительно вес перстня, описав вделанный в него камень и имеющуюся на нем печатку. И вот явился какой-то миловидный мальчишка, утверждающий, что это он потерял перстень. Так как он ничего не мог правильно назвать, Демонакт сказал: «Уходи, мальчик, и береги свое отверстие, а перстень с этим отверстием не твой».

18. Один римский сенатор, находясь в Афинах, представил Демонакту своего сына, очень красивого, но женоподобного и изнеженного. Сенатор сказал: «Вот мой сын, который приветствует тебя». А Демонакт в ответ: «Хороший у тебя сын: и тебя достоин, и матери своей подобен».

19. Про киника, который имел обыкновение философствовать, расхаживая в медвежьей шкуре, Демонакт сказал, что правильнее было бы величать его не Гоноратом (так его звали), а Медвежатом.

20. Кто-то спросил Демонакта, каково, по его мнению, определение счастья. «Только свободный человек счастлив»,— ответил он. В ответ на замечание, что свободных людей существует много, Демонакт сказал: «Но свободным я считаю только того, кто ни на что не надеется и ничего не боится». — «Кто же может жить без надежды и страха? Ведь все мы в большинстве случаев рабы этих чувств»,— возразил собеседник философа. «Если ты, однако,— сказал Демонакт,— хорошенько поразмыслишь над человеческими делами, то поймешь, что они не заслуживают ни надежд, ни страхов, так как всегда настает конец как тяготам, так и радостям».

21. Перегрин-Протей, порицая Демонакта за то, что тот часто насмехался и подшучивал над людьми, сказал ему: «Демонакт, ты не похож на киника», на что

Демонакт ответил: «Перегрин, ты не похож на человека».

22. Один исследователь природы разглагольствовал как-то об антиподах. Демонакт, предложив ему подняться с места и подведя его к колодцу, спросил, указывая на их собственное отражение в воде: «Не они ли, по-твоему, являются антиподами?»

23. Некий человек утверждал, что он маг и знает могущественные заклинания, с помощью которых может заставить кого угодно отдать ему все, что он пожелает. «Как это тебе ни покажется странным,— сказал ему Демонакт,— но я твой товарищ по профессии; если хочешь, пойдем со мной к торговке хлебом, и ты увидишь, как я одним заклинанием и маленькой дозой волшебного средства заставлю ее дать мне хлеба». Демонакт имел в виду, что монета по силе ничем не уступает заклинанию.

24. Герод, очень горюя о безвременно скончавшемся Полидевке, требовал, чтобы для его любимца закладывали колесницу и подавали лошадей, как будто покойник мог еще ими воспользоваться; к тому же Герод настаивал, чтобы Полидевку готовили обед. Явившись к Героду, Демонакт сказал: «Я доставил тебе письмо от Полидевка». Услышав это и решив, что Демонакт, как и все, снисходит к его слабости, Герод спросил: «Что хочет Полидевк?» — «Он недоволен тем, что ты еще не явился к нему»,— ответил философ.

25. В другой раз Демонакт пришел к человеку, который, запершись в темном помещении, горько оплакивал своего сына. Философ заявил, что он маг и может вывести на землю тень умершего, при том, однако, условии, что несчастный отец назовет ему имена трех человек, которым никогда не приходилось никого оплакивать. Человек, потерявший сына, долго колебался и находился в явно затруднительном положении — полагаю, из-за того, что не мог никого назвать. «Не смешон ли ты,— сказал Демонакт,— считая, что только сам невыносимо страдаешь, и не зная никого, кто бы был незнаком с горем?»

26. Демонакт считал нужным высмеивать тех, кто в своей речи часто употреблял устаревшие и иностранные слова. Однажды кто-то, отвечая на вопрос Демонакта, выразился сверххаттически. «Я ведь тебя, друг, сейчас спрашиваю,— сказал Демонакт,— а ты мне отвечаешь как при Агамемноне».

27. Один приятель попросил Демонакта: «Пойдем в храм Асклепия и помолимся за моего сына». — «Ты, должно быть, считаешь Асклепия глухим, полагая, что он не услышит нас, если мы будем молиться на этом месте», — сказал философ.

28. Однажды Демонакт оказался свидетелем того, как два философа вели совершенно невежественный спор, причем один из них задавал глупые вопросы, а другой невпопад ему отвечал. «Не кажется ли вам, — сказал философ, — что один из вас доит козла, а другой ему подставляет решето».

29. Перипатетику Агафоклу, чванившемуся тем, что он-де первый и единственный философ, овладевший диалектикой, Демонакт заметил: «Если ты единственный, то не первый, а уж если первый, то не единственный».

30. Цетег, бывший консул, находясь в Греции по пути в Азию, где он должен был стать легатом у своего отца, наделал и наговорил много смешного. Видя это, один из друзей Демонакта заметил, что Цетег — великая дрянь. «Зевсом клянусь, он действительно дрянь, — сказал Демонакт, — но отнюдь не великая».

31. Демонакт как-то встретил философа Аполлония, шествовавшего в окружении многочисленных учеников: он отправлялся в Рим, приглашенный стать воспитателем при дворе. «Вот идет Аполлоний, — сказал Демонакт, — со своими аргонавтами».

32. Кто-то спросил Демонакта, считает ли он, что душа бессмертна. «Бессмертна, — ответил он, — но не более, чем все остальное».

33. По поводу Герода Демонакт сказал: «Прав был Платон, утверждавший, что у каждого человека не одна душа. Ведь не может же быть, чтобы в одной и той же душе зародилась мысль готовить угощения и для Региллы и для Полидевка, как если бы они были живы, да к тому же публично разглагольствовать на эту тему».

34. Прослушав как-то слова, которыми обычно провозглашалось начало Элевсинских мистерий, Демонакт осмелился публично спросить афинян, по какой причине они не допускают к участию в мистериях варваров, если основателем этих таинств был варвар, фракиец Евмолп.

35. Однажды Демонакт собрался зимой отправиться в морское путешествие. Его друг спросил: «Не боишься ли ты, потерпев кораблекрушение, стать пищей

для рыб?» — «Разве это справедливо, — ответил он, — отказываться доставить пропитание рыбам, если сам поедает их в таком количестве?»

36. Одному оратору, который очень плохо выступал с речами, Демонакт посоветовал заниматься упражнением. Когда тот ответил, что все время произносит речи наедине с самим собой, Демонакт сказал: «Тогда понятно, почему ты плохо говоришь, ведь у тебя такой глупый слушатель».

37. Увидев как-то прорицателя, который за плату предсказывал будущее кому угодно, Демонакт сказал: «Я не понимаю, за что ты берешь деньги: ведь если ты можешь изменять предначертанное — сколько бы ты ни потребовал, этого все равно будет мало; если же все свершится так, как угодно божеству, — к чему вообще твои пророчества?»

38. Один пожилой римлянин, человек крепкого телосложения, демонстрировал Демонакту свое военное искусство, нападая в полном вооружении на столб. Затем он спросил: «Ну как, по-твоему, я могу сражаться?» — «Великолепно, — ответил Демонакт, — если только у тебя будет деревянный противник».

39. И при ответах на затруднительные вопросы был Демонакт очень находчив. Кто-то ради насмешки спросил философа: «Если я сожгу тысячу мин дерева, сколько получится мин дыма?» — «Взвесь, — сказал Демонакт, — золу, все остальное вес дыма».

40. Некий Полибий, человек совершенно невежественный и не умеющий грамотно разговаривать на своем родном греческом языке, сказал: «Император почтил меня римским гражданством». — «Лучше бы, — возразил Демонакт, — он сделал из тебя грека, а не римлянина».

41. Демонакт встретил одного знатного человека, очень чванившегося шириной своего пурпурового плаща. Демонакт, взявшись за полу этого плаща и указывая на него, сказал на ухо гордецу: «До тебя его носил баран, так он бараном и назывался».

42. Моясь однажды в бане, Демонакт никак не мог решиться зайти в горячую воду. Кто-то стал упрекать его в трусости. «Скажи, ради отечества, что ли, должен я сделать это?» — возразил Демонакт.

43. Когда кто-то спросил его: «Как ты думаешь, что из себя представляет подземное царство?» — Демонакт ответил: «Подожди немного, и я тебе напишу оттуда».

44. Некий бездарный поэт по имени Адмет говорил, что он написал состоящую из одного стиха эпитафию, которую он в завещании велел высечь на своем надгробии. Вот ее текст:

Тело Адмета приемли, земля, а сам он стал богом.

Рассмеявшись, Демонакт сказал: «Эпитафия настолько хороша, что мне хотелось бы видеть ее уже высеченной».

45. Некий человек, заметив на ногах Демонакта явные признаки старости, спросил: «Что это такое, Демонакт?» А он с улыбкой ответил: «Следы от зубов Харона».

46. Увидев, как один спартанец сечет своего раба, Демонакт сказал: «Прекрати! Уже достаточно ясно: твой раб достоин тех же почестей, что и его господин».

47. Женщине по имени Даная, имевшей тяжбу с собственным братом, Демонакт сказал: «Иди в суд, ведь ты не Даная, дочь Акрисия — Неподсудного».

48. С особым ожесточением нападал Демонакт на тех, кто занимается философией напоказ, а не ради достижения истины. Так, один киник, в плаще и с котомкой, имеющий, однако, при себе вместо посоха дубину, громко крича, утверждал, что он является последователем Антисфена, Кратета и Диогена. «Не лги, — сказал Демонакт, — ведь сразу же видно, что ты ученик Дубиния».

49. Когда Демонакт заметил, что многие атлеты нечестно борются и, вопреки правилам состязания, кусаются, вместо того чтобы пускать в ход руки, он сказал: «Не без оснований поклонники называют нынешних атлетов львами».

50. Тонкими и вместе с тем язвительными были слова Демонакта, обращенные к проконсулу. Этот проконсул принадлежал к числу тех людей, которые обыкновенно смолой удаляют волосы на ногах и вообще на всем теле. Некий же киник, взобравшись на камень, стал обвинять в этом проконсула, порицая его и за противоестественный разврат. Проконсул пришел в негодование и приказал стащить киника вниз, намереваясь подвергнуть его избиению палками, а может быть, и изгнанию. Оказавшийся на месте происшествия Демонакт просил проконсула проявить сострадание к кинику, ссылаясь на извека свойственную кини-

кам вольность в речах, позволившую ему так дерзко разговаривать. Проконсул сказал: «На этот раз я отпускаю его ради тебя, но если он снова осмелится на что-либо подобное, какого наказания он будет, по-твоему, заслуживать?» — «Вели тогда вытравить ему смолой волосы», — ответил Демонакт.

51. В другой раз один человек, которого император облек властью над войсками и большой провинцией, спросил, каким образом ему лучше управлять. «Не будь гневливым, меньше болтай и больше слушай», — ответил Демонакт.

52. Когда кто-то удивился, неужели такой философ, как Демонакт, с удовольствием кушает медовые лепешки, он ответил: «Не думаешь ли ты, что только для дураков строят пчелы свои соты?»

53. Увидев в Расписном портике статую с обломанной рукой, он заметил, что слишком поздно афиняне почтили Кинегира медным изваянием.

54. Заметив, что Руфин Кипрский (я имею в виду хромоногого философа из школы перипатетиков), по обычаю перипатетиков, много времени проводит в философских прогулках, Демонакт сказал: «Ничего нет позорнее, чем хромающая перипатетическая философия».

55. Как-то Эпиктет, никогда не имевший семьи, упрекал Демонакта за безбрачие, советовал ему жениться и заиметь детей, ибо, по его словам, философу следует в мире оставить кого-нибудь вместо себя. С большой язвительностью Демонакт ответил: «Так дай мне, Эпиктет, в жены одну из своих дочерей».

56. Заслуживают упоминания и слова Демонакта, сказанные Гермину — последователю Аристотеля. Как было известно Демонакту, этот Гермин, отъявленный негодяй, делал тысячи всяких мерзостей, тем не менее с его уст не сходило имя Аристотеля и десять категорий этого философа. «Гермин, — сказал Демонакт, — ты воистину заслуживаешь категорического осуждения».

57. Когда афиняне из соперничества с коринфянами намеревались установить гладиаторские игры, Демонакт, выступив перед ними, сказал: «Принимайте это решение не прежде, чем разрушите алтарь Милосердия».

58. Когда Демонакт прибыл в Олимпию, элейцы постановили соорудить в его честь медную статую. «Не делайте этого, — сказал он, — а то покажется, что

вы выражаете порицание своим предкам за то, что они не воздвигли статуй ни Сократу, ни Диогену».

59. Пришлось мне слышать, как Демонакт говорил одному законнику следующее: «По всей видимости, законы совершенно бесполезны — ведь хорошие люди вовсе не нуждаются в законах, а дурные не становятся от них лучше».

60. Из Гомера он чаще всего цитировал следующую строку:

Гибнет равно и бездельник, и сделавший много.

61. Он с похвалой отзывался о Терсите, считая его оратором в духе киников.

62. Когда Демонакта спросили, кого из философов он предпочитает, он ответил: «Все они достойны восхищения, что же касается меня, то я почитаю Сократа, восхищаюсь Диогеном и люблю Аристиппа».

63. Прожил Демонакт без малого сто лет, не зная болезней и печали, никого не обременяя и никому не докучая своими просьбами; он был полезен друзьям и никогда не имел ни одного врага. Афиняне, да и вся Эллада питали к нему такую любовь, что при виде его должностные лица вставали со своих мест и все кругом замолкали. В конце концов, будучи уже глубоким стариком, он заходил без приглашений в любой дом, обедал там и спал, а обитатели считали это явлением божества, полагая, что некий добрый дух вошел к ним в жилище. Когда он проходил мимо, все торговки хлебом наперебой тащили его к себе и каждая настаивала, чтобы он взял хлеба именно у нее. Та же, которой удавалось вручить ему хлеб, почитала это для себя счастьем. Даже дети приносили ему фрукты, называя его отцом.

64. Когда в Афинах начался мятеж, Демонакт явился в Народное собрание и одним своим видом заставил всех замолчать. Увидев, что афиняне переменили свои намерения, он, не произнеся ни слова, удалился.

65. Когда Демонакт понял, что более не может сам о себе заботиться, он прочел собравшимся стихи, обычно произносимые глашатаями на состязаниях:

Игры окончены. Вот и призы
Прекрасные розданы. Время!
Медлить нельзя уж...—

и, воздерживаясь от еды и питья, он ушел из жизни таким же безмятежным, каким он всегда являлся всем видевшим его.

66. Незадолго перед смертью кто-то спросил его: «Какие распоряжения ты отдашь о своем погребении?» — «Не хлопочите, — сказал Демонакт, — о моем погребении позаботится запах». Его собеседник сказал: «Что ты говоришь? Разве это не позор — выставить на съедение птицам и псам тело такого мужа?» — «Нет ничего плохого в том, — возразил Демонакт, — что и после смерти я хочу быть полезен живым существам».

67. Афиняне, однако, с большой пышностью похоронили его за государственный счет и еще долгое время оплакивали; каменную скамью, на которой Демонакт обыкновенно, утомившись, отдыхал, они сделали предметом поклонения и украшали ее венками в честь этого мужа, полагая, что даже скамья, на которой он сидел, священна. Не было почти ни одного человека, который не пришел бы на его похороны, но больше всего было философов. Это они на плечах несли его тело до самой могилы.

Вот то небольшое, что я вспомнил из весьма многочисленных фактов, но и по ним читатели могут судить, какого рода человеком был Демонакт.





КИНИК

1. Л и к и н. Почему это ты, приятель, бороду отпустил и волосы отрастил, а хитона у тебя нет? Почему показываешься голым, ходишь босоногим и ведешь жизнь бродячью, не человеческую, а звериную? Зачем, вопреки тому, что все делают, ты собственное свое тело умерщвляешь всячески и бродишь кругом, находя то там, то здесь ночлег на жесткой и пыльной земле, так что всякую мерзость носишь на жалком своем плаще, и без того уж не тонком, нецветистом?

К и н и к. Да мне такой и не надобен. А нужен такой, чтоб раздобыть его полегче было и чтобы хлопот он своему владельцу доставлял поменьше: такого и довольно с меня...

2. Ну, а теперь ты скажи, богов ради: разве, по-твоему, с роскошью не сопряжен порок?

Л и к и н. Еще как!

К и н и к. С простотою же — добродетель?

Л и к и н. Ну еще бы.

К и н и к. Так почему ж тогда, видя, что я веду жизнь более простую, чем прочие, они же — более пышную, ты меня, а не их порицаешь?

Л и к и н. Потому что, видит Зевс, ты, по-моему, не в большей, чем другие, простоте живешь, но в большем убожестве, сказать точнее — в полном недостатке и в бедности: ведь ты ничем не отличаешься от нищих, выпрашивающих себе пропитание на каждый день.

3. К и н и к. Так не хочешь ли, раз уж зашла об этом речь, рассмотреть, что значит «недостаточно» и что «достаточно»?

Л и к и н. Если ты считаешь это нужным.

К и н и к. Итак, для каждого человека является достаточным то именно, что достаёт до уровня его потребности. Или, может быть, ты это понимаешь как-нибудь иначе?

Л и к и н. Допустим — так.

К и н и к. Недостаточным же все то, чего недостает именно для потребности, что не достигает размеров необходимого. Не правда ли?

Л и к и н. Правда.

К и н и к. Значит, я не терплю ни в чем недостатка, так как все, что у меня есть, вполне удовлетворяет мою потребность.

4. Л и к и н. Что ты, собственно, хочешь этим сказать?

К и н и к. А вот посмотри: для чего существует каждая из вещей, в которых мы нуждаемся? Например, дом: разве он существует не для прикрытия?

Л и к и н. Да, для прикрытия.

К и н и к. Ну, а одежда? Она для чего? Не то же ли самое: для прикрытия?

Л и к и н. Так. Дальше!

К и н и к. Но, ради богов, для чего же нужно нам само это прикрытие? Не для того ли, чтобы прикрытый чувствовал себя лучше?

Л и к и н. Мне кажется, что так.

К и н и к. Итак, во-первых — мои ноги: неужели, по-твоему, они в худшем положении, чем ноги других людей?

Л и к и н. Вот уж не знаю.

К и н и к. Ну, может быть, вот так тебе это станет яснее: скажи, что должны делать ноги?

Л и к и н. Ходить.

К и н и к. Так что же? Ты полагаешь, что мои ноги ходят хуже, чем у остальных людей?

Л и к и н. Нет, это совсем неправильно.

К и н и к. А значит, и состояние их не хуже, раз они не хуже других выполняют свою работу.

Л и к и н. Правильно.

К и н и к. Следовательно, что касается ног,—я, оказывается, нахожусь в положении ничуть не худшем, чем другие люди.

Л и к и н. Непохоже, чтобы ты был хуже.

К и н и к. Что же? Может быть, тогда остальное мое тело в худшем состоянии? Но ведь если оно хуже, то, значит, и слабее, так как достоинство тела — в его силе. Ну, а разве мое тело слабее других?

Л и к и н. На вид — нет.

К и н и к. Итак, оказывается, что ни ноги мои, ни остальное тело не терпят недостатка в прикрытии. Ибо, испытывая недостаток, они находились бы в плохом состоянии, так как нужда всегда и всюду делает то, что ею охвачено, все скверным и более слабым. Впрочем, и питается мое тело, по-видимому, не хуже других оттого лишь, что питается чем придется.

Л и к и н. Ясно: стоит лишь посмотреть на тебя.

К и н и к. Не было бы мое тело и сильным, если бы плохо питалось: разрушается ведь тело от плохого питания.

Л и к и н. Согласен и с этим.

5. К и н и к. Почему же, скажи мне тогда, если так обстоят дела, ты порицаешь меня, презираешь мой образ жизни и зовешь его жалким?

Л и к и н. Да потому, Зевсом клянусь, что природа, которую ты чтишь, и боги раскинули перед нами землю и заставили ее производить многое множество благ, чтобы мы все имели в избытке не только на потребу себе, но и на радость,—ты же ни в чем этом, или почти ни в чем, не имеешь своей доли и ничуть не больше животных. Посмотри: пьешь ты воду, ту же, что звери, ешь все, что тебе попадается, подобно собакам, и ложе твоё ничуть не лучше, чем бывает у псов: охапки сена довольно для тебя, как и для них. Да и плащ на тебе несколько не лучше, чем на обездоленном нищем. А между тем, если согласиться, что ты, довольствуясь этим, правильно мыслишь, то, следовательно, бог поступил неправильно, сотворив и овец

тонкорунных, и сладкие винные гроздья, и многое множество иных чудес для нас приготовив — и масло, и мед, и многое другое, чтобы были у нас яства разнообразные, и сладкий напиток, деньги, мягкое ложе, чтобы мы имели красивые жилища и все остальное на диво изготовленное, а также произведения искусств: они ведь тоже дары богов. Жизнь, лишенная всех этих благ, — жалкая жизнь, даже если человек лишен их кем-нибудь другим, как те, что сидят в темницах. Но еще того более жалок, кто сам себя лишит всего, что прекрасно: это уже явное безумие.

6. К и н и к. Что ж? Может быть, ты и прав... Однако вот что скажи мне: положим, богатый человек от всего сердца, ласково и радушно угощает и принимает у себя многочисленных и самых разнообразных гостей, болезненных людей и крепких. Хозяин покрывает для гостей стол множеством кушаний всякого рода, и вот кто-нибудь из гостей все захватит и все съест, — не только то, что стоит перед ним, но и то, что дальше, что приготовлено для слабых здоровьем, тогда как сам он совершенно здоров и притом имеет лишь один желудок, нуждается в немногом, чтобы насытиться, и когда-нибудь будет раздавлен обилием съеденных блюд, — скажи-ка, что это за человек, по-твоему? Наверно, разумник?

Л и к и н. Как для других, для меня — нет.

К и н и к. Тогда что же? Скромник?

Л и к и н. Тоже нет.

7. К и н и к. Ну, а теперь положим, что кто-нибудь из находящихся за тем же столом, не обращая внимания на обилие всевозможных блюд, выберет одно из них, что поближе, достаточное для его потребности, и благопристойно съест его, им одним воспользовавшись, а на остальные даже и не поглядит, — не признаешь ли ты, что этот человек и благоразумнее и порядочнее первого?

Л и к и н. О конечно!

К и н и к. Итак, понимаешь? Или я должен еще разъяснить тебе?

Л и к и н. Что именно?

К и н и к. А то, что божество, подобно нашему радужному хозяину, выставило перед нами обильные, разнообразные и разнородные кушанья, чтобы каждый получил то, что для него подходит: одно для здоровых, другое для больных, одно для сильных, другое

для слабых. Божество не хочет, чтобы мы все пользовались всем, но чтобы каждый — тем, что ему свойственно, а из того, что ему свойственно, — именно тем, в чем он окажется наиболее нуждающимся.

8. Вы же всего более уподобляетесь тому человеку, в своей ненасытности и неводержанности старающемуся все захватить, — ибо вы домогаетесь использовать все блага из всех мест земли, а не только свои отечественные: вы считаете, что вам недостаточно вашей земли и вашего моря, но из-за тридцати земель привозите товары себе на усладу, все заморское предпочитая местному, роскошное — простому, малодоступное — доступному. Короче говоря, вам больше нравится терпеть хлопоты и беды, чем жить беззаботно. Ибо, конечно, все это множество дорогих и пышных приготовлений, которыми вы блистаете, добываются вами путем великих несчастий и бедствий. Да, да, не хочешь ли — посмотри на вожделенное золото, посмотри на серебро, посмотри на роскошные дома, посмотри на одежды, предмет стольких усилий, посмотри на все, что тянется вослед перечисленному, — ценою каких хлопот это все покупается, каких трудов, каких опасностей! Более того: каким количеством человеческой крови, смертей и раздоров, — и не потому только, что многие гибнут в далеких плаваньях и терпят ужасы, добывая и изготавливая, — нет, это все вдобавок родит множество битв и побуждает вас строить взаимные ковы: друзья друзьям и дети отцам, а жены мужьям.

9. И все это совершается, несмотря на то, что разноцветные плащи ничуть не лучше греют, и дома с золочеными кровлями ничуть не лучше укрывают от непогоды, и кубки серебряные не делают попойку веселее, — не делают этого и золотые. Также ложе из слоновой кости не приносит снов более сладких, но нередко ты увидишь богача, который на драгоценном ложе, на роскошных тканях не может забыться. А уж о том, что всяческие заботы о кушаньях насыщают несколько не лучше, но лишь разрушают тело и причиняют ему болезни, — стоит ли говорить?

10. Нужно ли говорить также о том, сколько трудов и испытаний выносят люди ради утех Афродиты? А между тем так легко утишить эту страсть тому, кто не ищет излишеств. Но и для этой страсти безумств и раздоров кажется людям еще недостаточно, и они доходят уже до того, что опрокидывают естественное

назначение вещей и пользуются установленным не для той цели, для какой это установлено природой, как если бы пожелал кто-нибудь вместо повозки воспользоваться ложем, будто повозкой.

Л и к и н. Но кто же это делает?

К и н и к. Вы делаете,— вы, которые пользуетесь людьми как упряжной скотиной и велите им тащить на плечах ваши носилки, словно повозки, а сами возлежите на них, в неге и роскоши, и правите сверху людьми, как мулами, приказывая им поворачивать не в ту, а в эту сторону. И чем больше вы совершаете таких поступков, тем блаженнее считаете себя...

11. А те, кто плоть живого существа употребляет не просто в пищу, но ухитряется обратить ее в краски,— каковы, например, красильщики пурпуровых тканей,— разве и эти люди не вопреки природе используют создания божества?

Л и к и н. Видит Зевс, нет, так как пурпурица может окрашивать, а не только идти в пищу.

К и н и к. Но не для того она существует. Ведь иной человек и кратером мог бы, учиня над ним насилие, воспользоваться как простым горшком,— тем не менее кратер существует не для этой цели. Да что там. Разве возможно описать подробно всю одержимость этих несчастных? Так велика она. А ты мне ставишь в упрек то, что я не хочу в такой жизни участвовать, но сижу, подобно скромному гостю, угощаясь тем, что мне подходит, употребляя лишь самое простое и несколько не стремясь к другим затейливым и разнообразным кушаньям.

12. Но, более того: если я, по-твоему, живу звериной жизнью оттого только, что я нуждаюсь в немногом и довольствуюсь малым, то богам угрожает опасность, в соответствии с твоими взглядами, оказаться еще ниже зверей: ибо они уж совершенно ни в чем не нуждаются. Но чтобы точнее понять, что значит «нуждаться в немногом» и чем отличается от него «во многом нуждаться», обрати внимание на следующее: количеством нужд дети превосходят взрослых, женщины — мужчин, больные — здоровых. Короче говоря, всегда и везде низшее нуждается в большем, чем высшее. Вот почему боги ни в чем не нуждаются, а те, кто всего ближе стоит к богам, имеют наименьшие потребности.

13. Ну, а Геракл, лучший из смертных, божественный муж, сам справедливо признанный за бога? Неужели ты думаешь, несчастная судьба заставляла его бродить по земле обнаженным, с одной лишь львиной шкурой на теле, и не знать ни одной из ваших нужд? Однако далеко не был несчастным он, сам защищавший других от бед; не был он, равно, и бедняком, ибо и суша и море были ему подвластны. В самом деле: куда бы Геракл ни направился, он повсюду всех одолевал и ни разу среди своих современников не встретил никого, равного себе, или сильнеешего, пока не ушел сам из мира людей. Или ты думаешь, что Гераклу нечего было подостлать под себя, не во что обуться, и потому он странствовал в таком наряде? Нет, этого никто не скажет. Но Геракл был силен духом и вынослив телом, хотел силы, а роскоши не желал. А Тесей, ученик Геракла? Разве он не был царем всех афинян, и сыном Посидона, как гласит преданье, и самым доблестным мужем своего времени?

14. Но что же? И Тесей предпочитал не иметь сандалий, бродил наг и бос, и любо было ему носить бороду и длинные волосы; да и не ему одному было это приятно, но и всем мужам древности,— потому, что были они лучше вас, и не потерпел бы бритвы ни один из них, точно так же, как ни один лев не позволил бы побрить себя. Тело нежное да гладкое, думали они, приличествует женщинам, сами же они, чем были на деле, тем и казаться хотели: мужчинами, считая, что борода служит украшением мужу, подобно тому как грива коню или льву клок шерсти на подбородке даны богами на красу и на гордость,— так и мужчине дана борода. Они-то, мужи древности, возбуждают мою ревность, им я хочу подражать, и нисколько не завидую удивительному счастью, которое ныне живущие люди находят в своих обедах, нарядах и в том, чтобы вылощить каждый член тела и не оставить на нем ни одного волоска, хотя бы они вырастали в самых сокровенных местах.

15. Я же молю богов, чтобы ноги мои ничуть не отличались от конских копыт, как, по преданию, ноги кентавра Хирона, чтобы самому мне, подобно львам, не нуждаться в постели и чтобы роскошная пища была мне потребна не больше, нежели псам. Да будет дано мне всю землю иметь своим ложем, в другом не нуждаясь; считать жилищем вселенную, а пищу брать

ту, какую добыть всего легче. В золоте же и серебре пусть никогда не почувствуем надобности ни я сам, ни мои друзья, так как из этой страсти рождаются для людей все бедствия: междоусобия, войны, заговоры, убийства. Все это имеет своим источником страсть к обладанию большим. Пусть же она не подступает к нам, пусть никогда не увлекает меня жажда корысти, и да буду я в силах довольствоваться достоянием малым.

16. Вот тебе мои взгляды. Конечно, они резко расходятся с желаниями толпы. И ничего нет удивительного, что и по внешнему виду мы отличаемся от большинства, раз мы так сильно отличаемся своими убеждениями. Но вот чему я дивлюсь: ты признаешь, что играющий на кифаре должен иметь особое платье и отличаться внешним видом, тоже и флейтист; да, да, флейтист должен иметь особую наружность и отличное платье — актер, за честным же человеком ты не признаешь права на отличие в наружности и наряде, но считаешь, что все признаки должны быть такими же, как у толпы, хотя толпа, к тому же, состоит из негодяев. Если же должна быть у честных людей единая, им свойственная, наружность, то разве не подойдет для этой цели больше всего как раз самая оскорбительная для всяких распутников, самая для них неприемлемая?

17. Итак, для меня отличающая наружность состоит в том, что я грязен, космат, ношу грубый плащ и длинные волосы, хожу босиком, тогда как вы по внешности подобны искажающим природу распутникам, и различить вас никому невозможно, ибо все у вас одинаково: и разноцветные тонкие ткани, множество всяких рубашечек, и верхнее платье, и обувь, и прическа, и духи. Да, да: вы уж и благоухать стали совсем как те, — особенно самые, по-вашему, счастливые. Однако много ли можно дать за мужчину, от которого несет духами как от продажного мальчишки? И в самом деле: в работе вы ничуть не больше их выносливы, в наслаждениях же — ничуть не меньше: и кушаете вы, и причесываетесь одинаково с ними, и ходите так же, или, лучше сказать, так же не желаете ходить, а предпочитаете, чтобы вас носили, как какую кладь, кого люди, кого — мулы. Меня же несут мои собственные ноги, куда я только пожелаю. Я способен и холод выдерживать, и жар переносить, и не

брюзжать на установленное богами,— а все потому, что я несчастен и жалок, вам же, с вашим счастьем, ничто совершающееся не по нраву. Всё вы браните, а того, что имеется, выносить не желаете, а стремитесь к тому, чего нет: зимой молитесь о лете, летом — о зиме, в зной — о холоде, а в холод — о зное. Вы, точно больные, ничем не довольны и привередливы; но у тех виною болезнь, у вас же — ваш собственный нрав.

18. И после всего этого вы требуете от нас, чтобы мы переменили и исправили свое поведение, так как мы-де нередко дурно обдумываем свои поступки,— между тем как сами вы неосмотрительны в собственных и ни одного из них не совершаете, следуя разумному решению, но всегда руководитесь привычкой или страстью. Поэтому вы ничем не отличаетесь от людей, уносимых бурным потоком: куда устремится течение, туда люди и несутся; так и вы — куда увлекают вас страсти. С вами происходит совершенно то же, что произошло, говорят, с одним человеком, севшим на бешеного коня: конь, конечно, подхватил его и помчал, а человек этот уже не мог сойти с коня во время скачки. И вот кто-то, встретив его, спросил, куда он мчится. «Куда ему заблагорассудится», — ответил тот, указав на коня. Так и вы: если бы кто-нибудь спросил вас: «куда вы несетесь?» и если бы вы пожелали ответить правду, — вы должны были бы сказать или просто: «куда угодно нашим страстям», или, точнее, в одном случае: «куда угодно наслаждению», в другом — «честолюбью», в третьем — «жадности». Один раз вас может умчать гнев, другой раз — страх, третий — еще что-нибудь подобное, так как не на одном, но на множестве различных коней носитесь вы, садясь то на одного, то на другого, — но все они равно дики и потому заносят вас в пропасти и стремнины. Но пока вы не свалитесь, до тех пор вы никогда не понимаете, что вас ожидает падение.

19. Что же касается грубого плаща, над которым вы насмехаетесь, то и он, и мои длинные волосы, и вся моя наружность такой огромной обладают силой, что дают мне возможность жить спокойно, делать что захочу, и дружески встречаться с кем пожелаю. Ведь из людей невежественных и необразованных ни один не захочет подойти ко мне из-за моего вида, а разные неженки, так те еще издалика сворачивают в сторону. Сближаются же со мной люди самого тонкого ума,

строгой совести, жаждущие стать лучшими. Эти люди чаще всего приходят ко мне, и с такими я рад вести беседы. У дверей же так называемых счастливых я не прислуживаюсь, их золотые венки и пурпурные ткани почитаю за дым и смеюсь над этими людьми.

20. Если же ты хочешь убедиться в том, что моя наружность, которую ты высмеиваешь, не только честным людям, но и богам приличествует,— рассмотри изображения богов: с кем они покажутся тебе схожими — с вами или со мной? И не только эллинские, но и варварские храмы обойди и посмотри, как изваяны и написаны боги: с длинными волосами и бородами, как у меня, или стрижеными и бритыми, подобно вам? Впрочем, в большинстве случаев ты и хитонов не увидишь на них, как и на мне. Так что же? Неужто ты еще осмелишься говорить о такой наружности, будто она никуда не годится, когда и самим богам она оказывается подходящей?





**ТОКСАРИД,
ИЛИ
ДРУЖБА**

1. Мнесипп. Что ты говоришь, Токсарид? Вы, скифы, приносите жертву Оресту и Пиладу и признаете их богами?

Токсарид. Да, Мнесипп, мы приносим им жертвы, однако мы считаем их не богами, но лишь доблестными людьми.

Мнесипп. Разве у вас существует обычай приносить жертвы умершим доблестным людям, как богам?

Токсарид. Мы не только приносим жертвы, но и справляем в их честь праздники, устраиваем и торжественные собрания.

Мнесипп. Чего же вы добиваетесь от них? Ведь не ради их благосклонности вы приносите жертвы, раз они покойники?

Токсарид. Не худо, если и мертвые будут к нам благосклонны; но, конечно, не в одном этом дело: мы

думаем, что делаем добро живым, напоминая о доблестных людях и почитая умерших. Мы полагаем, что, пожалуй, благодаря этому многие у нас пожелают быть похожими на них.

2. Мнесипп. Это вы придумали верно. Почему же Орест и Пилад возбудили ваше удивление так сильно, что вы сделали их равными богам, хотя они были чужестранцами и, более того, вашими врагами? Ведь они, потерпев кораблекрушение, были захвачены тогдашними скифами и предназначены в жертву Артемиде. Однако, напав на тюремщиков и одержав верх над стражей, они убили царя; захватив с собою жрицу и похитив вдобавок изображение Артемиды, они бежали, посмеявшись над общиной скифов. Если вы почитаете их ради всего этого, почему бы вам не создать большое число им подобных? А теперь сами подумайте, вспоминая прошлое, хорошо ли будет, если в Скифию начнут приплывать многочисленные Оресты и Пилалы. Мне кажется, что этим способом вы очень скоро станете нечестивцами и безбожниками, так как последние оставшиеся у вас боги при таком образе действия будут увезены на чужбину. Затем, я полагаю, вы вместо всех богов начнете обожествлять людей, пришедших похитить их, и будете святотатцам приносить жертвы, как богам.

3. Если же не за это вы почитаете Ореста и Пилада, то скажи мне, Токсарид, какое еще добро они сделали вам? Ведь в старину вы их не считали богами, а теперь, наоборот, признав богами, совершаете в их честь жертвоприношения. Тому, кто сам едва не был принесен в жертву, вы приносите теперь жертвенных животных. Все это может показаться смешным и противным древним обычаям.

Токсарид. Все то, что ты, Мнесипп, изложил, показывает благородство этих людей. Они вдвоем решились на крайне смелое предприятие и отплыли очень далеко от родной земли в море, не исследованное еще эллинами, если не считать тех, которые некогда отправились на «Арго» в Колхиду. Они ничуть не боялись рассказов о море, не испугались и того, что оно называлось «негостеприимным», я думаю, из-за диких народов, живших на его берегах. Захваченные в плен, они с большим мужеством воспользовались обстоятельствами и не удовлетворились одним бегством, но ото-

местили царю за его дерзкий поступок и, убегая, захватили с собой Артемиду. Неужели все это не удивительно и не достойно божественного почитания со стороны всех, кто вообще чтит доблесть? И все же не за это мы считаем Ореста и Пилада героями.

4. М н е с и п п. Может быть, ты расскажешь, какие еще они совершили божественные и удивительные подвиги. Что касается плавания вдаль от родины и далеких путешествий, то я мог бы тебе указать многих купцов, особенно финикийцев, плавающих не только по Понту до Меотиды и Боспора, но и по всем уголкам эллинского и варварского морей. Осмотрев, можно сказать, все берега и каждый мыс, они ежегодно возвращаются домой глубокой осенью. Их, согласно твоим рассуждениям, и считай богами, этих лавочников и торговцев соленой рыбой!

5. Т о к с а р и д. Выслушай же меня, почтеннейший, и посмотрим, насколько мы, варвары, судим о хороших людях правильнее, чем вы. В Аргосе или Микенах, например, нельзя увидеть славной могилы Ореста или Пилада, а у нас вам покажут храм, посвященный им обоим, ибо они были соратниками. Им приносят жертвы, и они получают все прочие почести; а то, что они были не скифами, но чужестранцами, совсем не мешает нам считать их доблестными людьми.

Мы ведь не наводим справок, откуда родом прекрасные и доблестные люди, и не относимся к ним с пренебрежением, если они совершают какой-нибудь добрый поступок, не будучи нашими друзьями. Восхваляя их деяния, мы считаем таких людей своими близкими на основании их поступков. Более же всего в этих людях вызывает наше удивление и похвалу то, что они, по нашему мнению, являются наилучшими друзьями из всех людей и могут стать законодателями в делах о том, как нужно делить с друзьями превратности судьбы и как быть в почете у лучших скифов.

6. Наши предки написали на медной доске все то, что друзья претерпели оба вместе или один за другого, и пожертвовали ее в храм Ореста, издав закон, чтобы началом учения и воспитания служила эта доска: дети должны были заучивать то, что на ней написано. И вот — ребенок скорее позабудет имя отца, чем деяния Ореста и Пилада. Кроме того, все, что написано на медной доске, изображено было на храмовой огра-

де в картинах, созданных еще в древние времена: Орест, плывущий вместе со своим другом, затем его пленение, после того как корабль разбился об утесы, и приготовления к закланию Ореста. Тут же изображена Ифигения, готовая поразить жертву. Против этих картин, на другой стороне, Орест нарисован уже освободившимся из оков и убивающим Фоанта и множество других скифов и, наконец, отплывающим вместе с Ифигенией и богиней. Вот скифы хватаются за плывущий корабль: они висят на руле, стараются пробраться на судно. Наконец, изображено, как скифы, ничего не добившись, плывут обратно к берегу, одни — покрытые ранами, другие — боясь их получить. Тут каждый может увидеть, какую привязанность выказывали друзья в схватке со скифами. Художник изобразил, как каждый из них, не заботясь об угрожающем ему неприятеле, отражает врагов, нападающих на товарища. Каждый бросается навстречу вражеским стрелам и готов умереть за друга, приняв своим телом направленный на другого удар.

7. Подобная привязанность, стойкость среди опасностей, верность и дружелюбие, истинная и крепкая любовь друг к другу не являются, как мы решили, простым человеческим свойством, но составляют достоинство какого-то лучшего ума. Ведь большинство людей, пока во время плавания дует попутный ветер, сердятся на спутников, если они не разделяют с ними в полной мере удовольствий; когда же хотя немного подует противный ветер, они уходят, бросая своих друзей среди опасностей.

Итак, знай, что скифы ничего не признают выше дружбы, что каждый скиф сочтет наиболее достойным разделить с другом его труды и опасности; равным образом у нас считается самой тяжкой обидой, если тебя назовут изменником дружбы. Оттого мы и почитаем Ореста с Пиладом, отличавшихся этой скифской доблестью и заслуживших славу благодаря своей дружбе, — а дружбой мы более всего восхищаемся. Поэтому мы прозвали их «Кораки» — на нашем языке это все равно что сказать «гении, покровители дружбы».

8. М н е с и п п. Да, Токсарид, действительно скифы были не только искусными стрелками из лука, не только выделялись среди всех в воинском деле, но также превосходили других убедительностью своего красноречия. Хотя до сих пор я держался другого мне-

ния, но теперь убедился, что, воздавая божеские почести Оресту и Пиладу, вы поступаете справедливо. Не знал я также и того, почтеннейший, что ты хороший художник. Право, ты нам как наяву показал картины в храме Ореста, сражение и раны, полученные друг за друга. Но я совсем не думал, что дружба у скифов в таком почете. Я считал их негостеприимными и дикими, полагал, что они постоянно враждуют, легко поддаются гневу и злобе и не выказывают дружбы даже по отношению к близким людям. Я исходил из того, что мы обычно слышим о скифах: ведь говорят, будто они даже поедают своих умерших родителей.

9. Токсарид. Пожалуй, в наше время я не стал бы хвастаться, что мы лучше эллинов и в других отношениях, справедливее к родителям и больше почитаем богов. Но нетрудно показать, что скифы являются более верными друзьями, чем эллины, и что законы дружбы у нас более чтимы, чем у вас. И, ради эллинских богов, выслушай без раздражения, если я поделюсь с тобой наблюдениями, которые сделал, находясь уже долгое время среди вас. Мне кажется, что вы лучше других можете произносить речи о дружбе, — о делах же ее вы не заботитесь: для вас вполне достаточно только восхвалять дружбу и показывать, какое великое благо она составляет. В нужде же вы изменяете своим речам и удираете — подумать только! — в самый ответственный момент.

Когда ваши трагические поэты показывают на сцене замечательные примеры дружбы, вы восхищаетесь и рукоплещете; многие из вас проливают слезы, когда друзья подвергаются опасности ради друзей. Но ради своих друзей вы не решаетесь совершить ничего достойного похвалы. Если друг окажется в нужде, то все эти многочисленные трагедии тотчас же покидают вас и разлетаются, как сны, и вы остаетесь похожими на пустые и немые маски, которые, широко разевая рот, тем не менее не произносят ни звука. Мы же, напротив, насколько отстаем в рассуждениях о дружбе, настолько же превосходим вас в ее проявлениях.

10. Впрочем, если хочешь, сделаем так: оставим в покое друзей, живших в старину, которых и мы и вы могли бы насчитать немало. Ведь в этом отношении вы, пожалуй, будете иметь над нами перевес, обладая большим числом достовернейших свидетелей — поэтов. Они прекрасными словами и стихами воспевают

дружбу Ахилла и Патрокла, Тесея и Пирифоя и других. Лучше расскажем о друзьях, которых встречали мы сами: я — среди скифов, ты — среди эллинов, и опишем их дела. Кто из нас приведет в пример лучших друзей, тот и возьмет верх и будет объявлен победителем в самом прекрасном и священном состязании.

Мне кажется, что я с большей охотой потерпел бы поражение в единоборстве и лишился правой руки (это служит в Скифии наказанием), чем, будучи сам скифом, в споре о дружбе уступил другому, притом эллину.

11. Мнесипп. Да, Токсарид, это не простое дело — сразиться один на один с таким противником, как ты, так умело находящим меткие и подходящие слова. Тем не менее я не отступлю перед тобой и не предам сразу всех эллинов. Два эллина победили стольких скифов, как об этом рассказывают мифы и ваши старинные картины, которые ты мне только что так живо и так хорошо описал, точно трагический поэт. Поэтому было бы прямо чудовищно, если бы все многочисленные эллинские племена и города потерпели от тебя поражение из-за отсутствия защитника. Случись это, мне следовало бы отрезать не правую руку, как в обычае у вас, а мой язык.

Нужно ли нам ограничить перечисление деяний дружбы, или будем считать, что каждый из нас, чем больше случаев он может рассказать, тем более приближается к победе?

Токсарид. Никоим образом! Пусть сила будет не в количестве; если твои подвиги окажутся лучше и острее моих, хоть и равных им по числу, они, разумеется, нанесут мне более тяжелые раны, и я скорее паду под ударами.

Мнесипп. Ты прав. Определим, сколько примеров будет достаточно. Мне кажется, на каждого по пяти.

Токсарид. Я согласен. Итак, начинай, но предварительно поклянись говорить правду. Нетрудно выдумать подходящий подвиг, а проверить слова невозможно. Если же ты поклянешься, будет нечестным не доверять тебе.

Мнесипп. Поклянемся, если это необходимо. Но кто же для тебя из наших богов... Пожалуй, самый подходящий Зевс Филий — покровитель дружбы.

Токсарид. Конечно! Я же, когда придет мой черед говорить, поклянусь своим отечественным богом.

12. Мнесипп. Да ведает Зевс Филий, что я не стану сочинять небылиц, но стану рассказывать только о том, что сам видел или узнал от других, проверив их рассказы самым строгим образом.

Прежде всего я расскажу тебе о дружбе Агафокла и Диния, получившей громкую известность среди ионян.

Этот Агафокл, самосец, еще недавно был жив. Он был славен своей дружбой, в остальном же — ни знатностью рода, ни богатством — не выделялся среди большинства самосцев. С детства он дружил с Динием, сыном Лисона, эфесца. Диний был невероятно богат. Как это обычно бывает, молодой богач имел достаточно приятелей, готовых и выпить вместе с ним, и принять участие во всяком развлечении, но совершенно чуждых истинной дружбы. До поры до времени среди них находился и Агафокл. Он участвовал в их попойках и развлечениях, не находя, впрочем, большого удовольствия в таком времяпрепровождении. Диний выказывал к нему ничуть не больше внимания, чем к своим прихлебателям. Под конец Агафокл стал обижать Диния своими попреками и надоел ему, постоянно напоминая о предках и советуя беречь богатство, с большим трудом накопленное его отцом. Так из-за этого Диний перестал брать Агафокла с собой на пирушки и веселился с остальными один, стараясь, чтобы Агафокл ничего не знал.

13. И вот как-то раз прихлебатели убедили несчастного Диния, что в него влюбилась Хариклея, жена Демонакта, человека знатного, занимающего высокое положение в Эфесе. Диний получал от этой женщины записочки, полузавядшие венки, надкушенные яблоки и прочее, что с умыслом посылают юноше сводницы, разыгрывая картину любви, возбуждая страсть и заставляя думать, что его любят впервые. Это лучшее средство соблазнить, особенно тех, кто считает себя красавцем. Так молодые люди и попадают в сети, сами того не замечая.

Хариклея была бабенка изящная, но чрезвычайно развратная, готовая сойтись с первым встречным. Достаточно было выразить желание или только взглянуть на нее, как она сейчас же давала согласие, и не-

чего было бояться, что Хариклея ответит отказом. Она умела лучше всякой гетеры завлечь любовника: если он колебался, знала, как полностью себе подчинить, а того, кто был уже в ее власти, удерживала и воспламеняла то гневом, то лестью или высокомерием, то делая вид, что увлекается другим. Одним словом, это была во всех отношениях искусная женщина, и много хитростей было у нее в запасе для ее любовников.

14. Ее-то и взяли прихлебатели Диния соучастницей своих козней против юноши. Они постоянно потешались над ним, общими усилиями толкая Диния в объятия Хариклею.

Хариклея, это хитрое и искусное чудовище, свернула шею уже многим молодым людям, бесчисленное множество раз изображала любовь и разорила богатейшие дома. Теперь она захватила в свои руки простодушного и неопытного юношу и не выпускала его из когтей. Всецело им завладев, она, после своей полной победы, сама погибла от своей добычи и причинила неисчислимые несчастья бедному Динию.

Прежде всего она стала посылать ему любовные записочки, затем непрерывно передавала через свою служанку, что она исходит слезами, лишилась сна и, наконец, что она, несчастная, готова повеситься от любви. Все это продолжалось до тех пор, пока счастливец не поверил, что он в самом деле красавец и что в него влюблены все эфесские женщины.

15. После долгих упрасиваний он вступил с нею в связь. Затем, понятно, он должен был уже без сопротивления подчиниться этой женщине. Она ведь была красива, знала, как быть приятной, умела в нужное время заплакать, во время разговора самым жалостным образом вздохнуть. Когда он уходил, она удерживала его в своих объятиях и бежала навстречу, лишь только он показывался в дверях. Умела она принарядиться с целью понравиться, спеть что-нибудь и сыграть на кифаре. Всем этим она воспользовалась во вред Динию.

Заметив, что несчастный преисполнен любовью и от страсти сделался мягким, как воск, она придумала ему на погибель новую хитрость. Она сделала вид, будто беременна от него. Это — хорошее средство усилить страсть любовника, потерявшего здравый разум. Затем она перестала приходить к нему на свидания,

говоря, что муж узнал об их любви и стал сторожить ее.

Диний не был в состоянии перенести такое положение. Не видя ее, он не мог уже сдерживаться. Он плакал, посылая к ней своих прихлебателей, громким голосом звал Хариклею по имени, рыдал, обняв ее статую (он заказал себе ее изображение из белого мрамора), наконец, бросаясь на землю, катался; все это было настоящим безумием. Он делал Хариклее подарки — не венки да яблоки, а целые дома, поля и рабынь, яркие наряды и золото, сколько бы она ни пожелала. И что же? В короткое время дом Лисона, некогда самый славный в Ионии, был razoren и лишился всех своих богатств.

16. Когда же Диний совсем иссяк, Хариклея бросила его и стала охотиться за каким-то юным критянином с большими деньгами. Она переметнулась к нему и, глядь, уже любила его, а он этому верил. И вот Диний, покинутый не только Хариклеей, но и прихлебателями (так как и они перекочевали к счастливому критянину), отправился к Агафоклу, уже давно знавшему о том, что дела его плохи. Диний, хоть и стыдился, рассказал другу все по порядку: о своей любви и разорении, о высокомерии женщины, о счастливом сопернике-критянине; а под конец заявил, что без Хариклеи он не может жить.

Агафокл счел несвоевременным напомнить Динию, как тот оттолкнул его, единственного друга, предпочтя ему прихлебателей. Он продал единственное свое имущество — отцовский дом на Самосе, и принес Динию три таланта — все, что выручил от продажи. Как только Диний получил эти деньги, Хариклея сразу же вспомнила о нем, и он каким-то образом снова стал красавцем. Опять служанка, письма, упреки, почему так долго не заходил. Видя, что Диний — блюдо еще съедобное, сбежались и прихлебатели, чтобы поживиться кое-чем.

17. Однажды он сговорился с ней и пришел около того времени, когда люди видят первый сон. Демонакт, муж Хариклеи, случайно его заметил (а может быть, и жена подала знак — говорят и то и другое) и, выскочив словно из засады, приказывает запереть дверь во двор и схватить Диния. Он угрожает огнем и плетью и даже обнажает меч, как против прелюбодея.

Увидев, какой опасности он подвергается, Диний хватает лом, лежавший тут же, и убивает Демонакта и Хариклею: первого он свалил ударом в висок, а ей нанес несколько ран ломом и потом — мечом Демонакта. Рабы, пораженные неожиданным поворотом дела, первое время стояли безмолвно, затем сделали попытку его схватить, но Диний кинулся на них с мечом. Рабы бежали, а Диний, совершив такой подвиг, незаметно ускользнул. До рассвета Диний находился у Агафокла, и они рассуждали о совершившемся, размышляя о том, что ожидает Диния впереди. Утром пришли стратеги, так как дело уже получило огласку. Они взяли под стражу Диния, не отрицавшего свою виновность, и отвели к наместнику, управляющему Азией. Тот отослал его к императору. Немного времени спустя Диний, приговоренный императором к пожизненному изгнанию, был отправлен на Гиар, один из Кикладских островов.

18. Агафокл все время не покидал Диния, отправлялся вместе с ним в Италию и один из всех друзей присутствовал с ним на суде, всегда и во всем стараясь ему помочь. Когда же Диний отправился в изгнание, то и это не лишило Агафокла его товарища: он сам себя приговорил к изгнанию и поселился вместе с Динием на Гиаре. Когда к ним пришла нужда, он нанялся к ловцам пурпура, нырял за раковинами и своим заработком кормил Диния. Во время долгой болезни Диния он ухаживал за ним, а когда Диний умер, не захотел возвращаться на родину и остался на острове, стыдясь покинуть своего друга даже после смерти.

Вот пример эллинской дружбы, имевшей место не так давно: не знаю, прошло ли и пять лет, как умер на Гиаре Агафокл.

Токсарид. Жалко, Мнесипп, что ты рассказал это под клятвой. Охотно бы я не поверил! Так этот Агафокл похож на скифского друга. Кроме того, я боюсь, что ты расскажешь и второй пример вроде первого.

19. Мнесипп. Теперь послушай, Токсарид, про Евтидика, халкидца. Рассказывал мне о нем Симил, мегарский корабельщик, и клялся, что сам был очевидцем его подвига. Он говорил, что в начале зимы пришлось ему плыть из Италии в Афины с путниками, собравшимися из разных городов. Среди них был и Евтидик со своим другом Дамоном, тоже халкидцем. Они были сверстниками, но Евтидик был сильный

и здоровый человек. Дамон же бледен и слаб: он только что, по-видимому, встал после тяжелой болезни.

До Сицилии плавание продолжалось благополучно, рассказывал Сими́л. Но потом, когда они миновали пролив и плыли уже по Ионийскому морю, их застигла страшная буря. К чему описывать вихрь, громадные волны, град и прочие ужасы бури? Когда они плыли уже мимо Закинфа, убрав паруса и спустив в море сети, чтобы ослабить удары волн, Дамон около полуночи, страдая морской болезнью (что вполне понятно при такой качке), нагнулся над водой, так как его тошнило. В это мгновение, по-видимому, корабль, подхваченный волной, нагнулся бортом, через который перевесился Дамон, и, смытый волной, он упал стремглав в море, в одежде, мешавшей ему плыть. Несчастный закричал, захлебываясь и с трудом держась на поверхности.

20. Евтидик, как только услышал крик,— он лежал, раздевшись, на постели,— бросился в море, схватил выбивавшегося из сил Дамона и поплыл вместе с ним, помогая ему. Их долго можно было видеть при ярком свете луны.

Спутники жалели несчастных и хотели им помочь, но ничего не могли сделать, так как корабль гнало сильным ветром. Удалось сбросить только большое количество спасательных принадлежностей и жердей, чтобы с их помощью они могли плыть, если бы им удалось ухватиться. Наконец корабельщики бросили в море большие сходни.

Подумай хорошенько, ради самих богов, как мог бы Евтидик выказать сильнее свое расположение к упавшему ночью в разъяренное море другу, чем разделив с ним смерть. Представь себе вырастающие волны, шум сталкивающихся вод, кипящую пену, ночь и отчаяние захлебывающегося, с трудом державшегося на воде Дамона, протягивающего к товарищу руки. А тот, не медля, бросается в море и плывет рядом, в страхе, что Дамон пойдет ко дну раньше его. Ты можешь убедиться, что Евтидик, о котором я тебе рассказывал,— тоже пример благородного друга.

21. Токсари́д. Неужто они погибли, Мнесипп, или, против ожидания, спаслись? Я немало взволнован их судьбой.

Мнесипп. Не беспокойся, Токсарид, они были спасены и теперь еще оба живут в Афинах, занимаясь

философией. Симил ведь мог рассказать только то, что он тогда видел ночью: как один упал, как другой бросился за ним и как они плыли, пока не скрылись из виду. О дальнейшем рассказали знакомые Евтидика. Сперва, поймав несколько спасательных принадлежностей, друзья держались за них и плыли, хоть и с трудом. Наконец, на рассвете, заметив сходни, подплыли к ним и, взобравшись на них, легко добрались до Закинфа.

22. После рассказа об этих людях, неплохих, как я полагаю, послушай третий, ничем не хуже предыдущих.

У Евдамида, коринфянина, человека очень бедного, было двое богатых друзей — коринфянин Аретей и Хариксен из Сикиона. Умирая, Евдаמיד оставил завещание, которое иным, быть может, покажется смешным. Не думаю, однако, чтобы оно показалось таким и тебе, человеку хорошему, почитающему дружбу и вступившему даже из-за нее в состязание.

В завещании было написано: «Завещаю Аретею питать мою престарелую мать и заботиться о ней. Хариксену же завещаю выдать замуж мою дочь и с самым большим приданым, какое он может дать (у Евдамида оставалась престарелая мать и дочка-невеста); если же кто-нибудь из них в это время умрет, пусть другой возьмет его часть». Когда это завещание читалось, те, кто знал бедность Евдамида (о дружбе с его приятелями никто ничего не слыхал), сочли все это шутовством и, уходя, смеялись: «Вот так наследство получают эти счастливики, Аретей и Хариксен, если только они пожелают отплатить Евдамиду, наградив его, мертвого, наследством, сами будучи еще живы!»

23. Наследники же, которым было отказано такое наследство, как только услышали об этом, явились его принять. Но тут умирает Хариксен, прожив всего пять дней. Аретей же, приняв на себя и свою долю и Хариксена, становится прекраснейшим наследником: он стал кормить мать Евдамида, а недавно выдал замуж дочку. Из своих пяти талантов два он отдал за своей родной дочерью, а два — за дочерью друга; он нашел также нужным справить свадьбу обеих в один и тот же день.

Ну, Токсарид, как тебе нравится Аретей? Значит ли это показать плохой пример дружбы, приняв такое наследство и не отвергнув завещания друга? Не сочтем

ли мы, что и этот пример является законным камешком, одним из пяти?

То к с а р и д. Конечно, он хороший человек; однако меня гораздо больше восхитила смелость Евдамида, с которой он отнесся к друзьям. Ясно, что и сам он сделал бы ради них то же самое, даже если бы этого и не было написано в завещании; он прежде всех других, не будучи даже назван по имени, явился бы в качестве наследника.

24. М н е с и п п. Справедливо! Теперь четвертый пример. Я расскажу тебе про Зенотема, сына Хармолея, родом из Массалии. Когда я был в Италии с посольством, мне указали на него, человека красивого, рослого и, по-видимому, богатого. С ним рядом, когда он проезжал по дороге в повозке, сидела некрасивая женщина: один глаз у нее был выбит, а правая половина тела парализована,—одним словом, это было обиженное природой отталкивающего вида пугало. Я удивился, что такой красивый мужчина, во цвете лет, принужден сидеть рядом с такой безобразной женщиной. Тогда мой спутник, указавший мне на него, рассказал о его вынужденной женитьбе, так как знал все в подробностях, будучи сам родом из Массалии.

Зенотем, сказал он, был так же богат и пользовался таким же почетом, как и его друг Менеkrat, отец этого несчастного уroda. Когда Совет шестисот лишил Менеkrата гражданской чести за то, что он будто бы обнаружил противозаконный образ мыслей, его имущество, согласно судебному постановлению, было конфисковано. «Мы, массалийцы,—добавил рассказчик,—так наказываем того, кто внесет противозаконное предложение».

Менеkrat, конечно, был очень опечален как приговором суда, так и тем, что в короткое время из знатного богача стал бесславным бедняком; особенно же его огорчала дочь, взрослая, восемнадцатилетняя, девушка, на которой ни один из самых бедных и незнатных граждан не захотел бы жениться, даже получив в приданое все состояние отца, которое тот имел до осуждения: так ужасна была ее внешность. Кроме того, рассказывали, что с ней в новолуние бывают припадки.

25. Однажды, когда Менеkrat жаловался на это, Зенотем сказал: «Будь спокоен, Менеkrat: ты не будешь испытывать нужды ни в чем насущном, да и доч-

ка твоя найдет жениха, достойного ее по происхождению». Сказав это, он взял его за правую руку, отвел в свой дом и выделил ему часть своего большого состояния. Приказав затем приготовить ужин, он стал угощать своих друзей и Менекрата, как будто предстояло одному из них жениться на девице.

И вот, когда они отужинали и совершили возлияние богам, Зенотем, протянув Менекрату наполненную чашу, сказал: «Прими ее, Менекрат, от своего зятя в знак дружбы. Сегодня я женюсь на твоей дочери Кидимахе. Приданое, двадцать пять талантов, я получил давеча». Не успел он произнести этих слов, как Менекрат сказал: «Перестань, Зенотем; нельзя нам с тобой совершить такого безумия; невозможно тебе, молодому и красивому, жениться на такой безобразной и убогой девушке». Но Зенотем при этих словах ушел с невестой в опочивальню и вскоре исполнил свое решение, лишив ее девства.

С этого времени он живет с ней, чрезвычайно ее любит и, как видишь, повсюду возит с собой.

26. Зенотем не только не стыдится своего брака, — наоборот, он, кажется, хвастает им, показывая, что для него не имеют значения ни внешняя красота, ни безобразие, ни богатство, ни мнение толпы, обращает же Зенотем внимание лишь на друга своего Менекрата; он не думает, что его друг стал хуже после приговора Шестисот.

Да, кроме того, и судьба наградила его за этот поступок: от такой безобразной жены родился у него ребенок необыкновенной красоты. Недавно, когда отец принес его, увенчанного оливковым венком и одетого в черное, в Совет, чтобы был он скорбным просителем за деда, младенец засмеялся, увидя членов Совета, и начал бить в ладоши. Совет умилился при этом и сложил с Менекрата наказание. Благодаря такому защитнику перед Советом Менекрат опять стал полноправным гражданином. Ты сам видишь, согласно рассказу массалийца, Зенотем совершил немалое дело; немногие из скифов поступили бы так; ведь недаром говорят, что они стараются выбирать себе в наложницы самых красивых.

27. Теперь пятый, последний рассказ. Я не в состоянии обойти молчанием Деметрия, сунийца, рассказав вместо него о ком-либо другом. Деметрий отплыл в Египет с Антифилом из Алопеки, своим другом

детства, с которым вместе он вырос и получил образование. Деметрий ревностно занимался кинической философией, под руководством знаменитого родосского софиста, в то время как Антифил изучал врачебное искусство. Однажды Деметрий отправился путешествовать по Египту, чтобы посмотреть пирамиды и Мемнона; он слышал, что пирамиды, несмотря на свою вышину, не отбрасывают тени, Мемнон же издает громкий звук при восходе солнца. И вот, желая посмотреть пирамиды и послушать Мемнона, он уже шестой месяц как плыл по Нилу, покинув своего друга, тяготившегося долгим путем и жарой.

28. С Антифилом в это время случилось несчастье, в котором помощь друга была необходима. Его раб Сир (он назывался так по месту происхождения), присоединившись к каким-то святотатцам, забрался вместе с ними в храм Анубиса; они украли у бога две золотые чаши, жезл — тоже из золота, серебряные фигурки с собачьими головами и другие предметы в том же роде. Все это они спрятали у Сира. Стараясь продать что-то из вещей, вору были пойманы и, как только их подвергли пытке на колесе, тотчас же во всем сознались; приведенные к жилищу Антифила, они достали краденые вещи, запрятанные в темном углу под кроватью. Сир сейчас же был схвачен, а заодно и его господин, — как раз в то самое время, когда он слушал своего учителя. Никто не пришел Антифилу на помощь. Его прежние товарищи отвернулись от него как от святотатца, ограбившего храм Анубиса. Те, которые раньше с ним вместе пили и ели, думали, что осквернили себя этим. Остальные рабы, — их было у Антифила двое, — захватив из дома все имущество, бежали.

29. Несчастный Антифил очень долго сидел в тюрьме; его считали самым гнусным из злодеев, которые были заключены вместе с ним. Тюремщик, египтянин родом, человек богобоязненный, думал угодить божеству и отомстить за него, жестоко обращаясь с Антифилом; если же тот начинал оправдываться, говоря, что он ничего подобного не совершал, это казалось бесстыдством с его стороны, и Антифила начинали еще больше ненавидеть.

К тому же он заболел, и притом тяжело, что и понятно: ему приходилось лежать на голой земле; ночью он не мог даже вытянуть ног, так как они были забиты в колодку, — днем довольствовались железным ошей-

ником и приковыванием одной руки, но каждую ночь его заковывали всего. Дурной запах в помещении, духота от большого числа заключенных, находившихся в тесноте и почти не имевших возможности дышать, лязг железа, недостаток сна — все это было тягостно и невыносимо для непривычного, никогда не испытывавшего столь суровой жизни человека.

30. Антифил пал духом и не хотел уже принимать пищи, когда возвратился Деметрий, ничего не ведая о случившемся. Как только он узнал, что произошло, он бегом бросился к темнице, однако его не пустили, так как был уже вечер; смотритель давно замкнул ворота и ушел спать, приказав рабам караулить тюрьму.

Ранним утром, после долгих просьб, Деметрий был допущен в темницу; войдя, он долго искал Антифила, который сильно изменился лицом после таких несчастий; обходя, Деметрий стал рассматривать по очереди каждого из заключенных, как это обыкновенно делают, разыскивая на поле битвы родных покойников, уже обезображенных смертью. И если бы он не назвал друга по имени: «Антифил, сын Диномена!» — никогда бы не узнал, который Антифил: так тот изменился от всех этих ужасов.

Услышав голос Деметрия, Антифил вскрикнул, а когда тот подошел, отбросил с лица спутавшиеся и ссохшиеся волосы и обнаружил, кто он такой. Оба лишились чувств при этом неожиданном зрелище. Спустя немного времени Деметрий пришел в себя, привел в чувство Антифила и, разузнав у него в подробностях о случившемся, наказал не терять мужества; разорвав пополам свой плащ, половину он набросил на себя, остаток же отдал Антифилу, сняв с него грязные и изорванные лохмотья.

31. С этого времени Деметрий сколько мог оставался при Антифиле, заботясь и ухаживая за ним. Он нанялся в гавани к купцам и зарабатывал значительные деньги, таская груз с утра до полудня. Возвращаясь затем с работы, он отдавал часть заработка смотрителю, делая его таким путем кротким и миролюбивым; остальной части заработка ему хватало, чтобы помогать другу. Дни Деметрий проводил с Антифилом, утешая его; когда же наступала ночь, он ложился спать неподалеку от ворот тюрьмы, устроив себе жалкую подстилку из листьев. Так продолжалось некоторое

время,— Деметрий приходил невозбранно, Антифил же переносил свою судьбу легко.

32. Но затем умер в тюрьме какой-то разбойник, по-видимому — от яда; охрана сделалась более строгой, и в помещение к заключенным не стали допускать никого из желавших.

Находясь в затруднении и печали и не видя другого способа быть вместе с товарищем, Деметрий, придя к наместнику, делает на себя донос, говоря, что был соучастником преступления против Анубиса. Как только он это сказал, его тотчас же отвели в тюрьму; с большим трудом удалось Деметрию упросить смотрителя приковать его рядом с Антифилом, к одной и той же колодке. Здесь он и доказал свою особенную любовь к товарищу. Деметрий заболел сам, но, не обращая внимания на собственное тяжелое положение, все время заботился, чтобы Антифил мог побольше спать и поменьше страдать. Так они сообща легко переносили несчастье.

33. С течением времени одно событие положило конец их бедствиям. Кто-то из узников, не знаю откуда, добыл напильник и, подговорив многих заключенных, распилил цепь, к которой они все были прикованы (цепь была пропущена сквозь все оковы). Таким путем он освободил всех. Заключенные без труда перебили малочисленную стражу и сразу разбежались. Они тотчас же рассеялись, кто куда мог; однако большинство их было вслед за тем переловлено. Деметрий и Антифил оставались на месте и, кроме того, задержали Сира, уже собравшегося бежать.

Когда наступил день и за беглецами была отправлена погоня, правитель Египта, узнав о происшествии, послал за Деметрием и его другом. Он приказал освободить их от оков и похвалил за то, что они одни не убежали. Однако наши друзья не захотели получить свободу таким путем. Деметрий стал громко возмущаться, говоря, что с ними поступают совершенно несправедливо, так как будет казаться, что их как разбойников освобождают из милости или в награду за то, что они не убежали. Наконец они принудили судью подробно рассмотреть их дело. Когда тот выяснил, что они не совершили никакого преступления, он стал их хвалить и выражать свое удивление, в особенности поведению Деметрия. Он отпустил их, извиняясь за то, что они без вины понесли наказание и были за-

ключены в оковы; кроме того, правитель Египта от себя подарил Антифилу десять тысяч драхм, Деметрию же — вдвое.

34. Антифил и сейчас еще живет в Египте; Деметрий же, отдав ему свои двадцать тысяч, отправился в Индию, к брахманам. Антифилу он сказал, что, покидая товарища, заслуживает извинения: сам он не нуждается в деньгах, пока он таков, каков есть, то есть умеет довольствоваться немногим, да и Антифил не нуждался в друге, ибо дела его устроились.

Вот каковы эллинские друзья, Токсарид. Если бы ты не обвинил нас сначала, что мы любим высокое только на словах, я подробно привел бы тебе все речи, пространные и прекрасные, которые Деметрий приносил в судилище. Защищал он исключительно Антифила, со слезами, мольбами, принимая всю вину на себя, до тех пор, пока Сир под пыткой не снял обвинения с обоих.

35. Из многих примеров доброй и надежной дружбы я привел тебе лишь несколько, которые мне первые пришли на память. Мне остается теперь только, сойдя с кафедры, передать тебе слово. Тебе придется позаботиться, чтобы скифы, о которых ты расскажешь, оказались бы не худшими, а гораздо лучшими, чем эллинские друзья, — если только ты не боишься потерять правую руку. Тебе придется постоять за себя; было бы смешно, если бы ты, защищая Скифию, оказался плохим оратором, тогда как Ореста и Пилада восхвалял столь искусно.

Токсарид. Хорошо, Мнесипп, что ты меня побуждаешь взять слово, будто тебя не беспокоит возможность лишиться языка, если ты будешь побежден в споре.

Впрочем, я сейчас начинаю, но не буду витийствовать, как ты, — это не в обычае у скифов, особенно когда дела громче слов. Не ожидай услышать от меня что-нибудь вроде того, о чем ты рассказывал с такой похвалой: что один женится на уродливой женщине без приданого; другой подарил денег два таланта дочери своего друга, собравшейся выйти замуж; третий предал себя в оковы, зная наверное, клянусь Зевсом, что вскоре он будет освобожден. Всеу этому грош цена, и в этом нет ничего величественного или мужественного.

36. Я же тебе расскажу о многочисленных убийствах, войнах и смерти за друзей. Ты убедишься, что дела эллинской дружбы по сравнению со скифскими — детская забава. Впрочем, ваши чувства имеют разумное основание, и вполне естественно, что вы восхваляете незначительные деяния; ведь у вас, живущих в глубоком мире, не может быть выдающихся своей необычайностью случаев выказать дружбу. Так и во время затишья не узнаешь, хорош ли кормчий: для этого нужна буря. У нас же непрерывные войны: мы или сами нападаем на других, или обороняемся от набега, участвуем в схватках из-за пастбищ и сражаемся из-за добычи: тут-то по преимуществу и нужны добрые друзья. Вот при каких условиях мы заключаем самую надежную дружбу, считая только ее одну оружием непобедимым и непреодолимым.

37. Прежде всего я хочу тебе рассказать, каким образом мы обретаем друзей. Не на попойках, как вы, и не потому, что росли вместе или были соседями. Нет, когда мы видим какого-нибудь человека, доблестного и способного совершать великие подвиги, мы все спешим к нему, и то, что вы считаете необходимым делать при сватовстве, то мы делаем, ища друзей. Мы усердно сватаемся, делаем все, чтобы добиться дружбы и не показаться недостойным ее. И вот, когда кто-нибудь избран в друзья, заключают союз и приносят величайшую клятву: жить вместе и умереть, если понадобится, друг за друга. И это мы выполняем. После клятвы, надрезав себе пальцы, мы собираем кровь в чашу и, обнажив острия мечей, оба, держась друг за друга, пьем из нее; после этого нет силы, которая могла бы нас разъединить. Дозволяется же заключать дружбу самое большее с тремя; если же у кого-нибудь окажется много друзей, то он для нас — все равно что доступная для всех развратная женщина: мы думаем, что дружба не может быть одинаково сильной, раз мы делим свое расположение между многими.

38. Начну я с того, что недавно случилось с Дандамидом. Дандамид в схватке с савроматами, когда друг его Амизок был уведен в плен... Однако я раньше поклянусь по нашему обычаю, как мы вначале условились. Клянусь Ветром и Мечом, я ничего тебе не поведаю, Мнесипп, ложного о скифской дружбе.

Мнесипп. Я не очень нуждался в твоей клятве, но все же ты хорошо сделал, что не поклялся никем из богов.

Токсарид. Что ты говоришь? Или ты думаешь, что Ветер и Меч не боги? Неужели ты не знаешь, что для человека нет ничего важнее жизни и смерти? Мы же, всякий раз как клянемся Ветром и Мечом, призываем Ветер как виновника жизни, а Меч — поскольку он приносит смерть.

Мнесипп. Если так, то вы могли бы иметь много и других богов, подобных Мечу: стрелу, копье, цикуту, петлю и тому подобное; ведь смерть — многообразное божество и предлагает нам бесчисленное множество путей, ведущих к нему.

Токсарид. Разве ты не видишь, как ты со своим искусством спорить и придираться к мелочам прерываешь мой рассказ? Я ведь хранил полное молчание, пока ты говорил.

Мнесипп. Ну, больше я не буду этого делать; ты упрекнул меня справедливо. Итак, говори смело, как будто меня нет, пока ты держишь речь. Я буду молчать.

39. Токсарид. Был четвертый день дружбы Дандамида и Амизока — с того времени как они причастились крови друг друга. Пришли на нашу землю савроматы в числе десяти тысяч всадников, пеших же, говорят, пришло в три раза больше. Так как они напали на людей, не ожидавших их, то и обратили всех в бегство, что обыкновенно бывает в таких случаях; многих из способных носить оружие они убили, других увели живьем, кроме тех, которые успели переплыть на другой берег реки, где у нас находилась половина кочевья и часть повозок. В тот раз наши начальники решили, не знаю по какой причине, расположиться на обоих берегах Танаиса. Тотчас же савроматы начали сгонять добычу, собирать толпой пленных, грабить шатры, овладели большим числом повозок со всеми, кто в них находился, и на наших глазах насиловали наших наложниц и жен. А нам оставалось только горевать.

40. Амизок, когда его тащили (он тоже был взят в плен и безжалостно связан), начал громко звать своего друга, напоминая о крови и чаше. Услышав свое имя, Дандамид, не задумываясь, на глазах у всех плывет к врагам. Савроматы, подняв копья, бросились

к нему, собираясь убить, но он закричал: «Зирин!» Того, кто произнесет это слово, савроматы не убивают, но задерживают, считая, что он пришел для выкупа. Приведенный к их начальнику, Дандамид просит освободить друга, а савромат требует выкупа: этому-де не бывать, если он не получит за Амизока большого выкупа. Дандамид на это говорит: «Все, что я имел, вами разграблено. Если же я, нагой, могу вам заплатить чем-нибудь, то готов это сделать,— приказывай, что ты хочешь получить. А если желаешь, возьми меня вместо него и делай со мной что тебе угодно». На это савромат сказал: «Невозможно задержать тебя всего, раз ты пришел, говоря «Зирин»; оставь нам часть того, чем обладаешь, и уведи своего друга». Дандамид спросил, что же он желает получить. Тот потребовал глаза. Дандамид тотчас же предоставил их. Когда глаза были выколоты и савроматы получили таким образом выкуп, Дандамид, получив Амизока, пошел обратно, опираясь на него; вместе переплыв реку, они благополучно вернулись к нам.

41. Случившееся воодушевило всех скифов, и они более не признавали себя побежденными, ибо видели, что враги не захватили величайшего нашего добра и у нас есть еще доблестный дух и верность друзьям. Все это сильно напугало савроматов, понявших, с какими людьми предстоит сражаться, если скифы, даже застигнутые врасплох, превзошли их доблестью. Поэтому, когда наступила ночь, они бежали, бросив большую часть скарба и поджегши повозки. Но, конечно, Амизок не мог допустить, чтобы он оставался зрячим, раз Дандамид ослеп, и поэтому также лишил себя зрения, и скифы стали кормить их за общественный счет, окружив чрезвычайным почетом.

42. Что похожего могли бы вы, эллины, рассказать, Мнесипп, если бы даже тебе было дано право присоединить к пяти рассказам еще десять, притом без клятвы, так, чтобы ты мог прибавить от себя что хочешь? Ведь я просто изложил тебе события. Представляю себе, сколько бы ты, рассказывая о чем-нибудь подобном, прибавил украшений: какими словами умолял Дандамид, как его ослепляли, что он говорил, как он возвратился, с каким одобрением приняли его скифы — и все прочее, что вы привыкли придумывать для удовольствия слушателей.

43. Выслушай же теперь и другой рассказ, столь же достойный удивления, про Белитта, родственника этого самого Амизока.

Однажды во время охоты он увидел, что лев стащил с коня его друга Баста и, уже подмяв его, вцепился в горло и начал разрывать когтями. Белитт соскочил с коня, бросился на льва сзади, схватил руками, желая привлечь его внимание на себя, и, всунув в пасть свои пальцы, старался, как только мог, спасти Баста от зверя. Наконец лев, бросив того уже полумертвым, обратился на Белитта и убил его. Белитт, умирая, успел, однако, ударить льва мечом в грудь, так что все трое умерли одновременно. Мы их похоронили в двух курганах, насыпанных рядом: в одном — друзей, в другом, напротив, — льва.

44. Расскажу я тебе, Мнесипп, третий случай: про дружбу Макента, Лонхата и Арсакома. Арсаком влюбился в Мазаю, дочь Левканора, царствовавшего на Боспоре. Он был отправлен туда с поручением относительно дани, которую боспорцы всегда нам исправно платили, но тогда уже третий месяц как просрочили. Увидев на пиру Мазаю, высокую и красивую девушку, он страстно в нее влюбился и очень страдал. Вопрос о дани был уже разрешен, царь дал ему ответ и, отправляя его обратно, устроил пир.

На Боспоре в обычае, чтобы женихи просили руки девиц во время пира и рассказывали, кто они такие и почему считают себя достойными свататься. На пиру присутствовало тогда много женихов — царей и царских сыновей: был Тиграпат, владыка лазов, Адирмах, правитель Махлиены, и многие другие. Полагается, чтобы сначала каждый из женихов объявлял, что он приходит свататься, а затем пировал бы, лежа вместе с другими в молчании. Когда пир окончится, следовало попросить чашу и, совершив возлияние на стол, сватать девицу, усердно выхваляя себя самого, свое происхождение, богатство и могущество.

45. Многие, согласно обычаю, совершали возлияние и просили руки царской дочери, перечислив свои царства и сокровища. Последним попросил чашу Арсаком, но возлияния делать не стал (у нас не в обычае проливать вино: это считается нечестием по отношению к богу). Выпив залпом, он сказал: «Выдай за меня, царь, свою дочь Мазаю, так как я гораздо более подходящий жених, чем они, по своему богатству и иму-

ществу». Левканор изумился,— он знал, что Арсаком беден и происходит из незнатных скифов,— и спросил: «Сколько же у тебя имеется скота и повозок, Арсаком? Ведь ваше богатство состоит в этом». — «Нет у меня ни повозок,— возразил Арсаком,— ни стад, но есть у меня двое доблестных друзей, каких нет ни у кого из скифов».

При этих словах над ним стали смеяться и косо на него смотреть и решили, что он пьян. Адирмах, предпочтенный всем прочим, собрался наутро увести невесту в Меотиду к махлийцам.

46. Арсаком же, возвратившись домой, рассказал друзьям, как он был оскорблен царем и высмеян на пиру, так как его сочли бедняком. «Однако,— добавил он,— я рассказал Левканору, какое имею богатство — именно вас, Лонхат и Макент; сказал и то, что наша дружба сильнее и надежнее всего имущества боспорцев. Но когда я это произнес, он надо мной посмеялся, пренебрег мною и отдал невесту Адирмаху, махлийцу, так как он сказал, что имеет десять золотых чаш, восемьдесят четырехместных повозок, много мелкого и крупного скота. Таким образом, Левканор предпочел доблестным людям изобилие скота, ненужно дорогие кубки и тяжелые повозки. Меня, друзья, угнетают обе вещи: во-первых, я люблю Мазая; во-вторых, меня сильно задело высокомерное обращение в присутствии многочисленных гостей. Я думаю, что и вы в равной степени оскорблены. На долю каждого из нас пришлось по третьей части бесчестия. Ведь с того времени, как мы сошлись вместе, мы живем как один человек, огорчаясь одним и тем же и радуясь одному и тому же».

«Не третья часть,— заявил Лонхат,— но полностью каждому из нас нанесена обида этим поступком».

47. «Как нам поступить при таких обстоятельствах?» — спросил Макент.

«Разделим труд,— ответил Лонхат,— я обещаю доставить Арсакому голову Левканора, тебе же предстоит привести ему невесту».

«Пусть будет так», — согласился Макент.

«Ты же, Арсаком, оставаясь здесь, собирай и готовь оружие, коней и все необходимое для войны в возможно большем количестве, так как, наверное, после этого начнется война, и нам понадобится войско. Ты легко наберешь воинов; ведь и сам ты человек доблестный,

и родственников у нас немало, в особенности если будешь восседать на шкуре быка».

Так и решили. Лонхат тотчас, как был, отправился на Боспор, а Макент — к махлийцам, оба верхами. Арсаком же, оставаясь дома, уговаривался со сверстниками, собирал среди родственников вооруженную силу и, наконец, восседал на шкуре.

48. Этот обычай относительно бычьей шкуры состоит у нас в следующем. Если кто-нибудь, будучи оскорбленным, собирается отомстить обидчику, но видит, что у него не хватает сил, то он приносит в жертву быка и, нарезав мясо, варит его, затем, расстелив шкуру на земле, садится на нее, заложив обе руки за спину, как если бы они были связаны в локтях. Этим выражается у нас самая сильная мольба. Когда мясо быка разложено, родственники и любой из посторонних подходят и берут каждый по куску. При этом они ставят правую ногу на шкуру и обещают доставить, кто сколько в силах: кто пять, кто десять всадников на своем хлебе и жалованье, другой же и большее число, иной — тяжеловооруженных или пехотинцев, сколько может, а самый бедный только самого себя. Собирается иногда с помощью шкуры большое число воинов. Такое войско чрезвычайно стойко и непобедимо, ибо оно связано клятвой: поставить ногу на шкуру у нас значит поклоняться.

Итак, Арсаком был занят этим делом, и собралось к нему около пяти тысяч всадников, тяжеловооруженных же и пехотинцев вместе двадцать тысяч.

49. Лонхат, прибыв неузнанным на Боспор, является к царю, занимавшемуся делами, и говорит, что, прибыв с поручением от общины скифов, он сообщит также важные новости частным образом. Когда царь приказал ему говорить, Лонхат сказал: «Скифы требуют, чтобы впредь ваши пастухи не переходили на равнину и пасли стада только до границы гор. Грабители же, на которых вы жалуетесь, что они делают набеги на вашу землю, посылаются не по общему решению, но каждый грабит на свой страх. Если кто-нибудь из них будет захвачен, то вы вправе его наказать. Вот что скифы поручили мне передать».

50. Я же могу тебе передать, что на вас готовится большой набег Арсакомом, сыном Марианта, который недавно приходил к тебе послом. Сердит он на тебя, по-моему, за отказ, который получил, когда сватался

к твоей дочери. Уже седьмой день сидит он на шкуре, и собирается к нему немалое войско». — «Я и сам слышал, — ответил Левканор, — что собирается вооруженная сила с помощью шкуры, но не знал, что она готовится против нас и что Арсаком — ее вождь». — «Да, — сказал Лонхат, — приготовления эти — против тебя. Арсаком — мой враг и ненавидит меня за то, что меня больше уважают старейшины, и за то, что я считаюсь во всем лучше его. Если же ты обещаешь мне свою вторую дочь, Беркетиду, — ибо и я достоин вас, — то в скором времени я принесу тебе его голову». — «Обещаю», — ответил царь, очень испугавшись. Он ведь знал, что причиной гнева Арсакома была история со сватовством, да и вообще он всегда дрожал перед скифами.

Тогда Лонхат сказал: «Поклянись, что будешь соблюдать договор и не отречешься от него».

Тут царь, подняв к небу руки, собирался уже поклясться, но Лонхат сказал: «Как бы кто-нибудь из присутствующих и видящих нас не догадался, в чем мы приносим клятву, войдем сюда, в святилище Арея, и запрем двери, — дабы никто нас не услышал. Если бы об этом узнал Арсаком, боюсь, как бы он, собравший уже большую дружину, не принес меня в жертву перед войной». — «Войдем, — сказал царь. — Вы же отойдите подальше. И пусть никто не входит в храм, пока не позову».

Когда они вошли, а телохранители удалились, Лонхат, выхватив меч, одной рукой зажимает Левканору рот, чтобы он не кричал, и поражает его в грудь, затем, отрезав голову и держа ее под плащом, выходит, как бы разговаривая с царем и обещая скоро вернуться, точно он был им за чем-то послан. Так он достиг того места, где оставил привязанным своего коня, вскочил на него и ускакал в Скифию. За ним не было погони, так как боспорцы долгое время не знали о случившемся, а когда узнали, стали спорить о выборе царя.

51. Вот что совершил Лонхат. Он выполнил свое обещание, передав Арсакому голову Левканора. А Макент еще в пути услышал о том, что произошло на Боспоре; придя к махлийцам, он первый принес им весть об убийстве царя. «Город, — сказал он, — призывает тебя, Адирмах, на царство, так как ты зять покойного. Поезжай вперед и прими власть, явившись, пока еще

город в смятении; твоя молодая жена пусть следует позади в повозке: ты легко привлечешь на свою сторону большинство боспорцев, когда они увидят дочь Левканора. Сам я родом алан и родственник ее со стороны матери: ведь Левканор у нас взял себе жену Мاستиру. Я пришел к тебе от братьев Мастиры, которые живут в Алании. Они советуют тебе как можно скорее отправиться на Боспор и не оставаться равнодушным к тому, что власть перейдет к Евбиоту, незаконнорожденному брату Левканора. Он ведь всегда дружил со скифами и ненавистен аланам».

Так говорил Макент, и одеждой и языком подобный аланам. Ибо и то и другое одинаково у аланов и у скифов; только аланы не носят таких длинных волос, как скифы, однако Макент, чтобы походить на них, подстриг свои волосы, сколько нужно было, чтобы уничтожить разницу между аланом и скифом. Поэтому и поверили, что он родственник Мастиры и Мазаи.

52. «Я,— сказал Макент,— готов отправиться сейчас вместе с тобой, Адирмах, на Боспор, когда ты этого хочешь, или, если нужно, могу остаться и сопровождать эту девицу». — «Я предпочитаю, чтобы ты сопровождал Мазаю, так как ты ее родственник. Если ты вместе с нами поедешь на Боспор, у нас будет только одним всадником больше, если же повезешь мою жену, то будешь заменять многих».

Так и произошло. Адирмах усккал, поручив Макенту везти Мазаю, которая была еще девицей.

В течение дня он ее вез в повозке, когда же настала ночь, Макент посадил Мазаю на коня (он позаботился, чтобы за ним следовал еще один всадник), вскочил верхом сам и поехал далее не к Меотиде, а в глубь страны, оставив с правой стороны Митрейские горы, по временам останавливаясь в дороге, чтобы дать отдохнуть молодой женщине; в три дня совершил он весь путь от махлийцев к скифам. Конь Макента, окончив путь, постоял немного и пал.

53. Макент, вручив Арсакому Мазаю, сказал: «Прими от меня невесту во исполнение обещания». Когда тот, пораженный неожиданным зрелищем, стал благодарить его, Макент ответил: «Перестань считать меня чем-то отличным от тебя самого,— благодарить меня за мой поступок — то же самое, как если бы левая рука стала выражать свою признательность правой за то, что та ухаживала за ней, когда она была ранена,

и дружески заботилась во время ее болезни. Ведь мы были бы смешны, если бы стали считать чем-то великим, что одна часть нашего тела сделала нечто полезное всему телу; мы ведь уже давно смешали свою кровь и стали как бы одним целым. Часть поступила так, чтобы целому было хорошо». Так Макент ответил Арсакому, благодарившему его.

54. Адирмах, когда услышал о злодеянии, оставил путь на Боспор, где уже правил Евбиот, призванный от савроматов, у которых он жил. Возвратившись в свою землю и собрав большое войско, он через горы вступил в Скифию. Евбиот в непродолжительном времени тоже напал на скифов, ведя с собой греков и призванных им аланов с савроматами, тех и других по двадцать тысяч. Евбиот и Адирмах соединили свои отряды, и у них собралось войско общей численностью в девяносто тысяч человек, из которых третью часть составляли конные стрелки. Мы же, собранные в числе немного меньше тридцати тысяч, считая и всадников, ожидали нападения. И я тогда принимал участие в этом походе, выставив на шкуре за свой счет сто всадников. Начальствовал Арсаком.

Увидя, что неприятель приближается, мы выслали вперед для первого нападения конницу. После продолжительного и горячего сражения наша фаланга подалась назад, была разорвана, и все скифское войско в конце концов было разрезано на две части. Половина бежала, впрочем, не совсем разбитая, но бегство казалось отступлением: аланы не осмеливались преследовать нас далеко. Другую же половину, меньшую, аланы и махлийцы, окружив со всех сторон, рубили и поражали множеством стрел и дротиков, так что тем из нас, кто был окружен, приходилось очень тяжело, и большинство уже готово было сложить оружие.

55. Здесь оказались Лонхат и Макент. Оба они сражались в самых опасных местах и были ранены: Лонхат — копьем в бедро, а Макент — секирой в голову и дротиком в плечо. Арсаком заметил это (он был с нами в другом месте) и, считая ужасным, если он спасется, покинув друзей, дал шпоры коню, с криком бросился сквозь врагов, подняв меч. Махлийцы не выдержали его мужественного порыва, бросились в сторону и позволили ему проскочить. Он, пробившись к друзьям и собрав всех остальных, кинулся на Адирмаха и,

ударив его мечом, разрубил от шеи до пояса. После гибели предводителя все махлийское войско рассеялось, немного спустя аланское, а затем и эллины.

Таким образом мы в свою очередь победили и могли бы их далеко преследовать и рубить, если бы не помешала ночь. На следующий день пришли от врагов послы, усиленно упрашивая заключить договор о дружбе. Боспорцы обязались выплачивать дань в двойном размере, махлийцы говорили, что дадут заложников, аланы же обещали за этот набег подчинить нам синдов, давно уже отложившихся от нас. На этом мы согласились, предварительно узнав мнение Арсакома и Лонхата. Был заключен мир, отдельные условия которого были выработаны ими же.

Вот какие дела дерзают совершать скифы ради друзей.

56. Мнесипп. Очень уж это трагично, Токсарид, и похоже на миф. Да будут милостивы Меч и Ветер, которыми ты клялся. Не следует презирать того, кто этому не поверит.

Токсарид. Смотри, почтеннейший, как бы это недоверие не оказалось просто завистью к нам; да, кроме того, ты не собьешь меня своим неверием: все остальные рассказы о скифских подвигах будут в том же роде.

Мнесипп. Только не говори слишком пространно, милейший, пользуйся не столь длинными речами. Вот и теперь ты, носясь туда и сюда, то в Скифию, то в Махлиену, то отправляясь на Боспор, то возвращаясь оттуда, злоупотреблял моим молчанием.

Токсарид. Повинуюсь твоему приказанию: приходится рассказывать кратко, чтобы ты не устал, странствуя благодаря своим ушам вместе с нами.

57. Лучше послушай, какую услугу оказал мне самому мой друг Сисинн.

Когда я отправлялся из дому в Афины, желая познакомиться с эллинским образованием, я приплыл в Понтийскую Амастриду. Этот город, расположенный неподалеку от Карамбы, является удобной стоянкой для плывущих из Скифии. Со мною был Сисинн, мой товарищ с детства. И вот, найдя у гавани какую-то гостиницу и перенеся туда с корабля свои вещи, мы пошли погулять, не предвидя никакой неприятности. Воспользовавшись этим, какие-то воры, вытащив у двери засов, унесли у нас все, не оставив даже столь-

ко, чтобы хватило на один день. Придя домой и увидав, что произошло, мы не нашли возможным жаловаться властям ни на своих соседей, которых к тому же было много, ни на хозяина, из страха показаться большинству обманщиками-вымогателями, рассказывая, что кто-то похитил у нас четыреста дариков, много одежды и ковров и остальное имущество, какое у нас было.

58. Мы стали обдумывать, что нам в таком положении делать — мы ведь остались совершенно без средств на чужбине. Я решил тут же, как был, вонзить в бок свой меч и уйти из жизни, чтобы голод и жажда не вынудили совершить недостойный поступок. Но Сисинн ободрял меня и уговаривал не делать этого. Он нашел самый подходящий способ найти необходимое пропитание: нанялся таскать в гавани лес и возвратился, купив на свой заработок припасов для нас. Следующим утром, проходя по площади, он увидел шествие, состоявшее, по его словам, из видных юношей благородной осанки. На самом деле это были нанятые за плату гладиаторы, которые через три дня выступали во время представления. Разузнав относительно них все, что было надо, Сисинн пришел ко мне и сказал:

— Токсарид, не называй себя больше бедным, — через три дня я сделаю тебя богачом.

59. Так он сказал. С трудом просуществовав два дня, когда наступил назначенный день, мы отправились посмотреть обещанное зрелище. Сисинн захватил меня с собой в театр, как будто с целью показать приятное и своеобразное эллинское представление.

Усевшись, мы видели, как охотились с дротиками на диких зверей, как их травили собаками, как выпускали зверей на каких-то связанных людей, по-видимому злодеев. Наконец выступили гладиаторы. Глашатай, выведя весьма рослого юношу, объявил, чтобы всякий желающий сразиться с ним один на один выходил на середину, — за это он получит десять тысяч драхм — плату за бой.

При этих словах Сисинн вскочил и, сбежав на арену, изъявил желание сражаться и потребовал оружия. Получив десять тысяч драхм, он принес их и отдал мне. «Если я окажусь победителем, — сказал он, — мы уедем вместе, денег нам хватит; если же я паду — похорони меня и возвращайся обратно в Скифию».

60. При этих словах я громко зарыдал. А Сисинн вооружился, не надевая только шлема: он сражался с непокрытой головой. Сперва он был ранен: кривой меч задел его под коленом, так что кровь обильно заструилась; я же со страху чуть не умер раньше него. Но Сисинн подстерег своего противника, кинувшегося слишком смело, и пронзил его насквозь, поразив в грудь. Гладиатор тут же пал к его ногам. Сисинн, страдая и сам от раны, сел на убитого и едва не лишился жизни; я подбежал, поднял его и стал ободрять. Когда же Сисинн был провозглашен победителем, я поднял его и доставил в наше жилище. После долгого лечения он оправился и сейчас еще живет в Скифии, женившись на моей сестре,— хотя все-таки хромота от раны.

Это, Мнесипп, случилось не среди махлийцев и не в Алании, где не было бы свидетелей и можно было бы не доверять мне; многие из амастрийцев и сейчас еще помнят о поединке Сисинна.

61. Напоследок я расскажу пятый случай: о подвиге Абавха. Пришел как-то этот Абавх в город борисфенитов, приведя с собой женщину, которую он любил, и двух детей: грудного еще мальчика и семилетнюю девочку. Вместе с ним переселился и товарищ его Гиндан, страдавший от раны, которую он получил в пути во время нападения разбойников. Сражаясь с ними, он был ранен в бедро, так что не мог стоять от боли. Ночью, когда они спали (им пришлось поместиться в верхнем этаже), начался страшный пожар; пламя со всех сторон окружило дом, преградив выход. Проснувшись, Абавх бросает плачущих детей, отталкивает ухватившуюся за него жену, приказав ей спастись самой, и, схвативши на руки друга, выбегает с ним. Он с трудом успевает спастись там, где еще не все было объято пламенем. Жена его, неся младенца, бежала за ним, приказав девочке следовать за ней. Полуобгорелая, она выпустила из рук младенца и с трудом спаслась из огня, а за нею и дочка, тоже едва не погибшая.

Когда потом кто-то стал упрекать Абавха за то, что он, оставив жену и детей, заботился о спасении Гиндана, он возразил: «Детей мне легко вновь прижить, еще неизвестно, будут ли они хорошими, а такого друга, как Гиндан, мне не найти и после долгих поисков; он дал мне много свидетельств своего расположения».

62. Я кончил, Мнесипп. Из многих примеров я привел тебе эти пять. Теперь, пожалуй, пришло время рассудить, кому из нас следует отрезать язык или правую руку. Кто же наш судья?

Мнесипп. Его нет. Ведь мы не выбрали никакого судьи в нашем споре. Знаешь, что мы сделаем? Так как мы стреляли бесцельно, то, избрав третейского судью, расскажем при нем о других верных друзьях, и кто тогда окажется побежденным, пусть тому и отрежут или язык, или правую руку. Но может быть, это слишком жестоко? Ты так горячо хвалишь дружбу, и я считаю, что у людей нет лучшего и прекраснейшего достояния, чем она. Не заключить ли нам лучше союз и не быть ли друзьями с этого времени и всегда любить друг друга? Так как мы оба победили, то каждый из нас получил величайшую награду: вместо одного языка и одной правой руки каждый имеет теперь по две, да сверх того четыре глаза, четыре ноги и вообще всего вдвойне. Двое или трое друзей представляют собой нечто, подобное шестирукому и трехголовому Герionу, как его изображают художники; а мне кажется, что это было изображение трех существ, которые совершали все дела вместе, как и следует друзьям.

63. Токсарид. Ты прав, так и поступим.

Мнесипп. Но не нужно нам ни крови, Токсарид, ни меча, чтобы закрепить дружбу. Наша беседа и стремление к одному и тому же гораздо надежнее той чаши, которую вы осушаете, потому что дружба, по-моему, нуждается не в принуждении, а в единомыслии.

Токсарид. Я одобряю это. Будем же друзьями и гостеприимцами: ты — для меня здесь, в Элладе, я же — для тебя, если ты когда-нибудь приедешь в Скифию.

Мнесипп. Будь уверен, что я не замедлю отправиться даже еще дальше, если мне представится случай встретиться с такими друзьями, каких ты явил мне в твоих рассказах.





УЧИТЕЛЬ КРАСНОРЕЧИЯ

1. Ты желаешь узнать, милый юноша, как тебе сделаться ритором и приобрести высокое и всеми чтимое имя софиста. Ты говоришь, что не стоит жить, если не удастся тебе овладеть столь великою силою слова, чтобы необоримым стать и непобедимым противником, чтобы привлекать к себе восхищение и взоры всех, чтобы послушать тебя почиталось у эллинов достойным всяких усилий. Конечно, ведущие к этой цели пути и как тебе вступить на них, хотел бы ты также узнать. Я не собираюсь делать из этого никакой тайны, мой мальчик, особенно когда кто-нибудь, будучи сам еще молод и устремляясь к прекрасному, но не зная, как достигнуть его, придет и попросит, подобно тебе, о таком святом деле, как добрый совет. Итак, выслушай хотя бы то, чему в силах научить тебя я, и питай бодрую уверенность: скоро ты станешь искусным мужем,

способным уразуметь все потребное и истолковать его. От тебя самого зависит, захочешь ли ты впредь оставаться верным тому, что услышишь от нас, трудолюбиво упражняться и смело идти своей дорогой, пока не достигнешь цели.

2. Немалую ты хочешь поймать добычу и не незначительного требующую рвения, но такую, ради которой стоит потрудиться и ночи не спать и все что угодно вытерпеть. Посмотри, сколько людей, бывших дотоле ничем, силою красноречия оказывались и славными, и богатыми, и, клянусь Зевсом, даже высокого происхождения.

3. Не бойся, однако, и не отчаивайся перед огромностью питаемых тобою надежд, думая, будто какие-то бесчисленные тяжелые труды лежат впереди. Мы поведем тебя не какой-нибудь каменистой стезей, крутою и полною пота, чтобы, истомленный, ты повернул вспять с середины пути. Тогда мы ничем не отличались бы от прочих наставников, которые указуют ученикам обычную дорогу — долгий и тяжкий подъем, почти всегда родящий отчаянье. Нет, тем и отличен будет от прочих совет, преподанный нами, что будешь ты подыматься приятно и наикратчайшей дорогой, проезжей и ровной, с радостью и с негой, по цветущим лугам, в постоянной тени; шагая неспешно и не истекая потом, взойдешь на вершину. Ты победу одержишь без усталости и, Зевсом клянусь, возляжешь, пируя. С высоты будешь ты спокойно смотреть, как, задыхаясь, те, что обратились на иную стезю, карабкаются, выбиваясь из сил, находясь еще в самом низу, у подножия горы, опираясь на недоступные скользкие кручи, подчас низвергаясь вниз головою и многие раны приемля на острых выступах скал. А ты, уже давно достигший вершины, увенчанный венком, блаженнейшим будешь из смертных, получив от искусства оратора все возможные блага в короткое время и только что не во время сна.

4. Обещанья мои, как ты видишь, обширны. Но ты, во имя Зевса нашей дружбы, не питай недоверья ко мне, когда я обещаю предоставить тебе все это и в наилегчайшем и, вместе, в наиприятнейшем виде. Ведь если Гесиод, взяв несколько лавровых листков с Геликона, тотчас же из пастуха превратился в поэта и, став одержимым, по внушению Муз воспел родословную богов и героев, то неужели оратором, далеко уступа-

ющим возвышенной речи поэта, стать невозможно в короткое время, если укажет тебе кто-нибудь самый короткий к этому путь?

5. Я хочу рассказать тебе вдобавок об открытии одного сидонского купца, которое не осуществилось из-за недоверия слушателя и пропало без пользы. Это случилось, когда уже властвовал над персами Александр, низложивши Дария после битвы при Арбелах, и когда во все концы царства должны были мчаться гонцы, разнося приказы Александра. А из Персии в Египет дорога была долгая: нужно было обходить горы, потом идти через Вавилонию в Аравию, затем пересекать большую пустыню, и, только проделав двадцать длиннейших переходов, проворный гонец достигал в конце концов Египта. Беспокоило это Александра, так как до него доходили слухи, что среди египтян происходит какое-то движение, и он не мог поскорее сообщить сатрапам свою волю относительно жителей. Вот тут-то один сидонец, купец, сказал: «Я, царь, обещаю тебе показать недолгий путь из Персии в Египет: надо перевалить через эти горы; а перевалить их можно в три дня,— тут тебе и будет Египет». Так это и было в действительности. Но только Александр не поверил купцу, а счел его пустым болтуном. Так необычность обещанья вызывает по большей части недоверие в людях.

6. Но да не случится с тобою этого! Испробуй, и убедишься, что без всякой помехи ты сможешь считать себя ритором, в один, да и то неполный, день перелета через гору из Персии в Египет. Но сперва я намерен, как знаменитый Кебет, словами нарисовав картину, показать тебе обе дороги: ибо два пути ведут к прекрасной Риторике, столь безмерно, как мне кажется, тобою любимой. Итак, пусть Риторика пребывает на вершине горы, прекрасная ликом и телом, держа в правой руке рог сверхизобилия Амалфеи, отягченный всевозможными плодами; по другую же сторону от Риторики видится мне стоящим Плутос — Богатство, весь золотой и желанный. Также Слава и Сила пусть станут подле, а множество Похвал, подобных маленьким Эротам, пусть летят и сплетаются в венок, со всех сторон окруживший красавицу. Ты, наверно, видел на картинах изображения Нила? Сам он покоится на крокодиле или гиппопотаме, которых так много водится в нем, а вокруг него резвятся такие малень-

кие ребятишки,— «локотками» зовут их египтяне; вот так и наша Риторика окружена Похвалами. Приблизься же, страстный любовник, ты, который стремишься, конечно, как можно скорей очутиться на вершине, чтобы вступить в брак с любимой и овладеть всем, что видишь: и богатством, и славой, и хором похвал,— ибо по закону это все принадлежит супругу.

7. Но когда ты подойдешь ближе к горе, ты оставишь в первое мгновение всякую мысль о восхождении: гора покажется тебе такой же недоступной, какой представилась сначала гора Аорн македонянам, которые увидали ее отвесные со всех сторон скалы. Казалось просто, что даже и птице не легко перелететь через скалы и, чтобы завладеть ими, нужен новый Дионис или Геракл. Так тебе покажется сначала. Но вот немного спустя ты замечаешь две разных дороги: одна из них — похожая скорее на тропинку, узкая, тернистая и каменистая, своим видом объявляющая путнику об ожидающей его сильной жажде и обильном поте. Впрочем, Гесиод предупредил меня, изобразивши очень хорошо этот путь, так что в моем описании нет больше нужды. Вторая — широкая дорога, идущая по цветущим лугам, богатая влагой,— словом, такая, какую я тебе несколько раньше изобразил. А потому и не буду по нескольку раз повторять то же самое, чтобы не задерживать тебя, так как за это время ты можешь уже стать оратором.

8. Одно, впрочем, я решаюсь добавить — именно: та, первая, каменистая и крутая тропинка имеет немногочисленные следы пешеходов, да к тому же очень давние. Я и сам, к сожалению, когда-то вступил на нее и претерпел без всякой нужды столько трудов! Вторая же дорога, ровная, без единого изгиба, издали открывалась мне. Я видел, какова она, но не пошел по ней, так как, будучи еще молод, не понимал лучшего и думал, что прав наш поэт, утверждающий, будто только из трудов рождаются блага. Но это не было правдой. Ибо я вижу, что многие без всяких усилий удостоились большего, нежели я,— одной лишь удачей в выборе слов и путей. И ныне ты, подойдя к началу, усомнишься, я знаю,— да ты уже сомневаешься, на какую из двух дорог тебе вступить. Что тебе сделать теперь, чтобы наилегчайшим путем взойти на вершину и стать блаженным, вступив в брак с милой, и начать во всех возбуждать восхищение? Я скажу тебе это. Ибо

довольно того, что я сам обманулся и пострадал. У тебя же да уродится жатва без сева, без вспашки, как в золотой век Крона!

9. В самом начале подойдет к тебе крепкий мужчина, жилистый, с твердою поступью, с сильным загаром от солнца на теле, с мужественным и бодрым взором, проводник по каменистой дороге, и станет болтать тебе всякий вздор, приглашая следовать за ним, показывая следы Демосфена, Платона и еще кое-кого — огромные следы, каких теперь не бывает, но уже полустертые от времени и большею частью еле заметные. Проводник станет говорить тебе о будущем счастье и законном браке с Риторикой, если только ты пойдешь по пути тех, уподобившись плясунам на канате: ибо стоит тебе лишь чуть-чуть оступиться, или сделать неверный шаг, или наклониться больше, чем надо, на одну сторону, потеряв равновесие, и ты полетишь вниз головою с этой прямой и к браку ведущей дороги. Затем проводник прикажет тебе преисполниться ревностью к тем знаменитым мужам далекого прошлого и предложит образцы речей, не первой уже свежести и нелегкие для подражания, как это свойственно произведениям старых мастеров, какого-нибудь Гегесия или школы Крития и Несиота: сжатым, крепким, сухим, с четко очерченным построением речи. Необходимыми и неизбежными условиями будет труд, бессонные ночи, вода вместо вина и упорство: без этого, скажет твой проводник, невозможно пройти эту дорогу. Но несносней всего то, что и срок странствия он поставит тебе очень большой — это будут долгие годы, исчисляя их не днями, не месяцами, а целыми олимпиадами, так что, послушав, можно заранее устать и с отчаянья сказать навсегда прости желанному божеству! Проводник же, сверх того, и плату требует немалую за все эти беды, и даже не согласен вести тебя, не получив вперед значительной ее части.

10. Вот что скажет тебе этот хвастун, этот поистине древний человек, выходец из царства Крона, мертвецов далекого прошлого, выставляющийся для подражания, предлагающий откапывать слова, давно схороненные, будто какую-то высшую ценность, и призывающий к соревнованию с сыном мастера, выделяющего мечи, или с сыном учителя Атромета, — и когда же? Среди глубокого мира, когда не грозят нам ни Филипп своим наступлением, ни Александр своими ука-

зами, как во времена тех ораторов, что придавало некоторый смысл их выступлениям. Твой проводник не знает, какая ныне проложена новая дорога: краткая, легкая, прямая дорога ораторского искусства. Не слушайся же его и не обращай на него внимания, чтобы, уведя с собою, он не свернул тебе где-нибудь шею или не заставил, в конце концов, состариться до времени среди тяжких трудов. Но если ты действительно влюблен и хочешь скорее сочетаться с Риторикой, пока ты еще в расцвете сил, чтобы и ты для нее оказался желанным, то распростишься навсегда с этим волосатым и чересчур уж мужественным человеком. Оставь его! Пусть он карабкается кверху и тащит за собой, кого сможет обмануть, задыхающихся и обливающихся потом.

11. Ты же, вступив на другую дорогу, встретишь здесь много разных людей. Среди них встретится тебе некий муж, премудрый и преизящный, с раскачивающейся походкой, с опущенной шеей, с женственным и медовым голосом, дышащий благовониями, кончиком пальца почесывающий голову, расправляя редкие, правда, но завитые и гиацинтово-темные волосы — словом, пренежнейший Сарданапал, Кинир или сам Агафон, прелестный поэт, сочинитель трагедий. Говорю тебе, чтобы ты узнал его по этим приметам и чтобы не осталось тобою незамеченным существо столь божественное и любезное Афродите и харитам. Но что я? Пусть глаза твои будут закрыты: стоит ему подойти и сказать одно слово, открывши уста, преисполненные гиметского меда, и произнести обычные слова,— и ты поймешь, что перед тобою не один из нас, питающихся плодами земли, но некое чудесное видение, вскормленное росой и амбросией. Приблизься к нему, предайся ему, и тотчас же ты станешь и оратором и знаменитостью и, как выражается он, сделаешься владыкой слова, и притом без трудов, несясь во весь опор на четверке коней красноречия. Он примет тебя в число учеников и наставит прежде всего в следующем.

12. Впрочем, пусть лучше поэт сам говорит с тобою. Ибо смешно было бы мне слагать речь от лица такого оратора: я, конечно, слишком ничтожный актер, чтобы играть столь великих и необыкновенных людей, и, пожалуй, споткнувшись, в куски разобью героическую маску принятой мною роли. Итак, вот что сказал бы Ага-

фон тебе, расчесав остатки длинных кудрей, улыбнувшись, как всегда, изящно и сладко, с ласкою в голосе, подражающей героиням комедии — какой-нибудь Автотаиде, Мальтаке или Гликере, ибо все, что мужественно, — неотесанно, грубо и недостойно нежного и обаятельного оратора.

13. Итак, Агафон молвит, сверх меры скромно говоря о самом себе: «Уж не пифиец ли, мой милый, направил тебя ко мне, назвавши меня лучшим из ораторов, подобно тому как некогда Херефонту, его вопросившему, бог указал мудрейшего из живших в ту пору людей? Если ж не богом ты послан, но сам пришел, привлеченный моею славой, слыша, что все находятся в сверхизумлении перед моими речами, воспевают хвалы мне, восторгаются молча или робко склоняются ниц, — о, тогда убедишься тотчас же, к какому одержимому богом мужу ты пришел! Не думай увидеть нечто такое, с чем сравняться могло бы то-то иль то-то, — нет, пред тобою возникнут сверхгиганты, превыше Тития, Ота и Эфиальта, сверхприродные и чудовищные создания: ибо сверхгромогласно прозвучат мои речи, покрывая прочих ораторов, как труба заглушает флейту, кузнечик — пчелу и хор — запевалу.

14. Но ты ведь сам хочешь сделаться ритором. Что же? И этому ты легче, чем от кого-нибудь, научишься от меня: только следуй, моя милая забота, тому, что скажу я, будь во всем ревностен и неукоснительно блюди мои правила, которыми я повелю тебе пользоваться. А главное, не медли: иди вперед без всяких стеснений и не робей, если ты не посвящен в те предварительные и подготовительные знания, из которых другие, безрассудные и глупые люди, с превеликим трудом строят себе дорогу к искусству оратора: ни одно из них тебе не понадобится. Нет, «входи с немтыми ногами» — как поговорка гласит, — и никакого ты не потерпишь ущерба, если не будешь знать даже того, что знают все, — не сумеешь букв написать. Ибо оратор — нечто совершенно иное, и подобные вещи его не касаются.

15. Но сначала скажу о том, что нужно тебе взять с собой на дорогу из дому, выступая в поход, и как снарядиться, чтобы в кратчайший срок дойти до конца. Затем, когда ты двинешься в путь, я сам пойду вместе с тобою и буду давать тебе по пути разъяснения и советы. Прежде чем солнце зайдет, ты сделаешься

ритором, окажешься превыше всех прочих, подобным мне самому, который, бесспорно, является и началом, и серединой, и концом тех, чье занятие — слово. Итак, возьми с собою прежде всего запас невежества, затем — самоуверенности да еще наглости и беззастенчивости. Стыд, приличие, скромность, способность краснеть оставь дома, — это все бесполезно и даже вредит делу. Уменье кричать как можно громче, и распевать без стыда, и выступать походкой, подобной моей, — вот что единственно необходимо, а подчас и совершенно достаточно. И платье должно быть у тебя цветистое и яркое, из тонкой, тарентской выделки, ткани, чтоб сквозь нее просвечивало тело; на ногах — аттические женские полусапожки с вырезом или сикионские башмачки, бросающиеся в глаза своим белым войлоком. Пусть за тобой следует толпа народу, — непременно держи книжку в руке. Вот что требуется от тебя самого.

16. Остальное узнаешь и услышишь уже дорогою, подвигаясь вперед. А теперь я изложу тебе правила, которым должен ты следовать, чтобы Риторика признала тебя и допустила к себе, а не заставила повернуть обратно и отправляться ко всем воронам как непосвященного и соглядатая ее тайнств.

Итак, прежде всего, надо особенно позаботиться о своей наружности и о том, чтобы плащ твой был накинут красиво. Потом, набрав отовсюду пятнадцать — двадцать, не больше, аттических слов и тщательно их затвердив, держи их всегда наготове на кончике языка и, будто сладким порошком, посыпай ими всякую речь, не заботясь нисколько об остальном, даже если одно будет несходно с другим и разнородно и несозвучно. Лишь бы плащ был пурпурным и ярким, а исподнее платье может быть сшито из самой грубой шерсти.

17. Затем — непонятные и странные речения и выражения, лишь изредка употреблявшиеся старинными писателями, собери в кучу, чтобы всегда быть готовым выстрелить ими в своих слушателей. Тогда толпа будет взирать на тебя с изумлением и думать, что ты далеко превосходишь ее образованием, если баню станешь называть купелью, солнце — Ярилом, кунами — деньги и утро — денницей. Иногда же и сам сочиняй новые и неслыханные слова, сам издавай соответственные законы для речи, чтобы тот, кто искусен

в изложении мыслей, именовался благоречивым, человек рассудительный — мудродумом, а плясун — мудро-руким. Если случится сделать ошибку или обмолвиться варварским словом, лечить только одним средством — бесстыдством: пусть будет у тебя всегда наготове имя какого-нибудь несуществующего и никогда не существовавшего поэта или историка, который-де узаконил такой оборот речи, сам будучи мужем мудрым и в безукоризненности языка достигшим высшей ступени. Впрочем, что касается старинных писателей, ты не читай их вовсе — ни болтуна Исократа, ни Демосфена, лишенного всякой прелести, ни холодного Платона, а читай произведения недавнего прошлого и так называемые «упражнения» в искусстве оратора, чтобы, запасшись ими, всегда мог кстати пустить их в дело, будто достав их из кладовой.

18. Когда же придется выступать тебе перед слушателями и присутствующие предложат составить речь такого-то содержания, на такой-то случай, — пусть все трудное превращается у тебя в легкое, представляется пустяками, за которые мужу вообще не стоит браться; а взявшись, говори, ни о чем уже более не заботясь, все, что взбредет в голову и придет на язык, нисколько не думая о том, чтобы первое так и сказать во благовремение первым, второе — следом за ним, а вслед за вторым — третье: нет, что попадаетея первым, то первое и говори, и, словом, если случится, то пусть на челе окажутся поножи, а на ноге вместо поножей — шлем. Знай погоняй, нанизывай одно на другое, только не молчи. И если в Афинах ты будешь говорить о каком-нибудь наглеце, осквернителе брака, то пусть речь идет о событиях в Индии и Экбатанах. При всяком случае должен быть Марафон и храбрец Кинегир, — без них ни одна речь обойтись не может. Пусть всегда у тебя через Афон плывут корабли, а Геллеспонт переходят посуху. Пусть солнце покрывается стрелами мидян, Ксеркс обращается в бегство, Леонид возбуждает изумление всех и пусть прочитывается надпись Отриада. Саламин, и Артемисий, и Платон пусть выступают побольше и почаще. И над всем пусть господствуют и расцветают те несколько аттических слов, о которых я говорил по-аттически такая и повторяя «конечно», хотя бы никакой в них не было надобности, ибо они хороши, даже если в них нет надобности.

19. Когда же, порою, окажется уместным запеть,— пусть все у тебя поется и мелодией льется. Если же когда-нибудь случится испытать недостаток в подходящем для песни предмете,— постарайся наполнить стройной гармонией хотя бы обращение к «гражданам судьям». Почаще взывай «увы!» и «о горе!» и ударяй себя по бедрам, рычи, отхаркивайся, говоря свои речи и виляя на ходу задом. Не захотят слушатели хвалить тебя — ты начинай сердиться и бранить их, а если они подымутся с мест, в смущении, уже готовые направиться к выходу,— вели им сесть. Словом, держи себя со слушателями как настоящий тиран.

20. Для того же, чтобы слушатели дивились обилию твоих знаний, начинай свое слово с троянских дел, или, свидетель тому Зевс, еще лучше, пожалуй,— со свадьбы Девкалиона и Пирры, и потом постепенно спускайся к событиям нынешних дней. Ведь людей, понимающих дело, всегда бывает немного, и, конечно, они будут молчать из благодушия, а если и скажут что-нибудь, то покажутся прочим выступающими так из зависти. Большинство же будет дивиться твоему наряду, голосу, походке, расхаживанию взад и вперед, певучей речи, башмакам и аттическому таканью. Видя, как ты обливаешься потом и задыхаешься, твои слушатели не смогут не поверить, что видят перед собою какого-то чрезвычайно опасного бойца словесных состязаний. Кроме того, самая быстрота речи послужит тебе немалой защитой и вызовет удивление толпы, а потому смотри никогда не пиши свои речи и не задумывайся во время выступлений, так как это явится несомненной уликой против тебя.

21. Твои друзья пусть всегда будут готовы вскочить с мест и уплатить за твои угощения, как только заметят, что ты близок к крушению: они должны протянуть тебе руку помощи и дать возможность, в промежутке, пока будут звучать их похвалы, придумать, о чем говорить дальше; а потому позаботься и об этом, о хоре из своих людей, поющих в один голос с тобою. Так ты должен держать себя во время своих выступлений. По окончании пусть друзья провожают тебя домой как почетная стража, а ты шествуй, завернувшись в свой плащ, скрываясь от толпы и продолжая обсуждать, о чем только что говорил. При встрече с кем-нибудь наговори ему о себе всяких чудес, расхваливай себя сверх меры, надоедай вопросами и возгласами вроде

следующих: «Что в сравнении со мной Пеаниец?» — или: «Я, конечно, мог бы поспорить с любым из старинных ораторов!»

22. Но я чуть не упустил самого главного и необходимого для приобретения славы: надо осмеивать всех, кто выступает с речами. Если кто-нибудь говорит хорошо, утверждай, что это не его слова, а чужие; что он говорит посредственно, — словом, брани решительно все. На выступления других надо являться последним — это производит впечатление, и среди общего молчания вдруг произнести похвалу столь странную, чтобы внимание присутствующих обратилось к ней и было потревожено, чтобы все закачалось под грузом слов и почувствовали тошноту, заткнув себе уши; не часто делай одобрительные жесты рукою: это дешево. Равным образом не поднимайся с места больше, чем один-два раза, но сиди и посмеивайся, показывая тем, что тебе не очень-то нравится произносимая речь. Брань всегда найдет себе доступ к ушам ябедников, и тебе нужно только одно — действовать смелее: будь нагл и бесстыден, имей всегда наготове ложь, пусть клятва шевелится у тебя на губах, всем завидуй, всех ненавидь, пускай в ход злословие и правдоподобную клевету. И тогда ты в короткое время станешь знаменит и взоры всех обратишь на себя. Такова должна быть показная твоя сторона, вне дома.

23. В частной же своей жизни можешь делать все что угодно: играть, пить, развратничать, осквернять браки, или, во всяком случае, хвастаться и всем говорить, будто ты все это проделываешь. Показывай также записочки, полученные, разумеется, от женщин. Да старайся слыть красавцем и позаботься о том, чтобы думали, будто все женщины ищут тебя, так как и это толпа отнесет за счет твоего красноречия, благодаря которому слава твоя проникла и в женские покои. А кстати: не стыдись прослыть, с другой стороны, любовником мужчин, хотя ты бородат и, клянусь Зевсом, даже лыс. Но пусть и для этой цели будут у тебя всегда подходящие люди. Если же не окажется подходящих — можешь обойтись и рабами. И подобные вещи приносят немалую пользу тому, кто хочет быть ритором: они умножают бесстыдство и дерзость. Ты ведь знаешь, как болтливны женщины и сверх меры бранчливы, превосходя в этом искусстве мужчин? Если ты разделишь их участь, ты будешь и в этом иметь пре-

имущество перед другими. Конечно, нужно с помощью смолы вытравить волосы лучше всего на всем теле или, во всяком случае, там, где это надо. И рот твой пусть равно открывается для всякой цели, и язык служит как для произнесения слов, так и для всего прочего, что может он делать; а может язык не только ошибаться, допускать варварские обмолвки, болтать вздор, давать лживые клятвы, бранить, клеветать и обманывать, но и ночью он может совершать еще кое-что, особенно если не хватит тебя для столь многих любовных подвигов. Итак, твой язык должен всему научиться и ни перед чем не останавливаться.

24. Если этому, милый мальчик, ты хорошенько научишься,— а ты можешь это сделать, потому что ничего в этом нет трудного,— я смело обещаю в скором времени сделать из тебя превосходного оратора, такого же, как мы сами. О дальнейшем нет мне нужды говорить тебе, сколько в скором времени ты получишь благ от прекрасной Риторики. Погляди на меня: я родился от человека незнатного и даже не вполне свободного: мой отец был рабом в Египте, близ Ксоида и Тмуиса, а мать — швеей из бедного городского участка. Сам же я, убедившись, что моя красота чего-нибудь да стоит, сначала жил за скудное пропитание с одним жалким и скaredным любовником. Затем я увидел, что эта дорога очень легка, а потому, выйдя из детского возраста и очутившись на вершине, ибо было у меня взято с собою в дорогу — я не хважусь, да пощадит меня Адрастея — все, о чем я говорил раньше: были у меня и дерзость, и невежество, и бесстыдство... так вот, прежде всего я стал называться уже не просто «Желанным», но назван тем же именем, что сыновья Зевса и Леды,— Диоскоридом. Потом я стал жить с одной старухой, наполняя близ нее свой желудок и притворяясь влюбленным в семидесятилетнюю женщину, у которой оставалось всего лишь четыре зуба, да и те держались на золоте. Однако, по бедности моей, я выдержал это испытание, и эти хладные мертвецкие поцелуи голод превращал в сладчайшие. Затем я едва не сделался наследником всего ее достоинства — но один проклятый раб донес ей, будто я покупал для старухи яд.

25. Меня вытолкали в шею: однако и после этого я не испытывал затруднений в необходимом. Напротив, я считаюсь оратором, выступаю в судах — обычно

предая моих доверителей и обещая этим глупцам, что суд будет на их стороне. Я проигрываю большинство дел, но тем не менее пальмовые ветви при входе зеленеют и украшаются венками: я пользуюсь ими как приманкой для жалких дураков. Но немалую службу мне служит и то, что никто меня терпеть не может, что я всюду известен порочностью моего поведения, а еще больше — моих речей, что все указывают на меня пальцем, как на человека, всех превзошедшего во всяких пороках... Вот мой совет тебе; клянусь богиней разврата, я много раньше тот же совет дал себе самому и немалую чувствую к самому себе благодарность!»

26. Но довольно! Пусть этот благодарный муж, произнеся свои наставления, теперь умолкнет. Ты же, если сказанное им тебя убедило, — считай, что ты уже там, куда стремился взойти. Ты без помех сможешь, следуя правилам учителя, одерживать победы в судах, пользоваться славой и любовью толпы. Ты женишься не на какой-нибудь старухе из комедии, как твой наставник и учитель, но на прекраснейшей женщине — Риторике. Так что ты мог бы с гораздо большим правом сказать о самом себе, что ты несешься на знаменитой крылатой колеснице Платона, чем сам Платон, сказавший это про Зевса. Я же — по простоте моей и робости — отойду перед вами в сторону от дороги и откажусь от моего стремления к Риторике, так как не могу принести ей ничего, похожего на ваши дары. Вернее сказать, я уже отказался... А потому без помех возглашайте о вашей победе, пожинайте восторги и только об одном не забудьте: вы одолели нас не потому, что оказались проворнее, но в силу того, что повернули на более легкий и пологий путь.





ПОХВАЛА МУХЕ

1. Муха отнюдь не самая маленькая среди летающих, если сравнить ее с комарами, мошками и прочей крылатой мелочью, которую она настолько превосходит величиной, насколько сама уступает пчеле. И оперена она не так, как другие, у которых все тело покрыто пухом и лишь на крыльях длинные перья: нет, у мухи, как у кузнечиков, стрекоз и пчел, крылья из прозрачной пленки, и, по сравнению с ней, крылья других так же грубы, как греческие одежды против тонких и мягких тканей индийских. К тому же крылья ее расцвечены, как у павлина, если кто внимательно посмотрит на них, когда муха, распростерши крылья, устремляется к солнцу.

2. Полет мухи не похож на непрерывное мелькание перепонок летучих мышей, не похож на подпрыгивание кузнечиков или кружение ос; плавно поворачи-

чивая, стремится муха к некоей цели, намеченной в воздухе. И к тому же летит она не безмолвно, но с песней, однако не с суровой песней комаров, не с тяжелым жужжанием пчел или страшным и угрожающим — ос,— нет, песнь мухи настолько же звонче и слаще, насколько слаще труб и кимвалов медовые флейты.

3. Что же до других частей тела, то голова мухи соединяется с шеей наитончайшей перемычкой, легко поворачивается вокруг, а не срастается с телом, как у кузнечика; глаза у мухи выпуклые, рогообразно выступающие; грудь — прекрасно сложенная, и ноги — прорастающие свободно, без излишней связанности, как у осы. Брюшко — крепко и похоже на панцирь своими широкими поясками и чешуйками. Защищается муха не жалом, как пчелы и осы, но губами и хоботом, таким же, как у слона; им она разыскивает и хватает пищу и удерживает ее, крепко прильнув напоминающим щупальце хоботком. Из него показывается зуб: им-то муха прокусывает кожу, чтобы пить кровь; пьет она и молоко, но сладка ей и кровь, а боль пострадавшего невелика. Шестиногая, ходит муха только на четырех ногах, пользуясь двумя передними как руками. И можно видеть муху, стоящую на четырех и совершенно по-человечески, по-нашему, держащую на весу в руках что-нибудь съестное.

4. Рождается же муха не сразу такой, но сначала червяком из погибших людей или животных. Немного спустя выпускает лапки, отращивает крылья, сменяет пресмыканье на полет; беременеет, рождает маленького червячка — будущую муху. Пребывая с людьми и питаясь их кушаньями, за одним столом, она отвеживает все, кроме масла, ибо пить его для мухи смерть. И все же она недолговечна, ибо очень скупотмерены ей пределы жизни. Потому-то больше всего любит она свет и на свету устраивает свои общественные дела. Ночь же муха проводит мирно, не летает и не поет, но, притаившись, сидит неподвижно.

5. И еще я хочу сказать о немалом ее уме, ибо искусно избегает она злоумышляющего и враждебного к ней паука: она высматривает севшего в засаду и глядит прямо на него, вдруг отклоняя полет, чтобы не попасться в расставленные сети, не опутаться тенетами чудовища. О мужестве и отваге мухи не нам подобает говорить: красноречивейший из поэтов — Гомер — не со львом, не с леопардом и не с вепрем сравнивает отвагу лучшего из героев, желая его похвалить, но

с дерзновением мухи, с неустрашимостью и упорством ее нападения. Ведь именно так он говорит: не дерзка она, но дерзновенна. Ибо, пойманная, говорит поэт, она не сдается, но наносит укусы. И вообще он так восхваляет муху и так восторгается ею, что не один только раз и не редко, но очень часто вспоминает ее: любое упоминание о ней украшает поэму. То рассказывает поэт, как толпами слетаются мухи на молоко, то говорит об Афине, когда отвращает она смертоносную стрелу от Менелая: сравнивая ее с заботливой матерью, укладывающей своего младенца, Гомер сопоставляет с ней все ту же муху. Также прекрасным эпитетом украсил он мух, прозвав «крепкими», а рой их называя «народом».

6. И так сильна муха, что, кусая, прокалывает не только кожу человека, но и быка, и лошади, и даже слону она причиняет боль, забираясь в его морщины и беспокоя его своим, соразмерным по величине, хоботком. В любовных же и брачных сношениях у них большая свобода. Самец, взойдя, не спрыгивает, подобно петуху, тотчас же, но долго мчит на своей подруге, она же несет возлюбленного. Так летят они вместе, и связь эта, заключенная в воздухе, не разрушается полетом. И даже если отрезать голову мухе, тело еще долго живет и сохраняет дыхание.

7. Но сейчас намереваюсь я говорить о самом значительном в ее природе. Кажется, только об одном забыл упомянуть Платон в сочинении о душе и ее бессмертии. А именно — умершая муха, посыпанная пеплом, воскресает; и происходит странное возрождение у нее и заново начинается вторая жизнь. Уж это ли не убедит с несомненностью всех, что душа мух также бессмертна: ведь, удалившись, она вновь возвращается, узнает и поднимает тело и заставляет муху лететь. Не подтверждает ли это рассказ о Гермотиме из Клазомен, будто часто покидавшая его душа блуждала сама по себе и затем, вновь возвращаясь, сразу наполняла его тело и поднимала Гермотима?

8. Свободная, ничем не связанная, пожиная муха труды других, и всегда полны для нее столы. Ибо и козы доятся для нее, и пчелы на нее работают не меньше, чем на человека, и повара для нее улащдают приправы. Прокушает она их раньше царей, а потом, прогуливаясь по столам, муха угощается вместе с ними и вкушает от всех блюд.

9. Муха не создает себе гнезда, но предпочитает, подобно скифам, блуждать, летая, и где бы ни застала

ее ночь, там она находит и пищу и сон. Как я уже сказал, с наступлением темноты муха ничего не предпринимает, находя ниже своего достоинства скрытно что-либо совершать, и считает, что не совершает ничего постыдного, такого, чего не могла бы сделать открыто, при дневном свете.

10. Одно предание рассказывает, что в древние времена жила Муха — прекрасная женщина, говорунья и певица, и были они вместе с Селеной влюблены в одного и того же юношу — Эндимиона. И вот постоянно будила она спящего, дразня, напевая и посмеиваясь над ним, и так надоедала ему, что Селена в гнев превратила женщину вот в эту муху. Потому-то и теперь, вспоминая Эндимиона, она словно завидует сну спящих, особенно молодых и нежных. Укус ее и жажда крови — знак не ненависти, но любви и ласки, ибо стремится она, по возможности, отведать от всего и добыть меда красоты.

11. По уверениям древних, была некая женщина, называвшаяся Мухой, — поэтесса, прекрасная и мудрая, и другая еще — знаменитая в Аттике гетера, о которой комический поэт сказал:

Ну, укусила Муха, так до сердца дрожь.

Веселая комедия также не пренебрегала и не закрывала имени Мухи доступ на сцену. Не стыдились его и родители, Мухой называя своих дочерей. Да и трагедия с великой похвалой вспоминает муху в стихах:

Какой позор! Бесстрашно муха на людей
Стремит полет отважный, жаждет смерти их,
И воины робеют пред копьем врага.

Многое мог бы я рассказать также о Мухе Пифагора, если бы всем не была хорошо известна ее история.

12. Существуют еще и особенно большие мухи, которых многие называют «солдатами», другие же «собаками», с суровейшим жужжанием и быстрейшим полетом. Эти долговечнее других и всю зиму обходятся без пищи, большей частью притаившись под крышей. Удивительно и то, что эти мухи совершают положенное для обоих полов, и женского и мужского, попеременно, выступая по следам сына Гермеса и Афродиты с его смешанной природой и двойственной красотой.

Но я прерываю мою речь, — хотя многое еще мог бы сказать, — чтобы не подумал кто-нибудь, что я, по половице, делаю из мухи слона.



ПИР, ИЛИ ЛАПИФЫ

ФИЛОН И ЛИКИН

1. Ф и л о н. Говорят, Ликин, вы провели время вчера за обедом у Аристенета в тонких и разнообразных удовольствиях: и возвышенная беседа у вас текла, и ссора немалая за ней последовала, а потом — если не врал мне Харин — даже до побоища дошло дело, и в конце концов кровопролитием разрешилась вся эта встреча.

Л и к и н. Откуда же, Филон, мог знать об этом Харин? Он ведь не обедал с нами.

Ф и л о н. Говорил, что от Дионика слышал, от врача. Дионик же, кажется, сам был в числе приглашенных.

Л и к и н. Как же, был. Однако и он был там не с самого начала, а явился позже, почти в середине сражения, незадолго до первых ранений. Поэтому не думаю, чтобы Дионик сумел передать точно, не будучи сам

очевидцем событий, с которых началась распря, закончившаяся кровопролитием.

2. Ф и л о н. Как раз поэтому сам Харин предложил нам,—если мы пожелаем услышать правду о том, как произошло все это,—обратиться к тебе, Ликин. Дионик тоже говорил ему, что сам не был свидетелем всего происшествия, ты же, по словам Харина, в точности знаешь о случившемся. Ты и самое беседу сможешь припомнить, ведь ты не пренебрегаешь подобными речами, но слушаешь их с полным вниманием. Поэтому, надеюсь, ты не замедлишь угостить меня приятнейшим этим угощением, приятнее которого, не знаю, найдется ли для меня другое, тем более что пировать мы будем трезвыми, мирно, без кровопролития, вдали от стрел неприятеля. Скажи: старики, что ли, нарушили своим бесчинством порядок обеда или молодежь, возбужденная неразбавленным вином, стала говорить и делать нечто совсем уже непристойное?

3. Л и к и н. Слишком уж дерзко ты требуешь, Филон, чтобы я подробно рассказал о неприятностях, приключившихся за вином, в опьянении, и вынес их на общий суд, тогда как следовало бы все предать забвению и считать это делом Диониса, бога, который не оставил, пожалуй,—сколько я знаю,—ни одного человека не посвященным в вакхические таинства. Разве не свойственно только дурным людям допытываться о подробностях, которых лучше не выносить с собой, уходя с пирушки? Недаром поэт сказал: «Ненавижу тех, кто помнит, что было на пиру»,—и Дионик неправильно поступил, разболтав обо всем этом Харину и щедро облив помоями почтенных философов. Я же — и не проси! — ни слова не скажу.

4. Ф и л о н. Я вижу, ты ломаешься, Ликин! Хоть передо мною не следовало бы так поступать,—ведь я доподлинно знаю, что тебе самому сильнее хочется рассказать, чем мне тебя выслушать. Мне кажется, не окажись у тебя слушателей, ты с удовольствием подошел бы к первому попавшемуся столбу или к изваянию и все бы перед ними излил единым духом. И право, если я соглашусь оставить тебя в покое, ты сам не дашь мне уйти, пока я не выслушаю тебя, но станешь удерживать, пойдешь провожать и будешь меня упрашивать. Так вот: я тоже в свою очередь начну ломаться перед тобой, и, если тебе так хочется,—мы уйдем

и расспросим об этом другого, а ты не говори, пожалуйста.

Л и к и н. Только не надо сердиться! Я уж расскажу, если так тебе этого хочется, только с условием, чтобы ты не распространял далее.

Ф и л о н. Если я еще не совсем забыл, что за человек — Ликин, то ты сам это лучше сделаешь и не замедлишь рассказать всем, так что во мне и нужды никакой не будет.

5. Вот что скажи мне прежде всего: не по случаю ли женитбы своего сына Зенона угощал вас Аристенет?

Л и к и н. Нет! Напротив, он сам выдавал дочь Клеантиду за изучающего философию сына ростовщика Евкрита.

Ф и л о н. Зевсом клянусь, красавец мальчишка! Нежен он только еще, по правде сказать, и немного зелен для брака.

Л и к и н. Не нашлось, видимо, другого, более подходящего, — а этот и скромненький, как кажется, и философией увлекается, да к тому же единственный сын богача Евкрита, — вот Аристенет и выбрал его из всех прочих.

Ф и л о н. Это, конечно, немаловажная причина — богатство Евкрита!.. Однако, Ликин, кто же присутствовал на обеде?

6. Л и к и н. Стоит ли перечислять всех гостей? Из людей, имеющих отношение к философии и красноречию, — о них, пожалуй, тебе хочется прежде всего услышать, — присутствовали: старик Зенофемид из Стои и с ним Дифил, прозванный Лабиринтом, — учитель сына Аристенета, Зенона; из перипатетиков был Клеодем, — знаешь: болтун, обличитель, «меч» или «нож», как зовут его ученики. Был там и эпикуреец Гермон. Едва он вошел, как тотчас стоики насупились и отвернулись от него, и было очевидно, что они гнушаются им, точно проклятым отцеубийцей. Все они как близкие друзья Аристенета были приглашены на обед, и с ними вместе грамматик Гистией и ритор Дионисодор.

7. А ради Херея, жениха, приглашен был на обед благообразный и, судя по внешнему облику, необычайно скромный человек, платоник Ион, учитель молодого человека, — такой величественный, многие зовут его «отвесом», имея в виду прямоу его мысли.

И когда он вошел, все расступились и встретили его, словно он стоял выше их. Прямо надо сказать, присутствие дивного Иона напоминало посещение пира божеством.

8. Уже пришло время возлечь за стол, ибо почти все гости собрались. Все ложе направо от входа заняли женщины, а было их немало; тут же в окружении этих женщин сидела невеста, вся закутанная покрывалом. Против входа заняло места множество прочих гостей, каждый сообразно достоинству.

9. А против женщин первым поместился Евкрит, рядом с ним Аристенет. Затем возникло сомнение: должен ли раньше лечь стоик Зенофемид, по преклонному возрасту, или Гермон-эпикурец, как жрец Диоскуров и представитель одного из знатнейших семейств в городе. Зенофемид, однако, разрешил эту задачу, заявив: «Аристенет, если ты меня положишь после этого эпикурейца, чтобы не сказать ничего худшего, — я тут же покину твой пир». С этими словами Зенофемид подозвал своего раба и сделал вид, что собирается уходить. Но Гермон сказал: «Получи, Зенофемид, первое место! А только, оставляя в стороне все прочее, ты должен был бы уступить место мне, как жрецу, даже если ты пренебрег Эпикуром».

«Смешон мне, — возразил Зенофемид, — жрец эпикуреца». И, сказав это, он возлег, а после него все-таки лег Гермон; потом перипатетик Клеодем, за ним Ион, ниже него — жених, потом я, подле меня Дифил, ниже Дифила его ученик Зенон, далее ритор Дионисодор и грамматик Гистией.

10. Филон. Ого, Ликин! Да эта пирушка, о которой ты рассказываешь, — просто храм наук, полный ученых мужей. Воистину, я одобряю Аристенета: справляя многожеланный праздник, почел он достойным прежде всего угостить людей мудрейших и, что самое главное, каждой философской школы, — и не так, чтобы одних пригласить, а других нет, но всех вперемишку.

Ликин. Это потому, друг мой, что Аристенет не таков, как большинство богачей: для него просвещение не безразлично, и большую часть жизни он проводит в общении с подобными людьми.

11. Итак, мы угощались первое время в полном спокойствии. Наготовлено было много всякой всячины. Впрочем, я думаю, никакой нет нужды все это пере-

числять: подливки, пирожки, лакомства — всего было вволю.

И вот, я слышу, Клеодем, наклонившись к Иону, сказал: «Посмотри-ка на старика (он имел в виду Зенофемиду). Как он начинается закусками! Плащ у него весь залит похлебкой, а сколько кусков он передает своему рабу, стоящему позади, в уверенности, что никто этого не замечает, и забывая о тех, кто возлежит ниже него. Укажи-ка на это Ликину, чтобы он был свидетелем». Однако мне никакой не было надобности в указаниях Иона, так как я еще задолго до них все это разглядел с моей наблюдательной вышки.

12. В то время как Клеодем говорил, ворвался незванный киник Алкидамант с общеизвестной плоской цитатой: «Менелай без зова явился». Конечно, большинству присутствующих поступок его показался бесстыжим, и они также ответили самыми общеизвестными изречениями, вроде: «Менелай, ты утратил рассудок», или:

Но не по нраву пришлось Агамемнону, сыну Атрея...—

или пробормотали про себя другие подходящие к случаю милые шутки. Открыто же никто не решался говорить, так как все чувствовали страх перед Алкидамантом, этим поистине «доблестным крикуном», способным облатать тебя громче всех киников,— почему он считался лучшим и ужаснейшим среди них.

13. Сам же Аристенет, похвалив Алкидаманта, предложил ему взять первое попавшееся сиденье и сесть подле Гистиея и Дионисодора.

«Поди прочь,— ответил тот,— баба я, что ли, по-твоему, или какой-нибудь неженка, чтобы расположиться в кресле или растянуться на кровати, подобно вам: чуть не брюхом вверх на этих мягких ложах, подостлав под себя пурпурные ткани. А я стоя могу пообедать, прогуливаясь и закусывая. Если же устану,— постелю на пол свой плащ и лягу, опираясь на локоть, как изображают Геракла».

«Пусть будет так,— ответил Аристенет,— если тебе это приятнее». И вот после этого Алкидамант стал ходить взад и вперед вокруг стола и закусывал подобно скифам, переключивая туда, где богаче пастбище, и следуя за слугами, разносившими яства.

14. Однако, насыщаясь, Алкидамант не оставался праздным, но рассуждал о добродетели и пороке и на-

смехался над золотом и серебром. Так, он спросил Аристенета, для чего ему нужны все эти многочисленные и дорогие чаши, когда и горшки могли бы сослужить ту же службу. Он уже явно становился надоедливым, но на этот раз Аристенет заставил его замолчать, кивнув рабу и велев ему подать Алкидаманту добрых размеров кубок, наполненный вином покрепче. Аристенет думал, что нашел прекрасное средство, и не знал, началом скольких бед послужит этот посланный им кубок. Алкидамант взял чашу, некоторое время помолчал, потом бросился на пол и разлегся, полуголый,— как он и грозил сделать,— опершись на локоть и в правой руке держа кубок, в той позе, в какой изображает художник Геракла в пещере Фола.

15. Уже и среди других гостей без отдыха заходила круговая чаша, здравницы начались, завязались беседы, уже были внесены светильники. Между тем я заметил, что приставленный к Клеодему мальчик, красавец виночерпий, улыбается украдкой,— я считаю нужным упомянуть и о менее существенных подробностях пиршества, в особенности о вещах изысканных; и вот я стал внимательно приглядываться, чему же мальчик улыбается. Немного погодя мальчик подошел взять у Клеодема чашу, тот же при этом пожал ему пальчик и вместе с чашей вручил, по-моему, две драхмы. Мальчик на пожатие пальца снова ответил улыбкой, но не заметил, по-видимому, денег, так что не подхваченная им монета со звоном покатилась по полу,— и оба они заметно покраснели. Соседи недоумевали, что это за деньги, так как мальчик говорил, что не ронял их, а Клеодем, возле которого возник этот шум, не показывал вида, что это он их обронил. Итак, перестали беспокоиться и не обратили на это внимания, тем более что никто ничего и не заметил, за исключением, по-моему, одного только Аристенета, который спустя некоторое время переменял прислужника, незаметно отослав первого и дав знак другому, более взрослому, здоровенному погонщику мулов или конюху, стать возле Клеодема. Это происшествие таким образом — худо ли, хорошо ли — миновало, хотя могло повести к великому позору для Клеодема, если бы оно стало известно гостям и не было немедленно замято Аристенетом, который приписал все дело опьянению.

16. Между тем киник Алкидамант, который был уже пьян, узнавши, как зовут выходящую замуж де-

вушку, потребовал общего молчания и, обращаясь в сторону женщин, громогласно заявил: «Пью за твое здоровье, Клеантида, именем Геракла, моего покровителя». Когда же все этому засмеялись, он сказал: «Сметесь вы, отребье, что я пью в честь невесты во имя моего бога, Геракла? Но будьте уверены: если она не примет от меня кубка,— никогда не родится у нее такого сына, как я: мужеством непреклонного, мыслью свободного и телом столь могучего». И с этими словами он обнажился почти до самого бесстыдства. Снова рассмеялись на это пирующие. Алкидамант же, рассерженный, поднялся с полу, бросая злобные, блуждающие взгляды и, очевидно, не собираясь долее поддерживать мир. Возможно, что он тут же опустил бы на кого-нибудь свою дубинку, если бы не внесли, как раз вовремя, огромный сладкий пирог, при взгляде на который он стал более кротким и, отложив гнев, принялся поедать его, двигаясь вслед за блюдом.

17. Большинство присутствующих уже напилось, и пиршественная зала наполнилась криками. Ритор Дионисодор произносил избранные места из своих речей и принимал похвалы стоявших позади него рабов. Лежавший ниже его грамматик Гистией читал стихи, смешивая воедино Пиндара, Гесиода и Анакреонта, так что из всех поэтов у него получалась одна презабавная песнь. Особенно смешно было то, что он как будто предсказал происшедшее вскоре:

Щит со щитом столкнули...

и еще:

Вместе смешались и стоны мужей, и победные крики.

Зенофемид же взял у своего слуги какую-то мелко написанную книгу и принялся читать ее.

18. Когда слуги, подающие кушанья, сделали, как обычно, небольшой перерыв, Аристенет постарался, чтобы и это время не пропало даром и не было лишено для гостей приятности, а потому велел войти скомороху и рассказать или представить что-нибудь забавное, желая еще больше развеселить пирующих. И вот появился безобразный человек, с головой, обритой наголо, так что только на макушке торчало несколько волосков. Он проплясал, всячески кривляясь и ломаясь, чтобы показаться смешнее; потом, отбивая такт, прочел несколько шутливых стихотворений, коверкая

произношение наподобие египтян; наконец стал подсмеиваться над присутствующими.

19. Все гости смеялись, делаясь предметом шутки, когда же скоморох бросил Алкидаманту одну из подобных острот, наименовав его «мальтийской собачкой», — тот рассердился. Впрочем, давно уже видно было, что он завидует успеху шута, приворожившего пирующих; итак, Алкидамант сбросил с себя плащ и стал вызывать насмешника биться с ним на кулаках, в случае же отказа грозил прибить его своей дубинкой. И вот злополучный Сатирион, — так звали скомороха, — став в позицию, начал биться. Прелюбопытнейшее это было зрелище: философ, поднявшийся на скомороха и то наносящий удары, то в свой черед получающий их. Из присутствовавших одни краснели от стыда, другие смеялись, пока наконец избиваемый противником Алкидамант не отказался от состязания, оказавшись побежденным хорошо вышколенным человеком. Насмешек, конечно, сыпалось на них со всех сторон немало.

20. К этому-то времени и подошел врач Дионик, немного спустя после состязания. А замешкался он, как сам говорил, пользуя флейтиста Полипрепонта, больного горячкой. Об этом Дионик рассказал кое-что забавное. По его словам, он вошел к флейтисту, еще не зная, что недуг уже овладел им; тот же, быстро встав с постели, запер дверь и, вытащив нож, передал Дионику свои флейты, приказывая играть. Потом, когда Дионик обнаружил свое неумение, больной стал бить его по ладоням ремнем, который держал в руке. В столь великой опасности Дионик наконец придумал следующее: он вызвал флейтиста на состязание на такое-то количество ударов и первым сыграл сам, — конечно, никуда не годно, — после же, передав флейты больному, взял от него плетку и нож и выбросил их тотчас же через окно — наружу, во двор. Затем, уже в большей безопасности, он схватился с флейтистом, созывая на помощь соседей, которые спасли его, выломав двери. Показывал он и следы ударов, и несколько царапин на лице. Затем Дионик, рассказ которого имел не меньший успех, чем шутки скомороха, приткнувшись к столу подле Гистиея, стал угощаться тем, что еще осталось.

Конечно, не иначе как божество какое-нибудь привело к нам этого человека, который оказался очень полезен спустя некоторое время.

21. А именно: на середину залы вышел раб, говоря, что явился от Гетемокла-стоика; в руках у него было письмо, и он заявил, что господин его велел ему прочесть это письмо среди собравшихся во всеуслышание и тотчас возвращаться домой. Получив дозволение Аристенета, раб подошел к светильнику и начал читать.

Филон. Что же это было, Ликин? Похвальное слово в честь невесты или поздравительное стихотворение к свадьбе, одно из тех, какие пишутся обычно?

Ликин. И мы, разумеется, подумали то же самое; однако там не было ничего похожего. Письмо гласило:

22. «Гетемокл-философ — Аристенету. Каково мое отношение ко всяким обедам, тому вся моя праведная жизнь могла бы явиться свидетельством, ибо, ежедневно докучаемый приглашениями многих, гораздо превосходящих тебя богатством, я все же никогда не стремился этим приглашениям следовать, зная, сколько шума и бесчинств происходит на попойках. Лишь на тебя одного, полагаю, справедливо мне будет обидеться за то, что, столь долгое время обильно мной ублажаемый, ты не почел нужным включить меня в число прочих твоих друзей — лишь я оказался обездоленным, хотя и живу с тобой по соседству. Итак, я печалюсь всего более о тебе, оказавшемся столь неблагоприятным: ибо для меня счастье — не в куске жареного кабана или зайца, не в ломте пирога, — всего этого я и у других, понимающих приличия, вволю могу отвеждать. Вот и сегодня я имел возможность отобедать на роскошном, как сказывают, обеде у моего ученика Паммена, но, невзирая на мольбы его, отклонил приглашение, по глупости моей для твоего дома себя приберегая.

23. Ты же, пренебрегши нами, других угощаешь. Впрочем, это понятно: ты ведь не умеешь еще различать лучшее и не обладаешь способностью постигать сущность вещей. Но я знаю, откуда все это идет: от твоих достойных философов, Зенофемида и Лабиринта, уста которых — да минует меня кара Адрастеи — я мог бы, кажется, сразу заградить одним силлогизмом. Пусть-ка определит кто-нибудь из них, что есть философия? Или хотя бы вот это, первое попавшееся: чем

отличается свойство от состояния? Я уже и говорить не хочу о каких-нибудь трудных вопросах вроде «рогов», «кучи» или «жнеца». Но можешь наслаждаться этим обществом, я же, почитая благом одно лишь прекрасное, легко перенесу бесчестие.

24. А чтобы ты не мог потом прибегнуть к оправданию, будто в такой суматохе и хлопотах ты просто забыл обо мне, я сегодня дважды тебя приветствовал: и утром перед домом, и позднее, когда ты приносил жертву в храме Диоскуров. Это все я сказал в свою защиту в присутствии всех гостей.

25. Если же тебе кажется, что я за самый обед сержусь на тебя,— вспомни рассказ об Оинее: ты увидишь, что и Артемида разгневалась, когда ее одну обошел он, совершая жертвоприношение и потчуя прочих богов. Вот как говорит об этом Гомер:

Духом равно ослеплен, позабыл ли он иль не подумал.

И Еврипид:

Страна та — Калидон. Пелоповой земли
Напротив — тучные раскинулись поля.

Также и Софокл говорит об Оинее:

Чудовищного вепря на его поля
Наслала дочь Латоны, дальновержица.

26. Это я привел немногие из многих аргументов, чтобы ты уразумел, каким пренебрег ты мужем, предпочтя угощать Дифила и даже собственного сына ему поручив. Не удивительно: учитель приятен юноше и сам от общения с ним получает удовольствие. Если бы мне не было стыдно говорить о подобных вещах, я бы еще кое-что мог присовокупить, в справедливости чего, если пожелаешь, ты сможешь убедиться, расспросив дядьку Зопира. Но не подобает смущать свадебного веселия и говорить худое о других людях,— в особенности обвиняя их в столь постыдных деяниях. И хотя Дифил заслужил того, сманив у меня уже двух учеников,— но я... я во имя самой философии буду молчать.

27. Я, между прочим, приказал моему рабу,— даже если ты станешь давать ему для меня кусок свинины, или оленины, или кунжутного пирога, желая загладить свою вину и возместить обед,— ничего не брать, чтобы не подумали люди, будто я за этим и посылал его».

28. Пока читалось это письмо, дружище, я весь обливался потом от стыда и воистину хотел, по известной поговорке, чтобы расступилась подо мной земля, особенно когда я видел, как ухмыляются при каждом слове присутствующие, и больше всего те, кто лично знал Гетемокла, седовласого и почтенного с виду человека. И дивились, конечно, как это они могли не заметить, что он, собственно, представляет собой, обманутые его длинной бородой и строгим выражением лица. Мне казалось, что Аристенет не по небрежности обошел его, но был уверен, что тот, получив приглашение, никогда не согласится прийти на подобное пиршество — а потому не счел нужным и пытаться начинать это дело.

29. Итак, когда раб наконец окончил чтение, взоры всего стола обратились на Зенона и Дифила. Испуганные, побледневшие, они смущенным видом своим подтверждали справедливость Гетемоклова обвинения. Сам Аристенет был встревожен и полон смятения, но тем не менее пригласил нас пить и пытался сделать вид, будто ничего не произошло: он улыбался и отослал раба, сказав, что примет все написанное во внимание. Немного погодя и Зенон незаметно встал из-за стола, так как дядька — очевидно, по приказанию отца — кивнул ему, чтобы он вышел.

30. Между тем Клеодем давно уже искал какого-нибудь повода, желая сцепиться со стоиками, и просто лопнуть готов был, не находя благовидного предлога для начала схватки. Теперь, когда письмо доставило желанный случай, он произнес: «Вот оно, до конца доведенное учение великолепного Хрисиппа, и дивного Зенона, и Клеанфа: у них только жалкие изречения, да вопросы, да наружность философов, а в остальном большинство из них — Гетемоклы! Посмотрите, что за достойное старца послание, и это заключительное сравнение: Оиней — Аристенет, а Гетемокл — Артемида! Геракл! Какие все добрые и приличествующие празднику речи!»

31. «Видит Зевс! — заметил лежавший рядом Гермон, — дело, по-моему, ясно: до него дошел слух, что у Аристенета к обеду свинья приготовлена, вот он и решил, что будет уместно вспомнить о калидонском ведре... Ну, во имя Гестии, Аристенет, пошли ему поскорее первый кусок, да не успеет старец от голода исчахнуть, подобно Мелеагру! А впрочем, пожалуй,

ничего страшного для него в этом не будет: ведь Хрисипп считал все подобные вещи «безразличными»!

32. «О Хрисиппе, стало быть, вы вспомнили,— воскликнул Зенофемид, сбросивши свою спячку и принимаясь кричать во все горло:— Неужто же по одному человеку, незаконно именуящему себя философом, по этому морочающему людей Гетемоклу вы судите о мудрых мужах, Клеанфе и Зеноне? Да вы-то сами кто такие, чтобы говорить подобные речи. Разве ты, Гермон, не обстриг уже кудри из золота со статуи Диоскуров? Ты еще дашь в этом ответ, попав в руки палача! А ты, Клеодем, прелюбодействовал с женой Сострата, твоего ученика, и, будучи пойман, претерпел великий срам. Так не лучше ли вам помалкивать, если за собой такие дела знаете?»— «Я не свожу зато, как ты, собственную жену с ее любовниками,— возразил Клеодем.— Я не брал у приезжего ученика на сохранение отложенные им для дороги деньги и не клялся затем Афиной, покровительницей города, будто ничего от него не получал. Я не даю ссуд по четыре драхмы в месяц. Я не беру за горло моих учеников, если они вовремя не отдадут мне плату!»

«Но этого,— отвечал Зенофемид,— ты уже, наверно, не будешь отрицать: разве не ты продал Критону яд, предназначенный для его отца?»

33. Сказавши это, он схватил чашу, из которой как раз пил, и все, что еще оставалось в ней,— приблизительно около половины,— выплеснул на обоих своих противников. По соседству отведал этого угощения также Ион, и, впрочем, не совсем незаслуженно. Гермон, наклонившись, принялся стирать с головы неразбавленное вино и призывал всех присутствующих в свидетели нанесенного ему оскорбления. Клеодем же, за неимением чаши, обернулся и плюнул в Зенофемиду, потом левой рукой схватил его за бороду и намеревался ударить в висок. Конечно, он убил бы старика, если бы Аристенет не удержал его руку и, перешагнув через Зенофемиду, не лег между ними, чтобы, разделив их собственным телом, как стеною, заставить сохранить мир.

34. Пока все это происходило, я думал о том, что пришло бы в голову всякому: видно, нет никакой пользы для человека стать искушенным в науках, если он и жизнь свою не переделает по лучшим правилам. В самом деле, я видел, как эти слишком большие зна-

токи всяческих слов на деле оказывались достойными осмеяния. Затем мне пришло в голову: уж не справедливо ли говорят люди, что тех, кто напряженно всматривается в одни только книги и углубляется в содержащиеся в них рассуждения, образование уводит прочь от правильных мыслей. И верно. Сколько на пире присутствовало философов, и хоть бы случайно среди них оказался один, свободный от пороков! Нет, одни поступали постыдно, другие — говорили еще постыдней того. Ибо даже на вино я не мог более возлагать ответственность за происходившее, принимая в соображение то, что написал Гетемокл, не успевший еще поестъ и напиться.

35. Итак, все пошло наыворот: оказалось, что обыкновенные гости пиروвали весьма благопристойно, не бесчинствуя, не творя безобразий, а только смеялись и порицали, я думаю, тех самых людей, которым прежде дивились, считая их, по внешнему виду, чем-то особенным. Мудрецы же держали себя необузданно, бранились, объедались сверх всякой меры, кричали и лезли в драку. А изумительный Алкидамант даже помочился посреди комнаты, не стыдясь женщин. И мне казалось, что правильнее всего было сравнить происходившее на этой попойке с тем, что поэты рассказывают о богине раздора Эриде. А именно: не приглашенная на свадьбу Пелея Эрида бросила пировавшим яблоко, от которого и возникла столь долгая война под Илионом. Так точно, казалось мне, и Гетемокл, бросив гостям свое письмо, словно яблоко, произвел беды, не меньше тех, о которых повествует «Илиада».

36. Дело в том, что спор Зенофемиды с Клеодемом не утих после того, как между обоими противниками очутился Аристенет. Напротив, Клеодем продолжал: «Сейчас довольно с меня, если я изобличу ваше невежество, а завтра я расправлюсь с вами как следует. Итак, отвечай мне, Зенофемид,—или ты сам, или скромнейший Дифил: почему это, причисляя приобретение денег к «безразличному», вы всего сильнее стремитесь именно к тому, чтобы стяжать как можно больше, и ради этого постоянно держитесь поближе к богачам и даете ссуды, взимаете проценты и преподаете за плату. Или вот тоже: наслаждение вы ненавидите и эпикурейцев порицаете, а сами ради наслаждения совершаете постыдные поступки и готовы подвергнуться позору, и негодуете, если вас не пригласят на обед. Ес-

ли же позовут вас,— так вы столько едите, столько вашим слугам передаете!» И при этих словах он попытался вырвать платок, бывший в руках у раба Зенофемиды и наполненный кусками всяких мясных кушаний. Клеодем собирался развязать узелки и все содержимое раскидать по полу, но раб не выпустил платка, изо всех сил прижимая его к себе.

37. Тут воскликнул Гермон: «Верно, Клеодем, верно! Пускай они скажут, чего ради поносят наслаждение, если сами желают наслаждаться куда больше всех прочих людей?»

«Нет, не я — ты скажи, Клеодем,— возражал Зенофемид,— на каком основании ты не безразличным считаешь богатство?»

«Нет, сам скажи».

И надолго пошел такой разговор, пока наконец Ион не выглянул из-за спорщиков и не произнес:

«Перестаньте! А я, если угодно вам всем, предложу предмет для беседы, достойной почтенного праздника. Вы же, не ссорясь, станете говорить и слушать, чтобы, как у нашего учителя Платона, время протекало большею частью в беседах».

Все присутствующие одобрили предложение, а больше всех Аристенет и Евкрит, надеявшиеся покончить таким образом с неприятностями. Аристенет даже на свое место обратно перешел, полагая, что мир водворился.

38. В это самое время подали нам так называемый «завершающий обед» — каждому целая курица, кусок свинины, заяц, жареная рыба, кунжутные пирожки и еще что-то на закуску. Все это разрешалось унести с собою домой. Однако поставлено было не отдельно перед каждым гостем блюдо; Аристенету и Евкриту, возлежавшим за одним столом, подали одно на двоих, причем каждый должен был брать обращенную к нему половину. Подобным же образом общее блюдо досталось стойку Зенофемиду и эпикурейцу Гермону; далее по порядку: Клеодему с Ионом, жениху со мной, Дифилу же досталась двойная доля, так как Зенона уже за столом не было. Запомни, пожалуйста, эти пары, Филон, потому что нам это еще понадобится.

Ф и л о н. Запомню, запомню.

39. Л и к и н. Выступил Ион. «Итак, я первый начинаю, если вам угодно,— заявил он и, помолчав немного, продолжал: — Быть может, надлежало бы в при-

сутствии таких мужей повести речь об идеях, о бестелесных существах, о бессмертии душ, но, чтобы не встретить возражений со стороны тех, кто держится иных взглядов, скажу приличествующее слово о браке.

Пожалуй, всего лучше было бы вовсе не искать браков, но, следуя Платону и Сократу, любить отроков. Ибо такие люди одни лишь могли бы достигнуть совершенной добродетели. Если же необходимо все-таки сочетаться с женщинами, то надлежало бы нам, по учению Платона, иметь общих жен, да пребудем свободными от зависти».

40. Общий смех был ответом на эту не к месту сказанную речь. Дионисодор же закричал: «Довольно тебе услаждать нас своей варварской речью. Где, у какого писателя найдем мы в этом смысле употребленное слово «зависть» вместо «ревность»?»

«Как, и ты заговорил, негодник?» — ответил Ион. Дионисодор, кажется, со своей стороны, ответил бранью. Тогда вмешался достойнейший Гистией, грамматик, и сказал: «Будет вам! Вот я сейчас прочту свадебное стихотворение».

41. И он приступил к чтению. Вот они, — если я не забыл еще, — эти элегические дистихи.

Сколь хороша Клеантида, возвращенная Аристенетом
В пышных чертогах его, — дева красы неземной,
Коей она превзошла всех прочих дев во вселенной:
Краше Елены она и Кифереи самой.
Также тебе, о жених, привет: ты всех затмевашь,
Краше ты, чем Нирей или Фетиды дитя,
Мы же, свадебный гимн сложив в честь вашего брака,
Вас обоих не раз будем еще воспевать.

42. Смехом, разумеется, были встречены эти стихи... Между тем пора уже было разобрать предложенные угощения. Итак, Аристенет и Евкрит взяли каждый нарезанную для него часть, взял и я свое, и Херей то, что было ему положено. Подобным же образом поделились Ион с Клеодемом. Но Дифил настойчиво хотел забрать и предназначавшееся уже удалившемуся Зенону: он уверял, что это все положено для него одного, и со слугами вступил в сражение; ухватившись за курицу, они тащили ее каждый к себе, словно труп Патрокла, вырывая друг у друга; наконец Дифил был побежден и выпустил птицу, возбудив в гостях гром-

кий смех, потому что негодовал так, будто подвергся тягчайшей несправедливости!

43. Еще одна пара оставалась: Гермон и Зенофемид, возлежавшие, как я говорил, рядом: повыше — Зенофемид, а Гермон — пониже. Все прочее было положено обоим одинаковое, и они поделились мирно. Только курица перед Гермоном оказалась пожирнее, — это вышло, я полагаю, случайно. Нужно было взять каждому свою курицу. Вот тут-то Зенофемид, — напряги все свое внимание, Филон, ибо приближаемся мы к главнейшим событиям, — итак, Зенофемид, говорю я, лежавшую перед ним птицу не тронул, а схватил ту, что лежала перед Гермоном, более, как уже сказал я, откормленную. Но тот, со своей стороны, ухватился за нее, не желая отдавать своего. С криком скатившись на пол, оба принялись бить друг друга по лицу этими самыми курами и, вцепившись друг другу в бороды, призывали на помощь: Гермон — Клеодема, а Зенофемид — Алкидаманта и Дифила. И вот одни из философов стали на сторону первого, другие — на сторону второго, и только Ион осторожно занимал среднее положение.

44. А противники, сплетаясь в клубок, продолжали сражение. Зенофемид схватил со стола кубок, стоявший перед Аристенетом, и пустил им в Гермона.

Но не попало в того, стороной пролетело оружие

и раскроило жениху череп надвое, так что получилась знатная и глубокая рана. Тут подняли крик женщины, многие из них, повскакав с мест, кинулись в середину между сражавшимися, и прежде всех мать юноши, когда она увидела его кровь. И невеста бросилась к нему в страхе за его жизнь. Среди этого смятения Алкидамант явил свою доблесть: сражаясь на стороне Зенофемиды, ударом дубинки он сокрушил Клеодему череп, а Гермону челюсть, а нескольких рабов, пытавшихся помочь им, изранил. Однако те не собирались отступить; напротив, Клеодем выколол пальцем глаз Зенофемиду и, впившись зубами, откусил ему нос; а Дифила, прибывшего на выручку Зенофемиду, Гермон, стоя на ложе, ударил по голове.

45. Ранен был также и Гистией, грамматик, пытавшийся разнять дерущихся и получивший удар ногою в зубы, по-видимому, от Клеодемы, принявшего его за

Дифила. Бедняга лежал и, говоря словами любимого им Гомера,

Кровью блевал...

Вдобавок всюду было смятение и слезы. Женщины причитали, окружив Херея, мужчины же пытались успокоить дерущихся. Величайшим злом был Алкидамант: он всех разом обращал в бегство, избивая кого попало. И многие, будь уверен, пали бы его жертвами, не сломай он своей дубинки. Я же стоял, прижавшись к стене, смотрел и не вмешивался, наученный опытом Гистиея, как опасно разнимать подобные побоища. Можно было подумать, что видишь перед собой лапифов и кентавров: столы были опрокинуты, кровь струилась и кубки летали по воздуху.

46. В конце концов Алкидамант опрокинул светильник, все погрузилось во мрак, и положение, естественно, сделалось еще более тяжелым: новый огонь достали с трудом, и много подвигов было совершено в темноте. Когда же наконец кто-то принес светильник, то Алкидамант был захвачен на том, что, раздев флейтистку, старался насильно сочетаться с ней; Дионисодор же уличен был в совсем забавном деянии: когда он встал на ноги, у него из-за пазухи выпала чаша. Оправдываясь, он заявил, будто Ион поднял кубок во время суматохи и передал ему, чтобы не сломался; Ион тоже утверждал, что сделал это из заботливости.

47. На этом и разошлись гости, в конце обратившись от слез снова к смеху над Алкидамантом, Дионисодором и Ионом. Раненых унесли на носилках. Они чувствовали себя очень плохо, в особенности старик Зенофемид, который одной рукой держался за нос, другой — за глаз. Он кричал, что погибает от боли, и даже Гермон, несмотря на свое бедственное положение — два зуба у него были выбиты, — выступил против него, заметив: «Запомни все-таки, Зенофемид, что не «безразличным» ты считаешь сегодня страдание». И жених, после того как Дионик ухаживал его рану, был увезен домой с повязками на голове, положенный на ту самую повозку, на которой он собирался увезти свою невесту. Горькую, несчастный, отпраздновал он свадьбу! И другим Дионик также, конечно, оказал сильную помощь, после чего их отнесли домой спать; многих из них рвало по дороге. Только Алкидамант

остался, ибо никто уже не в силах был сдвинуть с места этого героя, после того как он свалился поперек лежа и заснул.

48. Таков-то, любезный Филон, оказался конец этого пира. Или, пожалуй, лучше будет прибавить еще эти слова из трагедии:

Много странных даров посылает судьба,
И много неожиданного боги вершат.
А то, что мнилось, то не сбылось.

Ибо воистину непредвиденный исход имел и наш пир. Одно только я понял: что не безопасно человеку, не бывавшему в подобных переделках, обедать вместе со столь учеными людьми!





**О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ
С ИЗЛИШНЕЙ ДОВЕРЧИВОСТЬЮ К КЛЕВЕТЕ**

1. Ужасно — неведение: оно многих бед человеческих является причиной, словно мраком каким-то заливая события и правду затемняя, и жизнь каждого человека скрывая. Поистине, блуждающим в темноте все мы подобны и даже более того слепцов напоминаем нашим жалким положением: на одно мы наталкиваемся бессмысленно, другое минуем без всякой нужды, не видя того, что близко, под ногами, и пугаясь далекого, отделенного большими пространствами, как будто оно чем-то нам угрожает.

В целом, что бы мы ни делали, мы всегда имеем достаточно много поводов поскользнуться и упасть. Поэтому уже десятки тысяч раз именно в этом находили составители трагедий отправные точки для своих произведений о Лабдакидах, Пелопидах и тому подобном.

Ибо во главе хора бедствий, выступающих на сцене, ты почти всегда увидишь Невежество, словно некоего демона трагедии. Говоря «невежество», я имею в виду и другие его проявления, но главным образом то, что создается лживой клеветой близких и друзей. Клеветой многие уже роды истреблены, города с землей сравнены, отец в безумии восстает на сына, брат на брата родного, дети на родителей и любовники друг на друга. Много дружеских связей расторгнуто, много домов обращено в развалины — доверием к клевете.

2. И вот, чтобы как можно реже мы впадали в такие ошибки, я намерен показать в моем слове, будто на некоторой картине, что такое клевета, откуда она берет начало и каковы дела ее.

Впрочем, Апеллес из Эфеса давно уже предвосхитил это изображение: ибо и этот художник был оклеветан перед Птолемеем как сообщник Феодота в тирском заговоре, тогда как Апеллес Тира никогда не видал и Феодота не знал, кто это такой, — разве только от самого Птолемея слышал, что есть такой правитель, которому поручены дела Финикии. И все же один из его сторонников, по имени Антифил, ненавидевший его за почести, которые оказывал ему царь, и завидуя его мастерству, оговорил Апеллеса перед Птолемеем, будто он был во всем этом деле соучастником и будто кто-то видел его в Финикии за столом у Феодота, причем во все время обеда он что-то нашептывал Феодоту на ухо. В конце концов клеветник объявил, что восстание Тира и захват Пелусия совершились по совету Апеллеса.

3. Птолемей, который и вообще-то был человеком не великого ума и вырос среди лести, окружающей властителей, до того был распален и встревожен этой нелепой клеветой, что не принял в соображение никаких самых естественных доводов — ни того, что клеветник был соперником Апеллеса, ни того, что живописец был слишком маленьким человеком для такого предательства и притом был обласкан им и отличен почестями перед всеми братьями по искусству; и, даже вовсе не справившись, ездил ли Апеллес когда-нибудь в Тир, Птолемей изволил немедленно разгневаться, криком наполнил царские покои и во все горло величал Апеллеса и неблагодарным, и коварным, и заговорщиком. И если бы один из схваченных по этому де-

лу, возмущившись бесстыдством Антифила и пожалев несчастного Апеллеса, не заявил, что у них ничего не было общего с этим человеком, художнику отрубили бы голову и он погиб бы заодно с другими, сам будучи совершенно неповинным в приключившихся в Тире бедствиях.

4. Так вот, Птолемей, говорят, был настолько пристыжен случившимся, что одарил Апеллеса сотней талантов, а Антифила отдал ему в рабы. Апеллес же, не в силах забыть пережитую опасность, отомстил клевете вот какой картиной.

5. Направо от зрителя сидит мужчина с огромными ушами, почти как у Мидаса, и еще издала протягивает руку приближающейся Клевете. Подле него стоят две женщины: одна, по-моему, — Невежество, другая — Легковерие. С противоположной стороны подходит Клевета, бабенка красоты необыкновенной, но чем-то разгоряченная и возбужденная: весь ее вид выражает ярость и гнев; левой рукой она держит пылающий факел, а правой влечет за волосы некоего юношу, который простирает руки к небу, призывая богов в свидетели. Впереди идет мужчина, бледный и безобразный, с пронзительным взглядом, кожа да кости, как после долгой болезни. Это, по-видимому, — Зависть. Кроме того, еще две женщины сопутствуют Клевете, всячески ее поощряя, наряжая и украшая. Проводник, разъяснявший мне картину, сказал, что одна из этих женщин изображает Коварство, другая — Ложь. Занависалось это шествие еще одной женщиной, в очень скорбном уборе, в черных растерзанных одеждах; она, думается мне, означала Раскаянье. Обернувшись назад, вся в слезах, она с крайне пристыженным видом глядела украдкой на приближающуюся Истину. Так повторил Апеллес в своей картине опасность, которую пережил.

6. Попытаемся и мы приемами эфесского живописца провести перед слушателями черты, присущие клевете, предварительно, конечно, как бы очертив ее образ некоторым определением; ибо таким образом, пожалуй, вся картина станет у нас отчетливее. Итак: «клевета есть некое обвинение, возводимое заочно, втайне от обвиняемого, и принимаемое на веру, со слов одной стороны, без возражений другой». Таков предмет нашего рассуждения. И поскольку в этом случае, как в комедии, имеется три действующих лица:

клеветник, оклеветанный и тот, перед кем клевета совершается,— постольку мы рассмотрим в отдельности, что естественным образом совершается с каждым из них.

7. Первым, разумеется, если не будет возражений, мы выведем главного актера комедии, то есть создателя клеветы. Что это — не добрый человек, всем, я полагаю, понятно. Иначе он никогда не сделался бы виновником бедствий для своего ближнего. Нет, людям честным свойственно пользоваться доброй славой и слыть благомыслящими на основе того, что сами они делают хорошего для своих друзей, а не того, в чем они неправдиво обвиняют других, возбуждая против них ненависть.

8. Далее: легко понять, что клеветник — несправедлив, незаконен, нечестив и опасен для тех, кто с ним имеет дело. Действительно, кто не согласится, что соблюдение полного равенства — без стремления к какому бы то ни было преимуществу — составляет достоинство справедливости. А разве тот, кто пускает в ход клевету против отсутствующих, не своекорыстен, когда он целиком присваивает себе слушателя, овладевает заранее его ушами и, преграждая к ним все пути, делает их совершенно недоступными для всякого последующего слова, поскольку они уже вперед заполнены клеветой? Это — проявление крайнего беззакония. Так сказали бы и лучшие из законодателей, Солон, например, или Дракон, заставившие судей приносить клятву в том, что они будут одинаково прислушиваться к обеим сторонам и равно благожелательно относиться к тяжущимся, пока доводы одного, сопоставленные с доводами другого, не окажутся слабее или сильнее. Они считали, что до разбора оснований, выдвигаемых защитой против обвинения, приговор будет делом преступным и нечестным. Да, мы можем сказать, что сами боги вознегодовали бы, если бы мы предоставляли обвинителю возможность безбоязненно говорить, что ему захочется, и, заградив уши или уста обвиняемому, стали бы выносить решение, подчинившись словам того, кто говорил первым. Таким образом всякий признает, что клевета возникает не по правде, не по закону, не согласно судейской клятве. Если же кому-нибудь кажутся не заслуживающими доверия законодатели, требующие таких справедливых и нелицеприятных решений, то я решаюсь сослаться в под-

тверждение моих слов на замечательного поэта, у которого мы находим по этому вопросу превосходное высказывание, скорее даже закон. Он говорит:

Суд, не суди, пока тот и другой свое слово не скажут.

И поэт понимал, очевидно, что при множестве совершающихся в жизни несправедливостей — не сыскать другой, худшей и незаконнейшей, чем осуждение кого-нибудь без разбора дела, без предоставления слова обвиняемому. Но как раз это и старается всячески сделать клеветник, без разбирательства подводя оклеветанного под гнев того, кто внимает клевете, и отнимая возможность защиты скрытностью обвинения.

9. Всякий клеветник труслив и на язык и на дела, никогда не действует открыто, но, подобно сидящим в засаде, незаметно пускает откуда-то стрелу, так что невозможно ни силы свои против него выстроить, ни вступить с ним в сражение, но приходится погибать от недостатка осведомленности и незнания с врагом, — все это является важнейшим признаком того, что в речах клеветников нет ни одного здорового слова. Ибо человек, который сам сознал справедливость выставляемых им обвинений, будет обличать противника, я уверен в том, прямо в лицо и потребует от него отчета и разберет его доводы в своем ответном слове, совершенно так же, как всякий, имеющий возможность одержать победу в открытом бою, ни за что не сядет в засаду и не пустит против врагов в дело обман.

10. Клеветников ты скорее всего встретишь при дворах царей среди пользующихся почетом друзей какого-нибудь правителя или тирана — там, где царят великая зависть и бесчисленные подозрения, где имеются всяческие предлоги для лести и клеветы. Ведь где надежды значительнее, там всегда и зависть губительнее, и ненависть опаснее, и ревность коварнее. И потому все здесь смотрят друг на друга исподлобья и, будто в каком-то единоборстве, так и выслеживают, не проглянет ли где-нибудь кусочек незащищенного тела. Каждый хочет сам сделаться первым и потому проталкивается вперед, отстраняя локтем соседа, а впереди стоящего, если может, отталкивает и подставляет ему ногу. Честного человека здесь тотчас же попросту опрокидывают, волокут прочь и в конце концов с бес-

честью выталкивают, а кто польстивей, кто умеет увлекательнее говорить коварные речи — тот пользуется доброй славой, и вообще кто раньше поспел, тот и достигает власти. Ибо вполне оправдываются слова Гомера о том, что

Равен для всех без изъятия Арей и сражает сразивших.

Итак, поскольку не о малом ведется спор, клеветники изобретают самые различные пути, желая погубить друг друга; из них самый короткий и верный путь, чтобы свалить противника с ног, — клевета. Путь этот начинается с зависти или ненависти, соединенной с надеждами на выгоду, и ведет к самым печальным и мрачным последствиям, полным до отказа всякими бедами.

11. Однако не легкое дело — клевета, и не простое, как можно было бы предположить, но требует большого искусства, немалой сообразительности и безукоризненного, так сказать, выполнения: потому что не приносила бы клевета такого значительного вреда, если бы она не возникала как нечто правдоподобное, и не осиливала бы она всемогущую правду, если бы клевета не являлась выслушивающим ее как нечто заманчивое, правдоподобное и привлекательное во многих других отношениях.

12. Итак, оклеветанию подвергается по большей части человек уважаемый и в силу этого возбуждающий зависть в тех, кто от него отстал: все мечут в него свои стрелы, как бы провидя в нем некую помеху и препятствие, и каждый уверен, что он сам станет первым, если после долгой осады изгонит этого главного противника и устранил его из числа друзей власть имущих. Нечто подобное совершается и на гимнастических состязаниях среди скороходов. Ибо и здесь хороший бегун, едва только упадет сдерживающая участников бега веревка, стремится только вперед, все помыслы напрягает, чтобы достигнуть цели, и, в гадании победы полагаясь на собственные ноги, не питает коварных замыслов против соседа и нимало не беспокоится о прочих участниках бега; напротив, его злобный, негодный к борьбе соперник, отчаявшись достигнуть желаемого быстротой ног, обращается к коварным ухищрениям, только одно и высматривает, как бы задержать бегущего противника, помешать ему и таким образом вывести из строя, так как, если это

ему не удастся, он никогда не сможет выйти победителем. Нечто подобное этому происходит и среди друзей высокопоставленных людей: выдвинувшийся вперед тотчас же становится предметом злодейских умыслов; окруженный врагами, он по неосторожности попадает им в руки и гибнет, а те приобретают любовь господина и считаются друзьями его за то, что сумели причинить вред другим.

13. Но, чтобы клевета имела правдоподобный вид, не годится первая попавшаяся выдумка. В этом-то и заключается для клеветника главная трудность его дела, поскольку он боится добавить к своей выдумке что-нибудь с ней плохо вяжущееся и прямо ей противоречащее. Поэтому большею частью клеветник берет то, что действительно присуще предмету его нападения, и превращает в нечто дурное; таким образом создаются не лишённые правдоподобия обвинения. Например, врач обращается клеветником в отравителя, богач — в стремящегося к тирании, а сторонник тирани — в предателя.

14. Иной раз, однако, внемлющий клевете и сам дает поводы для ее возникновения, так что злодеи просто подлаживаются под его нрав и попадают в цель.

Так, заметив, что властелин — ревнив, они заявляют: «Такой-то кивнул за обедом твоей жене и, поглядев на нее, застонал жалобно, да и Стратоника к нему не слишком неприязненна», — и вообще в этом случае клеветнические измышления имеют содержанием любовные дела и супружескую неверность. Если же власть имущий окажется поэтом и по сему поводу очень высоко мнит о себе, то нашептывается: «Зевс свидетель, Филоксен насмехался над твоими стихами, разнимал их на кусочки, говорил, что в них нет размера, что они дурно сложены». Перед человеком благочестивым и богобоязненным его друг обвиняется клеветниками в нечестии, в том, что он отвергает божественное и отрицает провидение. А слышащий все это, как человек близорукий, поражен бывает тем, что дошло до его ушей, тотчас же, разумеется, распаляется и отвергается от своего друга, не выждав точных доказательств его виновности.

15. Вообще клеветники изобретают и распространяют такие вещи, которые, как им известно, способны вызвать в слушателе наибольший гнев; узнав уязви-

мое место каждого, клеветники в него-то и направляют свои стрелы, в него и мечут дротики, чтобы человек, мгновенно возмущенный гневом, был уже недоступен исследованию истины. И если бы иной подвергшийся клевете и пожелал оправдаться, он не получает к тому возможности, ибо нелепый слух, как мнимая истина, уже захватил его.

16. Самым надежным видом клеветы оказывается обвинение в чем-нибудь противоречащем главной страсти властителя. Так, при дворе Птолемея, прозванного Дионисом, нашелся человек, который оклеветал платоника Димитрия в том, что он пьет воду и один из всех на празднике Дионисий не облачается в женское платье. И если бы он, приглашенный к царю, с утра на виду у всех не выпил вина, не взял в руки бубен и не стал играть и плясать в тарентинском женском наряде,— он не избежал бы гибели как человек, который не только не радуется благоденствию царя, но, напротив, придерживается враждебного ему учения и слушает злые ковы против великолепного Птолемея.

17. При Александре самое тяжелое обвинение, какое мог вывести клеветник, заключалось в том, чтобы изобличать кого-нибудь в неблагочестии против Гефестиона, в отказе воздавать ему поклонение. Дело в том, что после смерти Гефестиона Александр, движимый любовью к нему, пожелал присоединить к прочим своим великим деяниям еще одно: возвести почившего в сан бога. Немедленно, конечно, храмы воздвиглись по городам, святилища и жертвенники сооружались, жертвы стали приноситься и празднества справляться этому новому богу, и величайшей клятвой для всех стало имя «Гефестион». Если же кто-нибудь решался усмехнуться на происходящее или не проявить слишком рьяного благочестия, наказанием была положена смертная казнь. Лъстецы подхватили эту страсть Александра к юноше и тотчас стали еще более разжигать и раздувать ее пламя, рассказывая, что Гефестион являлся тому или другому из них во сне, исцеления разные к нему приспособляя и пророчества ему приписывая. Все это заканчивалось принесением жертвы богу-сопрестольнику и отвратителю зла. Александр же, слыша об этом, радовался, верил в самые последние выдумки и очень гордился тем, что он не только сам является сыном бога, но и силу имеет создавать новых богов. И надо подумать, сколько друзей Але-

ксандровых в ту пору изведали сладость Гефестионовой божественности, оклеветанные, будто они не чтут всеми признанного бога, и за это подвергнутые изгнанию и утратившие благоволение царя.

18. В это именно время и Агафокл, военачальник Александра, очень им ценимый, едва не оказался запертым в клетку вместе со львом из-за возведенной на него клеветы, будто он, проходя мимо могилы Гефестиона, прослезился. Однако его, говорят, выручил Пердикка, поклявшийся всеми богами, и Гефестионом в том числе, будто на охоте ему воочию явился бог и повелел сказать Александру, чтобы тот пощадил Агафокла: он-де заплакал не из неверия, не как по мертвецу, но просто вспомняв об их давней взаимной привязанности.

19. Таким образом лезть и клевета находили для себя в то время широкое поприще, подлаживаясь к слабости Александра. Как во время осады города враги устремляются не на высокие, отвесные, неодолимые участки стен, но все силы двигают туда, где заметили плохо охраняемое, поврежденное низкое место, надеясь, что здесь легче всего они смогут проникнуть внутрь и овладеть городом,— так точно поступают и клеветники: едва увидят в душе человека слабую, подгнившую, доступную для нападения сторону, тотчас же двигаются сюда на приступ, подводят осадные орудия и в конце концов захватывают крепость, причем никто из защитников не успевает оказать сопротивление и даже не замечает всходящего на стены врага. Затем, раз очутившись внутри стен, враги все предают огню и мечу, жгут, убивают, изгоняют — словом, делают то, что, естественно, должно свершаться в душе, которая захвачена в плен и обращена в рабство.

20. Орудиями же, которые клеветник направляет против внимающего ему, служат хитрость, обман, лживая клятва, назойливость, бесстыдство и тысячи других столь же нетрудных действий. Но самым могущественным орудием оказывается лезть — родня, точнее сказать, родная сестра клеветы. Ибо нет человека настолько благородного, окружившего душу столь несокрушимой стеной, чтобы не поддался он натиску лести, пока клевета исподволь подкапывает стену и разрушает ее основание.

21. Так наступает враг извне. Внутри же заодно с ним действуют многочисленные предательства, руки протягивая навстречу карабкающимся и ворота распахивая, и со всяческим усердием помогая пленить слух осаждаемого. Впереди идут от природы присущие всем людям жажда новизны и неприязнь к тому, что уже приелось; следом движется любовь к необычным сообщениям. Да я просто не знаю, с каким наслаждением мы все выслушиваем известия, нашептываемые тайком и наполненные подозрениями. Я встречал людей, которым клевета так сладко щекочет ухо, как будто кто-нибудь перышком почесывает.

22. Итак, поскольку нападение ведется при поддержке всех этих союзников, приступ, я уверен, всегда увенчается успехом, и нетрудной уже окажется победа, если никто не противостоит наступающим, не отражает их натисков, но сам осаждаемый добровольно сдается, прислушиваясь, а подвергающийся клевете даже и не знает о коварном нападении: будто во время ночного захвата города эти люди спящими гибнут от мечей врага.

23. Но всего более способен вызвать жалость такой не ведающий о случившемся человек, когда он приближается к своему другу с ясным видом, ибо не знает за собой ничего дурного, и говорит и действует, как обычно, не замечая, несчастный, что он уже со всех сторон окружен засевшим в засаду врагом. А тот, другой, если в нем есть хоть немного порядочности, благородства и откровенности, тотчас раздражается гневом, изливает свое негодование и в заключение, разрешив слово оправдания, убеждается, что понапрасну распалился на своего друга.

24. Если же окажется в нем меньше благородства и больше низости душевной, то он принимает друга и улыбается ему краешком губ, а втайне ненавидит, скрипит зубами и, по слову поэта, «глубоко воздвигает гнев». И, по-моему, нет ничего более незаконного, более низкого, рабского, как, закусив губу, питать свою черную злобу и возвращать запертую внутри тебя ненависть, тая в мыслях одно, а говоря другое и разыгрывая под веселой личиной комического актера богатую страстями и полную яда трагедию. В особенности это случается с людьми тогда, когда клеветник, кажущийся старинным другом оклеветанного, тем не менее совершает этот поступок: ибо тогда уже не хотят слу-

шать голоса пострадавшего и его оправдания, предвзято считая обвинение достойным доверия на основании этой мнимой старинной службы и не принимая в расчет, что часто даже среди самых близких друзей рождается неожиданная ненависть по причинам, скрытым от посторонних глаз. Нередко человек, сам в чем-нибудь повинный, торопится обвинить в этом своего соседа, пытаясь таким образом избежать доноса. Да и вообще на врага никто, пожалуй, не решится клеветать, ибо обвинение сразу покажется подозрительным, поскольку наперед ясна его причина. Напротив, желая явить свою преданность властителю, клеветники предпочитают нападать на тех, кто считается их друзьями, делая вид, что для блага господина они не щадят даже самых близких им людей.

25. А есть среди власть имущих и такие, что, даже уразумев впоследствии несправедливость клеветы, возведенной перед ними на их друзей, все же, стыдясь тех, кому поверили, не решаются уже приблизить к себе отвергнутых или хотя бы взглянуть на них, как будто они обижены тем, что им пришлось признать тех ни в чем не повинными.

26. Итак, множеством бед пополняет жизнь человеческую столь легкомысленное и непроверенное принятие клеветы. Так, Антея говорит Прэту:

Прэт! Иль тебе, или дерзкому Беллерофонту погибнуть,
Что замышлял насильно со мной сочетаться любовью,

после того, как сама первая покушалась на это, но была отвергнута. И ведь едва не погиб юноша в схватке с Химерой, едва не понес наказание за свое целомудрие и уважение к хозяину — по проискам женщины, охваченной страстью. А Федра? И она, возведя подобное же обвинение на своего пасынка Ипполита, добилась того, что он был проклят собственным отцом, хотя ничего, боги свидетели, ничего нечестивого не совершил.

27. «Все это так, — скажут мне, — но иногда клеветник вызывает полное доверие, поскольку во всех прочих отношениях он кажется человеком справедливым и рассудительным; и приходится обращать внимание на его слова, ибо никто не знает за ним подобных злодеяний». Однако был ли когда-нибудь человек на свете справедливей Аристида? Но и последний все же соединился с другими против Фемистокла и помог вос-

становить против него народ, подзадориваемый, как передают, собственным честолюбием в делах управления Городом. Справедлив был, конечно, Аристид по сравнению с другими, но человеком все-таки он был и желчь имел и одних любил, других ненавидел.

28. Точно так же, если справедливо сказано о Паламее, то, как кажется, умнейший из ахейцев, обладавший и всеми прочими совершенствами, из зависти устроил заговор и засаду против человека, связанного с ним узами крови и дружбы, отплывшего вместе в тот же опасный поход: до такой степени всем людям от природы свойствен этот порок.

29. Стоит ли говорить еще о Сократе, незаконно оклеветанном перед афинянами в нечестии и заговоре. Или о Фемистокле и Мильтиаде, которые после стольких одержанных ими побед вдруг навлекли на себя подозрение в измене Элладе. Примеры — бесчисленны и почти все уже общеизвестны.

30. Как же, следовательно, надлежит поступать разумному человеку в этом двойственном положении, когда он сомневается то в добродетели обвиняемого, то в правдивости обвинителя? На это именно, по-моему, намекнул Гомер в рассказе о Сиренах, велел плыть мимо, оставляя в стороне губительную прелесть этих звуков, и заграждать свои уши, не держать их раскрытыми настежь перед людьми, уже охваченными недугом, но, поставив перед дверях надежного сторожа — разум, который проверил бы каждое приходящее слово, — речи, заслуживающие того, допускать к себе и сводить их на очную ставку друг с другом, а перед негодными держать дверь на запоре и гнать их прочь. И право, не смешно было бы у дверей дома ставить сторожей, а слух свой и душу оставлять открытыми.

31. И всякий раз, как придет человек с речами, подобными тем, которые мы говорили раньше, — надлежит исследовать вопрос, исходя из него самого, не обращая внимания ни на возраст говорящего, ни на его поведение в других случаях жизни, ни на рассудительность самих его слов. Напротив, чем больше человек внушает доверия, тем тщательнее надлежит расследовать дело. Поэтому нельзя полагаться на чужое суждение, тем более — на внушаемые злобой речи обвинителя, но следует приберечь для себя самого разыскание истины, вернуть клеветнику все, что в его словах вызвано завистью, исследовать и вывести на свет, что

держат в мыслях обе стороны, и только после этого испытания решать вопрос о ненависти и любви. Делать это раньше, под воздействием первых же слов клеветника — Геракл, какое мальчишество, какая низость и, что всего важнее, какое беззаконие!

32. Но виной всему этому невежество, о котором мы говорили вначале, и то, что каждый из нас как бы блуждает в темноте. И, если бы божество однажды сняло покров, скрывающий жизнь каждого из нас, стремительно бы канула в бездну клевета, не найдя для себя больше места там, где все человеческие поступки освещены Истиной.





НЕУЧУ, КОТОРЫЙ ПОКУПАЛ МНОГО КНИГ

1. Право, твое нынешнее поведение прямо противоположно цели твоих желаний: ты думаешь прослыть человеком, который кое-что смыслит в науках, старательно скупая самые лучшие книги. Но выходит у тебя как раз обратное, и эти покупки лишь изобличают твое невежество.

И главное, ты приобретаешь вовсе не самое лучшее, но доверяешься людям, которые расхваливают, что придется; ты являешься прямой находкой для этих книжных обманщиков и настоящим кладом для книго-торговцев. Да и каким образом мог бы ты отличить старинную книгу и большой ценности от дрянного хлама? Разве только придешь к такому заключению на основании того, насколько книга изъедена и источена, и пригласишь моль на исследование в качестве советчика? Что же касается безошибочных и надеж-

ных признаков, то откуда и как ты можешь их распознать?

2. Допустим даже, я научу тебя отличать книги, с таким великолепием и со всяческой тщательностью изготовленные переписчиками самого Каллина или славного Аттика,— что за польза тебе, странный человек, приобрести такую рукопись, когда ты и красоты ее не понимаешь и не сумеешь никогда ее использовать, как слепец не сможет насладиться зрелищем прекрасного юношеского тела?

Ты во все глаза глядишь на свои книги, просто, Зевсом клянусь, объедаешься ими, а некоторые даже читаешь, хоть и не слишком торопливо, так что глаза все время опережают язык. Но, по-моему, этого еще недостаточно, если ты не видишь достоинств и недостатков каждого сочинения, не понимаешь, каков общий смысл его, насколько стройна речь, что удалось писателю, безукоризненно отвечая требованию образцового произведения, и что является поддельным, незаконным, случайным.

3. Ну, что? Ты станешь уверять нас, что, и не изучавши, знаешь все это? Откуда? Неужели ты, как тот известный пастух, получил некогда лавровую ветвь из рук самих Муз? Но ведь о Геликоне, где, как говорят, пребывают богини, ты никогда и не слыхивал, я думаю, а когда был мальчиком, по-иному проводил свое время: тебе и вспоминать-то о Музах было бы нечестиво. Они без колебания явились тому пастуху, худому волосатому человеку с телом, постоянно обожженным солнцем, к такому же, как ты (ради Афродиты Ливанской, прости мне, если сейчас я не всё буду говорить с полной отчетливостью), я прекрасно знаю, они сочли бы недостойным даже подойти близко. Вместо лавра, Музы отстегали бы тебя, пожалуй, колючим кустарником или листьями мальвы и прочь бы прогнали такого-сякого: не оскверняй священного ручья Ольмиона или Гиппокрену, что поят своей влагой томимые жаждой стада и чистые уста пастухов!

Впрочем, хотя ты до крайности бесстыден и дерзок в подобных случаях, ты все же никогда не отважишься сказать, будто ты получил образование или стремился когда-нибудь поближе познакомиться с книгами, ты не скажешь, что такой-то был твоим учителем, что к тому-то ты ходил в школу.

4. А теперь ты надеешься все это быстро наверстать одним лишь приобретением множества книг!

Однако, владей ты даже собранием всех произведений Демосфена, написанных собственной рукой оратора, владей ты сочинением Фукидида, которое тоже оказалось у Демосфена прекрасно переписанным восемь раз, наконец обладай ты книгами, которые Сулла отправил из Азии в Италию,— какую получил бы ты от этого прибыль для своего развития, хотя бы ты подложил их под себя и лег на них спать или, склеив вместе, завернулся в них да так и разгуливал?

Ведь обезьяна есть обезьяна, гласит пословица, надень на нее хоть золотой ошейник. Так вот и ты: постоянно держишь в руках книгу и читаешь ее, но из прочитанного ничего не понимаешь и оказываешься тем ослом, который слушает игру на лире, хлопая ушами.

Если бы приобретение книги делало ее владельца ученым, поистине это было бы приобретение драгоценнейшее, доступное одним только вам, богачам; можно было бы, так сказать, покупать ученость на рынке, и вы бы одержали верх над бедняками.

Кто мог бы тогда поспорить ученостью с книготорговцами и книгоношами, владельцами и продавцами такого множества книг? А между тем стоит только пожелать, и ты изобличишь их, увидишь, что они и по части учености не многим сильнее тебя, и по разговору настоящие варвары, подобно тебе, и разумением слабы, как и подобает людям, никогда не понимавшим, что безобразно и что прекрасно. И, однако, ты владеешь какими-нибудь двумя-тремя книжками, купленными у этих самых людей, тогда как они день и ночь имеют книги в своих руках.

5. Итак, какой толк в этих твоих покупках, если только ты не считаешь учеными и самые книгохранилища за то, что они вмещают столько сочинений древних писателей? Отвечай мне, если хочешь. А еще лучше, поскольку ты на это не способен, головой кивай на мои вопросы утвердительно, покачивай ею в знак несогласия.

Итак, допустим, что человек, не умеющий играть на флейте, приобретет флейту Тимофея или флейту Исмения, которую последний за семь талантов купил в Коринфе,— что же? Тем самым такой человек играть на ней окажется в состоянии? Или же без пользы останется у него приобретенная вещь, раз он не умеет ею пользоваться, как приказывает искусство? Ага, ты трясешь головой? Правильно, конечно, потому что, завла-

дей покупатель флейтами самого Марсия или Олимпа,— все равно он не заиграет, если не научился. Ну, а если кто-нибудь приобретет лук Геракла, не будучи, однако, Филоктетом, чтобы оказаться в силах натянуть его и метко пустить стрелу,— каково твое мнение об этом человеке? Неужели он сможет явить нашим взорам какой-нибудь подвиг, достойный стрелка из лука? Отрицательный ты сделал знак и на этот вопрос. Точно так же, конечно, и не умеющий управлять кораблем и верховой ездой не занимавшийся, если получит первый из них в свои руки корабль, всем наилучшим образом снаряженный и для красоты и для безопасности, а второй конем обзаведется персидским либо кобылицей, землячкой кентавров или несущей в тавре коринфский знак,— оба, я полагаю, будут уличены в неумении использовать каждый свое приобретение. И это ты подтверждаешь? Итак, прими мои доводы и согласишься также со следующим: если какой-нибудь неуч, подобный тебе, накупит множество книг,— разве это не будет с его стороны издевательством над своим собственным невежеством? Что же ты медлишь ответить и на это кивком согласия? Ведь доказательство мое, я полагаю, неопровержимо, и каждому, кто на тебя посмотрит, тотчас просится на язык поговорка: «На что собаке баня?»

6. Жил не так давно в Азии один богатый человек, у которого, по несчастью, отняты были обе ноги: отморозил он их, кажется, когда однажды ему пришлось совершить путешествие пешком по снегу. Так вот этот несчастный, испытавший такую участь, изготовил себе, в попечении о своем теле, деревянные ноги и, подвязывая их, бродил, опираясь в то же время на рабов. Но вот что было забавно в его поведении: полусапожки он покупал себе самые красивые, всегда только что от сапожника, и величайшую проявлял о них заботливость, чтобы в наилучшей обуви красовались его полешки — ноги, я хотел сказать. Ну, а не то же ли самое и ты делаешь? Разум у тебя хромает и дубоват — сапожки ты покупаешь себе золоченые, в которых было бы только впору прогуливаться крепконогому юноше.

7. Поскольку среди прочих книг ты нередко покупаешь Гомера, пусть кто-нибудь возьмет и прочтет тебе вторую песнь Илиады. То есть всю, с начала до конца, ее не стоит просматривать: ничего там нет к тебе относящегося. Но в ней выведен поэтом один вития, презабавный человек, с исковерканным и изувеченным те-

лом. Так вот, если бы он, этот самый Ферсит, с его телосложением, взял доспехи Ахилла, — что же, стал бы разом и прекрасен и силен? Ферсит перепрыгнул бы через поток, замутил бы его струи кровью убитых фракийцев, сразил бы Гектора, и предварительно Ликона и Астеропея, он, которому и древко копья нести на плечах было не под силу? Пожалуй, ты не станешь этого утверждать. Напротив, еще и насмешки заслужил бы Ферсит, ковыляя под щитом, падая под его тяжестью носом вниз, запрокидывая по временам голову и показывая из-под шлема свои замечательные косые глаза, и панцирь возлагая на свой горбатый хребет, и волоча по земле поножи — словом, покрывая позором обоих: и мастера, создавшего доспехи, и хозяина их. Ты не видишь, что то же самое, конечно, происходит и с тобой, когда ты держишь в руках прекраснейшую книгу, облеченную в пурпурную кожу, с золотой застежкой, а читаешь ее, позорно коверкая слова, так что люди образованные потешаются над тобой, состоящие же при тебе льстецы славословят, а про себя, отвернувшись, также смеются немало.

8. А теперь я хочу рассказать тебе одно происшествие, случившееся в Дельфах. Некий тарентинец, Евангел по имени, человек в Таренте не безызвестный, возымел желание одержать победу на Пифийских играх. И вот добиться этого на состязаниях, где победу дает освобожденное от одежд тело, сразу же оказалось ему невозможным, так как ни силой, ни быстротой ног он от природы отнюдь не отличался, но что он легко одержал бы верх в игре на лире и в пении — в этом его убедили негодные людишки, которыми он себя окружил и которые во весь голос принимались хвалить Евангела, стоило ему лишь чуть-чуть ударить по струнам.

Итак, Евангел прибыл в Дельфы со всякой пышностью и платье себе, конечно, сделал шитое золотом и великолепный венок из золотой лавровой ветви, причем плоды лавра были представлены смарагдами соответствующей величины. Что же касается самой лиры, то по красоте и роскоши это было что-то сверхъестественное: лира была из червонного золота, всевозможными драгоценностями и камнями разноцветными украшенная, и на ней Музы были вычеканены, среди прочих изображений Аполлон и Орфей, и эта лира великое изумление вызывала в зрителях.

9. Когда пришел наконец день состязания, выступило трое соперников, причем Евангелу досталось по жребию петь вторым, между двух остальных и после фиванца Феспиды, выступившего не без успеха.

И вот Евангел вышел, весь сияя золотом, смарагдами, бериллами и сапфирами; и тем красивее выделялся пурпур его одежды, проглядывая между золотыми украшениями. Всем этим Евангел наперед уже поразиł присутствующих и наполнил зрителей необыкновенной надеждой. Но наконец пришло все-таки время запеть и заиграть. Он, Евангел, ударяет по струнам, извлекая из них что-то нестройное и ни с чем не сообразное, и обрывает разом три струны, крепче, нежели следовало, обрушившись на лиру; затем он начинает петь нечто до такой степени нескладное и жиденькое, что общий смех поднялся среди слушателей, а судьи, возмущенные такой дерзостью, бичами выгнали Евангела вон из театра.

Вот тут-то всего забавнее было смотреть на заливающегося слезами золотого Евангела, которого слушатели волокли прочь через всю сцену, с бедрами, окровавленными ударами бичей, подбирающего по пути рассыпавшиеся камни своей лиры, — украшения, естественно, выпали, так как вместе с хозяином и лире досталось от бичей.

10. А немного спустя после него выступает некий Евмел из Элеи; лира была у него старая, деревянными колками снабженная, а одежда, вместе с венком, ценою едва ли в десять драхм. Но именно он, пропевши умело и сыграв сообразно законам искусства, одержал верх, был провозглашен победителем и посмеялся над Евангелом, напрасно совершившим торжественный выход со своей лирой и всеми драгоценностями. Говорят, Евмел сказал Евангелу: «Ты, Евангел, золотую ветвь лавра возложил на себя, потому что ты богат, я же, бедняк, — дельфийскую. Впрочем, твое убранство сослужило тебе лишь ту службу, что ты уходишь отсюда, не только сожаления к себе не вызвав своей неудачей, но еще и ненависть возбудив всей этой безумной и совершенно ненужной роскошью».

Так вот, ты и этот Евангел — два сапога пара, поскольку тебе ни малейшего нет дела до смеха, который ты возбуждаешь в зрителях.

11. Не будет, пожалуй, неуместным рассказать тебе еще одно лесбосское предание о том, что случилось в старину. Когда фракиянки растерзали Орфея, то, го-

воят, голова певца, брошенная вместе с лирой в Эбр, была вынесена потоком в Черный залив. Плыла эта голова, лежа на лире, и пела некий Плач по Орфее, так гласит предание, и лира сама вторила ей, когда ветры, налетая, трогали струны; и с этой песнью были они принесены волнами к Лесбосу. Тамошние жители подняли приплывшее, голову схоронили как раз на том месте, где ныне стоит у них храм Вакха, а лиру положили в святилище Аполлона, в дар богу, и долго ее там сберегали.

12. Позднее Неанф, сын тирана Питтака, слыша рассказ о лире, о том, что она зачаровывала животных, растения и камни и звучала даже после беды, постигшей Орфея, хотя никто не касался ее струн,— проникся страстным желанием обладать лирой и, подкупивши жреца большими деньгами, убедил его подложить вместо той другую — похожую — лиру, а лиру Орфея отдать ему. Получив ее, Неанф счел небезопасным использовать свое приобретение днем, в городе; ночью же, скрыв лиру под плащом, вышел один в предместье, взял лиру и стал бить как попало по струнам, невежественный и бездарный юноша, надеясь, что лира ответит ему какой-нибудь божественной песнью, которой он всех заворочит и очарует и станет блаженным, унаследовав искусство Орфея. А между тем на шум сбежались собаки — их было в том месте не мало — и разорвали музыканта на части, так что в этом отношении он действительно разделил участь Орфея, привлекая к себе хотя бы одних собак.

Тут-то и обнаружилось с очевидностью, что не в лире было очарование, а в искусстве и в песне, которыми владел Орфей с исключительным совершенством, унаследовав их от матери. Лира же сама по себе была для своего хозяина вещью ничуть не лучшей, чем всякий другой струнный инструмент.

13. Впрочем, для чего я рассказываю тебе про Орфея или про Неанфа, когда и в наше время был — да, я думаю, и сейчас еще здравствует — человек, который купил светильник стоика Эпиктета — простой глиняный светильник — за три тысячи драхм? Ибо и он, полагаю, надеялся, что если будет по ночам читать при этом светильнике, тотчас же, конечно, и мудрость Эпиктета предстанет ему во сне, и подобен он сделается этому старцу.

14. А совсем на этих днях нашелся и еще один: киника Протея палку купил он, которую тот оставил, ко-

гда прыгнул в огонь,—купил за шесть тысяч драхм и владеет своим сокровищем, и показывает его, как театры — шкуру каледонского вепря, фиванцы — кости Гериона, а жители Мемфиса — локоны Изиды. А сам владелец этого удивительного имущества, что касается невежества и бесстыдства, еще дальше тебя метнул свой дротик. Видишь теперь, во власти какого злого демона ты находишься? Воистину, по голове бы тебя следовало этой палкой!

15. Говорят, и Дионисий трагедию сочинял, очень плохую и смешную, так что Филоксен не раз из-за нее попадал в каменоломни, не в силах будучи удержаться от смеха. Так вот, узнав, что над ним смеются, Дионисий с великим трудом приобрел дощечку Эсхила, на которой писал поэт, и думал, что теперь на него снизойдет вдохновение из этой дощечки и бог овладеет им. И тем не менее на ней как раз Дионисий начал писать стихи еще того забавнее, как это, например:

Дионисия жена, Доридочка пришла!

Или:

Ах, ах! Жену отличную я потерял!

Да, да! И это стояло на Эсхиловой дощечке!

Или еще:

Глупцы сами себя оставят в дураках.

Впрочем, последнее в применении к тебе было, пожалуй, чрезвычайно метко сказано Дионисием, и за этот стих стоило тут же позолотить его дощечку!

16. Действительно, какие надежды ты сам возлагаешь на свои книги, разворачывая их то и дело и обрезая их, и умащая шафраном или кедром, и кожей их одевая, и застежки приделывая, как будто ты и впрямь собираешься что-то из них извлечь? О конечно, ты уже гораздо совершеннее стал благодаря своим покупкам, ты, который так владеешь речью... или, лучше сказать, самих рыб безгласнее оказываешься! А живешь ты так, что и говорить об этом нехорошо, и ненависть дикую, по слухам, во всех возбуждаешь своими гнусностями. И если таких людей вырабатывают книги, то бегом бежать надлежало бы от них как можно дальше.

17. Две вещи есть, которые может приобрести человек от древних писателей: умение, во-первых, говорить, а во-вторых — действовать надлежащим образом,

стремясь к лучшему и убегая от худшего. И когда оказывается, что некто ни в том, ни в другом отношении не умеет ими воспользоваться, — что он, собственно, тогда покупает? Не книги, конечно, а развлечение для мышей, жилище для моли и побои для рабов за мнимое небрежное обращение с книгами.

18. А вот такой случай разве не будет для тебя позором: допустим, кто-нибудь увидит тебя с книгой, — а ты ведь всегда, при всяких обстоятельствах держишь какую-нибудь в руках, — и спросит, что это за сочинение, какого оратора, историка или поэта? Ты же на этот вопрос еще ответишь со спокойным видом, что знаешь из заглавия, но когда в дальнейшем, поскольку подобные рассуждения бывают очень не прочь растянуться в долгую беседу, этот человек станет одобрять или, напротив, порицать что-нибудь в содержании книги, а ты придешь в замешательство и не найдешь сказать ни одного слова, — что тогда? Разве не взмолишься ты, да расступится под тобой земля, ты, новый Беллерофонт, на свою голову носящий с собой книгу?

19. Димитрий-киник, будучи в Коринфе, увидел, как один невежественный человек читал книгу, — а именно «Вакханки» Еврипида, — дойдя как раз до того места, когда вестник рассказывает о страданиях Пенфея и поступке, совершенном Агавой. Димитрий вырвал у него книгу и разорвал ее, заявив: «Лучше Пенфею быть однажды растерзанным мною, чем тобою — многожды».

Я все время задаю себе вопрос, но и по сию пору еще не мог найти на него ответа: чего ради ты с таким усердием хлопочешь над покупкой книг? Чтобы извлечь пользу из их употребления? Однако ни одному человеку, хоть немного тебя знающему, и в голову не придет такого предположения. Ведь это то же самое, как если бы лысый вздумал покупать себе гребень, а слепой зеркало, или глухой — флейтистку, скопец — наложницу, горец — весло, а корабельщик — соху! Так не о том ли ты хлопочешь, чтобы выставить на вид свое богатство? Не хочешь ли показать всем, что от великих прибытков своих ты можешь тратить даже на вещи, совершенно тебе не нужные? Однако, насколько мне по крайней мере известно, — я ведь тоже родом из Сирии, — если бы ты ловко не вписал себя самого в завещание известного тебе старца, ты давно бы уже погиб от голода и на рынок снес бы свои книги.

20. Итак, остается лишь одно объяснение: убежденный твоими льстецами в том, что ты не только прекрасен и обворожителен, но и философ, и оратор, и историк, каких еще не было,—ты скупаешь книги, чтобы оправдать похвалы этих людей. Говорят, что ты даже речи перед ними произносишь во время обеда, и они, томясь от жажды, как лягушки на сухом берегу, квакают изо всей мочи, но пить не смеют, пока не лопнут от хвалебных криков. И я просто не знаю, до чего легко ты позволяешь водить себя за нос! Ты веришь каждому их слову и однажды поверил даже тому, что ты похож с виду на одного из императоров, совсем будто Лжеалександр или Лжефилипп, этот суконщик, или появившийся при наших дедах Лженерон, и все прочие Лже-такие-то.

21. Да и что удивительного, если случилось это с тобой, человеком неразумным и невежественным, что ты шествуешь, гордо выпятив грудь, подражая поступью, осанкой и взглядом тому мужу, сходством с которым ты себя тешишь,—когда даже Пирр Эпирский, во всех отношениях достойный удивления человек, был, говорят, однажды подобным же образом развращен льстецами до того, что поверил в свое сходство с знаменитым Александром! И все-таки, говоря словами музыкантов, две полные гаммы отделяли их друг от друга! Говорю это потому, что я сам видел изображение Пирра. И тем не менее Пирр был убежден, что его наружность — точный слепок с образа Александра! Однако этим сравнением я оскорбил Пирра, уподобив тебя в этом отношении ему.

Но то, что вслед за этим произошло, даже очень к тебе подошло бы, а именно: когда Пирр оказался настроенным таким образом и возомнил о себе, не находилось никого, кто бы не соглашался с ним и не потакал ослеплению, пока наконец в Лариссе одна совершенно посторонняя старушка не сказала ему, Пирру, правды и тем не исцелила его от этого притупившего чувства насморка! Дело было так. Пирр показал ей изображение Филиппа, Пердикки, Александра, Кассандра и других царей и спросил: «На кого я похож»,—совершенно убежденный, что она укажет на Александра. Та долго молчала, потом сказала: «На повара Батрахiona»,—был в Лариссе такой повар Батрахion, похожий на Пирра.

22. На кого из срамников, живущих с плясунами, ты похож,—я не скажу, пожалуй; но что, по общему

мнению, ты и до сих пор охвачен крепким безумием в твоей безумной погоне за мнимым сходством — это я знаю отлично. Не удивительно поэтому, если, невзирая на такую неубедительность создаваемого тобой образа, ты все же стремишься уподобиться людям образованным, доверяя тем, кто за это тебя расхваливает. Впрочем, к чему вся эта болтовня? Ведь наперед ясна была причина твоего книжного рвения, хотя я по невнимательности раньше ее не замечал: да, ты уверен, конечно, что мудро придумал все это, и не малые возлагаешь надежды на тот случай, если узнает об этом император, человек ученый и высоко ценящий образование. Если бы дошли до него о тебе известия, как ты покупаешь книги и составляешь большое собрание их, — тотчас же, по твоим соображениям, ты получишь от него всё, что угодно.

23. Но, неуч ты мой, зады изучающий, неужто ты думаешь, что такое уже сонное зелье разлито вокруг императора и он об одном услышит, а о другом и знать не будет: что за жизнь ты ведешь, едва начинается день, какие попойки устраиваешь, как проходят твои ночи, кто и в каких летах разделяет с тобой ложе? Или ты не знаешь, что много ушей и глаз у императора? А твои дела настолько явны, что даже слепые и глухие знают про них. Ведь стоит только тебе заговорить, стоит в банях скинуть одежду, — да что там: не раздевайся, если не хочешь, а пусть только разденутся твои рабы, и что же? Ты думаешь, не выступят тотчас же наружу все молчанием запечатленные гнусности твоих ночей? Скажи-ка мне еще вот что: если бы этот знаменитый учитель ваш Бас или Баталл, флейтист, или распутник Гемитеон из Сибариса, составивший для вас достойные удивления законы о том, как следует лощить свою кожу и выщипывать на ней волосы, как отдаваться и как действовать в ваших утехах, — так вот, если бы один из них вздумал сейчас разгуливать в накинутой на плечи львиной шкуре, с палицей в руках, за кого бы, по-твоему, приняли его зрители? Решили бы, что это — Геракл? Конечно, нет, разве только на глазах у них ячмени бы повскакивали величиной с добрый горшок. Ибо бесчисленные признаки говорили бы против наряда: и походка, и взгляд, и голос, и вытянутая шея, и белила, и смола, и румяна, которыми вы себя прикрашиваете, и вообще, как говорит пословица, легче пять слонов спрятать под мышкой, чем одного распутника! Так что же? Львиная шкура не

скрыла бы такого человечка, а ты надеешься остаться незаметным, загораживаясь книжкой? Но не удастся это тебе: ибо выдадут и откроют тебя другие ваши приметы.

24. В целом, мне кажется, ты не понимаешь, что надежды на лучшее следует не разыскивать у книго-торговцев, но находить в себе самом, в своей повседневной жизни. А ты думаешь, что всенародными защитниками и свидетелями в твою пользу будут книгоиздатели Аттик и Каллин? Не будут! Напротив, с дикой суровостью эти люди в порошок тебя сотрут, если боги того пожелают, и ввергнут тебя в крайнюю бедность. Еще есть время одуматься и сейчас же продать какому-нибудь образованному человеку все эти книги и вместе с ними этот заново построенный дом и заплатить работорговцам хотя бы часть твоих огромных долгов.

25. Дело в том, что предметом твоего необычайного рвения всегда были две вещи: приобретение роскошных книг и покупка мальчиков, какие постарше и в полной силе,—ты и до сих пор с чрезвычайным усердием охотишься за этой добычей. Но, раз ты беден, не может у тебя хватить средств и на то и на другое.

Итак, поразмысли над моими словами — святое дело совет. Я считаю для тебя необходимым отказаться от того, что тебе совсем не к лицу, и угождать второму своему недугу, покупая себе необходимых сотрудников, чтобы, за недостатком домашних, не приходилось тебе приглашать разных безобразников со стороны из числа свободных, которым, если они не получают всего сполна, ничего не стоит, уходя, разболтать о вас после попойки. Так на днях и было: самые гнусные вещи о тебе рассказывал вышедший от тебя продажный распутник, да еще и укусы показывал. Но я, конечно,—люди, при этом присутствовавшие, подтвердить могут мои слова,—я возмутился и едва не всыпал ему как следует в гнев за тебя, а особенно когда он в доказательство то на одного, то на другого ссылаться начал, что они-де подобному подверглись и то же самое рассказать могут. А кроме того, дорогой мой, веди счет денежкам и береги их, чтобы можно было дома в полной безопасности получать удовольствие. Ибо перестать этим делом заниматься кто был бы в состоянии тебя уговорить? Научилась собака кожу грызть — никогда не перестанет!

26. Ну, а второе — гораздо легче: не покупать себе больше книг. Достаточно уже ты стал образован, хватит с тебя учености! Чуть что не назубок ты выучил все творения древних, всю историю знаешь, все тонкости в искусстве слова: и красоту его, и недостатки, и применение аттических речений. Чудом премудрости, вершиной учености сделался ты благодаря множеству книг! Почему бы, в самом деле, и мне не поразвлекаться с тобой, если тебе нравится, когда тебя обманывают?

27. Охотно бы я спросил тебя также: столько книг имея, какие из них ты больше всего читаешь? Творения Платона? Антисфена? Архилоха? Гиппонакта? Или на них ты свысока смотришь и чаще всего у тебя в руках ораторы? Скажи мне, речь Эсхина против Тимарха ты тоже почитываешь? Или это уже все ты знаешь и каждое произведение их тебе известно? Тогда, вероятно, ты погружен в Аристофана и Евполида? И с начала до конца прочел комедию «Ныряльщики»? Ну, и как? Ничего в ней не подошло к тебе, и ты не покраснел, узнав дела, тебе знакомые? Но вот что всего больше способно вызвать удивление: в каком душевном расположении ты хватаешься за книгу, какими руками их разворачиваешь? И когда ты читаешь? Днем? Но никто никогда не видел тебя за этим делом. Так, значит, ночью? Когда же именно? Уже в полном напряжении тех, главных, занятий или в качестве вступления к ним? Нет! Во имя самой Котиттó: больше никогда ни на что не отваживайся в этом роде.

28. Оставь в покое книги и только своим занимайся делом. Правда, и его следовало тоже оставить, постыдиться хотя бы еврипидовой Федры, которая, негодую на женщин, говорит:

И не трепещут тьмы, сообщницы их дел,
Покоев, что когда-нибудь заговорят!

Но если ты все же решил пребывать неизменно в своем недуге, то иди, покупай книги, держи их дома под замком и пожинай лавры владельца. Довольно с тебя и этого. Но не прикасайся к ним никогда, не читай, не унижай своим языком слов, сказанных мужами древности, и их творений, которые тебе ничего плохого не сделали. Но я знаю: все мои слова — напрасная болтовня, и, по пословице, я стараюсь с эфиопа черноту согнать. Ибо ты будешь покупать книги и пускать в оборот без всякого толку и подвергаться насмешкам

людей образованных, для которых, чтобы извлечь пользу, довольно было бы содержания и смысла написанного в книге, без внешней красоты и роскоши издания их.

29. Но ты надеешься исцелиться от невежества, покрыть его этой славой и поразить людей огромным собранием книг. Ты не знаешь, что совершенно одинаково с тобой поступают и самые невежественные врачи: они делают себе ларчики из слоновой кости, серебряные банки и золотом оправленные ланцеты; когда же приходится применить их к делу, то они не знают даже, как приступить. И тогда вмешивается какой-нибудь сведущий врач, с ножом, лезвие которого прекрасно отточено, хотя рукоятка покрыта ржавчиной,— и больного избавляет от страдания.

Но мне хочется подыскать для тебя еще более смешное сравнение. Итак, погляди на цирюльников — ты увидишь, что искусные среди них имеют бритву, ножички, зеркало надлежащих размеров, в нужном количестве, тогда как неучи и невежды выставляют огромное количество и большущие зеркала, но скрыть этим правду никак не могут. Напротив,— и это всего смешнее в их положении,— большинство ходит стричься к их соседям, а перед их зеркалами, подойдя, только оправляют прическу!

30. Так вот и ты: ты мог бы с пользой ссудить твои книги другому, кому они нужны, а сам их использовать не сумеешь. Однако ты даже и одолжить кому-нибудь книгу не пожелал никогда, но поступаешь, как собака на сене, что лежит в яслях: и сама не ест, и лошади, которая могла бы есть, не дает.

Вот что, на этот хотя бы раз, я хотел сказать тебе с полной откровенностью, но только о книгах; а о всем остальном твоём поведении, мерзком и позорном, ты другой раз — и не раз еще — услышишь.





САТУРНАЛИИ

1. Жрец. О Крон! Ты, кажется, правишь миром; по крайней мере сейчас в твою честь совершаем мы заклания и тебе приносим благоприятные жертвы,— о чем же мне, заведая жертвоприношениями, лучше всего попросить? Что я могу получить от тебя?

Крон. Это уж тебе самому лучше обдумать, что тебе желательно приобрести. А то ты хочешь как будто, чтобы царь был вместе с тем и пророком и знал, какая просьба доставит тебе больше удовольствия. Я же, насколько смогу, не отвергну твоей молитвы.

Жрец. Я давно все обдумал. Я хочу того, что желают все, что нужно каждый день: богатства, золота побольше, владеть полями, получить много рабов, разноцветного тонкого платья, серебро, слоновую кость и разные другие драгоценности. Итак, добрейший Крон, даруй мне все это, чтобы и мне хоть немножко

насладиться плодами твоего управления и не оставаться одному всю жизнь обездоленным.

2. Крон. Видишь ли! Ты попросил у меня того, что не от меня зависит, так как не мое дело распределять подобные вещи. А потому не посетуй, если не получишь их. Попроси у Зевса, когда к нему перейдет власть, через несколько дней. Я же принимаю правление на определенных условиях: в течение семи дней у меня вся полнота царской власти, но, как только перейду свой срок, тотчас же становлюсь частным лицом, одним из большой толпы. Но и в эти семь дней мне не предоставлено права устраивать никаких важных общественных дел. Пить и напиваться, кричать, шутить, играть в кости, назначать царей праздника, угощать рабов, петь, скинув одежды, и бить с опаской в ладоши, а подчас быть сброшенным головой вниз в холодную воду, с лицом, вымазанным сажей,— вот что мне дозволено делать. А такие значительные вещи, как богатство и деньги, Зевс раздаст кому пожелает.

3. Жрец. Да и от него, Крон, тоже не легко и не скоро получишь. Я по крайней мере уже перестал добиваться и просить его во весь голос: Зевс совершенно не внемлет мольбам, но, потрясая эгидой и простирая перун, глядит угрюмо и поражает страхом докучных просителей. Если же подчас и кивнет кому-нибудь благосклонно и сделает богатым, то без всякого разбору: нередко, отвергнув добрых и рассудительных людей, он проливает богатство на совершенных негодяев и глупцов, на таких, кого бить плетями нужно, и женоподобных по большей части. Но все-таки хотелось бы знать, что же ты в силах сделать.

4. Крон. В целом не мало, и всё вещи, которыми совсем не стоит пренебрегать, принимая во внимание размеры моей власти и продолжительность правления. Разве мало, по-твоему, победить при игре в кости, когда для других они выпадают единицей, а для тебя постоянно оказывается сверху шестерка? Не мало людей таким образом вволю запаслись всем нужным, оттого что кость была к ним милостива и послала выигрыш. Другие же, напротив, выплыли голыми после того, как корабль их разбился вдребезги о такую маленькую скалу, как игральная кость. И далее: пить в свое удовольствие и во время пирушки быть признанным голосистее любого другого певца; затем,

при раздаче вина, когда другие за свою неловкость при выполнении обязанностей летят — таково наказание — в воду, быть провозглашенным победителем и унести с собой, как награду, колбасу... Посуди сам, разве это не великие блага? Затем стать одному царем над всеми, получив власть благодаря счастливо выпавшей кости, и уже не быть обязанным исполнять смехотворные приказания, а самому иметь право приказывать: одному — прокричать что-нибудь непристойное о себе самом, другому — проплясать голым и, схватив на руки флейтистку, трижды обойти с ней дом, — разве и это все не доказательства моей щедрости? Если же ты станешь жаловаться на то, что это власть не настоящая и не прочная, ты проявишь неблагодарность, ибо сам я, податель всех этих благ, управляю, как видишь, лишь короткое время. Так вот, того, что в моих силах, — выигрыша в кости, права праздничного царя, успеха в песнях и всего перечисленного мною выше, — проси смело, и знай, что я ни за что не стану пугать тебя эгидой или перуном.

5. Жрец. Но, лучший среди Титанов, я не нуждаюсь в таких дарах! Ответь мне на несколько вопросов, которые мне очень хотелось бы разрешить. Если ты ответишь на это, то тем самым вознаградишь меня в достаточной мере за жертву, и на будущее время я отпускаю тебе долги.

Крон. Спрашивай! Что буду знать — отвечу.

Жрец. Итак, первое: правда ли, что о тебе рассказывают, будто ты поедал то, что рождала тебе Рея, и будто она, выкрыв Зевса, подменила младенца камнем и дала тебе проглотить? А Зевс, придя в возраст, прогнал тебя с престола, победив на войне. Потом без стеснений сбросил тебя в Тартар, заключив в оковы и тебя самого и всех союзников, которые стояли на твоей стороне.

Крон. Ну знаешь ли, не справляй мы сейчас праздник, не будь разрешено пить и бранить господ, сколько захочется, ты узнал бы у меня, что мне разрешено также и гневом раздражаться. Ведь этакое спросил! И не стыдно тебе такого седого и старого бога!

Жрец. Но я это, Крон, не от себя говорю. Ведь и Гесиод, и Гомер, и я не решаюсь этого сказать, почти все остальные люди верят рассказу о тебе.

6. Крон. Значит, ты думаешь, что этот пастух, этот пустозвон имел хоть сколько-нибудь здравое обо мне

представление? Ну, сам посуди. Есть ли на свете такой человек, я уж не говорю — бог, который позволил бы себе, сам, по доброй воле, пожрать собственных детей? Надо быть новым Фиестом и попасть, подобно ему, в руки нечестивого брата, чтобы так поступать. Но пусть даже так; можно ли, однако, съесть камень вместо младенца и не заметить этого, если, конечно, не обладаешь зубами, совершенно нечувствительными к боли? Нет. И не воевали мы вовсе, и Зевс не отнимал у меня власти силой, но я сам, добровольно, передал ему ее и отказался от управления миром. А что я не в оковах и не в Тартаре,— это, я думаю, ты и сам видишь, если ты не слеп, как Гомер.

7. Жрец. Что же случилось с тобой, Крон, почему ты сложил с себя власть?

Крон. Изволь, я тебе расскажу. Все дело в том, что я был уже стар и страдал вследствие своего возраста подагрой,—отсюда и возникло у людей предположение о моих оковах, так как я был не в силах, меня не хватало на все преступления нынешнего поколения. Вечно приходилось бегать то вверх, то вниз с поднятым перуном и поджигать им разных клятвопреступников, святотатцев и насильников,— дело было хлопотливое, тягостное и под стать только молодому. Вот я и уступил мое место Зевсу, и очень рад, что так сделал. Вообще я решил, что неплохо будет разделить мое царство между сыновьями, благо они у меня имеются, а самому на покое наслаждаться, лежа целые дни за столом и не возиться больше с молящимися, не выслушивать докучных просьб, одна с другой несовместимых, не греметь громами, не сверкать молниями и не оказываться больше никогда вынужденным прибегать подчас к градобитию. Вместо всего этого я веду сейчас стариковскую жизнь, чрезвычайно приятную: пью нектар покрепче да разговоры разговариваю с Иапетом и другими моими сверстниками. А Зевс царствует, испытывая бесчисленные затруднения.

Впрочем, для этих вот нескольких дней я решил сделать исключение, на условиях, которые тебе перечислил. В эти дни я снова принимаю власть, чтобы напомнить людям, каково жилось им при мне, когда все рождалось несеяное, неспаханное и не то что колося, а были готовыми и печеный хлеб и мясо; когда вино текло реками, а ручьи бежали медом и молоком. А все потому, что люди тогда были добрые, золотые

люди... Так вот по какой причине я на этот короткий срок принимаю правление и вот почему повсюду веселый гам, песни, шутки и общее равенство всех, и рабов и свободных; потому что при мне вовсе не было рабов.

8. Жрец. А я, Крон, твое дружелюбие к рабам и узникам объяснял все тем же мифом, думал, что ты делаешь это, желая почтить товарищей по несчастью, так как ты и сам был рабом и не забыл об оковах.

Крон. Да перестанешь ли ты наконец нести этот вздор?

Жрец. Правильно! Сейчас перестану. Только на один вопрос еще ответь мне: игра в кости и в твоё время была в употреблении среди людей?

Крон. Ещё как! Но, конечно, играли не на таланты, не на десятки тысяч драхм, как у вас, а самое большее — на орехи. Так что проигравший даже не огорчался и не лил слез о том, что навсегда один остался без хлеба.

Жрец. Правильно, конечно, они делали. Да и на что им было играть, когда они сами были из чистого золота? Мне даже пришла в голову, пока ты говорил, такая мысль: если бы кто-нибудь привел одного из тогдашних златокованных мужей в нашу теперешнюю жизнь и показал его людям, — чему бы подвергся с их стороны этот несчастный? Да ведь они бы, я уверен, сбежавшись, на части его разнесли — как Пенфея менады, или фракиянки Орфея, или Актеона собаки, — ссорясь друг с дружкой из-за того, чтобы унести кусок побольше. Даже, справляя праздник, теперешние люди не могут освободиться от корыстолюбия, и очень многие превращают праздник в источник дохода. А потом, одни идут домой, ограбив друзей во время пирушки, а другие бранят тебя, без всякой надобности, и разбивают игральные кости, ничуть перед ними не повинные в том, что люди сами натворили по своей доброй воле.

9. Но вот что еще скажи: почему, в конце концов, ты, бог, привыкший к такой роскоши и притом уже старик, выбрал самое неприятное время года, когда снег покрывает все, ветер дует с севера и нет ничего, что не было бы сковано холодом, а деревья стоят сухие, голые, с опавшими листьями, луга безобразны и отцвели; когда сами люди гнут спины, будто глубокие старцы, собираясь около очага, — и в такое-то время ты

справляешь свой праздник? Совсем это не стариковское время и не годится для тех, кто хочет понежиться.

Крон. Ну, знаешь ли, ты уж очень много у меня спрашиваешь! Пора выпить. Ты у меня и без того отнял немалую часть праздника, приставая ко мне со своими мудрствованиями, не очень-то мне нужными. Оставь сейчас все это. Будем есть в свое удовольствие, бить в ладоши и почувствуем себя свободными на нашем празднике. Потом сыграем в кости, по-старинному — на орехи, поставим себе царей и будем их слушаться. И постараемся оправдать пословицу, которая гласит: «старый, что малый».

Жрец. Ну, Крон, пусть никогда не сможет утолить жажду тот, кому не нравятся твои слова! Выпьем же! Ибо довольно с меня и первых твоих ответов. И я твердо решил записать в книгу беседу нашу — о чем я спрашивал и что ты милостиво мне отвечал, и дать записанное для прочтения тем из друзей, кто достоин внимать речам твоим.





**АЛЕКСАНДР,
ИЛИ
ЛЖЕПРОРОК**

1. Может быть, дорогой Цельс, ты думаешь, что это задача простая и легкая — описать жизнь Александра, обманщика из Абонотиха, его выдумки, проделки и предсказания и прислать тебе в виде отдельной книги?

Если бы кто-нибудь захотел изложить все в подробностях, это было бы не легче, чем описать деяния Александра, сына Филиппа, ибо низость первого ничуть не меньше доблести второго. Но если ты готов прочесть мой рассказ со снисхождением и от себя добавить то, чего не окажется в моем рассказе, я берусь выполнить для тебя эту трудную задачу и попытаюсь вычистить стойла Авгия, — если и не все, то насколько хватит у меня сил. Я вынесу оттуда немало корзин грязи, чтобы по ним ты мог судить, как стойла обширны и какое неизмеримое количество навоза накопили в течение многих лет три тысячи быков.

2. Мне стыдно за нас обоих: за тебя — что ты прошишь написать о нем, сохранить память о трижды проклятом человеке, за себя — что я прилагаю старание описать дела обманщика, который достоин не того, чтобы о нем читали образованные люди, но чтобы его разорвали на части обезьяны или лисицы где-нибудь в громадном театре, на глазах у всего народа.

Если кто-нибудь станет меня за это винить, я смогу привести в пример Арриана, ученика Эпиктета, выдающегося человека среди римлян: всю жизнь занимаясь наукой, он оказался в подобном же положении и посему может явиться нашим защитником. Ведь и он не счел для себя недостойным описать жизнь Тиллибора-разбойника. Я же опишу разбойника гораздо более опасного, так как он разбойничал не в горах и лесах, бродил не только по Мисии и по склонам Иды, опустошал не какие-то закоулки в Азии, но, если можно так выразиться, наполнил своим разбоем всю Римскую державу.

3. Сперва в нескольких словах опишу тебе его самого с возможно бóльшим сходством, насколько это в моих силах, хотя я и не искусный живописец. Итак, Александр был высок, красив и в чем-то действительно богоподобен: кожа его отличалась белизной, подбородок был покрыт редкой щетиной; волосы Александр носил накладные, чрезвычайно искусно подобрав их к своим, и большинство не подозревало, что они чужие. Его глаза светились сильным и вдохновенным блеском. Голос он имел очень приятный и вместе с тем звучный. Словом, наружность Александра была безупречна.

4. Такова была его красота. Душа же его и направление мыслей... О Геракл, избавитель от зла! О Зевс, отвратитель несчастий! О Диоскуры — спасители! Лучше встретиться с врагом и недругом, чем иметь дело с человеком, похожим на Александра. Он отличался природными дарованиями, гибкостью и остротой ума; был наделен немалой любознательностью, понятливостью, памятью, способностью к наукам, но пользовался всеми этими задатками самым дурным образом. Дав благородным качествам своей души низменное назначение, он превзошел своим злодейством Керкопов, Еврибата, Фринонда, Аристодема, Сострата. Сам он однажды в письме к Рутиллиану, своему зятю, говоря о себе, с большой скромностью счел возможным при-

равнять себя Пифагору. Но да будет ко мне милостив Пифагор, этот мудрец с божественным разумом! Я хорошо знаю, что если бы он в это время был жив, то по сравнению с Александром показался бы младенцем. Все же, ради харит, не думай, что я это говорю, желая оскорбить Пифагора, или пытаюсь их сопоставить потому, что они действовали одинаково. Но если собрать всю гнусную и злобную клевету, распространяемую про Пифагора (в ее истинность я никогда не поверю), — все это оказалось бы самой незначительной частью злодейств Александра. Одним словом, представь себе все многообразие свойств его души — вместилища лжи, хитрости, клятвопреступлений, козней, души человека без предрассудков, смелого, готового на опасный шаг, терпеливого в исполнении задуманного, обладающего даром убеждения и умеющего внушить доверие, изобразить добрые чувства и представить все противоположное своим истинным намерениям. При первой встрече всякий выносил об Александре самое лучшее впечатление как о человеке благороднейшем, мягкосердечном и к тому же в высшей степени простодушном и правдивом. При всем том ему было присуще стремление к величию: никогда он не думал о малом, но всегда направлял свой ум на великие дела.

5. Мальчиком Александр был очень красив, если судить, как говорится, по соломе и как приходилось слышать в разговорах о нем. Он без зазрения совести предавался разврату и за деньги принадлежал всем желающим. Среди прочих любовников был у него какой-то обманщик, опытный в магии и заклинаниях, обещавший влюбленным приворожить любимого человека, помогавший устранять врагов, учивший находить клады и получать наследства. Видя, что мальчик обладает способностями и с охотой готов помогать ему и не менее влюблен в этот гнусный промысел, чем он — в его красоту, обманщик дал Александру образование и все время пользовался им как помощником и прислужником, выдавая себя обыкновенно за врача и умея, подобно жене египтянина Фона

Много составить полезных лекарств, но также и ядов.

Александр стал его преемником и наследником. Учитель, его любовник, был тианиец родом, из числа

людей, близких к Аполлонию из Тианы и знавших все его проделки. Ты видишь, из какой школы вышел человек, о котором я тебе рассказываю.

6. Когда у Александра стала уже расти борода, его тианиец умер, и Александр очутился в бедности, так как цветущий возраст, благодаря которому он мог кормиться, прошел. Мечты у него, однако, были отнюдь не скромные. Он вошел в сообщество с каким-то историком из Византии — одним из тех, что постоянно посещают публичные состязания, — с человеком еще более гнусной души, по имени, кажется, Коккон.

Они стали странствовать вместе, обманывая и занимаясь предсказаниями, причем стригли толстокожих людей (так исстари на языке магов называется толпа). В это время они встретили Макетиду, богатую женщину, уже пожилую, но желавшую еще быть любимой. Она-то и взяла их к себе на содержание, и вместе с ней они отправились из Вифинии в Македонию, ибо она была родом из Пеллы, которая при македонских царях процветала, а теперь насчитывает лишь немного бедных жителей.

7. В Пелле они увидели огромных змей, вполне ручных и настолько безобидных, что их могли кормить женщины; они спали с детьми, позволяли себя топтать и не сердились, если их начинали мять руками: они питались молоком, беря грудь совсем как младенцы. Подобные змеи водились в этой местности в изобилии, поэтому в древности распространилось предание об Олимпиаде, я думаю, что она спала с такой змеей, когда была беременна Александром. Там обманщики и купили за несколько оболлов одну из самых красивых змей.

8. С этого и началась война, как говорит Фукидид. Оба наших дерзких негодяя, способные на всякое злодеяние, сойдясь вместе, без труда поняли, что человеческая жизнь находится во власти двух величайших владык — надежды и страха — и что тот, кто сумеет по мере надобности использовать и то и другое, скоро разбогатеет. Они видели, что и боящийся и надеющийся — каждый чувствует страстное желание и необходимость узнать будущее. В былое время таким путем разбогатели Дельфы и стали знамениты также Делос, Клар и Бранхиды. Благодаря надежде и страху, этим двум тиранам, о которых я упомянул, люди постоянно идут в святилища и, стремясь узнать будущее, прино-

сят гекатомбы и жертвуют кирпичи из золота. Обсудив все это между собою, наши мошенники решили учредить прорицалище и устроить оракул. Они надеялись, если им это дело удастся, тотчас же стать богатыми и обеспеченными. Успех превзошел их ожидания и расчеты.

9. Вслед за тем они стали решать, во-первых, где им найти подходящую местность, по-вторых — с чего начать свою деятельность и как вести все предприятие. Коккон считал удобным местом Халкедон — город, всегда наполненный торговым людом и расположенный по соседству с Фракией и Вифинией, недалеко от Азии, Галатии и от народов, живущих по соседству с этими странами. Александр, наоборот, предпочитал свою родину, говоря, что для начала такого предприятия нужны люди неповоротливые и глупые, готовые всему поверить. Таковы, по его словам, пафлагонцы, живущие около Абонотиха; эти люди по большей части суеверны и богаты. Как только появляется кто-нибудь в сопровождении музыканта, играющего на флейте, или с тимпаном и кимвалами, и начинает предсказывать, как говорится, с помощью решета, тотчас же все разевают рты, словно увидели кого-нибудь из небожителей.

10. У негодяев произошел небольшой спор, но под конец одержал верх Александр. Потом они прошли в Халкедон (решив, что и этот город может быть им полезен) и закопали в храме Аполлона, самом древнем у халкедонян, медные дощечки, гласившие, что вскоре прибудет в Понт Асклепий вместе со своим отцом Аполлоном и будет иметь своим местопребыванием Абонотих. Эти дощечки, кстати найденные, заставили предсказание очень легко распространиться по всей Вифинии и Понту, в особенности же в Абонотихе. Жители тотчас постановили построить храм и стали рыть землю для закладки оснований. Коккон остается в Халкедоне, сочиняя двусмысленные, неопределенные и непонятные предсказания; в непродолжительном времени он умирает, кажется, от укуса гадюки.

11. Александр же появляется в торжественном виде — с длинными распущенными локонами, одетый в пурпурный хитон с белыми полосами, с накинутым поверх него белым плащом, держа в руках кривой нож, как Персей, от которого он будто бы вел свой род

с материнской стороны. А эти несчастные пафлагонцы, хоть и знали родителей Александра, незнатных и бедных людей, тем не менее поверили изречению, гласившему:

Род свой ведет от Персея и дружбою с Фебом известен
Он, Александр наш божественный, сын Подалирия кровный.

Этот Подалирий был, видно, так развратен и женолюбив по природе, что он отправился из Трикки в Пафлагонию в поисках матери Александра. Было отыскано и предсказание, как будто изреченное Сивиллой:

Возле Синопа, у берега Евксинского понта, в твердыне,
Что авзонийцам подвластна, должно появиться пророку,
Первая буква — один, а затем — три десятка и после
Пять единиц, за которыми следует двадцать тройное;
Части четыре являют омоним защитника-мужа.

12. Возвратившись спустя долгое время на свою родину при такой театральной обстановке, Александр приобрел известность, прославился и стал предметом всеобщего удивления. Иногда он изображал из себя одержимого, и из его рта выступала пена, чего он легко достигал, пожевав корень красильного растения струтия. А присутствующим эта пена казалась чем-то божественным и страшным. Кроме того, для них уже давно была изготовлена из тонкого полотна голова змеи, имевшая некоторое сходство с человеческой. Она была пестро раскрашена, изготовлена очень правдоподобно, и посредством сплетенных конских волос можно было открывать ее пасть и снова закрывать ее; а из пасти высывалось черное, также приводимое в движение с помощью волос, раздвоенное жало, вполне напоминавшее змеиное. Змея, приобретенная в Пелле, находилась у Александра и кормилась в его жилище: ей надлежало своевременно появиться и вместе с ним разыгрывать театральное представление, в котором ей была отведена первая роль.

13. Когда наступило время действовать, вот что они придумали. Ночью Александр пошел к недавно вырытым ямам для закладки основания будущего храма. В них стояла вода, набравшаяся из почвы или от выпавшего дождя. Он положил туда скорлупу гусиного яйца, в которую спрятал только что родившуюся змею, и, зарыв яйцо глубоко в грязь, удалился. На рассвете Александр выбежал на площадь обнаженным, при-

крыв свою наготу лишь золотым поясом, держа в руках кривой нож и потрясая развевающимися волосами, как нищие одержимые жрецы Великой Матери. Он взобрался на какой-то высокий алтарь и стал произносить речь, поздравляя город со скорым приходом нового бога.

Присутствующие — а сбежался почти весь город с женщинами, стариками и детьми — были поражены, молились и падали ниц. Александр произносил какие-то непонятные слова, вроде еврейских или финикийских, причем привел всех в изумление, так как они ничего не понимали в его речи, кроме имен Аполлона и Асклепия, которых он все время упоминал.

14. Затем обманщик бросился бежать к строящемуся храму; приблизившись к вырытым углублениям и к приготовленному им заранее источнику, из которого должны были политься предсказания, он вошел в воду и громким голосом стал петь гимны Аполлону и Асклепию, приглашая бога явиться, принося счастье, в город. Затем Александр попросил чашу, и, когда кто-то из присутствующих подал ему сосуд, он погрузил его в воду и без затруднения вытащил вместе с водой и илом яйцо, в котором он заранее спрятал бога, залепив отверстие в скорлупе воском и белилами.

Взяв яйцо в руки, он говорил, что держит самого Асклепия. А собравшиеся внимательно смотрели, ожидая, что произойдет дальше, очень удивленные уже тем, что в воде нашлось яйцо. Разбив его, Александр взял в руки змейку. Присутствовавшие, увидев, как она движется и извивается вокруг его пальцев, тотчас же закричали и стали приветствовать бога, поздравляя город с новым счастьем. Каждый жарко молился, прося у бога достатка, изобилия, здоровья и прочих благ.

Александр снова отправился домой, неся с собой новорожденного Асклепия, появившегося на свет дважды, а не один раз, как все прочие люди, и рожденного не Коронидой и, клянусь, не вороной, а гусыней. Весь народ следовал за ним, и все были одержимы и сходили с ума от больших надежд.

15. Несколько дней Александр оставался дома, рассчитывая, что в город сбежится множество пафлагонцев, привлеченных распространившейся молвой. Так и случилось. Город переполнился людьми, лишенными мозгов и рассудка, совершенно непохожими на

смертных, питающихся хлебом, и только по виду отличающимися от баранов.

Тогда Александр, усевшись на ложе в небольшом помещении, одетый как подобает божеству, положил за пазуху Асклепия из Пеллы, отличавшегося, как я говорил, большой величиной и красотой. Он обвил змею вокруг своей шеи, выпустив хвост наружу. Змея была так велика, что не помещалась за пазухой, часть ее тела волочилась по земле. Александр скрывал под мышкой только голову гада, который спокойно это переносил; а из-под своей бороды с другой стороны он выставил змеиную головку из полотна, как будто она действительно принадлежала змее, которую все видели.

16. Представь себе теперь небольшое помещение, довольно темное, так как света попадало в него недостаточно, и густую толпу напуганных, заранее объятых трепетом и возбужденных надеждой людей. Входящим, несомненно, казалось чудесным, что совсем недавно родившаяся змея за несколько дней так выросла и что к тому же у нее человеческое лицо. Посетители толкали друг друга к выходу и, не успев ничего хорошо разглядеть, уходили, теснимые бесконечной толпой входящих. В стене против двери был проделан другой выход, как, судя по рассказам, македоняне сделали в Вавилоне во время болезни Александра, когда он был уже в тяжелом состоянии и стоявшие вокруг дворца желали на него взглянуть и сказать ему последнее прощанье.

Говорят, что негодяй устраивал подобные представления не один раз, но весьма часто, особенно когда приезжали новички из богатых людей.

17. По правде говоря, дорогой Цельс, я думаю, нужно простить этим пафлагонцам и жителям Понта, людям необразованным, что они были обмануты, трогая змею (ведь и это Александр предоставил делать желающим). При тусклом свете посещавшие видели, как голова действительно разевает и закрывает пасть. Все было так хитро устроено, что следовало быть Демокритом, или самим Эпикуром, или Метродором, или другим философом с достаточно твердым разумом, чтобы не поверить всему этому и сообразить, в чем дело. Ведь нужно быть заранее убежденным, даже не обнаружив еще подделки, в том, что вся эта история была обманом, что такое не могло произойти в действ-

вительности и что неясен только прием, с помощью которого Александр морочит толпу.

18. Понемногу вся Вифиния, Галатия и Фракия стали стекаться к Александру. Впоследствии каждый рассказывал,— это было вполне естественно,— что он видел рождение бога, прикасался к нему немного спустя, когда бог в течение короткого времени достиг очень большой величины и стал лицом похож на человека. Кроме того, появились рисунки и изображения змеи, статуи, изготовленные из дерева, меди и серебра; змея получила имя: ее звали Гликоном, согласно какому-то исходившему от бога приказанию. Действительно, Александр изрек:

Третьей от Зевса я крови, Гликон, озарение смертным.

19. И вот, когда пришло время исполнить то, ради чего все эти ухищрения были выдуманы, то есть изрекать желающим оракулы и предсказывать будущее, Александр взял пример с Амфилоха, почитаемого в Киликии. Амфилох после кончины своего отца Амфиария и исчезновения его в Фивах покинул родной дом. Придя в Киликию, он недурно вышел из затруднительного положения, предсказывая киликийцам будущее и беря за каждое предсказание два обола. С него-то Александр и взял пример, предупреждая всех приходящих, что бог будет предсказывать в такой-то день.

Александр советовал каждому написать на табличке, чего он желает или что особенно хочет знать, затем завязать и запечатать табличку воском, глиной или чем-нибудь вроде этого. Обманщик сам брал табличку и, войдя в святилище (храм был уже воздвигнут и приготовлены подмости), объявлял, что будет через глашатая и священнослужителя по очереди вызывать подающих таблички. Он обещал, выслушав слова бога, возвратить таблички запечатанными, как раньше, с приписанным ответом божества, отвечающего на все, о чем бы его ни спросили.

20. Подобная проделка совершенно ясна и сразу понятна для такого человека, как ты или, если не будет нескромностью сказать, как я; для людей же недалеких и глупых это казалось необъяснимым чудом. Придумав разнообразные способы снимать печати, Александр прочитывал каждый вопрос и отвечал на него, как находил подходящим в данном случае; затем

снова запечатывал и отдавал их, к большому удивлению получавших. Часто среди них раздавалось: «И откуда он мог узнать, что я ему передал? Ведь я тщательно запечатал, и печать трудно подделать; конечно, это сделал бог, который все доподлинно знает».

21. Может быть, ты спросишь, какой способ он придумал для вскрытия табличек; выслушай же меня, чтобы ты в подобных случаях мог уличать виновных в обмане. Первый способ, дорогой Цельс, состоит вот в чем: раскалив иглу и расплавив при ее помощи часть воска, находившуюся под оттиском, он снимал печать и прочитывал таблички. Затем без труда снова склеивал, расплавив иглой воск — и тот, что находился внизу, под бечевкой, и тот, на котором был самый оттиск. Второй способ заключался в применении так называемого коллирия. Этот состав готовится из бруттийской смолы, асфальта, толченого прозрачного камня, воска и мастики. Составив из всего этого коллирий, разогрев его на огне и смазав печать слюной, он накладывал его и, сняв, получал отпечаток. Когда же тот затвердевал, Александр спокойно распечатывал таблички и читал их. Затем накладывал воск и, приложив коллирий, словно каменную печать, делал оттиск, вполне сходный с прежним. Кроме этих двух способов, познакомься с третьим. Всыпав в камедь, которою склеивают книги, извести и сделав из этого тесто, Александр прикладывал состав еще влажным к печати; затем, сняв, пользовался им как печаткой: состав тотчас же засыхал и становился тверже рога и даже железа. Для этой цели он придумал и многое другое; но, чтобы не казалось, будто я не знаю меры, мне не следует припоминать все, особенно для тебя, давшего гораздо больше подходящих примеров в своем сочинении против магов — прекраснейшем труде, полезном и способном вразумить тех, кто с ним познакомится.

22. Александр предсказывал и пророчествовал с большим умением, обладая, кроме воображения, еще и догадливостью; одним он давал двусмысленные и неопределенные ответы, другим — совершенно невразумительные: это ему казалось вполне подходящим для деятельности пророка. Одних он отговаривал, других побуждал делать,* как он находил лучше, соответственно своей догадке. Иным он давал врачебный совет и предписывал вести определенный образ

жизни, зная, как я говорил, много полезных лекарств. Особенно он любил прописывать «китмиды»: обманщик придумал это название для укрепляющего снадобья, изготовленного из козьего жира.

Но божество всегда откладывало до другого раза предсказания об исполнении желаний, об успехах, получении наследства, прибавляя, что «все исполнится, когда я того пожелаю и когда Александр, мой пророк, будет просить и молиться за вас».

23. За каждое прорицание была назначена плата — драхма и два обола. Не подумай, мой друг, что этот доход был мал и приносил немного: Александр собирал от семидесяти до восьмидесяти тысяч ежегодно, так как люди в своей ненасытности обращались к нему до десяти и пятнадцати раз.

Однако, получая эти доходы, он пользовался ими не один и не откладывал сокровищ, но держал около себя много сотрудников и помощников: соглядатаев, составителей и хранителей изречений, секретарей, лиц, накладывающих печати, и различных толкователей; каждому из них он уделял по заслугам.

24. Иных он отправлял в чужие страны с тем, чтобы они распространяли среди различных народов слух о его оракуле и рассказывали, что бог дает предсказания, находит беглых рабов и воров, указывает грабителей, учит обнаруживать клады, исцелять больных и даже будто воскресил нескольких умерших.

Началось отовсюду стечение народа, толкотня, жертвоприношения, дары и подарки в двойном количестве — пророку и ученику бога. Ведь оракул изрек:

Я почитать моего толкователя повелеваю;
Я о богатстве не слишком забочусь: пекусь о пророке.

25. Многие из тех, кто имел разум, придя в себя, как будто от глубокого опьянения, восстали против него, в особенности друзья Эпикура. Их оказалось много, и они в разных городах постепенно раскрыли весь обман его пустых представлений. Тогда Александр устроил для них пугало, говоря, что Понт наполнился безбожниками и христианами, которые дерзают о нем гнусно богохульствовать, и приказывал гнать их камнями, если кто захотел заслужить милость бога.

В ответ на чей-то вопрос, что делает в Аиде Эпикур, последовало такое изречение:

В свинцовых узах враг богов сидит в грязи и смраде.

Слыша эти умные вопросы столь образованных людей, неужели ты станешь удивляться, что слава оракула чрезвычайно возросла? У Александра с Эпикуром велась война непримиримая и ожесточенная, и это вполне естественно. С кем же другим с большим основанием мог вести войну обманщик, друг всяких басен о чудесах, ненавистник правды, как не с Эпикуром, исследовавшим природу вещей, — единственным человеком, знавшим о ней истину?

Последователи же Платона, Хрисиппа и Пифагора были друзьями Александра, и с ними он пребывал в мире и согласии. Но неприступный Эпикур — так Александр его называл — по справедливости был его злейшим врагом, так как Эпикур над всеми подобными вещами смеялся и шутил. По этой же причине Александр из всех понтийских городов особенно ненавидел Амастриду, так как знал, что в этом городе много сторонников Лепида и им подобных. И он ни разу не изрек оракула для жителя Амастриды. А когда он решился дать предсказание брату одного сенатора, то потерпел смехотворную неудачу: он не был в состоянии сам сочинить подходящее изречение и не мог найти кого-нибудь, кто бы своевременно это сделал; больной жаловался на резь в желудке, и Александр, желая предписать ему поест свиной ноги, приготовленной с просвирняком, выразился так:

Тмином в священной квашне пересыпь просвирняк поросенка.

26. Часто, как я говорил раньше, Александр позволял желающим посмотреть на змею, не целиком выставляя ее напоказ, но лишь туловище и хвост, голову же скрывая от взоров за пазухой. Желая еще более поразить толпу, Александр обещал, что она услышит самого бога говорящим и изрекающим оракулы без помощи толкователя. Для этого он связал высушенные глотки журавлей и очень ловко, без всякого труда, пропустил их сквозь искусственную змеиную голову: на вопросы отвечал человек, который из другого помещения кричал через эти трубки, и голос, таким образом, исходил из матерчатого Асклепия. Подобные ответы назывались самоизреченными и давались не всем без разбора, но лишь людям знатным, богатым и щедрым.

27. Ответ Севериану относительно его похода в Армению был из числа самоизреченных. Побуждая Севериана к нападению, оракул гласил следующее:

Быстрым копьем покорив парфян и армян, ты вернешься
В Рим и над Тибра водой прозрачной пройдешь — победитель,
Кудри свои увенчав лавровым венком лучезарным.

А когда этот глупый кельт, повинувшись оракулу, предпринял нападение и погиб вместе со своим войском, разбитый Отриадом, Александр изъял предсказание из записей и поместил вместо него следующее:

Севериан, воевать не пытайся с армянами, как бы
Враг твой, одетый, как женщина, в длинное платье, из лука
Гибельный рок не метнул и лишил тебя жизни и света.

28. Александр очень умно придумал давать предсказания задним числом для исправления плохих и ошибочных оракулов. Часто он предрекал больным перед смертью здоровье, а когда они умирали, была уже наготове совсем другая песня:

Помощи более ты не ищи в своей тяжелой болезни,
Ныне погибель твоя очевидна, ее не избежешь.

29. Зная, что прорицатели в Кларе, Дидимах и Малле были славны в искусстве предсказания, он старался сделать их своими друзьями, многих из приходивших к нему отсылая к ним с такими словами:

В Клар ты теперь поспеши и отца моего там послушай.

Или так:

К храму святому Бранхидов приблизься, внемли изречению.

Или иногда:

В Малл Амфилохов оракул иди спросить поскорее.

30. Все это происходило в пределах Ионии, Киликии, Пафлагонии и Галатии. Когда же слова оракула перешли в Италию и достигли города римлян, все пришло в движение. Одни отправлялись сами, другие посылали доверенных людей, в особенности наиболее могущественные и имевшие большое значение в государстве.

Из этих людей самым значительным оказался Рутиллиан, человек во всех отношениях благородный

и честный, занимавший многие государственные должности, но невероятно суеверный: о богах он имел самые чудовищные представления. Увидев камень, помазанный маслом и покрытый венками, он готов был тотчас же пасть ниц и надолго остановиться, молясь о благополучии.

И вот, едва он услышал об оракуле, как чуть не бросил вверенную ему должность, чтобы полететь в Абонотих. Он посылал одних доверенных за другими. Посланные же, глупые слуги, легко поддались обману и, возвращаясь, рассказывали о том, что действительно видели, и о том, что якобы видели и слышали, прибавляя еще больше от себя, чтобы угодить своему господину. Они воспламенили воображение несчастного старца и ввергли его в сильнейшее безумие.

31. Будучи другом большинства самых знатных лиц, Рутиллиан часто приходил к ним, передавая донесения своих посланцев, прибавляя кое-что и от себя. Таким образом он привел в смятение весь город, наполнил его разговорами об оракуле и смутил большинство придворных, которые тотчас, в свою очередь, заторопились узнать что-нибудь и про свою судьбу.

Александр принимал приходивших к нему дружелюбно, располагал к себе гостинцами и всякими богатыми подарками. Возвращаясь от него, они были готовы не только возвещать ответ оракула, но и восхвалять бога и рассказывать про оракул и про самого Александра ложные чудеса.

32. Проклятый обманщик выдумал очень умный, достойный незаурядного разбойника прием. Распечатывая и прочитывая присылаемые таблички и находя что-нибудь опасное и рискованное в вопросах, он не торопился отсылать их обратно, чтобы при помощи страха держать в своей власти отправителей, делая их чуть ли не своими рабами, так как они помнили, о чем спрашивали. Ты понимаешь, какие вопросы, вероятно, задавали ему эти богачи и вельможи. Таким образом он получал от них много подарков, ибо они знали, что находятся в его сетях.

33. Я хочу привести тебе некоторые изречения оракула, данные Рутиллиану. На его вопрос, какого наставника в науках дать его сыну от первой жены, достигшему школьного возраста, Александр ответил:

Браней глашатая, дивного песнями, и Пифагора.

Когда через несколько дней мальчик умер, Александр оказался в безвыходном положении и ничего не мог возразить на обвинения, так как его оракул явно опозорился. Но благородный Рутиллиан предупредил его и сам стал на защиту прорицателя, говоря, что бог предсказал именно это, повелев взять в учителя мальчику не кого-либо из живых, но давно умерших Пифагора и Гомера; с ними, несомненно, мальчик пребывает теперь в Аиде. За что же, в самом деле, упрекать Александра, если он счел позволительным глумиться над такими людишками?

34. Затем на вопрос Рутиллиана, чьей душой он обладает, Александр ответил:

Знай, ты родился Пелидом впервые, а после Менандром.

В образе ныне своем, а затем ты лучом будешь солнца.

Целых сто лет проживешь ты на свете и восемь десятков.

А Рутиллиан умер семидесяти лет от роду от разлития желчи, не дождавшись исполнения божественного обещания.

Этот оракул был из числа самоизреченных.

35. Однажды Рутиллиан спросил относительно брака, Александр ответил вполне определенно:

Дочь Александра и ясной Луны тебе будет супругой.

Дело в том, что Александр уже давно распространил молву, будто дочь была рождена ему Луной. Увидав Александра спящим, Луна будто бы была объята страстью к нему, так как имела обыкновение влюбляться в спящих красавцев. И вот умный Рутиллиан, нимало не колеблясь, посылает прямо за дочерью обманщика, и жених в шестьдесят лет заключает брак и живет с женой, умиловив тещу Луну целыми гекатомбами; он думал, что и сам сделался одним из небожителей.

36. Утвердившись в Италии, Александр задумал еще большие предприятия: он стал отправлять во все концы римской державы слуг с предсказаниями, возвещая городам моровые язвы, предписывая остерегаться пожаров и землетрясений, обещая явиться надежной помощью от предсказанных им бед. Одно из таких прорицаний, тоже самоизреченное, он разослал во время моровой язвы по всем народам. Обещание состояло из одного стиха:

Тучу заразы от вас отражает сам Феб длиннокудрый.

Этот стих можно было видеть на всех дверях: его писали, видя в этом средство отвратить заразу. Вышло же для большинства обратное обещанному: по какой-то случайности наибольшее опустошение произошло в тех домах, на которых был написан этот стих. Не думай, будто я хочу сказать, что их погубили эти слова. Виновником оказался случай; возможно и то, что многие, надеясь на изречение, вели слишком беззаботный и легкомысленный образ жизни. Они ни в чем не помогали оракулу избавить их от болезни, так как имели своими защитниками только слова и длинноволосого Феба, стрелами отгоняющего заразу.

37. В самом Риме Александр содержал конечно, много соглядатаев, своих сообщников, которые доносили ему о настроении каждого, предупреждали о возможных вопросах и наиболее сильных желаниях. Таким образом, Александр был всегда подготовлен к ответу прежде, чем приходили посланные.

38. Кроме всего предпринятого в Италии, Александр придумал следующее: он установил какие-то мистерии, продолжавшиеся три дня подряд, с шествием, в котором участвовали факелоносцы и иерофанты. Как в Афинах, первый день мистерий начинался возгласом: «Если какой-нибудь безбожник, христианин или эпикуреец придет подсматривать наши тайные богослужения, он будет изгнан; верные пусть приступают к таинствам в честь бога в добрый час». Сразу же после этого возгласа происходило изгнание; Александр первым произносил: «Христиан — вон!» — а толпа отвечала: «Вон эпикурейцев!» Затем происходило священное представление: разрешение от бремени Латоны, рождение Аполлона, брак с Коронидой и появление на свет Асклепия. На второй день праздновали явление Гликона и рождение этого божества.

39. На третий день справляли брак Подалирия и матери Александра; этот день носил имя Дадис, так как зажигались факелы. Напоследок же представлена была любовь Александра и Селены и рождение жены Рутиллиана. Факелоносцем и главным жрецом был Эндимион-Александр. Он возлежал посреди храма и, конечно, спал, вместо Луны к нему спускалась с потолка, как с неба, некая Рутиллия, молодая и красивая жена одного из императорских прокураторов; она действительно была влюблена в Александра

и пользовалась взаимностью; на глазах ее несчастного мужа среди храма происходили поцелуи и объятия; и если бы не слишком яркое освещение, то, конечно, было бы совершенно и то, что происходит втайне. Немного спустя Александр вновь выходил в наряде жреца и среди полного молчания громким голосом произносил: «О, Гликон!» Следовавшие за ним подлинные Евмолпиды и Керики (это были пафлагонцы, обу-тые в грубые сапожищи и распространявшие запах чесночной похлебки) отвечали в свою очередь: «О, Александр!»

40. Часто во время праздника с факелами и религиозных танцев Александр преднамеренно обнажал и показывал свое золотое бедро, по-видимому, прикрытое золоченой кожей и сверкающее при свете факелов. Как-то двое мудрых глупцов решили спросить, не обладает ли он вместе с золотым бедром также и душой Пифагора или похожей на нее, и передали этот вопрос Александру. Владыка Гликон разрешил их недоумение в таком изречении:

Гибнет душа Пифагора, но снова затем оживает,
Разум божественный сам от себя порождает пророка;
Людям хорошим в защиту отец его посылает;
Зевса перуном сраженный, к нему возвратится он снова.

41. Он приказывал всем воздерживаться от сожительства с мальчиками, как от греха, а сам в своем благородстве придумал следующее. Он предписал городам Пафлагонии и Понта посылать каждые три года прислужников в храм, чтобы они пели у него гимны в честь бога. Надлежало посылать самых знатных, во цвете молодости и красоты, выбранных после тщательного осмотра. Запираясь с ними, он пользовался мальчиками как купленными за деньги рабами, спал с ними и делал с ними всякие гнусности. Он издал закон, чтобы никто старше восемнадцати лет не прикасался к его устам и не целовал его, когда приветствует; но, протягивая всем прочим для поцелуя свою руку, он сам целовал только молодых людей, которые назывались: «Мальчики-поцелуйчики».

42. Пользуясь, таким образом, человеческой глупостью в свое удовольствие, Александр невозбранно соблазнял женщин и жил с молодыми людьми. Каждому казалось приятным и желательным, если Александр удостоит взглядом его жену; а если уж он на-

градит ее поцелуем, всякий считал, что его дом посетит счастье. Многие женщины хвалились, что от Александра имеют детей, и мужа удостоверяли, что они говорят правду.

43. Я хочу передать тебе также разговор Гликона с неким Сacerдотом из Тианы, чтобы ты узнал из вопросов, какого приблизительно качества был ум Александра. Я прочел этот разговор, записанный золотыми буквами в Тиане, в жилище Сacerдота.

«Скажи мне, владыка Гликон: кто ты такой?» — «Я, — ответил тот, — новый Асклепий». — «Другой, не тот, что был раньше? Что ты скажешь?» — «Тебе не дозволено этого знать». — «Сколько лет ты пробудешь у нас, давая оракулы?» — «Тысячу и три». — «А затем куда ты отправишься?» — «В Бактру и тамошние земли. Следует, чтобы и варвары воспользовались моим присутствием». — «Остальные прорицалища — в Дидимах, Кларе, Дельфах — действительно ли твоего деда Аполлона или даваемые ими прорицания лживы?» — «Не желай это узнать: это не дозволено». — «Кем я буду после моей теперешней жизни?» — «Верблюдом, затем лошадью, потом мудрецом и пророком, не меньшим, чем Александр». Вот что сказал Гликон Сacerдоту. Под конец он изрек стихотворный оракул, так как знал про его дружбу с Лепидом:

Лепиду не доверяй ты; погибельный рок — его спутник.

Как я уже сказал, Александр очень боялся Эпикура — искусного и мудрого врага его обмана.

44. Александр подверг немалой опасности одного эпикурейца, осмелившегося его порицать в присутствии большой толпы. Выйдя вперед, эпикуреец громким голосом сказал: «Ты, Александр, убедил такого-то пафлагонца передать правителю Галатии для смертной казни своих слуг за то, что они будто бы убили его сына, получавшего образование в Александрии. А юноша жив и возвратился невредимым после гибели рабов, отданных тобой на растерзание диким зверям. Дело было так. Прибыв в Египет, юноша доплыл на корабле до гавани Клисмы. Здесь его убедили отправиться в Индию. Так как он задержался с возвращением, то несчастные его рабы, думая, что юноша погиб или во время плаванья по Нилу, или от руки разбойников — последних тогда было много, — возвратились и рассказали о его исчезновении. Затем последо-

вали твой оракул и казни, а после появился юноша и объяснил свое отсутствие».

45. Так он сказал; Александр же, раздраженный этим упреком и не перенося справедливого обвинения, приказал присутствовавшим побить эпикурейца камнями, угрожая, что в противном случае они сами окажутся проклятыми и прослынут эпикурейцами. Толпа уже начала бросать в эпикурейца камни, но некий Демострат — видное лицо в Понте, — находившийся случайно тут же, прикрыл его своим телом и спас таким образом от смерти, а то он был бы побит камнями, и поделом: на что, в самом деле, ему понадобилось одному быть разумным среди таких безумцев и что хорошего вздумал он извлечь из глупости пафлагонцев? Таковы были его проступки.

46. За день до прорицания происходил вызов по очереди всех желающих вопрошать оракула. Если на вопрос глашатая, станет ли он изрекать для такого-то, оракул отвечал: «Ну его к воронам!», то вопрошавшего не принимали ни в один дом, не разделяли с ним ни огня, ни воды. Ему приходилось бежать из страны в страну, как нечестивцу, безбожнику и эпикурейцу; последнее наименование было величайшим ругательством.

47. Александр совершил также и нечто крайне смешное: получив в свои руки «Основные положения» Эпикура, самую, как ты знаешь, прекрасную из всех книг, заключающую догматы мудрого учения этого мужа, он сжег ее на площади на костре из фигового дерева, как будто сжигал самого философа. Пепел он выбросил в море и провозгласил изречение:

В пламень ты ввергни скорее творения старца слепого.

Не знал этот трижды проклятый, что эта книжка является источником великих благ для тех, кто с ней встретится; не знал и того, какой мир, свободу и избавление от душевных волнений приносит она читающим, что она удаляет от нас страхи, привидения и пугающие нас знамения, так же как пустые надежды и чрезмерные желания; влагает в наш ум истину и действительно очищает мысли — не факелами, морским луком и другими подобными пустяками, но правильным словом, истиной и смелой откровенностью.

48. Среди всего прочего выслушай еще об одной величайшей дерзости этого гнусного человека. Поль-

зуюсь высоким положением Рутиллиана, Александр имел крупные связи в императорском дворце и при дворе. Когда возгорелась война в Германии и божественный Марк Аврелий уже готов был схватиться с квадами и маркоманнами, Александр послал ему свой оракул. Изречение приказывало бросить в Истр двух живых львов с большим количеством благовоний и принести богатые жертвы. Лучше всего привести самое изречение:

В воды быстрые Истра, реки, ниспадающей с неба,
Бросить велью я скорей двух слуг богини Кибелы,
С гор приведенных зверей и цветы, благовонные травы,
Индии воздух живительный кои вдыхали. Победа
Тотчас придет со славой великой и миром желанным.

Все произошло согласно его предписанию. Но когда львы переплыли на неприятельский берег, варвары прикончили их дубинами, думая, что это собаки или чужеземная порода волков. Непосредственно после этого наши потерпели ужасный урон, потеряв сразу до двадцати тысяч человек. Затем произошло несчастье под Аквилеей и едва не последовало взятие этого города.

Ввиду случившегося Александр неловко воспользовался известным оправданием Дельф после предсказания Крезу; он объяснил, что бог предсказал победу, но не указал чью: римлян или врагов.

49. Так как прорицалище постоянно наполняла масса людей, и город, тяготясь этой толпой, терпел недостаток в съестных припасах, Александр придумал так называемые «ночные оракулы». Взяв таблички, он утверждал, что спал на них, и давал ответ, будто бы услышанный от бога во сне. Эти ответы были по большей части неясны, двусмысленны и запутанны, особенно если он видел, что таблички запечатаны с большой тщательностью. Не желая подвергать себя опасности, Александр писал в своих ответах наугад, что только приходило ему в голову, считая, что и такой ответ будет годен. Ввиду этого существовали толкователи, собиравшие толкованием и разъяснением оракулов немалые деньги с лиц, получивших такие изречения. Но занятия их были обложены пошлиной: каждый толкователь вносил Александру по одному аттическому таланту.

50. Иногда, чтоб поразить глупцов, Александр изрекал оракул, даже если никто его и не вопрошал и не был к нему прислан,— словом, без всякого повода. Вот, например, подобный оракул:

Знать ты, конечно, желаешь, кто в доме твоём сокровенно
Брачный союз твой позорит с женой твоей Каллигией?
Раб Протоген, доверяешь которому ты безусловно,
Сам ты его опозорил,— твою он позорит супругу,
Платою равною так отплатив за свое оскорбление.
Страшное ими составлено снадобье — гибель твоя в нем,
Чтобы ты слышать и видеть не мог, что они совершают.
Снадобье ты под постелью найдешь, у стены, к изголовью.
В деле сообщницей служит у них и Калипсо — служанка.

Неужели сам Демокрит не был изумлен, услышав и имена, и столь точное указание места и действия? Но как бы он стал немного спустя презирать обманщика, поняв коварный замысел этого предсказания!

51. Неоднократно Александр давал прорицания также варварам, если кто-нибудь спрашивал его на своем родном языке — по-сирийски или по-кельтски. Однако ему не легко было находить в Абонотихе соплеменников вопрошавших. Поэтому от подачи табличек до объявления прорицания проходило много времени, пока Александр на досуге мог безопасно вскрыть таблички и найти человека, который был в состоянии все растолковать и написать ответ. Вот для примера изречение, данное скифу:

Морфин ебаргулис для тени хнехикраге
покинет свет.

52. В другой раз Александр посоветовал в прозе лицу, не только отсутствовавшему, но, быть может, вообще не существовавшему, возвратиться домой. «Пославший тебя убит сегодня своим соседом Диоклом в сообществе с разбойниками Магном, Целером и Бубалом, которые уже схвачены и заключены в оковы».

53. Выслушай теперь несколько оракулов, данных Александром мне. Я спросил, не плешив ли Александр, и в присутствии свидетелей тщательно запечатал таблички. Точный ответ гласил:

Был также Аттис другой, не Малах, сын Сабардалаха.

В другой раз от имени двух разных лиц и на двух отдельных табличках я задал один и тот же во-

прос — откуда был родом поэт Гомер. Мой слуга на его вопрос, зачем он пришел, отвечал: «Чтобы узнать лекарство от боли в боку». Обманутый этими словами, Александр дал такой ответ:

Мазью китмидою ты натирайся и пеною конской.

От другого моего посланца он услышал, что тот пришел узнать, отправиться мне в Италию на корабле или сухим путем. Ничего не упоминая о Гомере, Александр ответил:

По морю ты не плыви, но иди пешеходной дорогой.

54. Я придумал для него много подобных вопросов. Например, я задал ему один вопрос, гласивший: «Когда Александр будет уличен в обмане?», и, по обычаю, надписал на табличке: «Такого-то восемь вопросов». Поставив какое-то подложное имя, я отправил табличку, приложив более восьми драхм, сколько должно было получиться в общем. Он был введен в заблуждение присланной платой и надписью на табличках и на один вопрос, гласивший: «Когда Александр будет уличен в обмане?» — прислал восемь ответов. Они, как говорится, попадали пальцем в небо и были глупы и бессмысленны. Узнав впоследствии о моей проделке, а также о том, что я отговаривал Рутиллиана от вступления в брак и советовал не возлагать надежд на слова оракула, Александр вполне естественно возненавидел меня. Он считал меня своим злейшим врагом и на вопрос Рутиллиана обо мне ответил:

Радость находит в ночных похождениях и ложе бесчестном.

55. Словом, вполне понятно, что я был для него ненавистнейшим человеком. Когда он услышал о моем приходе в город и узнал, что я — известный ему Лукиан, Александр пригласил меня с большой любезностью и дружелюбием. Со мной были два воина: один — копейщик, другой — вооруженный дротиком, — их дал мне мой приятель Каппадокий, чтобы они сопровождали меня до моря. Придя к Александру, я застал около него толпу; по счастью, меня сопровождали и оба воина. Александр протянул мне для поцелуя свою правую руку, как он обыкновенно делал, я же, наклонившись, как будто для поцелуя, сильным укусом почти лишил его руки. Присутствовавшие, уже

заранее разгневанные на меня за то, что я при входе назвал его просто Александром, а не пророком, бросились на меня, желая задушить или избить. Но Александр с благородством и твердостью успокоил их и обещал без труда сделать меня кротким и явить большое могущество Гликона, который превращает в друзей даже величайших врагов. Затем, удалив всех, он начал передо мной защищаться, говоря, что он отлично знает мои советы Рутиллиану, и прибавил: «Почему ты так поступаешь? Ведь ты мог бы благодаря мне очень выиграть в его глазах». Я охотно принял от него эту любезность, видя, какой опасности я подвергся. Немного спустя я ушел, став его другом; столь быстрая перемена во мне вызвала немалое удивление толпы.

56. Я оставался в городе один с Ксенофонтом, а отца и всех своих отправил заранее в Амастриду. Когда я собирался отплыть, Александр прислал мне в знак дружбы многочисленные подарки. Он обещал доставить мне для путешествия корабль и гребцов. Я думал, что все это делается чистосердечно и искренне. Когда же в середине своего пути я заметил, что кормчий плачет и спорит с гребцами, мои надежды на будущее омрачились. Александр, оказалось, поручил им погубить нас, бросив в море. Если бы это случилось, он легко бы закончил борьбу со мной. Но кормчий слезными мольбами убедил своих спутников не делать нам ничего дурного или враждебного; обратившись ко мне, он сказал: «Вот уже шестьдесят лет, как ты видишь, живу я безупречной и честной жизнью, и не хотел бы я в таком возрасте, имея жену и детей, осквернить руки убийством». Он объяснил, с какой целью принял нас на судно и что ему приказал сделать Александр.

57. Высадив нас в Этвалах, о которых упоминает и дивный Гомер, он отправился обратно. Здесь встретил я боспорских послов, плывших от царя Евпатора в Вифинию с ежегодной данью. Я рассказал им об угрожающей нам опасности, встретил в них сочувствие, был принят на корабль и спасся в Амастриду, с трудом избежав смерти.

С этого мгновения я объявил Александру войну и привел, как говорится, в движение все снасти, желая ему отомстить. Впрочем, его я ненавидел еще до злого умысла против меня и считал своим злейшим врагом

за гнусность его нрава; теперь же я стал усиленно готовить обвинение, имея много союзников, особенно среди учеников Тимократа, философа из Гераклеи. Но Авит, бывший тогда правителем Вифинии и Понта, чуть ли не мольбами удержал меня от этого и убедил бросить хлопоты: ввиду расположения Рутиллиана к Александру невозможно-де наказать его, даже схватив на месте преступления. Итак, мне пришлось умерить свой порыв и оставить смелость, неуместную при таком настроении судьи.

58. Не является ли среди прочего большой дерзостью и следующий поступок Александра? Он попросил императора переименовать Абонотих в Ионополь. Также попросил он чеканить новую монету, на одной стороне которой было бы выбито изображение Гликона, а на другой — Александра с повязками деда его Асклепия и кривым ножом Персея, прародителя с материнской стороны.

59. Александр предсказал самому себе, что ему назначено судьбой прожить полтора-два года и умереть пораженным молнией. Однако, не дожив и до семидесяти лет, он погиб самой жалкой смертью. У него, как и подобало сыну Подалирия, вся нога сгнила целиком, до самого паха, и кишела червями. Тогда же заметили, что он плешив, так как страдания вынудили его предоставить врачам смачивать ему голову, чего нельзя было делать иначе, как снявши накладные волосы.

60. Таков был конец трагедии Александра, таков был исход всей драмы. Если он и произошел случайно, то все же можно предположить в этом как бы некий промысл. Оставалось только устроить погребальные торжества, достойные такой жизни, и объявить соискание на дальнейшее владение прорицалищем. Самые главные сообщники и обманщики обратились за решением к судье Рутиллиану — кому из них принять прорицалище и быть украшенным повязкой главного жреца и пророка. Среди них был и Пет, по роду занятий врач, человек уже седой, но задумавший дело, не подходящее ни врачу, ни седому человеку. Однако Рутиллиан, бывший судьей в соискании, отправил их обратно, никого не наградив венком. Рутиллиан оставил звание пророка за Александром и после его ухода из здешнего мира.

61. Эти немногие из многих дел Александра я счел достойными описания, желая, мой милый, доставить удовольствие тебе — товарищу и другу; ведь из всех людей более всего я удивляюсь тебе за твою мудрость и любовь к правде, мягкость характера и снисходительность, спокойствие жизни и общительность. Главным образом писал я для тебя — это еще приятнее, — чтобы отомстить за Эпикура, мужа поистине святого, божественной природы, который один только без ошибки познал прекрасное, преподавал его и стал освободителем всех имевших с ним общение.

Думаю, что и для многих других мое писание окажется полезным, опровергая одно, другое укрепляя во мнении благоразумных людей.





О СМЕРТИ ПЕРЕГРИНА

Лукиан желает Кронию благоденствия

1. Злосчастный Перегрин, или, как он любил себя называть, Протей, испытал как раз то самое, что и гомеровский Протей. Ради славы Перегрин старался быть всем, принимал самые разнообразные облики и в конце концов превратился даже в огонь: вот до какой степени он был одержим жаждой славы. А теперь этот почтенный муж превращен в уголь по примеру Эмпедокла, с тою лишь разницей, что Эмпедокл, бросаясь в кратер Этны, старался это сделать незаметно; Перегрин же, улучив время, когда было самое многочисленное из эллинских собраний, навалил громаднейший костер и бросился туда на глазах всех собравшихся. Мало того, Перегрин за несколько дней до своего безумного поступка держал перед эллинами соответствующую речь.

2. Воображаю, как весело будешь ты смеяться над глупостью старикашки. Мне кажется, я слышу твои восклицания, какие ты обычно произносишь: «Что за нелепость, что за глупая погоня за славой!» и так далее, — восклицания, которые у нас вырываются при подобных поступках. Но ты можешь говорить все это вдали от места происшествия и не подвергаясь опасности, а я говорил у самого костра, говорил еще до этого перед громаднейшей толпой слушателей, причем некоторые, восхищавшиеся безумием старика, негодовали на мои слова; впрочем, нашлись и такие, которые сами смеялись над ним. Но все же киники чуть было не растерзали меня, как настоящие собаки разорвали Актеона или менады — своего родственника Пенфея.

3. Порядок действий в этой драме был таков. Автора ее ты знаешь, знаешь, что́ это был за человек и сколько он представил трагедий в течение всей своей жизни, превзойдя самих Софокла и Эсхила. Что касается меня, то я, лишь только прибыл в Элиду, стал бродить по гимнасию, слушая какого-то киника, который громким хриплым голосом вопил о всем известных, избитых вещах, призывая к добродетели, и всех просто-напросто поносил. Его крикливая речь завершилась восхвалением Протея. Я постараюсь, насколько смогу, точно передать по памяти, что́ говорилось; ты же можешь себе представить это вполне отчетливо, так как неоднократно присутствовал при выкриках этих философов.

4. Киник говорил: «Находятся люди, которые смеют называть Протея тщеславным! О мать-земля, о солнце, о реки, о море и ты, родной Геракл! И это говорится о Протее, который сидел в заключении в Сирии, который подарил родному городу пять тысяч талантов, который был изгнан из Рима, который яснее солнца, который может состязаться с самим владыкой Олимпа! Решил Протей удалиться из этой жизни при помощи огня — вот и приписывают это его тщеславию. А разве не поступил точно так же Геракл? Разве не от молнии пострадали Асклепий и Дионис? Наконец, разве не бросился Эмпедокл в кратер вулкана?»

5. Когда Феаген — таково было имя крикуна — произнес эти слова, я спросил одного из присутствовавших: что значит упоминание об огне и какое отношение к Протею имеют Геракл с Эмпедоклом? Тот отве-

тил: «Протей вскоре сожжет себя в Олимпии». — «Как, чего ради?» — спросил я. Тогда мой сосед попытался было все рассказать, но киник так кричал, что не было никакой возможности слушать кого-либо другого. Пришлось поэтому и дальше выслушивать, как киник рассыпается в самых удивительных преувеличениях насчет Протея. Он утверждает, что с Протеем нельзя сравнивать не только Диогена синопского или его учителя Антисфена, но даже Сократа. Самого Зевса он вызвал на состязание! Под конец все же ему заблагорассудилось признать Зевса равным Протею, и речь свою он закончил приблизительно так:

6. «Жизнь, — говорил он, — видела два величайших произведения: Зевса Олимпийского и Протея; создали их художники: Зевса — Фидий, а Протея — Природа. Но это произведение искусства теперь удалится, вознесенное огнем от людей к богам, и оставит нас осиротелыми». Когда он, обливаясь обильным потом, все это изложил, то стал всем на потеху плакать и рвать волосы, но весьма осторожно, чтобы на самом деле не выдернуть их. Наконец какие-то киники увели рыдавшего Феагена, стараясь его утешить.

7. После него немедленно, не дожидаясь, пока толпа разойдется, поднялся другой оратор, чтобы принести возлияние на алтарь, где еще пылала жертва предшественника. Сначала он долго смеялся, причем видно было, что он делает это от всего сердца, а затем стал говорить приблизительно так: «Поскольку проклятый Феаген закончил свою нечестивую речь слезами Гераклита, то я, наоборот, начну смехом Демокрита». После этих слов он опять стал долго смеяться, так что рассмешил многих из нас.

8. Затем, успокоившись, он сказал: «Разве можно, граждане, поступать иначе, когда слушаешь такие забавные речи, когда видишь, что пожилые люди ради презренной славы готовы чуть ли не кувыркаться перед всеми? А чтобы вы могли узнать, что за произведение искусства намерено себя сжечь, послушайте меня, человека, наблюдавшего с самого начала образ мыслей Протея и исследовавшего его жизнь. Некоторые же поступки я узнал от его сограждан, а также от лиц, которые хорошо должны были его знать.

9. Это удивительное творение природы, воплощение Поликлетова канона, не успело еще возмужать, как было поймано в Армении на прелюбодеянии. За

это Протей получил весьма изрядное количество ударов, но в конце концов избежал опасности, спрыгнув с крыши с редькой в заднице. Затем он развратил какого-то цветущего юношу, но за три тысячи драхм откупился от родителей мальчика, которые были люди бедные, и поэтому не был доставлен к правителю Азии.

10. Но это и прочее в том же роде я думаю оставить в стороне: ведь тогда Протей был еще бесформенной глиной, а не совершенным произведением искусства. А вот что он сделал со своим отцом — об этом стоит послушать; хотя, впрочем, все вы слышали и знаете, что он задушил старика, не в силах перенести, что тому исполнилось более шестидесяти лет. Когда же об этом все стали громко говорить, Протей осудил себя на добровольное изгнание и бродил по разным местам.

11. Тогда-то он и познакомился с удивительным учением христиан, встречаясь в Палестине с их жрецами и книжниками. И что же вышло? В скором времени он всех их обратил в младенцев, сам сделавшись и пророком, и главой общины, и руководителем собраний — словом, один был всем. Что касается книг, то он толковал, объяснял их, а многие и сам сочинил. Христиане почитали его как бога, подчинялись установленным им законам и избирали своим покровителем: христиане ведь еще и теперь почитают того великого человека, который был распят в Палестине за то, что ввел в жизнь эти новые таинства.

12. Тогда Протей был схвачен за свою принадлежность к ним и посажен в тюрьму, но даже и это придало ему немало весу в дальнейшей жизни для шарлатанства и погони за славой, которой он жаждал. Лишь только Протей попал в заключение, как христиане, считая случившееся несчастием, пустили в ход все средства, чтобы его оттуда вырвать. Когда же это оказалось невозможным, они старались с величайшей внимательностью ухаживать за Протеем. Уже с самого утра можно было видеть у тюрьмы каких-то старух, вдов, детей-сирот. Главари же христиан даже ночи проводили с Протеем в тюрьме, подкупив стражу. Потом туда стали приносить обеды из разнообразных блюд и вести священные беседы. Милейший Перегрин — тогда он еще носил это имя — назывался у них новым Сократом.

13. И как ни странно, пришли посланники даже от малоазиатских городов, по поручению христианских общин, чтобы помочь Перегрину: замолвить за него словечко на суде и утешить его. Христиане проявляют невероятную быстроту действий, когда случится происшествие, касающееся всей общины, и прямо-таки ничего не жалеют. Поэтому к Перегрину от них поступали значительные денежные средства, так что заключение в тюрьме само по себе превратилось для него в хороший источник доходов. Ведь эти несчастные уверили себя, что они станут бессмертными и будут жить вечно; вследствие этого христиане презирают смерть, а многие даже ищут ее сами. Кроме того, первый их законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу, после того как отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому софисту и жить по его законам. Поэтому, приняв без достаточных оснований это учение, они в равной мере презирают всякое имущество и считают его общим. И вот, когда к ним приходит обманщик, мастер своего дела, умеющий использовать обстоятельства, он скоро делается весьма богатым, издеваясь над простаками.

14. Возвратимся, однако, к Перегрину. Он был освобожден тогдашним правителем Сирии, человеком, склонным к занятиям философией, который, видя глупость Перегрину и его готовность умереть, лишь бы оставить после себя славу, отпустил его с миром, не считая даже достойным какого-либо наказания. Тогда Перегрин пришел на родину, но узнал, что негодование, вызванное убийством отца, еще не остыло и что многие готовы были выступить против него с обвинением. Большая часть его имущества была расхищена в его отсутствие; сохранилась только земля стоимостью около пятнадцати талантов. Да и все имущество, оставшееся после старика, стоило приблизительно тридцать талантов, а не пять тысяч, как уверял этот скоморох Феаген. Таких денег нельзя было бы выручить, даже если бы продать весь город париян и еще пять соседних в придачу вместе с жителями, скотом и остальным добром.

15. Но судебное обвинение и обличающая молва не успели еще остыть, и казалось, что кто-нибудь вот-вот выступит обвинителем; в особенности же негодовал народ, сожалея о такой ужасной гибели весьма почтенного, как говорили знавшие его, старика. Те-

перь прошу обратить внимание на то, какое средство нашел наш мудрец Протей против этой угрозы и как он избежал опасности. Протей пришел в Народное собрание париян; в это время он носил уже длинные волосы, закутан был в плащ, через плечо висела сума, в руках была суковатая палка — одним словом, вид был самый трагический; и вот, явившись в таком виде к народу, он сказал, что дарит париянам все свое имущество, которое оставил блаженной памяти его отец. Лишь только об этом услышало собрание, состоявшее из людей бедных и жадных до всякой дележки, немедленно раздались крики, что он единственный человек, любящий свою родину, единственный последователь Диогена и Кратета. Таким образом врагам зажали рот, и тот, кто дерзнул бы напомнить об убийстве, немедленно был бы побит камнями.

16. Итак, Протей вторично отправился скитаться. Хороший источник для покрытия путевых издержек он имел в лице христиан, под охраной которых ни в чем не ощущал недостатка. Такое существование он вел в течение некоторого времени. После какого-то проступка по отношению к христианам, — кажется, заметили, будто он ест что-то у них запрещенное, — они перестали его допускать в свое общество. Оказавшись в стесненном положении, Перегрин решил затянуть другую песню и потребовать от города возврата имущества. Поэтому он подал прошение и ходатайствовал, чтобы император распорядился вернуть имущество. Но и город со своей стороны отправил посольство к императору, и Протей ничего не добился: ему было приказано соблюдать то, что он однажды решил по своей доброй воле.

17. При таких обстоятельствах Перегрин пустился в путь в третий раз — теперь в Египет к Агатобулу. Там он стал заниматься удивительными упражнениями в добродетели: обрил половину головы, мазал лицо грязью, в присутствии многочисленной толпы народа вызывал в себе половое возбуждение (киники называют это безразличным), а также тростью сек чужие задницы и свою подставлял для сечения; кроме того, продельывал множество других, еще более нелепых вещей.

18. Воспитав себя таким образом, Перегрин отплыл отсюда в Италию. Лишь только он сошел с корабля, как сразу же начал поносить всех, а в особенности им-

ператора, зная, что он очень кроток и необидчив, так что можно это делать безопасно. Император, как и подобает, мало заботился о его бранных словах и не считал возможным наказывать за речи кого-либо, прикрывающегося философией, в особенности если хуление избиралось ремеслом. Но слава Перегрин¹ увеличивалась даже от таких вещей: за свое безумие он пользовался уважением необразованных людей. Наконец городской префект, человек умный, выслал Протея, когда тот перешел меру; при этом он сказал, что городу не нужен подобный философ. А впрочем, и это послужило для славы Протея, и у всех на устах было имя философа, изгнанного за свободоречие и беззаветную правдивость. В этом отношении Перегрин сопоставляли с Мусонием, Дионом и Эпиктетом, а также другими, которые испытали подобную же участь.

19. После этого, прибыв в Элладу, Протей то поносил элейцев, то убеждал эллинов поднять оружие против римлян, то злословил о выдающемся по образованию и по значению человеке за то, что тот, помимо других оказанных Греции благодеяний, провел воду в Олимпии и устранил мучительный недостаток воды среди собирающихся на празднества: Перегрин говорил, что он изнежил эллинов и что зрители Олимпийских игр должны уметь переносить жажду, хотя бы многие из них и умирали от лютых болезней, которые до сих пор свирепствовали вследствие недостатка воды и скученности народа. И это он говорил, сам пользуясь той же водой. Все жители сбегались и чуть было не побили Протея камнями, но этот благородный муж искал убежища у алтаря Зевса и там нашел спасение от смерти.

20. На следующей же олимпиаде Протей прочел перед эллинами речь, которую сочинил в течение четырех промежуточных лет. Речь эта содержала похвалу лицу, проводшему воду, а также оправдание своего тогдашнего бегства. Будучи у всех в пренебрежении и не пользуясь прежней славой (все его выходки уже надоели), Протей не мог придумать ничего такого, чем бы поразить воображение окружающих и заставить их обратить на себя внимание, о чем он страстно заботился. Наконец Протей придумал эту затею с костром и после предыдущих игр немедленно распустил среди эллинов слух, что он сожжет себя во время теперешних празднеств.

21. И вот сейчас, как говорят, он осуществляет свою забавную затею: роет яму, носит дрова и обещает при этом проявить какое-то небывалое мужество. А по моему мнению, первой его обязанностью было подождать прихода смерти, а не удирать от жизни; а если он уже бесповоротно решил избавиться от нее, во всяком случае следовало не прибегать к помощи огня и трагической обстановки, а избрать другой какой-нибудь способ смерти, благо этих способов бесчисленное множество. Но пусть ему нравится огонь, напоминающий о кончине Геракла,— почему бы ему втихомолку не избрать покрытую лесом гору и не сжечь себя там, взяв в качестве Филоктета хотя бы вот этого Феагена. Но нет, он хочет зажарить себя в Олимпии среди многолюдного празднества и чуть ли не на сцене. Впрочем, клянусь Гераклом, это вполне заслуженно, если только отцеубийцы и безбожники должны нести наказание за свои преступления. Поэтому, пожалуй, Протей слишком поздно все это проделывает. Чтобы получить достойное возмездие, ему следовало уже давно броситься в чрево быка Фаларида, а не подвергать себя мгновенной смерти, раскрыв рот на огонь. Ведь многие уверяют, что нет более быстрого способа смерти, как от огня: стоит открыть рот — и ты мертв.

22. Вдобавок ко всему Протей, по-видимому, полагает, что готовит благочестивое зрелище — сожжение человека в священном месте, где даже мертвых хоронить нечестиво. Вы, наверное, слышали, что в давние времена некто, тоже желая прославиться и не имея возможности добиться этого другим способом, сжег храм Артемиды Эфесской. Нечто подобное замышляет и Перегрин: столь сильная страсть к славе обуяла его.

23. Он, конечно, уверяет, что делает это ради людей, чтобы научить их презирать смерть и мужественно переносить несчастье. Я бы хотел предложить вопрос — не ему, конечно, а вам: неужели вы пожелали бы, чтобы преступники сделались его учениками и усвоили это мужество и презрение к смерти, пытке огнем и тому подобным ужасам? Я твердо уверен, что вы этого не захотели бы. Но как разобраться в этом Протею, как понять, что, желая приносить пользу порядочным людям, не следует делать негодяев более дерзкими и решительными.

24. Но допустим, что смотреть на это зрелище пойдет только тот, кто вынесет полезное поучение. Тогда я вам предложу другой вопрос: хотите ли вы, чтобы ваши дети сделались последователями подобного человека? Вы не можете сказать «да». А впрочем, к чему я это спрашиваю, раз никто из его учеников не решается подражать учителю? И можно справедливо упрекнуть Феагена в том, что он, во всем подражая учителю, не следует за ним и не сопровождает его «на пути к Гераклу», как он говорит, и пренебрегает возможностью в короткое время сделаться весьма счастливым, бросившись очертя голову вместе с ним в огонь. Подражание ведь не в суме, палке и рубище — это безопасно, легко и всякому доступно; надо подражать конечным и главным действиям и, сложив костер из колод по возможности сырого фигового дерева, задохнуться от дыма. Ведь огонь как средство смерти изведен не только Гераклом и Асклепием, но также грабителями храмов и убийцами, которых, как это можно видеть, сжигают после осуждения. Следовательно, предпочтительнее смерть от дыма: это был бы особый способ, примененный единственно вами.

25. Что касается Геракла, то он, если и решился на подобное дело, поступил так под влиянием болезни, снедаемый кровью кентавра, как говорит трагедия. Ну, а Протей чего ради пойдет бросаться в огонь? А вот, говорят нам, для того чтобы показать свое мужество наподобие брахманов; ведь Феаген нашел нужным и с ними его сравнить, как будто среди индийцев не может быть также глупых и тщеславных людей. Но уж в таком случае пусть он действительно подражает им. Те не прыгают в огонь, как уверяет кормчий Александра Онесикрит, который видел сожжение Калана, а, соорудив костер, стоят неподвижно вблизи и дают себя поджаривать с одной стороны; затем они поднимаются на костер, сохраняя благородную осанку и сжигают себя, даже не шелохнувшись при этом. А если Перегрин бросится в костер и умрет, охваченный пламенем, что в этом великого? Да и не исключена возможность, что он полуобгорелым выпрыгнет назад, если только не устроит костра, как говорят, в глубокой яме.

26. Некоторые утверждают, что Протей передумал и собирается изъяснять какие-то сновидения, будто бы Зевс не позволяет осквернить священное место. Что

касается этого, то пусть Протей не беспокоится. Я готов принести торжественную клятву, что никто из богов не разгневается, если жалкий Перегрин погибнет жалким образом. А впрочем, и нелегко ему идти на попятную: окружающие киники возбуждают его и подтаскивают в огонь, подогревая его намерения и не допуская приступов слабости. Если бы Протей, бросившись в огонь, увлек с собой двух-трех из них, это было бы единственным его хорошим делом.

27. Я слышал, что он не хочет больше называться Протеем, но переименовал себя в Феникса, так как и феникс, индийская птица, говорят, восходит на костер, когда достигает глубокой старости. Кроме того, Перегрин сочиняет небылицы и толкует какие-то оракулы, конечно, старинные: будто бы ему суждено сделаться ночным духом-хранителем. Ясно: он уже домогается, чтобы ему поставили алтари, и надеется, что будут воздвигнуты его изображения из золота.

28. И право, нет ничего неправдоподобного в том, что среди множества глупцов найдутся такие, которые будут уверять, будто они при помощи Протея исцелились от лихорадки и ночью встретились с духом-хранителем. Проклятые его ученики, надо полагать, устроят на месте сожжения и храм и прорицалище, так как известный Протей, сын Зевса, родоначальник этого имени, тоже был прорицателем. Я торжественно уверяю, что Протею будут назначены жрецы с бичами, орудиями прижигания и подобными выдумками и, клянусь Зевсом, в честь его будут учреждены ночные мистерии и процессии с факелами вокруг костров.

29. Как сообщил мне один из товарищей Протея, Феаген недавно уверял, что Сивилла дала предсказание об этих событиях. Он передавал даже следующие стихи оракула:

В день, когда киников вождь, несравненный Протей велемудрый,
Ярый разжегши огонь в громовержца Зевеса ограде,
Принят в него и тотчас вознесется на выси Олимпа,—
В день этот всем вам велю, что плодами питаетесь нивы,
Честь благолепно воздать многославному ночи герою;
Он ведь богам сопредостольник — Гераклу и силе Гефеста.

30. Феаген говорит, что он слышал это от Сивиллы. Я же напомним к нему относящийся оракул Бакида, который, очень удачно примыкая к Сивиллиному, так вещает:

В день, когда прынет в огонь вождь киников многоименный,
В недра убогой души пораженный тщеславия жалом,
Должно иным лисопсам, что при жизни его окружали,
Участь издохшего волка себе воспринять в назиданье.
Если ж из трусости кто уклонится от силы Гефеста,
Тотчас ахейцам велю я камнями побить негодяя,
Дабы не смел он, холодный, горячей усердствовать речью,
Златом суму набивая, как тот ростовщик нечестивый,
В Патрах прекрасных себе накопивший пятнадцать талантов.

Как вам кажется, граждане? Разве Бакид как про-
рицатель хуже Сивиллы? Поэтому пора почтенней-
шим товарищам Протея высмотреть место для превра-
щения себя в «воздух» — так они называют сожжение».

31. Так он сказал, и все окружающие воскликнули:
«Пусть киники немедленно себя сожгут; они достойны
сожжения». Оратор со смехом сошел вниз, но «от Нес-
тора шум не сокрылся», то есть от Феагена. Лишь толь-
ко он услышал крик, как немедленно взошел на воз-
вышение, стал кричать и сулить бесконечное множе-
ство зол оратору, который спустился с трибуны; я не
называю имя этого почтенного человека, так как не
знаю его. Я предоставил Феагену надрываться от кри-
ка и пошел смотреть атлетов, так как говорили, что
эланодики уже находятся на месте борьбы. Вот все,
что произошло в Элиде.

32. Когда же мы пришли в Олимпию, задняя часть
храма была полна людьми, порицающими Протея или
же восхваляющими его намерение. У многих дело до-
шло до рукопашной. Наконец пришел и сам Протей
в сопровождении несметной толпы. Выступая после
глашатаев, он держал длинную речь, рассказывая, как
провел свою жизнь, каким подвергался опасностям
и что он перенес ради философии. Сказано Протеем
было много, но я мало слышал из-за многолюдности
сборища. Затем, испугавшись, что меня могут прида-
вить в такой толпе, как это случилось со многими,
я удалился, бросив ищущего смерти мудреца, который
перед кончиной говорил о себе надгробную речь.

33. Все же я мог расслышать приблизительно сле-
дующее. Протей говорил, что хочет золотую жизнь за-
кончить золотым венцом; тот, кто жил наподобие Ге-
ракла, должен умереть, как Геракл, и соединиться
с эфиром. — «Я хочу, — продолжал он, — принести поль-
зу людям, показав им пример того, как надо презирать
смерть; поэтому все люди по отношению ко мне дол-

жны быть Филоктетами». При этом более простоватые из толпы стали плакать и кричать: «Побереги себя для эллинов», а более решительные кричали: «Исполни решение». Последнее обстоятельство очень смутило старика, так как он надеялся, что все за него ухватятся и не допустят до костра, но против его воли сохраняют ему жизнь. Вопреки ожиданию приходилось исполнить решение, и это заставило его еще более побледнеть, хотя он и без того уже был мертвенно-бледен; теперь же, клянусь Зевсом, его бросило в дрожь, так что он вынужден был закончить свою речь.

34. Можешь себе вообразить, как я хохотал: ведь не заслуживал сострадания человек, охваченный несчастной страстью к славе более всех других, одержимых этим безумием. Как бы там ни было, Протея сопровождали многие, и он наслаждался своей славой, бросая взгляды на своих поклонников, не зная, несчастный, что гораздо больше людей толпятся вокруг тех, кого везут распять или кто передан в руки палача.

35. Но вот Олимпийские игры закончились, самые прекрасные из всех, какие я видел; а видел я их уже в четвертый раз. Так как многие разъезжались по домам и не легко было сразу достать повозку, я поневоле должен был остаться на некоторое время. Перегрин, постоянно откладывая решение, наконец назначил ночь, чтобы явить свое сожжение. Один из моих друзей взял меня с собой, и я, встав в полночь, направился прямо в Гарпину, где был сложен костер. Расстояние было всего-навсего в двадцать стадий, если идти от Олимпии в направлении ипподрома на восток. Придя, мы уже застали костер, который был сделан в яме глубиной примерно в оргию. Было много факелов и хворосту, чтобы костер мог быстро разгореться.

36. Когда взошла луна,— и она должна была созерцать это прекрасное зрелище,— выступил Перегрин, одетый в обыкновенную одежду; вместе с ним были главари киников, и на первом месте этот почтеннейший киник из Патр с факелом — вполне подходящий второй актер. Нес факел также Протей. Киники подходили с разных сторон, и каждый поджигал костер. Сразу же вспыхнул сильный огонь, так как было много факелов и хвороста.

Перегрин же,— теперь отнесись с полным вниманием к моим словам,— снял суму и рубище, положил свою гераклову палицу и остался в очень грязном бе-

лье. Затем он попросил ладану, чтобы бросить в огонь. Когда кто-то подал просимое, Протей бросил ладан в костер и сказал, повернувшись на юг (юг также входил составной частью в его трагедию): «Духи матери и отца, примите меня милостиво!» С этими словами он прыгнул в огонь. Видеть его, конечно, нельзя было, так как поднявшееся большое пламя его охватило.

37. Вновь вижу, что ты смеешься, добрейший Кроний, по поводу развязки драмы. Когда Перегрин призывал дух матери, я ничего, конечно, не имел против, но когда он обратился с призывом к духу отца, я никак не мог удержаться от смеха, вспомнив рассказ об отцеубийстве. Окружавшие костер киники слез не проливали, но, глядя на огонь, молча выказывали печаль. Наконец мне это надоело, и я сказал: «Пойдемте прочь, чудак, ведь неприятно смотреть, как зажаривается старикашка, и при этом нюхать скверный запах. Или вы, быть может, ждете, что придет какой-нибудь художник и зарисует вас точно так же, как изображаются ученики Сократа в тюрьме?» Киники рассердились и стали бранить меня, а некоторые даже схватились за палки. Но я пригрозил, что, схватив кого-нибудь, брошу в огонь, чтобы он последовал за учителем, и киники, перестав ругаться, стали вести себя тихо.

38. Когда я возвращался, разнообразные мысли толпились у меня в голове. Я думал, в чем состоит сущность жажды славы и насколько роковой она является даже для людей, которые кажутся выдающимися; так что нечего и говорить об этом человеке, который и раньше жил во всех отношениях глупо и вопреки разуму, вполне заслуживая сожжения.

39. Затем мне стали встречаться многие идущие посмотреть своими глазами на зрелище. Они полагали, что застанут Перегрина еще в живых, так как накануне был пущен слух, что он взойдет на костер, помолившись восходящему солнцу, как это, по словам знающих, делают брахманы. Многих из встреченных я заставил вернуться, сообщив, что дело уже совершено, но, конечно, возвратил только тех, которые не считали важным посмотреть хотя бы даже на одно место сожжения или найти остатки костра. Тогда-то, милый друг, у меня оказалось множество дела: я рассказывал, а они задавали вопросы и старались обо всем точно узнать. Когда мне попадался человек толковый, я излагал рассказ о событии, как и тебе теперь; пере-

давая же людям простоватым и слушающим развеся уши, я присочинял кое-что от себя; я сообщил, что, когда загорелся костер и туда бросился Протей, сначала возникло сильное землетрясение, сопровождаемое подземным гулом, затем из середины пламени взвился коршун и, поднявшись в поднебесье, громким человеческим голосом произнес слова:

Покидаю юдоль, возношусь на Олимп!

Слушатели мои изумлялись и в страхе молились Перегрину и спрашивали меня, на восток или на запад полетел коршун. Я отвечал им, что мне приходило на ум.

40. Вернувшись в собрание, я подошел к одному седому человеку, который вполне внушал к себе доверие своей почтенной бородой и осанкой. Он рассказывал все, что с Протеем приключилось, и добавил, что он после сожжения видел его в белом одеянии и только что оставил его радостно расхаживающим в Семигласном портике в венке из священной маслины на голове. Затем ко всему сказанному он прибавил еще и коршуна, клятвенно уверяя, что своими глазами видел, как тот вылетел из костра, хотя я сам лишь минуту назад пустил летать эту птицу в насмешку над людьми глупыми и простодушными.

41. Ты можешь себе представить, во что это разрастется, какие только кузнечики не будут стрекотать, какие вороны не слетятся, как на могилу Гесиода, и так далее и так далее. Уверен, что очень скоро будет поставлено множество изображений Перегрина самими элейцами и другими эллинами, которым он, говорят, писал. Как уверяют, Протей разослал письма почти во все славные города с заветами, увещаниями и законами. Для передачи их он назначил нескольких своих товарищей посланниками, назвав их «вестниками мертвых» и «гонцами преисподней».

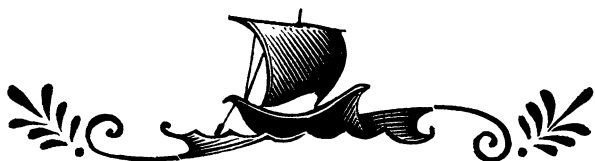
42. Такой был конец несчастного Протея, человека, который, выражаясь кратко, никогда не обращал внимания на истину, но все говорил и делал в погоне за славой и похвалами толпы и даже ради этого бросился в огонь, хотя и не мог наслаждаться похвалами, сделавшись к ним нечувствительным.

43. Наконец я прибавлю еще один рассказ, чтобы ты мог от души посмеяться. Одну историю, впрочем,

ты уже давно знаешь: вернувшись из Сирии, я тогда же рассказывал тебе, как плыл вместе с Перегрином из Трояды, как он, роскошествуя во время плавания, вез также с собой юношу, которого убедил стать киником, чтобы тоже иметь при себе кого-нибудь в роли Алкивиада; как он испугался, когда ночью посреди Эгейского моря спустился туман и стали вздыматься огромные волны, и как плакал тогда вместе с женщинами он — этот удивительный человек, выказывавший свое превосходство над смертью.

44. Незадолго до своей кончины, так дней за девять приблизительно, Протей, надо полагать, съел больше, чем следовало. Ночью появилась рвота и сильная лихорадка. Это мне рассказывал врач Александр, которого пригласили к больному. Застал он Протея мечущимся по полу. Не имея сил перенести жар, он очень настойчиво просил Александра дать ему чего-нибудь холодного, но тот не дал и сказал ему, что если он очень нуждается в смерти, то вот она сама приходит к его дверям, так что очень удобно последовать за ней, отнюдь не прибегая к огню. Перегрин же сказал: «Такой способ смерти не принесет славы: ведь он для всех доступен».

45. Таков рассказ Александра. Впрочем, несколько дней тому назад я сам видел, что Протей намазал свои глаза едким лекарством, вызывающим слезы. Видимо, Эак не очень охотно принимает лиц со слабым зрением. Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь, перед тем как его пригвоздят к кресту, стал бы лечить зашибленный палец. Как ты думаешь, что делал бы Демокрит, если бы это видел? Он по праву стал бы смеяться над этим человеком. Только откуда взялось бы у Демокрита достаточно смеха? Итак, смейся и ты, милейший, а в особенности когда услышишь, как другие восторгаются Перегрином.





СОБРАНИЕ БОГОВ

1. Зевс. Довольно вам, боги, ворчать и шептаться по углам! Вы сердитесь на то, что многие участвуют в нашем пире недостойно? Но из-за них ведь и созвано собрание; пусть же каждый открыто выскажет, что он думает, и начнет обвинение. Ты же, Гермес, возгласи законный возглас.

Гермес. Слушай! Молчи! Кто из богов истинных, имеющих право голоса, хочет держать речь? Рассмотрению подлежит вопрос о метеках и чужеземцах.

Мом. Я, Мом, хотел бы говорить, если ты мне позволишь, Зевс.

Зевс. Провозглашение сделано, так что ты не нуждаешься в моем разрешении.

2. Мом. В таком случае я скажу, что дурно поступают те из них, которые, став богами из людей, не удовольствовались этим, но считают, что они не соверши-

ли ничего великого, ничего славного, если не сделали равными нам своих слуг и спутников. Прошу тебя, Зевс, позволь мне говорить откровенно, иначе я не могу; ведь все знают, что я вольноречив, что я не умею молчать, видя неладное. Я все обличаю и громко говорю то, что думаю, никого не боясь, не скрывая и не стыдясь своего мнения. Поэтому многим кажусь я несносным и природным доносчиком, и они называют меня общественным обвинителем. Но теперь, когда слова глашатая и твои, Зевс, разрешают мне говорить свободно, я поведу речь без страха.

3. Итак, говорю я, многие не удовольствовались тем, что сами участвуют в наших собраниях и угощаются вместе с нами,—и все это, будучи полусмертными! Они привели на небо своих слуг и сотрапезников и записали их в наши ряды, так что теперь все они участвуют в раздаче угощений и в жертвоприношениях и не платят нам налога, назначенного метекам.

Зевс. Не загадывай, Мом, загадок, а говори ясно и точно и назови имена. Сейчас ты свою речь вывел на середину, так что она подходит ко многим, и разные твои слова можно приноровить к различным лицам. Кто называет себя вольноречивым, тот не должен бояться.

4. Мом. Вот это хорошо, что ты даже побуждаешь меня к откровенности, Зевс; воистину, поступаешь ты так благородно и по-царски, что я назову также и имена.

Прежде всего назову я Диониса, этого получеловека, который с материнской стороны даже не эллин, а внук какого-то Кадма, купца из Сирофиникии. Я не буду говорить о том, каков он, раз он был удостоен бессмертия; не скажу ничего ни об его женской головной повязке, ни о пьянстве, ни о походе, ибо все вы, думается мне, видите, что он изнежен и женствен, что он почти безумен, что от него с утра несет неразбавленным вином. Но ведь он привел сюда всю свою фратрию и свиту, сделав богами Пана, Силена и сатиров, каких-то деревенских парней, пасущих коз, противных с виду плясунов. У Пана рога, нижняя половина тела козлиная, да и вообще он со своей густой бородой немногим отличается от козла; Силен же — плешивый старик, курносый, все время разъезжающий на осле; к тому же родом он лидиец; а сатиры — фригийцы с острыми ушами, тоже лысые, с рога-

ми, вроде тех, какие бывают у новорожденных козлят, и все с хвостами. Видите, каких богов привел нам этот благородный Дионис?

5. Надо ли удивляться, что люди нас презирают, видя таких смешных и чудовищных богов? Я уже не говорю о том, что он привел к нам и двух женщин: дочь Икария, землепашца, и свою любовницу Ариадну, присоединив даже венок ее к числу созвездий. Но вот что всего смешнее, боги: собаку Эригоны — и ту привел он, чтобы девочка не соскучилась на небе без своей любимой собачки, к которой она привыкла. Это ли не наглость, не сумасшествие, не посмешище? Но послушайте и про других.

6. Зевс. Но смотри, Мом, ничего не говори об Асклепии и Геракле; я уж вижу, куда клонятся твои слова. Но Асклепий лечит, исцеляет от болезней, «и многих один он достоин», а Геракл — мой сын и немалыми трудами добыл себе бессмертие; поэтому их ты уж не обвиняй.

Мом. Ради тебя смолчу, Зевс, хотя и многое имею сказать. Однако замечу, что они еще и сейчас носят на теле следы ожогов. Но если и против тебя можно говорить откровенно, то не мало мог бы я сказать по этому поводу.

Зевс. Конечно, можно и против меня. Не хочешь ли ты уж и меня обвинить в том, что я тоже пришелец?

Мом. Ну, на Крите можно не только это услышать; там и многое другое говорят и могилу твою показывают. Но я не буду доверять ни этим свидетельствам, ни жителям Эгиона в Ахайе, которые утверждают, что ты был подкидышем.

7. Я скажу лишь то, что мне кажется наиболее вопиющим: ибо главная причина того, что собрание наше наполнилось незаконнорожденными, — ты, Зевс, ты, вступавший в связь со смертными, и сходявший к ним, и принимавший для этого самые различные образы; нам приходилось даже бояться, как бы кто тебя не схватил и не зарезал, пока ты был быком, или как бы не обработал тебя какой-нибудь золотых дел мастер, пока ты был золотом, — осталось бы у нас тогда вместо Зевса ожерелье, запястье или серьга. И вот ты заполнил нам все небо этими полубогами, — иначе я их и назвать не могу. И крайне забавным показалось бы это обстоятельство тому, кто вдруг услышал бы, что Геракл назначен богом, а Еврисфей, им повелевав-

ший, умер и что близко друг от друга находятся храм раба Геракла и могила его владыки Еврисфея. Так же и в Фивах: Дионис сделался богом, а родственники его Пенфей, Актеон и Леарх стали несчастнейшими из людей.

8. И с того дня, как ты, обратив свой взор на смертных женщин, открыл им двери, все стали подражать тебе, и не только боги, но и богини, что всего постыднее. Ибо кто же не знает Анхиса, Тифона, Эндимиона, Иасиона и других; но довольно о них, а то обвинение выйдет слишком длинным.

Зевс. Но ни слова не говори о Ганимеде, Мом. Я рассержусь, если ты огорчишь этого мальчика, порицая его происхождение.

Мом. Поэтому нельзя говорить и об орле, который также находится на небе, сидит на царском скипетре и только что не вьет гнезда на твоей голове, считая себя богом?

9. Или и его пощадим ради Ганимеда? Но Аттис, о Зевс, но Корибант и Сабасий — откуда они приведены к нам вместе с этим мидийцем Митрой, в персидской одежде и с тиарой, даже не говорящим по-гречески, не понимающим, когда пьют за его здоровье? Недаром скифы и геты, увидев такие дела, распрощались с нами и кого хотят делают бессмертными и выбирают в боги; вписался же в наши ряды и раб Замолксид, не знаю уж как сюда пробравшись.

10. Но это еще что, боги! Ты же, египтянин с собачьей мордой, завернутый в пеленки, — ты кто таков, милейший, и как можешь ты, лающий, считать себя богом? И почему пятнистому быку из Мемфиса воздаются почести, почему вещает он, окруженный пророками? Уж о козлах, ибисах, обезьянах и многом другом, еще более нелепом, что неизвестно как проползло к нам из Египта и заполнило все небо, мне и говорить стыдно. О боги, как вы все терпите, что им поклоняются в равной мере или даже больше, чем вам? Как терпишь ты, Зевс, бараньи рога, которые выросли у тебя?

11. Зевс. Действительно, ты рассказываешь постыдные вещи об египтянах; но все же многое здесь — тайны, над которыми не следует смеяться непосвященному.

Мом. Конечно, без тайных учений нам не понять, что боги суть боги, а павианы — павианы!

Зевс. Довольно об египтянах, говорю я тебе; в другой раз обсудим это на досуге. Ты же рассказывай об остальных.

12. Мом. Прежде всего скажу о Трофонии, Зевс, и об Амфилохе, который меня особенно угнетает,— этот сын отверженного и матереубийцы, этот доблестный человек, который пророчит в Киликии, обманывая и пороча ради двух оболлов. И уж не в чести ты больше, Аполлон, когда всякий камень и всякий алтарь дает прорицания, если он полит маслом, украшен венками и обзавелся каким-нибудь способным к обману человеком — ведь их теперь много на земле! Уже статуи атлета Полидаманта в Олимпии и Теагена на Фасосе стали лечить больных лихорадкою, а Гектору в Илионе и Протесилаю в Херсонесе, напротив, совершаются возлияния. Чем больше нас стало, тем сильнее увеличиваются клятвопреступления и святотатства, и справедливо поступают люди, презирая нас.

13. Все это о незаконнорожденных и неправильно вписанных в наши списки. Но когда я слышу незнакомые имена таких, которых у нас нет, которые даже не могут принять определенного образа,— я смеюсь и над ними, Зевс. Ибо где же находятся пресловутая Добродетель, Природа, Рок или Судьба, все эти ни на чем не основанные и пустые названия вещей, выдуманные ту-поумными философами? Но эти на скорую руку со-стряпанные слова настолько убедили неразумных, что никто не хочет совершать нам возлияний, полагая, по-видимому, что и десять тысяч гекатомб не изменят того, что установили и направили каждому Парки и что выполнит Судьба. Я бы охотно спросил тебя, Зевс, видел ли ты где-нибудь Добродетель, Природу или Рок. Я ведь знаю, что ты, если не глух, должен был постоянно слышать о них во время философских бесед, которые так крикливы. Но я смолкаю, хотя и мог бы еще много сказать; ибо вижу, что многие на меня сердятся и готовы меня освистать, те особенно, которых задела откровенность моих речей.

14. А для конца, если хочешь, Зевс, я прочту постановление, уже составленное.

Зевс. Прочти. Твое обвинение было не совсем бессмысленно; против многих непорядков следует принять меры, чтобы они не стали еще больше.

В час добрый! В законном собрании, созванном в седьмой день этого месяца, Зевс был пританом, проэдром — Посейдон, Аполлон — эпистатом, Мом, сын Ночи, — письмоводителем, а Сон выступил со следующим заявлением.

Ввиду того, что многие чужеземцы, не только эллины, но и варвары, отнюдь не достойные делить с нами права гражданства, неизвестно каким способом попали в наши списки, приняли вид богов и так заполонили небо, что пир наш стал теперь похожим на сборище беспорядочной толпы, разноязычной и сбродной, что начало не хватать амброзии и нектара и кубок стал стоять целую мину из-за множества пьющих; ввиду того, что они самоуправно вытолкали богов древних и истинных, требуя первых мест, вопреки отцовским обычаям, и желая большого почитания на земле;

15. постановил Совет и Народ созвать собрание на Олимпе около времени зимнего солнцеворота и выбрать семь судей из богов истинных; трех из древнего Совета Крона, четверых же — из числа Двенадцати, и среди них Зевса. Судьи эти должны заседать по закону, поклявшись присягой Стикса. Гермес же пусть созовет всех, кто только хочет участвовать в собрании. Пришедшие пусть приведут готовых присягнуть свидетелей и принесут доказательства своего происхождения. После этого пусть они выходят поодиночке, а судьи, произведя расследование, либо объявят их богами, либо отошлют обратно в их могилу и семейные гробницы. Если же будет замечено, что кто-нибудь из отвергнутых и однажды исключенных судьями снова попытается проникнуть на небо, пусть сбросят его в Тартар.

16. И каждый пусть делает только свое дело: Афина не должна исцелять, Асклепий — пророчествовать. Аполлон пусть не исполняет сразу столько разных дел, но, выбрав что-нибудь одно, да будет пророком, или музыкантом, или врачом.

17. Философам пусть запретят выдумывать праздные имена и болтать о том, чего они не знают.

18. У тех же, кто раньше был несправедливо удостоен храмов и жертвоприношений, изображения отнять и поставить статуи Зевса, Геры, Аполлона или кого-нибудь другого; им же город пусть насыплет мо-

гильный холм и поставит столб вместо Алтаря. Если же кто не послушается приказания и не захочет предстать судьям, то его осудят заочно.

Таково наше постановление.

19. Зевс. Справедливейшее постановление, Мом, и кто с ним согласен, пусть поднимет руку; или нет, пусть просто оно будет выполнено. Я знаю, что большинство стало бы голосовать против. Теперь же уходите. Когда возвестит Гермес, то придите все с очевидными приметами и убедительными доказательствами вашего происхождения, с именем отца и матери, с объяснениями, откуда вы и каким способом стали богами и какой филы и фратрии. А если кто не предъявит всего этого, то судьи даже и не посмотрят на то, что у него на земле много храмов и что люди считают его богом.





РАЗГОВОРЫ БОГОВ

І. ПРОМЕТЕЙ И ЗЕВС

1. Прометей. Освободи меня, Зевс: довольно я уже натерпелся ужаса.

Зевс. Тебя освободить, говоришь ты? Да тебя следовало бы заковать в еще более тяжелые цепи, навалив на голову весь Кавказ! Шестнадцать коршунов должны были бы не только терзать тебе печень, но и глаза выклевывать за то, что ты создал нам таких животных, как люди, похитил мой огонь, сотворил женщин! А что говорить о том, что ты меня обманул при разделе мяса, подсунув одни кости, прикрытые жиром, и лучшую часть сохранил для себя?

Прометей. Разве я не достаточно уже поплатился, терпя столько времени мучения, прикованный к скалам Кавказа и питаая собственной печенью эту проклятую птицу, орла?

Зевс. Это даже еще не самая малая часть того, что ты заслужил.

Прометей. Но ты меня освободишь не даром: я тебе, Зевс, открою нечто весьма важное.

2. Зевс. Ты со мной хитришь, Прометей.

Прометей. Что же я этим выиграю? Ты ведь будешь прекрасно знать, где находится Кавказ, и у тебя не будет недостатка в цепях, если я попадусь в каком-нибудь злом умысле.

Зевс. Скажи сначала, какую важную услугу ты мне окажешь.

Прометей. Если я скажу тебе, куда ты сейчас идешь, согласишься ли ты мне, что и в остальном мои прорицания будут правдивы?

Зевс. Конечно.

Прометей. Ты идешь к Фетиде на свидание.

Зевс. Это ты верно угадал; что же дальше? Тебе, кажется, действительно можно верить.

Прометей. Не ходи, Зевс, к этой нереиде: если она родит тебе сына, он сделает с тобою то же, что ты сделал...

Зевс. Ты хочешь сказать, что я лишусь власти?

Прометей. Да не сбудется это, Зевс. Но сочетание с ней угрожает тебе этим.

Зевс. Если так — прощай, Фетида. А тебя за это пусть Гефест освободит.

II. ЭРОТ И ЗЕВС

1. Эрот. Но если я даже провинился в чем-нибудь, прости меня, Зевс: я ребенок и еще неразумен.

Зевс. Ты ребенок? Ведь ты, Эрот, на много лет старше Иапета. Оттого что у тебя нет бороды и седых волос, ты хочешь считаться ребенком, хотя ты старик и притом негодяй?

Эрот. Чем же, по-твоему, я, старик, обидел тебя так сильно, что ты хочешь меня связать?

Зевс. Посмотри сам, бесстыдник, мало ли ты меня обидел и мало ли издеваешься надо мной: ведь нет ничего, во что ты не заставлял бы меня превратиться: ты делал меня сатиром, быком, золотом, лебедем, орлом! А ни одну женщину не заставил влюбиться в меня, ни одной я при твоём содействии не понравился и должен прибегать к колдовству, должен являться

в чужом облике. Они же влюбляются в быка или в лебедя, а когда увидят меня, умирают от страха.

2. Эрот. Это вполне естественно. Они, как смертные, не переносят твоего вида, Зевс.

Зевс. Отчего же Аполлона любят Бранх и Гиацинт?

Эрот. Однако Дафна бежала от него, хотя у него длинные волосы и нет бороды. Если ты хочешь нравиться, не потрясай эгидой, не носи с собой молнии, а придай себе как можно более приятный вид, прибрав с обеих сторон свои курчавые волосы и надев на голову повязку: носи пурпурное платье, золотые сандалии, ходи изящной поступью под звуки флейты и тимпанов, и тогда ты увидишь, что у тебя будет больше спутниц, чем менад у Диониса.

Зевс. Убирайся. Не хочу нравиться, если для этого нужно сделаться таким.

Эрот. В таком случае, Зевс, не стремись больше к любви: это ведь нетрудно.

Зевс. Нет, от любви я не откажусь, но хочу, чтоб это мне стоило меньше труда; под этим условием отпускаю тебя.

III. ЗЕВС И ГЕРМЕС

1. Зевс. Гермес, ты знаешь красавицу — дочь Инаха?

Гермес. Знаю; ты ведь говоришь об Ио.

Зевс. Представь себе: она больше не девушка, а телка.

Гермес. Вот чудо! Каким же образом произошло это превращение?

Зевс. Превратила ее Гера, из ревности. Но этого мало, она придумала для несчастной девушки новое мучение: приставила к ней многоглазого пастуха, Аргусом зовут его — и вот он неустанно стережет телку.

Гермес. Что же нам делать?

Зевс. Лети в Немею: там пасет ее Аргус; его убей, а Ио проводи через море в Египет и сделай ее Исидой. Пусть она там впредь будет богиней, управляет разливами Нила, распоряжается ветрами и охраняет моряков.

1. Зевс. Ну вот, Ганимед, мы пришли на место. Поцелуй меня и убедись, что у меня нет больше ни кривого клюва, ни острых когтей, ни крыльев, как раньше, когда я казался тебе птицей.

Ганимед. Разве ты, человек, не был только что орлом? Разве ты не слетел с высоты и не похитил меня из середины моего стада? Как же это так вдруг исчезли твои крылья и вид у тебя стал совсем другой?

Зевс. Милый мальчик, я не человек и не орел, а царь всех богов, и превратился в орла только потому, что для моей цели это было удобно.

Ганимед. Как же? Ты и есть тот самый Пан? Отчего же у тебя нет свирели, нет рогов и ноги у тебя не косматые?

Зевс. Так, значит, ты думаешь, что, кроме Пана, нет больше богов?

Ганимед. Конечно! Мы всегда приносим ему в жертву нехолощенного козла у пещеры, где он стоит. А ты, наверно, похитил меня затем, чтобы продать в рабство?

2. Зевс. Неужели ты никогда не слышал имени Зевса и никогда не видал на Гаргаре алтаря бога, посылающего дождь, гром и молнию?

Ганимед. Так это ты, милейший, послал нам недавно такой ужасный град? Это про тебя говорят, что ты живешь на небе и поднимаешь там шум? Значит, это тебе отец принес в жертву барана? Но что же я-то сделал дурного? За что ты меня похитил, царь богов? Мои овцы остались одни; на них, наверно, нападут волки.

Зевс. Ты еще беспокоишься об овцах? Пойми, что ты сделался бессмертным и останешься здесь вместе с нами.

Ганимед. Как же? Ты меня сегодня не отведешь обратно на Иду?

Зевс. Нет! Мне тогда незачем было бы из бога делаться орлом.

Ганимед. Но отец станет меня искать и, не найдя, будет сердиться, а завтра побьет меня за то, что я бросил стадо.

Зевс. Да он тебя больше не увидит.

3. Ганимед. Нет, нет! Я хочу к отцу. Если ты отведешь меня обратно, я обещаю, что он принесет тебе в

жертву барана как выкуп за меня; у нас есть один трехлетний, большой, — он ходит вожакom стада.

Зевс. Как этот мальчик прост и невинен! Настоящий ребенок! Послушай, Ганимед, все это ты брось и позабудь обо всем: о стаде и об Иде. Ты теперь небожитель — и отсюда можешь много добра ниспослать отцу и родине. Вместо сыра и молока ты будешь есть амбросию и пить нектар; его ты будешь всем нам разливать и подавать. А что всего важнее: ты не будешь больше человеком, а сделаешься бессмертным, звезда одного с тобой имени засияет на небе, — одним словом, тебя ждет полное блаженство.

Ганимед. А если мне захочется поиграть, кто будет играть со мной? На Иде у меня было много товарищей.

Зевс. Здесь с тобой будет играть Эрот, а я дам тебе много-много бабок для игры. Будь только бодр и весел и не думай о том, что осталось внизу.

4. Ганимед. Но на что я вам здесь пригожусь? Разве и здесь надо будет пасти стадо?

Зевс. Нет, ты будешь нашим виночерпием, будешь разливать нектар и прислуживать нам за столом.

Ганимед. Это нетрудно: я знаю, как надо наливать и подавать чашку с молоком.

Зевс. Ну вот, опять он вспоминает молоко и думает, что ему придется прислуживать людям! Пойми, что мы сейчас на самом небе, и пьем мы, я говорил тебе уже, нектар.

Ганимед. Это вкуснее молока?

Зевс. Скоро узнаешь и, попробовав, не захочешь больше молока.

Ганимед. А где я буду спать ночью? Вместе с моим товарищем Эротом?

Зевс. Нет, для того-то я тебя и похитил, чтобы мы спали вместе.

Ганимед. Ты не можешь один спать и думаешь, что тебе будет приятнее со мной?

Зевс. Конечно, с таким красавцем, как ты.

Ганимед. Какая же может быть от красоты польза для сна?

Зевс. Красота обладает каким-то сладким очарованием и делает сон приятнее.

Ганимед. А мой отец, как раз наоборот, сердился, когда спал со мной, и утром рассказывал, что я не даю ему спать, ворочаюсь и толкаю его и что-то говорю во

сне; из-за этого он обыкновенно посылал меня спать к матери. Смотри, если ты меня похитил для этого, то лучше верни обратно на Иду, а то тебе не будет сна от моего постоянного ворочанья.

Зевс. Это именно и будет мне приятнее всего; я хочу проводить с тобой ночи без сна, целуя тебя и обнимая.

Ганимед. Как знаешь! Я буду спать, а ты можешь целовать меня.

Зевс. Когда придет время, мы сами увидим, как нам быть. Гермес, возьми его теперь с собой, дай ему испытать бессмертия, научи, как надо подавать кубок, и приведи к нам на пир.

V. ГЕРА И ЗЕВС

1. Г е р а. С тех пор как ты похитил и привел сюда этого фригийского мальчишку, ты охладел ко мне, Зевс.

Зевс. Гера, ты ревнуешь даже к этому невинному и безобидному мальчику? Я думал, что ты ненавидишь только женщин, которые сходились со мной.

2. Г е р а. Конечно, и это очень дурно и неприлично, что ты, владыка всех богов, оставляешь меня, свою законную супругу, и сходишь на землю для любовных похождений, превращаясь то в золото, то в сатира, то в быка. Но те по крайней мере остаются на земле, а этого ребенка ты, почтеннейший из богов, с Иды похитил и принес на небо, и вот, свалившись мне на голову, он живет с нами и на словах является виночерпием. Очень уж тебе не хватало виночерпия: разве Геба и Гефест отказались нам прислуживать? Нет, дело в том, что ты не принимаешь от него кубка иначе, как поцеловав его на глазах у всех, и этот поцелуй для тебя слаще нектара; поэтому ты часто требуешь питья, совсем не чувствуя жажды. Бывает, что, отведав лишь немножко, ты возвращаешь мальчику кубок, даешь ему испытать и, взяв у него кубок, выпиваешь остатки, а губы прикладываешь к тому месту, которого он коснулся, когда пил, чтобы таким образом в одно время и пить и целовать. А на днях ты, царь и отец всех богов, отложив в сторону эгиду и перун, уселся играть с ним в бабки,— ты, со своей большой бородой! Не думай, что все это так и проходит незамеченным: я все прекрасно вижу.

3. Зевс. Что же в этом ужасного, Гера, поцеловать во время пира такого прекрасного мальчика и наслаждаться одновременно и поцелуем и нектаром? Если я ему прикажу хоть раз поцеловать тебя, ты не станешь больше бранить меня за то, что я ценю его поцелуй выше нектара.

Гера. Ты говоришь как развратитель мальчиков. Надеюсь, что я до такой степени не лишусь ума, чтобы позволить коснуться моих губ этому изнеженному, женоподобному фригийцу.

Зевс. Почтеннейшая, перестань бранить моего любимца; этот женоподобный, изнеженный варвар для меня милее и желаннее, чем... Но я не хочу договаривать, не стану раздражать тебя больше.

4. Гера. Мне все равно, хоть женись на нем; я только тебе напоминаю, сколько оскорблений ты заставляешь меня сносить из-за твоего виночерпия.

Зевс. Да, конечно, за столом нам должен прислуживать твой хромой сын Гефест, который вваливается прямо из кузницы, весь покрытый угольной пылью, только что оставив клещи, а мы должны принимать кубок из этих милых ручек и целовать его при этом,— а ведь даже ты, мать, не очень-то охотно поцеловала бы его, когда все его лицо вымазано сажей. Это приятнее, не правда ли? Такой виночерпий гораздо более подходит для пира богов, а Ганимеда следует отослать обратно на Иду: он ведь чист, и пальцы у него розовые, и он умело подает кубок и — тебя это огорчает больше всего — целует слаще нектара.

5. Гера. Теперь Гефест у тебя и хром, и руки его недостойны твоего кубка, и вымазан он сажей, и при виде его тебя тошнит, и все с тех пор, как на Иде вырос этот кудрявый красавец; прежде ты ничего этого не видел, и ни угольная пыль, ни кузница не мешали тебе принимать от Гефеста напиток.

Зевс. Гера, ты сама себя мучаешь, — вот все, чего ты достигаешь, а моя любовь к мальчику только увеличивается от твоей ревности. А если тебе противно принимать кубок из рук красивого мальчика, то пусть тебе прислуживает твой сын; а ты, Ганимед, будешь подавать напиток только мне и каждый раз будешь целовать меня дважды, один раз подавая, а второй — беря у меня пустой кубок. Что это? Ты плачешь? Не бойся: плохо придется тому, кто захочет тебя обидеть.

1. Гера. Как по-твоему, Зевс, какого поведения Иксион?

Зевс. Человек он хороший и прекрасный товарищ на пиру; его не допустили бы в общество богов, если бы он не был достоин возлежать за нашим столом.

Гера. Именно недостойн: он бесстыдник, и нельзя ему общаться с нами.

Зевс. Что же он такое сделал? Я думаю, что мне тоже нужно знать об этом.

Гера. Что же, как не... Но мне стыдно сказать, на какое дело он решился.

Зевс. Тем более ты должна мне все сказать, если его поступок так позорен. Не хотел ли он соблазнить кого-нибудь? Я догадываюсь, в каком роде этот позорный поступок, о котором тебе неловко говорить.

2. Гера. Меня хотел он соблазнить, Зевс,—меня, а не какую-нибудь другую, и это началось уже давно. Сперва я не понимала, отчего он так пристально, не сводя глаз, смотрел на меня: он при этом вздыхал, и глаза его наполнялись слезами. Если я, испив, отдавала Ганимеду кубок, Иксион требовал, чтобы для него налили в тот же, и, взяв кубок, целовал его, и прижимал к глазам, и опять смотрел на меня,—тогда я стала понимать, что он делает все это из любви. Я долго стыдилась рассказывать тебе об этом и думала, что его безумие пройдет. Но вот он осмелился уже прямо объясниться мне в любви; тогда я, оставив его лежащим на земле в слезах, зажала уши, чтобы не слышать оскорбительных молений, и пришла к тебе рассказать все. Реши теперь сам, как наказать этого человека.

3. Зевс. Вот как! Негодяй! Против меня пошел и посягнул на святость моего брака с Герой? До такой степени опьянел от нектара! Мы сами виноваты: мы слишком далеко зашли в нашей любви к людям, делая их своими сотрапезниками. Людей нельзя винить за то, что, отведав нашего напитка и увидев небесные красоты, каких никогда не видали на земле, они пожелали вкусить их, объятые любовью; а любовь ведь — большая сила и владеет не только людьми, но иногда и нами.

Гера. Тобой любовь действительно владеет и водит, как говорится, за нос куда захочет, и ты идешь,

куда ни поведет тебя, и беспрекословно превращаешься, во что она ни прикажет. Ты настоящий раб и игрушка любви. Да и сейчас я прекрасно понимаю, почему ты прощаешь Иксиона: ты ведь сам когда-то соблазнил его жену, и она родила тебе Пирифоя.

4. Зевс. Ты еще помнишь все мои шалости на земле? Но знаешь, что я сделаю с Иксионом? Не будем его наказывать и гнать из нашего общества: это неудобно. Если он влюблен, и плачет, говоришь ты, и очень страдает...

Гера. Что же тогда? Не хочешь ли и ты сказать что-нибудь оскорбительное?

Зевс. Да нет же. Мы сделаем из тучи призрак, совсем похожий на тебя; когда пир окончится, и он, по обыкновению, будет лежать, не смыкая глаз от любви, опустим этот призрак к нему на ложе. Таким образом он перестанет страдать, думая, что достиг утolenия своих желаний.

Гера. Перестань! Пусть он погибнет за то, что сделал предметом своих желаний тех, кто выше его.

Зевс. Согласись, Гера. Что же ты потеряешь от того, что Иксион овладеет тучей?

5. Гера. Но ведь ему-то будет казаться, что туча — это я; сходство ведь будет полное — так что свой позорный поступок он совершит как бы надо мной.

Зевс. Не говори глупостей! Никогда туча не будет Герой, а Гера тучей; только один Иксион будет обманут.

Гера. Но люди грубы и невежественны. Вернувшись на землю, он, пожалуй, станет хвастаться и расскажет всем, что разделял ложе с Герой, пользуясь правами Зевса; он, чего доброго, скажет даже, что я в него влюбилась, а люди поверят, не зная, что он провел ночь с тучей.

Зевс. А если скажет он что-нибудь подобное — тогда другое дело: он будет брошен в Аид, привязан к колесу и будет всегда вращаться на нем, терпя неослабевающие муки в наказание не за любовь — в этом нет ничего дурного, — а за хвастовство.

VII. ГЕФЕСТ И АПОЛЛОН

1. Гефест. Аполлон, ты видел новорожденного ребенка Майи? Как он красив! И всем улыбается. Из него выйдет что-нибудь очень хорошее: это уже видно.

Аполлон. Ты ожидаешь много хорошего от этого ребенка? Да ведь он старше Иапета, если судить по его бессовестным проделкам!

Гефест. Что же дурного мог сделать новорожденный ребенок?

Аполлон. Спроси Посейдона, у которого он украл трезубец, или Ареса: у него он тайком вытащил меч из ножен, не говоря уже о том, что у меня он стащил лук и стрелы.

2. Гефест. Как! Новорожденный ребенок, который еще с трудом держится на ногах?

Аполлон. Сам можешь убедиться, Гефест, пусть он только подойдет к тебе.

Гефест. Ну вот он и подошел.

Аполлон. Что же? Все твои орудия на месте? Ничего не пропало?

Гефест. Все на месте, Аполлон.

Аполлон. Посмотри хорошенько.

Гефест. Клянусь Зевсом, я не вижу клещей!

Аполлон. Увидишь их — в пеленках мальчика.

Гефест. Вот ловкий на руку! Словно он уже в утробе матери изучил воровское искусство.

3. Аполлон. Ты не слышал еще, как он уже быстро и красноречиво говорит. И прислуживать нам уже начинает. Вчера он вызвал Эроса на борьбу и в один миг победил его, не знаю каким образом поставив ему подножку; а потом, когда все стали его хвалить и Афродита взяла его за победу к себе на руки, он украл у нее пояс, а у Зевса, пока тот смеялся, стащил скипетр; и если бы перун не был слишком тяжел и не был таким огненным, он, наверно, стащил бы и его.

Гефест. Да это какой-то чудесный мальчик.

Аполлон. Мало того: он уже и музыкант.

Гефест. С чего ты взял?

4. Аполлон. Нашел он где-то мертвую черепаху — и вот сделал себе из нее музыкальный инструмент: прикрепил два изогнутых бруса, соединил их перекладиной, вбил колки, вставил кобылку, натянул семь струн и стал играть очень складно, Гефест, и умело, так что мне приходится завидовать ему; а ведь сколько времени я уже упражняюсь в игре на кифаре. Это еще не все: Майя рассказывала, что он ночью не остается на небе, а от нечего делать спускается в преисподнюю, очевидно с тем, чтобы и оттуда что-нибудь

стащить. И крылья есть у него, и он сделал какой-то жезл, обладающий чудесной силой; с этим жезлом в руке он ведет души и спускает умерших в подземное царство.

Гефест. Я дал ему этот жезл поиграть.

Аполлон. За это он прекрасно отблагодарил тебя: клещи-то...

Гефест. Хорошо, что ты мне напомнил. Пойду отберу у него клещи, если, как ты говоришь, они спрятаны в его пеленках.

VIII. ГЕФЕСТ И ЗЕВС

1. Гефест. Что мне прикажешь делать, Зевс? Я пришел по твоему приказанию, захватив с собою топор, хорошо наточенный,—если понадобится, он камень разрубит одним ударом.

Зевс. Прекрасно, Гефест: ударь меня по голове и разруби ее пополам.

Гефест. Ты, кажется, хочешь убедиться, в своем ли я уме? Прикажи мне сделать что-нибудь другое, если тебе нужно.

Зевс. Мне нужно именно это — чтобы ты разрубил мне череп. Если ты не послушаешься, тебе придется, уже не в первый раз, почувствовать мой гнев. Нужно бить изо всех сил, немедленно! У меня невыносимые родовые муки в мозгу.

Гефест. Смотри, Зевс, не вышло бы несчастья: мой топор остр — без крови дело не обойдется,—и он не будет такой хорошей повивальной бабкой, как Илифия.

Зевс. Ударяй смело, Гефест; я знаю, что мне нужно.

Гефест. Что же, ударю, не моя воля; что мне делать, когда ты приказываешь? Что это такое? Дева в полном вооружении! Тяжелая штука сидела у тебя в голове, Зевс, не удивительно, что ты был в дурном расположении духа: носить под черепом такую большую дочь, да еще в полном вооружении,—это не шутка! Что же, у тебя военный лагерь вместо головы? А она уже скачет и пляшет военный танец, потрясает щитом, поднимает копье и вся сияет божественным вдохновением. Но главное, она настоящая красавица и в несколько мгновений сделалась уже взрослой. Только глаза у нее какие-то серовато-голубые,—но это

хорошо идет к шлему. Зевс, в награду за мою помощь при родах, позволь мне на ней жениться.

Зевс. Это невозможно, Гефест: она пожелает вечно оставаться девой. А что касается меня, то я ничего против этого не имею.

Гефест. Только это мне и нужно; я сам позабочусь об остальном и постараюсь с ней справиться.

Зевс. Если это тебе кажется легким, делай как знаешь, только уверяю тебя, что ты желаешь неисполнимого.

IX. ПОСЕЙДОН И ГЕРМЕС

1. Посейдон. Гермес, можно повидать Зевса?

Гермес. Нельзя, Посейдон.

Посейдон. Все-таки ты доложи.

Гермес. Не настаивай, пожалуйста: сейчас неудобно, ты с ним не можешь увидаться.

Посейдон. Он, может быть, сейчас с Герой?

Гермес. Нет, совсем не то.

Посейдон. Понимаю: у него Ганимед.

Гермес. И не это тоже: он нездоров.

Посейдон. Что с ним, Гермес? Ты меня пугаешь.

Гермес. Это такая вещь, что мне стыдно сказать.

Посейдон. Нечего тебе стыдиться: я ведь твой дядя.

Гермес. Он, видишь ли, только что родил.

Посейдон. Что такое? Он родил? От кого же? Неужели он двуполое существо и мы ничего об этом не знали? По его животу совсем ничего не было заметно.

Гермес. Это правда; но плод-то был не здесь.

Посейдон. Понимаю: он опять родил из головы, как некогда Афины. Плодовитая же у него голова!

Гермес. Нет, на этот раз он в бедре носил ребенка от Семелы.

Посейдон. Вот молодец! Какая необыкновенная плодовитость! И во всех частях тела! Но кто такая эта Семела?

2. Гермес. Фиванка, одна из дочерей Кадма. Он с ней сошелся, и она забеременела.

Посейдон. И теперь он родил вместо нее?

Гермес. Да, это так, хоть и кажется тебе невероятным. Дело в том, что Гера,—ты знаешь ведь, как она ревнива,—пришла тайком к Семеле и убедила ее потребовать от Зевса, чтобы он явился к ней с громом и

молнией. Зевс согласился и пришел, взяв с собой еще перун, но от этого загорелся дом, и Семела погибла в пламени. Тогда Зевс приказал мне разрезать живот несчастной женщины и принести ему еще не созревший, семимесячный плод; когда же я исполнил это, он разрезал свое бедро и положил туда плод, чтобы он там созрел. И вот теперь, на третий месяц, он родил ребенка и чувствует себя нездоровым от родовых болей.

Посейдон. Где же сейчас этот ребенок?

Гермес. Я отнес его к Нису и отдал нимфам на воспитание; зовут его Дионисом.

Посейдон. Так, значит, мой брат приходится этому Дионису одновременно и матерью и отцом?

Гермес. Так выходит. Но я пойду: надо принести ему воды для раны и сделать все, что нужно при уходе за роженицей.

Х. ГЕРМЕС И ГЕЛИОС

1. Гермес. Гелиос, Зевс приказывает, чтобы ты не выезжал ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, но оставался бы дома, и да будет все это время одна долгая ночь. Пусть же Горы распрягут твоих коней, а ты потуши огонь и отдохни за это время.

Гелиос. Ты мне принес совсем неожиданное и странное приказание. Не считает ли Зевс, что я неправильно совершал свой путь, позволил, быть может, коням выйти из колеи, и за это он рассердился на меня и решил сделать ночь в три раза длиннее дня?

Гермес. Ничего подобного! И все это устраивается не навсегда: ему самому нужно, чтобы эта ночь была длиннее.

Гелиос. Где же он теперь? Откуда послал тебя ко мне с этим приказанием?

Гермес. Из Беотии, от жены Амфитриона, он страстно желает разделить с ней ложе.

Гелиос. Так разве ему мало одной ночи?

Гермес. Мало. Дело в том, что от этой связи должен родиться великий бог, который совершит множество подвигов, и вот его-то в одну ночь изготовить невозможно.

2. Гелиос. Пусть себе изготавливает, в добрый час! Только во времена Крона этого не было. Гермес,— нас здесь никто не слушает: тот никогда не бросал ложа

Реи, не уходил с неба, чтобы проводить ночь в Фивах. Нет, тогда день был днем, ночь по числу часов ему в точности соответствовала, — не было ничего странного, никаких изменений, да и Крон никогда в жизни не имел дела со смертной женщиной. А теперь что? Из-за одной жалкой женщины все должно перевернуться вверх дном, лошади — от бездействия стать неповоротливыми, дорога — пустовать три дня подряд, а несчастные люди должны жить в темноте. Вот все, что они выиграют от любовных походов Зевса; им придется сидеть и выжидать, пока под покровом глубокого мрака будет изготовлен твой великий атлет.

Гермес. Замолчи, Гелиос, а то тебе, того гляди, плохо придется за такие речи. А я теперь пойду к Селене и Сну и сообщу им приказание Зевса: Селена должна медленно подвигаться вперед, а Сон — не выпускать людей из своих объятий, чтобы они не заметили, что ночь стала такой длинной.

ХІ. АФРОДИТА И СЕЛЕНА

1. Афродита. Что это рассказывают о твоих делах, Селена? Ты, достигнув пределов Карики, останавливаешь свою колесницу и смотришь вниз, на зверолова Эндимиона, спящего под открытым небом. А иногда ты посреди дороги даже спускаешься к нему на землю.

Селена. Спроси твоего сына, Афродита: он во всем этом виноват.

Афродита. Вот как! Да, он действительно большой бездельник. Подумай только, что он проделывал со мной, своей собственной матерью! То водил меня на Иду к троянцу Анхису, то на Ливан, к тому, знаешь, ассирийскому юноше, любовь которого я, вдобавок, должна была разделять с Персефоной: он ведь и ее заставил в него влюбиться. Я много раз уже грозила Эроту, что, если он не прекратит своих проделок, я поломаю его лук и колчан и обрежу ему крылья, — один раз я его даже отшлепала сандалией. А он — странное дело! — сразу начинает бояться меня и просит не наказывать, но в следующее мгновение уже забывает обо всем.

2. Скажи-ка мне, красив ли этот Эндимион? Ведь тогда это большое утешение в несчастьи.

Селена. Мне он кажется необычайно красивым, Афродита. В особенности когда он расстелет на скале свой плащ и спит, держа в левой руке дротики, выскользающие у него незаметно, а правая, загнутая вверх около головы, красиво обрамляет лицо. Так лежит он, объятый сном, и дышит своим небесным дыханием. Тогда я бесшумно спускаюсь на землю, иду на цыпочках, чтобы не разбудить и не напугать его... Что следует дальше, ты сама знаешь, мне незачем тебе говорить. Одно знай: я погибаю от любви.

ХII. АФРОДИТА И ЭРОТ

1. Афродита. Эрот, дитя мое, смотри, что ты творишь! Я не говорю уже о том, что ты устраиваешь на земле, какие вещи заставляешь людей делать с собой и с другими, но подумай, как ты ведешь себя на небе! Зевс по твоей воле превращается во все, что тебе ни вздумается. Селену ты низводишь с неба на землю,— а сколько раз случалось, что Гелиос по твоей милости оставался у Климены, забывая про коней и колесницу! А со мной, твоей родной матерью, ты совсем уже не стесняешься. И ведь ты уже дошел до такой дерзости, что даже Рею, в ее преклонных летах, мать стольких богов, заставил влюбиться в мальчика, в молодого фригийца. И вот она благодаря тебе впала в безумие: впрягла в свою колесницу львов, взяла с собой корибантов, таких же безумцев, как она сама, и они вместе мечутся вверх и вниз по всей Иде: она скорбно призывает своего Аттиса, а из корибантов один ранит себе мечом руки, другой с распущенными по ветру волосами мчится в безумии по горам, третий трубит в рог, четвертый ударяет в тимпан или кимвал; все, что творится на Иде,— это сплошной крик, шум и безумие. А я боюсь — мать, родившая тебя на горе всему свету, должна всегда бояться за тебя,— боюсь, как бы Рея в порыве безумия или, скорее, напротив — придя в себя, не отдала приказа своим корибантам схватить тебя и разорвать на части или бросить на съедение львам; ведь ты подвержен этой опасности постоянно.

2. Эрот. Успокойся, родная,— я даже с этими львами в хороших отношениях: часто влезаю им на спину и правлю ими, держась за гриву, а они виляют хвостами, позволяют мне совать им в пасть руку, лижут ее и отпускают. А сама Рея вряд ли найдет время обра-

тить на меня внимание, так как она совершенно занята своим Аттисом. Но в самом деле, что же я дурного делаю, обращая взоры всех людей и богов на красоту? Отчего же тогда вы все стремитесь к красоте? Меня в этом винить не следует. Сознайся, родная: хотелось бы тебе, чтобы ты и Арес никогда друг друга не любили?

Афродита. Да, ты могуч и владеешь всеми; но все-таки тебе придется когда-нибудь вспомнить мои слова.

ХІІІ. ЗЕВС, АСКЛЕПИЙ И ГЕРАКЛ

1. Зевс. Асклепий и Геракл, перестаньте спорить друг с другом, как люди! Это неприлично и недопустимо на пиру богов.

Геракл. Зевс, неужели ты позволишь этому колдуну возлечь выше меня?

Асклепий. Клянусь Зевсом, так и должно быть: я это заслужил больше тебя.

Геракл. Чем же, ты, пораженный молнией? Не тем ли, что Зевс убил тебя за то, что ты делал недозволенное и что только из жалости тебе дали теперь бессмертие?

Асклепий. Ты, Геракл, кажется, уже позабыл, как сам горел на Эте, иначе ты не попрекал бы меня огнем.

Геракл. Да, но жизнь моя уж во всяком случае не похожа на твою. Я — сын Зевса, я совершил столько подвигов, очищая мир от чудовищ, сражаясь с дикими зверями и наказывая преступных людей! А ты что? Знахарь и бродяга! Быть может, ты и сумеешь помочь больному какими-нибудь своими лекарствами, но совершить подвиг, достойный мужа, — этим ты не можешь похвастаться.

2. Асклепий. Хорошо ты говоришь! А я вылечил тебя совсем еще недавно, когда ты прибыл к нам наполовину изжаренный, с телом, обожженным сперва злосчастным хитоном, а потом огнем. Если даже не говорить ни о чем другом, то с меня достаточно уже того, что я не был рабом, как ты, не чесал шерсти в Лидии, одетый в женское платье, и Омфала не била меня золотой сандалией; я в припадке безумия не убил детей и жены.

Геракл. Если ты не перестанешь оскорблять меня, я тебе сейчас покажу, что твое бессмертие не много

тебе поможет: схвачу тебя и брошу с неба головой вниз, так что даже сам Пеан не сумеет починить твой разбитый череп.

З е в с. Довольно, слышите вы! Не мешайте нашему собранию, а не то я вас обоих прогоню с пира. Послушай, Геракл, приличие требует, чтобы Асклепий возлежал выше тебя — он ведь умер раньше.

XIV. ГЕРМЕС И АПОЛЛОН

1. Гермес. Отчего так мрачен, Аполлон?

Аполлон. Ах, Гермес! Несчастье преследует меня в любовных делах.

Гермес. Да, это действительно грустно. Но что именно огорчает тебя? Не случай ли с Дафной все еще тебя мучит?

Аполлон. Нет, не он; я оплакиваю моего любимца, сына Эбала из Лаконии.

Гермес. Что такое? Разве Гиацинт умер?

Аполлон. Да, к сожалению.

Гермес. Кто же его погубил? Разве нашелся такой безжалостный человек, который решился убить этого прекрасного юношу?

Аполлон. Я сам его убил.

Гермес. Ты впал в безумие, Аполлон?

Аполлон. Нет, это несчастье произошло против моей воли.

Гермес. Каким же образом? Скажи мне, я хочу знать.

2. Аполлон. Он учился метать диск, и я бросал вместе с ним. А Зефир, проклятый ветер, давно был влюблен в него, но без всякого успеха, и не мог перенести того, что мальчик не обращает на него никакого внимания. И вот, когда я, по обыкновению, бросил диск вверх, Зефир подул с Тайгета и понес диск прямо на голову мальчика, так что от удара хлынула струя крови, и мой любимец умер на месте. Я бросился в погоню за Зефиром, пуская в него стрелы, и преследовал его вплоть до самых гор. Мальчику же я воздвиг курган в Амиклах, на том месте, где поразил его диск, и заставил землю произвести из его крови чудный цветок; этот цветок прекраснее всех цветов мира, Гермес, и на нем видны знаки, выражающие плач по умершему. Разве я не прав, томясь скорбью?

Гермес. Нет, Аполлон: ты знал, что сделал своим любимцем смертного; так не следует тебе жаловаться на то, что он умер.

XV. ГЕРМЕС И АПОЛЛОН

1. Гермес. Подумай только, Аполлон: он хром, кузнец по ремеслу — и все-таки получил в жены красивейших из богинь: Афродиту и Хариту.

Аполлон. Везет ему, Гермес! Меня удивляет только одно: как они могут с ним жить, в особенности когда видят, как с него струится пот, как все лицо у него вымазано сажей оттого, что он постоянно заглядывает в печь. И, несмотря на это, они обнимают его, целуют и спят с ним.

Гермес. Это и меня злит и заставляет завидовать Гефесту. Ты, Аполлон, можешь преспокойно носить длинные волосы, играть на кифаре, можешь сколько угодно гордиться своей красотой, а я — моей стройностью и игрой на лире: все равно, когда придет время сна, мы ляжем одни.

2. Аполлон. Я вообще несчастлив в любви: больше всех я люблю Дафну и Гиацинта, и вот Дафна так возненавидела меня, что предпочла скорее превратиться в дерево, чем быть моей, а Гиацинта я сам убил диском; теперь у меня вместо них обоих — венки...

Гермес. Я, признаться, однажды уже Афродиту... Но не буду хвастаться.

Аполлон. Знаю — и говорят, что она родила тебе Гермафродита. А ты скажи мне вот что, если знаешь: как это происходит, что Афродита и Харита не ревнуют одна другую?

3. Гермес. Оттого, что Харита живет с ним на Лемносе, а Афродита — на небе; да кроме того, она так занята своим Аресом и так влюблена в него, что ей не очень-то много дела до нашего кузнеца.

Аполлон. Как ты думаешь, Гефест знает об этом?

Гермес. Знает; но что же ему поделывать с таким сильным и воинственным юношей? Он предпочитает сидеть тихо; но зато грозит смастерить какие-то сети, в которые думает поймать их обоих на ложе.

Аполлон. Увидим. А я бы с удовольствием согласился быть пойманным...

1. Г е р а. Нечего сказать, Латона, прекрасных детей родила ты Зевсу!

Л а т о н а. Не всем же, Гера, дано производить на свет таких детей, как твой Гефест.

Г е р а. Во всяком случае, он, хотя и хром, все-таки полезен: он искусный мастер, разукрасил нам все небо, женился на Афродите и пользуется у нее большим уважением. А твои-то дети каковы? Дочь мужеподобна сверх меры, обитает в горах, а в последнее время ушла в Скифию и там — всем известно — убивает чужестранцев и подражает нравам людоедов-скифов. Аполлон же притворяется всезнающим: он и стрелок, и кифаред, и лекарь, и прорицатель; открыл себе прорицательские заведения — одно в Дельфах, другое в Кларе, третье в Дидимах — и обманывает тех, кто к нему обращается, отвечая на вопросы всегда темными и двусмысленными изречениями, чтобы таким образом оградить себя от ошибок. И он при этом порядочно наживает: на свете много глупых людей, которые дают обманывать себя. Зато более разумные прекрасно понимают, что ему никак нельзя верить; ведь сам прорицатель не знал, что убьет диском своего любимца, и не предсказал себе, что Дафна от него убежит, хотя он так красив и у него такие прекрасные волосы. В самом деле, я не понимаю, почему ты считала, что твои дети прекраснее детей Ниобы?

2. Л а т о н а. Я нисколько не удивляюсь, что мои дети — дочь, убивающая чужестранцев, и сын-лжепророк — огорчают тебя, когда ты видишь их среди богов и в особенности когда ее все восхваляют за красоту, а он во время пира играет на кифаре, возбуждая всеобщий восторг.

Г е р а. Я не могу удержаться от гнева, Латона. Он возбуждает восторг, он, с которого, если бы музы судили справедливо, Марсий, наверно, содрал бы кожу, победив его в музыкальном состязании! К сожалению, несчастному Марсию самому пришлось погибнуть из-за пристрастного суда. А уж твоя прекрасная дочь! Узнав, что Актеон видел ее во всей красе, напустила на него своих собак, боясь, как бы он не рассказал всем о ее безобразии. Я уже не стану говорить о том, что она не помогала бы родильницам, если бы сама была девой.

Латона. Очень уж ты гордишься, Гера, тем, что живешь с самим Зевсом и царствуешь вместе с ним. Но погоди немного: придет время, и я опять увижу тебя плачущей, когда Зевс оставит тебя одну, а сам сойдет на землю, превратившись в быка или в лебедя.

XVII. АПОЛЛОН И ГЕРМЕС

1. Аполлон. Чего ты смеешься, Гермес?

Гермес. Ах, Аполлон, потому что видел такое смешное!

Аполлон. Расскажи-ка,— я сам хочу посмеяться.

Гермес. Гефест поймал Афродиту с Аресом и связал их вместе на ложе.

Аполлон. Как же он это сделал? Ты, кажется, можешь рассказать что-то очень забавное.

Гермес. Я думаю, он знал об их связи уже давно и следил за ними; и вот сегодня, прикрепив к ложу невидимые сети, он ушел в свою кузницу. Пришел Арес, думая, что никто его не заметил, но Гелиос его видел и донес Гефесту. Тем временем Арес с Афродитой легли на ложе и только что принялись за дело, как попали в сети и почувствовали себя крепко связанными. Тогда явился Гефест. Афродита, совсем обнаженная, не знала, чем прикрыть свою наготу, а Арес сначала пытался было бежать, думая, что ему удастся разорвать сети, но вскоре, поняв, что это невозможно, стал умолять освободить его.

2. Аполлон. Что же? Освободил их Гефест?

Гермес. Нет, он созвал богов поглядеть на их прелюбодеяние; а они, оба обнаженные, совсем пали духом и лежали связанные вместе, краснея от стыда. Они представляют, кажется мне, приятнейшее зрелище: ведь у них почти что вышло дело...

Аполлон. И наш кузнец не стыдится показывать всем позор своего брака?

Гермес. Клянусь Зевсом, он стоит над ними и хохочет. А мне, правду говоря, показалась завидной судьба Ареса: не говорю уже о том, чего стоит обладание прекраснейшей из богинь, но и быть связанным с ней вместе — тоже хорошее дело.

Аполлон. Ты, кажется, не прочь дать себя связать на таких условиях?

Гермес. А ты, Аполлон? Пойдем туда, и, если ты их увидишь и не пожелаешь того же, я преклонюсь перед твоей добродетелью.

1. Г е р а. Мне было бы стыдно, Зевс, если бы у меня был сын такой женоподобный, преданный пьянству, щеголяющий в женской головной повязке, постоянно блуждающий в обществе сумасшедших женщин, превосходящий их своей изнеженностью и пляшущий с ними под звуки тимпанов, флейт и кимвалов; вообще он похож на кого угодно, только не на тебя, своего отца.

З е в с. И тем не менее этот бог с женской прической, более изнеженный, чем сами женщины, не только завладел Лидией, покориł жителей Тмола и подчинил себе фракийцев, но пошел со своей женской ратью на Индию, захватил слонов, завоевал всю страну, взял в плен царя, осмелившегося ему сопротивляться, — и все это он совершил среди хороводов и пляски, с тирсами, украшенными плющом, пьяный, как ты говоришь, и объятый божественным безумием. А тех, кто осмелился оскорбить его, не уважая таинств, он сумел наказать, связав виноградной лозой или заставив мать преступника разорвать своего сына на части, как молодого оленя. Разве это не мужественные деяния и не достойные меня? А если он и окружающие его при этом преданы веселью и немного распущенны, то невелика в том беда, в особенности когда подумаешь, каков он был бы в трезвом состоянии, если и пьяный совершает такие подвиги.

2. Г е р а. Ты, кажется, не прочь похвалить Диониса и за его изобретение — виноградную лозу и вино, хотя сам видишь, какие вещи делают опьяненные, теряя самообладание, совершая преступления и прямо впадая в безумие под действием этого напитка. Вспомни, что Икария, который первым из людей получил в дар виноградную лозу, убили мотыгами собственные сотрапезники.

З е в с. Все это пустяки! Во всем виновато не вино и не Дионис, а то, что люди пьют, не зная меры, и, переходя всякие границы, без конца льют в себя вино, не смешанное с водой. А кто пьет умеренно, тот только становится веселее и любезнее и ни с одним из своих сотрапезников не делает ничего похожего на то, что было сделано с Икарием. Но, Гера, ты, кажется, ревнуешь, не можешь забыть Семелы и оттого бранишь прекраснейший из даров Диониса.

1. Афродита. Что же это значит, Эрот? Ты поборол всех богов: Зевса, Посейдона, Рею, свою собственную мать, а щадишь одну Афину: для нее твой факел не горит, в колчане у тебя нет стрел, ты перестаешь быть стрелком и не попадаешь в цель.

Эрот. Я боюсь ее, родная: она страшная, глаза у нее такие блестящие, и она ужасно похожа на мужчину. Когда я, натянув лук, приближаюсь к Афине, она встряхивает султаном на шлеме и этим так меня пугает, что я весь дрожу и лук и стрелы выпадают у меня из рук.

Афродита. Да разве Арес не страшнее? А ты все-таки обезоружил его и победил.

Эрот. Нет, он позволяет подойти к себе и даже сам зовет, а Афина всегда смотрит на меня исподлобья. Я как-то раз случайно пролетал мимо нее, держа близко факел, а она тотчас закричала: «Если ты ко мне подойдешь, то, клянусь отцом, я тебя проколю копьем, или схвачу за ноги и брошу в Тартар, или собственными руками разорву на части!» И много еще грозила в том же духе. Смотрит она всегда сердито, а на груди у нее какое-то страшное лицо со змеями вместо волос: его я больше всего боюсь: оно всегда пугает меня, и я убегаю, как только увижу его.

2. Афродита. Афины с ее Горгоной ты, значит, боишься, хотя несколько не боялся Зевса с его перуном. Но отчего же музы для тебя неприкосновенны и не боятся твоих стрел? Разве и они встряхивают султанами и носят на своей груди горгон?

Эрот. Их я слишком уважаю, родная: они так степенны, всегда о чем-то думают и заняты песнями; я сам часто подолгу простаиваю подле них, очарованный их пением.

Афродита. Ну, пусть их, если они так степенны. Но почему ты не стреляешь в Артемиду?

Эрот. Ее я совсем поймать не могу: она все бежит по горам; к тому же у нее есть своя собственная любовь.

Афродита. Какая же, дитя?

Эрот. Она влюблена в охоту, в оленей и ланей, за которыми постоянно гоняется, то ловя их, то убивая из лука; она вся только этим и занята. Но зато в ее брата, хоть он и сам стрелок и далеко разит...

Афродита. Да, сынок, в него ты много раз попадал.

Зевс, Гермес, Гера, Афина, Афродита, Парис или Александр

1. **Зевс.** Гермес, возьми это яблоко и отправляйся во Фригию к сыну Приама, который пасет стадо в горах Иды, на Гаргаре. Скажи ему вот что: «Тебе, Парис, Зевс поручает рассудить богинь, спорящих о том, которая из них наикрасивейшая: ты ведь сам красив и сведущ в делах любви; победившая в споре пусть получит это яблоко». Пора и вам, богини, отправиться на суд: я отказываюсь рассудить вас, так как люблю всех одинаково и хотел бы, если б это было возможно, видеть вас всех победительницами. К тому ж я уверен, что, если присужу одной из вас награду за красоту, две остальные сделаются моими врагами. Оттого-то я не гожусь вам в судьи; а этот фригийский юноша, к которому вы обратитесь, происходит из царского рода и родственник моему Ганимеду, — а впрочем, это простой, неиспорченный житель гор, вполне достойный того зрелища, которое ждет его.

2. **Афродита.** Что касается меня, Зевс, то я, не колеблясь, готова идти на суд, даже если бы ты поставил судьей самого насмешника Мома: во мне ему никак не найти повода для насмешки. Но необходимо, чтобы избранный тобою судья понравился также им.

Гера. Мы тоже, Афродита, и не думаем бояться, даже если бы суд был поручен твоему Аресу. И против Париса, кто бы он ни был, мы ничего не имеем.

Зевс. Ну а ты, дочка, тоже согласна? Что скажешь? Отворачиваешься и краснеешь? Вы, девушки, всегда краснеете, когда речь идет о таких вещах; но ты все-таки кивнула головой, — значит, согласна. Идите же, только смотрите, пусть побежденные не сердятся на судью и не делают бедному юноше зла: ведь невозможно, чтобы все были одинаково красивы.

3. **Гермес.** Мы, значит, направимся прямо во Фригию, я вас поведу, а вы следуйте за мной и не отставайте. Идите смело: я знаю Париса; это очень красивый юноша и в любви знает толк; к такому суду он подходит как нельзя лучше и, наверно, рассудит вас справедливо.

Афродита. Это все очень хорошо, а для меня особенно выгодно то, что судья справедлив. Ну, а как он: не женат еще или у него уже есть жена?

Гермес. Нельзя сказать, что он совсем не женат.

Афродита. Как же это?

Гермес. С ним, кажется, живет одна женщина с Иды, славненькая, но слишком деревенская, простая девушка с гор; он, кажется, не особенно сильно к ней привязан. Но зачем тебе это нужно знать?

Афродита. Я так только спросила.

4. Афина. Милейший, ты преступаешь свои полномочия, разговаривая с ней наедине.

Гермес. Ничего дурного, Афина, ничего против вас; она спросила, женат ли Парис.

Афина. Отчего же это ее так занимает?

Гермес. Не знаю; она говорит, что спросила не с какою-нибудь целью, а так, случайно.

Афина. Так как же, он женат?

Гермес. Кажется, да.

Афина. Ну, а насчет военных подвигов? Любит ли он их, стремится ли к славе, или же он только простой пастух?

Гермес. С уверенностью я тебе ответить не могу, но можно догадываться, что он, как человек молодой, стремится и к этому и хотел бы быть первым в битвах.

Афродита. Вот видишь, я не сержусь и не делаю тебе выговоров за то, что ты с ней разговариваешь наедине; это — дело не Афродиты, а тех, кто вечно ворчит.

Гермес. Она спросила меня приблизительно о том же, о чем и ты; не сердись и не думай, что терпишь обиду, если я и ей ответил совсем просто.

5. Но мы среди разговора и не заметили, что оставили далеко за собой звезды и находимся у самой Фригии. Я вижу уже Иду и весь Гаргар как на ладони и даже, если не ошибаюсь, вижу нашего судью Париса.

Гера. Где же он? Я ничего не вижу.

Гермес. Посмотри, Гера, туда, налево, не на вершину горы, а на ее склон, где видно пещеру и перед ней стадо.

Гера. Да я не вижу никакого стада.

Гермес. Как же? Не видишь коров, вон там, по направлению моего пальца? Они выходят из-за скал, а с горы бежит человек с посохом в руке и гонит стадо назад, не давая ему разбрестись.

Гера. Да, теперь я его вижу, если это он.

Гермес. Он, он! Но мы уже близко; я думаю, нам нужно спуститься и пойти по земле, а то мы его напугаем, слетев внезапно с высоты.

Гера. Ты прав: спустимся на землю. Теперь, Афродита, ты должна идти впереди и вести нас; тебе, наверно, хорошо знакома эта местность: ведь ты, говорят, много раз побывала здесь у Анхиса.

Афродита. Не думай, Гера, что твои насмешки могут меня очень разозлить.

6. Гермес. Я сам вас поведу. Здесь, на Иде, я уже бывал; это было в то время, когда Зевс был влюблен в того маленького фригийца: он часто посылал меня сюда посмотреть, что делает мальчик. А когда он превратился в орла, я летел рядом с ним и помогал ему нести маленького красавца; если меня память не обманывает, он похитил его как раз у этой скалы. Мальчик был тогда у своего стада и играл на свирели, как вдруг Зевс налетел на него сзади и, схватив очень бережно когтями, а клювом держа за головную повязку, поднял на воздух, а он, запрокинув голову, глядел с испугом на своего похитителя. Тогда я подобрал свирель, которую мальчик со страху выронил... Но наш судья уже перед нами, так близко, что можно с ним заговорить.

7. Здравствуй, пастушок!

Парис. Здравствуй и ты, юноша! Кто ты? Откуда пришел к нам? Что это с тобой за женщины? Они настолько красивы, что не могут быть жительницами этих гор.

Гермес. Это не женщины, Парис: ты видишь перед собой Геру, Афину и Афродиту; а я — Гермес, и послал меня к тебе Зевс. Но чего же ты дрожишь и весь побледнел? Не бойся, ничего ужасного нет: Зевс поручает тебе быть судьей в споре богинь о том, которая из них самая красивая. Так как ты и сам красив и сведущ в делах любви, то я, говорит Зевс, предоставляю тебе разрешить их спор; а что будет победной наградой, ты узнаешь, прочитав надпись на этом яблоке.

Парис. Дай посмотрю, что там такое. Написано: «Прекраснейшая да возьмет себе!» Владыка мой Гермес, как же я, смертный человек и необразованный, могу быть судьей такого необыкновенного зрелища, слишком высокого для бедного пастуха? Это быстрее сумел бы рассудить человек тонкий, образованный.

А я что? Которая из двух коз красивее или которая из двух телок — это я мог бы разобраться как следует.

8. А эти все три одинаково прекрасны, и я не знаю даже, как можно оторвать взор от одной и перевести на другую; глаза не хотят оторваться, но куда раз взглянули, туда и глядят и восхищаются; а когда наконец перейдут к другой, то опять впадают в восторг и останавливаются, и потом опять их увлекают все новые и новые красоты. Я весь утопаю в их красоте, она меня совсем околдовала! Я хотел бы смотреть всем телом, как Аргус! Я думаю, что единственный справедливый суд — это отдать яблоко всем трем. Да к тому же такое совпадение: эта — сестра и супруга Зевса, а те — его дочери; разве это не затрудняет еще больше и без того трудное решение?

Гермес. Не знаю; только должен тебе сказать, что исполнить волю Зевса ты обязан непременно.

9. Парис. Об одном прошу, Гермес: убеди их, чтобы две побежденные не сердились на меня и видели бы в этом только ошибку моих глаз.

Гермес. Они это обещали... Но пора приступить к делу, Парис.

Парис. Попробуем; что ж поделать! Но прежде всего я хотел бы знать, достаточно ли будет осмотреть их так, как они сейчас стоят, или же для большей точности исследования лучше, чтобы они разделись.

Гермес. Это зависит от тебя как судьи; распоряджайся, как тебе угодно.

Парис. Как мне угодно? Я хотел бы посмотреть их нагими.

Гермес. Разденьтесь, богини; а ты смотри внимательно. Я уже отвернулся.

10. Гера. Прекрасно, Парис; я первая раздеюсь, чтобы ты убедился, что у меня не только белые руки и не вся моя гордость в том, что я — волоокая, но что я повсюду одинаково прекрасна.

Парис. Разденься и ты, Афродита.

Афина. Не вели ей раздеваться, Парис, пока она не снимет своего пояса: она волшебница и с помощью этого пояса может тебя околдовать. И затем, ей бы не следовало выступать со всеми своими украшениями и с лицом накрашенным, словно у какой-нибудь гетеры, но ей следует открыто показать свою настоящую красоту.

Парис. Относительно пояса она права: сними его.

Афродита. Отчего же ты, Афина, не снимаешь шлема и не показываешь себя с обнаженной головой, но трясешь своим султаном и пугаешь судьбу? Ты, может быть, боишься, что твои серовато-голубые глаза не произведут никакого впечатления без того строгого вида, который придает им шлем?

Афина. Ну вот тебе, я сняла шлем.

Афродита. А я вот сняла пояс.

Гера. Пора раздеваться.

11. Парис. О Зевс-чудотворец! Что за зрелище, что за красота, что за наслаждение! Как прекрасна эта дева! А эта как царственно и величественно сияет, действительно как подобает супруге Зевса! А эта как чудно смотрит, как прекрасно и заманчиво улыбается! Но я не могу перенести всего этого блаженства. Я бы вас попросил позволить мне осмотреть каждую отдельно: сейчас я совсем потерялся и не знаю, куда раньше смотреть, ибо все с одинаковой силой притягивают мой взор.

Афродита. Хорошо, сделаем так.

Парис. Тогда вы обе отойдите; а ты, Гера, останься.

Гера. Я остаюсь; осмотри меня хорошенько, а потом подумай, как тебе понравятся мои дары. Послушай, Парис, если ты мне присудишь награду, я тебя сделаю господином над всей Азией.

Парис. Дарами ты меня не прельстишь. Можешь идти: будет сделано, как мне покажется справедливым.

12. А ты, Афина, подойди сюда.

Афина. Я здесь, Парис; если ты мне присудишь награду, ты впредь никогда не уйдешь из битвы побежденным, а всегда будешь победителем; я тебя сделаю воинственным и победоносным героем.

Парис. Мне, Афина, не нужны военные подвиги; ты видишь, что мир царит во Фригии и Лидии и мой отец правит без всяких войн. Не беспокойся: ты не потерпишь обиды, даже если я буду судить, не обращая внимания на подарки. Можешь одеться и надеть шлем: я достаточно тебя видел. Теперь очередь Афродиты.

13. Афродита. Вот и я; осмотри меня точно и подробно, ничего не пропуская, но подолгу останавливаясь на каждой из частей моего тела, и, если хо-

чешь, послушай, красавец, что я тебе скажу. Давно уже, видя, как ты молод и прекрасен,— во всей Фригии вряд ли найдется тебе соперник,— я считаю тебя за такую красоту счастливым, однако ж не могу простить того, что ты не покидаешь этих гор и скал и не отправляешься жить в город, а здесь, в глуши, теряешь напрасно свою красоту. Что могут дать тебе эти горы? На что пригодится твоя красота коровам? Тебе бы следовало найти себе жену, но не грубую деревенскую женщину, каковы все здесь на Иде, а какую-нибудь из Эллады, из Аргоса, из Коринфа или, например, лаконянку, вот такую, как Елена: она молода, красива, ничуть не хуже меня и, что всего важнее, вся создана для любви; я уверена, что ей стоит только увидеть тебя — и она бросит дом и, готовая на все, пойдет за тобой. Но ведь невозможно, чтобы ты не слышал про нее.

П а р и с. Никогда не слышал. Расскажи мне все, Афродита; я с удовольствием слушаю.

14. А ф р о д и т а. Она дочь Леды, известной красавицы, к которой Зевс спустился в образе лебедя.

П а р и с. Какова же она собой?

А ф р о д и т а. Бела, как и следует быть дочери лебедя, нежна — недаром же родилась из яйца, стройна и сильна и пользуется таким успехом, что из-за нее уже велась война, когда Тесей похитил ее еще совсем молоденькой девушкой. А когда она выросла и расцвела, тогда все знатные ахейцы стали добиваться ее руки, а она избрала Менелая из рода Пелопидов. Хочешь, я ее сделаю твоей женой?

П а р и с. Как же? Она ведь замужем.

А ф р о д и т а. Как ты еще молод и неопытен! Это уж мое дело, как все устроить.

П а р и с. Да каким же образом? Я и сам хочу знать.

15. А ф р о д и т а. Нужно, чтобы ты уехал отсюда, как будто ради обозрения Эллады. Когда ты прибудешь в Лакедемон, Елена тебя увидит, а там уж я позабочусь о том, чтоб она влюбилась и ушла с тобой.

П а р и с. Вот это и кажется мне невероятным: неужели она согласится покинуть мужа и пойти за чужестранцем к варварам?

А ф р о д и т а. Об этом не беспокойся. У меня есть два сына-красавца, Гимерос и Эрот; их я пошлю с то-

бой в путь проводниками. Эрот завладеет всем ее существом и заставит ее влюбиться в тебя, а Гимерос, пролив на тебя все свое очарование, сделает тебя желанным и привлекательным. Я сама тоже буду помогать и попрошу харит отправиться со мной, чтобы общими силами внушить ей любовь.

П а р и с. Что из всего этого выйдет, я не знаю, Афродита,— знаю только, что я уже влюблен в Елену, и не понимаю, что со мной, но мне кажется, что вижу ее, плыву прямо в Элладу, прибыл в Спарту и вот возвращаюсь на родину с Еленой... Как меня раздражает, что все это еще не сбылось!

16. А ф р о д и т а. Парис, не отдавайся любви раньше, чем разрешишь спор в мою пользу, в благодарность за то, что я буду твоей свахой и отдам тебе в руки невесту; нужно ведь, чтобы я явилась к вам победительницей и отпраздновала вместе вашу свадьбу и мою победу. Ценой этого яблока ты можешь купить себе все: любовь, красоту, брак.

П а р и с. Я боюсь, что ты, получив от меня яблоко, забудешь о своих обещаниях.

А ф р о д и т а. Хочешь, я поклянусь?

П а р и с. Нет, этого не надо; повтори только обещание.

А ф р о д и т а. Обещаю тебе, что Елена будет твоей и вместе с тобой отправится к вам в Трою; я сама займусь этим делом и устрою все.

П а р и с. И возьмешь с собой Эрота, и Гимероса, и харит?

А ф р о д и т а. Непременно; и Потоса и Гименея возьму в придачу.

П а р и с. Значит, под этим условием я даю тебе яблоко, под этим условием оно — твое.

XXI. АРЕС И ГЕРМЕС

1. А р е с. Гермес, ты слышал, чем нам пригрозил Зевс? Какие надменные угрозы и вместе с тем какие неразумные! Если я, говорит, захочу, то спущу с неба цепь, а вы все, ухватившись за нее, будете стараться стащить меня вниз, но это вам не удастся; а если б я пожелал потянуть цепь, то поднял бы к небу не только вас; но вместе с вами и землю и море,— и так дальше, ты ведь сам слышал. Я не буду спорить против то-

го, что он могущественнее и сильнее каждого из нас в отдельности, но будто он настолько силен, что мы все вместе не перетянем его, даже если земля и море будут с нами,— этому я не поверю.

2. Гермес. Перестань, Арес: такие вещи опасно говорить, эта болтовня может нам стоить больших неприятностей.

Арес. Неужели ты думаешь, что я сказал бы это при всех? Я говорю только тебе, зная, что ты не разболтаешь. Но знаешь, что мне показалось самым смешным, когда я слушал эту угрозу? Я не могу не сказать тебе. Я вспомнил еще совсем недавний случай, когда Посейдон, Гера и Афина возмутились против него и замыслили схватить его и связать. Как он тогда от страха не знал, что делать, хотя их было всего трое, и, если бы не Фетида, которая сжалилась над ним и призвала на помощь сторукого Бриарея, он так и дал бы себя связать вместе с громом и молнией. Когда я это вспомнил, я чуть было не расхохотался, слушая его горделивые речи.

Гермес. Замолчи, советую я; небезопасно тебе говорить такие вещи, а мне — их слушать.

XXII. ПАН И ГЕРМЕС

1. Пан. Здравствуй, отец Гермес.

Гермес. Здравствуй и ты. Но какой же я тебе отец?

Пан. Ты, значит, не Гермес Киллений?

Гермес. Он самый. Но отчего ты называешь себя моим сыном?

Пан. Да, я твой незаконный сын, неожиданно для тебя родившийся.

Гермес. Клянусь Зевсом, ты скорее похож на сына блудливого козла и козы. Какой же ты мой сын, если у тебя рога, и такой нос, и лохматая борода, и ноги, как у козла, с раздвоенными копытами, и хвост сзади?

Пан. Ты смеешься надо мной, отец, над своим собственным сыном; это очень нелестно для меня, но для тебя еще менее лестно, что ты производишь на свет таких детей; я в этом не виноват.

Гермес. Кого же ты назовешь своей матерью? Что же, я с козой, что ли, нечаянно сошелся?

П а н. Нет, не с козой, но заставь себя вспомнить, не соблазнил ли ты некогда в Аркадии одной благородной девушки? Что же ты кусаешь пальцы, раздумывая, как будто не можешь вспомнить? Я говорю о дочери Икария — Пенелопе.

Г е р м е с. Так отчего же она родила тебя похожим не на меня, а на козла?

2. П а н. Вот что она сама мне об этом сказала. Посылает она меня в Аркадию и говорит: «Сын мой, твоя мать — я, спартанка Пенелопа, что же касается твоего отца, то знай, что он бог, Гермес, сын Майи и Зевса. А что у тебя рога и козлиные ноги, этим ты не смущайся: когда твой отец сошелся со мной, он был в образе козла, не желая, чтобы его узнали; оттого ты и вышел похожим на козла».

Г е р м е с. Правда, правда, клянусь Зевсом: я что-то такое припоминаю. Так, значит, я, гордый своей красотой, сам еще безбородый, должен называться твоим отцом и позволять всем смеяться над тем, что у меня такой хорошенький сынок?

3. П а н. Тебе, отец, нечего стыдиться из-за меня. Я музыкант и очень хорошо играю на свирели. Дионис без меня обойтись не может: он сделал меня своим товарищем и участником таинств, я стою во главе его свиты. А если бы ты видел, сколько у меня стад около Тегеи и на склонах Партения, ты был бы очень рад. Мало того, что я владею Аркадией: я недавно так отличился в Марафонской битве, помогая афинянам, что в награду за мои подвиги получил пещеру под Акрополем, — если ты будешь в Афинах, увидишь, каким почетом там пользуется имя Пана.

4. Г е р м е с. Скажи мне, Пан, — так, кажется, зовут тебя, — ты женат уже?

П а н. О нет, отец. Я слишком влюбчив, одной для меня мало.

Г е р м е с. Тебя, наверно, услаждают козы?

П а н. Ты надо мной смеешься, а я живу с Эхо, с Питией, со всеми менадами Диониса, и они меня очень ценят.

Г е р м е с. Знаешь, сынок, о чем я тебя прежде всего попрошу?

П а н. Приказывай, отец, я постараюсь все исполнить.

Г е р м е с. Подойди поближе и обними меня; но смотри, не называй меня отцом при посторонних.

1. Аполлон. Странное дело, Дионис: Эрот, Гермафродит и Приап — родные братья, сыновья одной матери, а между тем они так не похожи друг на друга и по виду и по характеру. Один — красавец, искусный стрелок, облечен немалой властью и всеми распоряжается; другой — женоподобный полумужчина, такой с виду неопределенный и двусмысленный, что нельзя с уверенностью сказать, юноша он или девушка; а зато Приап уже до такой степени мужчина, что даже неприлично.

Дионис. Ничего удивительного, Аполлон: в этом виновата не Афродита, а различные отцы. Но ведь бывает даже, что близнецы от одного отца рождаются разного пола, как, например, ты с твоей сестрой.

Аполлон. Да, но мы похожи друг на друга, и занятия у нас одинаковые: мы оба стрелки.

Дионис. Только что и есть у вас общего, все же остальное совсем различно: Артемида в Скифии убивает чужестранцев, а ты предсказываешь будущее и лечишь больных.

Аполлон. Не думай, что моя сестра хорошо себя чувствует среди скифов: ей так опротивели убийства, что она готова убежать с первым эллином, который случайно попадет в Таврику.

2. Дионис. И хорошо делает. Но о Приапе: я тебе расскажу про него нечто очень смешное. Недавно я был в Лампсаке. Приап принял меня у себя в доме, угостил, и мы легли спать, подвыпив за ужином. И вот около полуночи мой милый хозяин встает и... мне стыдно сказать тебе.

Аполлон. Хотел тебя соблазнить?

Дионис. Да, именно.

Аполлон. А ты что тогда?

Дионис. Что же было делать? Расхохотался.

Аполлон. Очень хорошо, что ты не рассердился и не был с ним груб; ему можно простить попытку соблазнить такого красавца, как ты.

Дионис. По этой самой причине он может и к тебе, Аполлон, пристать: ты ведь так красив и у тебя такие прекрасные волосы, что Приап даже в трезвом виде может тобой прельститься.

Аполлон. Он не осмелится: у меня есть не только прекрасные волосы, но также лук и стрелы.

1. Гермес. Есть ли во всем небе бог несчастнее меня?

Майя. Не говори так, Гермес.

Гермес. Как же не говорить, когда меня совершенно замучили, завалили всякой работой,— ярываюсь на части от множества дел. Лишь только встану поутру, сейчас надо идти выметать столовую. Едва успею привести в порядок места для возлежания и устроить все как следует, нужно являться к Зевсу и разносить по земле его приказания, бегая без усталости туда и сюда и обратно; только это кончится, я, весь еще в пыли, уже должен подавать на стол амброзию,— а раньше, пока не прибыл новый виночерпий, я и нектар разливал. И ужаснее всего то, что я, единственный из всех богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. Всех моих дневных работ еще мало; недостаточно, что я присутствую в палестрах, служу глашатаем на Народных собраниях, учу ораторов произносить речи, устраивать дела мертвецов— это тоже моя обязанность.

2. Сыновья Леды сменяют друг друга: когда один находится на небе, другой проводит день в преисподней. Только я один принужден каждый день делать и то и другое. Сыновья Алкмены и Семелы, рожденные от жалких женщин, живут в свое удовольствие, не зная никаких забот, а я, сын Майи, дочери Атланта, должен им прислуживать! Вот сейчас я только что вернулся из Сидона, от сестры Кадма, куда Зевс послал меня посмотреть, как поживает его любимица; не успел еще я перевести дух, а он уже посылает меня в Аргос навестить Данаю, а на обратном пути оттуда «зайди, говорит, в Беотию повидать Антиопу». Я не могу больше! Если бы было возможно, я с удовольствием заставил бы его продать меня кому-нибудь другому, как это делают на земле рабы, когда им служить неважно.

Майя. Оставь эти жалобы, сынок. Ты еще молод и должен прислуживать отцу, сколько он ни пожелает. А теперь, раз он посылает тебя, беги поскорее в Аргос и затем в Беотию, а то он, пожалуй, побьет тебя за медлительность: влюбленные всегда очень раздражительны.

1. Зевс. Что ты наделал, проклятый Титан? Ты погубил все, что ни есть на земле, доверив свою колесницу глупому мальчишке; он сжег одну часть земли, слишком приблизившись к ней, а другую заставил погибнуть от холода, слишком удаляя от нее огонь. Он решительно все перевернул вверх дном! Ведь если бы я не заметил, что делается, и не убил его молнией, от человеческого рода и следа бы не осталось. Вот какого милого возницу ты послал вместо себя!

Гелиос. Да, Зевс, я виноват; но не сердись так на меня за то, что я уступил настойчивым мольбам сына: откуда же я мог знать, что это окончится таким несчастьем?

Зевс. Ты не знал, какое нужно умение в твоем деле, не знал, что стоит только немножко выйти из колеи — и все пропало? Тебе не была известна дикость твоих коней, которых постоянно надо сдерживать поводьями? Дай им только немножко свободы — и они сейчас становятся на дыбы. Так с ним и случилось: кони бросались то влево, то вправо, то назад, вверх и вниз, куда только хотели, а он не знал, что с ними поделаться.

2. Гелиос. Я предвидел это и оттого долго не соглашался доверить ему коней; но когда он стал меня молить со слезами и его мать Климена вместе с ним, я посадил его на колесницу и все объяснил: как надо стоять, до каких пор нужно подняться вверх, не сдерживая коней, а затем направить колесницу вниз, как надо держать вожжи и не давать коням воли; я сказал ему также, какая опасность грозит, если он сойдет с прямого пути. Но понятное дело, что он, совсем еще мальчик, очутившись вблизи от такого ужасного огня и видя под собой бездонную пропасть, испугался; а кони, как только почуяли, что не я правлю, свернули с дороги, презирая молодого возницу, и произвели весь этот ужас. Он, вероятно опасаясь, что упадет вниз, бросил вожжи и ухватился за верхний край колесницы. Бедняга достаточно уже наказан, а с меня, Зевс, хватит собственного горя.

3. Зевс. Хватит, говоришь ты? За такое дело? На этот раз я тебя прощаю, но если ты еще раз сделаешь что-нибудь подобное и пошлешь на свое место такую замену, я тебе покажу, насколько сильнее твоего огня

жжет мой перун! А твоего сына пусть сестры похоронят на берегу Эридана, в том месте, где он упал с колесницы; пусть слезы их, пролитые на его могиле, превратятся в янтарь, а сами они от горя сделаются осокориями. Ну, а ты почини колесницу,— дышло ведь поломано и одно колесо совсем испорчено,—запрягай коней и отправляйся в путь. Только помни обо всем, что я тебе сказал.

XXVI. АПОЛЛОН И ГЕРМЕС

1. Аполлон. Гермес, не можешь ли ты мне сказать, который из этих двух юношей Кастор и который Полидевк? Я их никак не могу различить.

Гермес. Тот, что был с нами вчера, это Кастор, а вот этот — Полидевк.

Аполлон. Как же ты это узнаешь? Они ведь так похожи друг на друга.

Гермес. А вот как, Аполлон: у этого на лице следы от ударов, которые он получил в кулачном бою от противников, особенно от бебрикийца Амика, во время морского похода с Ясоном; а у другого ничего подобного нет — лицо у него чистое, без всяких увечий.

Аполлон. Ты оказал мне услугу, научив, как их различать. Но все остальное у них совсем одинаково: и шапка в пол-яйца, и звезды над головой, и дротик в руке, и белый конь, так что мне нередко случалось в разговоре называть Полидевка Кастором, а Кастора — Полидевком. Но скажи мне еще одну вещь: отчего они никогда не являются к нам оба вместе, но каждый из них поочередно делается то мертвецом, то богом?

2. Гермес. Это от их взаимной братской любви. Когда оказалось, что один из сыновей Леды должен умереть, а другой — стать бессмертным, они таким образом разделили между собой бессмертие.

Аполлон. Не понимаю я, Гермес, такого раздела: они ведь так никогда друг друга не увидят, — а этого, я думаю, они больше всего желали. Как же им встретиться, если один пребывает в царстве богов, а другой в то же время в царстве мертвых? Но вот что меня еще интересует: я предсказываю будущее, Асклепий лечит людей, ты, как превосходный воспитатель, обучаешь

гимнастике и борьбе, Артемида помогает родильницам, и вообще каждый из нас занимается чем-нибудь, приносящим пользу богам или людям, — а они что же делают? Неужели они, совсем уже взрослые, живут, ничего не делая?

Гермес. Ничего подобного: они прислуживают Посейдону; на них лежит обязанность объезжать верхом море и, если где-нибудь увидят моряков в опасности, садиться на корабль и приносить плывущим спасение.

Аполлон. Да, Гермес, это очень хорошее и полезное занятие.





МОРСКИЕ РАЗГОВОРЫ

І. ДОРИДА И ГАЛАТЕЯ

1. Д о р и д а. Прекрасный поклонник, Галатея, этот сицилийский пастух! Говорят, он без ума от тебя.

Г а л а т е я. Не дразни меня, Дорида, повторяя чужие шутки. Все же он сын Посейдона, каков бы он ни был.

Д о р и д а. Так что же? Если бы сын самого Зевса оказался таким волосатым дикарем и к тому же, что хуже всего, одноглазым, то неужели ты думаешь, происхождение могло бы хоть сколько-нибудь скрасить его безобразие?

Г а л а т е я. Ни его волосатость, как ты выражаешься, ни дикость нисколько не портят его: все это свойственно мужчине. А что касается его глаза, то он очень хорош посреди лба, и видеть им можно не хуже, чем если бы их было два.

Д о р и д а. Кажется, Галатея, что не Полифем влюблен в тебя, а ты сама любишь его: так ты его расхваливаешь.

2. Г а л а т е я. Вовсе не люблю, но не переношу ваших грубых насмешек; и мне кажется, что вы делаете это просто из зависти! Ведь однажды, пася свое стадо и видя с вершины скалы, как мы играем у подножия Этны — там, где берег тянется между горой и морем, — Полифем не обратил внимания на вас, меня же счел самой красивой и только на меня направлял взгляд своего глаза. Это-то вас и огорчает, так как доказывает, что я прекраснее вас и более достойна любви, а вами пренебрегают.

Д о р и д а. Если пастуху с плохим зрением ты и показалась красивой, так неужели этому можно завидовать? Ведь в тебе ему нечего хвалить, разве что белизну кожи; да и это, я думаю, понравилось ему потому, что он постоянно возится с сыром и молоком. Ну и конечно, все, что их напоминает, он считает прекрасным.

3. А если ты хочешь изучить себя подробнее, какова ты на самом деле, то, наклонившись в тихую погоду над водою со скалы, присмотришься к своему отражению, и увидишь, что в тебе нет ничего привлекательного, кроме нежно-белого цвета кожи; но ведь этого не любят, если нет в должной мере румянца.

Г а л а т е я. И все же моя неподражаемая белизна дала мне хоть этого поклонника, тогда как у вас нет никого — ни пастуха, ни моряка, ни корабельщика, кому бы вы понравились. А Полифем к тому же еще и музыкант.

4. Д о р и д а. Помолчи, Галатея! Мы слышали, как он недавно пел, прославляя тебя в песенке. О милая Афродита! Казалось, будто ревет осел. А лира-то у него какая? Череп оленя, очищенный от мяса, оленьи рога вместо рогов лиры; связав их, он прикрепил к ним струны и, даже не настроив лиры повертыванием колков, затянул что-то нескладное и безобразное; сам он вопил одно, другое подыгрывал на лире, так что мы не могли сдержатъ смеха, слушая его любовную песнь. Сама Эхо, уж на что она болтлива, не захотела отвечать на его мычание, стыдясь подражать этой дикой и смешной песне.

5. А этот прелестник, играя, держал на руках лохматого медвежонка, своего вылитого двойника. И в са-

мом деле, Галатея, кто не приревнует твоего любовника?

Галатея. Так покажи нам своего, Дорида; уж, наверное, он красивее и музыкальнее моего и лучше владеет лирой.

Дорида. Но у меня нет любовников, да я и не считаю себя стоящей чьей-либо любви; а такого, как твой Киклоп, с козлиным запахом, пожирающего, говорят, сырое мясо, питающегося прибывшими к нему чужестранцами, оставь себе и сама отвечай на его любовь.

II. КИКЛОП И ПОСЕЙДОН

1. Киклоп. Отец, смотри, что сделал со мной проклятый чужестранец! Он напоил меня и выколол глаз, напав на меня во время сна.

Посейдон. Но кто же осмелился сделать это, Полифем?

Киклоп. Сначала он назвался «Никем», а потом, когда убежал и я не мог его уже ранить, сказал, что его зовут Одиссеем.

Посейдон. Знаю, о ком ты говоришь. Это — Одиссей, итакиец. Он плыл из-под Илиона. Но как же он изувечил тебя? Ведь он не очень-то храбр.

2. Киклоп. Вернувшись с пастбища, я застал в пещере многих людей, очевидно замышлявших что-то недоброе против моих стад. Я заложил вход в пещеру — для этого у меня припасен огромный камень, — развел огонь, поджегши принесенное с горы дерево, и вижу, пришельцы стараются куда-нибудь спрятаться. Схватив несколько человек, я, как и подобало, съел этих разбойников. Тут-то вот этот негодяй, уж не знаю — «Никто» или Одиссей — налил какого-то зелья и подал мне его выпить; зелье было сладкое и благовонное, но коварнейшее и путающее мысли. Не успел я еще его выпить, как все передо мной закружилось, сама пещера перевернулась, — словом, я был сам не свой, а в конце концов меня одолел сон. А тот, заострив бревно и зажегши его, ослепил меня, пока я спал; и с тех пор я ничего не вижу, Посейдон!

3. Посейдон. Как глубоко ты спал, дитя, если не вскочил, пока тебя ослепляли! Ну, а тот, Одиссей, как же он убежал? Я хорошо знаю, что ему не под силу было отодвинуть от выхода камень.

Киклоп. Я сам отвалил камень, рассчитывая легче поймать его при выходе. Я сел у двери и, протянув руки, охотился за ним, пропуская лишь овец на пастбище, поручив барану позаботиться обо всем, что обычно лежало на мне.

4. Посейдон. Понимаю! Твои гости незаметно вышли из пещеры, подвесившись снизу к овцам; но ты должен был позвать на помощь других киклопов.

Киклоп. Я их созвал, отец. Они сбежались и стали спрашивать, кто обидчик. Когда же я ответил: «Никто», они приняли меня за сумасшедшего и ушли. Так-то перехитрил меня этот проклятый, назвавшись таким именем. Но всего больше огорчило меня то, что он, издеваясь над моим несчастьем, крикнул мне: «Сам отец твой, Посейдон, не вылечит тебя!»

Посейдон. Не унывай, сын мой: я отомщу ему! Пусть он узнает, что если и не в моей власти возвращать зрение, то судьба моряков в моих руках. А он еще плавает по морю.

III. ПОСЕЙДОН И АЛФЕЙ

1. Посейдон. Что это значит, Алфей, что из всех рек ты один, впадая в море, не сливаешься с ним, как это делают все реки, и не прекращаешь своего течения, растворившись в соленой морской влаге, а напротив, сохраняя свои воды неизменно сладкими, течешь несмешанный и чистый. И кажется, что ты, словно чайка или цапля, то скрываешься, ныряя в глубину, то снова появляешься, выплывая на поверхность.

Алфей. Это делает любовь, Посейдон, и не тебе меня укорять: ведь ты и сам часто влюбляешься.

Посейдон. Кем же ты пленен, Алфей: женщиной или нимфой, или одной из nereид?

Алфей. Нет, Посейдон, она — речка.

Посейдон. По какой же земле она протекает?

Алфей. В Сицилии; она островитянка, а зовут ее Аретузой.

2. Посейдон. А, знаю, она очень мила, Алфей! Лучи солнца пронизывают ее, она весело вытекает, и вода ее поблескивает над камешками, принимая от них серебристый цвет.

Алфей. Как хорошо, Посейдон, ты знаешь мою речку! К ней-то я и спешу.

Посейдон. Что ж, ступай и будь счастлив в любви. Только скажи мне вот что: откуда ты знаешь Аре-тузу? Ведь сам-то ты житель Аркадии, а она сира-кузянка!

Алфей. Я тороплюсь, Посейдон, а ты меня задер-живаешь пустыми вопросами.

Посейдон. Верно, ты прав. Беги к своей возлю-бленной и, вынырнув из моря, слейся с ней в дружном созвучии, и пусть ваши воды смешаются воедино.

IV. МЕНЕЛАЙ И ПРОТЕЙ

1. Менелай. Я охотно верю, Протей, что ты прев-ращаешься в воду,— ведь ты морское существо,— и да-же в дерево; это тоже можно допустить... Наконец, что ты принимаешь вид льва, хоть это и удивительно, все же не выходит за пределы вероятного; но если ты действительно способен, живя в море, превращаться в огонь, то этому я весьма удивляюсь и просто отказы-ваюсь верить.

Протей. Не стоит удивляться, Менелай: ведь это несомненно так.

Менелай. Не спорю, я и сам это видел, но, гово-ря между нами, мне кажется, что в этом деле замеша-но какое-то колдовство, то есть, что ты, оставаясь все тем же, лишь обманом зрения действуешь на зрителя.

2. Протей. Но о каком же обмане можно гово-рить при столь очевидных явлениях? Разве не с откры-тыми глазами ты наблюдал за всеми моими превраще-ниями? А если ты все-таки не веришь и думаешь, что все это обман, какое-то видение, встающее перед гла-зами, то приблизься ко мне, когда я превращусь в огонь, и коснись меня рукой. Вот ты и узнаешь, име-ли я только вид огня или обладаю также его свой-ством обжигать.

Менелай. Этот опыт, Протей, не совсем безо-пасен!

Протей. Ты, Менелай, говоришь так, словно ни-когда не видел полипа и незнаком со свойствами этой рыбы.

Менелай. Полипа, положим, я видел, но об его свойствах охотно бы послушал твое повествование.

3. Протей. Так вот. К какой бы скале полип ни приблизился и ни приладил к ней, присосавшись, ча-

щечек своих щупальцев, он становится подобен ей и меняет свою кожу, делая ее похожей на цвет камня; таким образом полип укрывается от рыбаков, совсем не выделяясь на скале и обманывая ловцов своим полным сходством с ней.

Менелай. Это я слышал; но ведь твое превращение в огонь куда менее вероятно, Протей!

Протей. Уж не знаю, Менелай, кому ты и веришь, если не доверишь своим глазам.

Менелай. Да, я сам видел твое превращение, но уж слишком оно изумительно: ты — и вода, и огонь в одно время!

V. ПАНОПА И ГАЛЕНА

1. Панопа. Ну как, Галена, видела ты, что вчера во время обеда в Фессалии устроила Эрида в отместку за то, что ее не пригласили на пир?

Галена. Нет, Панопа: ведь я не обедала с вами. Посейдон приказал мне следить, чтобы море не разбушевалось. Так что же устроила Эрида, которую обошли приглашением?

Панопа. Фетида и Пелей уже удалились в опочивальню в сопровождении Амфитриты и Посейдона, когда Эрида, никем не замеченная, — это ей не стоило большого труда, потому что одни пили, другие рукоплескали игре Аполлона на кифаре или прислушивались к пению Муз, — вдруг бросила в помещение яблоко, удивительно красивое, все из золота, милая Галена, и с надписью: «Прекраснейшая да возьмет себе!» Яблоко покатилося и, словно нарочно, остановилось там, где возлежали Гера, Афродита и Афина.

2. Гермес взял его и прочел надпись. Ну, конечно, мы, nereиды, молчим: что нам было и делать в присутствии богинь! А они... каждая из них стремилась получить яблоко, считая себя достойной его. И дело у них дошло бы до драки, если бы не Зевс, который разнял их сказав: «Я сам не хочу быть вашим судьей, — а они уже предлагали ему их рассудить, — отправляйтесь лучше на Иду, к сыну Приама: он сам красавец и хорошо умеет ценить все прекрасное, а потому и вас неплохо рассудит».

Галена. Ну и что же богини?

Панопа. Да они, кажется, сегодня пошли на Иду, и уж кто-нибудь скоро сообщит нам имя победительницы.

Г а л е н а. Я и сейчас скажу, что никому не устоять в борьбе с Афродитой, лишь бы только судья не страдал глазами.

VI. ТРИТОН, АМИМОНА И ПОСЕЙДОН

1. Т р и т о н. Посейдон! К Лерне каждый день приходит за водой девушка. Прекраснейшее создание,— я, по крайней мере, никого не встречал красивее ее.

П о с е й д о н. Что ж, она свободная, Тритон, или чья-нибудь рабыня, которую посылают за водой?

Т р и т о н. Нет, она дочь известного Даная, одна из пятидесяти, по имени Амимона. Я уже справился об ее имени и происхождении. Оказывается, Данай сурово обращается со своими дочерьми: заставляет выполнять тяжелую работу, посылает черпать воду и вообще не позволяет сидеть без дела.

2. П о с е й д о н. Она совершает в одиночестве весь длинный путь из Аргоса в Лерну?

Т р и т о н. Да. Как ты знаешь, Аргос «многожаждущ», так что приходится постоянно носить туда воду.

П о с е й д о н. О Тритон! Ты ужасно взволновал меня рассказом об этой девушке. Пойдем к ней!

Т р и т о н. Идем. Как раз в это время она ходит за водой, и теперь она уже, пожалуй, на полдороге к Лерне.

П о с е й д о н. Ну так закладывай колесницу! Впрочем, пока лошадей будут запрягать да готовить колесницу, пройдет много времени; лучше подай мне одного из самых быстрых дельфинов. Верхом на нем я доплыву скорее всего.

Т р и т о н. Изволь; вот самый быстроходный дельфин!

П о с е й д о н. Хорошо. Ну, в путь! Ты, Тритон, плыви рядом. Когда мы будем в Лерне, я спрячусь куда-нибудь в засаду, а ты следи... И как только заметишь, что она идет...

Т р и т о н. Вот она, совсем близко!

3. П о с е й д о н. Да ведь это красавица, Тритон, и в самом прелестном возрасте! Нужно похитить ее.

А м и м о н а. Эй, отпусти меня, куда ты меня vleчешь? Работоторговец, ты подослан нашим дядей Египтом. Я крикну отца на помощь!

Т р и т о н. Молчи, Амимона! Это Посейдон.

А м и м о н а. При чем тут Посейдон? Зачем ты прибегаешь к силе и тащишь меня в море? Ах, я несчастная! Ведь я задохнусь, захлебнувшись в море.

П о с е й д о н. Не бойся, я не причиню тебе никакого вреда. На этом месте, близ пены прибоя, я ударом трезубца заставлю бить ключ из скалы, и он будет носить в твою честь имя, созвучное твоему. А ты сама будешь блаженна и после смерти одна среди сестер не будешь носить воду.

VII. НОТ И ЗЕФИР

1. Н о т. Правда ли, Зефир, что Зевс сочетался в любовном порыве с телкой, которую Гермес ведет теперь через морскую пучину в Египет?

З е ф и р. Правда, Нот. Только это была не телка, а дочь реки Инаха; теперь же Гера обратила ее в телку из ревности к Зевсу, воспылавшему к ней сильную страсть.

Н о т. Что же, Зевс и теперь продолжает любить ее?

З е ф и р. И даже очень! Ведь поэтому он и отправил ее в Египет, а нам велел следить, чтобы море было спокойно, пока она не кончит своего плавания. Там, в Египте, она должна будет родить: она уже беременна. А потом и мать, и дитя станут богами.

2. Н о т. Телка станет богиней?

З е ф и р. Вот именно, Нот, и будет — как говорил Гермес — владычицей моряков и нас, ветров: будет посылать из нас, кого захочет, или, напротив, запрещать нам дуть.

Н о т. К ней следовало бы подслужиться, Зефир, раз она наша повелительница.

З е ф и р. Ты прав, клянусь Зевсом: ведь тогда она будет к нам благосклонна!.. Смотри, она кончила свое путешествие и вышла на землю. Но что это? Она уже не сидит на четырех ногах! Неужели Гермес выпрямил ее и снова сделал прекрасной женщиной?

Н о т. Все это невероятно, Зефир! Исчезли рога, хвост, ноги с раздвоенными копытами, и перед нами снова прелестная девушка! Но что это с Гермесом? Он изменяется и вместо юноши делается похожим с лица на собаку.

З е ф и р. Не вмешивайся в чужие дела: он лучше нас знает, что ему надлежит делать.

VIII. ПОСЕЙДОН И ДЕЛЬФИН

1. Посейдон. Хорошо это, Дельфины, что вы всегда человеколюбцы. Еще недавно вы доставили к Истму сына Ино, упавшего вместе с матерью в воду со Скиронидских скал; вот и теперь ты принес на своей спине в Тенар кифареда из Метимны с его одеждой и лирой, не допустив его гибели по жестокому умыслу моряков.

Дельфин. Не удивляйся, Посейдон, нашему сочувствию людям: ведь сами мы превратились в рыб из людей.

Посейдон. Знаю и порицаю за это Диониса. Зачем после морской победы над вами он превратил вас в дельфинов? Довольно было подчинить вас, как он это сделал с другими людьми. Но расскажи, Дельфин, каким образом ты оказал услугу Ариону?

2. Дельфин. Арион нравился, по-видимому, Периандру, и тот частенько посылал за ним ради его искусной игры. И вот, разбогатев от подарков тирана, Арион захотел вернуться морем к себе домой в Метимну, чтобы похвастаться своим богатством. Он сел на первый попавшийся корабль, принадлежавший, очевидно, каким-то разбойникам, и дал им понять, что у него много золота и серебра; и вот когда корабль достиг середины Эгейского моря, мореходы задумали против него злое дело. Тогда Арион — я все это слышал, плывя рядом с кораблем, — сказал: «Если вы решили погубить меня, то позвольте мне, по крайней мере, одеться в платье певца, спеть себе напутственную погребальную песнь и затем добровольно броситься в море». Матросы согласились на его просьбу. Тогда он надел платье, пропел звучную песнь и бросился в море навстречу близкой и неминуемой смерти. Но я подхватил его, посадил к себе на спину и доплыл с ним в Тенар.

Посейдон. Хвалю твою любовь к Музам. Ты достойно отплатил Ариону за его пение, прослушанное тобою.

IX. ПОСЕЙДОН И НЕРЕИДЫ

1. Посейдон. Пусть пролив, в который упала эта девушка, зовется отныне в ее честь морем Геллы.

А вы, nereиды, возьмите ее тело и перенесите в Троаду: пусть его погребут местные жители.

Амфитрита. Нет, Посейдон, пусть она лучше будет похоронена в названном по ее имени море! Мы тронуты ее горькими страданиями, которые причиняла ей мачеха.

Посейдон. Это невозможно, Амфитрита: нехорошо, если Гелла останется лежать где-нибудь на песке... Она, как я уже сказал, должна быть погребена или в Троаде или в Херсонесе. К тому же немалым утешением для нее будет то, что Ино в скором времени подвергнется тем же страданиям: преследуемая Атамантом, она бросится в море с нависших над водой высот Киферона, держа в объятиях своего сына. Впрочем, следовало бы все же ее спасти ради Диониса: ведь она была его нянькой и кормилицей.

2. Амфитрита. Совсем не стоит спасать эту негодную женщину.

Посейдон. Но ведь неудобно же причинять огорчение Дионису, Амфитрита!

Нереида. Скажи, Посейдон, каким образом Гелла упала с барана? Ведь брат ее, Фрикс, благополучно доплыл на нем.

Посейдон. Очень просто! Ведь Фрикс — юноша, и ему удавалось справляться со скоростью движения, тогда как Гелла, непривычная к столь странному способу передвижения, неосторожно взглянула в разверстую под нею бездну и была охвачена страхом; ее бросило в жар, голова закружилась от быстроты бега, руки выпустили рога барана, за которые она до того времени держалась, и девочка упала в море.

Нереида. Но ведь должна же была ее мать, Нефела, оказать ей помощь, когда она падала.

Посейдон. Конечно! Но Мойра куда могущественнее Нефелы.

Х. ИРИДА И ПОСЕЙДОН

1. Ирида. О Посейдон! Блуждающий подводный остров, оторвавшийся от Сицилии и все еще свободно плавающий, — этот остров Зевс повелевает остановить, сделать видимым и поместить в середине Эгейского моря, прикрепив его твердо и надежно. Этот остров нужен Зевсу!

Посейдон. Воля Зевса будет исполнена, Ирида! Однако скажи, Ирида, на что может пригодиться Зевсу этот остров, когда он сделается видимым и перестанет блуждать с места на место?

Ирида. На нем должна будет разрешиться от бремени Латона: она уже чувствует болезненное приближение родов.

Посейдон. Так что же? Разве небо неудобно для родов? А если не небо, то неужели мало всей земли, чтобы принять ее плод?

Ирида. Мало, Посейдон, потому что Гера связала землю великой клятвой в том, что она не даст Латоне никакого пристанища во время родов. Между тем этот остров не включен в клятву, так как он был до сих пор невидим.

2. Посейдон. Понимаю... Стой, остров! Вынырни из водной пучины, более не двигайся под волнами, но твердо пребывай на месте, и прими, о наиблаженный, двух младенцев моего брата, прекраснейших среди богов. А вы, Тритоны, переправьте Латону в ее новое жилище и пусть повсюду на море наступит затишье. А что касается дракона, который теперь устрашает и преследует ее, то новорожденные, лишь только появятся на свет, настигнут его и отомстят за мать. Ты же, Ирида, возвести Зевсу, что все готово: Делос водружен! Пусть прибудет Латона и родит детей.

XI. КСАНФ И МОРЕ

1. Ксанф. О Море, прими меня, несчастного страдальца, и успокой мои раны от ожогов!

Море. Что это, Ксанф? Кто опалил тебя?

Ксанф. Гефест! Я весь обуглился, горе мне! Во мне все кипит.

Море. Но за что же он низвел на тебя огонь?

Ксанф. Из-за сына Фетиды. Он умерщвлял фригийцев, моливших о пощаде, и мои попытки смягчить его гнев ни к чему не приводили: он продолжал заваливать мое течение трупами. Сжалившись над несчастными, я бросился топить его, рассчитывая, что он в страхе оставит людей в покое.

2. Тогда Гефест,— он случайно находился недалеко,— собрав, я думаю, весь огонь, какой только был у него, и из Этны и отовсюду, напал на меня, сжег мои вязы и кусты тамариска, сварил бедных рыб и угрей, а

меня заставил кипеть, да так, что чуть совсем не высушил меня. Ты сам видишь, что сделали со мной его ожоги.

Море. Ты весь замутился, Ксанф. В тебе кровь от убитых и жар от огня. Но ведь ты пострадал справедливо: зачем было бросаться на моего внука, забыв должное уважение к сыну нерейды.

Ксанф. Так неужели же мне не следовало пожалеть своих соседей, фригийцев?

Море. А Гефест? Разве не должен он был сжалиться над сыном Фетиды, Ахиллом?

ХІІ. ДОРИДА И ФЕТИДА

1. Дорида. О чем ты плачешь, Фетида?

Фетида. Ах, Дорида, я только что видела молодую красивую женщину, запертую отцом в ящик, и с ней ее новорожденного младенца. Отец велел мореходам взять ящик, отъехать с ним далеко от берега и сбросить его в море, чтобы погибли и женщина и ее сын.

Дорида. За что же это, сестрица? Скажи, если знаешь что-нибудь достоверное.

Фетида. Акрисий, ее отец, видя, что она красавица, воспитал ее в строгом целомудрии, заключив в обитую медью горницу. Тогда, — уж не знаю, верно ли, но так, по крайней мере, рассказывают, — Зевс спустился к ней под видом золота через крышу, а она, приняв в свое лоно падавшего золотым дождем бога, забеременела от него. Заметив это, отец, жестокий и ревнивый старик, разгневался и, убежденный, что она согрешила со смертным, запер ее немедленно после родов в этот ящик.

2. Дорида. Что же она делала, Фетида, когда ее сажали туда?

Фетида. О себе она не заботилась, Дорида, и терпеливо снесла приговор, но молила за ребенка, прося пощадить его, и вся в слезах показывала младенца дедушке, надеясь смягчить его красотой ребенка. Малютка, не подозревая о своем несчастье, приветливо улыбался морю. Слезы застилают глаза, когда вспомнишь обо всем этом.

Дорида. Ты и меня своим рассказом довела до слез! Но что же, они уже умерли?

Фетида. Никоим образом. Ящик все еще плавает возле Серифа, сохраняя их в живых.

Дорида. А что, не спасти ли нам их, загнав ящик в сети к серифийским рыбакам? Они его вытащат и спасут таким образом несчастных?

Фетида. Ты права! Мы так и сделаем. Не дадим погибнуть ни ей самой, ни ее прелестному ребенку.

ХІІІ. ЭНИПЕЙ И ПОСЕЙДОН

1. Энипей. Говоря правду, Посейдон, это нехорошо с твоей стороны. Приняв мой образ, ты подкрадываешься к моей возлюбленной и овладеваешь ею; а она, думая, что отдается мне, нисколько не сопротивляется твоим ласкам.

Посейдон. А все потому, Энипей, что ты слишком надменен и в то же время медлителен! Ты пренебрегал этой прекрасной девушкой, хотя она и приходила ежедневно к тебе, изнемогая от любви; тебя же только радовали ее страдания. А она бродила в тоске по твоим берегам; входила иногда к тебе в воду, купалась — и все это лишь из желания твоей близости, тогда как ты только жеманился перед нею.

2. Энипей. Так что же? Неужели из этого следует, что ты должен был похитить мою возлюбленную, превратить Посейдона в Энипея и обмануть, таким образом, неопытную девушку?

Посейдон. Поздно ты начал ревновать, Энипей! Зачем было раньше пренебрегать ею? Впрочем, Тирó нисколько не пострадала! Ведь она думала, что разделяет любовь не со мной, а с тобой!

Энипей. Да нет же! Ведь, расставаясь с ней, ты назвал себя своим именем, Посейдон! И это причинило ей большое огорчение. Да и я тобою обижен, так как ты наслаждался моей радостью, облекшись в высоко набежавшую блестящую волну, скрыл под ней себя и Тирó и соединился с нею вместо меня.

Посейдон. Да, но ведь ты не хотел, Энипей!

ХІV. ТРИТОН И НЕРЕИДЫ

1. Тритон. Ваше чудовище, nereиды, которое вы послали на Андромеду, дочь Кефея, не только не причинило ей никакого зла, но, вопреки вашим ожиданиям, само погибло.

Нереида. От чьей руки, Тритон? Или Кефей посадил свою дочь в виде приманки, а сам, выждав со своими товарищами чудовище, убил его из засады?

Тритон. Нет, Ифианасса! Но, я думаю, вы помните сына Данаи, Персея, который вместе с матерью был заключен в ящик и брошен в море своим дедом, а вы еще спасли их, сжалившись над несчастными?

Ифианасса. Конечно, помним. Теперь Персей должен быть уже юношей, и притом весьма благородным и красивым.

Тритон. Вот он-то и убил ваше чудовище!

Ифианасса. Но за что же, Тритон? Плохую благодарность за свое спасение воздал он нам этим убийством.

2. Тритон. Я вам расскажу, как все случилось. Персей снарядился в поход против Горгон — на этот подвиг он шел по приказанию царя — и уже прибыл в Ливию...

Ифианасса. Как, Тритон? Один? Или с ним были соратники? Ведь дорога туда очень тяжела.

Тритон. Он переправился по воздуху: Афина дала ему крылья. Так вот, прибыв туда, где жили Горгоны, Персей застал их, по-видимому, спящими, отрубил Медузе голову и полетел обратно.

Ифианасса. Но как же он смотрел на них? Ведь это невозможно: раз увидавший Горгон не в состоянии потом что-либо видеть.

Тритон. Афина поставила перед его глазами щит, — так, по крайней мере, я слышал, он рассказывал Андромеде, а затем Кефею, — и дала ему возможность видеть в гладкой задней стороне щита, как в зеркале, отражение Медузы. И вот, схватив ее левой рукой за волосы, видимые ему в щите, и держа кривой нож в правой, Персей отсек ей голову и улетел, прежде чем сестры успели проснуться.

3. Когда он уже пролетал над эфиопским берегом и начинал спускаться на землю, он увидел лежащую Андромеду, пригвожденную к высокому утесу. Боги! Как она была хороша со своими развевавшимися волосами, обнаженная значительно ниже груди! Охваченный вначале состраданием, Персей спросил о причине ее наказания, а вскоре, охваченный любовью, — девушка должна была быть спасена, — решил помочь ей. Как только появилось страшное чудовище, чтобы проглотить Андромеду, юноша Персей поднял-

ся в воздух с обнаженным оружием, настиг чудовище и, показав ему Горгону, превратил его в камень. Чудовище погибло, а большая половина его, обращенная в сторону Медузы, совершенно заоченела. Затем Персей развязывает на девушке оковы, протягивает руку и помогает ей спуститься на кончиках пальцев со скользкой скалы. И вот теперь они празднуют свадьбу в доме Кефея, а оттуда Персей уведет ее к себе в Аргос, так что Андромеда вместо смерти нашла себе мужа, и притом не первого встречного.

4. И ф и а н а с с а. Я совсем не огорчена таким поворотом дела. Разве, в конце концов, виновата девушка перед нами в том, что ее мать в своей гордости считала себя красивее нас?

Д о р и д а. Нет, но ведь в таком случае страдала бы мать, видя несчастье дочери.

И ф и а н а с с а. Не будем вспоминать, Дорида, о том, что наболтала о себе не по заслугам эта варварка. Она достаточно наказана всем тем, что перестрадала в страхе за свою дочь. Будем лучше радоваться брачному союзу Персея и Андромеды.

XV. ЗЕФИР И НОТ

1. З е ф и р. Нет, никогда еще, с тех пор как я живу и дышу, я не видел более прекрасного шествия на море! А ты, Нот, видел его?

Н о т. Нет, Зефир! О каком это шествии ты говоришь и кто принимал в нем участие?

З е ф и р. Ну, значит, ты пропустил приятнейшее зрелище, какое вряд ли удастся тебе еще когда-нибудь увидеть!

Н о т. Я был занят на Черном море и захватил своим дуновением также часть Индии, ту, что ближе к морю, поэтому совершенно не знаю, о чем ты говоришь.

З е ф и р. Но ты ведь знаешь Агенора из Сидона?

Н о т. Как же, отца Европы. Так что же?

З е ф и р. Вот о ней-то я и хочу рассказать тебе!

Н о т. Уж не то ли, что Зевс давно уже любит эту девушку? Это я и сам давно знаю.

З е ф и р. Раз ты знаешь о любви к ней Зевса, то послушай, что было дальше.

2. Европа прогуливалась по берегу моря, играя со своими сверстницами; Зевс, приняв вид быка, подошел к ним, будто для того, чтобы поиграть с ними. Бык был

прекрасен, безукоризненно бел, рога красиво изгибались, и взор был кроток! Он прыгал по берегу и так сладко мычал, что Европа решила сесть к нему на спину. Как только она это сделала, Зевс бегом устремился с ней к морю, бросился в воду и поплыл. Европа, испуганная таким оборотом дела, хватается левой рукой за рог быка, чтобы не упасть, а правой сдерживает раздуваемую ветром одежду.

3. Нот. О Зефир, что за сладостное и любовное зрелище! Плывущий Зевс, несущий свою возлюбленную!

Зефир. Но то, что последовало за этим, было во много раз приятнее, Нот! Внезапно улеглись волны, и мягкая тишина спустилась на море; мы все, сдерживая дыхание, в качестве простых зрителей сопровождали шествие, Эроты же, едва касаясь воды ногами, летели над самым морем с зажженными факелами в руках и пели свадебные гимны. Нереиды вынырнули из воды, сидя на дельфинах, все наполовину обнаженные, и рукоплескали шествию. А Тритоны и все остальные морские существа, на которых можно смотреть с удовольствием, составили хоровод вокруг девушки. Впереди всех мчался на колеснице Посейдон с Амфитритой, прокладывая дорогу плывшему за ним брату. Наконец, на двух Тритонах, запряженных в раковину, ехала Афродита и осыпала всевозможными цветами невесту.

4. В таком порядке шествие двигалось от Финикии до самого Крита. Когда вступили на остров, бык внезапно исчез, и Зевс, взяв Европу за руку, ввел ее, краснеющую и опускающую глаза, в диктейскую пещеру: она уже знала, что ее ожидало. А мы все разбежались в разные стороны и подняли бурю на море.

Нот. Какое счастье было видеть все это, Зефир! А я-то тем временем видел грифов, слонов и чернокожих людей!





ЗЕВС УЛИЧАЕМЫЙ

1. К и н и с к. Я не буду надоедать тебе, Зевс, просьбами о богатстве, сокровищах и царской власти, обо всем, что другим так желанно, а тебе вовсе нелегко выполнить: я, по крайней мере, не раз замечал, что ты делаешь вид, будто и не слышишь этих просьб. Я бы хотел от тебя только одной, да и то самой пустячной вещи.

Зевс. Что же это такое, Киниск? Ты не потерпишь неудачи, особенно если ты нуждаешься в скромном, как ты утврждаешь.

К и н и с к. Ответь мне на один нетрудный вопрос.

Зевс. Воистину невелика твоя просьба и легко ее исполнить! Спрашивай сколько хочешь.

К и н и с к. Вот в чем дело, Зевс. Ты, наверное, читал поэмы Гомера и Гесиода, — скажи мне, правду ли рассказывали нам эти рапсоды о Роке и Мойрах, буд-

то неизбежно то, что они каждому назначат при его рождении.

Зевс. Все это совершенная правда. Ничто не случается без воли Мойр, но все возникшее имеет такую судьбу, какая предназначена их пряжею,— иначе и быть не может.

2. Киниск. Так что, когда тот же Гомер говорит в другом месте своей поэмы:

Или, судьбе вопреки, низойдешь ты в обитель Аида,—

и тому подобное, мы можем утверждать, что все это вздор?

Зевс. Конечно, ибо ничто не может совершиться помимо Мойр и их законов, ничто — вопреки их пряже. А поэты, если они вдохновлены Музами, поют правду; когда же богини их оставляют и они начинают сочинять от себя, тут и возникают ошибки и противоречия; это простительно: ведь они люди и не могут найти истины, когда их покидает то, присутствие чего творило.

Киниск. Пусть будет так. Но вот еще что мне скажи: ведь Мойр три — Клото́, Ла́хесис и Атропос?

Зевс. Конечно.

3. Киниск. Ну, а Рок и Судьба — ведь они также весьма известны,— кто они такие и в чем их власть? Равны они Мойрам или в чем-либо выше их? Я, по крайней мере, от всех слышу, что нет ничего могущественнее Рока и Судьбы.

Зевс. Недозволено тебе все знать, Киниск. И чего ради расспрашиваешь ты меня о том, что касается Мойр?

4. Киниск. Скажи мне еще только одно: вами они тоже повелевают и вам приходится висеть на их нити?

Зевс. Приходится, Киниск. Чему ты улыбаешься?

Киниск. Я вспомнил из Гомера те слова, которые ты говорил, когда держал речь в собрании богов и угрожал им, обещая повесить всю вселенную на золотую цепь. Ты сказал, что спустишь эту цепь с неба и все боги, ухватившись за нее, при всем желании не будут в силах перетянуть ее к себе,— тебе же легко удастся всех их повлечь «с самой землею и с самим морем». Как восхищался я твоей силой! Я дрожал, слушая эти слова! А теперь, после твоих объяснений, я вижу, что ты сам со всеми твоими угрозами и цепями вишишь на тонкой ниточке. Мне кажется, у Клото боль-

ше права похвалиться своей силой, так как она поднимает тебя, вытягивая на своем веретене, как рыбаки добычу на удочке.

5. Зевс. Не понимаю, к чему все эти вопросы.

Киниск. А вот к чему, Зевс. Но, заклинаю тебя Мойрами и Роком, не гневайся и не будь недоволен, слушая эти правдивые и откровенные слова. Если дело обстоит так, что над всеми властвуют Мойры и никем не может быть ничто изменено из установленного ими однажды, то к чему же мы, смертные, совершаем жертвенные приношения и гекатомбы, прося вас о разных благодеяниях? Не понимаю, какая нам польза от этих забот, если мы не можем силою наших молитв ни избежать зла, ни воспользоваться какой-нибудь божеской милостью.

6. Зевс. Я знаю, где ты научился этим хитрым вопросам — у проклятых софистов, которые говорят, что мы не заботимся о людях; они ведь от нечестия задают подобные вопросы, отклоняя и других приносить жертвы и молиться, так как это, мол, бесполезно: мы и не заботимся о том, что у вас происходит, и совсем бесильны в делах земных. Но им не поздоровится от таких речей!

Киниск. Клянусь веретеном Клото, Зевс, я говорил не по их наущению и сам не знаю, как пришел наш разговор к тому, что жертвоприношения не нужны! Но все же, если можно, я задам тебе еще несколько кратких вопросов, а ты отвечай без страха и как можно увереннее.

Зевс. Спрашивай, если тебе не жалко тратить время на такую болтовню.

7. Киниск. Ты утверждаешь, что все совершается по воле Мойр?

Зевс. Да, я утверждаю это.

Киниск. А вы можете что-либо изменить или раскрутить веретено?

Зевс. Ни в коем случае.

Киниск. Хочешь, чтобы я вывел то, что из этого следует, или же все ясно и без моих слов?

Зевс. Вполне ясно. Но приносящие жертвы совершают это не в виде вознаграждения или покупки у нас чего-либо, но лишь почитая в нас нечто благое.

Киниск. Что ж, хорошо, если ты признаешь, что жертвоприношения совершаются не ради выгод, а из некоторого доброжелательства людей, почитающих

высшее. Правда, если бы здесь оказался кто-нибудь из софистов, он, пожалуй, спросил бы тебя, почему ты считаешь, что боги представляют нечто благое, если они находятся в таком же рабстве, как и люди, и служат тем же властительницам, Мойрам. Ведь для софистов мало одного утверждения бессмертия, чтобы они вас за это считали высшими существами. Ваше положение гораздо хуже человеческого: нам хоть смерть дарует свободу, а ваше несчастье беспредельно, и ваше рабство, навитое на большое веретено, будет длиться вечно.

8. Зевс. Однако, Киниск, ведь блаженна эта вечность и беспредельность, и мы живем среди всяческих наслаждений.

Киниск. Не все, Зевс; и у вас в этом деле различия и большая путаница. Ты вот счастлив, потому что царь и можешь вздернуть землю и воды, словно ведро из колодца. А вот Гефест хром и должен заниматься ремеслом кузнеца, а Прометей был даже некогда распят. А что мне сказать о твоём отце, который и посейчас находится в Тартаре и закован в цепи? Говорят, будто вы страдаете от любви и от ран и бываете у людей рабами, как твой брат у Лаомедонта или Аполлон у Адмета. Подобная жизнь мне не кажется особенно блаженной; я думаю, что одни из вас счастливы и богато наделены, а другие, напротив, лишены всего. Я уж не говорю о том, что и грабят-то вас, словно людей, и святотатцы вас оскорбляют, и в одно мгновение вы из богачей становитесь нищими. А многие из вас, золотые или серебряные, были расплавлены, кому выпала, очевидно, такая участь.

9. Зевс. Однако! Это уж дерзко, что ты теперь говоришь, Киниск; ты раскаешься в этом.

Киниск. Не очень-то угрожай, Зевс. Ведь ты знаешь, что со мной ничего не случится не предрешенного Мойрой раньше тебя. Ведь и святотатцы не все бывают наказаны, а большинство из них избегает вашего правосудия, потому что, по-видимому, вам не суждено их схватить.

Зевс. Ну разве я не говорил, что ты один из тех, которые в своих рассуждениях отрицают божий промысел?

Киниск. Не знаю, почему ты их так боишься; что бы я ни сказал, ты подозреваешь, что все это — их уроки.

10. Я же охотно спросил бы тебя еще: от кого могу я иначе узнать истину, что такое Промысел? Родственник он Мойрам или особое божество, ими повелевающее и выше их стоящее?

Зевс. Ведь я уже сказал, что не следует тебе всего знать. А ты, заявив мне сначала, что спросишь только об одном, не перестаешь теперь говорить о всяких пустяках. Я вижу, что для тебя главное в этом разговоре — доказать, что мы не печемся о людских делах.

Киниск. Но ведь это не мои слова, а ты сам только что утверждал, что Мойры всем повелевают. Или ты раскаиваешься в сказанном и берешь свои слова обратно? Или, быть может, вы, отталкивая Рок, оспариваете у него права на заботу о людях?

11. Зевс. Ничего подобного; но Мойра через нас выполняет свои замыслы.

Киниск. Теперь понимаю: вы, значит, слуги и подчиненные Мойр. Впрочем, и так ведь выходит, что они заведуют Промыслом, а вы являетесь как бы орудием в их руках.

Зевс. Что ты говоришь?

Киниск. Я думаю вот что: топор и бурав помогают плотнику при работе, но все же никто не называет эти орудия плотником, и корабль сделан не топором и буравом, а кораблестроителем. Так и Рок — кораблестроитель вселенной, а вы — только топоры и буравы Мойр. И, мне кажется, люди должны были бы приносить жертвы Року и у него испрашивать себе благодеяния, а они идут к вам в торжественных шествиях и вас почитают жертвоприношениями. Впрочем, если бы они и воздавали почести Року, то вряд ли поступали бы как должно. Я не думаю, чтобы даже Мойры могли что-либо изменить и повернуть в другую сторону из того, что установлено с самого начала. Я полагаю, по крайней мере, что Атропос не позволила бы никому дернуть веретено и распустить работу Клото.

12. Зевс. Ты уж считаешь, Киниск, что люди не должны почитать даже Мойр? Кажется, ты готов все смешать в одну кучу. Но мы должны быть почитаемы хотя бы за то, что предсказываем будущее и угадываем все, поставленное Мойрами.

Киниск. Совершенно бесполезно, Зевс, знать будущее, если нельзя его избежать. Или, по-твоему, тот, кто знает, что умрет от железного копья, может избежать смерти, заперев себя дома? Но ведь это невоз-

можно, Мойра заставит его пойти на охоту и предаст удару копья. И Адраст, метя в кабана, промахнется и убьет сына Креза, словно властный приказ Мойр направляет его копье на юношу.

13. И смешон оракул, данный Лаю:

Не думай род продлить ты вопреки богам!
Ведь коль родишь дитя, тебя убьет оно.

Совершенно излишне, думается мне, предостерегать об опасности там, где все свершится, как установлено заранее. И Лай, действительно, женился после предсказания и был убит своим сыном. Поэтому я не вижу, на каком основании вы требуете жалованья за пророчествования.

14. Я уж и не говорю о том, что вы постоянно вещаете двусмысленно и темно, не объясняя, как следует, свое ли разрушит царство перешедший через Галис или Кира,—ведь это пророчество может значить и то и другое.

Зевс. Этому причиной, Киниск, был гнев Аполлона, ибо, вопрошая его, Крез сварил баранье мясо вместе с черепахой.

Киниск. Ну, ему, как богу, не следовало бы сердиться. Впрочем, я думаю, лидийцу было суждено, чтоб его обманул оракул, и, видно, такова была пряжа Судьбы, что он не распознал будущего. Так что и пророческое ваше искусство — дело ее рук.

15. Зевс. А нам ты ничего не хочешь оставить? Мы просто ненужные боги, без власти над Промыслом, недостойные жертвоприношений, как буравы и топоры? Впрочем, ты вправе мною пренебрегать, если ты видишь, что я, готовый метнуть молнию, до сих пор выношу, как ты проходишься на наш счет.

Киниск. Что ж, срази меня, Зевс, раз мне суждено погибнуть от удара молнии. Не тебя обвиню я в этом, а Клото, которая поразит меня с твоею помощью: ведь не сама же молния будет причиною раны. Впрочем, я хочу спросить еще одну вещь у тебя и Судьбы. А ты уж ответь и за нее; ты напомнил мне об этом своими угрозами.

16. Почему вы оставляете в покое святотатцев, разбойников и подобных им насильников, дерзких и клятвопреступных людей, а молнию часто направляете на какой-нибудь дуб, камень, мачту судна, не сделавшего никакого зла, или даже на честных людей и благоче-

стивых странников? Что же ты молчишь, о Зевс? Или мне не следует знать также и этого?

Зевс. Не следует, Киниск. Вообще ты слишком любопытен, и я не понимаю, откуда у тебя весь этот вздор, которым ты мне так надоедаешь.

Киниск. В таком случае я не буду спрашивать вас, тебя, Промысел, Судьбу, почему добродетельный Фокион умер в такой бедности, лишенный всего самого необходимого, как до него Аристид, а Каллий и Алкивиад, распущенные юнцы, утопали в богатстве, так же как и надменный Мидий и Харопс Эгинский, развратнейший человек, моривший голодом родную мать. Почему, с другой стороны, Сократ был предан в руки Одиннадцати, а Мелет не был? И почему изнеженный Сарданапал царствовал и столько хороших и доблестных персов были распяты по его приказанию за то, что им не нравилось положение вещей?

17. Но чтобы не входить в подробное обсуждение современного положения, я скажу вообще, что злые и жадные бывают счастливыми, а порядочных людей угнетает бедность, болезни и тысячи разных иных зол.

Зевс. Но ведь ты не знаешь, Киниск, каким наказанием подвергнутся злые после смерти и в каком блаженстве будут проводить свою жизнь хорошие люди.

Киниск. Ты мне говоришь об Аиде, Титиях и Танталах. Но если и существует что-либо подобное, я об этом узнаю лишь после смерти. Теперь же я предпочитаю прожить счастливо назначенный мне срок жизни, дав потом шестнадцати коршунам клевать мою мертвую печень, и не хочу страдать на земле от такой жажды, как Тантал, а впоследствии пить вместе с героями на островах блаженных, среди Елисейских полей.

18. Зевс. Что ты говоришь! Разве ты не знаешь, что существуют кары и награды и судилища, где оценивается жизнь каждого человека?

Киниск. Я постоянно слышу, что некий Минос с Крита судит подобные дела. Но расскажи мне что-нибудь о нем: говорят, он твой сын.

Зевс. Что же ты хочешь о нем узнать, Киниск?

Киниск. Кого наказывает он главным образом?

Зевс. Дурных людей, конечно, например — убийц, святотатцев.

Киниск. А кого отправляет он к героям?

Зевс. Хороших, благочестивых, вообще живших добродетельно.

Киниск. А почему там, Зевс?

Зевс. Потому что эти достойны награды, а дурные — наказания.

Киниск. Но если кто-нибудь невольно совершил преступление, то Минос и его присуждает к наказанию?

Зевс. Никогда.

Киниск. А сделавший нечаянно добро считается ли достойным награды?

Зевс. Тоже нет.

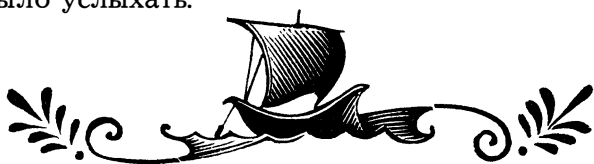
Киниск. Итак, Зевс, Миносу никого не подобает ни награждать, ни наказывать!

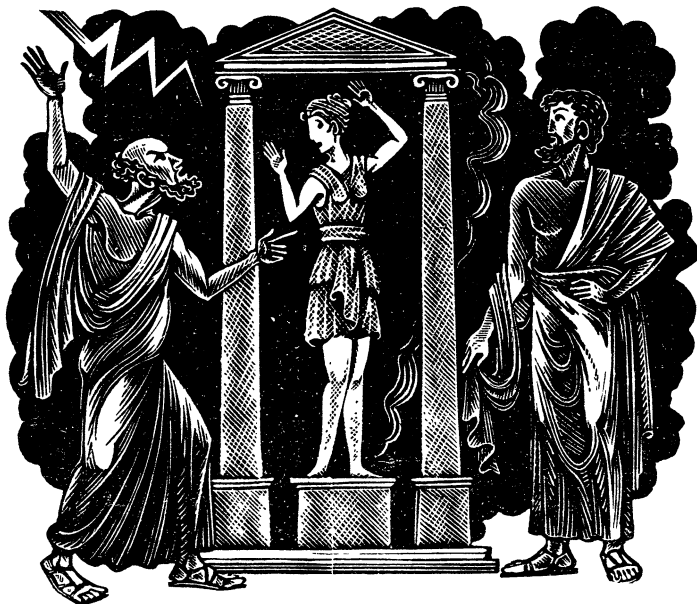
Зевс. Почему это никого?

Киниск. Потому что мы, люди, ничего не делаем по своей воле, но во всем покоряемся неизбежной необходимости, если только справедливо твое утверждение, что всему причиною — Мойра: если кто убивает, то это она убийца, и если кто оскорбляет святыню, то по ее решению. Итак, если Минос хочет быть справедливым судьей, то пусть он накажет Судьбу вместо Сицифа, а вместо Тантала — Мойру. В чем их вина, если они покорились предустановленному?

19. Зевс. Не стоит отвечать на подобные вопросы: ты дерзкий софист. И я оставляю тебя и ухожу.

Киниск. А мне еще надо бы тебя спросить, где живут Мойры и как они, будучи только втроем, успевают обо всем до мелочей позаботиться. Это должна быть хлопотливая и несчастная жизнь, раз их обременяет столько дел! Не благоприятствовала им Судьба при рождении! По крайней мере, если бы мне предоставили выбирать, то я предпочел бы мою жизнь или даже еще более несчастную, но не сел бы за пряжу с таким множеством дел, требующих постоянного наблюдения. Впрочем, если тебе, Зевс, нелегко на все это ответить, я удовольствуюсь и тем, что ты мне сказал. И этого довольно, чтобы выяснить вопрос о Судьбе и Промысле, — остального же мне, видно, не суждено было услышать.





ЗЕВС ТРАГИЧЕСКИЙ

1. Гермес. О чем, о Зевс, задумчиво бормочешь ты?

Разгуливаешь бледен, как философы.

Поведай мне, не презирая слов раба,

Чтоб в горе мог я быть твоим советником.

Афина. О наш отец, о Кронид, средь властителей
высший властитель,

Вот светлоокая дочь пред тобою склоняет колени,

Ты нам скажи, не скрывай, чтоб все могли мы

услышать,

Что за горе грызет, о Зевс, твой разум и душу,

Что ты стонешь так тяжело и бледны так твои щеки?

Зевс. О, право, нет на свете слов столь тягостных.

Страданий нет, нет случаев трагических,

Которых бог не должен был бы вытерпеть.

Афина. Каким ты сильным начал речь вступлением!

Зевс. О жалкий род людской, землею вскормленный.

О, сколько бед наделал, Прометей, ты нам!

Афина. В чем дело, хору выясни домашнему.

Зевс. О многошумно свистящая молния, что мне
свершишь ты!

Гера. Умерь свой гнев, Зевс: мы ведь не можем отвечать тебе, словно актеры в комедии или рапсоды,—мы не проглотили всего Еврипида, чтобы разыгрывать с тобой драмы.

2. Ты думаешь, что мы не знаем причины твоего горя?

Зевс. Не знаешь ты, а то б со мною плакала.

Гера. Я знаю, что главная причина твоих страданий — какая-нибудь любовь; а не плачу я, потому что привыкла к таким оскорблениям. Вероятно, ты снова нашел какую-нибудь Данаю, Семелу или Европу и, мучимый страстью, хочешь стать быком, сатиром или золотом, чтобы стечь с крыши в чрево твоей любовницы; ведь стенания, слезы и бледность лица — не что иное, как признаки влюбленного.

Зевс. Счастлива ты, если думаешь, что нам причиняет заботы любовь и подобные ребячества!

Гера. Что же другое, если не это, может огорчать тебя как Зевса?

3. Зевс. Дела богов в большой опасности, Гера, и, как говорится, находятся на лезвии бритвы: либо нас будут уважать и впредь и воздавать почести на земле, либо же нами совершенно пренебрегут и мы будем казаться несуществующими.

Гера. Разве земля снова родила каких-нибудь гигантов? Или титаны, разорвав свои цепи и осилив стражу, вновь подняли на нас свое оружие?

Зевс. Дерзай, богам подземный не опасен мрак.

Гера. Что же случилось страшного? Я не могу понять,—если тебя ничто подобное не огорчает, почему ты явился перед нами, вместо Зевса, в виде Пола или Аристодема?

4. Зевс. Стоик Тимокл и эпикуреец Дамид заговорили вчера, Гера, не знаю, с чего начав, о Промысле в присутствии многих и притом знатных людей, что меня особенно огорчило. Дамид сказал, что богов не существует и что они вовсе не следят за тем, что совер-

шается на земле, и ничем не распоряжаются; Тимокл же, милейший человек, попытался нас защитить. Собралась громадная толпа, и конца не было их спору. Они разошлись, условившись обсудить остальное в другой раз, так что теперь все возбуждены их речами и ждут, кто из них победит, чьи слова будут более походить на истину. Вы видите теперь какова опасность, в какой тупик зашли наши дела, когда все зависит от одного человека? Теперь должно случиться одно из двух: либо нами станут пренебрегать и мы будем казаться пустыми именами, либо, если победит Тимокл, нас будут почитать, как раньше.

5. Гера. Воистину это страшно, и ты не напрасно говорил об этом трагическим слогом.

Зевс. А ты думала, что весь шум из-за какой-нибудь Данаи или Антиопы? Что ж делать нам теперь, Гермес, Гера, Афина? Постарайтесь и вы со своей стороны найти какой-нибудь спасительный исход.

Гермес. Мне кажется, надо сообща рассмотреть это дело, созвав собрание богов.

Гера. Я того же мнения, что и Гермес.

Афина. А я думаю, наоборот, отец, что ты не должен был бы тормозить все небо, показывая этим, как ты встревожен, а лучше частным образом устроить так, чтобы Тимокл победил своими речами, а Дамид ушел бы из собрания осмеянным.

Гермес. Но ведь это не останется безызвестным, Зевс, раз спор философов получил такую огласку; смотри, как бы не показалось, что ты поступаешь как тиран, не сообщив всем богам о таких важных и общих делах.

6. Зевс. В таком случае возвести приглашение, и пусть все боги приходят на собрание; ты правильно говоришь.

Гермес. Эй, боги, сходитесь на собрание; не медлите, собирайтесь все, сходитесь,—совещаться мы будем о важных делах.

Зевс. Как ты просто, невозвышенно и какой неразумной речью говоришь, Гермес,—и это сзывая на важнейшие дела!

Гермес. Но как же я должен говорить, Зевс?

Зевс. Как должен ты говорить? Возвешание должно быть провозглашено в стихах и с поэтическим благозвучием, чтобы все охотнее сходились.

Гермес. Превосходно: но ведь это дело эпических стихотворцев и рапсодов, а я вовсе не способен к поэзии. Я испорчу все, соединяя то слишком много, то слишком мало слогов, и боги станут смеяться неблагозвучию моих слов. Я ведь знаю, что даже над Аполлоном смеялись за некоторые его пророчества, как он ни старался затемнять свои предсказания, чтобы не давать слушателям времени исследовать его стихи.

Зевс. В таком случае, Гермес, примешай к своему возвещанию побольше слов из Гомера, какими он нас сзывает. Ты их, вероятно, припомнишь.

Гермес. С трудом и не совсем точно; однако все же попытаюсь.

Пусть же никто из блаженных, ни бог, ни богиня, не медлит,
Ни мног шумный поток, Океаном рожденный, ни нимфа:
Все поспешайте на вече в чертог многославного Зевса,
Те, что на пышном пиру вкушают теперь гекатомбы,
Боги средних размеров и даже последние боги,
Что безымянно сидят, наслаждаясь лишь дымом алтарным.

7. Зевс. Прекрасно ты это возвестил, Гермес, и вот уже все сбегаются. Прими их и посади каждого по достоинству, приняв во внимание, из чего и как он сделан, — в первые ряды усади золотых, за ними серебряных, потом усади тех, что сделаны из слоновой кости, потом медных и мраморных, а среди них отдай предпочтение работам Фидия, алкамена, Мирона, Евфранора или других подобных им художников; грубых же и сделанных неискусно сгони куда-нибудь подальше. в одно место — пусть они молчат и только заполняют собрание.

Гермес. Пусть будет так; я их посажу как подобает. Но вот что недурно бы знать: если кто вылит из золота и весом во много талантов, но сделан не тщательно, совсем неискусно и несоразмерно, — что же, и его надо посадить перед бронзовыми и мраморными произведениями Мирона, Поликлета, Фидия или Алкамена или же искусству следует отдать предпочтение?

Зевс. Следовало бы сделать так, но все же золотой бог предпочтительнее.

8. Гермес. Понимаю: ты приказываешь мне рассаживать их по богатству, а не по знатности происхождения. Идите же на первые места вы, золотые! Кажется, только варварские боги займут первые места, Зевс. А эллинские видишь каковы: искусно сделаны, привлекательны и с красивыми лицами, но все мра-

морные или бронзовые; самые дорогие боги сделаны из слоновой кости и лишь немного поблескивают золотом, которое их покрывает легким слоем, внутри же они деревянные, и целые стаи мышей завоевали себе в них права гражданства. А вот эти Бендида, Анубис и Аттис и рядом с ними Митра и Мен сделаны целиком из золота: они тяжелы и действительно представляют ценность.

9. Посейдон. Справедливо ли это, Гермес, сажать выше меня, Посейдона, этого египтянина с собачьей головой?

Гермес. Конечно. Тебя, о колеблющий землю, Лисипп сделал бронзовым и бедным: ведь у коринфян тогда не было золота; а этот бог на целые рудники богаче тебя. Поэтому тебе следует терпеть, что тебя оттирают, и не гневаться, когда отдают предпочтение такому золотоносному богу.

Афродита. Итак, меня ты посадишь в первые ряды, Гермес? Ведь я золотая.

Гермес. На мой взгляд, ты не такова, Афродита; если только глаза мои не слезятся, кажется мне, что ты была вырезана из белого пентеликонского мрамора и, став Афродитой, по решению Праксителя передана книдийцам.

10. Афродита. Но я тебе приведу заслуживающего доверия свидетеля — Гомера; ведь он в своих песнях называет меня повсюду золотой Афродитой.

Гермес. Так он и Аполлона называет многозлатным и богатым; а теперь, видишь, и он сидит среди мелких земледельцев, а разбойники сняли с него венок и ограбили его, вынув колки из его кифары. Так что и ты будь довольна тем, что сидишь не совсем между ремесленниками.

11. Колосс. Но кто осмелится спорить со мною, Солнцем, со мною, таким громадным? Если бы только родосцы не захотели соорудить меня сверхъестественным и чрезмерно великим, они могли бы за те же деньги сделать шестнадцать золотых богов; поэтому я могу считаться самым дорогим. К этому, при такой величине, присоединяется искусство и тщательность выделки.

Гермес. Что же делать, Зевс? Я и сам в затруднении: взгляну на состав — он всего лишь бронзовый бог, а если подумаю, за сколько он выкован талантов, то ведь он стоит выше самых богатых граждан.

Зевс. Зачем это ему понадобилось явиться и смутить собрание? Все остальные боги перед ним совсем маленькие! Но все же, о сильнейший из родосцев, хотя ты и считаешь, что ты много предпочтительнее всех золотых богов, как хочешь ты занять первое место? Ведь тогда всем придется встать, чтобы ты один мог усесться и занять весь Пникс половиной своего сиденья. Уж лучше присутствуй на собрании стоя и наклонившись к сидящим.

12. Гермес. И вот что еще так же трудно разрешить: эти оба из бронзы и одной работы, так как оба произведения Лисиппа, а главное, оба одинаково знатны по происхождению, ибо они дети Зевса — вот этот Дионис и Геракл. Кому же раньше дать место? Ты видишь, они спорят.

Зевс. Мы теряем время, Гермес, а давно уж следовало бы начать заседание; пускай поэтому садятся попеременно, где кто хочет, а после будет созвано особое собрание для решения этого вопроса, и тогда уж я буду знать, какой порядок надо установить среди них.

13. Гермес. Геракл! Как они шумят, выкрикивая свои обычные и ежедневные слова: «Раздачи, раздачи! Где же нектар, где же нектар? Амбросии мало, амбросии мало! Где гекатомбы, где гекатомбы? Жертвы для всех!»

Зевс. Заставь их замолчать, Гермес, чтобы боги, оставив болтовню, смогли узнать, для чего они здесь собраны.

Гермес. Но не все понимают по-эллински, Зевс, а я не знаю столько языков, чтобы провозгласить понятно для скифов и для персов, для фракийцев и для кельтов. Уж лучше, думается мне, подать им знак рукою, чтобы они замолчали.

Зевс. Сделай так.

14. Гермес. Отлично! Они стали безгласнее софистов. Теперь пора держать речь. Ты видишь, они давно уж смотрят на тебя и ждут, что ты им скажешь.

Зевс. Тебе, моему сыну, Гермес, я не побоюсь сознаться в том, что сейчас испытываю. Ты ведь знаешь, как я был всегда храбр и многоречив во время собраний.

Гермес. Я знаю это и не раз дрожал от страха, слушая твои прежние речи, особенно когда ты грозил

сдернуть землю и море с их оснований вместе с богами, опустив золотую цепь.

Зевс. Теперь же, дитя мое, не знаю, от громадности ли предстоящих бед или от количества присутствующих,— ибо, как видишь, собрание весьма многобожно,— мой ум смущен, сам я дрожу от страха, а мой язык будто скован; но вот что самое главное: я забыл вступление, которое приготовил, чтобы начало речи вышло красивее.

Гермес. Все погубил ты, Зевс! Твое молчание им кажется подозрительным, и они ожидают услышать о каком-нибудь чрезмерном зле, раз ты так медлишь.

Зевс. Хочешь, Гермес, я спою им обращение из Гомера?

Гермес. Какое обращение?

Зевс. Слушайте слово мое, о боги небес и богини!

Гермес. Перестань! Достаточно; надоел ты нам своим пением. Поверь мне, лучше оставь тяжеловесные стихи и, выбрав любую из речей Демосфена против Филиппа, произнеси ее, немного изменив. Так ораторствуют нынче многие.

15. Зевс. Ты правильно говоришь: короткая речь и беспечный вид хорошо помогают в затруднительном положении.

Гермес. Начиная же, наконец!

Зевс. Граждане-боги! Много скровищ дали бы вы, думается мне, за возможность узнать, ради чего вы здесь собраны. И если так обстоит дело, то подобает вам усердно вслушаться в мои слова. Ибо теперешнее положение едва не вопиет, обращаясь к нам с тем, чтобы мы занялись делами весьма основательно; мы же, кажется, относимся к ним совсем небрежно. И вот я хочу — ибо Демосфен уже покидает меня — подробно рассказать вам, чем я был так потрясен, что созвал собрание. Вчера, как вы помните, Мнесифей приносил благодарственную жертву за спасение своего корабля, едва не погибшего около Кафрейского мыса, и все мы, кого он только позвал на жертвоприношение, пировали в Пирее. Когда, после возлияний, каждый пошел в свою сторону, куда кому хотелось, я поднялся в город (было еще не очень поздно), чтобы вечером прогуляться по Керамику, и стал размышлять о скупости Мнесифея: угощая шестнадцать богов, он принес им в жертву одного петуха, да и то старого и больного, и дал всего четыре крупинки ладана, такие заплесне-

вевшие, что они сразу потухли на угле, и мы даже кончиком носа не могли почувствовать запах дыма; а ведь он обещал нам целые гекатомбы, когда корабль неся на утес и находился уже между подводных камней.

16. Размышляя об этом, я вошел в Расписной портик и увидел большую толпу людей, одних — в самом портике, других — под открытым небом; некоторые со своих мест громко кричали и размахивали руками. Догадываясь, что это спорят философы, я, став поближе, захотел послушать, о чем они говорят. Я позаботился окружить себя самым густым облаком, принял подобный им вид и, отпустив длинную бороду, стал очень похож на философа. Растолкав толпу, я вошел не узнанный никем и застал пройдоху эпикурейца Дамида в жарком споре со стоиком Тимоклом, лучшим из людей: Тимокл вспотел и уже потерял голос от крика. Дамид же, ядовито насмехаясь, еще больше его подзадоривал.

17. Их спор касался нас. Проклятый Дамид утверждал, что мы не обращаем своего промысла на людей, не наблюдаем за тем, что у них происходит, и его речь клонилась к тому, что мы вообще не существуем: очевидно, такой смысл имели его слова. И находились люди, которые его одобряли. После этого стал говорить Тимокл, сражаясь за нас, сердясь, выводя в бой все доводы, хваля наше провидение и подробно рассказывая, как мы ведем и распределяем все в благоустройстве и подобающем порядке; и Тимокл нашел себе кое-каких сторонников, но он устал, почти потерял голос, и толпа обратила взоры на Дамида. Оценив всю опасность, я приказал Ночи спуститься и прекратить собрание. Все разошлись, сговорившись рассмотреть на другой день вопрос до конца, а я сопровождал расходившихся по домам, подслушивал их слова и убедился, что большинство хвалит Дамида и предпочитает его речи. Были и такие, что не хотели предрешать исход спора, не выслушав того, что скажет завтра Тимокл.

18. Вот ради чего созвал я вас, боги. Ведь немалое это дело, если вы сообразите, что весь наш почет, доход и слава — люди. Если их убедят в том, что мы не существуем или не заботимся об их делах, то мы останемся без почестей, возлияний и даров земных и напрасно будем восседать на небе, терпя голод, без

празднеств, торжественных собраний, игр и жертвоприношений, без всемогущих служений и пышных шествий. И в таких важных делах, утверждаю я, все должны подумать, как бы найти спасение, и озаботиться, чтобы победил Тимокл и его слова показались более истинными, а Дамид был бы осмеян всеми слушателями; признаться, я не очень-то верю, чтобы Тимокл мог победить собственными силами, без какой-либо помощи с нашей стороны. Возгласи же, Гермес, законный возглас, чтобы желающие подать совет встали.

Гермес. Слушай, молчи, не шуми! Кто хочет говорить из богов законных, из тех, кто имеет право голоса? Что это? Никто не встает, а все вы молчите и поражены важностью возвещенного Зевсом?

19. Мом. Но погибните все вы, рассыпьтесь водою и прахом! Я же, если мне позволено будет говорить откровенно, многое имел бы сказать, Зевс.

Зевс. Говори, Мом, не бойся; ведь очевидно, что ты будешь говорить откровенно для общей пользы.

Мом. Выслушайте же, боги, мои чистосердечные слова. Я давно уже ожидал, что мы попадем в столь затруднительное положение и что появится столько софистов, в дерзости которых мы сами виноваты. Но, клянусь Фемидой, мы не вправе сердиться ни на Эпикура, ни на его учеников и его последователей за их мысли о нас. Каких же суждений можем мы требовать от них, раз они видят такую неурядицу в жизни, когда честные люди находятся в пренебрежении, гибнут в бедности, рабстве и болезнях, а самые дурные и негодные, пользуясь почестями и богатством, господствуют над лучшими; если святотатцы безнаказанно скрываются, а людей, не сделавших ничего неправого, распинают или ведут на пытки? Естественно, что, видя все это, люди отрицают наше существование.

20. Особенно если они слушают прорицания, которые говорят, что перешедший Галис разрушит большое царство, но не объясняют, свое ли царство или вражеское; или предсказывают еще так: «Много, о Саламин, ты погубишь рожденных от женщин!» Ведь и персы и эллины были, думается, рождены женщинами! и опять же, когда люди слышат от рапсодов, что мы страдаем и от страстей и от ран, что мы попадаем в оковы, терпим рабство и поднимаем восстание, что мы попадаем в тысячу подобных неприятностей, желая, однако, называться блаженными и бессмертными

ми,— не справедливо ли, что они над нами смеются и ни во что нас не ставят? А мы сердимся, если кто-нибудь из людей, не совсем лишенных разума, уличает нас во всем этом и не признает нашего провидения о людях,— сердимся, вместо того чтобы радоваться, что еще хоть кто-нибудь приносит нам жертвы после таких наших прегрешений.

21. И ответь мне по правде, Зевс,— ведь мы здесь одни и никто из людей не присутствует на нашем совещании, кроме Геракла, Диониса, Ганимеда и Асклепия, внесенных в наши списки,— заботился ли ты когда-нибудь о людях на земле настолько, чтобы исследовать, кто из них скверный, а кто порядочный человек; ведь ты бы этого не мог сказать. И если бы Тесей, идя из Трезен в Афины, не перебил мимоходом злодеев, то ты и твое провидение нисколько бы не помешали Скирону, Питиокамπτу, Керкиону и другим жить припеваючи и заниматься убийством прохожих. Или, если б Еврисфей, муж доброго старого времени, предусмотрительный и осведомленный благодаря своему человеколюбию обо всем, что происходит вокруг, не посылал повсюду вот этого своего слугу Геракла, деловитого и трудолюбивого человека, то ведь ты, Зевс, не очень бы заботился о Гидре и стимфалийских птицах, о фракийских лошадях, о дерзости пьяных и наглых кентавров!

22. Но, если говорить правду, мы только сидим и наблюдаем, не совершает ли кто-нибудь жертвоприношение и не чадит ли жертвенным дымом у алтарей. Все же остальное несется по течению, увлекая каждого куда попало. И поэтому мы теперь терпим заслуженно и будем терпеть еще и пренебрежение, если люди, подняв к небу голову, мало-помалу поймут, что им нет никакой пользы от жертвоприношений и торжественных шествий. И ты вскоре увидишь, как эпикурейцы, Метродоры и Дамиды посмеются над нашими защитниками, победят их и заткнут им рот. Поэтому вам самим следовало бы прекратить и исправить то, что натворили. А Мому не очень страшно, если он окажется не в почете: ведь он с недавних пор в числе почитаемых; а вы одни блаженствуете и угощаетесь жертвоприношениями.

23. Зевс. Пусть он болтает, боги. Он всегда был грубияном и обличителем; недаром сказал достойный удивления Демосфен, что обвинять, порицать и обли-

чать может с легкостью всякий, кто захочет, но, поистине, достойно разумного советника дать указание, как бы улучшить положение дел; и я не сомневаюсь, что вы все так и поступите, после того как Мом замолчал.

24. Посейдон. Я, как вы знаете, живу под водою, правлю по-своему в морских глубинах, спасая, насколько возможно, плавающих, сопутствуя кораблям и умеряя силу ветров. Однако, так как и меня касаются здешние дела, я утверждаю, что необходимо убрать Дамида с дороги либо молнией, либо каким-нибудь иным приспособлением раньше, чем он явится на спор, чтобы он не одержал верх своими речами: ведь ты, Зевс, говоришь, что он умеет убеждать. Вместе с тем нам удастся показать, что мы наказываем тех, кто говорит про нас подобные вещи.

25. Зевс. Ты шутишь, Посейдон, или совсем забыл, что это не в нашей власти? Ведь Мойры прядут каждому его судьбу, назначая одному умереть от молнии, другому — от меча, третьему — от горячки или истощения. Или ты думаешь, что, если б я этим распоряжался, я позволил бы недавно святотатцам отрезать у меня два локона, каждый весом в шесть мин, и уйти из Пизы и не поразил бы их молнией? И разве ты сам пренебрег бы тем, что орейский рыбак похитил в Гересте твой трезубец? А кроме того, покажется, что мы разгневаны и огорчены этим делом и боимся речей Дамида и потому устранили этого человека, не решившись выждать его встречи с Тимоклом. И выйдет так, что мы выиграли дело лишь за отсутствием противника.

Посейдон. Все же мне казалось, что я нашел способ одержать победу.

Зевс. Поди ты, Посейдон: это какое-то рыбье и глупейшее предложение — заранее погубить противника, чтобы он умер непобежденным и оставил спор без окончательного решения.

Посейдон. По-видимому, вы придумали что-нибудь лучшее, если с таким презрением отвергаете мой совет.

26. Аполлон. Если закон разрешает держать речь и безбородым юношам, я бы сказал нечто полезное для нашего обсуждения.

Мом. Вопрос поднят о столь важных вещах, Аполлон, что право говорить дается не по старшинству,

а вообще всем: было бы смешно, если б мы, находясь в чрезвычайной опасности, стали толковать о подробностях законов. К тому же ты законный оратор; ведь ты давно уже перестал быть эфебом, внесен в список Двенадцати и чуть ли не участвуешь в совете Крона; поэтому брось перед нами ребячиться, а говори прямо то, что думаешь, и не смущайся тем, что держишь речь, будучи безбородым, тем более что у тебя есть сын Асклепий с прекрасною и большою бородой. Кроме того, тебе надлежит проявить много мудрости, если ты не напрасно философствуешь с Музами, сидя на Геликоне.

Аполлон. Но ведь не твое дело разрешать мне это, Мом, а Зевса; и если он мне велит, то я скоро скажу нечто сладкогласное и достойное занятий моих на Геликоне.

Зевс. Говори, дитя мое,—я разрешаю тебе.

27. Аполлон. Этот Тимокл — человек прекрасный, благочестивый и сведущий в учении стоиков; поэтому он обучает мудрости многих юношей, берет с них немалые награды и бывает очень красноречив, особенно если рассуждает с ними частным образом. Говорить же перед толпой он боится, голос у него становится слабым и полуварварским, и он возбуждает смех в собраниях, говоря не плавно, а со страхом и заиканием, особенно если хочет при этом показать свой красивый слог. Понимает Тимокл все чрезвычайно быстро и тонко, по признанию лучших знатоков стоического учения. Когда же начинает говорить и истолковывать что-либо, то портит и смешивает все из-за своего недостатка: он не разъясняет того, что хочет разъяснить, но говорит загадками и на вопросы отвечает так же туманно; его не понимают и смеются над ним. По моему мнению, надо говорить ясно и главным образом заботиться о том, чтобы всем слушателям было понятно.

28. Мом. Справедливо хвалишь ты, Аполлон, говорящих ясно, хотя ты сам и не отличаешься этим: ты даешь предсказания уклончиво и загадочно и осторожно обрываешь их на середине, так что слушающие нуждаются в новом пифийце для объяснения твоих слов. Но какое средство ты нам посоветуешь для исцеления Тимокла от немоции словесной?

29. Аполлон. Хорошо было бы, Мом, найти для него защитника из привычных ораторов, который из-

лагал бы как следует то, что Тимокл, обдумав, ему будет внушать.

Мом. Это ты действительно сказал как безбородый мальчишка, которому еще нужен дядька! Ты советуешь приставить к философскому спору защитника, чтобы он истолковывал присутствующим мысли Тимокла! Дамид будет говорить сам, а Тимокл, пользуясь толкователем, станет ему сперва нашептывать на ухо свое мнение, после чего истолкователь начнет ораторствовать, даже не поняв хорошенько то, что услышал. И это не возбудит смех в толпе? Не стоит и думать о таком совете.

30. Ты же, о удивления достойный, ты, называющий себя пророком и собравший за это немалые награды, вплоть до золотых кирпичей, почему не покажешь ты нам теперь и как раз вовремя свое искусство, почему не предскажешь ты нам, какой из софистов одержит в споре победу? Ведь, как пророк, ты, очевидно, знаешь будущее.

Аполлон. Как же можно сделать это, Мом, когда здесь нет ни треножника, ни воскурений, ни пророческого кастальского ключа?

Мом. Вот как? Попал в тупик и хочешь избежать испытания!

Зевс. Все же, дитя мое, дай пророчество, чтобы не было у этого сикофанта предлогов клеветать на тебя и насмехаться над тобой, что ты, дескать, зависишь от треножника, воды и возлияний и что без них ты лишен своего искусства.

Аполлон. Хотя и лучше, отец мой, было бы делать это в Дельфах или в Колофоне, где, по обычаю, находится все мне необходимое, я все же, хотя и лишен всего и не вооружен, попытаюсь предсказать, за кем из двух останется победа; вы извините меня, если я скажу не вполне размеренно.

Мом. Говори только ясно, Аполлон, чтобы мы не нуждались в толкователях и переводчиках. Ведь дело идет не о баранине или черепахе, которую варят в Лидии; ты ведь знаешь, о чем идет речь.

Зевс. Что же ты скажешь, дитя мое? Но вот они, страшные предвестники пророчества: бледность, вращение глаз, всклокоченные волосы, движения бешеные, как у корибанта, все приметы одержимого, таинственные и бросающие в дрожь.

31. Аполлон. Все вы услышите теперь слова Аполлона-пророка.

Друг перед другом два мужа предстанут в убийственном споре,

Громкоголосые оба, под броней слов хитроумных;
Гор вершины, заливы наполнятся сверху донизу

Шумом свалки жестокой, судьбу решающей схватки.

Но, когда схватит коршун кривыми когтями
цикаду,

Лишь тогда начнут дожденосные каркать вороны.

Будет за мулом победа, осел же осленка лягает.

Зевс. Что ты хохочешь, Мом? Тут нет ничего смешного; перестань же, несчастный, ты задохнешься от смеха!

Мом. Можно ли удержаться, Зевс, после такого ясного и очевидного пророчества!

Зевс. Ты можешь, значит, и нам истолковать то, что он сказал?

Мом. Это так ясно, что мы не нуждаемся в Фемистокле; это изречение совершенно определенно говорит, что сам пророк — шут, а мы, право, вычужные ослы и мулы, если верим ему, и разума у нас меньше, чем у цикады.

32. Геракл. А я, отец мой, хоть и пришлец здесь, все же не побоюсь сказать то, что думаю: пусть они сходятся и начинают беседу, и если возьмет верх Тимокл, то оставим их рассуждать до конца, а если дело пойдет иначе, тогда, если хотите, я сотрясу Стою и опрокину ее на Дамида, чтоб этот проклятый не смеялся над нами.

Зевс. Геракл, Геракл, какие ты деревенские и по-беотийски грубые говоришь слова: вместе с одним негодяем ты хочешь погубить столько людей, да еще и Стою вместе с Марафоном, Мильтиадом и Кинегиром! Если все это окажется разрушенным, как же риторы, лишённые главной темы для рассуждений, станут произносить свои речи? Кроме того, ты мог делать такие вещи, пока был жив, а с тех пор, как стал богом, ты, я надеюсь, понял, что только Мойры могут творить такие дела, — мы же никакой власти над ними не имеем.

Геракл. Значит, когда я убил льва и Гидру, это Мойры сделали через меня?

Зевс. Конечно.

Г е р а к л. И если кто-нибудь теперь оскорбит меня, осквернив мой храм или опрокинув мою статую, я не могу уничтожить его, если это издавна так не решено Мойрами?

З е в с. Ни в каком случае.

Г е р а к л. Услышь же мои откровенные слова, Зевс. Я, как сказано в комедии, человек деревенский: лодкой лодку и называю. И если таково наше положение, то я прощаюсь со всеми небесными почестями, воскресениями, жертвенной кровью и пойду в Аид; там меня все же будут бояться тени убитых мною чудовищ, даже если в руках у меня будет только лук.

З е в с. Вот, можно сказать, домашний обличитель; ты предупредил Дамида и избавляешь его от необходимости говорить все это.

33. Но кто это спешно к нам приближается? Кто этот бронзовый бог, хорошо очерченный и размеренный, с древней прической? Да это, Гермес, твой брат, стоящий на площади около Расписного портика; он весь в смоле, потому что ваятели ежедневно снимают с него отпечатки. Что ты бежишь к нам, дитя мое? Или что-нибудь новое случилось на земле?

Г е р м а г о р. Нечто огромное и требующее гораздо большей торопливости.

З е в с. Говори скорее; быть может, еще где-нибудь тайне на нас восстали?

Г е р м а г о р. В тот миг как раз работали

литейщики

Смолою грудь и спину покрывая мне,
Всего с искусством, точно подражающим,
Забавно облепили, словно латами,
И меди очертанья отпечатали.
Как вдруг толпу я вижу и каких-то двух
Кричащих, бледных, бьющихся софизмами,
Один из них Дамид.

З е в с. Милейший Гермагор, довольно ямбов. Я знаю, о ком ты говоришь. Скажи мне только, давно ли у них начался спор.

Г е р м а г о р. Нет еще, пока завязалась лишь перестрелка, и они перебраниваются издали.

З е в с. Что ж осталось нам, боги, как не слушать их слова, наклонясь к ним? Засов да отодвинут горы и, разогнав тучи, пусть распахнут небесные врата!

34. Геракл! что за толпа собралась для слушанья! Однако Тимокл мне не очень нравится: он испуган,

дрожит и все дело нам сегодня погубит, потому что он, очевидно, не сумеет сопротивляться Дамиду. Единственно, что мы можем сделать, это помолиться за него, но только тихо будем молиться, чтоб нас Дамид не услышал.

35. Тимокл. Что говоришь ты, о Дамид святотатствующий? Нет богов и не они заботятся о людях?

Дамид. Вот именно: но сперва ты ответь мне, какой довод убедил тебя в их существовании.

Тимокл. Нет, не я, а ты ответь мне, негодный!

Дамид. Нет, не я, а ты!

Зевс. Пока что наш воюет гораздо лучше и голосистее. Молодцом, Тимокл, обливай его ругательствами! В этом твоя сила, а во всем остальном он заткнет тебе рот и сделает немым как рыба.

Тимокл. Клянусь Афиной, я не отвечу тебе первый!

Дамид. В таком случае спрашивай, Тимокл; ты победил меня своей клятвой. Только без ругани, пожалуйста.

36. Тимокл. Верно говоришь. Ответь же мне, проклятый: по-твоему, боги не заботятся о нас?

Дамид. Нет.

Тимокл. Как же так? Все на свете происходит без их заботы?

Дамид. Вот именно.

Тимокл. И попечение над вселенной не находится в руках некоего бога?

Дамид. Не находится.

Тимокл. Значит, все как бы несется по какому-то неразумному течению?

Дамид. Да.

Тимокл. О люди, как терпите вы такие слова и не бьете преступника камнями?

Дамид. Зачем, Тимокл, хочешь ты натравить на меня этих людей? И сам кто ты такой, что сердишься за богов, когда они сами вовсе не сердятся? Они, по крайней мере, не сделали мне никакого зла, хотя давно уже слушают меня,—если только они действительно слушают.

Тимокл. Слушают, Дамид,—слушают и отомстят тебе скоро!

37. Дамид. Когда ж найдут они для этого время, если у них столько забот, как ты это говоришь, если они заведуют всем бесконечным множеством дел во

вселенной? Вот почему они и тебя не наказывают за многие твои проклятия и еще за другие вещи, о которых не буду говорить, чтобы и самому, против уговора, не начать браниться. Впрочем, я не вижу, какое они могли бы найти лучшее доказательство своего попечения о людях, чем если б они тебя, скверного, скверным образом уничтожили. Видно, они отправились за Океан, к «эфиопам безупречным»: ведь они привыкли постоянно ходить туда на пир, иногда даже по собственному приглашению.

38. Тимокл. Что могу я сказать в ответ на такое бесстыдство, Дамид?

Дамид. А вот то самое, что я давно уже хотел от тебя услышать, Тимокл: почему убежден ты в божеском попечении о вселенной?

Тимокл. Во-первых, убедил меня в этом порядок явлений: солнце, совершающее всегда один и тот же путь, и луна, возвращающиеся времена года, произрастающие растения и возникающие живые существа. Все это устроено столь искусно, что может и питаться, и мыслить, и двигаться, и ходить, и быть строителем, сапожником и всем другим; это не кажется тебе делом Промысла?

39. Дамид. Но ведь это предрешение основания, Тимокл! Совсем еще не ясно, совершает ли все это промысл богов. А что все эти явления таковы, скажу и я; я не вижу необходимости считать их действием чьей-то заботливости. Быть может, явления возникли случайно и остаются все такими же. А ты называешь их порядок необходимостью. И, наверное, рассердишься, если кто-нибудь с тобой не согласится, когда ты, перечисляя и восхваляя явления, каковы они суть, считаешь их доказательством того, что все устраивается промыслом богов. Итак, повторю слова комика: «Нет, не годится так, скажи иное что».

Тимокл. А я не нахожу, что нужны еще какие-нибудь доказательства. Но все же я задам вопрос, а ты отвечай мне. Гомер не кажется ли тебе прекраснейшим поэтому?

Дамид. И даже очень.

Тимокл. Так вот кто убедил меня, говоря о промысле богов.

Дамид. Да ведь все с тобой согласятся, удивительный ты человек, в том, что Гомер — прекрасный поэт, но ни он, ни другой какой-либо поэт не является до-

стоверным свидетелем в таких делах; ведь им важно сказать не истину, а только очаровать слушателей, и поют они в мерных стихах свои мифы только ради наслаждения.

40. Но все же я бы охотно услышал, чем именно так убедил тебя Гомер. Не тем ли, что он говорит о Зевсе, когда его дочь, брат и жена устроили заговор, чтоб его связать? И если бы Фетида, заметив это, не позвала Бриарей, был бы наш милейший Зевс схвачен и закован. В благодарность за это он ради Фетиды обманул Агамемнона, ниспослав ему лживый сон, и погубил этим многих ахейцев. Каково? Он не мог даже сжечь Агамемнона молнией, чтобы не стать обманщиком. Или, может быть, тебя сделало особенно верующим то, что Диомед ранил с поощрения Афины сперва Афродиту, потом Ареса и что вскоре после того схватились в рукопашном бою боги и богини, что Афина победила Ареса, вероятно, ослабевшего уже после раны, полученной от Диомеда, и что

Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый.

Или кажется тебе убедительным то, что ты узнал об Артемиде, как эта обидчивая богиня рассердилась на Энея, когда он не позвал ее на пир, и из мести послала на его землю сверхъестественного и неодолимого кабана? Не такими ли рассказами убедил тебя Гомер?

41. Зевс. Ай-ай, как кричит народ, одобряя Дамиду! А наш, по-видимому, в затруднительном положении; видно, он испугался: дрожит, готов уронить свой щит и уже осматривается, куда бы ему убежать и скрыться.

Тимокл. Разве не кажется тебе, что Еврипид говорит здравые слова, когда он выводит на сцену богов, которые спасают добрых людей и героев, а негодяев и нечестивцев вроде тебя истребляют?

Дамид. Но, благороднейший из философов, если трагики этим тебя убеждают, то придется выбрать одно из двух: либо считать Пола, Аристодема и Сатира богами, либо видеть на них личины богов, котурны, длинные хитоны, плащи, рукавицы, подушки на живот, различные одежды и все остальное, чем они возвеличивают трагедию; но это кажется мне очень смешным. Однако послушай откровенные слова Еврипида,

в которых он высказывает свое мнение, даже если этого не требует ход драматического действия:

Вверху ты видишь небо беспредельное,
Во влажных землю видишь ты объятиях —
Вот это Зевсом, богом можешь ты считать.

Или еще:

О Зевс, а кто есть Зевс, того не знаю я,
Лишь имя слыша... —

и тому подобное.

42. Тимокл. Так что ж, значит, все люди и народы ошибаются, признавая богов и устраивая в их честь празднества?

Дамид. Вот это хорошо, что ты мне напомнил о мнениях различных народов, Тимокл, ибо ничто так ясно не показывает, как мало твердого в рассуждениях о богах. Много здесь путаницы, и различные люди почитают разное: скифы приносят жертвы кривому мечу, фракийцы — Замолксиду, беглому человеку, пришедшему к ним с Самоса, фригийцы — Месяцу, эфиопы — Дню, киллены — Фаллету, ассирийцы — голубю, персы — огню, а египтяне — воде. Впрочем, вода — это общееегипетское божество; в частности же, в Мемфисе чтут богом быка, в Пелузии — лук, а в других местах — ибиса, крокодила или существо с собачьей головой, кошку или обезьяну; и для одних деревень правое плечо — бог, а для соседних — левое, и некоторые молятся надвое рассеченной голове, другие же — глиняному кубку или чаше. Не смешно ли все это, Тимокл?

Мом. Разве я не говорил вам, боги, что все это выйдет наружу и будет тщательно исследовано?

Зевс. Да, да, ты верно говорил и правильно укорял нас, Мом, и я постараюсь все исправить, только бы нам избежать опасности.

43. Тимокл. Но чем же считаешь ты, о ненавистный богам, изречения, предвещающие будущее, как не делом божественного промысла?

Дамид. Лучше уж молчи, милейший, о предсказаниях: не то я спрошу тебя: о каком из них ты особенно желал бы вспомнить? Быть может, о том, которое дал пифиец царю Лидии и которое было обоюдоостро и двулично, наподобие герм, имеющих два изображения, совершенно одинаковых, в какую сторону их ни

повернешь? Ведь что более вероятно: свое ли царство разрушит Крез, перейдя через Галис, или Кирова? А ведь не мало талантов стоило это ловкое слово несчастному царю Сард.

Мом. О боги, этот человек разбирает как раз то, чего я больше всего опасался! Но где же наш прекрасный Кифаред? Спустись к нам и оправдайся во всем этом!

Зевс. Не вовремя добиваешь ты нас своими упреками, Мом.

44. Тимокл. Смотри, что ты делаешь, преступный Дамид! Своими словами ты едва не опрокидываешь храмы и алтари богов.

Дамид. Не все алтари. Тимокл. Ведь что ж в них дурного, если они полны благовоний и фимиама? Но я увидел бы охотно свергнутых со своих оснований алтари Артемиды в Тавриде, на которых эта дева наслаждалась известными всем жертвоприношениями, радовавшими ее.

Зевс. Откуда на нас надвигается такое непреодолимое зло? Этот человек не щадит ни одного из богов и, словно с воза, говорит без стеснения:

Всех по порядку сразил он, виновных — равно как невинных.

Мом. Ну, невинных ты найдешь среди нас немного, Зевс, и скоро нападет он на кого-нибудь из высших богов, дойдя и до них.

45. Тимокл. Или ты, Дамид богопротивный, не слышал Зевса громыхающего?

Дамид. Как мог бы я не слышать грома, Тимокл? Но громыхает ли это Зевс, тебе лучше знать: ведь ты, по-видимому, пришел к нам от богов; впрочем, жители Крита рассказывают нам нечто другое: у них можно видеть могилу и столб с надписью, из которой ясно, что Зевс вряд ли будет громыхать, ибо он умер.

Мом. Я давно знал, что он это скажет. Но что ты побледнел, Зевс, и у тебя от страха зуб на зуб не попадает? Надо мужаться и презирать все эти человеческие дразги.

Зевс. Как же ты говоришь, Мом, — презирать? Разве ты не видишь, сколько народу его слушает, как он убедил их и приковал их слух?

Мом. Но ведь если ты захочешь, Зевс, ты спустишь к ним золотую цепь и сможешь всех их «поднять с самой землею и с самим морем».

46. Тимокл. Скажи мне, проклятый, плавал ты когда-нибудь по морю?

Дамид. И очень много, Тимокл.

Тимокл. Не правда ли, вас нес ветер, дувший в паруса и натягивавший их, либо подвигали гребцы, а один кто-нибудь управлял, стоя у руля, и спасал корабль от опасностей?

Дамид. Конечно.

Тимокл. Итак, корабль не может плыть без управления, а вселенная несется, по-твоему, никем не управляемая и без кормчего?

Зевс. Прекрасно сказал ты это, Тимокл. Очень сильное сравнение!

47. Дамид. Но ведь ты же всегда видел, боголюбивейший Тимокл, что кормчий печется о пользе корабля, вовремя все приготовляет и отдает приказания мореходам, так что ничего не совершается на корабле бесцельно и неразумно, ничего, что бы не было полезно и даже необходимо для плавания. Твой же кормчий, который, как ты думаешь, управляет этим большим кораблем, и его корабельщики ничего не делают разумно и так, как бы следовало: носовые канаты они протягивают к корме, кормовые — к носу; якоря у них сделаны из золота, а украшения на носу — из свинца; подводная часть корабля расписана, а верхняя безобразна.

48. И посмотри, что делается среди мореходов: какой-нибудь бездельник, неопытный и нерешительный, распоряжается двумя или тремя отделениями, а человека, умеющего прекрасно нырять и ловко взбираться на реи, знающего много полезного, заставляют только вычерпывать воду. А разве не то же самое среди едущих на корабле? Какой-нибудь негодяй сидит на первом месте, около кормчего, принимая всяческие услуги, а другие, развратники, отцеубийцы, святотатцы, рассевшись на палубе, окружают себя чрезвычайными почестями и обижают многих хороших людей, которые теснятся по уголкам корабля; подумай только, как совершали свое плаванье Сократ, Аристид и Фокион, не имевшие ни достаточно пропитания, ни места, чтобы протянуть ноги, — они лежали на голых досках среди отбросов; а в какой роскоши утопали Каллий, Мидий и Сарданапал, насмехаясь над ними!

49. Вот какие дела бывают на твоём корабле, мудрейший Тимокл! Поэтому и бесчисленны корабле-

крушения. А если бы кормчий, стоя у руля, наблюдал за всем и все приводил бы в порядок, то он прежде всего не мог бы не знать, кто из путешествующих человек порядочный, а кто негодяй, затем уделил бы каждому по заслугам то, что ему подобает, и лучшие, верхние, места дал бы лучшим, а нижние — худшим, и лучших сделал бы сотрапезниками и советниками. Так же и среди мореходов: усердный был бы назначен надсмотрщиком над другими, а ленивого и легкомысленного били бы веревкой по голове пять раз в день. Выходит, что твое сравнение с кораблем, о удивления достойный, получило, чего доброго, обратный смысл при таком плохом кормчем.

50. Мом. Течение благоприятно Дамиду, и он уже на всех парусах несется к победе.

Зевс. Правильное предположение, Мом. Тимокл не придумал ничего толкового; все его возражения обычны, обыденны и легко опровержимы.

51. Тимокл. Итак, сравнение с кораблем не кажется тебе доказательным. Так слушай: вот, как говорится, священный якорь, который не оборвешь никаким измышлением.

Зевс. Что-то он скажет?

Тимокл. Выслушай следующий силлогизм и опровергни меня, если можешь. Если существуют алтари, существуют и боги: но алтари существуют, — следовательно, и боги существуют. Что ты на это скажешь?

Дамид. Дай мне сперва досыта насмеяться, тогда я тебе отвечу.

Тимокл. Да ты, кажется, не можешь остановиться; скажи, что нашел ты смешного в моих словах?

Дамид. А то, что ты не заметил, на какую тонкую нить повесил свой якорь, да еще священный; ты связал бытие богов с существованием алтарей и думаешь, что сделал из этого крепкую цепь. И если ты ничего не имеешь сказать более священного, то лучше уйдем.

52. Тимокл. Значит, ты уходишь и тем признаешь себя побежденным?

Дамид. Да, Тимокл; ведь ты, словно побитый, ищешь спасения у алтарей. А потому, клянусь священным якорем, я хотел бы совершить возлияния вместе с тобою у одних и тех же алтарей, чтобы больше не вести споров.

Т и м о к л. Ты смеешься надо мною,—ты, грабитель могил, негодный, презренный, достойный петли, все оскверняющий человек! Разве мы не знаем, каков был твой отец, что за продажная женщина была твоя мать? Разве мы не знаем, что ты удушил своего брата, что ты прелюбодействуешь и развращаешь мальчиков,—ты, прожорливейший и бесстыднейший человек? Подожди уходить, чтоб я мог тебе надавать ударов и пришибить тебя, наигнуснейшего человека, этим черепком.

53. З е в с. Смотрите, боги: Дамид уходит со смехом, а Тимокл преследует его своею руганью, вне себя от его насмешек, и готов разбить ему голову глиняным черепком. Что же нам после этого делать?

Г е р м е с. Мне кажется, правильно сказал комический поэт:

Ты зла не претерпел, коль не признался в нем.

И разве это большая беда, если несколько человек удалилось, убежденных этим спором? Немало ведь думающих иначе: большинство эллинов, толпа простого народа и все варвары.

З е в с. Мне же, Гермес, прекрасными кажутся слова Дария о Зопире: я предпочел бы иметь помощником одного Дамида, чем повелевать тысячами вавилонян.





**ПРОМЕТЕЙ,
ИЛИ
КАВКАЗ**

ГЕРМЕС, ГЕФЕСТ И ПРОМЕТЕЙ

1. Гермес. Вот тот Кавказ, Гефест, к которому нужно пригвоздить этого несчастного титана. Посмотрим кругом, нет ли тут какого-нибудь подходящего утеса, не покрытого снегом, чтобы покрепче вделать цепи и повесить Прометея так, чтобы он был хорошо видим всеми.

Гефест. Посмотрим, Гермес. Нужно его распять не слишком низко к земле, чтобы люди, создание его рук, не пришли ему на помощь, но и не близко к вершине, так как его не будет видно снизу; а вот, если хочешь, распнем его здесь, посредине, над пропастью, чтобы его руки были распростерты от этого утеса до противоположного.

Гермес. Правильно ты решил. Эти скалы голы, отовсюду недоступны и слегка покаты, а тот утес имеет такой узкий подъем, что с трудом можно стоять на кончиках пальцев: здесь было бы самое удобное место для распятия... Не медли же, Прометей, всходи сюда и дай себя приковать к горе.

2. Прометей. Хоть бы вы меня, Гефест и Гермес, пожалели: я страдаю незаслуженно!

Гермес. Хорошо тебе говорить: «пожалейте»! Чтобы мы были преданы пытке вместо тебя, как только ослушаемся приказания? Разве тебе кажется, что Кавказ недостаточно велик и на нем не будет места, чтобы приковать к нему еще двоих? Но протяни же правую руку. А ты, Гефест, замкни ее в кольцо и прибей, с силой ударяя по гвоздю молотом. Давай и другую! Пусть и эта рука будет лучше закована. Вот и отлично! Скоро слетит орел разрывать твою печень, чтобы ты получил полностью оплату за свое прекрасное и искусное изобретение.

3. Прометей. О, Крон, Иапет, и ты, моя мать, посмотрите, что я, несчастный, терплю, хотя не совершил ничего преступного!

Гермес. Ничего преступного, Прометей? Но ведь когда тебе поручили раздел мяса между тобой и Зевсом, ты прежде всего поступил совершенно несправедливо и бесчестно, отобрав самому себе лучшие куски, а Зевсу отдав обманно одни кости, «жиром их белым покрывши»? Ведь, клянусь Зевсом, помнится, так говорил Гесиод. Затем ты изваял людей, эти преступнейшие существа, и, что еще хуже всего, женщин. Ко всему этому, ты похитил ценнейшее достояние богов, огонь, и дал его людям. И совершив подобные преступления, ты утверждаешь, что тебя заковали в цепи без всякой вины с твоей стороны?

4. Прометей. По-видимому, Гермес, ты хочешь, по словам Гомера, «невинного сделать виновным», если упрекаешь меня в подобных преступлениях. Что касается меня, то я за совершенное мною считал бы себя достойным почетного угощения в пританее, если бы существовала справедливость. Право, если бы у тебя было свободное время, я бы охотно произнес речь в защиту от взводимых на меня обвинений, чтобы показать, как несправедлив приговор Зевса. А ты ведь

речист и кляззник,— возьми на себя защиту Зевса, доказывая, будто он вынес правильный приговор о распятии меня на Кавказе, у этих Каспийских врат, как жалостное зрелище для всех скифов.

Гермес. Твое желание пересмотреть дело, Прометей, запоздало и совершенно излишне. Но все-таки говори. Все равно мне нужно подождать, пока не слетит орел, чтобы заняться твоей печенью. Было бы хорошо воспользоваться свободным временем, для того чтобы послушать твою софистику, так как в споре ты изворотливее всех.

Прометей. В таком случае, Гермес, говори первым и так, чтобы обвинить меня сильнейшим образом и не упустить ничего в защите твоего отца. Тебя же, Гефест, я беру в судьи.

Гефест. Нет, клянусь Зевсом, я буду не судьей, а также обвинителем: ведь ты похитил огонь и оставил мой горн без жара!

Прометей. Ну так разделите ваши речи: ты поддерживай обвинение о похищении огня, а Гермес пусть обвиняет меня в создании человека и дележе мяса. Ведь вы оба, кажется, искусны и сильны в споре.

Гефест. Гермес и за меня скажет. Я не создан для судебных речей, для меня все в моей кузнице. А он ритор и основательно занимался подобными вещами.

Прометей. Я бы не подумал, что Гермес захочет говорить также и о похищении огня и порицать меня, так как в этом случае я его товарищ по ремеслу.

Но, впрочем, сын Май, если ты берешь на себя и это дело, то пора уже начать обвинение.

Гермес. Право, Прометей, нужно много речей и хорошую подготовку для выяснения всего, что ты совершил. Ведь достаточно перечислить главнейшие твои беззакония: именно — когда тебе было предоставлено разделить мясо, ты лучшие куски для себя приберег, а царя богов обманул; ты извлял людей, вещь совершенно ненужную, и принес им огонь, похитив его у нас. И мне кажется, почтеннейший, ты не понимаешь, что испытал на себе безграничное человеколюбие Зевса после таких поступков. А если ты отрицаешь, что делал все это, то придется доказать это в обстоятельной речи и постараться обнаружить истину.

Если же ты признаешь, что совершил дележ мяса, что своими людьми ввел новшество и похитил огонь,— с меня, довольно обвинения, и я не стал бы говорить дальше; это была бы пустая болтовня.

7. Прометей. Мы увидим немного позднее, не болтовня ли также и то, что ты сказал; а теперь, если ты говоришь, что обвинение достаточно, я попробую, насколько могу, разрушить его.

Прежде всего выслушай дело о мясе. Хотя, клянусь Ураном, и теперь, говоря об этом, мне стыдно за Зевса! Он так мелочен и злопамятен, что, найдя в своей части небольшую кость, посылает из-за этого на распятие такого древнего бога, как я, позабыв о моей помощи и не подумав, как незначительна причина его гнева. Он, как мальчик, сердится и негодует, если не получает большей части.

8. Между тем, Гермес, о подобных застольных обманах, мне кажется, не следует помнить, а если и случилась какая-нибудь погрешность, то нужно принять это за шутку и тут же на пирушке оставить свой гнев. А приберегать ненависть на завтра, злоумышлять и сохранять какой-то вчерашний гнев — это совсем богам не пристало и вообще это не царское дело.

Право, если бы лишить пирушки этих забав — обмана, шуток, поддразнивания и насмешек, то останется только пьянство, пресыщение и молчание — все вещи мрачные и безрадостные, весьма не подходящие к пирушке. И я никак не думал, что Зевс еще будет об этом помнить на следующий день, начнет гневаться и станет считать, что он подвергся страшному оскорблению, если при разделе мяса кто-нибудь сыграет с ним шутку, чтобы испытать, различит ли он при выборе лучший кусок.

9. Предположи, однако, Гермес, еще худшее: что Зевсу при дележе не только досталась худшая часть, а она у него была совсем отнята. Что же? Из-за этого следовало бы, по пословице, небу смешаться с землей, придумывать цепи и пытки, и Кавказ, посылать орлов и выклеивать печень? Смотри, чтобы это негодование не уличило Зевса в мелочности, бедности мысли и раздражительности. Действительно, что стал бы делать Зевс, потеряв целого быка, если из-за небольшой доли мяса он так сердится?

10. Все-таки насколько справедливее относятся к подобным вещам люди, а ведь, казалось бы, им естественнее быть более резкими в гневе, чем боги! Между тем никто из них не осудит повара на распятие, если, варя мясо, он опустил бы палец в навар и облизал его или, поджаривая, отрезал бы себе и проглотил кусок жаркого,— люди прощают это. А если они чересчур рассердятся, то пустят в дело кулаки или дадут пощечину, но никого не подвергнут пытке за такой ничтожный проступок.

Ну, вот и все по поводу мяса; мне стыдно оправдываться, но гораздо стыднее ему обвинять меня в этом.

11. Но пора уже держать речь о моем ваянии и создании людей. В этом проступке, Гермес, заключается двойное обвинение, и я не знаю, в каком смысле вы мне его вменяете в вину. Заключается ли она в том, что не нужно было вовсе создавать людей, и было лучше бы, если б они продолжали оставаться землей; или вина моя в том, что людей изваять следовало, но нужно было придать им иной вид? Но я скажу о том и о другом. И сначала я постараюсь показать, что богам не принесло никакого вреда появление на свет людей; а потом — что богам оно было гораздо выгоднее и приятнее, чем если бы земля продолжала оставаться пустынной и безлюдной.

12. Итак, было некогда (таким образом будет легче и яснее видно, погрешил ли я чем-нибудь в устройстве человеческих свойств), был, значит, только божественный род небожителей, а земля представляла собой нечто дикое и неустроенное. Она вся поросла непроходимыми лесами, и на ней не было ни алтарей богов, ни храмов,— откуда им было взяться? Не было также изваяний, ни мраморных, ни деревянных, ничего того, что теперь повсюду встречается в большом числе и окружено всяческим почетом и вниманием. Но так как я всегда думаю об общем благе и стремлюсь увеличить значение богов и способствовать тому, чтобы и все остальное достигало порядка и красоты, то мне пришло на ум, что было бы хорошо, взяв немного глины, изготовить какие-нибудь живые существа и придать им вид, похожий на нас самих. Мне казалось, что божественному началу чего-то недостает, если ему ничего не противопоставлено, по сравнению с чем оно

должно оказаться более счастливым. Однако это начало должно было быть смертным, но, впрочем, в высшей степени изобретательным, разумным и понимающим то, что лучше него.

13. И вот, согласно словам поэта, «смешав с водою землю» и размягчив ее, я вылепил людей, пригласив Афины помочь мне в моей работе. Вот то великое преступление, которым я оскорбил богов. Ты видишь, какой ущерб я причинил тем, что из глины создал живые существа и прежде неподвижное привел в движение! По-видимому, с этого времени боги стали в меньшей степени богами, потому что на земле появились смертные существа. Ведь Зевс негодует теперь, думая, будто богам стало хуже от появления людей. Неужели он боится, что они замыслият восстать против него и, как Гиганты, начнут войну с богами? Но, Гермес, что вы ничуть не обижены ни мной, ни моими поступками, это ясно. В противном случае укажи мне хотя на малейший ущерб, и я замолчу, а то, что претерпел от вас, признаю справедливым наказанием.

14. А что мое создание оказалось даже полезным для богов — в этом ты убедишься, если взглянешь на землю: она изменила свое первобытное и необработанное состояние, украсилась городами, полями и полезными растениями. Море, если посмотришь на него, сделалось доступным для кораблей, острова стали обитаемы, и повсюду встречаются алтари и храмы, жертвоприношения и всенародные праздники —

Все улицы, все площади городов
Наполнены Зевсом...

Другое дело, если бы я создал эти вещи для себя одного и извлек из них особенную выгоду, — но я, принеся их в общее пользование, предоставил их вам самим. Больше всего везде видны храмы Зевса, Аполлона, Геры и твои собственные, Гермес, а храма Прометея нет нигде.

15. Можешь ли ты заметить, чтобы я преследовал только свои выгоды, а общей пользой пренебрегал или поступался? Подумай также о том, Гермес, считаешь ли ты благом что-нибудь, чему нет свидетеля, будь то движимое или недвижимое имущество, которое никто не увидит и не похвалит. Доставляет ли оно, несмотря

на это, радость и утеху его обладателю? Для чего это я спросил? Потому, что если бы не было людей, красота всех вещей оказалась бы без свидетеля, и нам пришлось бы стать богатыми таким богатством, которое никого бы не удивляло и для нас самих не имело никакой цены. Потому что не существовало бы ничего худшего, с чем можно было сравнить богатство, и мы не могли бы понять степени своего блаженства, если бы не видели тех, кто лишен наших преимуществ. За такое общепольное дело следовало воздавать почести, а вы распяли меня и таким способом оплатили за мое благое намерение.

16. Но ты скажешь, среди людей есть злодеи, которые развратничают, воюют, женятся на сестрах и злоумышляют против родителей. Да разве среди нас не встречаются подобные явления, и притом в большом изобилии? Конечно, из-за этого никто не обвинит Урана и Гею, что они создали нас. Ты мог бы также сказать, что нам приходится много заботиться о людских делах. В таком случае, пожалуй, пусть и пастух негодует на то, что у него есть стадо, о котором ему необходимо заботиться. Однако хотя это и хлопотливо, зато и приятно.

К тому же, и сама забота не без отрады, так как составляет некоторое занятие. Что бы мы делали, не имея никого, о ком позаботиться? Мы бездействовали бы, пили нектар и насыщались амбросией, ничего не делая.

17. Но в особенности меня сокрушает то, что, обвиняя в создании людей и, пожалуй, главным образом, женщин, вы тем не менее влюбляетесь в них и не перестаете сходить к ним, то в виде быков, то становясь сатирами и лебедями, и считаете смертных женщин достойными рождать вам богов. Но, может быть, ты скажешь, что нужно было создать людей в каком-нибудь другом виде, а не подобных нам? Но какой же другой образец лучше этого я мог бы себе представить, какой более прекрасный во всех отношениях? Разве следовало сотворить существо неразумное, звероподобное и дикое? Каким же образом такие существа приносили бы жертвы богам или воздавали им другие почести? Но когда вам приносят в жертву гекатомбы, вы не медлите, хотя бы вам нужно было к Океану,

«к безупречным идти эфиопам». А виновника получаемых вами почестей и жертвоприношений вы распяли. Относительно людей и сказанного достаточно.

18. Теперь же, если позволишь, я перейду к огню и к его позорному похищению. Но, ради богов, ответь мне, нисколько не смущаясь, на следующее: разве мы потеряли хоть сколько-нибудь огня, с тех пор как он имеется у людей? Ведь ты этого не мог бы сказать? Мне кажется, сама природа этого предмета такова, что он не уменьшается, если им будет пользоваться еще кто-нибудь другой. Ведь огонь не потухает от того, что от него зажгут другой. Следовательно, это одна лишь жадность — запрещать передавать огонь тем, кто в нем нуждается, если от этого вам нет никакого ущерба. Между тем богам-то нужно быть добрыми, «подателями благ» и следует находиться вне всякой зависти. Если бы я похитил даже весь огонь и снес его на землю, ничего не оставив вам, то и этим я бы не очень вас обидел. Огонь ведь вам совсем не нужен, так как вы не зябнете, не варите амбросии и не нуждаетесь в искусственном освещении.

19. А людям огонь постоянно необходим, в особенности для жертвоприношений, чтобы чадить по улицам, курить фимиам и жечь бедра жертвенных животных на алтарях. Ведь я вижу, как вы наслаждаетесь жертвенным дымом и считаете самым приятным угощением, когда жертвенный чад достигает неба «и вьется кольцами дыма». Следовательно, самый упрек в похищении огня был бы высшим противоречием вашим вкусам. Я удивляюсь, как это вы еще не запретили солнцу освещать людей: ведь и оно тоже огонь, только гораздо более божественный и пламенный, чем обыкновенный. Не обвиняете ли вы и солнце в том, что оно расточает ваше достояние?

Я сказал. А вы оба, Гермес и Гефест, если находите что-либо неправильным в моей речи, поправьте и опровергните меня, и я опять начну оправдываться.

20. Гермес. Не легко, Прометей, состязаться с таким превосходным софистом. Впрочем, счастье твое, что Зевс не слышал твоих речей! Я отлично знаю, что он шестнадцать бы коршунов приставил к тебе разрывать внутренности: так сильно ты его обвинил, делая вид, что оправдываешься. Но я удивляюсь несколько

тому, что ты будучи пророком не предугадал предстоящих тебе пыток.

Прометей. Я предвидел это, Гермес, но мне известно также, что я буду освобожден. Скоро придет некто из Фив,— он будет тебе братом,— и застрелит орла, который, как ты говоришь, подлетит ко мне.

Гермес. Так пусть же это случится, Прометей, и я увижу тебя освобожденным и пирующим среди нас,— однако так, чтобы ты уже не делил мяса.

Прометей. Не бойся. Я буду пировать с вами, и Зевс освободит меня за большую услугу.

Гермес. За какую такую услугу? Скажи не медля.

Прометей. Ты знаешь Фетиду, Гермес?.. Но не следует рассказывать, лучше сохранить тайну, чтобы она для меня послужила расплатой и выкупом за освобождение от наказания.

Гермес. Да, береги ее, титан, если это для тебя лучше... Но пойдем, Гефест. Вот орел уже близко... Итак, терпи с твердостью. Ведь, как ты говоришь, скоро уже явится фиванский стрелок, чтобы прекратить расчленение тебя орлом.





РАЗГОВОРЫ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ

1. ДИОГЕН И ПОЛИДЕВК

1. Диоген. Полидевк, поручаю тебе: как только выйдешь на землю,—завтра, кажется, твоя очередь воскресать,—если увидишь где-нибудь Мениппа-собаку (его ты можешь встретить в Коринфе в Крайнейской роще или в Ликее, где он высмеивает спорящих друг с другом философов), скажи ему, что тебе, мол, Менипп, советует Диоген, ежели ты уже вдоволь посмеялся над делами земными, отправляться к нам: здесь можно найти еще больше поводов для смеха. На земле тебе мешали смеяться кое-какие сомнения, вроде постоянного: «Кто знает, что будет после смерти». Здесь же ты беспрестанно и без всякого колебания будешь смеяться, как я вот смеюсь, в особенности когда увидишь богачей, сатрапов и тиранов такими униженными, такими невзрачными, что их только по сто-

нам и узнать можно,— до того они бессильны и жалки в своей тоске по всему, что оставили наверху, на земле. Прибавь еще, чтоб он, уходя, наполнил свой мешок чечевицей, и если найдет на перекрестке угощение Гекаты или яйцо от очистительной жертвы, и это захватил бы с собой.

2. Полидевк. Хорошо, я скажу ему это, Диоген. Но как мне его узнать? Каков он на вид?

Диоген. Старый, лысый, плащ на нем весь в дырах, открытый для всех ветров, пестрый от разноцветных заплат; он постоянно смеется и чаще всего вышучивает этих лгунов-философов.

Полидевк. По этим признакам его нетрудно будет найти.

Диоген. Хочешь, я тебе дам поручение и для этих самых философов?

Полидевк. Говори; небольшой труд и это исполнить.

Диоген. Скажи им вот что: перестаньте-ка вы болтать вздор, спорить об общих понятиях, нарачивая друг другу «рога», выделявая «крокодилов» и изоцряя свой ум подобными неразумными вопросами.

Полидевк. Но они меня назовут невеждой и неучем, если я буду бранить их мудрость.

Диоген. А ты пожелай им от моего имени всего скверного.

3. Полидевк. Хорошо, Диоген, я и это скажу.

Диоген. А богачам, милый мой Полидевк, передай от меня вот что: зачем вы, глупцы, стережете ваше золото? Зачем казните самих себя, высчитывая проценты, собирая талант за талантом, когда вам скоро придется отправиться к нам, взяв только один обол?

Полидевк. И это будет сказано.

Диоген. Да еще скажи красавцам и силачам, коринфянину Мегиллу и борцу Дамоксену, что у нас ничего не остается от светлых волос, от сверкающих или черных глаз, от румяных щек, сильных мышц и могучих плеч,— все это для нас один прах; голый череп — вот вся наша красота.

Полидевк. Нетрудно будет и это сказать красавцам и силачам.

4. Диоген. А беднякам,— их ведь много, и все они ропщут на свою судьбу и жалуются на нужду,— скажи, дорогой лаконец, что им нечего плакать и стонать; объясни им, что здесь все равны, и они увидят, что зем-

ные богачи нисколько не лучше их. А своих лакёдемонян выбрани, если хочешь, от моего имени: скажи им, что они совсем распустились.

Полидевк. Диоген, не говори ничего против лакёдемонян: этого я слушать не могу. А все остальное, что ты мне сказал, я передам кому следует.

Диоген. Ну, если хочешь, можем их оставить в покое; отнеси же мои слова всем тем, кого я называл раньше.

II ПЛУТОН, ИЛИ ПРОТИВ МЕНИППА

1. Крез. Плутон, мы не можем терпеть эту собаку Мениппа своим соседом. Отправь его куда-нибудь или нам позволь переселиться в другое место.

Плутон. Чем же вас обидел ваш сомертвец?

Крез. Мы все плачем и стоим, вспоминая свою земную судьбу: вот этот, Мидас,— золото, Сарданапал— великую роскошь, я, Крез,— свои сокровища, а он смеется над нами и ругается, называя нас рабами и подонками, а то вдруг начнет петь, нарочно мешая нам плакать; одним словом, он нам в тягость.

Плутон. Что это такое они говорят, Менипп?

Менипп. Сущую правду, Плутон: я ненавижу их за то, что они трусливы и жалки! Мало того, что прожили свою жизнь гадко, они еще после смерти помнят о том, что было на земле, и крепко за это держатся. Оттого-то мне и доставляет удовольствие не давать им покоя.

Плутон. Так не следует делать: они горюют, ибо лишились немалых благ.

Менипп. И ты, Плутон, говоришь такие глупости? Сочувствуешь их стонам?

Плутон. Я-то не сочувствую, да не хочу, чтоб вы между собой враждовали.

2. Менипп. Так знайте же вы, презреннейшие из всех лидийцев, фригийцев и ассирийцев, что я никогда не перестану вам надоедать, куда вы ни пойдете, пойду за вами и буду петь насмешливые песенки и потешаться над вами.

Крез. Какая дерзость!

Менипп. Нет, дерзостью было то, что вы делали: заставляли падать перед собой ниц, издевались над свободными людьми, а о смерти совсем не помнили; так вот же вам: ревите, лишившись всего.

Крез. О боги! Многих великих благ!

Мидас. О мое золото!

Сарданапал. О моя роскошь!

Менипп. Прекрасно, так и надо. Плачьте, а я буду вам подпевать, повторяя: «Познай самого себя»; это очень хороший припев к вашим стонам.

III. МЕНИПП, АМФИЛОХ И ТРОФОНИЙ

1. Менипп. Как же это вышло, Трофоний и Амфилох, что вы, обыкновенные мертвецы, каким-то образом удостоились храмов и считаетесь пророками, а легковверные люди и за богов вас почитают?

Амфилох. Мы разве виноваты, что они по своей глупости так думают о мертвых?

Менипп. Они бы так не думали, если бы вы при жизни не морочили их, прикидываясь, что знаете будущее и можете его предсказать.

Трофоний. Менипп, Амфилох сам знает, что тебе следует ответить в свою защиту; что же касается меня, то я герой и предсказываю будущее тому, кто спустится ко мне в пещеру. Ты, кажется, никогда не был в Лебадее, а то бы не относился к этому с недоверием.

2. Менипп. Что ж, по-твоему? Мне нужно отправиться в Лебадею, надеть какую-то шутовскую полотняную одежду, взять в руки лепешку и пролезть через узкое отверстие в пещеру, иначе я не буду знать, что ты такой же мертвец, как мы все, и отличаешься только шутовством? Но ради твоего искусства прорицать, скажи мне, что такое герой? Я не знаю.

Трофоний. Это существо, составленное из бога и человека.

Менипп. Значит, ни бог, ни человек, а вместе с тем и то и другое? Куда же сейчас девалась твоя божественная половина?

Трофоний. Пророчествует в Беотии.

Менипп. Не мне понять, Трофоний, что такое ты говоришь; одно я вижу ясно: ты мертвец, и больше ничего.

IV. ГЕРМЕС И ХАРОН

1. Гермес. Не сосчитать ли нам, перевозчик, сколько ты мне уже должен? А то у нас опять из-за этого выйдет ссора.

Харон. Сосчитаем, Гермес. Лучше это наконец установить,— тогда и забота с плеч долой.

Гермес. По твоему поручению я принес тебе якорь за пять драхм.

Харон. Много запрашиваешь!

Гермес. Клянусь Аидоном, я купил его за пять, да еще за два обола ремень, что придерживает весло.

Харон. Клади пять драхм и два обولا.

Гермес. Игла для нашивания заплат на парус; я за нее дал пять оболлов.

Харон. Прибавляй их.

Гермес. Воск для замазывания дыр в лодке, гвозди и канат которым ты рею прикрепил к мачте; все вместе за две драхмы.

Харон. Это недорого.

Гермес. Вот и все, если мы ничего не забыли при счете. Когда же ты мне это отдашь?

Харон. Сейчас я никак не могу, Гермес, а вот если чума какая-нибудь или война придет к нам много народу, тогда можно будет кое-что заработать, обсчитав мертвецов на плате за переезд.

2. Гермес. Что же мне, сидеть, значит, и ждать, призывая на землю всякие бедствия, чтобы хоть так получить свой долг?

Харон. Нет другого способа, Гермес. Ты сам видишь, как мало народу к нам теперь приходит: на земле мир.

Гермес. Нет, уж лучше пусть так остается, хоть и затянется отдача долга. Но, не правда ли, Харон, прежде к нам приходили не такие, как теперь: мужественные все, покрытые кровью и большею частью умершие от ран. А теперь? Одного сын отравил, другого — жена, у третьего от излишней роскоши распухли живот и ноги,— все бледные, жалкие, совсем на тех непохожие. А большинство их, кажется, к нам отправляются из-за денежных козней.

Харон. Да, деньги — вещь желанная...

Гермес. Выходит, и я бы не согрешил, если бы настойчиво взыскивал с тебя долг.

V. ПЛУТОН И ГЕРМЕС

1. Плутон. Ты знаешь того старика, совсем дряхлого, богача Евкрата, у которого детей нет, зато гоняющихся за его наследством пятьдесят тысяч?

Гермес. Да, знаю, Евкрат из Сикиона. В чем же дело?

Плутон. Оставь его в живых, Гермес, и к тем девяноста годам, которые он прожил, прибавь еще девяносто, а если можно — и больше, а его льстецов, молодого Харина, Дамона и других, притащи к нам всех по очереди.

Гермес. Это вышло бы не совсем разумно.

Плутон. Напротив, очень справедливо. Как они смеют ждать его смерти и рассчитывать на его наследство, хотя они ему совсем не родственники? И вот что всего отвратительнее: втайне они желают ему смерти и все-таки для виду ухаживают за ним. Когда он хворает, то для всякого ясно, что у них на уме, а они между тем обещают богам жертвоприношения, если он поправится. Всех уловок этих льстецов и не перечесать! Вот из-за этого пусть он не умирает, а они все пусть отправятся раньше него, напрасно позарившись на наследство.

2. Гермес. Вот так штуку мы выкинем негодяям! Впрочем, Евкрат недурно пасет свое стадо и питает их надеждами: сам похож на мертвеца, а между тем здоровее молодых. Они-то уже разделили между собой наследство, думают, что держат его в руках, упиваются мечтами о блаженной жизни!

Плутон. Так вот пусть он теперь, как Иолай, сбросит с себя старость и вновь сделается молодым, а эти негодяи, в расцвете надежд, потеряв воображаемое богатство, пусть умрут, как скверные люди, скверной смертью и пожалуют к нам.

Гермес. Не беспокойся, Плутон: я к тебе приведу всех по очереди, — их, по-моему, семеро.

Плутон. Тащи всех! А Евкрат будет каждого из них хоронить, из старика сделавшись вновь юношей.

VI. ТЕРПСИОН И ПЛУТОН

1. Терпсион. Разве это справедливо, Плутон? Я умер на тридцатом году жизни, а старик Фукрит, которому уже больше девяноста лет, все еще продолжает жить!

Плутон. Вполне справедливо, Терпсион. Он жив, так как никому из своих друзей не желал смерти, а ты

все время имел против него дурные мысли, дожидаясь наследства.

Терпсион. Разве не так должно быть, чтобы человек старый, не способный больше пользоваться своим богатством, ушел из жизни, уступая место молодым?

Плутон. Ты, Терпсион, вводишь новый закон, устанавливая, что должен умирать тот, кто не может больше употреблять богатства в свое удовольствие. Однако Мойра и природа установили другой порядок.

2. Терпсион. Вот этот-то порядок я и осуждаю. Дело должно происходить по установленной очереди: сперва должен умирать самый старший, а после него — тот, кто следует за ним по возрасту, а не наоборот. Отчего же остается в живых дряхлый старик с тремя зубами во рту, почти слепой, — четыре раба должны его поддерживать, — с насморком, с глазами, полными ячменей, не знающий никаких удовольствий, какой-то живой гроб, посмешище для всех молодых; а прекраснейшие юноши в расцвете сил должны умирать? Ведь это выходит — заставлять реку течь вспять! Или по крайней мере следовало бы каждому знать, когда тот или другой старик умрет, чтобы напрасно не ухаживать за ним. А теперь все это устроено совсем как в пословице: не вол тащит повозку, а повозка — вол.

3. Плутон. Это гораздо разумнее, чем тебе кажется, Терпсион. Кто же вас заставляет разевать рот на чужое добро и разоряться, ухаживая за бездетными стариками? Вот за это вы и делаетесь посмешищем, раньше них погребаемые, и многие очень рады такому повороту дел: вы желали их смерти, — вот люди и радуются, что вы их опередили. Вы придумали новое ремесло — любовь к старухам и старикам, в особенности бездетным, а многодетные вам нелюбы. Но многие из тех, вам невзлюбившихся, разгадав подлые причины вашей любви, прикидываются, будто ненавидят своих детей, чтобы таким образом отыскать себе любовников, а потом те, кто ходили за стариком, словно телохранители, не получают по завещанию ровно ничего, все по естественному праву, как и должно быть, получают дети; так вы и остаетесь в дураках, скрежеща зубами.

4. Терпсион. Да, это правда. Сколько мне стоил этот Фукрит! Всегда казалось, что он вот-вот умрет; ко-

гда я к нему приходил, он стонал и стонал сдавленным голосом, совсем как не вылупившийся из яйца птенец; я думал, что он сейчас же ляжет в гроб, и посылал ему подарок за подарком, чтобы не дать перещеголять себя моим соперникам. Сколько ночей я не спал от забот, все размышляя и высчитывая! От этого я и умер, от бессонницы и забот. А Фукрит, проглотив мою приманку, стоял позавчера у моей могилы и смеялся.

5. Плуто н. Прекрасно, Фукрит! Живи как можно дольше, наслаждаясь своим богатством, смейся над такими вот ухаживателями и умри не раньше, чем схоришь всех своих льстецов.

Терпсио н. Это и для меня будет очень приятно, если Хареад помрет раньше Фукрита.

Плуто н. Не беспокойся, Терпсион: и Фидон, и Меланф, и все остальные отправятся к нам раньше него от тех же самых забот.

Терпсио н. Это правильно. Живи как можно дольше, Фукрит!

VII. ЗЕНОФАНТ И КАЛЛИДЕМИД

1. Зенофант. Ты, Каллидемид, отчего умер? Ты ведь знаешь, я был нахлебником Диния и как-то раз, обожравшись, задохнулся; ты даже был при моей смерти.

Каллидемид. Был, Зенофант. А со мной случилось нечто совсем необыкновенное; ты, кажется, тоже знаешь старика Птеодора?

Зенофант. Бездетного и богатого, у которого ты часто бывал?

Каллидемид. Вот именно. Я за ним всегда ухаживал, так как он обещал мне, что, умирая, сделает меня своим наследником. Но когда я увидел, что дело очень затягивается и мой старик собирается жить дольше Тифона, я избрал себе более короткий путь к наследству: купил яду и подговорил виночерпия, чтобы он всыпал отраву в кружку, держал ее наготове и, как только Птеодор потребует пить, — старик обыкновенно пьет крепкое вино, — подал ему: за это я поклялся отпустить его на волю.

Зенофант. Что ж из этого вышло? Что-то, кажется, очень странное.

2. Каллидемид. Вернулись мы домой после бани; у молодца были уже приготовлены два кубка: один с ядом для Птеодора, другой — для меня; и вот каким-то образом он ошибся и мне подал яд, а Птеодору — неотравленный кубок; старик выпил, а я так сейчас и растянулся — вместо него я был мертв. Что же ты смеешься, Зенофант? Нехорошо смеяться над несчастьем друга.

Зенофант. Забавная штука с тобой вышла, Каллидемид. Ну, а старик что?

Каллидемид. Сначала было испугался, так это неожиданно случилось; но потом, я думаю, понял, в чем дело, и расхохотался над ошибкой виночерпия.

Зенофант. А тебе не следовало ходить по кратчайшей дороге: ты бы дошел и торным путем, — хоть и немного медленнее, зато безопаснее.

VIII. КНЕМОН И ДАМНИПП

1. Кнемон. Вот это уж действительно как в пословице: олень поборол льва!

Дамнипп. Отчего ты так сердит, Кнемон?

Кнемон. Ты еще спрашиваешь? У меня наследник против моей воли! Я, несчастный, одурачен, а те, которым я охотнее всего передал бы мое добро, остались ни с чем.

Дамнипп. Как же это вышло?

Кнемон. Я ухаживал за бездетным богачом Гермолаем в надежде, что он помрет. Он принимал мое ухаживание очень благосклонно. И вот показалось мне, что сделаю умно, если оглашу свое завещание, назначив Гермолая наследником всего моего имущества, чтобы он из благодарного соревнования сделал то же самое.

Дамнипп. Что же он сделал?

Кнемон. Что он написал в своем завещании — я не знаю. Но вот что случилось: на меня вдруг обрушился потолок, и я умер, а Гермолай получил все мое имущество, проглотив крючок вместе с приманкой, как прожорливый окунь.

Дамнипп. Не только крючок, — он и рыбака самого проглотил. Ты сам попался в свою собственную ловушку.

Кнемон. Вот именно! Оттого я и горюю.

1. С и м и л. И ты наконец пришел к нам, Полистрат? Ты, кажется, чуть ли не сто лет прожил на свете?

П о л и с т р а т. Девяносто, да еще восемь.

С и м и л. Как же тебе жилось эти тридцать лет после моей смерти? Когда я умирал, тебе было около семидесяти.

П о л и с т р а т. Великолепно, хоть и покажется это тебе невероятным.

С и м и л. Конечно невероятно: как же может наслаждаться жизнью старик, расслабленный и к тому же еще бездетный?

2. П о л и с т р а т. Во-первых, я прекрасно мог всем наслаждаться: у меня были и красивые мальчики, и нежные женщины, и благовония, и душистое вино, и стол такой, какого нет и в Сицилии.

С и м и л. Это для меня новости: в мое время ты на все скупился.

П о л и с т р а т. Меня, милейший, другие осыпали всякими благами. С самого утра уже стояли у моих дверей целые толпы народу, а потом приносили мне всевозможные дары, все что ни есть лучшего на земле.

С и м и л. Что же ты, тираном сделался после моей смерти?

П о л и с т р а т. Нет, но у меня было бесчисленное множество обожателей.

С и м и л. Не смей меня: у тебя были обожатели, у такого старика с четырьмя зубами во рту?

П о л и с т р а т. Клянусь Зевсом, это были лучшие люди в городе. Они с чрезвычайным удовольствием ухаживали за мной, хоть я и старик, и плешив, и глаза у меня гноятся, и вечный у меня насморк; каждый из них считал себя счастливым, если я ему дарил хоть один ласковый взгляд.

С и м и л. Разве и ты перевез кого-нибудь, как некогда Фаон Афродиту с Хиоса, и за это получил вторично молодость, красоту и способность внушать любовь?

П о л и с т р а т. Нет, я и такой, как есть, нашел себе обожателей.

С и м и л. Ты говоришь загадками.

3. П о л и с т р а т. Да разве ты не знаешь, что такая любовь к богатым и бездетным старикам очень распространена?

С и м и л. Теперь я понимаю: твоя красота, милейший,— это был дар золотой Афродиты.

По л и с т р а т. Как бы там ни было, Симил, а я не мало удовольствия получил от моих обожателей: они чуть ли не на коленях передо мной стояли. Я с ними нередко и грубо обращался, и некоторым иногда дверь перед носом закрывал, а они наперебой старались превзойти друг друга в желании снискать мое благоволение.

С и м и л. Как же ты в конце концов распорядился своим имуществом?

По л и с т р а т. Для виду я сказал каждому из них в отдельности, что именно его сделаю своим наследником; они верили и еще больше старались мне угодить. Но у меня было и другое, настоящее завещание,— ему только я и придал силу, а всех моих обожателей заставил выть с горя.

4. С и м и л. Кого же ты назначил наследником в окончательном завещании? Кого-нибудь из твоих родственников?

По л и с т р а т. Нет, сохрани меня Зевс! Одного из мальчиков-красавцев, купленного недавно фригийца.

С и м и л. Сколько ему лет, Полистрат?

По л и с т р а т. Около двадцати.

С и м и л. Теперь я понимаю, чем он снискал твое расположение.

По л и с т р а т. Во всяком случае, он, хоть и варвар и негодяй, более достоин быть моим наследником, чем те; теперь его милости добиваются самые знатные люди. Так вот, он получил мое имущество и теперь числится среди евпатридов; бреет бороду и слова произносит на варварский лад, но, несмотря на это, все признают его знатней Кодра, прекраснее Нирея и умнее Одиссея.

С и м и л. Мне все равно: пусть он даже управляет всей Элладой, лишь бы только те не получили наследства.

Х. ХАРОН, ГЕРМЕС И РАЗНЫЕ МЕРТВЫЕ

1. Х а р о н. Послушайте, как у нас дела. У нас, видите сами, суденышко маленькое, прогнившее, во многих местах пропускает воду, стоит лишь наклониться набок, чтоб опрокинуться и пойти ко дну; а вас здесь так много, да еще каждый вон сколько несет. Я боюсь

вас пустить в лодку вместе со всей поклажей; не пришлось бы вам потом раскаяться, в особенности тем из вас, которые не умеют плавать.

Гермес. Как же нам поступить, чтобы плавание было безопасным?

Харон. Послушайте меня: садитесь в лодку совсем голые, а все, что у вас есть, оставьте на берегу: вас такая толпа, что и так вы еле-еле поместитесь. Ты, Гермес, смотри, с этого мгновения пускай в лодку только тех, кто снял с себя все и бросил, как я уже сказал, всю свою поклажу. Становись поближе у сходней, и осматривай их, и заставляй голыми садиться в лодку.

2. Гермес. Ты прав: сделаем так. Ты, первый, кто такой?

Менипп. Менипп. Вот мой мешок, Гермес, и палка; их я бросаю в воду. Моего рубища я даже не взял с собой — и хорошо сделал.

Гермес. Садись в лодку, Менипп, лучший из людей, и займи почетное место возле рулевого, на возвышении: оттуда ты можешь следить за всеми.

3. А этот красивый юноша кто такой?

Харон. Хармолей, мегарский красавец, за один поцелуй которого платили по два таланта.

Гермес. Скорей снимай с себя красоту, губы вместе с поцелуями, длинные волосы, снимай румянец со щек и вообще всю кожу. Хорошо, ты готов к отъезду; садись.

4. А ты кто, такой строгий, в пурпурном плаще и в диадеме?

Лампих. Лампих, тиран Гелы.

Гермес. Что же ты, Лампих, являешься сюда с такой поклажей?

Лампих. А как же иначе? Разве тиран должен явиться нагим?

Гермес. Тиран — ни в коем случае, но мертвец — бесспорно. Так что снимай все это.

Лампих. Ну, вот тебе, богатство я выбросил.

Гермес. Выброси, Лампих, и спесь и надменность; все это слишком тяжело, чтобы брать с собою в лодку.

Лампих. Позволь мне сохранить диадему и плащ.

Гермес. Нельзя; бросай и это.

Лампих. Пусть будет по-твоему. Что же еще? Ты видишь: я все скинул.

Гермес. Нет, сбрось с себя еще жестокость, безрассудство, гордость и гнев.

Лампих. Ну вот, я уже совсем наг.

5. Гермес. Можешь войти. А ты, толстый, мускулистый, кто такой?

Дамасий. Дамасий, атлет.

Гермес. Да, я тебя узнаю; видел тебя часто в палестрах.

Дамасий. Да, Гермес;пусти же меня: я ведь совсем гол.

Гермес. Нет, ты не гол, милейший, раз на тебе столько тела. Сбрасывай все, а то лодка потонет, лишь только ты одной ногой ступишь в нее. Брось также свои победные венки и похвалы зрителей.

Дамасий. Смотри, вот я уже действительно гол и не тяжелее других мертвецов.

Гермес. Так тебе лучше будет, без твоего веса. Садись в лодку.

6. Ну, а ты, Кратон, брось свое богатство, да еще свою изнеженность и роскошь; не бери с собой погребальных одежд и деяний предков, оставь и происхождение свое, и славу, и почести — если город оделил тебя ими, — и надписи на твоих изображениях; не говори, что тебе соорудили большую могилу: даже упоминание об этом обременит лодку.

Кратон. Что поделаешь! Придется все бросить, как это ни грустно.

7. Гермес. Это что такое? А ты зачем пришел в полном вооружении? Что означает этот трофей, который ты несешь?

Полководец. Это значит, что я одержал победу, отличился в бою, и за это город меня почтил.

Гермес. Оставь свой трофей на земле; в преисподней царит мир, и твое оружие там тоже ни к чему.

8. А кто же этот, с таким важным видом, такой гордый, вот этот, с поднятыми бровями, погруженный в раздумье? Какая длинная борода!

Менипп. Это философ, Гермес, а вернее — шут и лгун. Вели ему снять с себя все, и ты увидишь, сколько пресмешных вещей спрятано у него под плащом.

Гермес. Снимай сначала свою осанку, а потом и все остальное. О Зевс! Сколько он принес с собой лжи, сколько невежества, охоты до споров, пустого чванства! Сколько коварных вопросов, хитрых рассу-

ждений, запутанных исследований! Как много ничемных занятий, и пустых слов, и вздора, и мелочности... Да здесь, клянусь Зевсом, и золото есть, и любовь к наслаждениям, и бесстыдство, и гордость, и роскошь, и изнеженность. Я все вижу, хотя ты тщательнее это скрываешь. Бросай все, и ложь тоже, и самомнение, и уверенность, что ты лучше всех. Если бы ты вошел со всей своей поклажей, — даже пятидесятивесельный корабль не выдержал бы такой тяжести!

Философ. Раз ты приказываешь, я брошу все это.

9. Менипп. Гермес, ему не мешало бы снять также свою бороду; она, ты сам видишь, тяжела и лохматая, в ней волос весит по меньшей мере пять мин.

Гермес. Ты прав. Снимай бороду.

Философ. Кто же мне ее обрежет!

Гермес. Положи бороду на сходни, а Менипп отрубит ее топором.

Менипп. Гермес, дай мне лучше пилу: так будет забавнее.

Гермес. Хватит и топора. Прекрасно! Теперь у тебя вид более человеческий без этого козлиного украшения.

Менипп. Не обрубить ли мне немножко и его брови?

Гермес. Конечно! Он их поднял выше лба; не знаю, против чего он так насторожился. Это что такое? Ты еще плачешь, негодяй? Смерти испугался? Садись в лодку!

Менипп. У него под мышкой спрятана еще одна очень тяжелая вещь.

Гермес. Что такое?

Менипп. Лесть, сослужившая ему в жизни большую службу.

Философ. Тогда ты, Менипп, брось свою свободу и откровенность, брось свою беззаботность, благородство и смех: никто ведь, кроме тебя, не смеется.

Гермес. Напротив, сохрани их: это все вещи легкие, перевезти их нетрудно, и они даже помогут нам переплыть озеро.

10. Эй ты, ритор! Брось свое бесконечное красноречие, все свои антитезы и повторения, периоды и варваризмы и весь вообще груз своих речей.

Ритор. Смотри, вот я все бросаю.

Гермес. Теперь все в порядке. Отдать концы!

Сходни убрать! Трави якорь! Поднять парус! Перевозчик, так держать! Полный вперед!

11. Чего же вы ревете, глупцы, в особенности этот философ, который только что лишился бороды?

Философ. Ах, Гермес! Я думал, что душа бессмертна.

Менипп. Врет он! Совсем не это его огорчает.

Гермес. А что же?

Менипп. Он плачет, что не будет больше наслаждаться роскошными обедами, что никогда уже не удастся ему ночью тайком уйти из дому, закутав голову плащом, и обежать все веселые дома от первого до последнего, а утром не будет больше морочить молодежь и получать деньги за свою мудрость; вот что его огорчает.

Философ. А ты, Менипп, разве не опечален тем, что умер?

Менипп. Отчего же мне печалиться, если я сам, никем не приглашенный, поспешил навстречу смерти?

12. Но мы здесь разговариваем, а там, кажется, слышен какой-то крик; как будто кто-то кричит на земле.

Гермес. Да, Менипп, слышно, и не из одного места. Одни сошлись в Народное собрание и радуются и смеются, что Лампих умер; жену его осадили женщины, а его детей ребятишки забрасывают камнями. Другие, в Сикионе, хвалят риторы Диафанта за погребальную речь в честь вот этого Кратона. А там что? Клянусь Зевсом, это мать Дамасия с толпой женщин, среди крика и стоны, поет погребальную песню. Тебя одного, Менипп, никто не оплакивает: один лишь ты почиваешь спокойно.

Менипп. О нет, скоро ты услышишь, как по мне жалобно завоют собаки, как вороны станут хлопать крыльями, собравшись меня хоронить.

Гермес. Ты прекрасный человек, Менипп. Но мы уже причалили. Идите же вы на суд, прямо по этой дороге, а мы с перевозчиком вернемся, чтобы других переправить.

Менипп. Счастливого пути, Гермес. Пора и нам идти. Чего вы медлите? Все равно суда никому не миновать, а наказания здесь, говорят, тяжелые: колеса, камни, коршуны. Обнаружится с ясностью жизнь каждого.

1. Кратет. Диоген, ты знал Мериха, того богача, большого богача, коринфянина. Он еще владел столькими торговыми кораблями, и у него был двоюродный брат Аристей, тоже богач? Тот, знаешь, который в разговоре любил повторять слова из Гомера:

Или меня подыми из земли, Одиссей многоумный,
Или себя дай поднять.

Диоген. В чем же дело, Кратет?

Кратет. Они были сверстниками и ухаживали друг за другом, рассчитывая на наследство. Оба огласили завещания, в которых Мерих назначал наследником всего своего имущества Аристия, в случае если тот его переживет, а Аристей — Мериха, если сам умрет раньше него. Так и было записано, а они продолжали угождать друг другу, и каждый старался превзойти другого лостью. Всякого рода прорицатели — и те, что предсказывают будущее по звездам, и те, что разгадывают сны, — разные ученики халдеев и даже сам Пифийский бог питали надеждами то Аристия, то Мериха, и чашки весов склонялись то в одну, то в другую сторону.

2. Диоген. Чем же все это кончилось, Кратет? Я хотел бы услышать.

Кратет. Они оба умерли в один и тот же день, а имущество их перешло к родственникам, Евномию и Фрасиклу, хотя ни в одном предсказании о них ни одним словом не было упомянуто. Наши друзья плыли из Сикиона в Кирру; по дороге корабль наскочил на коварный Япический мыс и перевернулся.

3. Диоген. Так им и надо! Мы, когда жили на земле, не замыслили друг против друга ничего подобного: я не желал смерти Антисфену, чтобы получить в наследство его посох, — а посох был у него крепкий, из дикой маслины, — и думаю, что ты, Кратет, тоже не очень хотел сделаться после моей смерти наследником моего имущества — бочки да мешка с двумя мерами чечевицы.

Кратет. Я в этом не нуждался, да и ты, Диоген, тоже. То, что нужно было, ты унаследовал от Антисфена, а я — от тебя; это больше и важнее всей персидской державы.

Диоген. Что же это?

Кратет. Мудрость, спокойствие, правдивость, откровенность, свобода.

Диоген. Клянусь Зевсом, я не забыл, что получил это богатство от Антисфена и тебе оставил еще больше.

4. Кратет. Но других не прельщало такое добро, и за нами никто не ухаживал в надежде получить наследство; все стремились только к золоту.

Диоген. Это и понятно, им некуда было спрятать то, что мы могли им дать; от роскошной жизни они совсем расплзлись, как гнилые мешки. Если даже и вкладывал в них кто-нибудь мудрость, или откровенность, или правдивость, то все это сейчас выпадало, просачивалось наружу сквозь гнилое дно, вроде того как происходит с дочерьми Даная, вливающими воду в дырявую бочку. Зато золото они держали зубами и ногтями и охраняли всеми способами.

Кратет. Разница — в том, что наше богатство и здесь при нас, они же возьмут с собой только один обол, да и тот отдадут перевозчику.

ХІІ. АЛЕКСАНДР, ГАННИБАЛ, МИНОС И СЦИПИОН

1. Александр. Я должен занимать первое место, я доблестнее тебя, ливиец.

Ганнибал. Нет, я больше заслужил его.

Александр. Пусть Минос нас рассудит.

Минос. Кто вы?

Александр. Он — карфагенянин Ганнибал, а я — Александр, сын Филиппа.

Минос. Клянусь Зевсом, вы оба знамениты. О чем же вы спорите?

Александр. О том, кому занимать первое место. Он говорит, что был как полководец лучше меня, а я утверждаю, да и всем это известно, что я превзошел в военном деле не только его, но, можно даже сказать, — всех, кто был до меня.

Минос. Пусть каждый из вас говорит за себя. Ты, ливиец, начинай.

2. Ганнибал. Пребывание здесь принесло мне некоторую пользу, Минос: я хорошо выучился говорить по-гречески, так что он и в этом отношении не может меня превзойти. Я утверждаю, что больше всех достойны похвалы те, которые были первоначально совсем незнатными, но все-таки достигли большого

значения собственными силами, стяжав себе могущество и сделавшись достойными власти. Я с небольшим войском отправился в Иберию, сначала в качестве подчиненного моего брата; был признан самым доблестным и удостоился высших почестей. Я покорил кельтиберов, победил западных галлов и, перейдя высокие горы, опустошил всю долину реки Эридана, разрушил множество городов, покорил всю Италийскую равнину и дошел до самых предместий главного города; в один день я убил столько народу, что кольца павших мерил потом медимнами, а трупами запрудил реку. И все это я совершил, не называя себя сыном Аммона, не выдавая себя за бога, не рассказывая о сновидениях моей матери, а считая себя простым человеком. Противниками моими выступали искуснейшие полководцы, и воевали против меня храбрейшие воины, не мидяне и армяне, убегавшие раньше, чем начнут их преследовать, и немедленно уступающие победу смелому человеку.

3. Александр же унаследовал от отца власть, увеличил ее и значительно расширил при большом содействии счастливого случая. А когда одержал ряд побед и разбил этого негодяя Дария при Иссе и при Арбелах, стал отступать от нравов своих отцов: заставлял людей падать перед собой ниц, перенял персидский образ жизни, стал своих друзей убивать на пирах и приговаривать к смерти. Я, напротив, кротко правил своим отечеством. Когда враги с большим флотом напали на Ливию, мои сограждане отзывали меня обратно; я немедленно исполнил их волю, сложил с себя власть и, подвергшись суду, спокойно и твердо все перенес. Все это я совершил, будучи варваром, не вкусив эллинской образованности, не повторяя постоянно, как он, стихов Гомера, не получив воспитания под руководством софиста Аристотеля, но следуя одной только своей благородной природе. Вот почему я утверждаю, что я выше Александра. Если же он выглядит красивее из-за того, что надел на голову диадему (она-то, может быть, и возбуждает уважение в македонянах), то по этой причине он не должен казаться лучше благородного мужа, великого вождя, обязанного успехами больше своим способностям, чем счастьем.

М и н о с. Он сказал свою речь в очень благородных выражениях, совсем не так, как можно было ожидать от ливийца. Что же ты, Александр, скажешь на это?

4. Александр. Следовало бы ничего не отвечать на такие дерзости: достаточно и одной славы, чтобы ты, Минос, знал, каким я был царем и каким он — разбойником. Но я все-таки скажу, чтобы ты видел всю разницу между нами. Я был еще совсем молод, когда взял на себя дело управления государством, получив в свои руки власть над страной, полной смут. Я прежде всего отомстил убийцам моего отца, а потом привел Элладу в трепет разрушением Фив и был избран эллинским вождем. Я не удовольствовался властью над Македонией в тех пределах, в каких ее оставил мне отец, но, пробежав мыслью всю землю, решил, что будет ужасно, если я не овладею всеми странами. И вот с небольшим войском я вторгся в Азию, одержал победу в великой битве при Гранике, покорил Лидию, Ионию и Фригию, завоевал все, что было на моем пути, и пришел к Исса, где меня ждал Дарий с несметным войском.

5. Что было дальше, Минос, вы сами знаете: помните, сколько мертвецов я вам прислал в один день; перевозчик говорит, что лодки для них не хватало, и многие переправились на плотах, сколоченных собственными руками. Все это совершил я, сам в первых рядах подвергаясь опасностям, не боясь ран. Не буду рассказывать о том, что было при Тире и при Арбелах, — напомним только, что я дошел до самой Индии, Океан сделал границей моей державы, взял в плен индийских слонов, покорил Пору; и, переправившись через Танаис, в большом конном сражении я победил скифов, с которыми не так легко справиться. Всю свою жизнь я делал добро друзьям и наказывал врагов. То, что люди считали меня богом, им можно простить: не удивительно, что, видя величие моих подвигов, они могли так думать обо мне.

6. Прибавлю еще, что я умер на царском престоле, а он — в изгнании у вифинца Прусия, заслужив это вполне своим коварством и жестокостью. Я не буду говорить о том, каким образом он покорил Италию: не силой, а ложью, клятвопреступлениями и обманом, ничего не совершив честно и открыто. Этот герой меня попрекал роскошью, забыв, наверно, какую жизнь сам вел в Капуе, в обществе гетер, растратив самое благоприятное для военных действий время. Если бы я не обратился на Восток, сочтя Запад ничтожным, — что совершил бы я великого, даже покорив Италию

без кровопролития, подчинив Ливию и все области до Гадейры? Но эти страны казались мне не стоящими военных трудов: они ведь уже тогда боялись меня и признавали своим господином. Я кончил. Суди, Минос; я не все сказал, но и этого достаточно.

7. Сципион. Сначала послушай, Минос, что я скажу.

Минос. Ты кто, любезный? Откуда ты?

Сципион. Италиец Сципион, покоривший Карфаген и победивший ливийцев в великих битвах.

Минос. Что же ты хочешь сказать?

Сципион. То, что я ниже Александра, но выше Ганнибалы, которого победил, преследовал и заставил позорно бежать. Разве он не дерзок, соперничая с Александром, с которым даже я, Сципион, его победитель, не смею себя сравнивать?

Минос. Клянусь Зевсом, ты разумно говоришь, Сципион. Итак, первое место я присуждаю Александру, второе — тебе, а третье уж пусть занимает Ганнибал: и его ведь не следует презирать.

ХІІІ. ДИОГЕН И АЛЕКСАНДР

1. Диоген. Что это, Александр? И ты умер, как все?

Александр. Как видишь, Диоген. Что же в этом удивительного, если я, человек, умер?

Диоген. Так, значит, Аммон солгал, говоря, что ты — его сын? Значит, на самом деле ты сын Филиппа?

Александр. Наверно, Филиппа: был бы я сыном Аммона, я бы не умер.

Диоген. Но ведь и про Олимпиаду рассказывали, будто она видела на своем ложе дракона, который сошелся с ней: от него-то, говорят, она и родила тебя, а Филипп обманывался, думая, что ты его сын.

Александр. И я тоже слышал об этом, но теперь вижу, что и мать, и прорицатели Аммона говорили вздор.

Диоген. Однако их ложь пригодилась тебе для твоих дел: многие трепетали перед тобой, считая богом.

2. Но скажи мне, кому ты оставил свою громадную державу?

Александр. Сам не знаю, Диоген: я не успел на

этот счет распорядиться; только, умирая, передал мое кольцо Пердикке. Но чего же ты смеешься, Диоген?

Диоген. Я вспомнил, как поступала с тобой Эллада, как тебе льстили эллины, лишь только ты получил власть,— избрали тебя своим покровителем и вождем против варваров, а некоторые даже причисляли тебя к сонму двенадцати богов, строили тебе храмы и приносили жертвы, как сыну дракона.

3. Но скажи мне, где тебя македоняне похоронили?

Александр. Пока я лежу в Вавилоне, уже тридцатый день, но начальник моей стражи, Птоломей, обещал, как только покончит с беспорядками, которые возникли после моей смерти, перевезти меня в Египет и там похоронить, чтобы я таким образом сделался одним из египетских богов.

Диоген. Как же мне не смеяться, Александр, видя, что ты даже в преисподней не поумнел и думаешь сделаться Анубисом или Осирисом? Брось эти мысли, божественный; кто раз переплыл на эту сторону озера и проник в подземное царство, тому больше нельзя вернуться. Эак ведь очень внимателен, да и с Кербером справиться не так легко.

4. Мне было бы приятно узнать, как ты себя чувствуешь, когда вспоминаешь, какое блаженство ты оставил на земле: всяких телохранителей, стражу, сатрапов, груды золота, и народы, боготворящие тебя, и Вавилон, и Бактрию, и зверей громадных, и почести, и славу, и торжественные выезды в белой диадеме на голове и в пурпурном платье. Разве тебе не больно, когда ты все это вспоминаешь? Чего же ты плачешь, ты, глупец? Даже этому не научил тебя мудрец Аристотель — не считать прочными дары судьбы?

5. Александр. Мудрец? Он хуже всех льстецов! Позволь уж мне знать все, что касается Аристотеля: чего он требовал от меня, чему меня учил, как он злоупотреблял моей любовью к науке, льстя мне и восхваляя меня то за красоту, которую он называл частью добра, то за мои деяния, то за богатство; он доказывал, что богатство — тоже благо, чтоб ему, таким образом, не было стыдно принимать подарки. Настоящий шут и комедиант! Все, чему научила меня его мудрость, — это скорбеть, будто по величайшему благу, по всему перечисленному тобою.

6. Диоген. Знаешь, что сделать? Я посоветую тебе средство против скорби. Так как у нас не растет трав:

что служит лекарством против безумия, тебе не остается ничего другого, как пить большими глотками воду из Леты,— пить, и снова пить, и еще, почаще; таким образом ты перестанешь скорбеть по Аристотелевым благам. Но смотри: Клит и Каллисфен и с ними целая толпа, все бегут сюда, хотят тебя растерзать в отмщение за то, что ты с ними сделал. Уходи же скорее по другой дороге и почаще пей воду Леты, как я тебе советовал.

XIV. ФИЛИПП И АЛЕКСАНДР

1. Филипп. Теперь, Александр, тебе нельзя уже утверждать, что ты не мой сын: будь ты сын Аммона, тебе не пришлось бы умереть.

Александр. Я и сам знал, отец, что я сын Филиппа, сына Аминты, но я принял возвещение оракула, думая, что это может мне принести пользу в моих делах.

Филипп. Какую же? Тебе казалось полезным дать себя обмануть прорицателям?

Александр. Не в этом дело, а в том, что варвары трепетали передо мной и никто не решался сопротивляться мне, думая, что придется сражаться с богом, и мне таким образом легче было их покорить.

2. Филипп. Да разве ты покорил кого-нибудь, с кем стоило воевать? Ты побеждал одних лишь трусов с их ничтожными луками и копьями и со щитами, плетеными из ивняка. Эллинов покорить — вот это настоящее дело, победить беотийцев, фокейцев, афинян, аркадскую тяжеловооруженную пехоту, фессалийскую конницу, элейских метателей дротиков, мантинейское щитоносное войско, разбить фракийцев, иллирийцев, пеонов — это все большие подвиги. Но мидяне, персы, халдеи, изнеженные люди в золотых одеждах! Разве ты не знаешь, что еще до тебя их победили десять тысяч под предводительством Клеарха, причем персы не дождались даже столкновения и убежали, не выпустив ни одной стрелы?

3. Александр. Да, но скифы и индийские слоны — это тоже не шутки, отец, и все-таки я их победил, не сея предварительно среди них раздоров и не подкупая изменников. Мне никогда не случалось нарушать клятву или не сдерживать обещаний, никогда я не достигал победы обманом. Да, впрочем, и я ведь имел де-

ло с эллинами: одних подчинил себе мирным путем, а других... ты слышал, я думаю, как я наказал фиванцев?

Ф и л и п п. Все это я знаю: мне об этом рассказывал Клит, которого ты пронзил копьем на пиру за то, что он осмелился похвалить меня, сравнивая мои деяния с твоими.

4. Говорят, что ты сбросил македонскую хламиду и стал носить персидский кафтан, на голову надел высокую тиару, заставляя македонян, свободных людей, падать перед собой ниц и, что всего смешнее, стал подражать нравам тех, кого сам победил. Не буду уже упоминать о других твоих делах: о том, как ты запирали вместе со львами умных и образованных людей, какие браки ты заключал, как ты чрезмерно любил Гефестiona. Одно лишь я могу похвалить: то, что ты не тронул красавицы жены Дария и позаботился о судьбе его матери и дочерей: это действительно по-царски.

5. А л е к с а н д р. А моей храбрости ты не одобряешь, отец? Не нравится тебе то, что я в Оксидраках первый перепрыгнул через городскую стену и получил столько ран?

Ф и л и п п. Нет, Александр, не одобряю,— не потому, чтобы я не считал хорошим, когда царь не избегает ран и подвергается опасностям впереди войска, но потому, что тебе такие дела не приносили никакой пользы. Тебя ведь считали богом; и вот, когда тебя видели раненым, уносимым на носилках с поля сражения, истекающим кровью и стонущим от боли, всем становилось смешно, и Аммон оказывался при этом обманщиком, а его прорицатели — лстецами. Да и как же не смеяться, видя, как сын Зевса лежит без чувств и нуждается в помощи врачей? Теперь, когда ты уже умер, надеюсь, ты понимаешь, что многие смеются над твоим притворством, видя, как тело бога лежит перед ними, растянувшись во весь рост, распухло и уже начинает гнить, как это закономерно происходит с каждым телом. Впрочем, даже та польза, о которой ты говорил, будто тебе благодаря божественности легче доставались победы,— сильно уменьшила славу твоих успехов: ведь все твои деяния для бога казались слишком малыми.

6. А л е к с а н д р. Не так думают обо мне люди: они сравнивают меня с Гераклом и Дионисом. Но и этого

мало: ни тот, ни другой не сумели взять приступом Аорнской крепости; один я взял ее.

Ф и л и п п. Ты сравниваешь себя с Гераклом и Дионисом? Видно, ты все еще не отказался от роли сына Аммона? Как тебе не стыдно, Александр? Когда же ты наконец бросишь свое самомнение, познаешь самого себя и поймешь, что ты мертвец?

XV. АХИЛЛ И АНТИЛОХ

1. А н т и л о х. Ахилл, что это ты говорил недавно Одиссею о смерти? Как это было неблагодарно и недостойно обоих твоих наставников, Хирона и Феникса! Я слышал, как ты сказал, что хотел бы лучше живым служить поденщиком у бедного пахаря, который

скромным владеет достатком,

чем царствовать над всеми мертвыми. Такие неблагородные слова приличны, быть может, какому-нибудь трусу фригийцу, чрезмерно привязанному к жизни, но сыну Пелея, храбрейшему из всех героев, стыдно иметь такой низменный образ мыслей. Этого никак нельзя согласовать со всей твоей жизнью: ведь ты мог бы долго, хотя без славы, жить и долго царствовать во Фтиотиде, однако ты добровольно избрал смерть, соединенную со славой.

2. А х и л л. О сын Нестора! Тогда я еще не ведал, как здесь живет, и эту жалкую, ничтожную славу ставил выше жизни, так как не мог знать, что лучше. Теперь же я понимаю, что сколько там, на земле, меня ни воспевают, все равно от славы мне никакой пользы нет. Ведь среди мертвецов равноправие: нет больше ни моей красоты, Антилох, ни силы; все мы лежим, покрытые одним и тем же мраком, совсем одинаковые, и ничем друг от друга не отличаемся. Мертвые троянцы не боятся меня, а мертвые ахейцы не оказывают уважения; мы все здесь на равных правах, все мертвецы похожи друг на друга, «и трус и герой у них в равном почете». Вот это причиняет мне страдание, и мне досадно, что я не живу на земле, хотя бы как поденщик.

3. А н т и л о х. Но что же нам делать, Ахилл? Так постановила природа, что все непременно должны умереть: нужно повиноваться этому закону и не противиться предустановленному. А затем, ты видишь,

сколько нас, твоих товарищей, с тобой здесь, скоро и Одиссей, наверно, прибудет к нам. Пусть послужит тебе утешением общность нашей судьбы; утешайся тем, что не с тобой одним это случилось. Посмотри на Геракла, на Мелеагра и других великих героев; из них ни один, я думаю, не согласился бы выйти на свет, если бы его посылали служить поденщиком к простому, нищему человеку.

4. Ахилл. Ты меня утешаешь как друг, меня же не знаю как удручает воспоминание о жизни; думаю, что и все вы чувствуете то же самое. Если вы со мной не согласны и спокойно можете переносить это, — значит, вы хуже меня.

Антилох. Наоборот, Ахилл, мы лучше: мы понимаем бесполезность наших слов и решили молчать, терпеть и переносить свою судьбу спокойно, чтобы не смешить других, высказывая такие желания, как ты.

XVI. ДИОГЕН И ГЕРАКЛ

1. Диоген. Не Геракл ли это? Да, это он, клянусь Гераклом! Лук, палица, львиная шкура, рост — Геракл с ног до головы. Значит, ты умер, хоть ты и сын Зевса? Послушай, победоносный, ты мертв? Я тебе на земле приносил жертвы как богу.

Геракл. И хорошо делал: настоящий Геракл живет на небе вместе с богами,

Близ супруги, Гебы цветущей,—

а я только его призрак.

Диоген. Как же это? Призрак бога? Можно ли быть наполовину богом, а наполовину мертвецом?

Геракл. Да, ибо умер не он, а я, его образ.

2. Диоген. Понимаю: он тебя отдал Плутону в качестве своего заместителя, и ты теперь мертвец вместо него.

Геракл. Что-то в этом роде.

Диоген. Отчего же Эак, который всегда так точен, не узнал, что ты не настоящий, и принял подменного Геракла?

Геракл. Оттого, что я в точности на него похож.

Диоген. Это правда: сходство такое, словно ты действительно и есть он сам. Как ты думаешь, не вышло ли наоборот, не ты ли сам Геракл, а призрак живет с богами и женился на Гебе?

3. Геракл. Ты дерзок и болтлив. Если ты не перестанешь издеваться надо мной, я тебе сейчас покажу, какого бога я призрак!

Диоген. Ну вот! Вытащил лук и готов стрелять! Я уже раз умер, так что мне нечего бояться тебя. Но скажи мне, ради твоего Геракла, как было при его жизни? Ты уже тогда был призраком и жил вместе с ним? Или, может быть, при жизни вы были одним существом и только после смерти разделились: он улетел к богам, а ты, его призрак, как и следовало ожидать, сошел в преисподнюю?

Геракл. За твои насмешки совсем не следовало бы отвечать тебе; но я все-таки и это скажу. Что было в Геракле от Амфитриона, то и умерло, и это именно — я, а что было от Зевса, то живет на небе с богами.

4. Диоген. Теперь я все отлично понимаю: Алкмена, говоришь ты, родила одновременно двух Гераклов — одного от Амфитриона, другого от Зевса, и вы были близнецами от разных отцов, только никто не знал об этом.

Геракл. Да нет же, ничего ты не понимаешь: мы оба — один и тот же.

Диоген. Не так легко понять, что два Геракла были соединены в одно, разве только представить себе тебя чем-то вроде кентавра, человеком и богом, сросшимися вместе.

Геракл. Да разве ты не знаешь, что все люди таким же образом составлены из двух частей — души и тела? Отчего же невозможно, чтобы душа, происходящая от Зевса, пребывала на небе, а я, смертная часть, находился в царстве мертвых?

5. Диоген. Но, почтенный сын Амфитриона, все это было бы прекрасно, если бы ты был телом, а ты ведь бестелесный призрак. Таким образом выходит уже тройной Геракл.

Геракл. Отчего же тройной?

Диоген. А вот рассуди сам: настоящий Геракл живет на небе, ты, его призрак, — у нас, а тело его уже истлело и обратилось в прах, — всего, значит, три. Тебе надо теперь придумать третьего отца для тела.

Геракл. Да ты настоящий софист, и дерзок к тому же. Кто ты такой?

Диоген. Диогена синопского призрак, а сам он, клянусь Зевсом, не

с богами на светлом Олимпе, —

но живет вместе с лучшими среди мертвых и смеется над Гомером и всей этой высокопарной болтовней.

XVII. МЕНИПП И ТАНТАЛ

1. Менипп. Что ты стонешь, Тантал? Почему себя оплакиваешь, стоя на берегу озера?

Тантал. Я погибаю от жажды, Менипп.

Менипп. Ты так ленив, что не хочешь наклониться и выпить или по крайней мере набрать воды в пригоршню?

Тантал. Что пользы, если я даже наклонюсь? Вода бежит от меня, стоит мне лишь приблизиться; если мне и удастся иногда набрать воды в руки и поднести ее ко рту, то не успею даже смочить губ, как вся вода протекает у меня между пальцев и каким-то образом моя вновь делается сухой.

Менипп. Что-то странное происходит с тобой, Тантал! Но скажи мне, зачем тебе пить? У тебя ведь нет тела, оно похоронено где-то в Лидии: одно оно и было в состоянии чувствовать голод и жажду; а ты, будучи душой, каким образом можешь чувствовать жажду и пить?

Тантал. В этом и состоит мое наказание, что душа чувствует жажду, как будто она — тело.

2. Менипп. Положим, что это так, раз ты говоришь, что наказан жаждой. Но что же с тобой может случиться? Разве ты боишься умереть от недостатка питья? Я не знаю другой преисподней, кроме этой, и не слышал про смерть, переселяющую мертвецов отсюда в другое место.

Тантал. Ты прав: и это составляет часть моего наказания — жаждать питья, совсем в нем не нуждаясь.

Менипп. Ты болтаешь пустое, Тантал. Тебе, кажется, в самом деле пригодились бы питье — неразбавленный отвар из травы против бешенства, так как с тобой, клянусь Зевсом, случилось что-то обратное тому, что делается с укушенными бешеной собакой: ты боишься не воды, а жажды.

Тантал. Не откажусь пить даже этот отвар, пусть мне только дадут его.

Менипп. Успокойся, Тантал, — не только ты, но ни один из мертвых пить не будет: это ведь невозможно. А между тем не все, как ты, в наказание жаждут выпить убегающей от них воды.

1. Менипп. Где же красавцы и красавицы, Гермес? Покажи мне: я недавно только пришел сюда.

Гермес. Некогда мне, Менипп. Впрочем, посмотри сюда, направо: здесь Гиацинт, Нарцисс, Нирей, Ахилл, Тиро, Елена, Леда и вообще вся древняя красота.

Менипп. Я вижу одни лишь кости да черепа без тела, мало чем отличающиеся друг от друга.

Гермес. Однако это именно те, кого все поэты воспевают и кто тебе, кажется, не внушает никакого уважения.

Менипп. Покажи мне все-таки Елену! Без тебя мне ее не узнать.

Гермес. Вот этот череп и есть Елена.

2. Менипп. Значит, из-за этого черепа целая тысяча кораблей была наполнена воинами со всей Эллады, из-за него пало столько эллинов и варваров и столько городов было разрушено?

Гермес. Менипп, ты не видел этой женщины живой. Если бы ты мог ее тогда видеть, ты сказал бы, как и все: нельзя возмущаться, что

троянцы и дети ахейцев

Из-за подобной жены бесконечные бедствия терпят.

Ведь и цветы засохшие и поблекшие покажутся тому, кто на них посмотрит, безобразными, а между тем в своем расцвете и свежести они прекрасны.

Менипп. Вот меня и удивляет, как это элейцы не понимали, что сражаются за то, что так кратковременно и скоро отцветает.

Гермес. Мне некогда, Менипп, философствовать с тобой. Выбери себе место, какое хочешь, и ложись туда, а я пойду за другими мертвецами.

XIX. ЭАК, ПРОТЕСИЛАЙ, МЕНЕЛАЙ И ПАРИС

1. Эак. Что ты делаешь, Протесилай? Бросился на Елену и стал ее душить.

Протесилай. Из-за нее, Эак, я умер, не успев достроить дом и оставив вдовой молодую жену!

Эак. Так обвиняй в этом Менелая: он ведь повел вас под Трою из-за такой женщины.

Протесилай. Ты прав: его я должен обвинять.

Менелай. Не меня, дорогой мой, а Париса; это будет справедливее. Он, мой гость, похитил и увез мою жену, преступив все законы; он заслужил, чтобы не ты один, а все эллины и варвары душили его за то, что он был причиной смерти такого множества воинов.

Протесилай. Да, так будет лучше. Тебя, горе-Парис, я уж не выпущу из рук!

Парис. Несправедливо это, Протесилай! И притом ведь мы с тобой товарищи: я тоже был влюблен и находился во власти того же бога. Ты сам знаешь, что это дело подневольное, что какая-то высшая сила ведет нас куда хочет, и нельзя ей сопротивляться.

2. Протесилай. Ты прав. Ах, если б я мог достать Эрота!

Эак. Я тебе отвечу за Эрота в его защиту. Он сказал бы тебе, что, может быть, он и виноват в том, что Парис влюбился в Елену, но в твоей смерти виноват только ты сам, Протесилай: ты забыл о своей молодой жене и, когда вы причалили к берегу Трояды, выскочил на берег раньше других, так безрассудно подвергая себя опасности из одной только жажды славы; из-за нее ты и погиб первым при высадке.

Протесилай. Теперь моя очередь защищаться, Эак. Не я в этом виноват, а Мойры, предназначившие мне такую участь с самого начала.

Эак. Правильно; отчего же ты на них не нападаешь?

XX МЕНИПП И ЭАК

1. Менипп. Именем Плутона, прошу тебя, Эак, покажи мне все достопримечательности преисподней.

Эак. Не так легко все осмотреть; пока покажу тебе самое главное. Это вот — Кербер, ты уже знаешь, а там — перевозчик: он-то тебя и доставил сюда. Озеро и Пирифлегетон ты уже видел при входе.

Менипп. Это все я знаю, и тебя тоже: ты ведь привратник; видел и самого царя и Эриний. Покажи мне людей древности, в особенности знаменитых.

Эак. Вот здесь Агамемнон, там Ахилл, рядом с ним Идомей, вот этот — Одиссей, дальше Аянт и Диомед и все лучшие из эллинов.

2. Менипп. Увы, Гомер! Все главные герои твоих поэм валяются в пыли, обезображенные так, что их и не узнать, горсточка праха, жалкие остатки и боль-

ше ничего, действительно «бессильные головы». А это кто такой, Эак?

Эак. Кир. А вот этот — Крез, выше его Сарданапал, еще выше Мидас, а там Ксеркс.

Менипп. Значит, это перед тобой, негодяй, трепетала Эллада? Это ты перебросил мост через Геллеспонт, а через горы хотел переплыть? У Креза-то какой вид! Эак, позволь мне дать Сарданапалу пощечину.

Эак. Нельзя; у него череп — как у женщины: ты его разобьешь.

Менипп. Ну так по крайней мере я плюну на этого двуполого.

3. Эак. Хочешь, я покажу тебе мудрецов?

Менипп. Конечно хочу.

Эак. Вот этот — Пифагор.

Менипп. Здравствуй, Евфорб, или Аполлон, или кто хочешь.

Пифагор. Здравствуй и ты, Менипп.

Менипп. Что это? У тебя бедро больше не золотое.

Пифагор. Нет. А покажи-ка, нет ли у тебя в мешке чего-нибудь поесть.

Менипп. Бобы, дорогой мой; тебе этого есть нельзя.

Пифагор. Только давай! У мертвых учение другое; я здесь убедился, что бобы и головы предков совсем не одно и то же.

4. Эак. Вот здесь Солон, сын Эксекестида, и Фалес, а рядом с ними Питтак и другие; ты видишь, всего их семь.

Менипп. Они одни не грустят и сохранили веселый вид. А кто же этот, весь в золе, как скверный хлеб, покрытый пузырями?

Эак. Это Эмпедокл; он пришел к нам из Этны наполовину изжаренный.

Менипп. Что на тебя нашло, меднообутый мудрец? Отчего ты бросился в кратер вулкана?

Эмпедокл. Меланхолия, Менипп.

Менипп. Нет, клянусь Зевсом, не меланхолия, а пустая жажда славы, самомнение и немалая доля глупости — все это и обуглило тебя вместе с медными сандалиями. Так тебе и надо! Но только все это не принесло тебе ни малейшей пользы: все видели, что ты умер. Но скажи, Эак, куда девался Сократ?

Э а к. Он обыкновенно беседует с Нестором и Паламедом.

М е н и п п. Мне хотелось бы его увидеть, если он где-нибудь поблизости.

Э а к. Видишь этого, с лысиной?

М е н и п п. Здесь все с лысинами, так что по этому признаку трудно кого-нибудь узнать.

Э а к. Я говорю о том, курносом.

М е н и п п. И по этому не отличишь: все здесь курносые.

5. С о к р а т. Ты меня ищешь, Менипп?

М е н и п п. Тебя, Сократ.

С о к р а т. Что нового в Афинах?

М е н и п п. Многие молодые люди говорят, что занимаются философией; стоит посмотреть на их вид, походку: самые настоящие философы!

С о к р а т. Я много таких видал.

М е н и п п. Да, но я думаю, ты видал также, какими пришли к тебе Аристипп и сам Платон: один весь пропитанный благовониями, а другой — выучившись заискивать у сицилийских тиранов.

С о к р а т. Какого же они мнения обо мне?

М е н и п п. В этом отношении, Сократ, ты счастливый человек: все считают тебя достойным удивления и думают, что ты все знал, хотя — будем откровенны — ты не знал ничего.

С о к р а т. Да я же сам не раз говорил им это; а они думали, что это — «ирония».

6. М е н и п п. Кто эти все, что тебя окружают?

С о к р а т. Хармид, Федр и сын Клиния.

М е н и п п. Поздравляю, Сократ: ты и здесь занимаешься своим делом и не пренебрегаешь красавцами.

С о к р а т. Это ведь самое приятное занятие. Ложись возле нас, если хочешь.

М е н и п п. Нет, пойду к Крезу и Сарданапалу и поселюсь подле них: там я, кажется, много посмеюсь, слушая их вопли.

Э а к. И я тоже пойду, а то кто-нибудь из мертвых может воспользоваться моим отсутствием и убежать. Остальное ты посмотришь в другой раз, Менипп.

М е н и п п. Прощай, Эак; мне достаточно и того, что я видел.

1. Менипп. Кербер, мы друг другу родня: я ведь тоже собака. Скажи мне, ради Стикса, какой был вид у Сократа, когда он спускался к вам? Я думаю, что ты, как бог, умеешь не только лаять, но можешь и по-человечески говорить, если захочешь.

Кербер. Издали, Менипп, казалось, что он идет совершенно спокойно и совсем не боится смерти; таким он хотел казаться тем, что стояли по ту сторону входа. Но когда он заглянул в расселину и увидел мрак и когда я, замечая, что он медлит, укусил его подобно цикуте и потащил за ногу, он заплакал, как младенец, стал горевать по своим детям и окончательно потерял самообладание.

2. Менипп. Да разве он не был софист? Разве не презирал смерти на самом деле?

Кербер. Нет, видя, что смерти ему не избежать, он лишь храбрился и притворялся, будто добровольно принимает то, что должно непременно случиться: хотел, чтобы присутствующие удивлялись ему. Вообще о всех подобного рода людях можно сказать, что они до входа в преисподнюю идут смело и мужественно, зато внутри все сразу становится явным.

Менипп. Ну, а я как, по-твоему, вошел?

Кербер. Один лишь ты, Менипп, вел себя достойно, как подобает представителю нашего рода, да еще до тебя Диоген; никто вас не принуждал, никто не толкал, но входили вы по собственной воле, со смехом, предоставив всем остальным вопить.

1. Харон. Плати, мошенник, за перевоз!

Менипп. Кричи, Харон, если тебе это приятно.

Харон. Заплати, говорю тебе, что мне следует!

Менипп. Попробуй взять с того, у кого ничего нет.

Харон. Разве есть такой, у кого нет обола?

Менипп. Есть ли еще кто-нибудь другой — не знаю; знаю только, что у меня нет.

Харон. Задушу тебя, негодяй, клянусь Плутонем, если не заплатишь!

Менипп. А я тебе череп разобью палкой.

Харон. Итак, ты совсем задаром плыл в такую даль.

Менипп. Пусть за меня заплатит Гермес, раз он меня привел к тебе.

2. Гермес. Клянусь Зевсом, выгодно бы я устроился, если б пришлось еще платить за мертвецов!

Харон. Я тебя не пропущу.

Менипп. Ну, так втащи лодку на берег и жди; только я не знаю, как ты ухитришься получить с меня то, чего у меня нет.

Харон. Ты разве не знал, что надо взять с собой обол?

Менипп. Знать-то знал, да не было у меня. Что же, из-за этого мне не надо было умирать?

Харон. Ты хочешь потом похвастаться, что один из всех переплыл озеро даром?

Менипп. Не даром, милейший: я черпал воду из лодки, помогал грести и один из всех сидевших в лодке не плакал.

Харон. Перевозчику до этого нет никакого дела. Ты должен заплатить обол, иначе быть не может.

3. Менипп. Ну так отвези меня обратно к жизни.

Харон. Прекрасное предложение! Чтобы Эак поколотил меня за это?

Менипп. Тогда оставь.

Харон. Покажи, что у тебя в мешке.

Менипп. Если хочешь, бери: чечевица и угощение Гекаты.

Харон. Откуды ты выкопал, Гермес, эту собаку? Всю дорогу он болтал, высмеивал и вышучивал всех сидевших в лодке, и, когда все плакали, он один пел.

Гермес. Ты не знаешь, Харон, какого мужа ты перевез? Мужа, безгранично свободного, не считающегося ни с кем! Это Менипп!

Харон. Если ты мне попадешься в руки...

Менипп. Если попадусь, любезный; только два раза я тебе не попадусь.

XXIII. ПРОТЕСИЛАЙ, ПЛУТОН И ПЕРСЕФОНА

1. Протесилай. Владыка и царь, Зевс наш подземный, и ты, дочь Деметры, не отвергайте просьбы влюбленного человека!

Плутон. О чем же ты просишь? И кто ты такой?

Протесилай. Я — Протесилай, сын Ификла из Филаки; участвовал в походе ахейцев под Трою и первый из всех погиб. Я прошу вас отпустить меня и позволить мне вновь ожить на короткое время.

Плутон. Такое желание присуще всем мертвым; только никому это не дается.

Протесилай. Не в жизнь я влюблен, Аидоний, а в жену мою. Только что женившись на ней, я оставил ее одну в опочивальне и отправился на корабле, и вот при высадке пал, несчастливый, от руки Гектора. Любовь к ней ужасно мучит меня, владыка. Я хочу хоть на один миг повидаться с ней, а потом вернусь сюда.

2. Плутон. Разве ты, Протесилай, не пил воды из Леты?

Протесилай. Пил, владыка; но любовь моя слишком сильна.

Плутон. Подожди немного: она сама придет сюда, и тебе больше незачем будет ходить на землю.

Протесилай. Я не перенесу ожидания, Плутон; ты сам любил и знаешь, что такое любовь.

Плутон. Что пользы будет тебе, если ты на один день оживешь, а потом опять начнется то же страдание?

Протесилай. Я надеюсь убедить ее пойти вместе со мной: таким образом у тебя скоро будут два мертвеца вместо одного.

Плутон. Такие вещи не дозволены, и никогда этого не бывало.

3. Протесилай. Я тебе напомню, Плутон: Орфею вы по той же самой причине отдали Евридику и отпустили мою родственницу Алкестиду из милости к Гераклу.

Плутон. И ты хочешь в таком виде, с голым, безобразным черепом, явиться к твоей красавице жене? Как же она тебя примет? Ведь она даже не узнает тебя. Я уверен, что она испугается и убежит, и ты лишь напрасно пройдешь такой длинный путь.

Персефона. Можно и против этого найти средство, мой супруг: прикажи Гермесу, как только Протесилай выйдет на свет, коснуться его жезлом и сделать его вновь красивым юношей, каким он ушел из супружеской опочивальни.

Плутон. Если и Персефона этого желает, тогда выведи его на свет, Гермес, и опять сделай молодым супругом. А ты не забудь, что я отпустил тебя только на один день.

1. Диоген. Чем ты так гордишься, кариец? С какой стати ты посягаешь на первое место среди нас?

Мавзол. Оттого, синопек, что я — царь, царствовал над всей Карией, владел частью Лидии, покорил некоторые острова и подчинил себе почти всю Ионию вплоть до Милета. К тому же я был красив и высок ростом и в военном деле искусен. Особенно же значительно то, что в Галикарнасе надо мной возвышается громадный памятник, какого нет ни у кого из мертвых, ни с чем по своей красоте не сравнимый: кони и люди с поразительным искусством высечены на нем из прекраснейшего камня! Такое великолепие нелегко найти даже среди храмов. Разве я не прав, что горжусь этим?

2. Диоген. Своим царством, ты сказал, своей красотой и тяжестью надгробного памятника?

Мавзол. Конечно, этим.

Диоген. Но, прекрасный Мавзол, у тебя нет больше ни твоей силы, ни красоты. Если бы мы обратились к кому-нибудь, чтоб он рассудил, кто из нас красивее, я не знаю, на каком основании он мог бы твой череп поставить выше моего: оба они у нас плешивы и голы, одинаково у нас обоих обнажены все зубы, одинаково пусты глазные впадины, одинаково мы сделались курносыми. Что же касается твоего памятника и великолепных мраморов, то они могут для галикарнасцев служить предметом гордости перед чужестранцами, что, дескать, у них стоит такое громадное сооружение; а тебе, милейший, что пользы в том, я не знаю, — разве держиваешь на себе большую тяжесть, чем мы.

3. Мавзол. Значит, все это ни к чему? Мавзол будет равен Диогену?

Диоген. Нет, не равен, почтеннейший, совсем нет. Мавзол будет плакать, вспоминая земные блага, которыми он думал насладиться, а Диоген будет над ним смеяться, Мавзол скажет, что его могилу соорудила в Галикарнасе его супруга и сестра Артемисия, а Диоген не знает даже, есть ли у его тела вообще какая-нибудь могила: он об этом не заботился. Зато после себя он оставил среди лучших людей славу человека, жившего, о последний из карийских рабов, жизнью более высокой, чем твой памятник, и основанной на более твердой почве.

1. Н и р е й. Вот и Менипп: пусть он рассудит, кто из нас благообразнее. Скажи, Менипп, разве я не красивее его?

М е н и п п. А кто вы такие? Я думаю, прежде всего мне нужно это знать.

Н и р е й. Нирей и Терсит.

М е н и п п. Который Нирей и который Терсит? Для меня это еще не ясно.

Т е р с и т. Одного я уже, значит, добился: выходит, я похож на тебя, и ты вовсе не так сильно отличаешься от меня, как это утверждал слепец Гомер, восхваляя тебя и называя красивейшим из всех; нашему судье я показался ничуть не хуже тебя, хотя у меня заостренная кверху голова и редкие волосы. Посмотри же, Менипп; кого из нас ты признаешь более благообразным?

Н и р е й. Меня, конечно, сына Аглаи и Харопа,

кто из греков, пришедших под Трою,
Всех был красивей.

2. М е н и п п. Но согласитесь, что под землю ты не пришел таким же красавцем: твои кости вполне похожи на кости Терсита, а твой череп тем лишь отличается, что его легче разбить: он у тебя слишком мягок, совсем не мужской.

Н и р е й. Спроси Гомера, каков я был тогда, когда воевал вместе с ахейцами.

М е н и п п. Ты мне все сказки рассказываешь! Я вижу тебя таким, каков ты теперь, а все, что было,— это дело людей того времени.

Н и р е й. Что же? Значит, я здесь несколько не красивее Терсита?

М е н и п п. И ты не красив, и никто вообще: в преисподней царит равенство, и здесь все друг другу подобны.

Т е р с и т. Для меня и этого достаточно.

XXVI. МЕНИПП И ХИРОН

1. М е н и п п. Я слышал, Хирон, что ты, будучи богом, хотел умереть.

Х и р о н. Правильно все, что ты слышал, Менипп: как видишь, я и умер, хотя мог быть бессмертным.

Менипп. Отчего ты вдруг запылал любовью к смерти: она ведь для большинства совсем не привлекательна?

Хирон. Я тебе объясню это: ты человек неглупый. Мне бессмертие не доставляло больше никакого удовольствия.

Менипп. Никакого удовольствия — жить и глядеть на свет?

Хирон. Да, Менипп. Я думаю, приятно то, что разнообразно и не слишком просто. А я, живя на свете, имел всегда одно и то же солнце, свет, еду. Времена года были всегда те же самые, все вместе с ними следовало друг за другом постоянно в одинаковом порядке, никогда не нарушая взаимной своей связи. Я пресытился этим. Счастье не в том, что мы имеем всегда, а и в том, что нам недоступно.

2. Менипп. Ты прав, Хирон. Ну, а как тебе нравится в преисподней с тех пор, как ты пришел сюда по собственному выбору?

Хирон. Мне здесь приятно, Менипп: здесь царит действительно всенародное равенство, и, оказывается, свет несколько не лучше мрака. А кроме того, здесь никто не чувствует ни жажды, ни голода, как это было на земле, и мы в их утолении здесь не нуждаемся.

Менипп. Смотри, Хирон, как бы тебе не впасть в противоречие с самим собою; не вернулись бы твои рассуждения опять туда же, откуда вышли.

Хирон. Каким образом?

Менипп. В жизни тебе надоело однообразие и постоянное повторение одного и того же; но ведь и здесь все однообразно и может тебе тоже надоесть, — тогда тебе придется искать перехода отсюда в другую жизнь, а это, я думаю, невозможно.

Хирон. Что же делать, Менипп?

Менипп. Говорят, кто умен, тот довольствуется настоящим, рад тому, что у него есть, и ничего не кажется ему невыносимым.

XXVII. ДИОГЕН, АНТИСФЕН И КРАТЕТ

1. Диоген. Антисфен и Кратет, у нас много свободного времени; не пройтись ли нам по прямой доро-

ге ко входу? Там мы поглядим на входящих, посмотрим, кто они и как себя ведут.

Антисфен. Хорошо, Диоген, пойдем. Это будет приятное зрелище: одни плачут, другие умоляют отпустить их, а некоторые и совсем не хотят идти, и хотя Гермес и толкает их в шею, они все-таки сопротивляются и падают навзничь, что совсем бесполезно.

Кратет. А я вам по дороге расскажу, что сам видел, когда спускался сюда.

Диоген. Расскажи, Кратет; ты, наверно, видел что-нибудь очень смешное.

2. Кратет. Среди тех, которые входили сюда вместе со мной, особенно выделялись трое: богач Исмений, мой земляк, Арсак, наместник Мидии, и Оройт из Армении. Исмения убили разбойники около Киферона, кажется, по дороге в Элевсин. Он стонал, придерживая обеими руками рану, звал своих детей, которых оставил совсем маленькими, и бранил самого себя за безрассудство, потому что, отправляясь через Киферон и через округу Элевтер, совсем опустевшую вследствие войны, взял только двух рабов, несмотря на то, что имел с собой пять золотых чаш и четыре кубка.

3. Арсак, человек уже старый и, клянусь Зевсом, очень внушительного вида, сердился, по варварскому обычаю, и негодовал на то, что идет пешком и требовал, чтоб ему привели коня; дело в том, что оба они пали при Араксе, в битве с каппадокийцами: какой-то легко вооруженный фракиец одним ударом поразил и его и коня. Арсак, как сам рассказывал, поскакал вперед, далеко оставив за собой других; вдруг перед ним появился фракиец и, прикрываясь щитом, вышиб у него из рук пику, а затем своим копьем пронзил его вместе с конем.

4. Антисфен. Как же он мог сделать это одним ударом?

Кратет. Очень просто, Антисфен: Арсак скакал, выставив вперед копье длиной в двадцать локтей; фракиец отбил щитом направленное на него оружие так, что острие прошло мимо, и, опустившись на колени, принял на свое копье весь напор врага, ранил снизу в грудь коня, который, благодаря силе и быстроте своего бега, сам насадил себя на копье; оно прошло

насквозь и прокололо также самого Арсака, вонзившись ему в пах и выйдя сзади. Вот как это случилось; виноват здесь не столько всадник, сколько конь. Арсак все-таки негодовал на то, что его ничем не отличили от других, и хотел спуститься в преисподнюю верхом.

5. Что касается Оройта, то у него ноги оказались слишком нежными и чувствительными: он не то что ходить, и стоять даже не мог на земле. То же самое бывает у всех без исключения мидян: как только они сойдут с коня, сейчас начинают ступать как по колючкам, еле двигаясь на кончиках пальцев. Так вот, Оройт бросился на землю, и никаким способом нельзя было заставить его подняться; тогда наш милый Гермес взял его на плечи и понес до самой лодки, а я смотрел и смеялся.

6. Антистен. И я, когда шел сюда, не смешивался с остальными, а, бросив всех стонущих, побежал вперед к лодке и занял самое удобное место. Во время плаванья они плакали и страдали от качки, а мне их смешной вид доставил большое удовольствие.

7. Диоген. У вас, значит, вот какие были спутники. А со мной вместе шел ростовщик Блепсий из Писы, акарнанец Лампид, начальник наемных войск, и богач Дамид из Коринфа. Дамида отравил его собственный сын, Лампид лишил себя жизни из-за любви к гетере Миртии, а злосчастный Блепсий умер, как сам говорил, с голоду, да это и видно было по его необыкновенной бледности и чрезвычайной худобе. Я, хотя и знал, все-таки спросил их, отчего они умерли. Дамид стал обвинять своего сына, а я сказал ему: «Так тебе и следовало — у тебя было около тысячи талантов, ты до девяноста лет прожил в роскоши, а восемнадцатилетнему юноше давал по четыре обола! А ты, акарнанец, — он тоже стонал и проклинал Миртию, — зачем обвиняешь Эрота, когда должен самого себя обвинять? Врагов ты никогда не боялся, храбро сражался впереди всех, а первой встречной девчонке с ее притворными слезами и вздохами дал себя поймать!» Блепсий сам себя обвинял и бранил за свою глупость, за то, что хранил деньги для наследников, совсем ему чужих, как будто думал, что его жизнь никогда не прекратится. Своими воплями они доставляли мне немалое удовольствие.

8. Но мы уже пришли ко входу; станем поодаль и будем смотреть на входящих. Ох, как их много! И самые разнообразные! Все плачут, кроме новорожденных и неразумных детей. Даже совсем старые горюют! Что с ними? Неужели их так крепко держат чары жизни?

9. Я поговорю с этим дряхлым старичком. Отчего ты плачешь, если умер в таком преклонном возрасте? Отчего огорчаешься, милейший? Ведь ты уже совсем стар! Что же ты, царем был?

Ни щ и й. Нет.

Ди о г е н. Сатрапом, по крайней мере?

Ни щ и й. И не сатрапом.

Ди о г е н. Ты, может быть, был богат и тебе тяжело, умирая, расставаться с роскошью?

Ни щ и й. Ничего подобного: я жил почти до девяноста лет в крайней нужде, добывая себе пропитание удочкой и леской, детей у меня не было; да к тому же еще был я хром и почти слеп.

Ди о г е н. И после этого тебе хотелось еще жить?

Ни щ и й. Да; хорошо жить на свете, а смерть ужасна, и надо от нее бежать.

Ди о г е н. Ты с ума спятил, старик; ведешь себя перед лицом судьбы как мальчишка, а ведь ты одних лет с этим вот перевозчиком. Что же сказать о молодых, если привязаны к жизни такие старики, которые должны сами стремиться к смерти как к лекарству против невзгод старости? Пойдем, а то нас могут заподозрить в намерении бежать, если увидят, что мы бродим около входа.

XXVIII. МЕНИПП И ТИРЕСИЙ

1. М е н и п п. Хоть ты и слеп, Тиресий, однако это заметить нелегко: у нас здесь ни у кого нет глаз, одни впадины остались, Финея от Линкея не отличишь. Я знаю от поэтов, что ты был прорицателем; я слышал тоже, будто бы ты был и мужчиной и женщиной. Так вот, скажи мне, ради богов, когда тебе жилось лучше: когда ты был мужчиной или же приятнее оказалось быть женщиной?

Т и р е с и й. Гораздо приятнее быть женщиной, Менипп: меньше забот. Женщины властвуют над мужчи-

нами, а на войну ходить им не надо, не нужно защищать городских стен, спорить на Народных собраниях и разбирать дела в судах.

2. Менипп. А ты, Тиресий, разве не слышал, что говорит Медея у Еврипида, жалуясь на женскую долю: что женщины несчастны, что они должны подвергаться невыносимым страданиям при родах? Но скажи мне, — ямбы Медеи напомнили мне это, — ты рожал, когда был женщиной, или провел эту половину своей жизни девушкой, не родив ни разу?

Тиресий. Зачем ты об этом спрашиваешь, Менипп?

Менипп. Без всяких дурных намерений; ответь, если можешь.

Тиресий. Девушкой я не был, но все-таки не родил ни разу.

Менипп. Этого для меня достаточно. Я хотел бы еще знать, была ли у тебя матка.

Тиресий. Конечно, была.

Менипп. Ну и как, постепенно ли у тебя исчезала матка, затянулись женские половые части, пропали груди, а вместо этого появился мужской член и выросла борода, или ты мгновенно из женщины превратился в мужчину?

3. Тиресий. Не понимаю, что значит твой вопрос; ты, кажется, сомневаешься, было ли это на самом деле.

Менипп. Значит, в таких вещах человеку не следует сомневаться, а должен он как дурак принимать все на веру, не задумываясь, возможно это или нет?

Тиресий. Тогда ты не поверишь и многому другому, — например, что женщины превращались в птиц, в деревья и в зверей, как Аэдона, Дафна или дочь Ликаона.

Менипп. Если я где-нибудь встречу с ними, посмотрю, что они мне об этом скажут. А ты скажи мне, дорогой мой, вот что: когда ты был женщиной, ты тогда уже пророчествовал, как впоследствии, или же только сделавшись мужчиной получил пророческий дар?

Тиресий. Вот видишь, ты ничего не знаешь обо мне. Я разрешил когда-то спор богов; Гера меня за это

ослепила, а Зевс в утешение сделал меня прорицателем.

Менипп. Ты еще не разучился лгать? Но, впрочем, ты лишь поступаешь как все прорицатели: обычай у вас — ничего не говорить здравого.

XXIX. АЯНТ И АГАМЕМНОН

1. Агамемнон. Аянт, если ты сам себя убил в припадке безумия и нас всех хотел убить, почему же ты обвиняешь Одиссея? Недавно, когда он пришел к нам узнать будущее, ты даже не поглядел в его сторону, не поздоровался со своим боевым товарищем, но, надменно шагая, презрительно прошел мимо.

Аянт. Я был вполне прав, Агамемнон: он — причина моего безумия, он один соперничал со мной из-за доспехов.

Агамемнон. Ты хотел, чтоб у тебя совсем не было соперников, хотел победить всех без всякой борьбы?

Аянт. Да, и вот почему: я должен был получить это оружие, так как оно принадлежало моему двоюродному брату. Вы все, гораздо более достойные победы, отказались от соперничества и уступили мне: один лишь сын Лаэрта, которого я не раз спасал от фригийцев, чуть было не убивших его, считал, что он лучше меня и более достоин доспехов Ахилла.

2. Агамемнон. Вيني в этом, милый мой, Фетиду, за то что она, вместо того, чтобы тебе, как родственнику Ахилла, передать доспехи по наследству, сделала их доступной всем наградой.

Аянт. Нет, виноват Одиссей; он один не хотел мне уступить.

Агамемнон. Можно ему простить, Аянт, что, будучи человеком, он добивался славы — прекрасной вещи, ради которой каждый из нас подвергал себя опасностям; прости ему, что он победил тебя, да и то на основании суда троянцев.

Аянт. Я знаю, кто рассудил дело против меня; но не следует ничего говорить про богов. Одиссея же я не могу перестать ненавидеть, Агамемнон, даже если бы сама Афина приказала мне это.

1. **Минос.** Этого разбойника Сострата бросить в Пирифлегетон, вот того за святотатство пусть растерзает Химера, а тирана, Гермес, растянуть рядом с Титием, пусть коршуны и у него терзают печень. А вы, праведники, отправляйтесь скорее на Елисейские поля и на Острова Блаженных за то, что добродетельно прожили свою жизнь.

Сострат. Выслушай меня, Минос: может быть, тебе покажется справедливым, что я скажу.

Минос. Опять тебя выслушивать? Разве еще не изблещили тебя в том, что ты преступник и убил столько народу?

Сострат. Да, это правда; но стоит еще подумать, справедливо ли я буду наказан.

Минос. Конечно, если вообще справедливо терпеть наказания за преступления.

Сострат. Все-таки выслушай меня, Минос. Я тебе задам всего несколько вопросов.

Минос. Говори, только недолго: мне нужно еще других судить.

2. **Сострат.** Все, что я совершил в жизни, было сделано мною по собственной воле или было предопределено Мойрами?

Минос. Конечно, Мойрами!

Сострат. Значит, все мы — и праведные и преступные — делали все, исполняя их волю?

Минос. Да, вы исполнили волю Клото, которая каждому при рождении назначила, что ему делать в жизни.

Сострат. Скажи мне: если кто по принуждению убьет человека, потому что не сможет сопротивляться принуждающему, как делают это, например, палач или телохранитель: один, повинувшись судье, другой — тирану, кого ты сделаешь ответственным за убийство?

Минос. Конечно, судью и тирана; ведь не меч виноват: он служит только орудием злобы того, кто первый был причиной убийства.

Сострат. Благодарю тебя, Минос, за лишний пример в мою пользу. А если кто-нибудь, посланный своим господином, принесет золото или серебро, — кого нужно благодарить, кого провозгласить благодетелем?

М и н о с. Того, кто послал: принесший был ведь только посредником.

3. С о с т р а т. Теперь ты видишь, как несправедливо наказывать нас, послушно исполняющих приказания Клото, и награждать тех, которые, делая добро, повинуются лишь чужой воле? Никто ведь не вздумает утверждать, что можно восставать против предопределенного и необходимого.

М и н о с. Если ты, Сострат, станешь все точно взвешивать, то увидишь, что еще много других вещей происходит не по требованиям разума. Своими вопросами ты добился того, что я теперь считаю тебя не только разбойником, но и софистом. Гермес, освободи его, наказание с него снимается. Только смотри не учи других мертвых задавать такие вопросы.





РАЗГОВОРЫ ГЕТЕР

I ГЛИКЕРА И ФАИДА

1. Гликера. Ты знаешь, Фаида, того воина, ахарнянина, который прежде содержал Абротону, а потом сошелся со мной, того, что в хламиде с красной каймой, или забыла его?

Фаида. Нет, я знаю его, Гликера. Он еще пил с нами в прошлом году в праздник Молотьбы. А что? Похоже, ты что-то хочешь о нем рассказать?

Гликера. Горгона, бессовестная, — а я-то считала ее подругой! — втерлась к нему и отняла его у меня.

Фаида. И теперь он не с тобой живет, а сделал своей любовницей Горгону?

Гликера. Да, Фаида, и это сильно меня задело.

Фаида. Это нехорошо, Гликера, но это в порядке вещей: так обычно делается среди нас, гетер. Так что не надо ни слишком горевать, ни попрекать Горгону.

Ведь и Абротона тебя не попрекала тогда за него, хотя вы были друзьями.

2. Я только удивляюсь тому, что нашел хорошего в ней этот воин, разве что он совсем слеп и не видел, что волосы у нее жидкие, и над лбом уже лысинка, и губы бледные и бескровные, и шея худая, так что на ней заметны жилы, и нос велик. Одно только, что хорошего роста и стройна, да смеется очень заразительно.

Гликера. Так ты думаешь, Фаида, что он ее за красоту предпочел? Разве ты не слышала, что Хрисария, ее мать, — колдунья, которая знает какие-то фессалийские заклинания и умеет сводить луну с неба? Говорят, она и летает по ночам. Она свела его с ума, опоив любовным зельем, и теперь они обирают его.

Фаида. Ну, так ты, Гликера, обирай другого, а с тем распростиись.

II. МИРТИЯ, ПАМФИЛ И ДОРИДА

1. Миртия. Ты женишься, Памфил, на дочери Фидона, судовщика! Даже, говорят, уже женился! А все клятвы, которыми ты клялся, и слезы твои, — где все это? Ты забыл теперь Миртию, Памфил, забыл, когда я беременна уже восьмой месяц! Только одно, значит, и получила я от своей любви, — что ты сделал мне такой живот и скоро мне придется кормить ребенка, а это ведь труднее всего для гетеры. Потому что я не подкину младенца, особенно если родится мальчик; я назову его Памфилом, и он будет мне утешением в утраченной любви. А тебя он когда-нибудь встретит и попрекнет за то, что ты не остался верен его несчастной матери! Но ты женишься не на красивой девушке: я ведь видела ее вблизи на празднестве Фесмофорий с матерью, еще не зная, что из-за нее больше не увижу Памфила. Так ты раньше посмотри на нее, посмотри, что у нее за лицо и какие глаза, и после уж не огорчайся, что они у нее слишком светлые и косят, словно глядят друг на друга. Но ты, наверное, видел Фидона, отца невесты, и знаешь, каков он лицом, так что нет нужды еще смотреть на дочь!

2. Памфил. Долго мне еще, Миртия, слушать твои бредни о судовщических дочках и свадьбах? Будто я знаю, курноса или красива чья-то невеста или что у Фидона из Алопеки — ведь, я думаю, ты о нем говоришь, — дочь уже на выданье! Да он вовсе и не друг моему отцу: помню, недавно они судились из-за ка-

ких-то торговых дел; кажется, он задолжал талант и не хотел платить, а отец привлек его к суду и с трудом взыскал долг, и то говорил, что не весь.

А если бы я и собирался жениться, то разве отказался бы я от дочери Демей, прошлогоднего стратега (притом она мне двоюродная сестра), чтобы жениться теперь на Фидоновой дочке?

Но откуда ты это слышала? Или ты сама выдумала такой вздор, Миртия, из пустой ревности?

3. Миртия. Так ты не женишься, Памфил?

Памфил. Ты с ума сошла, Миртия, или пьяна? Ведь вчера мы не так сильно выпили.

Миртия. Это Дорида меня расстроила. Я послала ее купить мне шерсти на живот и помолиться за меня Артемиде-родильнице. И встретила ее, говорит, Лесбия. Но лучше ты сама расскажи, Дорида, что ты услышала, если только ты не выдумала это.

Дорида. Да чтоб я пропала, госпожа, если в чем солгала! Когда я, значит, была около Пританея, встретила мне Лесбия, улыбается и говорит: «Любовник-то ваш, Памфил, женится на дочери Фидона! А если не веришь, говорит, загляни-ка в их переулок и убедишься, что все в венках, и флейтистки там, и толкотня, и гименей поют».

Памфил. И что же? Ты заглянула, Дорида?

Дорида. Конечно! И увидела все, как она сказала.

Памфил. Понимаю теперь, в чем ошибка. Не все тебе Лесбия солгала, Дорида, и ты сообщила Миртии правду. Только напрасно вы встревожились. Ведь свадьба-то не у нас. Я вспоминаю теперь, что слышал о ней от матери, когда вчера возвратился от вас: «Вот, Памфил,— сказала она,— твой сверстник Хармид, сын соседа Аристенета, уже остепенился и женится, а ты до каких же пор будешь жить с гетерой?» Не обращая внимания на ее слова, я погрузился в сон, а утром вышел из дому рано, так что не видел ничего того, что увидела позднее Дорида. Если же ты не веришь мне, Дорида, то пойди тотчас и посмотри внимательно не в переулок, а на дверь: которая именно украшена венками? И ты убедишься, что это у соседей.

Миртия. Ты спас меня, Памфил! Ведь я бы повесилась, если бы что-нибудь подобное случилось.

Памфил. Так ведь не случилось же! И я не сошел с ума, чтобы покинуть мою Миртию, тем более когда она ждет от меня ребенка.

1. М а т ь. С ума ты сошла, Филинна? Что это с тобой сделалось вчера на пирушке? Ведь Дифил пришел ко мне сегодня утром в слезах и рассказал, что он вытерпел от тебя. Будто ты напилась и, выйдя на середину, стала плясать, как он тебя ни удерживал, а потом целовала Ламприю, его приятеля, а когда Дифил рассердился на тебя, ты оставила его и пересела к Ламприю и обнимала его, а Дифил задыхался от ревности при виде этого. И ночью ты, я полагаю, не спала с ним, а оставила его плакать одного, а сама лежала на соседнем ложе, напевая, чтобы помучить его.

2. Ф и л и н н а. А о своем поведении, мать, он, значит, тебе не рассказал? Иначе ты бы не приняла его сторону, когда он сам обидчик: оставил меня и перешептывался с Фаидой, подругой Ламприя, пока того еще не было. Потом, видя, что я сержусь на него и качаю головой, он схватил Фаиду за кончик уха, запрокинул ей голову и так припал к ее губам, что едва оторвался. Тогда я заплакала, а он стал смеяться и долго говорил что-то Фаиде на ухо, ясное дело, обо мне, и Фаида улыбалась, глядя на меня. К тому времени, когда они услышали, что идет Ламприй, они уже достаточно нацеловались; я все же возлегла с Дифилом на ложе, чтобы он потом не имел повода попрекать меня. Фаида же, поднявшись, первая стала плясать, сильно обнажая ноги, как будто у ней одной они хороши. Когда она кончила, Ламприй молчал и не сказал ни слова, Дифил же стал расхваливать ее грацию и исполнение: и как согласны были ее движения с кифарой, и какие красивые ноги у Фаиды и так далее, как будто хвалил красавицу Сосандру, дочь Каламида, не Фаиду — ты же знаешь, какова она, ведь она часто моется в бане вместе с нами. А Фаида, такая дрянь, говорит мне тотчас с насмешкой: «Если кто не стыдится своих худых ног, пусть встанет и тоже спляшет». Что же мне еще сказать, мать? Понятно, я встала и стала плясать. Что же мне оставалось делать? Не плясать? И признать справедливой насмешку? И позволить Фаиде командовать на пирушке?

3. М а т ь. Самолюбива ты дочка. Нужно было не обращать внимания. Но скажи все же, что было после?

Ф и л и н н а. Ну, другие меня хвалили, один только Дифил, опрокинувшись на спину, глядел в потолок, пока я не перестала плясать, уставши.

М а т ь. А что ты целовала Ламприя, это правда? И что ты перешла к нему на ложе и обнимала его? Что молчишь? Это уж непростительно.

Ф и л и н н а. Я хотела помучить его в отместку.

М а т ь. А потом ты не легла с ним спать и даже пела, между тем как он плакал? Разве ты не понимаешь, что мы бедны, и не помнишь, сколько мы получили от него, и не представляешь себе, какую бы мы провели зиму в прошлом году, если бы нам его не послала Афродита?

Ф и л и н н а. Что же? Терпеть от него такие оскорбления?

М а т ь. Сердись, пожалуй, но не оскорбляй его в ответ. Ведь известно, что любящие отходчивы и скоро начинают сами себя винить. А ты уж очень строга всегда к нему, так смотри, как бы мы, по пословице, не порвали веревочку, слишком ее натягивая.

IV. МЕЛИТТА И ВАКХИДА

1. М е л и т т а. Если ты знаешь, Вакхида, старуху — таких, говорят, много у нас есть, фессалиянок, — которая умеет колдовать и привораживать и заставить полюбить женщину, даже если она ему ненавистна, то — дай тебе бог счастья! — приведи ее ко мне. А я и платя, и эти золотые вещички с радостью отдала бы, лишь бы мне увидеть, что Харин опять ко мне вернулся, разлюбив Симику, как теперь разлюбил меня.

В а к х и д а. Что ты говоришь? Так Харин уж с тобой не живет, а ушел к Симице, покинув тебя? А ведь из-за тебя он вынес гнев родителей, не пожелав жениться на той богатой невесте, которая, говорят, принесла бы ему пять талантов в приданое. Я, помнится, от тебя это слышала.

М е л и т т а. Все это прошло, Вакхида, и вот уже пятый день, как я совсем его не видела: они пируют у товарища его, Паммена, он и Симица.

2. В а к х и д а. Тяжело это для тебя, Мелитта. Но что же вас рассорило? Ведь это, видно, был не пустяк.

М е л и т т а. Я просто не знаю, что и сказать. На днях, вернувшись из Пирея, — он отправился туда, кажется, требовать какой-то долг, по поручению отца, — он даже и не взглянул на меня, войдя, и не позволил

мне подбежать к нему, как обычно, и оттолкнул меня, когда я хотела его обнять. «Уходи, говорит, к своему судовщику Гермотиму или поди прочти слова, написанные на стене в Керамике, где вырезаны ваши имена». — «Какому, спрашиваю, какому Гермотиму? И о какой надписи ты говоришь?» Но он ничего не отвечал и, не ужиная, лег спать, отвернувшись. Ты можешь себе представить, чего я тут ни придумывала — и обнимала его, и старалась повернуть его к себе, и целовала его в шею. А он, ничуть не смягчаясь: «Если, говорит, ты будешь еще приставать, то я уйду прочь, хоть сейчас и полночь».

3. Вакхида. Все же ты знавала Гермотима?

Мелитта. Да пусть ты увидишь меня еще более несчастной, чем теперь, Вакхида, если я знаю какого-то судовщика Гермотима! Знаю только, что Харин ушел рано утром, поднявшись, как только запел петух, а я припомнила, что он сказал об именах, написанных где-то на стене в Керамике. Вот я и послала Акиду посмотреть; но она ничего иного не нашла, кроме написанного на стене по правой руке, если идти к Дипилону: «Мелитта любит Гермотима» — и тут же, немного пониже: «Судовщик Гермотим любит Мелитту».

Вакхида. Ах, эта беспутная молодежь! Теперь я понимаю. Кто-то написал это, чтобы подразнить Харина, зная, как он ревнив. А тот сейчас же и поверил. Если я где-нибудь увижу его, я с ним поговорю. Он ведь еще мальчик и неопытен.

Мелитта. Но где же ты можешь его увидеть, когда он сидит, запершись с Симихой? Родители ищут его еще у меня. Но вот если бы мне найти какую-нибудь старуху, Вакхида, как я тебе сказала! Она бы меня спасла.

4. Вакхида. Есть, милочка, самая подходящая колдунья, сириянка родом, еще бодрая и крепкая. Она мне вернула однажды Фания, когда тот на меня рассердился, и тоже из-за пустяка, как Харин, она сделала это спустя четыре месяца, так что я уже совсем отчаялась, когда он вдруг опять пришел ко мне благодаря заклинаниям.

Мелитта. Что же взяла с тебя старуха, если помнишь?

Вакхида. Она берет небольшую плату, Мелитта, только драхму и хлеб; и нужно еще, кроме соли, дать семь оболлов, серу и факел. Старуха берет это себе.

Нужно подать ей и кратер вина, разбавленного водой; она одна будет его пить. Понадобится еще что-нибудь, принадлежащее самому Харину, например плащ, или сандалии, или немного волос, или что-нибудь в этом роде.

Мелитта. У меня есть его сандалии.

5. Вакхида. Она их повесит на гвоздь и станет обкуривать серой, бросая еще и соль в огонь и называя при этом ваши имена, его и твое. Потом, достав из-за пазухи волшебный волчок, она запустит его, бормоча скороговоркой какие-то варварские заклинания, от которых дрожь берет. Так она сделала в тот раз. И вскоре после этого Фаний вернулся ко мне, хотя товарищи упрекали его за это и Фебида, с которой он жил, очень упрашивала его. Скорее всего его привели ко мне заклинания. И вот еще чему научила меня старуха — как вызвать в нем сильное отвращение к Фебиде: надо высмотреть ее свежие следы и стереть их, наступив правой ногой на след ее левой, а левой, наоборот, на след правой, и сказать при этом: «Я наступила на тебя, и я взяла верх!» И я сделала так, как она велела.

Мелитта. Не медли, не медли, Вакхида, позови теперь же сириянку! А ты, Акида, приготовь хлеб, и серу, и все остальное для заклинания.

VI. КРОБИЛА И КОРИННА

1. Кробила. Ну вот, теперь ты знаешь, Коринна, что это не так уж страшно, как ты думала, сделаться из девушки женщиной, проведя ночь с цветущим юношей и получив целую мину, как первый заработок. Я тебе из этих денег теперь же куплю ожерелье.

Коринна. Хорошо, мама, и пусть в нем будут камни огненного цвета, как у Филениды.

Кробила. У тебя и будет такое. Послушай только, что тебе нужно делать и как вести себя с мужчинами. Ведь иного пути у нас нет, дочка, и ты сама знаешь, как прожили мы эти два года после того, как умер твой отец. Пока он был жив, всего у нас было вдоволь. Ведь он был кузнецом и пользовался большой известностью в Пирее; послушать надо было, как все клялись, что после Филина уже не будет такого другого кузнеца. А после его смерти сначала я продала клещи, и наковальню, и молот за две мины, и на

это мы просуществовали месяцев шесть, а потом то тканьем, то прядением, то плетением едва добывали на хлеб, но все же я растила тебя, дочка, в единственной надежде.

2. Коринна. Ты имеешь в виду эту мину?

Кробила. Нет, я рассчитывала, что ты, достигнув зрелости, и меня будешь кормить, и сама легко оденешься и разбогатеешь, станешь носить пурпурные платья и держать служанок.

Коринна. Как это, мама? Что ты хочешь сказать?

Кробила. Что ты должна сходиться с юношами и пить с ними и спать с ними за плату.

Коринна. Как Лира, дочь Дафниды?

Кробила. Да.

Коринна. Но ведь она гетера!

Кробила. В этом нет ничего ужасного. Зато и ты будешь богата, как она, имея много любовников. Что же ты плачешь, Коринна? Разве ты не видишь, сколько у нас гетер, и как за ними бегают, и какие деньги они получают? Уж я-то знаю Дафниду, клянусь Адрастеей, помню, как она ходила в лохмотьях, пока дочка не вошла в возраст. А теперь видишь, как она себя держит: золото, цветные платья и четыре служанки.

3. Коринна. Как же Лира все это приобрела?

Кробила. Прежде всего наряжаясь как можно лучше и держась приветливо и весело со всеми, не хоча по всякому поводу, как ты обыкновенно делаешь, а улыбаясь приятно и привлекательно. Затем она умела вести себя с мужчинами и не отталкивала их, если кто-нибудь хотел встретить ее или проводить, но сама к ним не приставала. А если приходила на пирушку, беря за это плату, то не напивалась допьяна, потому что это вызывает насмешки и отвращение у мужчин, и не набрасывалась на еду, забыв приличия, а отщипывала кончиками пальцев кусочки, ела молча, не уплетая за обе щеки; пила она медленно, не залпом, а маленькими глотками.

Коринна. Даже если ей хотелось пить, матушка?

Кробила. Тогда в особенности, Коринна. И она не говорила больше, чем следовало, и не подшучивала ни над кем из присутствующих, а смотрела только на того, кто ей платил. И за это мужчины любили ее. А когда приходилось провести ночь с женщиной, она не позволяла себе никакой развязности, ни небрежности, но добивалась только одного: увлечь его и сделать

своим любовником. И все за это ее хвалят. Так что если ты этому научишься, то и мы будем счастливы; ведь в остальном ты намного ее превосходишь... Прости, Адрастея, я не говорю ничего больше!.. Была бы ты только жива, дочка!

4. **Коринна.** Скажи мне, матушка, все ли, кто платит нам деньги, такие, как Евкрит, с которым я вчера спала?

Кробила. Не все. Некоторые лучше, другие уже зрелые мужчины, а иные и не очень красивой внешности.

Коринна. И нужно будет спать и с такими?

Кробила. Да, дочка. Именно эти-то и платят больше. Красивые считают уже достаточным то, что они красивы. А тебе всегда надо думать лишь о большей выгоде, если хочешь, чтобы в скором времени все девушки говорили друг другу, показывая на тебя пальцем: «Видишь, как Коринна, дочь Кробилы, разбогатела и сделала свою мать счастливой-пресчастливой?» Сделаешь это? Знаю, что сделаешь и превзойдешь легко их всех. А теперь поди помойся, на случай, если и сегодня придет юный Евкрит: ведь он обещал.

VII. МАТЬ И МУСАРИЯ

1. **Мать.** Вот уж действительно, Мусария, не хватает только, чтобы нашелся еще один такой любовник, как Херей; стоило бы тогда принести в жертву Афродите Всенародной белую овечку, а Небесной, что в огородах,— телку, и увенчать венком Деметру, Подательницу благ. Вот когда мы были бы вполне счастливы и трижды благословенны! Ты видишь теперь, Мусария, сколько мы имеем выгоды от этого юноши, который еще ни разу не дал тебе ни обола, не подарил ни платья, ни обуви, ни благовоний, а все только обещания, да уверения, и большие надежды, и повторения, что, дескать, когда отец... когда я стану хозяином отцовского имущества, все будет твое. Ты даже говоришь, будто он поклялся, что сделает тебя законной женой.

Мусария. Так ведь он поклялся, мать, обеими богинями и Градской Афиной!

Мать. И ты, конечно, веришь! И потому на днях, когда у него не было денег, чтобы внести свою долю для игры в кости, ты дала ему без моего ведома коль-

цо, и он продал его и пропил. И помимо того, ты дала ему два ионийских ожерелья, весом каждое в два драхмы, которые тебе привез из Эфеса хиосец Праксий, судовщик, потому что Херею надо было уплатить свой взнос товарищам. А о платьях и о рубашках что и говорить. Вот уж действительно находка этот Херей, и большая прибыль нам выпала от него!

2. Мусария. Но он красивый и безбородый, и говорит, что любит, и плачет. И он сын Диномахи и Лакхета, члена Ареопага. И он обещает, что мы с ним поженимся, и у нас с тобой большие надежды на него, лишь бы только старик протянул ноги.

Мать. Так, значит, Мусария, когда нам нужна будет обувь и сапожник потребует две драхмы, мы скажем ему: «Денег у нас нет, но ты возьми немного наших надежд!» И торговцу мукой скажем то же? И когда у нас потребуют плату за жилье, мы скажем: «Подожди, пока умрет Лакхет из Коллита; мы ведь заплатим тебе после свадьбы». И не стыдно тебе, что у тебя, единственной из гетер, нет ни серег, ни ожерелья, ни прозрачного тарентского покрывала?

3. Мусария. Ну так что же, мать, разве они счастливее меня или красивее?

Мать. Нет, но они умнее, и знают свое ремесло, и не верят прекрасным словам юношей, у которых только клятвы на языке. А ты остаешься верной и любящей и не сходишься ни с кем, кроме одного Херея. Вот и на днях, когда пришел земледелец из Ахарн, тоже безбородый, и готов был заплатить две мины, — получив деньги за вино, по поручению отца, — ты над ним посмеялась и все ночи проводишь с твоим Адонисом Хереем.

Мусария. Что же, по-твоему, мне надо было покинуть Херея и отдаться этому работнику, от которого разит козлом? Неужто для меня, как говорится, нет никакой разницы, что Херей, что эта ахарнянская свинья?

Мать. Ну, пусть так. Тот был деревенщина, и от него дурно пахло. А почему же ты Антифонта, сына Менекрата, сулившего тебе мину, и того не приняла? Разве он не красив, не любезен и не сверстник Херею?

4. Мусария. Но Херей пригрозил, что зарежет нас обоих, если когда-нибудь застигнет меня с ним.

Мать. А мало ли других грозили этим? Право, ты так останешься без любовников и проживешь добро-

детельной, как будто ты какая-нибудь жрица Деметры Фесмофоры, а не гетера. Но довольно об этом. Сегодня день Молотьбы; что же он тебе подарил к празднику?

Мусария. У него нет денег, матушка!

Мать. Он единственный не находит способа подъехать к отцу, не подойдет к нему слугу, который наврал бы ему что-нибудь, и у матери не выпросит, угрожая отплыть на войну, если не получит денег, а все только сидит тут, разоряя нас: и сам не дает ничего, и от тех, кто дает, не позволяет брать. А ты думаешь, Мусария, что тебе всегда будет восемнадцать лет? Или что Херей будет желать того же и тогда, когда станет богатым и мать подыщет ему богатую невесту? Ты думаешь, он, имея возможность получить пять талантов, все еще будет помнить о своих слезах, поцелуях и клятвах?

Мусария. Херей будет помнить. И свидетельством этому то, что он и теперь ведь не женился, а отказался, несмотря на все настояния и понуждения.

Мать. Дай бог, чтобы он не лгал! Придет время, и я тебе, Мусария, об этом напому.

VIII. АМПЕЛИДА И ХРИСИДА

1. Ампелида. Что же это за любовник такой, Хрисид, если он никогда не ревнует, не рассердится, не прибьет ни разу, не отрежет косу и не разорвет платья?

Хрисид. Разве только это — признаки влюбленного, Ампелида?

Ампелида. Да, если он человек пылкий. Потому что остальное — поцелуи, и слезы, и клятвы, и частые посещения — это приметы лишь начинающейся любви, еще растущей, а настоящий огонь — от ревности. Так что если, как ты говоришь, Горгий бьет тебя и ревнует, то поверь, что все будет хорошо, и желай, чтобы он всегда так же поступал.

Хрисид. Как же? Что ты говоришь? Чтобы он всегда меня бил?

Ампелида. Нет, но чтобы он мучился, если ты глядишь не на него одного: ведь если бы он не любил, то с чего бы стал сердиться за то, что у тебя есть другой любовник?

Хрисид а. Но у меня же нет другого любовника! А он зря заподозрил, будто со мной в связи один богатый человек, только потому что я как-то упомянула о нем между прочим.

2. Ам п е л и д а. И то приятно, что он думает, будто тебя домогаются богатые: ведь тогда он будет сильнее мучиться и постарается из самолюбия, чтобы соперники не превзошли его щедростью.

Хрисид а. Однако же он только сердится и дерется, а ничего не дарит.

Ам п е л и д а. Не беспокойся, даст! Ведь все ревнивцы дают, особенно когда их огорчишь.

Хрисид а. Не понимаю, Ам п е л и д а, зачем ты хочешь, чтобы я получала побои.

Ам п е л и д а. Я этого не хочу, но, по-моему, любовь возрастает, если человек думает, что им пренебрегают; а если он уверен, что он единственный, то страсть как-то мало-помалу гаснет. Это говорю тебе я, которая была гетерой целых двадцать лет, а тебе, я думаю, всего лет восемнадцать или того меньше. А если хочешь, так я расскажу тебе, что я испытала когда-то, немного лет тому назад. Я была любовницей Демофанта, ростовщика, что живет позади Расписного портика. Он никогда не давал мне больше каких-нибудь пяти драхм и считал себя полным хозяином. А любил он меня, Хрисид а, какой-то заурядной любовью — не вздыхал, и не плакал, и не приходил к дверям в неурочный час, а только иногда спал со мной, и то изредка.

3. И вот, когда я однажды не впустила его — потому что со мной был Каллид, художник, заплативший мне вперед десять драхм, он в тот раз просто ушел, осыпая меня бранью. Когда же спустя много дней я опять не приняла его — Каллид снова был со мной, — тогда Демофант, уже разгоряченный, вспламенился по-настоящему и стоял у двери, выжидая, чтоб она открылась, и плакал, и стучал, и грозил убить меня, и рвал на себе одежду, и чего только не делал! — и кончилось тем, что он дал мне талант и содержал меня один целых восемь месяцев! Жена его говорила всем, что я свела его с ума любовным зельем. А зелье-то было — ревность. Вот и ты, Хрисид а, применяй к Горгию это же зелье. Ведь юноша будет богат, когда что-нибудь случится с его отцом.

1. Доркада. Пропали мы, госпожа, пропали! Полемон вернулся из похода с богатой добычей, как говорят. Я и сама его видела: на нем пурпурный плащ с застежкой, и его сопровождает большая свита. И друзья, как узнали об этом, сбежались к нему, чтобы обнять. А я между тем, увидев идущего позади слугу, который отправился с ним в поход, спросила его после приветствия: «Скажи мне, говорю, Парменон, как наши дела? И воротились ли вы с чем-нибудь, ради чего стоило воевать?»

Паннихида. Не следовало этого говорить сразу, а сначала надо было сказать так: великое благодарение богам и особенно Зевсу Гостеприимцу и Афине Воительнице за то, что вы возвратились невредимыми! Госпожа, мол, постоянно старалась узнать, что-то вы делаете и где-то находитесь? А еще намного лучше было бы, если б к этому ты добавила, что и плакала я и все вспоминала Полемона.

2. Доркада. Я это все и сказала тотчас, в самом начале, но я хотела тебе сказать не об этом, а о том, что слышала. Потому что я примерно так и начала, обращаясь к Парменону: «Наверное, Парменон, у вас в ушах звенело — постоянно ведь госпожа вспоминала о вас со слезами, а в особенности когда кто-нибудь возвращался с войны и шли толки, что многие погибли; тогда она рвала на себе волосы, и била себя в грудь, и печалилась при каждом известии».

Паннихида. Хорошо, Доркада, так и надо было сказать.

Доркада. А потом спустя немного я задала тот вопрос. А он в ответ и говорит: «Мы воротились с огромной добычей».

Паннихида. Значит, он ничего не сказал раньше о том, что Полемон меня вспоминал, и тосковал по мне, и желал найти меня живой и здоровой?

Доркада. Как же! много такого он говорил. Ну, а главное, что он сообщил — велико теперь их богатство: золото, платья, свита, слоновая кость; серебра-то он привез не сосчитать, надо мерить медимнами. И у самого Парменона кольцо на мизинце большое, многогранное, и камень в него вделан трехцветный, красный сверху. Ну, он хотел было рассказывать мне, как они перешли Галие, и как убили какого-то Тири-

дата, и как отличился Полемон в сражении с писидянами, но я не дала, а убежала тебя предупредить, чтобы ты рассудила, как теперь быть. Ведь если Полемон придет наведаться к тебе — а он, конечно, явится, как только освободится от друзей, — и найдет здесь у нас Филострата, что он сделает, по-твоему?

3. П а н н и х и д а. Давай поищем выход, Доркада! Некрасиво ведь было бы отставить Филострата, только что давшего талант; и к тому же он купец и много обещает. Но и Полемон не годится отказать, раз он вернулся с такой удачей. Вдобавок он ведь и ревнив так, что, даже когда был беден, вел себя несносно, а теперь чего только не сделает!

Д о р к а д а. Но вот он приближается.

П а н н и х и д а. Я теряюсь, Доркада, не видя выхода, и трепещу.

Д о р к а д а. А вот и Филострат подходит.

П а н н и х и д а. Что со мной будет! Хоть бы мне провалиться сквозь землю!

4. Ф и л о с т р а т. Почему мы не пьем, Паннихида?

П а н н и х и д а. Ты погубил меня, Филострат! А ты, Полемон, здравствуй! Наконец-то ты явился.

П о л е м о н. А это кто такой к тебе пришел? Молчишь? Ладно же, Паннихида! А я-то в пять дней промчался от Фермопил, спешил к этой женщине! Впрочем, я терплю по заслугам и даже благодарю тебя: уж больше ты не будешь меня грабить!

Ф и л о с т р а т. А кто ты сам, почтеннейший?

П о л е м о н. Кто я? Полемон-стириец (Пандионой филы), слышишь? Сначала был тысячником, теперь же начальствую над пятью тысячами щитов, и был любовником Паннихиды, когда еще думал, что есть у нее человеческие чувства.

Ф и л о с т р а т. Но в настоящее время, начальник наемников, Паннихида — моя, и получила от меня талант, и получит еще один, как только мы распорядимся нашими товарами. А теперь, Паннихида, войдем к тебе, а он пусть себе командует своими одрисами.

Д о р к а д а. Она свободная женщина и пойдет с тобой, если захочет.

П а н н и х и д а. Что мне делать, Доркада?

Д о р к а д а. Лучше войти с ним. Не годится оставаться тут с Полемоном, раз он сердится: он еще сильнее распалится ревностью.

П а н н и х и д а. Войдем, если хочешь, Филострат.

5. Полемон. Но я предупреждаю вас, что вы сегодня будете пить в последний раз. Зря, что ли, я сюда явился, я, такой испытанный мастер убивать? Фракийцев сюда, Парменон! Пусть придут с оружием и в боевом строю и заградят переулок,— в середине гоплиты, с боков пращники и лучники, а прочие сзади.

Филострат. Ты хочешь запугать нас, как маленьких детей, наемник! Да убил ли ты когда-нибудь хоть петуха и видел ли войну? Ты состоял в охране какой-нибудь крепостцы и служил на полуокладе,— да и то я говорю это из любезности.

Полемон. Ну, ты вскоре узнаешь, кто я, когда мы пойдем на тебя с копьями наперевес и в сверкающих панцирях.

Филострат. Приходите, только подготовьтесь заранее. А я и вот этот Тибий— он со мной один здесь— будем бросать в вас камнями и черепками и рассеем вас, так что вы не будете знать, куда бежать.

Х. ХЕЛИДОНИЯ И ДРОСА

1. Хелидония. Что же, Дроса, твой юный Клиний больше не ходит к тебе? Я уже много времени не видала его у вас.

Дроса. Нет, Хелидония; его учитель запретил ему бывать у меня.

Хелидония. Кто это? Не говоришь ли ты о воспитателе Диотиме? Этот-то нам скорее друг.

Дроса. Нет, это Аристенет, чтоб он из всех философов погиб худшей смертью!

Хелидония. Тот угрюмый, волосатый, длиннородый, который обычно прогуливается с юношами в Расписном портике?

Дроса. Да, тот шарлатан, которого я хотела бы предать на худшую погибель, чтобы палач потащил его за бороду!

2. Хелидония. Но ради чего он внушил это Клинию?

Дроса. Не знаю, Хелидония. Но Клиний, который никогда не проводил ночи без меня с тех пор, как начал жить с женщиной— а я была у него первой,— вот уже три дня подряд даже не подходит к нашему переулку. Расстроенная этим,— не знаю, сколько я переживала за него!— я послала Небриду высмотреть его на площади или в Расписном портике. Она сказала, что

видела, как он прогуливался с Аристенетом, она кивнула ему издали, и он покраснел, опустил глаза и уже не поднимал их. Потом они пошли вместе в город, она следовала за ними до Дипилона, но он даже не обернулся ни разу, и она возвратилась, так и не узнав ничего определенного.

Как, ты думаешь, я пережила это, не представляя, что случилось с мальчиком? Не обиделся ли он на что-нибудь, спрашивала я себя, или он полюбил другую, а меня разлюбил? Или отец запретил ему? Много такого я передумала. Но вот, уже поздно вечером, пришел Дромон и принес от него это письмецо. Прочти его, Хелидония, ты ведь знаешь грамоту.

3. Хелидония. Ну, посмотрим. Буквы не очень четкие и этой небрежностью показывают, что написаны наспех. А говорит он вот что: «Как сильно я тебя полюбил, Дроса, беру богов в свидетели».

Дроса. Ах я несчастная! он даже «здравствуй» не написал!

Хелидония. «И теперь я держусь от тебя далеко не потому, что разлюбил, а по необходимости. Ведь отец поручил меня Аристенету, чтобы я занимался с ним философией, а тот — он узнал, конечно, о нас все — очень сильно упрекал меня, говоря, что не пристало мне, будучи сыном Архителя и Эрасиклеи, жить с гетерой. Ибо гораздо выше надо ценить добродетель, чем наслаждение».

Дроса. Чтоб он не дожил до своего срока, этот болтун, который учит юношу таким вещам!

Хелидония. «Так что приходится его слушаться. Ведь он сопровождает меня повсюду, тщательно следя за мной, и мне никак нельзя даже взглянуть на кого-нибудь, кроме него. Он обещает, если я буду рассудителен и во всем его стану слушаться, сделать меня очень счастливым и наставить меня в добродетели, упражняя особыми трудами. Это я тебе написал украдкой. А ты будь счастлива и не забывай Клиния».

4. Дроса. Что ты думаешь об этом письме, Хелидония?

Хелидония. Вообще оно для меня — скифская речь, но «не забывай Клиния» содержит еще остаток надежды.

Дроса. И мне так кажется. Но я погибаю от любви! Однако Дромон говорит, что Аристенет какой-то педераст и под предлогом обучения живет с красивой-

шими юношами; и что он, оставаясь наедине с Клинием, разглагольствует, суля ему, что будто сделает его чуть ли не равным богам; и что он читает с ним какие-то речи древних философов о любви к ученикам и вообще не отходит от юноши. Дромон даже грозил, что перескажет это отцу Клиния.

Хелидония. Тебе следовало угостить Дромона.

Дрос а. Я его угостила, да он и без того за меня, потому что сохнет по Небриде.

Хелидония. Не унывай, все будет хорошо. А я намерена написать на стене в Керамике, где обычно прогуливается Архитель, «Аристенет развращает Клиния», чтобы этим поддержать сплетню Дромона.

Дрос а. Как же ты это напишешь незаметно?

Хелидония. Ночью, а уголь добуду откуда-нибудь.

Дрос а. Отлично! Только выступи со мной, Хелидония, в поход против этого шарлатана Аристенета!

ХІ. ТРИФЕНА И ХАРМИД

1. Три ф е н а. Кто же, пригласивши гетеру и заплатив ей пять драхм, проводит с ней ночь, отвернувшись к стене, в слезах и столах? И пил ты, мне кажется, без удовольствия, и есть не захотел, единственный из всех. Я ведь видела, что ты и за пирушкой плакал, и теперь не перестаешь всхлипывать, как ребенок. Так из-за кого ты так поступаешь, Хармид? Не скрывай от меня, чтобы мне хоть таким образом извлечь пользу из бессонной ночи, которую я провожу с тобой.

Хар м и д. Любовь убивает меня, Трифена, и я больше не в состоянии выносить эту муку!

Три ф е н а. Что ты не меня любишь, это ясно, иначе, конечно, ты не был бы так равнодушен, лежа со мной рядом, и не отталкивал бы меня, когда я хотела тебя обнять; и не отгородился бы от меня в конце концов одеждой из опасения, что я прикоснусь к тебе. Но кто же она? Скажи. Ведь, может быть, я сумею помочь тебе в этой любви. Потому что я знаю, как нужно обдирать такие дела.

Хар м и д. Ты, конечно, ее знаешь, и очень хорошо, а она — тебя. Потому что она небезызвестная гетера.

2. Три ф е н а. Как ее имя, Хармид?

Хар м и д. Филематия.

Трифена. О которой ты говоришь? Ведь их две. О той, что родом из Пирея и недавно стала гетерой: она живет с Дамиллом, сыном нынешнего стратега? Или о другой, которую прозвали Ловушкой?

Хармид. Об этой. И я попался, несчастный, и она держит меня в петле.

Трифена. Так это из-за нее ты плакал?

Хармид. Да.

Трифена. И давно ты ее любишь или недавно?

Хармид. Нет, довольно давно: почти семь месяцев прошло с праздника Дионисий, когда я в первый раз ее увидел.

Трифена. А ты рассмотрел ее внимательно всю или только лицо и то немногое, что она дает видеть, — ровно столько, сколько может показывать женщина, которой уже сорок пять лет?

Хармид. Как же это? Она ведь клялась мне, что ей исполнится двадцать два в будущем элафеболионе!

3. Трифена. Чему ты поверишь больше: ее клятвам или собственным глазам? Погляди-ка внимательно, взгляни хоть на ее виски, где только и есть у нее собственные волосы; остальные же — густая накладка. И ты увидишь, что у висков, когда выцветает краска, уже много проседи. Впрочем, это еще что! А вот заставь ее когда-нибудь показаться тебе обнаженной.

Хармид. Никогда еще она мне этого не позволяла.

Трифена. И понятно. Ведь она знала, что тебе будут противны белые пятна у нее на теле. Она же вся, от шеи до колен, похожа на леопарда. А ты плакал из-за того, что не обладал такой женщиной! Может быть, она еще и обижала тебя, относясь с пренебрежением?

Хармид. Да, Трифена, хотя столько от меня получила. Вот и теперь, так как я не мог дать ей сразу в короткий срок тысячу драхм, которые она требовала — отец ведь содержит меня не щедро, — она заперла передо мной дверь, а приняла Мосхиона. В отместку за это я захотел ее раздосадовать в свою очередь, пригласивши тебя.

Трифена. Ну, клянусь Афродитой, я бы не пришла, если бы мне кто-нибудь сказал, что меня приглашают ради того, чтобы рассердить другую, и притом Филематию, эту старую каргу! Но я ухожу. Вот уже в третий раз пропел петух.

4. Хармид. Ну, не спеши так, Трифена. Ведь если правда все, что ты говоришь о Филематии — про накладку, и что она красится, и о пятнах, так я не в состоянии и смотреть на нее!

Трифена. Спроси мать, если она когда-нибудь мылась с нею в бане. А о годах ее еще и дед твой тебе расскажет, если только он жив.

Хармид. Ну, раз она такая, то уберем стенку между нами, обнимемся, будем целоваться и предадимся любви. А Филематии скажем прощай.

ХП. ИОЭССА, ПИФИАДА И ЛИСИЙ

1. Иоэсса. Что же это, Лисий, ты только играешь мною? И это хорошо, по-твоему? А я ведь и денег никогда с тебя не требовала, и не отказывалась ни разу тебя принять, говоря, что со мной кто-то другой, и не понуждала тебя обманывать отца или обкрадывать мать, чтобы принести мне подарки, как поступают все гетеры, а с самого начала принимала тебя без платы, даром! Ты знаешь, скольких влюбленных я отослала прочь: Пифокла, нынешнего притана, и Пасиона, судовладельца, и сверстника твоего Мелисса, хотя у него недавно умер отец и он теперь хозяин всего имущества. Но ты один был для меня Фаоном, и ни на кого другого я и не глядела и никому не давала приблизиться, кроме тебя. Ведь я думала, неразумная, что твои клятвы были правдой, и поэтому была предана тебе и добродетельна, как Пенелопа, хотя мать и кричала на меня, и корила перед подругами. Но ты, как только понял, что я тебе покорна и такую пред тобой, стал то заигрывать с Ликеной на моих глазах, чтобы огорчить меня, то расхваливать Магидию, флейтистку, лежа со мной? А я от этого плачу и чувствую себя оскорбленной.

Вот и на днях, когда вы сошлись на пирушку, Фрасон, ты и Дифил, были тут и флейтистка Кимвалия, и Пираллида, мой недруг; а ты же, зная об этом, не только пять раз поцеловал Кимвалию,— это меня не очень задело: ты ведь себя же унижаешь, целуя такую женщину! — но ты и несколько раз делал знаки Пираллиде и, когда пил, показывал ей чашу, а отдавая кубок рабу, приказывал ему на ухо никому не наливать, пока не попросит Пираллида. Наконец, улучив время, когда Дифил не глядел на вас — он болтал с

Фрасоном, — ты надкусил яблоко и, подавшись вперед, ловко метнул ей за пазуху, даже не стараясь сделать это незаметно от меня. А она, поцеловав яблоко, опустила его между грудей под повязку.

2. Так зачем же ты так поступаешь? Разве я перед тобой провинилась в чем-нибудь или чем-то огорчила? Кого, кроме тебя, я видала? Разве я не ради тебя одного живу? Не достойное дело, Лисий, обижать несчастную женщину и думать только о себе. Но есть еще богиня Адрастея, и она видит все это! И ты когда-нибудь огорчишься, может быть, услышав обо мне, что я задушила себя в петле, или бросилась головой вниз в колодезь, или нашла еще какой-нибудь способ умереть, чтобы больше не мозолить тебе глаза. Торжествуй тогда, будто совершив великое и славное дело!

Что глядишь на меня исподлобья и стиснув зубы? Если ты в чем-нибудь упрекаешь меня, так скажи! Пусть вот хотя бы Пифиада нас рассудит. Что же это? Ты уходишь? Ты покидаешь меня, ничего не отвечая? Видишь, Пифиада, что я терплю от Лисия!

П и ф и а д а. О, какая жестокость! Не сжалиться даже над плачущей! Камень это, а не человек. Но если говорить правду, Иоэсса, ты сама испортила его чрезмерной любовью, которую проявляла к нему. Не следовало тебе ее слишком выказывать, так как от этого любовники чересчур мнят о себе. Перестань же плакать, бедняжка, и поверь моему совету: не открывай ему дверь раз-другой, когда он придет к тебе. И вот увидишь, как он опять загорится к тебе любовью и будет поистине без ума от тебя.

И о э с с а. Да замолчи же! уйди! Чтобы я не открыла дверь Лисию? Лишь бы он сам не бросил меня прежде!

П и ф и а д а. Но вот он возвращается.

И о э с с а. Ты погубила нас, Пифиада! Вероятно, он слышал, что ты сказала «не открывай ему!».

3. Л и с и й. Я возвращаюсь не ради нее, Пифиада, — я и смотреть не хочу больше на такую женщину, — а для того, чтобы ты не упрекала меня и не говорила: «Лисий безжалостен».

П и ф и а д а. Я именно это и сказала.

Л и с и й. Так ты хочешь, чтобы я терпел эту Иоэссу, которая теперь плачет, тогда как недавно я сам застал эту изменницу спящей с каким-то юношей?

Пифиада. Но, Лисий, в конце концов она ведь — гетера. Скажи, однако, когда же ты застигнул их спящими вдвоем?

Лисий. Примерно дней шесть тому назад; да, клянусь Зевсом, шесть, так как это было на второй день месяца, а сегодня седьмой. Отец, зная, что я давно живу с этой достойной женщиной, запер меня, велел привратнику не открывать мне дверей. Я же, не имея сил провести хоть одну ночь без нее, велел Дромону стать согнувшись у стены двора, там, где она ниже всего, и подставить мне спину: так я мог легко взлезть на стену. Что долго рассказывать? Я перелез через стену, пришел сюда и нашел дверь тщательно запертой, ведь была уже полночь. Ну, я не стал стучать, а тихонько поднял дверь, — я это делал уже и раньше, — снял ее с петель и без шума вошел. Все спали. Потом ощупью вдоль стены я подошел к постели.

4. Иоэсса. Что ты говоришь? О Деметра, я умираю от беспокойства!

Лисий. Так как я услышал не одно дыхание, а два, то сначала подумал, что с ней спит Лида. Но это была не она, Пифиада. Прикоснувшись рукой, я обнаружил, что это был кто-то безбородый, очень юный, стриженный наголо и тоже надушенный благовониями. Тут, будь у меня меч, я бы не поколебался, знайте это! Что вы смеетесь? По-твоему, то, что я рассказываю, достойно только смеха, Пифиада?

Иоэсса. Так вот что тебя рассердило, Лисий? А ведь это Пифиада и спала со мной.

Пифиада. Не говори ему, Иоэсса!

Иоэсса. Почему не сказать? Это была Пифиада, милый, которую я попросила лечь со мной: так я была расстроена тем, что тебя не было со мной.

5. Лисий. Пифиада — тот наголо стриженный? А потом за шесть дней она отрастила себе такие волосы?

Иоэсса. Она остриглась из-за болезни, Лисий, потому что у нее сильно выпадали волосы. Теперь же она носит накладку. Покажи ему, Пифиада, покажи, что это так, чтобы убедить его. Смотри, вот юноша, вот тот любовник, к которому ты меня приревновал.

Лисий. Значит, не следовало мне ревновать, Иоэсса, даже когда я сам осязал любовника?

Иоэсса. Ну, ты убедился теперь? Может быть, хо-

чешь, чтобы и я, в свою очередь, помучила тебя? Я ведь тоже имею право на тебя рассердиться.

Л и с и й. Нет, нет! Но давай выпьем теперь, и Пифиада с нами; она ведь заслужила участие в пирушке.

И о э с с а. Конечно. Но сколько я перенесла из-за тебя, Пифиад, благороднейший юноша!

П и ф и а д а. Но я же и помирила вас сама, так что не сердись на меня. Только смотри, Лисий, не говори никому про мои волосы.

ХІІІ. ЛЕОНТИХ, ХЕНИД, ГИМНИДА

1. Л е о н т и х. А Расскажи-ка, Хенид, как в сражении с галатами я устремился впереди прочих всадников, на белом коне, и галаты, при всей своей храбрости, дрогнули, лишь только меня завидели, и ни один не устоял передо мной. И тогда я, метнув копье, пронзил начальника конницы — заодно с конем, а затем ринулся на оставшихся — некоторые-то еще держались, перестроившись из фаланги в четырехугольник, — на них я и устремился со всем мужеством, сжимая в руке меч, и опрокинул человек семь из них, стоявших впереди, одним натиском коня, а ударом меча я надвое рассек голову вместе со шлемом одному из начальников отряда. Спустия немного и вы подоспели, когда они уже побежали.

2. Х е н и д. А в тот раз, Леонтих, когда ты в Пафлагонии сразился один на один с сатрапом, разве это не был тоже великий подвиг?

Л е о н т и х. Кстати, ты напомнил, Хенид, об этом деянии, также доблестном. Ведь сатрап был огромного роста, и считалось, что он превосходно владеет оружием. С презрением насмехаясь над эллинами, он выступил вперед и стал вызывать охотника вступить с ним в поединок. Прочие-то оробели — лохаги, и таксиархи, и сам полководец, хоть и был доблестным мужем. Ведь нами предводительствовал Аристехм, этолиец, превосходный копейщик, а я был тогда еще только хилиархом. Все же я осмелился и, оттолкнув товарищей, которые меня удерживали, потому что при виде варвара в сверкающем золоченом оружии, огромного и страшного, с большим султаном на шлеме и потрясавшего копьем, испугались за меня...

Х е н и д. И я тогда испугался за тебя, Леонтих, и ты знаешь, как я удерживал тебя, прося не подвергать се-

бя опасности первому. Ведь мне и жизнь была бы не в жизнь, если бы ты погиб!

3. Леонтих. Но я смело выступил перед строем, вооруженный не хуже пафлагонца, весь тоже в золоте, так что сразу поднялся крик и с нашей стороны, и у варваров. Ибо и они меня узнали, как только увидели, особенно по щиту, и по знакам отличия, и по султану. Скажи-ка, Хенид, с кем это меня тогда сравнивали?

Хенид. С кем же, как не с Ахиллом, сыном Фетиды и Пелея, клянусь Зевсом? Тебе так шел шлем, и так горел пурпурный плащ, и блистал щит.

Леонтих. Когда мы сошлись, варвар первый ранил меня слегка, только задев копьем немного выше колена; я же, пробив его щит пикой, пронзил ему грудь насквозь, потом, подбежав, быстро отсек мечом голову и возвратился с его оружием и его головой, насаженной на пику, весь облитый его кровью.

4. Гимнида. Фу, Леонтих. Постыдись рассказывать о себе такие мерзости и ужасы! На тебя нельзя и смотреть без отвращения, раз ты такой кровожадный, не то что пить и спать с тобой. Я, во всяком случае, ухожу.

Леонтих. Возьми двойную плату!

Гимнида. Я не в силах спать с убийцей!

Леонтих. Не бойся, Гимнида, это произошло в Пафлагонии, а теперь я живу мирно.

Гимнида. Но ты запятнанный человек! Кровь капала на тебя с головы варвара, которую ты нес на пике. И я обниму такого человека и буду целовать? Нет, клянусь Харитой, да не будет этого! Ведь он ничуть не лучше палача!

Леонтих. Однако, если бы ты видела меня в полном вооружении, я уверен, ты бы в меня влюбилась.

Гимнида. Меня мутит и трясет от одного твоего рассказа, и мне чудятся тени и призраки убитых, особенно несчастного лохага, с рассеченной надвое головой. Что же, ты думаешь, было бы, если бы я видела самое это дело, и кровь, и лежащие трупы? Мне кажется, я бы умерла! Я никогда не видела даже, как режут петуха.

Леонтих. Неужели ты такая робкая и малодушная, Гимнида? А я думал, что тебе доставит удовольствие меня послушать.

Гимнида. Услаждай такими рассказами каких-нибудь лемнианок или Данаид, если найдешь таких. Я же побегу к матери, пока еще не наступила ночь. Иди со мной и ты, Граммида. А ты будь здоров, доблестный хилиарх, и убивай себе сколько пожелаешь!

5. Леонтих. Останься, Гимнида, останься! — Ушла!..

Хенид. Уж очень ты напугал доверчивую девочку, потрясая султаном и описывая свои невероятные подвиги. Я-то сразу увидел, как она позеленела, еще когда ты рассказывал о лохаге, и как она менялась в лице и дрожала, когда ты сказал, что разрубил ему голову.

Леонтих. Я думал, что покажусь ей более достойным любви. Но и ты способствовал моей гибели, Хенид, подвернув мне поединок.

Хенид. Что же? Как же было мне не поддержать твои выдумки, раз я понимал, чего ради ты хвастаешь? Но ты уж очень страшно это сочинил. Ну, пусть ты отрезал голову несчастному пафлагонцу; но зачем было еще насаживать ее на пику, так чтобы кровь лилась на тебя?

Леонтих. Это и вправду отвратительно, Хенид. Но остальное, пожалуй, неплохо было придумано. Ну, поди и убеди ее провести со мной ночь.

Хенид. Значит, сказать ей, что ты все это выдумал, желая показать ей доблестным?

Леонтих. Совестно это, Хенид.

Хенид. Но ведь иначе она не возвратится. Выбирай же одно из двух: либо казаться героем и быть ей ненавистным, либо провести с нею ночь, признавшись, что все налгал.

Леонтих. Тяжело и то и другое. Все ж я выбираю Гимниду. Итак, поди и скажи ей, Хенид, что я налгал — но не все.

ХIV. ДОРИОН И МИРТАЛА

1. Дорион. Теперь, когда я стал беден из-за тебя, Миртала, теперь ты не пускаешь меня к себе! А когда я приносил тебе подарок за подарком, я был для тебя возлюбленным, мужем, господином, всем! И вот, так как я прихожу с пустыми руками, ты взяла себе в любовники вифинского купца, а меня не принимаешь, и

я простаиваю перед твоей дверью в слезах, между тем как он один проводит с тобой ночи напролет, лаская тебя, и ты говоришь даже, что ждешь от него ребенка!

Миртала. Досада меня берет с тобой, Дорион, особенно когда ты говоришь, будто делал мне много подарков и стал нищим из-за меня! Ну, сосчитай-ка, сколько ты мне дарил с самого начала.

2. Дорион. Ладно, Миртала, давай сосчитаем. Первое — обувь, что я привез тебе из Сикиона, две драхмы. Клади две драхмы.

Миртала. Но ты спал тогда со мной две ночи!

Дорион. И когда я возвратился из Сирии — склянку финикийского душистого масла, клади две драхмы и на это, клянусь Посейдоном!

Миртала. А я, когда ты уходил в плавание, дала тебе тот короткий хитон до бедер, чтобы ты надевал, когда гребешь. Его забыл у меня кормчий Эпиур, проведя со мной ночь.

Дорион. Эпиур узнал его и отнял у меня на днях на Самосе — после долгой схватки, клянусь богами! Еще луку я привез с Кипра и пять сельдей и четырех окуней, когда мы приплыли с Боспора, сколько это выйдет? И сухарей морских в плетенке, и горшок фиг из Кари, а напоследок из Патар позолоченные сандалии, благодарная ты! А когда-то, помню, большой сыр из Гития.

Миртала. Пожалуй, драхм на пять наберется за все это.

3. Дорион. Ах, Миртала! Это все, что я мог дарить, служа наемным гребцом. Но теперь-то я уже команду правым рядом весел, а ты мною пренебрегаешь? А недавно, когда был праздник Афродисий, разве я не положил серебряную драхму к ногам Афродиты за тебя? И опять же матери на обувь дал две драхмы, и Лиде вот этой часто в руки совал когда два, когда четыре обола. А все это, если сложить, — все богатство матроса.

Миртала. Лук и селедки, Дорион?

Дорион. Ну да. Я не мог привозить лучшего. Разве я служил бы гребцом, если бы был богат? Да я собственной матери никогда и одной головки чеснока не привез! Но я хотел бы знать, какие у тебя подарки от твоего вифинца?

Миртала. Первое — видишь вот этот хитон? Это он купил. И ожерелье, которое потолще.

Дорион. Это? Да ведь я знаю, что оно давно у тебя!

Миртала. Нет, то, которое ты знаешь, было много тоньше, и на нем не было изумрудов. И еще подарил эти серьги и ковер, а на днях две мины. И плату за помещение внес за нас. Это тебе не патарские сандалии да гитийский сыр и тому подобная дрянь!

4. Дорион. А того ты не говоришь, каков он собой, тот, с которым ты спишь? Лет ему, во всяком случае, за пятьдесят, он лыс, и лицо у него цвета морского рака. А что за зубы у него, ты не видишь? А сколько в нем приятности, о Диоскуры, особенно когда он запоем и начнет нежничать — настоящий осел, играющий на лире, как говорится. Ну, и радуйся ему. Ты его стоишь, и пусть у вас родится ребенок, похожий на отца! А я-то уж найду себе какую-нибудь Дельфину, или Кимвалию, или соседку вашу флейтистку, или еще кого-нибудь мне по средствам. Ковры-то, да ожерелья, и плату в две мины не все мы можем давать.

Миртала. Вот-то счастлива будет та, которая возьмет тебя в любовники. Ведь ты будешь ей привозить лук с Кипра и сыр, воротясь из Гития!

XV КОХЛИДА И ПАРФЕНИДА

1. Кохлида. Что ты плачешь, Парфенида? И почему ты несешь сломанные флейты?

Парфенида. Солдат-италиец, верзила, любовник Крокалы, побил меня, застав у нее, — я была нанята Горгом, его соперником, играть им на флейтах: ворвавшись к нам, он разбил мои флейты и опрокинул стол, за которым они ужинали, и вылил все вино из кратера. А того деревенщину Горга они вытащили из-за стола за волосы, обступили и избили: лупил его этот солдат (Диномах, кажется, его зовут) и другой солдат, его товарищ, так что не знаю, Кохлида, выживет ли Горг, потому что много крови текло у него из носа и все лицо вспухло и посинело!

2. Кохлида. С ума он сошел, или спьяна было дело?

Парфенида. Ревность такая, Кохлида, и нелепая любовь. Крокала, кажется, потребовала с Диномаха два таланта, если он хочет один ею обладать, а когда он не дал, она не впустила его к себе, когда он пришел, и даже, говорят, захлопнула перед ним дверь,

а приняла Горга из Энои, богатого земледельца, давнишнего своего любовника и хорошего человека, и стала с ним пить, а меня пригласила играть им на флейте. Пирушка была уже в разгаре, я заиграла одну из лидийских мелодий, и земледелец уже поднялся плясать, а Крокала хлопала в ладоши, и все шло хорошо. В это время слышится стук и крик, ломаются в дверь, и вскоре врываются человек восемь дюжих парней, и с ними этот дубина. Ну, тут все пошло вверх дном, и Горга повалили на пол, как я говорила, и били кулаками и ногами. Крокала, не знаю уж как, исчезла, убежав к соседке, Феспиаде; а мне Диномах дал пощечину, сказав: «Пропади ты»,— и, сломавши мои флейты, бросил их мне.

Вот я и бегу теперь рассказать это хозяину. И земледелец, со своей стороны, отправляется повидать друзей, какие у него есть в городе, чтобы они предали этого мегарца суду пританов.

3. Ко х л и д а. Вот какие радости нам достаются от этих солдатских любовных связей: побои да суды! Кроме того, все они называют себя начальниками и тысячниками, а когда нужно что-нибудь подарить, так говорят: «Погоди до выплаты; когда получу жалованье, тогда все сделаю». Так пропади они, эти хвастуны! Что касается меня, то я, во всяком случае, хорошо делаю, не допуская их вовсе к себе. По мне, пусть это лучше будет какой-нибудь рыбак, или гребец, или земледелец, мало умеющий льстить, но приносящий много подарков. А эти, что только потрясают перьями на шлемах да рассказывают про сражения,— это пустые болтуны, Парфенида.





ДВЕ ЛЮБВИ

1. Л и к и н. С самого утра ты, друг мой Феомнест, наполняешь любовными шутками мои уши, утомленные непрерывными серьезными разговорами; именно в тот час, когда я сильнее всего жаждал такого отдохновения, пролилась на меня прелесть твоих веселых рассказов. Ведь душа не в силах переносить все время лишь серьезные занятия, а честолюбивые труды требуют, чтобы мы освобождались ненадолго от тягостных забот и предавались удовольствиям. Больше всего порадовало меня сегодня утром милое лукавство и приятная убедительность твоих нескромных повестей, так что я чуть было не счел себя Аристидом, который слишком увлекся «Милетскими рассказами». И клянусь зажигавшими в тебе любовь эротоми, для которых служил ты такой удобной мишенью,— мне жаль, что ты перестал рассказывать. А если тебе кажется,

что я говорю пустое, то заклинаю тебя самую Афродитой: если вспыхнула в тебе страсть к какому-нибудь мужчине или, клянусь Зевсом, женщине, то не спеша вызови ее в памяти. К тому же и день у нас сегодня праздничный, когда приносят жертвы Гераклу; а ты и сам, верно, знаешь, как проворен был этот бог в делах Афродиты,— и поэтому, кажется мне, он с удовольствием примет в жертву такие рассказы.

2. Феомнест. Скорее сосчитал бы ты, Ликин, волны в море или густые облака в небе, чем эротов, воспламенявших во мне любовь. Я думаю, пустым остался их колчан, и если они захотят налететь на кого-нибудь другого, то лишь насмешки возбудят их безоружные руки. С тех пор как я, едва вышедши из детского возраста, стал юношей, эроты гонят меня от одной страсти к другой. Одна любовь сменяет другую; прежде чем первая покинет меня, приходит вторая. Их больше, чем голов, которые вновь и вновь вырастали у Лернейской гидры, и никакой Иолай тут не поможет: ведь огня огнем не погасить. Будто живет у меня в глазах сладострастный овод, который беспрестанно захватывает все красивое, тащит к себе и не может насытиться. И часто становлюсь я в тупик: откуда этот гнев Афродиты? Ведь я не потомок Солнца и не причастен к преступлению лемноских женщин; не был я груб и спесив, как Ипполит; чем же возбудил я это непрестанное гонение богини?

3. Ликин. Оставь-ка, Феомнест, это неискреннее и привередливое лицемерие. Неужели ты недоволен, что судьба дала тебе в удел такую жизнь? Тяжело, по-твоему, проводить ее с прекрасными женщинами и мальчиками, цветущими красотой? Пожалуй, тебе нужно будет обрядами очиститься от этой тяжелой болезни: ведь это ужасный недуг. Неужели же ты, болтая весь этот вздор, потому не будешь считать себя счастливым, что не дал тебе бог в удел ни грязного земледелия, ни скитаний купца, ни жизни воина, всегда готового к сражению, что занимают тебя лишь блестящие палестры, яркие одежды до пят, украшенные пурпуром, да, кроме того, еще уход за твоими искусно причесанными волосами? Что же до любовных влечений, то тут сами муки приятны нам, и зуб страсти кусает сладко: домогаясь, ты надеешься, а достигнув, получаешь удовольствие, и равное наслаждение несут

настоящее и будущее. И только что, когда ты рассказывал о длинном, словно у Гесиода, списке тех, кого ты любил с самых давних времен, страстно увлажнились твои веселые глаза, а голос стал совсем как у дочери Ликамба, тонким и нежным; по одному твоему виду было ясно, что ты любишь не только своих возлюбленных, но и воспоминание о них. И если пропустил ты что-нибудь в своем плавании по странам Афродиты, не скрывай этого и принеси Гераклу беспорочную жертву.

4. Феомнест. Да нет, Ликин, ведь этот бог — пожиратель быков, и, как говорят, жертвы без дыма меньше всего доставляют ему удовольствие. Но раз мы решили почтить его ежегодный праздник рассказами, то хватит с нас моих повестей, которые я с самого утра нанизываю одну за другой: пусть и твоя Муза отбросит обычную серьезность и весело проведет с этим богом весь день. Будь для меня беспристрастным судьей (ведь тебя, как я вижу, не влечет ни та, ни другая страсть): кого ты предпочитаешь — тех ли, кто любит мальчиков, или тех, кому доставляют наслаждение женщины. Сам я подвержен обоим страстям и, как стрелка точных весов, колеблюсь одинаково в сторону обеих чаш; ты же — лицо незаинтересованное, решение твое неподкупно, рассуди и выбери, что лучше. Отбрось, мой друг, всякую ложную скромность и вынеси такое решение, какое подскажет тебе расследование моих любовных увлечений.

5. Ликин. Неужели ты, Феомнест, считаешь такое рассуждение праздным и смешным? А ведь оно обещает немало серьезного. Я уже брался однажды решать этот вопрос без подготовки и знаю всю его важность, особенно с тех пор, как услышал, как двое мужчин ожесточенно спорили об этом; воспоминание о них до сих пор живо сохранилось у меня. Их разделяли не только речи, но и желания. Оба они не походили на тебя: ведь ты благодаря твоей непритязательности получаешь двойную плату, как тот, кто без сна пасет

Днем белоруных баранов, а ночью быков круторогих.

Из них же один получал необыкновенное наслаждение от мальчиков и женские ласки считал погибелью, а другой, чуждый любви к мужчинам, испытывал страстное влечение к женщинам. Я был судьей в этом

состязании двух боровшихся страстей и получил от него такое удовольствие, что и сказать не могу. Их слова запечатлелись у меня в ушах так, как будто они только что были сказаны. Поэтому, отбросив прочь все поводы, по которым ты можешь меня упрекнуть, я в точности перескажу все, что слышал от обоих.

Фео м н е с т. А я встану отсюда и сяду против тебя, чтобы

Ждать Эакида, пока песнопения он не окончит,

а ты мерно повествуй о старинной славе любовного спора.

6. Л и к и н. Когда я задумал плыть в Италию, для меня снарядили быстроходный корабль, из тех судов с двумя рядами весел, какими, кажется, пользуются больше всего либурны — народ, что живет возле Ионийского залива. Едва получив возможность ехать, я поклонился всем отечественным богам и, призвав Зевса — Покровителя странников, чтобы он благосклонно помог мне в плавании на чужбину, выехал на паре мулов из города к морю. Обняв провожавших — а шла за мною толпа людей, которые, упорно желая учиться, постоянно бывали возле меня и теперь с большой тоскою ожидали прощания, — взошел я на корму и расположился возле кормчего. Когда вскоре усилиями гребцов отошли мы от земли и дуновения ветра стали, как пастухи, подгонять нас вперед, мы поставили посреди судна мачту и на ее вершине укрепили рею. Потом мы распустили паруса, собранные вокруг деревянных брусев: понемногу заполнилось полотно, и мы полетели с таким, я думаю, свистом, с каким летит стрела; только волны тяжело шумели вокруг разрезавшего их носа корабля.

7. Но сейчас незачем распространяться обо всех важных или смешных происшествиях, которые случились во время плавания. Оставив за собой побережье Киликии и не без труда миновав Ласточкины острова — счастливые рубежи древней Эллады, — мы достигли Памфилийского залива и стали заходить в каждый город Ликий, наслаждаясь больше всего их преданиями: ведь там не видно ни малейшего остатка бывшего благоденствия. Так было до самого Родоса, посвященного Солнцу: там решили мы прервать бывшее до тех пор непрерывным плавание.

8. Гребцы, вытащив корабль на сушу, разбили близ него палатки, а я, когда мне было приготовлено пристанище против храма Диониса, стал бродить на досуге, получая необыкновенное удовольствие: ведь Родос — подлинно город Гелиоса, и красота его достойна этого бога. Проходя по портикам храма Диониса и рассматривая каждую картину, я одновременно наслаждался ими и вспоминал предания о героях, потому что тотчас бросились ко мне двое или трое людей и за небольшую плату стали рассказывать мне содержание картин; впрочем, по большей части я сам догадывался, что на них изображено.

9. Когда я вдоволь насмотрелся и уже подумывал о возвращении домой, выпала мне на долю самая приятная удача, какая может быть на чужбине: я встретил людей, с давних пор близких мне. Пожалуй, и ты их знаешь: ты мог их видеть здесь, потому что они нередко навещали меня. Один был Харикл из Коринфа, юноша и сам по себе не безобразный и не чуждавшийся заботы о своей внешности, поскольку он стремился нравиться женщинам; с ним был афинянин Калликратид, человек простого нрава, который всему предпочитал политические речи и судебное красноречие. Он закалял свое тело гимнастикой; но, кажется мне, он любил палестры лишь из-за своего влечения к мальчикам: весь он был полон страстью к ним, а женщин ненавидел так сильно, что проклинал Прометея. Издали увидев меня, оба радостно и весело подбежали ко мне; когда же мы, как обычно, обнялись, каждый из них стал просить меня прийти к нему. Я же, видя, что спорят они слишком горячо, сказал: «Сегодня, Калликратид и Харикл, лучше будет вам обоим прийти ко мне, чтобы еще больше не возбуждать эту ссору. А в ближайшие дни (ведь я решил провести здесь дня три-четыре) вы в свою очередь угостите меня, определив по жребию, кто будет первым».

10. Так и порешили. В тот день давал обед я, на следующий день — Калликратид, за ним — Харикл. Уже за обедом отчетливо обнаружились устремления каждого из них. Афинянин был окружен множеством молодых и красивых рабов, и почти ни у кого из них не было на лице растительности, потому что рабы оставались при нем лишь до тех пор, пока первый пушок не оттенял им лица; когда же щеки у них покрывались мягкой щетиной, он отправлял их в свои

афинские имения управляющими и надсмотрщиками. А за Хариклом следовал целый хор арфисток и танцовщиц, и весь его дом был полон женщин, как в праздник Фесмофорий; мужчин же там почти не было, разве что где-нибудь попадется на глаза ребенок или дряхлый старик повар, к которым по их возрасту никакая ревность не может питать подозрений. Уже это все служило, как я сказал, достаточно ярким признаком склонностей каждого из них. К тому же часто между ними возникали на короткое время столкновения, но споры эти кончались ничем. Когда же наступил срок уезжать, я, по их желанию, взял обоих с собою в плавание, потому что они, как и я, намеревались отправиться в Италию.

11. По пути мы решили причалить у Книда, чтобы осмотреть его: очень хотелось нам увидеть святилище Афродиты (ведь повсюду прославляют стоящее там творение Праксителя, и в самом деле восхитительное). Потихоньку подошли мы к земле; сама богиня, я думаю, послала ясную погоду, сопутствовавшую нашему кораблю. Пока остальные занимались обычными приготовлениями, я обошел Книд кругом, влекомый парой поклонников искусства любви; не без смеха я смотрел на непристойность глиняных статуэток, столь уместных в городе Афродиты. Обойдя сперва портики Сострата и все остальное, что могло доставить нам удовольствие, мы направились к храму Афродиты. Мы двое — я и Харикл — шли с большой охотой, а Калликратид — неохотно, потому что предстояло нам увидеть женщину; и я думаю, он охотно поменял бы Афродиту Книдскую на Феспийского Эрота.

12. Тотчас от самого святилища нам навстречу повеяли дуновения Афродиты: ведь внутренний двор не был устлан гладкими каменными плитами, уложенными на бесплодную почву, но, как и должно быть в храме Афродиты, был весь возделан и плодоносил. Все вокруг осеняли плодовые деревья, образовавшие свод простертыми высоко в воздухе густыми кронами. Сверх всего, пышно разросся там, у своей повелительницы, обильно усыпанный плодами мирт, принесший щедрый урожай; и все остальные деревья цвели здесь во всей красоте, какая дана каждому в удел. Дряхлость старческого возраста не иссушила их, и даже в самую пору зрелости они расцветали молодыми побегами. Вперемежку с ними стояли те деревья, кото-

рые плодов не приносят, но которым красота заменяет плод: кипарисы и платаны, до неба высотой, и с ними лавр-Дафна, перебежчица в стан Афродиты, прежде убегавшая от радостей этой богини. Жадный любовник-плющ подкрадывался к каждому дереву и обнимал его. Густые виноградные лозы были увешаны частыми плодами: ведь приятнее Афродита, соединенная с Дионисом, и сладостны оба в смеси; а если они разлучены, то меньше доставляют наслаждения. Под самыми тенистыми кущами деревьев стояли веселые лежа для тех, кто желал там устроить пир. Люди образованные редко приходили туда, но простой народ из города, собираясь там, справлял праздники и подлинно занимался делом Афродиты.

13. Вдоволь налюбовавшись растениями, мы прошли внутрь храма. Сама богиня — прекрасная статуя из паросского мрамора — воздвигнута посередине; она стоит гордая, с легкой усмешкой. Вся ее красота ничем не скрыта, не окутана никакой одеждой; богиня обнажена, и только чресла слегка прикрывает она одной рукою. И так сильно искусство ее творца, что камень, неподвижный и твердый по природе, как нельзя лучше подошел для того, чтобы изваять из него каждую часть тела.

Тут Харикл, словно потеряв рассудок, воскликнул: «Счастливейший из богов — Арес, связанный ради нее!» Потом он подбежал к богине, вытянул сколько мог шею и поцеловал ее, прильнув губами к мрамору. А Калликратид стоял молча и дивился про себя.

Храм этот имеет двери с двух сторон, и желающие могут как следует рассмотреть богиню со спины, чтобы ничто в ней не осталось скрыто для восхищенного созерцания. Поэтому без труда можно войти через другую дверь и любоваться красотой Афродиты сзади.

14. Решив осмотреть богиню целиком, мы обогнули святилище и подошли к нему сзади. И когда женщина, которой вверено хранение ключей, растворила перед нами дверь, мы замерли, пораженные зрелищем дивной красоты. Афинянин, еще совсем недавно смотревший спокойно, лишь только увидел те части, которые напомнили ему мальчиков, вдруг закричал, обезумев больше Харикла: «О Геракл! Какая соразмерная спина! Какие полные бока — как раз по ладоням, обнимающим их! Какой красивой линией изгибаются мышцы ягодиц! Они и не прилегают слишком плотно

к костям из-за худобы, и не расплываются в чрезмерной полноте и тучности. А как сладостна улыбка этих ямочек, запечатлевшихся по обеим сторонам бедер,— и сказать нельзя! Как совершенны пропорции бедра и голени, прямая линия которой тянется до самой стопы! Таков, без сомнения, Ганимед, наливающий в небо Зевсу сладкий нектар. А от Гебы, если бы она стала мне прислуживать, я не принял бы напитка». Пока Калликратид выкрикивал все это как одержимый, Харикл почти застыл от необычайного восхищения, а глаза его от страсти подернулись томной влагой.

15. Когда же мы насытились зрелищем и перестали удивляться, то увидели на одном бедре пятно, выделявшееся как грязь на одежде; белизна мрамора вокруг особенно подчеркивала его безобразие. Стараясь повернее угадать истину, я подумал, что пятно, которое мы видим, появилось на камне от природы: ведь и камни не избавлены от изъянов, и часто судьба мешает им достигнуть совершенной красоты. Итак, я считал, что мрамор загрязнило природное черное пятно, и удивлялся, как Пракситель скрыл этот портящий красоту камня изъян среди таких частей тела, которые меньше всего могли его выдать. Но стоявшая неподалеку от нас прислужница храма рассказала нам невероятную и неслыханную историю. Один юноша довольно знатного рода (имя его не было названо), часто посещающий святилище, в недобрый час влюбился в богиню. Дни напролет проводил он в храме, и сперва всем казалось, что это лишь благочестивое поклонение. Утром, едва из постели, намного опередив рассвет, он приходил в храм и только после заката неохотно шел домой; целый день сидел он против богини, все время устремив на нее свой взгляд. При этом он шептал неясные слова и украдкой произносил любовные жалобы.

16. Когда он хотел, чтобы страсть хоть немного оставила его, то, воззвав к богине, он отсчитывал у стола четыре бабки ливийской газели и испытывал свою надежду игрою. Если кости ложились как он хотел и особенно если удавался ему бросок, носящий имя богини, когда ни одна бабка не падает одинаково, он преклонял колени, думая, что достиг исполнения своих желаний. Если же он, как часто бывает, неудачно разбрасывал кости по столу и они располагались так, что предвещали недоброе,— он проклинал весь Книд

и падал духом, как от непоправимой беды; спустя недолгое время он вновь хватал бабки и старался новым броском исправить прежний промах. А когда страсть его разгоралась еще сильнее, он покрывал надписями всю стену, и нежная кора каждого молодого дерева славил прекрасную Афродиту. Наравне с Зевсом он чтит Праксителя, и всякая прекрасная драгоценность, хранившаяся у него в доме, становилась приношением богине. Наконец от чрезмерного напряжения своих вожделений он впал в отчаяние: тогда и нашлась дерзкая мысль, которая, как сводня, помогла ему удовлетворить желание. Когда солнце клонилось к закату, он незаметно для присутствующих прокрался и, затаив дыхание, встал неподвижно за дверью, в самой глубине; и после того как прислужники, по обыкновению, закрыли дверь снаружи, наш юный Анхис остался заперт внутри. Как рассказать в подробностях о нечестии той несказанной ночи? Ни я, ни кто другой не сможет этого сделать. На следующий день были замечены следы этих любовных объятий, и на теле богини появилось пятно — улика того, что она испытала. А сам юноша, как повествует народная молва, исчез совсем: говорят, он бросился на скалы или в морскую пучину.

17. Когда прислужница рассказывала все это, Харикл, прервав ее речь, воскликнул: «Так, значит, женщину любят, даже если она из камня! А что было бы, если б кто-нибудь увидел подобную красоту живой? Разве не счел бы он, что одна только ночь с нею дороже скипетра Зевса?» А Калликратид возразил, улыбнувшись: «Ведь неизвестно, Харикл, не услышим ли мы множество подобных рассказов, когда будем в Феспиях. Да и теперь на теле той самой Афродиты, которую ты так ревностно чтить, имеется ясное доказательство моей правоты». — «Как так?» — спросил Харикл, и Калликратид отвечал ему, по-моему, весьма убедительно. Он сказал, что влюбленный юноша, получивши на целую ночь свободу, имел полную возможность насытить свое вожделение; и при этом он совокупился с изваянием, как с мальчиком; он желал, видимо, чтобы и спереди женское не было женским. Так наговорили они друг другу много бессвязных слов, пока я не прервал их невнятный и шумный спор, сказавши: «Друзья мои, ведите исследование по порядку, как полагается по законам хорошего воспитания.

Оставьте эти беспорядочные и ни к чему не ведущие препирательства, и пусть каждый из вас по очереди произнесет пространную речь в защиту своего мнения. Уходить на корабль нам еще не время, а досуг следует употребить и на веселье, и на такое занятие, которое может не только доставить удовольствие, но и принести пользу. Выйдем из храма (ведь сюда для исполнения обрядов явилась большая толпа), свернем в одну из этих кущ, чтобы можно было спокойно выслушать и высказать все, что захотим. Но помните: тот, кто будет сегодня побежден, никогда не станет докучать нам разговорами о том же самом предмете».

18. Все решили, что я прав, и согласились со мною. Мы вышли; я был весел, потому что никакая забота не угнетала меня, а они шли в большой задумчивости, так и сяк обдумывая свои доводы, как будто им предстояло состязаться за право идти впереди процессии в Платеях. Когда же пришли мы в убежище, заросшее деревьями и тенистое в это жаркое время года, я сказал: «Вот приятное место! Здесь над головою звонко вторят нам цикады...» С этими словами я сел посредине, совсем как судья, и в насупленных бровях у меня была вся гелиея. Потом предложил я им обоим тянуть жребий, кому говорить первым; он выпал Хариклу, и я повелел ему тотчас начать речь.

19. Он молча потер лицо рукой и, выждав немного, начал примерно так: «Тебя, повелительница Афродита, тебя зовут мои моления: будь помощницей в речи, которую я должен произнести в твою защиту. Ведь то дело, которому уделаешь ты хоть каплю своего умения убеждать, становится самым совершенным, а речи о любви особенно в тебе нуждаются: ведь ты — их родная мать. Женщина сама — будь защитницей женщины, а мужчинам дай оставаться тем, чем они родились: мужчинами! Тотчас в начале своей речи призываю в свидетели всего того, что я почитаю правильным, праматьер и первопричину всякого рождения! Я имею в виду священную мать всего сущего — природу, которая, сочетав первичные стихии мироздания — землю, воздух, огонь и воду, — из их взаимного смешения породила все живое и одушевленное. Зная, что мы сотворены из смертной материи и что краток срок жизни, предназначенной каждому, она устроила так, что гибель одного служит рождению другого. Умершее она соразмерно возмещает рождающимся, чтобы мы

вечно жили, сменяя друг друга. Но ничто не может родиться от одного существа; поэтому она сделала природу каждого вида двойственной: мужскому полу она дала в удел выделение семени, а женский — сделала как бы вместительницей рождаемого. Вложив в оба пола взаимное влечение, она сочетала их друг с другом, предписав нерушимый закон, чтобы и тот и другой пол оставался верен своему естеству и чтобы ни женщины не вели себя, вопреки природе, как мужчины, ни мужчины непристойно не изнеживались. Благодаря этому лишь общение мужчин с женщинами до сих пор сохраняет в непрерывных сменах поколений человеческую жизнь бессмертной: ведь ни один мужчина не может похвалиться, что рожден мужчиной. Двум самым почтенным именам достается вся честь, и одинаково чтят люди отца и мать.

20. Вначале, когда люди еще жили и думали, как и в век героев, и старались приблизиться к богам своей добродетелью, они повиновались законам, установленным природой: достигнув должного возраста, мужчины сочетались браком с женщинами и становились отцами благородных детей. Но вскоре люди спустились с этой высоты в пучину удовольствий и проложили странные и невиданные пути к наслаждению. Сластолюбие, которое дерзает на все, преступило законы самой природы. Кто же первый взглянул на мужчину как на женщину, прибегнув к одному из двух: или к тираническому насилию, или к бесчестному обольщению? На одном ложе сошлись существа одной природы; видя себя самого в другом, они не стали стыдиться ни того, что делают, ни того, что испытывают. Они, как говорится, бросают семя на бесплодный камень, получая малое наслаждение ценою большого бесчестия.

21. Их дерзость дошла до такого тиранического насилия, что даже железом оскверняют они природу: истребив в мужчине его пол, они находят более обширные пределы для своих наслаждений. А те, жалкие и несчастные, чтобы дольше быть мальчиками, перестают быть мужчинами: двусмысленная загадка двойственной природы, они не остались тем, кем родились, и не приобрели качеств того пола, в который перешли. И то, что делается, дабы продлить им цветение юности, заставляет их чахнуть и преждевременно стариться. Они считаются детьми — и одновременно успе-

ли стать стариками, даже недолгое время не побыв мужчинами. Так нечистое сластолюбие — наставник во всяческой мерзости, — изобретая одно бесстыдное наслаждение за другим, доходит до такого порока, который и назвать прилично нельзя; лишь бы ни один вид беспутства не остался неиспытанным!

22. А если бы каждый придерживался законов, установленных для нас провидением, то мы довольствовались бы общением с женщинами, и жизнь очистилась бы от позора. В самом деле, сохраняется же закон природы в чистоте среди животных, которые не могут ничего испакостить своими дурными наклонностями: львы не беснуются от любви ко львам, а своевременно возбуждает в них Афродита страстное стремление к львицам, бык — вожак стада — покрывает коров, а баран оплодотворяет мужским семенем целую отару. Что же? Разве кабаны не ищут самок? Разве не с волчицами спариваются волки? Вообще ни среди птиц, щебечущих в воздухе, ни среди тех, кому выпал жребий жить под водой, ни среди животных, обитающих на суше, никогда самец не стремится к общению с самцом, и незыблемы остаются законы провидения. А вы, люди, напрасно хвалитесь своим разумом; на самом деле именно вы — негодные звери! Какой невиданный порок побуждает вас преступать все законы и предаваться взаимному нечестью? Какая слепая бесчувственность окутала ваши души, если вы впали в двойной грех, избегая того, за чем следует гнаться, и гонясь за тем, чего следует избегать? Да если все люди один за другим решат, что лишь к этому нужно стремиться, — не останется больше ни одного человека.

23. Здесь и появляются у последователей Сократа эти удивительные речи, которыми они морочат слух мальчиков, не обладающих еще зрелыми суждениями. Но человек, разум которого достиг расцвета, не может ими увлечься. Эти люди притворяются, будто любят душу, и, стыдясь любить красоту тела, именуют себя любителями добродетели. Пороку мне хочется просто смеяться над ними. Почему же вы, возвышенные философы, с презрением пренебрегаете человеком, который дал себя испытать в течение долгого времени и показал, каков он есть, о чьей добродетели свидетельствует седина и старость? Почему вся ваша мудрая любовь стремится лишь к юным, о ком еще никак нельзя судить, к чему они обратятся в жизни? Или есть

такой закон, что всякое внешнее безобразие нужно осудить и за нравственную низость, а все красивое восхвалять как нравственное, прекрасное? Но ведь согласно великому провозвестнику истины — Гомеру —

Тот по наружному виду внимания мало достоин,
Прелестью речи зато наделен от богов; веселятся
Люди, смотря на него, говорящего с мужеством твердым
Или с приветливой кротостью; он — украшенье собраний,
Бога в нем видят, когда он проходит по улицам града.

И еще где-то он снова сказал:

Видно, с лицом у тебя твой рассудок не сходен.

И конечно, мудрого Одиссея он восхваляет больше, чем прекрасного Нирея.

24. Почему же ничью любовь не привлекает ум, справедливость и прочие прекрасные качества, которые достались в удел зрелым людям, а красота мальчиков вызывает сильнейшие волнения страстей? Конечно, следовало, о Платон, полюбить Федра за то, что он предал Лисия. Или пристойно было влюбиться в доблестного Алкивиада, который увечил статуи богов и за выпивкой разбалтывал тайны Элевсинских мистерий? Какой человек признает себя любовником того, кто предал Афины, из-за кого Декелея была укреплена врагом, кто всю жизнь стремился к тирании? Но, как говорит божественный Платон, Алкивиад, пока не оброс бородой, был всем любезен: а когда, выйдя из отрочества и став мужчиной, он достиг того возраста, в котором несовершенный дотоле разум приобретает всю силу суждения, — все его возненавидели. Что же? Прикрывая постыдные страсти стыдливými именами, эти люди — скорее любители юношей, чем любители мудрости — называют нравственным совершенством телесную красоту. Но довольно говорить об этом; пусть не кажется, что я с неодобрением вспоминаю великих людей.

25. Оставим ненадолго эти серьезные вопросы и снизойдем до обсуждения ваших, Калликратид, наслаждений; и тут я докажу, что связь с женщиной намного приятнее, чем с мальчиком. Во-первых, я думаю, что всякое удовольствие тем слаще, чем оно длительнее: ведь острое и мимолетное наслаждение прекращается прежде, чем успеешь его испытать, а все приятное становится еще приятнее, если его растянуть. Вот если бы скаредная пряжа Мойра продлила срок

нашей жизни, если бы нам постоянно сопутствовало здоровье и никакая печаль не омрачала нам настроение! В торжествах и празднествах проводили бы мы тогда все время. Но раз завистливое божество отняло у нас самые большие блага, то из оставшихся приятнее всего те, которыми мы дольше обладаем. А женщина с девичества и до того возраста, когда пролегла наконец последняя морщина старости, желанна для мужских объятий и ласк, даже если она уже перешагнула пору своего расцвета: ведь «опытность умеет говорить мудрее юности».

26. Если кто-нибудь попробует сойтись с двадцатилетним юношей, он, мне кажется, предается противоестественной похоти, гонясь за сомнительными успехами. Жестки и массивны возмужавшие члены возлюбленного, шершав подбородок, прежде нежный, а теперь обросший молодой щетиной, и сильные бедра покрыты волосами, как грязью. Есть и не такие явные изъяны, но их я предоставляю знать вам, искушенным. А у любой женщины кожа всегда блистает прелестью и завитки густых локонов падают волнами, подобные прекрасно цветущим гиацинтам: одни распущены сзади и украшают спину, другие щедро выются вокруг ушей и висков, кудрявее луговых трав. И все остальное тело, на котором не растет ни единого волоса, блистает ярче электра или сидонского стекла.

27. А разве в наслаждениях мы не должны стремиться к взаимности, к тому, чтобы обе стороны получали равное удовольствие? Ведь не радует нас, как бессловесных животных, жизнь в одиночестве: нет, нас связывает дружелюбное общение, и все хорошее кажется нам еще приятнее, когда мы делим его друг с другом, а все неприятности становятся легче, когда их переносим вместе. Поэтому люди и придумали совместную трапезу. Поставив столы посредниками дружбы, мы в должной мере ублажаем желудок кушаньями; и при этом не в одиночестве пьем мы, например, фасосское вино, не в одиночку наедаемся роскошными яствами. Наоборот, каждому приятнее разделить все это с другими, и, сделав друга соучастником пиршества, мы сами получаем удовольствие.

28. Так и сойдясь с женщиной, мы поровну даем друг другу одинаковое наслаждение, и радостно расстаются любящие, получив поровну (если мы не признаем судьей в этом деле Тиресия, который гово-

рит, что наслаждение женщины вдвое превосходит наслаждение мужчины). Нельзя, по-моему, в себялюбивой жажде наслаждений заботиться только о том, чтобы себе забрать нечто приятное и самому получить от другого все наслаждение; лучше разделить то, что ты сам получил, и дать взамен равную долю. Однако никто еще не обезумел настолько, чтобы сказать, будто и с мальчиками дело обстоит так же. Наоборот, совратитель удаляется, получив изысканное, по его мнению, наслаждение, а на долю обесчещенного остаются поначалу только боль и слезы. Потом, когда с течением времени боль немного уменьшается, остается, как говорят, только доука, удовольствия же не испытывает он ни капли...»

29. Все это Харикл говорил горячо, со все возрастающим напряжением; когда же он кончил, грозно и дико смотрели исподлобья его глаза. Мне казалось, что он совершает какой-то очистительный обряд против любви к мальчикам. Слегка улыбнувшись, я медленно перевел взгляд на афинянина и сказал: «Я думаю, что буду судьей в смешном и шуточном споре, но рвение Харикла, сам не знаю как, сделало мою задачу куда более серьезной. Ведь он говорил с таким волнением, будто вел в Ареопаге дело об убийстве, поджоге или, клянусь Зевсом, отравлении. Настал срок — теперь или никогда: нужно, чтобы в одной твоей речи ожили Афины, Периклово искусство убеждать и все красноречие десяти ораторов, с которым они ополчились на македонян. Пусть она напоминает одно из публичных выступлений на Пниксе».

30. Калликратид, выждав немного (по его лицу казалось, что он весь поглощен спором), начал ответную речь: «Если бы женщинам было дано право участвовать в Народном собрании, судах, государственных делах, они избрали бы тебя, Харикл, своим вождем или заступником и даже поставили бы тебе в награду на площади медные статуи. Вряд ли и сами они могли выступать в свою защиту с таким рвением, если бы кто-нибудь дал им возможность выступать. Не сделали бы этого даже те, кто, как считают, выделялся среди них своей мудростью: ни ополчившаяся против спартанцев Телесилла, из-за которой Арес в Аргосе считался богом женщин, ни сладкогласная гордость Лесбоса — Сапфо, ни дочь пифагорейской мудрости Феано; и Перикл, наверно, не говорил так, защищая

Аспасию. Но раз уж прилично мужчинам произносить речи в защиту женщин, то выступим же и мы — мужчины — в защиту мужчин. Будь же благосклонна к нам, Афродита, — ведь мы чтим твоего Эрота.

31. Я полагал, что у нас пойдет шуточный веселый спор, но раз уж вздумал Харикл ради женщин пуститься в рассуждения, то и я с радостью воспользуюсь его примером и докажу, что только в любви к мальчикам наслаждение сочетается с добродетелью. Как хотел бы я (о, если бы это было возможно!), чтобы возле нас рос платан, когда-то внимавший словам Сократа, — дерево, более счастливое, чем Академия или Ликей. Под ним лежал Федр, как рассказывает божественный муж, снискавший величайшую славу. Может быть, помня еще прекрасного Федра, дерево зашумело бы своими ветвями, как додонский дуб, и этим священным голосом прославило бы любовь к мальчикам. Но это невозможно, ибо

беспредельные нас разделяют
Горы, покрытые лесом, и шумные волны морские.

Как странники, застигнуты мы на чужбине, а Книд дает преимущество Хариклу. Но не предадим же истины, уступив страху!

32. Лишь ты, небесный бог, вовремя явись нам, — благосклонный к дружбе, предводитель таинств Эрот; явись не тем злым ребенком, каким в шутку рисует тебя рука живописца, но от рождения совершенным, каким породило тебя первосозидающее начало. Это ты из неясной расплывчатой бесформенности создал форму всего сущего. Ты открыл могилу, в которой пребывало мироздание, и прогнал разлитый повсюду хаос в самые дальние глубины тартара, где воистину

есть и медный порог, и железные двери, —

и откуда он, скованный нерушимой стражей, не может выйти назад. Ярким светом ты разверз темную ночь и стал творцом всего неодушевленного и всего, что имеет душу. Вложив в сердца людей прекрасное единодушие, ты дал им высокое свойство дружбы, чтобы с ранних лет, когда душа еще чужда зла и податлива, вместе с ней вырастали, мужали и становились совершенными добрые чувства к другим.

33. Брак изобретен как средство, необходимое для продолжения рода, но только любовь к мужчине до-

стойно повелевает душой философа. Ведь все, чем занимаемся мы не ради нужды, а ради красоты и изящества, ценится больше, чем нужное для непосредственного употребления, и всегда прекрасное выше необходимого. Пока жизнь людей протекала в невежестве и не было у них досуга, чтобы каждый день искать лучшее, они поневоле ограничивались самым необходимым, потому что недостаток времени не давал им возможности открыть, как жить хорошо. Потом, когда не стало уже этой вечно тяготеющей нужды, умы потомков, освобожденные от уз необходимости, приобрели свободное время, чтобы придумать что-нибудь получше, отчего постепенно возросли разные знания. Это можно видеть на примере самых совершенных искусств. Когда появились первые люди, они старались только каждый день утолить свой голод. Недостаток необходимого не позволял им выбирать, и, в плену у постоянной нужды, они питались первой попавшейся травой, выкапывали мягкие корешки и чаще всего ели желуди. Но со временем, увидев, как благодаря новооткрытым трудам земледельцев ежегодно приносит новый плод посев пшеницы и ячменя, люди оставили прежнюю пищу на долю бессловесных животных. И никто не будет настолько безумен, чтобы сказать, что дуб лучше колоса.

34. Дальше. Разве в самом начале жизни люди, нуждаясь в покровах, не надевали шкур, содранных с диких зверей? И разве не додумались они, что горные пещеры и дупла в корнях сухих растений могут служить убежищами? Подражая этим образцам и все время совершенствуя свое подражание, люди выткали себе платье, построили жилища. Незаметно шли вперед эти искусства, взяв в учителя время; и вот красиво запестрели гладкие прежде ткани, вместо жалких домишек научились строить из великолепных камней высокие палаты, а безобразие голых стен покрывать яркими разноцветными красками росписей. Все эти искусства и науки, прежде безмолвные и погруженные в глубокое забвение, взэшли после долгого заката во всем своем блеске, потому что каждый, открыв что-нибудь, передавал свое открытие тому, кто шел за ним; так весь ряд преемников восполнил недостающее, ибо всякий прибавлял новое к тому, чему научился сам.

35. Так пусть никто не ищет в древности любви к мальчикам: ведь необходимо было сходить с женщинами, чтобы наш род не погиб совершенно, лишенный оплодотворения. Но только в наш век, ничего не оставляющий неисследованным, появились на свет разнообразные знания и те стремления, которые возбуждает в нас благородная жажда прекрасного. Тогда вместе с божественной философией расцвела и любовь к мальчикам. А когда придумано новое, не следует, Харикл, порицать его, называя негодным только потому, что оно не было открыто раньше. Не считай, что общение с женщинами лучше любви к мальчикам только потому, что оно несет печать более древних времен. Будем же считать древние привычки необходимыми, но разве не заслуживает большего уважения то, что жизнь открыла, когда люди приобрели досуг для измышлений.

36. Я тут едва удержался от смеха, когда Харикл восхвалял бессловесных животных и скифские пустыни: ведь от чрезмерного увлечения спором он чуть было не пожалел о том, что родился эллином. При этом он не понизил голос, чтобы скрыть свои слова, как человек, который сказал не то, что хотел; нет, крича во все горло, громким голосом заявил он: «Не сходятся друг с другом самцы ни у львов, ни у медведей, ни у кабанов: лишь стремление к самкам властвует над ними». А что в этом странного? Ведь существам, лишенным разума и неспособным мыслить, недоступно то, что люди избирают разумным суждением. Если бы Прометей или какой-нибудь другой бог наделил их человеческим разумом, то не обитали бы они в одиночку в горах и не поедали бы друг друга, а, воздвигнув, как мы, святилища, жили бы каждый в своем доме с домашним очагом посередине и создали бы государство с общими законами. Что же удивительного, если животные, которые по их собственной природе осуждены провидением не получить благ, доставляемых разумом, лишены вместе со всем остальным и влечения к мужскому полу? Самцы львов не живут друг с другом — но ведь они не занимаются и философией. Не сходятся друг с другом медведи-самцы — но ведь им неведома вся красота дружбы. А человеческий разум и знания, из частых опытов выбрав лучшее, признали любовь к мальчику самой верной.

37. Так не собирай же, Харикл, рассказы гетер о нашей распутной жизни и голословно не издевайся над нашей скромностью. Не путай небесного Эрота с Эротом-младенцем, а подумай — правда, поздно тебе все это переучивать в твоём возрасте, но подумай хоть теперь, если не подумал раньше: ведь Эрот — бог двойственный, и не одинаково вдохновляет он нас и будоражит наши души. Один Эрот, как я думаю, мыслит совсем по-детски, и рассудок не в силах управлять его нравом; он наполняет души людей неразумных; больше всего его занимает страсть к женщинам. Он — друг мимолетного необузданного желания — заставляет человека в безрассудном порыве гнаться за предметом вожделения. Другой Эрот — отец Огиговых времен, чистым и священным предстает он пред нашими взорами. Повелитель непорочных влечений, он вдыхает кротость в душу каждого, и мы, получившие в удел милость этого бога, преданы лишь тем наслаждениям, которые сочетаются с добродетелью. Ведь и в самом деле, по словам трагического поэта, двойственным дыханием дышит Эрот, и мы под одним названием объединяем несходные страсти. Стыд тоже — божество двойственное, приносящее нам и пользу и вред:

Людам приносит стыд и вред и пользу большую;
Так же две существуют различных Эриды на свете,
А не одна лишь всего. С одобреньем отнесся б разумный
К первой; другая достойна упреков. И духом различны
Обе...

Так нет ничего странного и в том, что страсть получила то же имя, как и добродетель, так что любовью именуют и разнузданное наслаждение, и целомудренную привязанность.

38. Харикл сказал: «Ты ни во что не ставишь брак, ты изгоняешь из жизни весь женский пол; как же сохранимся тогда мы, люди?» Да, нам можно было бы позавидовать, если б мы, как говорит мудрейший Еврипид, избавленные от сношений с женщинами, приходили бы в храмы и святилища и там за серебро и золото покупали бы детей для продолжения рода. Необходимость наложила нам на плечи тяжелое ярмо и силой принуждает нас следовать ее велениям. Так избежим разумом прекрасное, и пусть только полезное подчиняется необходимости. Пока дело касается детей — пусть сохраняют значение женщины; но во всем

остальном — прочь, знать и не хочу! Кто же в здравом уме мог бы перенести женщину, которая с раннего утра прикрашивается с помощью неестественных ухищрений? Ее подлинный вид безобразен, и лишь искусственные украшения скрадывают природную неприглядность.

39. Тот, кто взглянул бы на женщин, когда они только что встали с ночного ложа, решил бы, что они противнее тех тварей, которых и назвать утром — дурная примета. Поэтому и запираются они так тщательно дома, чтобы никто из мужчин их не увидел. Толпа старух и служанок, похожих на них самих, обступает их кругом и натирает изысканными притираниями их бедные лица. Вместо того чтобы, смыв чистой струей воды сонное оцепенение, тотчас взяться за какое-нибудь важное дело, женщина разными сочетаниями присыпок делает светлой и блестящей кожу лица; как во время торжественного народного шествия, подходят к ней одна за другой прислужницы, и у каждой что-нибудь в руках: серебряные блюда, кружки, зеркала, целая куча склянок, как в лавке торговцев снадобьями, полные всякой дряни банки, в которых, как сокровища, хранятся зелья для чистки зубов или средства для окраски ресниц.

40. Но больше всего времени и сил тратят они на укладку волос. Одни женщины прибегают к средствам, которые могут сделать их локоны светлыми, словно полуденное солнце: как овечью шерсть, они купают волосы в желтой краске, вынося суровый приговор их естественному цвету. Другие, которые довольствуются черной гривой, тратят все богатства своих супругов: ведь от их волос несутся чуть ли не все ароматы Аравии. Железными орудиями, нагретыми на медленном огне, женщины закручивают в колечки свои локоны; излишек волос спускается до самых бровей, оставляя открытым лишь маленький кусочек лба, или пышными завитками падает сзади до самых плеч.

41. Затем пестрые сандалии затягивают ногу так, что ремни врезаются в тело. Для приличия надевают они тонкотканую одежду, чтобы не казаться совсем обнаженными. Все, что под этой одеждой, более открыто, чем лицо, — кроме безобразно отвисающих грудей, которые женщины всегда стягивают повязками. Зачем распространяться и о других негодных вещах, которые стоят еще дороже? С мочек свисают грузом во

много талантов эритрейские камни; запястья рук обвиты змеями — если бы это были настоящие змеи, а не золотые! Диадема обегает вокруг головы, сверкая индийскими камнями, как звездами; на шее висят драгоценные ожерелья, и до самых ступней спускается несчастное золото, закрывая каждый оставшийся обнаженным кусочек голени. А по заслугам было бы железными путами связать им ноги у лодыжек! Потом, заколдовав себе все тело обманчивой привлекательностью поддельной красоты, они румянят бесстыдные щеки, натирая их морской травой, чтобы на бледной и жирной коже заалел пурпурный цветок.

42. А как проводят они время после таких приготовлений? Сразу же уходят из дому, чтобы поклоняться всяким богам, гибельным для мужей (некоторых из них несчастные мужчины не знают даже по имени), — всем этим Колиадам и Генетиллидам, а то и Фригийскую богиню чтут они, совершая шествия в память ее несчастной любви к пастуху. Тайные празднества без мужчин, подозрительные мистерии, которые — почему бы не сказать прямо? — развращают душу. По приходе оттуда, дома — тотчас же долгое умывание и обильная, клянусь Зевсом, еда, и при этом — великое жеманство перед мужчинами. Насытившись при всем своем обжорстве так, что им никакая пища уже в горло не лезет, они кончиками пальцев отщипывают от каждого стоящего перед ними блюда кусочки, все пробуют и при этом рассказывают о своих ночах, проведенных с мужчиной, о постели, полной женской неги, так что каждый, встав с нее, нуждается в немедленном омовении.

43. Таковы признаки их постоянного времяпрепровождения. А если бы кто-нибудь захотел в подробностях узнать и более серьезную правду, тот и в самом деле проклял бы Прометея и произнес слова Менандра:

Не справедливо ль Прометей прикован был
К скале Кавказской, как его рисуют все?
Он светоч дал — но ничего хорошего
Не дал он больше. Боги величайшие,
Из ненависти к вам он женщин вылепил,
Нечистых тварей. Женишься ты? Женишься?
Так ждут тебя дурные страсти тайные,
Любовник, что на брачном ложе нежится,
И яд, и зависть — самый злой недуг из всех,
Которыми всю жизнь страдает женщина.

Кто же гонится за этими благами? Кому по душе такая несчастная жизнь?

44. Теперь стоит противопоставить женским порокам мужественный образ жизни юноши. Рано встав с одинокого ложа, простою водой смыв с глаз остатки сна и надев священную хламиду, он уходит от отцовского очага и идет, потупившись и не глядя ни на кого из встречающих. Провожатые и дядьки следуют за ним пристойной толпою, держа в руках скромные орудия добродетели: не глубоко прорезанные зубьями гребни, пригодные только чтобы приглаживать волосы, и не зеркала — неписанные изображения, точно передающие наши черты; нет, за юношей несут складные таблички, книги, хранящие память о доблести древних деяний, и, если ему нужно идти к учителю музыки, — сладкозвучную лиру.

45. Укрепив душу философскими познаниями и насытив разум благами всестороннего образования, юноша совершенствует тело достойными свободного человека упражнениями. Он занят фессалийскими конями, а потом закаляет свою юность, в мирное время изучает военное дело, бросая дротики и пуская стрелы меткою рукой. Потом — умощения палестры; под зноем полуденного солнца покрывается пылью крепнущее тело, и каплями стекает пот трудных состязаний. После этого — недолгое умывание и умеренная трапеза, подкрепляющая юношу для предстоящих вскоре трудов; и снова с ним учителя и записи, в которых намеками или прямо рассказано о делах древности: кто из героев был храбр, кто проявил высокий разум или кто был предан справедливости и умеренности. Такими примерами доблести воспитывается юная и еще податливая душа. Когда же вечер прекратит его труды, юноша умеренно отдает необходимую дань потребностям желудка и, успокоенный дневной усталостью, спит сладким, достойным зависти сном.

46. Так кто же мог бы не влюбиться в такого юношу? Кто настолько слеп, у кого настолько поврежден разум? Как не полюбить его — Гермеса в палестрах, в игре на лире Аполлона, конника, не уступающего Кастору? Ведь он, смертный телом, стремится достичь божественной доблести. А по мне, боги небесные, пусть бы вся моя жизнь прошла так, чтобы я сидел против друга и слышал вблизи его милые речи, выхо-

дил, когда он выходит, и во всяком деле был вместе с ним. Влюбленный хотел бы, конечно, чтоб его возлюбленный, не спотыкаясь и не уклоняясь, прошел через жизнь к старости, не испытав ни горя, ни завистливой злобы судьбы. Но если уж, по закону человеческой природы, его постигнет болезнь,— я буду болеть вместе с ним, когда он страдает. И если в зимнюю непогоду он выйдет в море, я поплыву вместе с ним. Если насилие тирана наденет на него оковы, я сам себя закую в такое же железо. Всякий, кто ненавидит его, будет мне врагом, и другом будет тот, кто к нему расположен. Если бы я увидел, что на него напали враги или разбойники, я поднял бы против них оружие, хотя бы это было и свыше моих сил. А если бы он умер, не вынес бы жизни и я; как мою последнюю волю, я завещаю тем, кого после него я любил больше всех, чтобы над нами обоими насыпали общий могильный холм и, смешав кости с костями, не разделяли бы нашего безгласного праха.

47. Не моя любовь к тем, кто ее достоин, первой предначертала все это. Нет, дух героев, близкий к богам, установил закон, чтобы эта любовь к друзьям жила до самой их смерти и улетучивалась лишь с последним вздохом. С младенческого возраста соединила Фокида Ореста с Пиладом; взяв бога посредником во взаимных чувствах, они как бы в одной ладье проплыли весь жизненный путь: вместе умертвили Клитемнестру, как будто оба были детьми Агамемнона, ими обоими был убит Эгисф. Когда Кары гнали Ореста, еще больше страдал Пилад, и вместе с ним вел он тяжбу, когда Ореста судили. Эту влюбленную дружбу они не ограничили пределами Эллады, а вместе поплыли в самые дальние Скифские края, один — страдая от болезни, другой — заботясь о нем. Когда же ступили они на землю Таврики, тотчас приняла их Эриния, мстящая матереубийцам. Один упал, пораженный обычным припадком безумия, и лежал среди обступивших их варваров, а Пилад,

больному пену с губ
Полою отирая, от ударов
Его плащом искал загородить.

Он проявил нрав не только любовника, но и отца. Когда же было решено, что один из них останется, чтобы

быть убитым, а другой уедет в Микены, чтобы отвезти письмо, каждый хотел остаться вместо другого, думая, что сам будет жить в живом друге. Орест не хочет брать послания, считая, что Пилад достойнее взять его. Поэтому он становится, можно сказать, из любимого любящим:

Его

Оставить вам на жертву тяжело мне:
Ведь я — хозяин бедственной лады.

И немного спустя он говорит:

Ты отдашь

Ему письмо. Не беспокойся, в Аргос
Он передаст таблички, и твои
Уладятся дела. Меня ж, кто хочет,
Пусть убивает.

48. И так же дело обстоит во всем. Ведь когда эта чистая любовь, вскормленная с детских лет, возмужает и будет донесена до того возраста, в котором человек уже может мыслить разумно, тот, кто был любим, платит ответной любовью, и трудно разобрать, кто же в кого влюблен, ибо привязанность любимого, как зеркало, отражает точное подобие чувства любящего. Зачем же ты порицаешь, как чуждое нашей природе сластолюбие, то, что было определено божественными законами и дошло до нас, передаваясь из поколения в поколение? Охотно приняв этот завет, мы с чистой душой храним его, как святыню. И, согласно изречению мудрецов, действительно счастлив

Тот, чьи слуги юны и кони крепки копытом,
И для того старика старость приятна, кого
Юноши любят...

А учение Сократа и это блестящее судилище добродетели даже Дельфийские треножники удостоили почестей, ведь Пифиец провозгласил истину, изрекши, что

Среди людей земных Сократ мудрее всех.

Этот Сократ к прочим своим учениям, которые приносят пользу в жизни, прибавил и завет любви к мальчикам, потому что она в высшей степени полезна.

49. Любить юношей следует так, как любил Алкивиада Сократ, спавший с ним под одним плащом сном

отца. А я, кончая свою речь, с удовольствием прибавил бы ко всему сказанному слова Каллимаха

Если бы вы, что глядите на юношей алчущим взором,
Так их любили, как вам Эрхий любить повелел,—
Был бы ваш город тогда мужами добрыми полон.

Помните это, юноши, и целомудренно подходите к мальчикам, добрым нравом! Не жертвуйте долгой привязанностью ради краткого наслаждения, которое вы прикрываете, до тех пор, пока возлюбленный достигнет зрелости, притворным чувством дружбы. Чтя небесного Эрота, с детства до старости храните ваши чувства. Для тех, кто так любит, вся жизнь проходит приятно, потому что их душу не грызет совесть за что-нибудь постыдное, и после смерти к ним ко всем приходит добрая слава. А если верить сынам философов, то тех, кто был этому предан, после земли принимает эфир, и после смерти они получают лучшую жизнь как нетленную награду за добродетели.

50. Калликратид произнес все это торжественно и с юношеским увлечением. Харикл пытался говорить второй раз, но я прервал его, потому что нам пора было возвращаться на корабль. А когда они попросили меня объявить свое мнение, я, подумав недолгое время и взвесив речи обоих, сказал: «Мне кажется, что не экспромтом и не небрежно, друзья мои, произнесли вы свои речи. Клянусь Зевсом, каждая из них носит следы постоянного и усиленного размышления: из того, что следовало говорить, вы почти ничего не пропустили, так что другим нечего сказать на эту тему. Немал ваш опыт в этих делах, еще больше — убедительность речи; поэтому мне хотелось бы, если б это было возможно, стать Фераменом, которого прозвали «Башмак на обе ноги»; тогда вы оба наравне вышли бы победителями. Но кажется, вы сами не допустите затяжки, да и я решил, что во время плаванья нам не должно все время докучать одно и то же. Поэтому я объявляю, что представляется мне справедливым.

51. Браки полезны людям в жизни и, в случае удачи, бывают счастливыми. А любовь к мальчикам, поскольку она завязывает узы непорочной дружбы, является, по-моему, делом одной философии. Поэтому жениться следует всем, а любить мальчиков пусть будет позволено одним только мудрецам. Ведь ни одна жен-

щина не обладает полной мерой добродетели. А ты, Харикл, не сердись, если Коринф уступит Афинам».

52. От смущения я высказал свое решение поспешно и коротко и тотчас же встал: я видел, что Харикл чересчур уж пал духом, как будто его приговорили к смерти. Зато афинянин с сияющим и веселым лицом вскочил и гордо пошел вперед, так что могло показаться, будто именно он разбил персов под Саламином. От этого моего решения я имел по крайней мере ту выгоду, что, празднуя победу, Калликратид угостил нас еще более блестящим обедом, чем обычно; а его образ жизни и всегда отличался великолепием. Потихоньку утешил я и Харикла, непрерывно восхищаясь искусностью его речи и удивляясь сверх меры, как он в менее выгодном положении защищался с такой силой.

53. Так провели мы время на Книде, таким примерно решением завершилась наша беседа, в которой серьезная веселость сочеталась с изящной шуткой. Но, Феомнест, раз ты уж вызвал во мне это давнишнее воспоминание, то скажи: что бы ты ответил, если б был тогда судьей?

Феомнест. Уж не считаешь ли ты меня, клянусь богами, Мелетидом или Коребом, чтобы я подал голос против твоего справедливого приговора? Ведь я получил от твоих рассказов такое большое удовольствие, что мне казалось, будто сам я нахожусь на Книде, а этот маленький домик и есть тот знаменитый храм. Однако (ведь нет ничего неприличного в том, чтобы сказать об этом в праздник, и, мне кажется, всякий смех, даже если он слишком вольный, сегодня прозвучит торжественно) я удивляюсь высокопарности этой слишком уж надутой речи о любви к мальчикам. Мне по крайней мере кажется, что не очень приятно, проводя с мальчиком-подростком целые дни, выносить при этом Танталовы муки и терпеть жажду, когда красота плещется чуть ли не перед глазами и можно ее зачерпнуть. Мне мало смотреть на возлюбленного и, сидя напротив, слушать его речи; любовь создала целую лестницу наслаждений, и зрение в ней — только первая ступень...

54. По мне, такой пусть будет любовь к мальчикам. А все возвышенные болтуны и те, кто задирает свой философский нос выше головы, пусть пичкают неучей тонкостями высокопарных слов. И Сократ был любов-

ником, как всякий другой, и Алкивиад, когда лежал с ним под одним плащом, не встал нетронутым. Не удивляйся: и Патрокл не был любим Ахиллом лишь настолько, чтобы сидеть напротив и

Ждать Эакида, пока песнопения он не окончит.

Нет, и в их дружбе посредником было наслаждение. Ведь когда Ахилл оплакивал смерть Патрокла и не мог рассчитать свои чувства, у него вырвалась правда:

О, бедер друга близость благодатная!

А тех, кого по всей Элладе называют «комастами», я считаю не чем иным, как явными любовниками. Может быть, кто-нибудь скажет, что об этом стыдно говорить; но, клянусь Афродитою Книдской, ведь это — правда!

Л и к и н. Нет, милый Феомнест, я не допущу, чтобы ты положил здесь начало третьей речи, которую только в праздник прилично слушать, а во все прочие дни пусть она будет подальше от наших ушей. Не будем тратить больше времени, чем нужно, пойдем же на площадь! Теперь как раз следует зажечь огонь в честь бога. Это зрелище, которое напоминает присутствующим о страданиях бога на Эте, доставит нам большое удовольствие.



Филонид. Геракл! Менипп без нашего ведома умер и затем снова воскрес?

Менипп. Аид еще живому мне врата отверз.

Филонид. Но что побудило тебя предпринять это необычное и невероятное путешествие?

Менипп. И молодость, и дерзость смелого ума.

Филонид. Прекрати, дорогой, трагические выступления и говори проще, спустись с ямбов. Что это за одеяние на тебе, зачем тебе понадобилось спускаться под землю: ведь дорога туда не из приятных?

Менипп. Друг мой, в мрачный Аид я сошел, чтоб услышать там правду;

Я оракула ждал от фиванца Тирезия тени.

Филонид. Да ты с ума сошел! Нельзя же, в самом деле, обращаться к друзьям с пением стихов.

Менипп. Не удивляйся, мой друг. Я только что был в обществе Еврипида и Гомера и незаметно для себя весь наполнился поэтическими оборотами, так что ритмы сами собой просятся на язык.

2. Впрочем, оставим это. Скажи лучше, что делается на земле и что нового у вас в городе.

Филонид. Нового — ничего: все так же грабят, лжесвидетельствуют, проценты наживают, деньги взвешивают.

Менипп. Жалкие и одержимые! Они не знают, какие решения недавно приняты среди подземных теней против богатых. Постановления эти уже обнародованы, и, клянусь Кербером, нет средства избежать их.

Филонид. Что ты говоришь! Неужели там изда ны какие-нибудь новые постановления, касающиеся живых?

Менипп. Да, и даже не мало. Но запрещено рассказывать о них и разглашать эти тайны под страхом обвинения перед Радамантом в нечестии.

Филонид. Ради самого Зевса, Менипп, не откажи другу, Расскажи обо всем; ведь я умею молчать, да к тому же я и сам посвящен в мистерии.

Менипп. Ты возлагаешь на меня тяжелую обязанность и далеко не безопасную; однако ради тебя я осмелюсь выполнить ее. Итак, было постановлено, чтобы богачи, крупные собственники, дрожащие над запертым золотом, как над Данаей...

Филонид. Постой, дорогой, прежде чем ты станешь рассказывать о состоявшихся постановлениях, я с удовольствием выслушал бы от тебя, что вызвало

твое путешествие в Аид и кто был в пути твоим проводником. Затем расскажи, что ты там видел и что слышал; ведь такой любитель всего достойного внимания, как ты, без сомнения не пропустил ничего, что стоило бы посмотреть или послушать.

3. М е н и п п. Надо будет уж и это сделать для тебя. На какие только мучения не согласишься, если их причиняет друг! Итак, прежде всего расскажу тебе о своем решении посетить Аид, а затем укажу и место, откуда я начал свое путешествие.

Пока я был еще ребенком и слушал рассказы Гомера и Гесиода о войнах и возмущениях, происходящих не только между полубогами, но и между великими богами, об их прелюбодеяниях, насилиях, похищениях, тяжбах, об изгнании ими своих отцов, об их браках с сестрами,— все это казалось мне прекрасным и весьма глубоко задевало меня. Однако позднее, вступив в зрелый возраст, я заметил, что законы предписывают как раз обратное тому, что поэты запрещают: разврат, восстания и грабеж. Я оказался в большом затруднении, совершенно не зная, которой из двух противоположностей следовать. Ибо, думал я, боги никогда бы не стали прелюбодействовать и восставать друг против друга, если бы не признавали этого хорошим; но и законодатели, со своей стороны, не стали бы одобрять противоположного поведения, не считай они его полезным.

4. В своем недоумении я решил обратиться к так называемым философам, чтобы отдать свое воспитание в их руки и просить их сделать из меня что им будет угодно, и указать мне простой и прочный путь в жизни. С такими-то мыслями я и пришел к ним, даже не подозревая, что вызову, как говорится, огонь из дыма. Действительно, присматриваясь к ним, я чаще всего находил в них только незнание и сомнение, так что очень скоро жизнь невежд показалась мне золотой в сравнении с ними. Один из них, например, восхвалял наслаждение, советуя брать его где только возможно, так как в нем одном счастье; другой, напротив, учил постоянно работать и трудиться и держать в повиновении тело, живя в грязи и смраде, как предмет отвращения и глумления для всех, причем он не переставал повторять известные стихи Гесиода о добродетели, о труде в поте лица, о восхождении на вершину; третий повелевал пренебрегать имущественными блага-

ми и относиться безразлично к их приобретению; а иной, напротив, объявлял богатство, само по себе, благом. А нужно ли говорить об их взглядах на мир? Каждый день до тошноты я слышал от них мнения об идеях и бестелесных сущностях, об атомах и пустоте, и о целом множестве подобных вещей. И несноснее всего было то, что каждый в защиту своего исключительного мнения приводил решающие и убедительнейшие доводы, так что нечего было возразить ни тому, кто доказывал, что данный предмет — горячий, ни тому, кто утверждал противное, а между тем ведь очевидно, что не может же одна и та же вещь быть одновременно и горячей и холодной. Поэтому понятно, что я имел вид засыпающего человека, который то клонит голову вниз, то снова вздымает ее.

5. Но еще удивительнее у этих господ то, что они, как я заметил при своих наблюдениях, заботятся в жизни о противоположном тому, чему учат: так, те из них, которые восхваляют пренебрежение богатством, сами оказываются крепко привязанными к нему — враждуют из-за прибылей, воспитывают за плату и ради денег готовы все претерпеть. С другой стороны, отрицающие за славой всякое значение говорят и делают все ради достижения ее; наконец все, которые порицают наслаждение открыто, наедине только ему одному и предаются.

6. Обманутый в своих надеждах, я стал еще печальнее, слегка утешаясь лишь тем, что блуждаю невеждой, не зная истины, не один, но вместе с многочисленными мудрыми и весьма прославленными людьми. И вот в одну из ночей, проведенных, благодаря всем этим мыслям, без сна, я решился отправиться в Вавилон и обратиться за помощью к какому-нибудь магу, ученику и последователю Зороастра. Я слышал, будто они в состоянии известными заклинаниями и тайными обрядами открыть врата Аида, кого угодно провести в него и невредимым вывести обратно. Я думал, что будет очень хорошо, если мне удастся, при содействии одного из них, совершить путешествие в подземное царство и, встретившись там с беотийцем Тиресием, узнать от этого прорицателя и мудреца, в чем состоит добродетельная жизнь, которую должен избрать благомыслящий человек. Вскочив, я, как мог быстрее, направился прямо в Вавилон.

Прибыв на место, я сблизился там с одним халдеем, человеком мудрым и глубоко изучившим свое искусство; это был уже седой старик, с благородной бородой, по имени Митробарзан. Долгими просьбами и мольбами мне удалось наконец достигнуть того, чтобы он за какую ему угодно будет плату согласился быть моим проводником в Аид.

7. Приняв на себя заботу обо мне, этот человек прежде всего в течение двадцати девяти дней начиная с новолуния обмывал меня по утрам при восходе солнца на берегу Евфрата. При этом всякий раз он обращался к восходящему солнцу с длинным заклинанием, которого я, впрочем, хорошенько и не понимал: подобно плохим глашатаям на состязаниях, он говорил очень скоро и невнятно; видимо, впрочем, он призывал каких-то богов. Затем, после своих заклинаний, он трижды плевал мне в лицо, после чего я возвращался домой, не смотря ни на кого из встречных. Питались мы все это время плодами, пили молоко, медовую сыту и воду из Хоаспа, а ночевали на траве под открытым небом. Когда подготовительный искус был пройден, мой учитель в полночь привел меня к реке Тигру. Там он омыл меня, вытер и совершил вокруг меня очищение дымом зажженного факела, морским луком и множеством других вещей, бормоча все то же самое заклинание; затем, совершив надо мною заклятие и обойдя вокруг меня, чтобы я не пострадал от подземных теней, маг отвел к себе домой, причем я должен был всю дорогу пятиться задом; дома у нас было все нужное для нашего путешествия.

8. Сам он надел на себя какое-то платье магов, сильно напоминающее мидийскую одежду, а меня украсил вот тем, что и сейчас на мне — дорожной шляпой, львиной шкурой и лирой, и приказал, чтобы на вопросы о своем имени я отвечал не «Менипп», а называл себя Гераклом, или Одиссеем, или Орфеем.

Филонид. Это-то зачем, Менипп? Я не вижу смысла ни в этих нарядах, ни в именах.

Менипп. А между тем все это очень ясно и вовсе не заключает в себе тайны: ведь эти лица задолго до нас сходили живыми в Аид; вот он и думал, что, если сделать меня похожим на них, мне будет легче скрыться от стражи Эака и беспрепятственно пройти в Аид, точно своему человеку, под охраной трагического наряда.

9. Уже наступил день, когда мы спустились к реке, чтобы отплыть. Нам была приготовлена лодка, жертвы, мед с молоком,— словом, все, нужное для совершения тайного обряда. Все это мы уложили в лодку, и, наконец, сами вступили в нее, «проливая обильные слезы». Некоторое время мы спускались вниз по течению, затем проплыли болотистое озеро, в котором исчезает Евфрат. Переправившись через озеро, мы прибыли, наконец, в какую-то дикую, лесистую, недоступную солнечным лучам местность; здесь мы сошли с лодки,— Митробарзан шел впереди; затем, выкопав яму, заклали ягнят так, чтобы кровь их стекла в нее. Тогда маг, держа в руке зажженный факел, голосом уже не тихим, а насколько возможно сильным, стал взывать к подземным богам, призывая вместе с тем Кары, Эринии, и ночную Гекату, и мрачную Персефону, и много других божеств с варварскими, мне неизвестными и многосложными именами.

10. И вдруг все вокруг заколебалось, земля силою этого заклинания разверзлась, вдали послышался лай Кербера, стало мрачно и страшно.

Страх охватил в преисподней Аида, владыку усопших,—

ибо перед нами уже открылась значительная часть Аида с его озером, Пирифлегетоном и царством Плутона. Все же мы спустились в зияющую бездну и застали Радаманта, полумертвого от страха. Кербер лаял и метался, но лишь только я ударил по струнам лиры, как он мгновенно был околдован мелодией. Затем мы приблизились к озеру, и только с большим трудом нам удалось переправиться через него, так как лодка была уже переполнена и полна стонов: всеплыли, покрытые ранами, одни в бедро, другие в голову или еще куда-нибудь, и я подумал, что, должно быть, они явились с какой-нибудь войны. Однако милейший Харон, заметив мою львиную шкуру, принял меня за Геракла, впустил в ладью, охотно переправил на другой берег и при высадке указал нам тропинку.

11. Мы шли в полном мраке: Митробарзан шел впереди, а я, держась за него руками, следовал за ним, пока, наконец, мы не приблизились к огромному лугу, на котором росли асфодели; здесь нас окружили, оглашая воздух своим писком, тени мертвых. Пройдя еще немного, мы оказались перед судилищем Миноса; сам судья восседал на высоком троне, а по сторонам

стояли Кары, Мстители и Эринии. С противоположной стороны подводили одного за другим мертвецов, скованных длинною цепью: как говорили, это были развратники, сводники, откупщики, льстецы, доносчики — словом, целая толпа лиц, которые всем мешали в жизни. Отдельно подходили богачи и стяжатели, бледные, с отвислыми животами подагрики; на каждом из них был ошейник с привешенным грузом в два таланта. Мы остановились, чтобы посмотреть, что будет дальше, и выслушали их самооправдания; обвиняли же их какие-то совсем новые и необычные ораторы.

Филонид. Кто такие? Ради самого Зевса, не медли рассказать мне и это!

Менипп. Знаешь ли ты, какие тени бросает солнце от наших тел?

Филонид. Конечно.

Менипп. Так вот, они-то после нашей смерти выступают в качестве наших обвинителей, свидетельствуя против нас и обличая все совершенное нами при жизни. И действительно, тени являются самыми верными свидетелями, так как они постоянно находятся при нас и никогда не отходят от нашего тела.

12. Итак, Минос после тщательного следствия отправил всех их в область нечестивцев, чтобы они претерпели наказания, каждый по размеру своих преступлений, причем наиболее жестоким наказаниям он подверг тех, которые, в ослеплении своим богатством и могуществом, требовали для себя чуть ли не преклонения; ибо он ненавидел их кратковременную гордость, наглость и забвение ими того, что они, будучи смертными, пользовались лишь преходящими благами. Лишенные всего этого блеска, — я говорю о богатстве, родовитости и власти, — они стояли перед ним нагие, с опущенными головами, вспоминая, как во сне, оставленное на земле благополучие. Я очень радовался при виде всего этого, и если узнавал кого-нибудь из них, подходил к нему и спокойно напоминал, каков он был при жизни, каким пользовался влиянием, какая толпа с утра стояла у дверей его дома в ожидании его выхода, — толпа, которую теснили его рабы, перед которой запирались двери, пока он, наконец, не выходил, весь в пурпуре, золоте или в расшитой одежде, думая, что делает приветствующих его блаженными, если позволяет им целовать свою грудь или протяну-

тую руку. Выслушивать все это было крайне тягостно моим богачам.

13. Впрочем, одно дело Минос решил в пользу обвиняемого: Дионисия сицилийского обвинял Дион в целом ряде ужасных и нечестивых преступлений, совершение которых подтверждала и тень Дионисия. Однако тут подошел Аристипп киренский — он пользуется в Аиде большим почетом и влиянием — и, указывая на то, что Дионисий был весьма щедр ко многим образованным людям, освободил его от обвинительного приговора, хотя Дионисий уже едва не был отдан Химере.

14. Покинув судилище, мы направились к месту наказания преступников. Там, дорогой мой, мы увидели и слышали очень много достойного сострадания: можно было слышать удары бичей вместе со стонами поджариваемых на огне и звуки орудий пыток, железных ошейников и колес. Химера разрывала, Кербер пожирал. Все вместе — цари, рабы, сатрапы, бедняки, богачи, нищие — подвергались истязаниям, жестоко раскаиваясь в своих преступлениях. Некоторых из них мы узнали, так как они лишь недавно умерли; но они старались скрыться и отворачивались от нас, а если и взглядывали, то по-рабски — лстыиво. Подумать только, как при жизни они были могущественны и наглы. Что касается бедных, то на них возлагалась лишь половина этих мучений: они на время освобождались от них, но затем снова подвергались истязаниям. Видел я и прославленных в мифах Иксиона, Сизифа, фригийца Тантала, земнородного Тития... Геракл! какой он огромный! Он один, лежа, покрывал целое поле!

15. Пройдя дальше, мы выбрались в долину Ахеронта, где застали полубогов, героинь и остальную толпу мертвых, поделенных по народам и филам: одни были уже стары, заплесневели и, как говорит Гомер, бессильны, другие — моложе и более крепки, особенно египтяне вследствие тщательного бальзамирования.

Впрочем, узнать среди них кого-нибудь далеко не так просто: все они совершенно похожи друг на друга — одни обнаженные кости. Однако после долгого присматривания мы с большим трудом узнали иных: они лежали друг на друге и, тусклые и неясные, не сохранили ничего от былой красоты. В этой огромной куче скелетов, похожих один на другого, бросавших

на нас страшные взгляды из пустых глазных впадин и показывающих свои обнаженные зубы,— в этой толпе, конечно, трудно было отличить Ферсита от прекрасного Нирея, нищего Ира от царя феаков или повара Пиррия от Агамемнона. Действительно, у них не сохранилось ни одной из старых примет, но все превратились в скелеты, без отличий, без надписей — словом, без всякого признака, который позволил бы отличить одного от другого.

16. И вот, глядя на все это, я решил, что человеческая жизнь подобна какому-то длинному шествию, в котором предводительствует и указывает места Судьба, определяя каждому его платье. Выхватывая кого случится, она надевает на него царскую одежду, тиару, дает ему копыеносцев, венчает главу диадемой; другого награждает платьем раба, третьему дает красоту, а иного делает безобразным и смешным: ведь зрелище должно быть разнообразно! Часто во время шествия она меняет наряды некоторых участников, не позволяя закончить день в первоначальном виде. При этом она заставляет Креза взять одежду бедняка или пленного; Меандрию, шедшему прежде вместе со слугами, она вручает царство Поликрата, разрешая некоторое время пользоваться царской одеждой. Но лишь только шествие закончено, все снимают и возвращают свои одеяния вместе с телом, после чего их внешний вид делается таким, каким был до начала, ничем не отличаясь от вида соседа. И вот иные, по неведению, огорчаются, когда Судьба повелевает им возвратить одежды, и сердятся, точно их лишают какой-нибудь собственности, не понимая, что они лишь возвращают то, что им дано во временное пользование.

Я думаю, тебе часто приходится видеть на сцене, как трагические актеры, сообразно с требованием драмы, изображают то Креонтов, то Приамов, то Агамемнонов; иногда же случается, что один и тот же актер, едва успев разыграть благородную роль Кекропа или Эрехтея, возвращается на сцену, по требованию автора, в качестве слуги. Наконец, когда действие окончено, каждый из них снимает свое театральное позолоченное платье и маску, спускается с котурнов и превращается в бедного и незнатного. И нет больше ни Агамемнона, сына Атрея, ни Креонта, сына Менекея, а лишь Пол, сын Харикла, суниец, или Сатир, сын Тео-

гитона из Марафона. Вот таким-то и мне представилось положение людей, когда я видел их тени в Аиде.

17. Ф и л о н и д. Скажи мне, Менипп, те из мертвых, которые имеют здесь, на земле, роскошные и высокие гробницы, надгробия, статуи, надписи, — неужели они не пользуются там, внизу, бóльшим почетом, чем простые смертные?

М е н и п п. Ты шутишь, мой друг! Если бы ты видел Мавзола, — я говорю о Мавзоле, карийце, прославленном своим погребальным памятником, — я уверен, что тебе не удалось бы удержаться от смеха: так жалок он в своем заброшенном углу, затерянный в толпе покойников; и, мне кажется, вся радость у него от памятника в том, что он давит его всей своей тяжестью. Да, дорогой мой, после того как Эак отмерил каждому его участок — а дает он в лучшем случае не больше одного фута, — приходится довольствоваться им и лежать на нем, съезжившись до установленного размера. И еще сильнее рассмеялся бы ты при виде царей и сатрапов, нищенствующих среди мертвых и принужденных из бедности или продавать соленье, или учить грамоте; и всякий встречный издевается над ними, ударяя по щекам, как последних рабов. Я не мог справиться с собой, когда увидел Филиппа Македонского: я заметил его в каком-то углу — он чинил за плату прогнившую обувь. Да, на перекрестках там нетрудно видеть и многих других, собирающих милостыню, — Ксеркса, Дария, Поликрата...

18. Ф и л о н и д. Станные вещи рассказываешь ты о царях, — я с трудом верю. Ну, а что делают там Сократ, Диоген и другие мудрецы?

М е н и п п. Сократ и там прогуливается и заговаривает со всеми; рядом с ним были Паламед, Одиссей, Нестор — словом, все речистые мертвецы. Ноги у него все еще больны и вздуты от выпитого яда. А милейший Диоген находится в соседстве с Сарданапалом Ассирийским, Мидасом фригийским и некоторыми другими богачами. Слушая их жалобы и подсчеты былых богатств, он весело смеется, а чаще всего, лежа на спине, поет таким резким и суровым голосом, что заглушает их стоны; это пение очень огорчает богачей, так что они решили переселиться, не будучи в состоянии сносить присутствие Диогена.

19. Ф и л о н и д. Однако довольно рассказов! Так в чем заключается то постановление, о котором ты го-

ворил в начале нашего разговора, будто оно было объявлено против богачей?

М е н и п п. Хорошо, что ты напомнил мне. Я и не заметил, что, предполагая рассказать о нем, в разговоре совершенно отвлекся в сторону. А дело было вот как: во время моего пребывания в подземном царстве пританы созвали народное собрание для обсуждения общегосударственных дел. Видя огромную толпу сбегавшегося отовсюду народа, я смешался с мертвецами, так что оказался одним из участников собрания. Уже были вынесены некоторые решения, когда, наконец, собрание приступило к вопросу о богачах. Их обвиняли в большом числе преступлений, в насилии, в гордости, в наглости, в несправедливости. Под конец поднялся один из народных вождей и прочел следующее постановление:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20. «Ввиду того что богатые, совершая грабежи, насилия и всячески раздражая бедных, поступают во многом противно законам, совет и народ постановили:

«Пусть после смерти тела их будут мучимы, подобно другим преступникам, а души их да будут отправлены назад, на землю, и да вселятся в ослов и пребывают в них в течение двухсот пятидесяти тысячелетий, переходя из одних ослов в других, и пусть они носят тяжести, подгоняемые ударами бедняков; и только по истечении указанного срока да будет позволено им умереть.

Данное предложение внес Черепник, сын Скелетона, Трупогредец из филы Безжизненносочных».

По прочтении этого декрета стали подавать за него голоса сначала власти, затем народ; потом грозно заворчала Бримó и залаял Кербер — таков у них способ придания внесенным предложениям силы закона.

21. Так вот что произошло на этом народном собрании. Я же подошел к Тиресию — главной причине моего путешествия, — рассказал ему о моих сомнениях и попросил указать мне, какую жизнь он считает более достойной.

Тиресий — слепой он теперь старикашка, бледно-желтый, со слабым голосом — рассмеялся и сказал: «Дитя, я отлично понимаю причину твоих сомнений: происходят они от тех мудрецов, которые и сами не

могут столкнуться друг с другом: однако больше я ничего тебе сказать не могу: это запрещено Радамантом». — «Нет, нет, дедушка! — воскликнул я, — скажи мне и не допусти, чтобы я блуждал в жизни еще более слепым, чем ты!» Тогда, взяв меня за руку и отведя далеко в сторону, он тихо шепнул мне на ухо: «Лучшая жизнь — жизнь простых людей; она и самая разумная. Оставь нелепые исследования небесных светил, не ищи целей и причин и наплюй на сложные построения мудрецов. Считая все это пустым вздором, преследуй только одно: чтобы настоящее было удобно; все прочее минуй со смехом и не привязывайся ни к чему прочно».

Так он сказал и на луг асфodelьский направился молча.

22. А я, так как уже становилось поздно, сказал своему спутнику: «Зачем медлить, Митробарзан; вернемся лучше к жизни!»

Тот ответил: «Мужайся, Менипп. Я укажу тебе близкий и нетрудный путь».

Затем, проведя меня к месту, где мрак был еще гуще, он указал мне рукою на едва заметный, точно сквозь замочную скважину брезживший луч света и сказал: «Вот там храм Трофония, откуда беотийцы спускаются в подземное царство. Ступай в этом направлении вверх, и ты скоро будешь в Элладе!» Обрадованный словами мага, я обнял его на прощанье и, с трудом пробравшись сквозь узкое отверстие, очутился, сам не знаю как, в Лебадее.





**ИКАРОМЕНИПП,
ИЛИ
ЗАОБЛАЧНЫЙ ПОЛЕТ**

1. Менипп. Итак, три тысячи стадиев было от Земли до Луны; это — первый переход. Оттуда вверх, к Солнцу, около пятисот парасангов; наконец, от Солнца до самого неба с акрополем Зевса... да, пожалуй, быстрокрылый орел пролетел бы это расстояние не скорее чем за день.

Друг. Ради харит! Что это ты, Менипп, звезды изучаешь и производишь про себя какие-то вычисления? Вот уже довольно долго я слежу за тобою и слышу о солнцах и лунах и вдобавок еще о каких-то вздорных переходах и парасангах...

Менипп. Не удивляйся, дорогой! Если тебе и кажется, что предмет моих речей слишком возвышенный и заоблачный, то дело лишь в том, что я составляю приблизительный подсчет пути, пройденного мною в последнее путешествие.

Друг. Так разве ты, подобно финикийцам, определяешь свой путь по светилам?

Менипп. Нет, клянусь Зевсом! Но я путешествовал среди них.

Друг. Клянусь Гераклом, длинный же сон ты видел, если, сам того не замечая, проспал целые парасанги.

2. Менипп. Ты думаешь, дорогой, что я говорю о каком-то сновидении, а между тем я только что спустился от Зевса.

Друг. Что ты говоришь! Менипп перед нами, слетевший с неба?

Менипп. Да, и я стою перед тобою, вернувшись только сегодня от великого Зевса, где я видел и слышал много удивительного. А если ты не веришь, я могу только еще больше радоваться: значит, действительно я испытал нечто поразительное.

Друг. Как могу я не верить, о божественный олимпиец Менипп, я — всего лишь жалкий смертный, живущий на земле, — не верить тебе, мужу заоблачному или одному из небожителей, по выражению Гомера! Но скажи мне, если тебе нетрудно, каким образом поднялся ты с земли на небо, где сумел ты найти такую высокую лестницу? Ведь ты вовсе не похож с лица на пресловутого фригийца, так что довольно трудно предполагать, чтобы орел восхитил тебя, дабы ты стал виночерпием Зевса.

Менипп. Я давно замечаю, что ты смеешься надо мною, и нисколько не удивляюсь, что мой необычный рассказ представляется тебе похожим на сказку. И все же мое восхождение обошлось без всякой лестницы и без влюбленного в меня орла: я поднялся на своих крыльях!

Друг. Это уж слишком! Ты превзошел Дедала, если, сверх всего прочего, сумел скрыться от нас, превратившись из человека в ястреба или в галку.

Менипп. Правильно, дорогой мой! Твое сравнение не так уж далеко от истины: я осуществил Дедалову затею и сам смастерил себе крылья.

3. Друг. Но как же, о величайший храбрец, ты не побоялся упасть в море и дать ему от своего имени название Мениппийского, как тот его сын — Икарийскому?

Менипп. Совсем нет! Икар прикрепил свои крылья воском, который очень скоро растаял от солнеч-

ных лучей; понятно, что Икар растерял перья и, как и следовало ожидать, упал. У меня же крылья были без воска.

Друг. Что ты говоришь! Не знаю почему, но поне-многоу ты заставляешь меня верить в правдивость твоего рассказа.

Менипп. Так вот, я и говорю: во-первых, поймав огромного орла, а также коршуна, из самых сильных, я отрезал им крылья у самой спины... Впрочем, если тебе некуда спешить, я лучше расскажу тебе обо всей затее с самого начала.

Друг. Нисколько не спешу! От твоих слов я весь превратился в ожидание и с открытым ртом жду, чем кончится этот рассказ. Ради Зевса, покровителя дружбы, не бросай меня привешенным за уши в самом начале своего повествования.

4. Менипп. Ну, хорошо! В самом деле некрасиво оставлять друга с разинутым ртом, да еще подвешенного, как ты говоришь, за уши. Слушай же!

Присматриваясь ко всевозможным житейским явлениям, я очень скоро стал понимать, насколько они смешны, жалки и непостоянны, — я говорю о богатстве, власти и могуществе; презирая все эти блага и считая тщетную погоню за ними препятствием для истинных занятий, я попытался вынырнуть из этой тины и оглянуться на все окружающее. Сперва я был охвачен сомнениями: об этом мире, который философы именуют космосом, мне долго не удавалось узнать ничего — ни как он произошел, ни кто его создатель. Не ведал я также, где его начало и какова его конечная цель. Тогда я стал рассматривать мир по частям, но это только увеличило мои недоумения: глядя на звезды, рассыпанные в беспорядке по небу, на самое солнце, я сгорал желанием узнать, что они такое. Но наиболее непонятным и загадочным представлялось мне все, что касалось луны: многообразие ее форм, казалось мне, вызывается какою-то тайной причиной. Наконец, молния, пронизывающая тучи, низвергающийся гром, дождь, снег, падающий град — все это было для меня неразрешимой загадкой.

5. Вот в этом настроении я и подумал, что лучше всего будет обратиться за решением всех этих вопросов к философам, так как я полагал, что они сумеют возвестить мне полную правду.

Я выбрал среди них лучших — если свидетелями достоинства считать угрюмое лицо, бледный цвет кожи и густую бороду, — и действительно, на первый взгляд они показались мне людьми красноречивыми и знакомыми с небесными явлениями. Отдав в их распоряжение себя и изрядное количество денег, — часть я выплатил сразу, а остальное условился внести по окончании занятий, — я попросил их объяснить мне небесные явления и устройство вселенной. И с таким рвением принялись они счищать с меня прежнее невежество, что привели меня в еще большее замешательство, окатив целым дождем первопричин, целей, атомов, пустоты, материй, идей и прочего. Но всего печальнее было то, что мои наставники ни в чем не соглашались друг с другом; напротив, каждый из них оспаривал мнение другого, утверждая противоположное и стремясь к тому, чтобы я признал его правоту и проникся его взглядами.

Друг. Станные ты вещи рассказываешь, будто мудрецы спорят друг с другом о существующем и об одном и том же не имеют одинакового мнения!

6. М е н и п п. Да, дорогой! А как бы ты смеялся, если б послушал их речи, полные хвастовства, их рассказы о чудесах! Прочно ступая по земле, ничем не возвышаясь над нами, ползающими по ней, философы видят не лучше своих соседей, а иные по старости и немощи и вовсе близоруки. И тем не менее они утверждают, что различают границы неба; указывают размеры солнца, проходят по надлунным пространствам и, точно свалившись со звезд, определяют их величину и вид. Часто они не в состоянии ответить даже на такой простой вопрос, сколько стадиев от Мегар до Афин, зато точно знают, каково расстояние между луною и солнцем; дерзают определить его в локтях, измеряют толщину воздуха, глубину океана, окружность земли, чертят круги, нагромождают треугольники на квадраты, изучают всевозможные сферы, даже само небо.

7. И разве не доказывает тупости философов и полного невежества их то, что, говоря о предметах, далеко не ясных, они не довольствуются предположениями, но, упорно настаивая на своей правоте и отрицая за противоположным взглядом всякое значение, чуть не клянутся, что солнце есть раскаленный шар,

что луна обитаема, что звезды пьют воду, которую солнце словно на колодезной веревке черпает из моря и поровну распределяет между ними?

8. Нетрудно заметить, насколько противоположны их взгляды. Ради Зевса, посмотри сам, близки ли их учения и не совершенно ли они противоречивы. Прежде всего у них замечается полное разномыслие по вопросу о мире: одни утверждают, что он не создан и никогда не погибнет, другие дерзают говорить о творце и о самом способе сотворения мира. Но всего больше я удивлялся тем, которые, признавая некоего бога, творца всего, не могут объяснить ни того, откуда он явился, ни того, где бог находился, когда творил мир: ведь невозможно мыслить время и пространство прежде всякого бытия...

Друг. Но ведь ты рассказываешь про дерзких людей, про обманщиков.

Менипп. А что бы ты сказал, если б послушал их рассуждения об идеях, о бестелесных сущностях или их речи о пределе и беспредельном? К тому же между философами разгораются жестокие споры, так как одни видят во всем существующем только конечное, другие, напротив, полагают, что оно бесконечно. Далее, многие утверждают, что существует большое число миров, и обрушиваются на тех, которые думают, что этот мир единственный. Наконец, один из них, далеко не миролюбивый человек, считает раздор отцом всего миропорядка.

9. А боги? Не знаю, стоит ли даже вспоминать взгляды этих людей на них! Одним божество представляется числом, другие клянутся собаками, гусями и платанами, третьи, наконец, изгнав всех других богов, передают власть над миром единому божеству, так что мне оставалось лишь огорчаться такой бедности в богах. Впрочем, менее жадные признают многих богов, причем делят их на разряды, называя одного бога первым и указывая остальным вторые и третьи места в соответствии со степенью их божественности. Иные опять же считают божество бестелесным и лишненным формы, а другие, напротив, не мыслят его иначе как вещественным. Главным образом далеко не все они признают промысел богов в человеческих делах: некоторые освобождают богов от всяких забот, поступая с ними подобно нам, когда мы избавляем ста-

риков от общественных тягот. Словом, боги у них ничем не отличаются от телохранителей, которых комические поэты выводят на сцену. Но все это пустяки в сравнении с теми, которые вовсе отрицают существование богов и, бросая мир на произвол судьбы, лишают его владыки и вождя.

10. Однако, выслушивая все это, я не дерзал оказывать недоверие столь высокогремящим и прекраснородым людям; но в то же время, соглашаясь со словами одного, я не находил в них ничего, что не опровергалось бы речами другого. И я оказывался в таком состоянии, о котором говорит Гомер: едва я решался поверить одному из них, как уже мною

желанье иное владело.

Все это приводило меня в полное недоумение, и я не видел, от кого бы мне узнать истину на земле. Тогда-то я и решил, что единственный способ избавиться от моего невежества — вооружившись крыльями, самому подняться на небо. Надежду в этом деле давали мне главным образом сила желания, а также баснописец Эзоп, который утверждает, что небо доступно не только орлам и навозным жукам, но подчас даже верблюдам. Впрочем, я совершенно ясно понимал, что никаким способом не смогу отрастить себе крылья; если же приспособлю крылья коршуна или орла — ведь только они способны выдержать тяжесть человеческого тела, — смогу скоро осуществить свое намерение.

Итак, поймав этих двух птиц, я старательно отрезал у орла правое крыло, у коршуна — левое и привязал их крепкими ремнями к плечам. Приладив к концам крыльев две петли для рук, я стал испытывать свою силу: сначала просто подпрыгивал, помогая себе руками, затем, подобно гусям, летал над самой землей, слегка касаясь ее ногами во время полета. Однако, заметив, что дело идет на лад, я решился на более смелый шаг: взойдя на Акрополь, я бросился с утеса и... долетел до самого театра.

11. Так как мой полет прошел благополучно, я задумал вознестись выше, в небеса: поднявшись не то с Парнета, не то с Гармета, я полетел на Геранею, оттуда на Акрокоринф; затем, через Фолою и Эриманф, я достиг Тайгета. Вскоре я уже настолько свыкся со

своим дерзким занятием, что в совершенстве выполнил смелые полеты и, не довольствуясь высотой, доступною птицам, решил подняться на Олимп; отсюда, запасшись по возможности самой легкой едой, я пустился прямо на небо. В первую минуту у меня закружилась голова от огромной высоты, но и это я перенес с легкостью. Прорвавшись сквозь густые облака и очутившись наконец возле луны, я почувствовал некоторую усталость, особенно в левом крыле, отрезанном у коршуна. Ввиду этого я подлетел к луне и, присев на нее, дал себе передышку, поглядывая вниз, на землю, и, подобно Зевсу у Гомера, созерцая страну фракийцев — укротителей коней, землю мисян, вслед за тем — если мне хотелось — поглядывая на Элладу, Персию и Индию. От всего этого получил я самое тонкое наслаждение.

Друг. Не расскажешь ли, Менипп, также о том, что ты оттуда видел, чтобы нам ничего не пропустить из твоего путешествия и узнать даже мелкие подробности? Думаю, что я мог бы услышать от тебя много любопытного о том, в каком виде представилась тебе сверху земля и все, что на ней существует.

Менипп. Ты совершенно прав, дорогой мой! Итак, постарайся подняться мысленно на луну, соверши со мной это путешествие и, поставив себя на мое место, охвати взором весь земной порядок.

12. Прежде всего земля показалась мне очень маленькой, значительно меньше луны, так что при первом взгляде я, как ни нагибался, не мог найти ни высоких гор, ни огромных морей. Если бы я не заметил Колосса Родосского и башни на Фаросе, я бы и вовсе не узнал земли; только эти огромные сооружения и океан, спокойно сверкавший под лучами солнца, ясно указывали мне, что я вижу перед собою действительно землю. Однако, присмотревшись пристальней, я вскоре стал различать на ней человеческую жизнь, и не только жизнь целых народов и городов, но и деятельность отдельных людей; и я видел, как одниплыли по морю, другие сражались, третьи обрабатывали землю, четвертые судились; видел женщин, животных и вообще все, что «питает плодородная почва».

Друг. Совершенно невероятно, и ты сам себе противоречишь! Ведь раньше ты говорил, что тебе пришлось разыскивать землю, так как из-за большого расстояния она казалась тебе чуть ли не точкою, и если

бы Колосс не указал ее, ты бы думал, что видишь перед собою что-то другое. Так каким же образом ты, словно какой-нибудь Линкей, внезапно оказался в состоянии все рассмотреть на земле, — людей, животных, чуть ли не гнезда комаров?

13. Менипп. Хорошо, что ты мне напомнил об этом, а то я и не заметил, что забыл упомянуть о самом важном. Когда я понял, что вижу перед собою землю, но не могу ничего рассмотреть на ней из-за большого расстояния, затруднявшего мое зрение, я был крайне удручен и смущен своею беспомощностью. Я приходил в отчаяние и уже готов был заплакать, как вдруг сзади подошел ко мне философ Эмпедокл; весь в пепле и словно поджаренный, он весьма напоминал собою головню. Сознаюсь, при виде его я перепугался, приняв его за духа луны. Впрочем, он поспешил успокоить меня и сказал: «Мужайся, Менипп!

Я не бог — и бессмертным меня ты считаешь напрасно.

Я — Эмпедокл, философ. Лишь только я бросился в кратер Этны, дым вулкана охватил меня и забросил сюда. С тех пор я живу на луне, питаюсь росой и странствую все больше по воздуху: я вижу, тебя огорчает и мучает то, что ты не можешь ясно разглядеть землю». — «Милейший Эмпедокл, — воскликнул я, — ты прав! Лишь только я вернусь в Элладу, я не премину совершить тебе возлияние на моем очаге и во время новолуний буду обращаться к луне с твоекратным молитвенным возгласом». — «Клянусь Эндимионом, — ответил Эмпедокл, — не ради платы я пришел сюда, но потому, что, видя твои страдания, я от всей души сочувствовал тебе... Так вот, знаешь ли, что должен ты сделать, чтобы приобрести остроту зрения?»

14. «Нет, клянусь Зевсом, — возразил я, — разве что ты каким-нибудь образом снимешь пелену, застилающую мои глаза, так как сейчас точно ячмень на них сидит». — «А между тем, — сказал Эмпедокл, — моя помощь вовсе и не нужна тебе, ты явился с земли, имея прекрасное зрение...» — «Что ты хочешь этим сказать? Я не понимаю тебя». — «А разве ты не знаешь, — продолжал он, — что к твоему правому плечу привязано крыло орла?» — «Отлично знаю, — сказал я. — Но что общего между этим крылом и моим зрением?» — «А то, что орел далеко превосходит своим зрением все жи-

вые твари: лишь он один может прямо смотреть на солнце. Истинный царь, орел способен, не моргая, выносить яркий свет солнечных лучей».

«Так говорят,— сказал я,— и я уже начинаю жалеть, что, поднимаясь сюда, не вырвал своих глаз и не вставил на их место орлиные. Вообще я явился сюда лишь наполовину готовым и был снаряжен далеко не по-царски; я скорее похож на незаконнорожденного орленка, лишенного наследства».— «Ни от кого другого, а только от тебя зависит,— сказал мне Эмпедокл,— чтобы один из твоих глаз стал совершенно царским. Если хочешь, немного привстань и, удерживая в покое крыло коршуна, взмахивай только другим, и твой правый глаз в соответствии с природой крыла тотчас же станет дальнотзорким. Ну, а глаз другой, слабейшей твоей половины, никоим образом не будет видеть острее».— «Довольно мне и одного правого глаза, если он будет зорек по-орлиному. Это будет даже не хуже: ведь не раз мне приходилось наблюдать, как плотники, выравнивая балки по отвесу, прищуривают один глаз, чтобы лучше видеть».

С этими словами я сделал то, что мне посоветовал Эмпедокл: он же, медленно удаляясь, незаметно расселся, обратившись в дым.

15. И лишь ударил я крылом, яркий свет озарил меня, освещая передо мною все скрытое ранее. Нагнувшись, я пресоходно видел землю, города, людей. Я увидел все, что они делали не только под открытым небом, но и в своих домах, считая себя хорошо скрытыми: Птолемей спал со своей сестрой; сын Лисимаха злоумышлял против своего отца; Антиох, сын Селевка, потихоньку подмигивал Стратонике, своей мачехе; я видел, как жена Александра-фессалийца убивала мужа, Антигон развратничал с женой своего сына. Сын же Атталла отравлял своего отца. Далее, Арсак убивал женщину в то время, как евнух Арбак заносил над ним свой меч. Спатина-мидийца, убитого золотой чашей в висок, волочили за ноги с пиршества телохранители. Подобное же происходило во дворцах ливийских, скифских и фракийских царей,— тот же разврат, те же убийства, казни, грабежи, клятвопреступление и страх, что свои же домашние предадут и изменят.

16. Вот какое зрелище представляли дела царей! А жизнь частных лиц казалась еще смешнее. Здесь я увидел Гермодора-эпикурейца, приносящего лож-

ную клятву из-за тысячи драхм; стойка Агафокла, который обвинял перед судом одного из своих учеников за неуплату денег; оратора Клиния, крадущего чашу из храма Асклепия; киника Герофила, спавшего в публичном доме... Впрочем, стоит ли рассказывать обо всех этих грабителях, сутягах, ростовщиках, взыскивающих свои ссуды? Пестрое, разнообразное зрелище!

Друг. Было бы очень хорошо, Менипп, если б ты рассказал мне все это; по-видимому, это зрелище доставляло тебе редкое удовольствие.

Менипп. Рассказать все подробно, любезный друг, невозможно. Даже и рассмотреть-то это было делом нелегким. Впрочем, все наиболее существенное напоминало то самое, что, по словам Гомера, было изображено на щите Ахилла. Здесь были пиршества и браки, там суд, Народные собрания; далее кто-то совершал жертвоприношение; рядом другой предавался горю. Всякий раз, взглядывая на Гетику, я замечал сражающихся гетов, когда же оборачивался на скифов, то видел их кочующими с их кибитками. Слегка переведя взгляд в сторону, я мог наблюдать обрабатывающих землю египтян; финикийцы путешествовали, киликийцы совершали разбойничьи набеги, лаконяне сами себя бичевали, афиняне судились.

17. Так как все, что я видел, происходило одновременно, — ты можешь себе представить, какая получилась пестрая смесь. Все равно как если бы, набрав много певцов, еще лучше — несколько хоров, приказывать каждому участнику вместо общей стройной мелодии тянуть свой напев; тогда всякий из соперничества и желания выделить свою песнь стремился бы во что бы то ни стало перекричать своего соседа. Клянусь Зевсом, ты и представить себе не можешь, что это было бы за песнопение!

Друг. Совершенно верно, Менипп: смешное и бестолковое.

Менипп. Так вот, дорогой мой, все жители земли подобны таким певцам; из этой нескладицы и составляется жизнь людей, — они не только поют нестройно, они различны даже по своим одеждам, да и идут-то они все вразброд; их мысли противоречивы, и все это до тех пор, пока руководитель хора не сгонит кого-нибудь из них со сцены, сказав ему, что он здесь больше не нужен. С этого времени люди теряют свои прежние различия и, умолкая, перестают тянуть свою бестолко-

вую и нестройную песню. И все, что происходит на этой пестрой и разнохарактерной сцене, действительно достойно смеха.

18. Но больше прежнего я смеялся над теми, которые спорят о границах своих владений и гордятся тем, что обрабатывают равнину Сикиона, владеют землею у Марафона, в соседстве с Эноей и обладают тысячею плефров в Ахарнах. В самом деле, вся Эллада представлялась мне сверху величиною пальца в четыре, а Аттика, соответственно с этим, выглядела, по-моему, прямо точкой. И я задумался над тем, на каких пустяках зиждется гордость наших богачей: действительно, самый крупный землевладелец, казалось мне, обрабатывает всего лишь один эпикуровский атом. Бросил я взгляд на Пелопоннес и, заметив Кинурию, вспомнил, как много аргивян и лакедемонян пало в один день в битве за обладание этим клочком земли размером не более зерна египетской чечевицы. И если я видел человека, гордого своим золотом, своими восемью кольцами и четырьмя чашами, я не мог удержаться от смеха, так как весь Пангей со всеми своими рудниками был не больше просяного зерна.

19. Друг. Какой ты счастливец, Менипп! Что за поразительное зрелище! Но скажи, бога ради, какими казались тебе сверху города и люди?

Менипп. Я думаю, тебе не раз приходилось видеть муравьев: одни толпятся кучами, другие выходят из муравейника или возвращаются в него; тот тащит в дом кусочек навоза, этот торопливо несет подобранную где-то кожуру боба или половину пшеничного зерна. Есть у них, по-видимому, в соответствии с их муравьиной жизнью, и строители, и народные вожди; есть пританы, музыканты и философы. Так вот, города, населенные людьми, показались мне более всего похожими на муравейники. Если же тебе это сравнение людских общежитий с муравьиным царством кажется унизительным, то вспомни о старых преданиях фессалийцев, и ты увидишь, что мирмидоняне, этот воинственный народ, превратились в людей из муравьев.

Между тем, насмотревшись достаточно на все это и от всего сердца посмеявшись, я ударил крыльями и полетел

в чертоги

Зевса Эгидодержавного, к сонмищу прочих бессмертных.

20. Однако не успел я еще взлететь на высоту одного стадия, как Луна сказала мне женским голосом:

«Счастливого пути, Менипп! Исполни для меня не-
большое поручение, когда будешь у Зевса». — «Охот-
но, — ответил я, — это не доставит мне никакого труда,
если только не придется чего-либо отнести ему». —
«Поручение мое не тяжелое, Менипп, — возразила
Луна, — это лишь моя просьба Зевсу. Видишь ли, я воз-
мущена нескончаемой и вздорной болтовней филосо-
фов, у которых нет иной заботы, как вмешиваться
в мои дела, рассуждать о том, что я такое, каковы мои
размеры, почему иногда я бываю полумесяцем, а ино-
гда имею вид серпа. Одни философы считают, что
я обитаема, другие — что я не что иное, как зеркало,
повешенное над морем, — словом, каждый говорит
обо мне, что взбредет ему в голову. Наконец, иные
рассказывают, что самый свет мой — краденый и неза-
конный, так как он приходит ко мне сверху, от Солн-
ца. Этим они беспрестанно ссорят меня с Солнцем, мо-
им братом, и восстанавливают нас друг против друга.
Мало им разве тех небылиц, которые они рассказыва-
ют о солнце, что оно-де и камень, и раскаленный шар...

21. А между тем разве я не знаю, какие позорные
и низкие дела совершаются по ночам этими филосо-
фами, которые днем выглядят такими строгими и до-
блестными, что своей благородной внешностью при-
влекают внимание толпы? Я отлично вижу все их про-
делки и все же молчу, ибо считаю, что не подобает
проливать свет на ночное времяпровождение фи-
лософов и выводить напоказ их жизнь. Напротив, ви-
дя, как они развратничают, воруют, совершают под
прикрытием ночного мрака всяческие преступления,
я тотчас привлекаю облако и скрываюсь за ним, чтобы
не выставлять на общее обозрение стариков, позоря-
щих свою показную добродетель и свои длинные бо-
роды. Они же, без всякого стеснения, продолжают тер-
зать меня своими речами и всячески оскорбляют меня,
так что, клянусь Ночью, я не раз хотела поселиться
как можно дальше отсюда, чтобы избежать их не-
скромного языка.

Так вот, не забудь передать обо всем этом Зевсу
и прибавь еще, что мне невозможно будет оставаться
дольше в этих местах, если он не сотрет в порошок
философов и не заткнет рта этим болтунам; пусть

Зевс разрушит Стою, поразит громом Академию и прекратит бесконечные разговоры перипатетиков. Только тогда я обрету покой и освобожусь от их ежедневных измерений».

22. «Все будет исполнено»,— ответил я и с этими словами отправился прямо вверх, к небу, по дороге,

Где не заметишь работ ни людей, ни волов-землепашцев.

Скоро Луна, заслонявшая от меня землю, стала казаться мне маленькой. Оставив вправо солнце и продолжая свой полет среди звезд, я на третий день приблизился наконец к небу. Я надеялся, что мне удастся сразу же проникнуть туда: мое превращение в орла, хотя и неполное, думал я, легко позволит мне пройти неузнанным, так как орел издавна близок Зевсу. Все же я опасался, что меня сейчас выдаст мое левое крыло, крыло коршуна, а потому я счел за лучшее, не подвергая себя лишней опасности, подойти к дверям и постучаться.

Гермес услышал стук, спросил мое имя и торопливо пошел докладывать обо мне Зевсу. Немного спустя меня пригласили войти. Перепуганный и дрожащий, я вошел и застал всех богов: они восседали в креслах и следили за мной не без некоторого беспокойства. Их несколько смутило мое неожиданное прибытие, вызвавшее опасение, как бы таким же образом не прилетели к ним все люди.

23. И вот грозный Зевс, бросая на меня гневные, титанические взгляды, спросил:

Кто ты такой, человек, кто отец твой, откуда ты родом?

Я чуть не умер со страху, когда услышал его громогласные слова, и, точно остоленелый, стоял с открытым ртом. Однако постепенно я собрался с духом и, начавши издалека, стал подробно рассказывать, как желал познакомиться с небесными явлениями, как посещал философов и выслушивал их противоречивые объяснения, как страдал, терзаемый их речами, затем по порядку рассказал о своем решении, о крыльях и обо всем остальном, вплоть до полета на небо, а под конец сообщил ему поручение Луны. Морщины у Зевса разгладились, и, улыбнувшись, он произнес: «Что сказать об Оте и об Эфиальте, после того как Менипп осмелился подняться на небо! Впрочем, сегодня мы

приглашаем тебя на угощение, а завтра дадим объяснения, за которыми ты пришел, и отпустим тебя на землю». Затем он встал и направился к той части неба, откуда было лучше всего слышно, так как наступало время принимать молитвы людей.

24. По дороге Зевс стал расспрашивать меня о всевозможных обстоятельствах земной жизни, и прежде всего о том, почем теперь пшеница в Элладе, была ли последняя зима сурова и нуждаются ли овощи в более обильном дожде; затем спросил, остался ли кто-нибудь из рода Фидия, почему афиняне столько лет не справляли диасий, думает ли кто закончить постройку Олимпийского храма и задержаны ли ограбившие храм в Додоне. Когда я ответил на все эти вопросы, Зевс продолжал: «Скажи, Менипп, а обо мне что думают люди?» — «О тебе, владыка, их мнение самое благочестивое. Люди считают тебя царем богов». — «Ты шутишь, — возразил Зевс, — я отлично знаю их непостоянство, хотя ты о нем и умалчиваешь. Ведь было время, когда я был для них и пророком и целителем, — словом, когда

Площади, улицы — все полно было именем Зевса.

Тогда и Додона и Писа блистали и пользовались всеобщим почетом, а жертвенный чад застилал мне глаза. Но с тех пор как Аполлон основал в Дельфах прорицалище, Асклепий в Пергаме — лечебницу, во Фракии появился храм Бендиды, в Египте — Анубиса, в Эфесе — Артемиды, с этого времени все бегут к новым богам, справляют в их честь празднества, приносят им гекатомбы... Что же касается меня, состарившегося бога, то они думают, что достаточно почитают меня, если раз в пять лет приносят мне жертвы в Олимпии. И мои алтари стали холоднее «Законов» Платона или силлогизмов Хрисиппа.

25. Беседуя таким образом, мы подошли к тому месту, где Зевсу следовало сесть, чтобы выслушивать молитвы. Здесь находился целый ряд покрытых крышками отверстий, весьма напоминающих колодцы; возле каждого из них стоял золотой трон. Сев на трон возле первого отверстия и сняв с него крышку, Зевс стал прислушиваться к молитвам, которые доносились к нему со всех мест земли и отличались большим разнообразием. Я сам мог слышать их, так как вместе с Зевсом наклонился над отверстием. Вот, например, каковы были эти молитвы: «О Зевс, дай мне достигнуть

царской власти!», «О Зевс, пусть произрастут лук и чеснок!», «О боги, да умрет мой отец как можно скорее!». А другой говорил: «О, если бы я мог получить наследство после жены!», «О, если бы мне удалось скрыть козни против брата!», «Дайте, боги, мне победить на суде!», «Пусть я буду увенчан на Олимпийских состязаниях». Возносили свои молитвы мореплаватели: одни молили о северном ветре, другие — о южном; земледелец просил о ниспослании дождя, сукновал — о солнечных днях.

Зевс все это выслушивал, тщательно взвешивая каждую молитву; он исполнял их далеко не все, но

То благосклонно взирал на мольбу, то качал головою.

Справедливым молитвам он позволял подыматься вверх через отверстие и помещал их по правую сторону от себя, а мольбы несправедливые отгонял назад неисполненными, сдувая их вниз, чтобы они не могли приблизиться к небу. Между прочим, относительно одной молитвы я заметил в нем сомнения: дело в том, что два человека молили Зевса как раз о противоположном, обещая принести одинаковые жертвы. И вот Зевс, не зная, чьей просьбе отдать предпочтение, испытывал чисто академическую нерешительность; не будучи в состоянии принять какое-либо решение, он предпочел, подобно Пиррону, «отказ от суждения».

26. Достаточно позанявшись молитвами, Зевс пересел на соседний трон, снял крышку с другого колодца и стал слушать произносивших клятвы. Покончив с этим делом и поразив громом эпикурейца Гермодора, Зевс перешел к следующему трону, где занялся предсказаниями, оракулами и знамениями. Затем он направился к колодцу, через который поднимался дым от жертв, возвещая Зевсу имена всех совершавших жертвоприношения. Исполнив все это, Зевс дал указания ветрам и погодам, разъяснив, что надлежало им делать: «Сегодня пусть будет дождь в Скифии; в Ливии пусть гремит гром; в Элладе идет снег. Ты, Борей, дуй в Лидии, а ты, Нот, оставайся спокоен; Зефир же должен поднять бурю на Адриатическом море; и пусть около тысячи мер града выпадет в Каппадокии».

27. Приведя в порядок все свои дела, Зевс направился со мною на пир, так как уже наступило время обеда. Меня встретил Гермес и устроил на ложе возле Пана, Корибантов, Аттиса и Сабасия — богов, не поль-

зующихся полными правами гражданства на небе, да и вообще довольно сомнительных. Деметра раздала нам хлеб, Дионис — вино, Геракл — мясо, Афродита — миртовые ягоды, а Посейдон — какую-то рыбешку. Потихоньку я отведал также и амбросии и нектара. Милейший Ганимед, замечая, что Зевс не смотрит в мою сторону, всякий раз из человеколюбия наполнял для меня нектаром чарочку-другую. Боги, согласно словам Гомера и моим личным наблюдениям, ни хлеба не едят, ни вина темного не пьют, но лишь угощаются амбросией и напиваются нектаром. Все же наибольшую радость им доставляет чад, поднимающийся от жертв, смешанный с запахом сжигаемого мяса, и жертвенная кровь, которую совершающие жертвоприношение возливают на алтари. Во время обеда Аполлон играл на кифаре, Силен плясал кордак, а музы, стоя поодаль, пропели нам кое-что из «Теогонии» Гесиода и первую оду из гимнов Пиндара. Насытившись, мы встали из-за стола, чтобы отдохнуть, так как все уже изрядно подвыпили.

28. Прочие боги, равно как и мужи, бойцы с колесницы, Спали всю ночь, лишь меня не обрадовал сон безмятежный.

Долго еще меня мучили разные мысли: смущало меня и то, почему у Аполлона за такое долгое время не отросла борода и отчего на небе наступает ночь, хотя ведь там постоянно пребывает солнце: ведь и сейчас Гелиос присутствовал на обеде... Однако в конце концов мне удалось немного вздремнуть. Проснувшись на следующее утро, Зевс повелел собрать собрание.

29. Когда сошлись все боги, Зевс так начал свою речь: «Вчерашнее прибытие чужестранца послужило поводом настоящего собрания. Я уже давно собирался обсудить с вами поведение некоторых философов, а жалобы Луны заставили меня не откладывать далее рассмотрение этого вопроса. Дело заключается в следующем. Появился на земле сравнительно недавно особый вид людей, оказывающих воздействие на жизнь человека, — людей праздных, сварливых, тщеславных, вспыльчивых, обжорливых, глуповатых, надутых спесью, полных наглости, — словом, людей, представляющих, по выражению Гомера,

земли бесполезное бремя.

Эти люди распределились на школы, придумали самые разнообразные лабиринты рассуждений и назы-

вают себя стоиками, академиками, эпикурейцами, перипатетиками и другими еще более забавными именами. Прикрываясь славным именем Добродетели, наморщив лоб, длиннородые, они гуляют по свету, скрывая свой гнусный образ жизни под пристойною внешностью. В этом они как нельзя более напоминают актеров в трагедиях: снимите с них маску и шитые золотом одеяния — и перед вами останется жалкий человек, который за семь драхм готов играть на сцене.

30. И эти-то философы презирают всех людей, о богах говорят самым неприличным образом и, окружая себя молодежью, легко поддающейся обману, с трагическим пафосом рассказывают общеизвестные истины о добродетели и учат искусству безнадежно запутывать рассуждения. Своим ученикам они расхваливают постоянство, твердость, умеренность, поносят богатство и наслаждение. Но вот они остались наедине с собою... трудно описать, чего только они не съедают, какому разврату не предаются, с каким наслаждением обсаивают грязь с медных оболов!

Но возмутительнее всего то, что, совершенно не заботясь о пользе государства или частных лиц, оказываясь безусловно лишними и бесполезными,

Как на войне среди воинов, так и в собрание Народном,

философы осмеливаются осуждать поведение других, направляют против них едкие речи, подбирают разные ругательства, порицают и бранят всех, кто имеет с ними дело... А наибольшим уважением среди этих философов пользуется тот, кто громче всех кричит, отличается наибольшею дерзостью и ругается самым наглым образом.

31. Между тем спросите-ка одного из этих многоречивых крикунов и порицателей: «А сам-то ты?.. Что ты делаешь, какую пользу ты приносишь в жизни?» И если ответ последует правильный и искренний, то вот что вы услышите: «Мореплавание, земледелие, военная служба, всякое другое ремесло кажутся мне бесцельными; я кричу, валяюсь в грязи, моюсь холодной водою, зимою хожу босиком и, как Мом, доношу обо всем, что бы ни случилось. Если какой-нибудь богач слишком много тратит на свой стол или содержит любовницу, я вмешиваюсь в дела его и нападаю на него, а если кто из друзей или приятелей лежит больной, нуждаясь в помощи и уходе, я делаю вид, что незнаком с ним». Вот каково, о боги, это отродье!

32. Но всех их своею наглостью превосходят так называемые эпикурейцы. Понося нас, богов, без всякого стеснения, они доходят до того, что осмеливаются утверждать, будто боги нисколько не заботятся о человеческих делах и совершенно не вникают в них. Вот почему не следует медлить с рассмотрением их поведения, ибо, если только эпикурейцам удастся убедить человечество в своей правоте, все вы будете обречены на голод. Кто же, в самом деле, станет приносить нам жертвы, не ожидая за это вознаграждения?

Что касается жалоб, представленных против философов Луною, то вы все слышали их от нашего гостя. Обо всем этом предлагаем вам, боги, подумать и принять решение, наиболее полезное для людей и наиболее безопасное для нас».

33. Не успел Зевс кончить, как в собрании поднялся страшный шум и отовсюду стали раздаваться возгласы: «Порази их громом, сожги, уничтожь!», «В пропасть их!», «Низвергни их в Тартар, как Гигантов!». Восстановив тишину, Зевс сказал: «Я поступлю с ними согласно вашему желанию: все философы вместе с их диалектикой будут истреблены. Однако привести в исполнение кару сегодня же невозможно; как вы знаете, ближайшие четыре месяца священны, и мною уже объявлен божий мир. В будущем же году, в начале весны, они будут истреблены моей безжалостной молнией».

Молвил — и сдвинул Кронид в знак согласия темные брови...

34. «В отношении же Мениппа,— добавил Зевс,— я решил сделать следующее: необходимо отнять у него крылья, чтобы впредь он к нам больше не являлся, и пусть Гермес сегодня же спустит его на землю». Сказав это, Зевс распустил собрание, а Киллений, ухватив меня за правое ухо, доставил вчера вечером в Керамик.

Теперь, дорогой мой, ты услышал решительно все, что я видел и узнал на небе. Прощай! Я тороплюсь в Расписной портик, чтобы сообщить прогуливающимся там философам все эти радостные известия.





ЛЮБИТЕЛЬ ЛЖИ,
ИЛИ
НЕВЕР

1. Тихиад. Не можешь ли ты мне сказать, Филокл, почему у большинства людей желание обманывать так сильно, что они и сами с удовольствием рассказывают всякие небылицы, и говорящим подобные глупости уделяют бодьшое внимание?

Филокл. Есть много такого, Тихиад, что вынуждает иных людей говорить неправду ради пользы.

Тихиад. Это сюда, собственно говоря, не относится, я вовсе не спрашиваю о людях, которые лгут по необходимости. Для таких есть извинение, а некоторые из них заслуживают скорее даже похвалы, таковы обманывающие неприятеля или прибегающие к этому средству, чтобы избежать опасности: Одиссей часто поступал так, заботясь о своей жизни и о возвращении

на родину вместе с товарищами. Нет, я говорю, мой милый, о тех, кто без всякой нужды ложь ставит выше истины и с наслаждением предается ей, ничем к тому не принуждаемый. И вот я желаю знать, ради какого блага они это делают.

2. Филокл. Неужели ты встречал людей, наделенных такой врожденной любовью ко лжи?

Тихиад. Да, и очень много.

Филокл. В таком случае остается признать, что причина вранья — их безумие, если они худшее предпочитают лучшему.

Тихиад. Ничуть! Я бы мог указать тебе множество любителей лжи среди людей, во всем остальном рассудительных и способных вызвать удивление своим умом: я и не знаю, как очутились они в плену у этого порока. И меня мучит, что таким превосходным во всех отношениях людям доставляет удовольствие обманывать себя и окружающих. Ты сам знаешь лучше меня древних писателей — Геродота, Ктесия Книдского и их предшественников-поэтов, самого, наконец, Гомера, — мужей прославленных, письмом закреплявших ложь, благодаря чему они обманывали не только своих тогдашних слушателей: хранимая в прекрасных рассказах и стихах, их ложь преемственно дошла и до нашего времени. Право, мне часто бывает стыдно за них, когда они начинают повествовать об оскотлении Урана, об оковах Прометея, о мятеже гигантов, о всех трагедиях обители Аида или о том, как Зевс из-за любви становился быком или лебедем, как такая-то женщина превратилась в птицу, а другая в медведицу, когда они повествуют о пегасах, химерах, горгонах, циклопах и тому подобных совершенно невероятных и удивительных сказках, способных укрощать душу ребенка, который еще боится Мормо и Ламии.

3. Впрочем, в рассказах поэтов мы, пожалуй, находим все же известную меру; но разве не смешно, что даже города и целые народы лгут сообща и открыто? И если критяне не стыдятся показывать могилу Зевса, а афиняне говорят, что Эрихтоний вышел из земли и первые люди выросли из аттической почвы, словно овощи, то все же они оказываются гораздо рассудительнее фиванцев, которые повествуют о каких-то спартах, происшедших из посеянных зубов змея. Тот же, кто не считает все эти забавные рассказы правдой

и, разумно исследуя их, полагает, что только какой-нибудь Короб или Маргит может верить, будто Триптолем летал по воздуху на крылатых драконах, Пан пришел из Аркадии на помощь афинянам в Марафонском сражении, а Орифия похищена Бореем,—такой человек оказывается безбожником и безумцем, потому что не верит в столь очевидные и согласные с истиной происшествия. Так велика сила лжи.

4. Филокл. Ну, к поэтам и городам можно было бы, Тихиад, отнестись снисходительно. Удивительная прелесть вымысла, которую примешивают поэты к своим произведениям, необходима для их слушателей; афиняне же, и фиванцы, и жители других городов стремятся придать такими рассказами большее величие своему отечеству. Если бы кто-нибудь отнял у Эллады эти рассказы, похожие на сказки, проводники могли бы легко погибнуть с голоду, так как иностранцы и даром не пожелали бы слушать правду. Но люди, которые решительно без всякой причины находят во лжи удовольствие, конечно, должны возбуждать всеобщий смех.

5. Тихиад. Верно. Я сейчас от Евкрата, где наслушался всяких невероятных рассказов и сказок. Более того, я ушел, покинув беседу,—выносить ее дольше у меня не хватало сил, и я бежал, точно гонимый эриниями, пока он продолжал рассказывать про всякие нелепые чудеса.

Филокл. Однако Евкрат внушает доверие, и ты никого не убедишь, Тихиад, что этот шестидесятилетний старик, отпустивший такую густую бороду, к тому же так много занимающийся философией, не только выдержал чужую ложь, в своем присутствии, но и сам решился врать.

Тихиад. Ты не знаешь, мой друг, что говорил он, на что ссылался в подтверждение истины, как клялся своими собственными детьми. Глядя на него, я затруднялся решить, сошел ли он с ума и стал невменяем или передо мной обманщик и я так долго не мог разглядеть скрытой под шкурой льва смешной обезьянки,—настолько ни с чем не сообразны были его рассказы.

Филокл. Ради Гестии, Тихиад, какие это рассказы? Я хочу знать, что за вранье прятал Евкрат под своей длинной бородой.

6. Тихиад. И раньше, Филокл, я имел обыкновение ходить к Евкрату, когда у меня оставалось достаточно свободного времени, а сегодня мне надо было повидаться с Леонтихом: ты знаешь, он мой приятель. Услышав от слуги, что Леонтих с утра отправился навестить больного Евкрата, являюсь туда, надеясь встретить Леонтиха и одновременно навестить Евкрата: я и не знал, что он болен. Но Леонтиха я там уже не застал; мне сказали, что он ушел незадолго до моего прихода. Зато застаю множество других людей, в том числе Клеодема-перипатетика, стойка Диномаха, а также Иона,—ты знаешь, того Иона, который требует, чтобы ему поклонялись за знание трудов Платона,—будто он единственный человек, точно постигший Платоновы мысли и способный разъяснить их другим. Ты видишь, каких лиц я называю тебе: безусловно ученых, порядочных и, что самое главное,—представителей всех школ, людей уважаемых, чуть ли не внушающих страх своей внешностью. Присутствовал, кроме того, и врач Антигон, полагаю, приглашенный к больному. Мне показалось, что Евкрату уже легче и что это была его обычная болезнь: у него опять случился приступ подагры.

Евкрат указал мне место на ложе рядом с собою, причем, увидев меня, он постарался придать своему голосу некоторую расслабленность, хотя я и слышал, входя, как он кричал, распространяясь о чем-то. Осторожно, опасаясь, как бы не задеть его ног, я присел к нему и начал обычные извинения: я-де не знал, что он болен, узнав же, немедленно прибежал к нему.

7. Присутствующие отчасти уже высказались о болезни, но продолжали еще разговор о ней, причем каждый советовал те или иные средства.

«...И вот, если поднять левой рукой с земли,—говорил Клеодем,—зуб землеройки, убитой таким способом, как я сказал, и привязать его к только что содранной шкуре льва и затем обмотать этой шкурой ноги, боли сейчас же прекращаются».

«Не к шкуре льва,—заметил Диномах,—а, как я слышал, к шкуре еще девственной, непокрытой самки оленя. Оно и понятнее: ведь олень — животное быстрое, и его сила заключается в ногах. Лев могуч; его жир, правая лапа и торчащие волосы гривы могут иметь великую силу, если знать, как пользоваться всем

этим и какое потребно для каждого случая заклинание, но врачевание ног вовсе не это дело».

«Я и сам,— возразил Клеодем,— раньше думал, что требуется шкура оленя, потому что олень — быстрое животное; недавно, однако, меня переубедил один сведущий в подобных вопросах ливиец, говоря, что львы быстрее оленей: несомненно, сказал он, львы, преследуя оленей, догоняют их и хватают».

Присутствующие одобрили слова ливийца.

8. Я же сказал: «Итак, вы думаете, несмотря на то, что болезнь находится внутри тела, какие-то заговоры и внешние привески прекращают боли?»

Речь моя вызвала смех. Меня явно осуждали за безрассудство, так как я отказался понимать самые ясные, по их мнению, вещи,— такие, против которых ни один здравомыслящий человек возражать не станет. Впрочем, мне показалось, что врачу Антигону мой вопрос доставил удовольствие: вероятно, уже давно перестали обращать внимание на него, когда он хотел помочь Евкрату своим искусством, предписывая воздержаться от вина, питаться овощами и вообще вести себя скромно.

«Что ты говоришь, Тихиад? — сказал, улыбаясь, Клеодем.— Тебе кажется невероятным, чтобы подобные средства подавали помощь против недугов?»

«Да,— отвечал я,— это кажется мне невероятным; если только насморк мне окончательно не забил носа, я не могу поверить, чтобы наружные средства, не имеющие никакой связи с внутренними возбудителями болезни, оказывали, как вы говорите, действие при помощи словечек и какого-то колдовства и приносили исцеление, если их привесить к больному. Этого не может быть, даже если привесить целиком шестнадцать землероек к шкуре немейского льва. Мне по крайней мере часто приходилось наблюдать, как от боли хромотает и сам лев в собственной нетронутой шкуре».

9. «Ты совсем неосведомленный человек,— заметил мне Диномах,— ты не пожелал узнать даже того, почему полезны средства, подобные самому недугу. Ты не признаешь, мне кажется, даже самых очевидных вещей: изгнания перемежающихся лихорадок, заклинания зуда, врачевания гнойников и прочего, что теперь и старухи делают. А раз происходит все это, отчего же, по-твоему, не может совершиться под влиянием подобных же средств и то, о чем мы рассказывали?»

«Диномах,— сказал я,— нелогично ты рассуждаешь и, так сказать, выбиваешь гвоздь гвоздем. Ведь неясно, что в указанных тобою случаях действовала подобная сила. И пока ты не убедишь меня, пока не объяснишь природу этих явлений, почему лихорадка и опухоль бояться вещего имени или варварского заговора и в страхе бегут от них, до тех пор твои речи останутся для меня старушечьими сказками».

10. «По-видимому, говоря так, ты не веришь,— продолжал Диномах,— и в существование богов, раз ты не допускаешь, что священные имена способны исцелять».

«Этого, милый мой, не говори,— возразил я Диномаху,— ибо существование богов нисколько не препятствует твоим рассказам оставаться лживыми. А я и богов почитаю, вижу и врачевание их, вижу и то, как подают они добро страждущим, как восстанавливают силы с помощью лекарств и врачебного искусства. Ведь сам Асклепий и дети его лечили больных, применяя облегчающие зелья, а не обвешивая их львами и землеройками».

11. «Оставь его,— сказал Ион,— а вот я расскажу вам нечто удивительное. Был я еще мальчиком лет четырнадцати, не больше. Кто-то принес моему отцу известие, что Мида-виноградарь, сильный и довольно трудолюбивый раб, укушен в полдень ехидной: он лежит, и в его ноге уже началось гниение. Животное подползло к нему, когда он подвязывал лозы, прикрепляя их к тычинам; ужалив его в большой палец, змея быстро скрылась обратно в нору, а Мида застонал от невыносимой боли. Так докладывали отцу; мы видели и самого Миду, которого несли на постели рабы, его сотоварищи, совершенно распухшего, посиневшего, гниющего и на вид еле живого. Тогда один из друзей моего отца, бывший свидетелем его горя, сказал ему: «Не тревожься. Я сейчас приведу к тебе одного вавилонянина,— из халдеев, как говорят. Он вылечит твоего человека». Не стану растягивать своего рассказа. Пришел вавилонянин и заставил подняться Миду, изгнав яд из его тела каким-то заклинанием; он также привесил к ноге его кусок камня, отбитый им от надгробного памятника скончавшейся девушки. Но этого мало: ту постель, на которой принесли его, Мида сам поднял и отправился в поле, неся ее на себе. Так

велико было могущество заклинания и надгробного камня.

12. А этот вавилонянин совершил и многое другое, поистине чудесное. Выйдя на заре в поле и произнеся семь каких-то священных имен, по древней книге, он освятил место серой и смолою, обойдя его трижды вокруг, и согнал всех, сколько было в пределах этого места, гадов. Точно влекомые заклинанием, вышли во множестве змеи, аспиды, ехидны, гадюки, аконтии, жабы и фисалы. Только один древний змей, которому выползти мешала, думается мне, старость, остался в норе, послушавшись приказания. Тогда маг объявил, что пришли не все полностью, и, выбрав послом одну змею, самую молодую, отправил ее за змеем. И спустя короткое время приполз и он. Когда же они собрались, вавилонянин дунул на них, и тотчас же все гады сгорели от его дуновения, оставив нас в изумлении».

13. «Скажи мне, Ион,— спросил я,— юная змея-посол за руку привела состарившегося, как ты говоришь, змея, или он пришел, опираясь на посох?»

«Ты шутишь,— ответил Клеодем.— Некогда я сам еще меньше тебя верил в подобные вещи. Я считал совершенно невозможным верить им, и, однако, как только впервые увидел летающего чужеземца, варвара,— он называл себя гиперборейцем,— я поверил и оказался побежденным, хотя долго сопротивлялся. И что, в самом деле, оставалось мне делать, когда на моих глазах среди ясного дня человек носился по воздуху, ступал по воде и медленным шагом проходил сквозь огонь?»

«Ты видел это? — спросил я.— Видел летающего и стоящего на воде гиперборейца?»

«Еще бы,— ответил Клеодем,— на ногах у него были башмаки из воловьей кожи, которые обычно носят гиперборейцы. О мелочах, которые он показывал, говорить не стоит: как он напускал любовные желания, призывал духов, вызывал давно похороненных покойников, делал видимой даже Гекату и низводил с неба Луну.

14. Я расскажу вам о том, что на моих глазах сделано было им в доме Главкия, сына Алексикла. Только что вступив после смерти отца во владение имуществом, Главкий влюбился в Хрисиду, дочь Деменета. Я обучал Главкия философии, и, если бы не любовь, отвлекшая его внимание, Главкий ознакомился бы

с учением перипатетиков в полном объеме, так как восемнадцать лет он уже научился решать трудные проблемы и вполне закончил изучение «Физики». Беспомощный перед любовью, он поведал мне обо всем. И я, как подобало наставнику, привожу к нему нашего гиперборейского мага при условии уплаты ему четырех мин немедленно — было необходимо кое-что подготовить для жертвоприношений — и шестнадцати мин в том случае, если Главкий получит Хрисиду. Дождавшись новолуния, — заклинания обычно совершаются именно в это время, — маг вырыл в одном из открытых помещений дома яму и в полночь сперва вызвал к нам скончавшегося за семь месяцев до того отца Главкия Алексикла. Сначала старик гневался на любовь сына, сердился, но в конце концов все-таки разрешил любить Хрисиду. После этого маг вызвал Гекату, которая привела с собой Кербера, и низвел Луну — многообразную и постоянно меняющую облик: сначала она представилась в женском образе, затем замечательно красивой коровой, потом явилась щенком. Под конец, вылепив из глины маленького Эрота, гипербореец произнес: «Ступай и приведи Хрисиду». Глина улетела, и недолго спустя Хрисиде постучалась в дверь, а вошедши, обняла, как безумно влюбленная, Главкия и оставалась с ним до тех пор, пока мы не услышали пение петухов. Тогда Луна улетела на небо, Геката ушла под землю, исчезли и остальные призраки, а Хрисиду мы отправили почти на самом рассвете.

15. Если бы ты видел это, Тихиад, то не стал бы больше сомневаться, что есть много полезного в заклинаниях».

«Согласен, — сказал я, — пожалуй, я бы поверил, если бы видел это. Но в настоящее время, полагаю, мне извинительно не обладать таким же, как у вас, острым зрением. Впрочем, насколько мне известно, Хрисиде, про которую ты рассказывал, женщина развратная и доступная. Не вижу причины, зачем вам понадобились для нее глиняный посланник, гиперборейский маг и сама Луна, когда Хрисиду за двадцать драхм можно привести хоть в страну гиперборейцев. Этот вид заклинания склоняет Хрисиду вполне, причем на нее оно действует совершенно иначе, чем на призраков: призраки — ведь вы утверждаете и это — убегают, услышав звон меди или железа, она же, если где-нибудь звенит серебро, на этот шум направляется. Но

особенно меня удивляет сам маг: он мог бы влюбить в себя богатейших женщин и брать с них целые таланты, а он с такой скромностью, за четыре мины, заставляет влюбляться в Главкия...»

«Ты выставляешь себя на смех, ничему не веря»,— заметил Ион.

16. Я бы охотно спросил тебя, что ты скажешь о людях, которые отгоняют от бесноватых страшные видения, совершенно ясно заклиная призраки. Рассказывать мне об этом незачем: все знают сирийца из Палестины, мудреца, изощренного в таких делах, который принимает множество больных, страдающих при лунном свете падучей, закатывающих глаза и исходящих пеной; он ставит их на ноги и отпускает от себя здоровыми, избавляя от болезней за крупное вознаграждение. Когда он подходит к лежащему и спрашивает его, откуда в тело вошли болезни, сам больной молчит, а злой дух — по-гречески, или по-варварски, или иначе, смотря по тому, откуда он происходит,— отвечает ему, как и откуда вошел он в человека. Сириец изгоняет духа, приводя его к клятве, причем прибегает к угрозам, если тот не соглашается. Я видел сам, как злой дух выходил из человека, похожий на черный дым».

«В том, что ты видишь подобные вещи, нет ничего особенного,— вставил я свое слово,— ты различаешь даже идеи, указанные отцом вашим Платоном; для нас же, близоруких, это зрелище тусклое».

17. «Да разве один только Ион видел подобные вещи?— возразил Евкрат.— Разве многие другие не встречались ночью или днем с духами? Я сам созерцал их, и не однажды, а тысячу раз. И сперва эти видения смущали меня, теперь же благодаря привычке ничего неожиданного для меня они больше не представляют, особенно с тех пор, как араб дал мне перстень, сделанный из железа с крестов, и научил меня многоименному заклинанию. Может быть, впрочем, ты и мне не поверишь, Тихиад?»

«Как же мне не поверить Евкрату,— воскликнул я,— сыну Динона, ученому мужу, в особенности когда он свободно, по доброй охоте, говорит у себя дома о том, что ему кажется».

18. «Итак, по поводу статуи.— продолжал Евкрат,— уже столько раз являвшейся по ночам всем здесь в до-

ме — и детям, и юношам, и старикам, — об этом ты можешь услышать не от меня одного, а и от всех наших».

«Какой статуи?» — спросил я.

«Входя, ты не заметил прекрасной статуи работы ваятеля Деметрия, стоящей во дворе?»

«Не говоришь ли ты о дискоболе, который склонился, готовый метать диск, и, повернув голову, глядит на руку, держащую диск; он слегка согнул одну ногу, как будто готовясь выпрямиться одновременно с ударом?»

«Нет, не о ней, — ответил Евкрат, — та статуя, о которой ты говоришь, — одно из произведений Мирона — «Дискобол». О стоящей рядом статуе красавца юноши, украшающего свою голову повязкой, я тоже не говорю; ведь это работа Поликлета. Ты пропусти статуи с правой стороны от входящих, в том числе и произведение Крития и Несиота «Тираноубийцы». Может быть, ты заметил возле фонтана изображение пузатого лысого человека, полуобнаженного, с несколько всклокоченной бородой и ясно выраженными жилами, как у живого человека: о ней-то я говорю. Кажется, это коринфский полководец Пелих».

19. «Клянусь Зевсом, — сказал я, — направо от изображения Крона я действительно заметил какую-то статую: на нее навешаны повязки и высохшие венки, а грудь украшена золотыми пластинками».

«Это я выложил ее золотом, — сказал Евкрат, — после того как она вылечила меня от лихорадки, мучившей меня каждые три дня».

«Значит, он был и врачом, этот милейший Пелих?» — спросил я.

«Да, — ответил Евкрат, — он врач. Не смейся над ним, не то он живо с тобой расправится. Мне ведомо, какую силу имеет эта статуя, над которой ты насмеяешься. Или, по-твоему, отгоняющий лихорадку не обладает силой наслать эту болезнь, на кого пожелает?»

«Да будет милостива и кротка столь храбрая статуя, — воскликнул я. — Что же она еще делает, что вы все, живущие в доме, видите?»

«Как только наступает ночь, — сказал Евкрат, — Пелих сходит с основания, на котором стоит, и обходит вокруг нашего дома. Он всем попадается навстречу, иногда при этом напевая. Изображение никого не обижает: надо только посторониться с его дороги, и статуя проходит мимо, не причиняя неприятностей увидев-

шим ее. Обыкновенно она целую ночь весело моется: бывает слышно, как плещется вода».

«Смотри, однако,— заметил я Евкрату,— не статуя ли это критянина Талоса, слуги Миноса, а вовсе не Пелиха? Ведь Талос был медным стражником Крита. А если бы твоя статуя была из дерева, а не из меди, ничто не мешало бы ей быть одним из хитрых созданий Дедала, Евкрат, а не произведением Деметрия; ведь и Пелих, по твоим словам, убегает со своего основания».

20. «А ты, Тихиад,— сказал мне в ответ Евкрат,— смотри, как бы впоследствии тебе не раскаяться в своей насмешке. Мне известно, что претерпел человек, похитивший деньги, которые мы кладем Пелиху каждое новолуние».

«Как совершивший святотатство этот человек должен был понести ужасное наказание,— воскликнул Ион.— Как же Пелих отомстил ему, Евкрат? Я хочу об этом услышать, хотя он, этот Тихиад, и будет всячески проявлять недоверие».

«У ног Пелиха лежало много оболов и других монет,— начал рассказывать Евкрат.— Некоторые серебряные монеты были приклеены воском к его бедру, так же как и серебряные пластинки (это были благодарственные приношения или плата за исцеление людей, избавившихся благодаря Пелиху от лихорадки). В конюхах у нас был один раб, ливиец, будь он проклят! Ливиец задумал украсть все эти приношения и похитил их, выждав, когда Пелих сошел со своего основания. Вернувшись обратно на свое место, Пелих понял, что ограблен. И посмотри, как он отомстил и как уличил ливийца: целую ночь жалкий этот человек кружился по двору и не мог из него выбраться, словно попал в лабиринт; когда же наступил день, то был пойман с поличным. Схваченный на месте преступления, он получил немало ударов и, не долго прожив после этого, умер, подлец, подлою смертью от ударов плетью, сыпавшихся на него каждую ночь, как сам он о том рассказывал, так что наутро видны бывали на его теле синяки. Итак, Тихиад, насмехайся над Пелихом и считай, что я — ровесник Миноса и потому заговариваюсь».

«Но, Евкрат,— возразил я,— пока медь останется медью,— а это произведение обработано Деметрием из Алопеки, создателем статуй, а не богов,— и я никогда

не стану бояться изображения Пелиха, угрозы которого даже при его жизни нисколько не внушали мне страха».

21. После этого врач Антигон взял слово: «И у меня, Евкрат, есть медный Гиппократ, с локоть величиною, который, лишь только погаснет светильня, с шумом обходит весь дом кругом, опрокидывает коробки, сливает вместе лекарства и раскрывает настежь двери, особенно если мы откладываем жертвоприношение, которое ежегодно ему совершаем».

«Как? — спросил я, — теперь и врач Гиппократ требует жертвоприношений и сердится, если его своевременно не угощают мясом беспорочных животных? А ведь ему надлежало бы довольствоваться жертвой, приносимой покойникам, — возлиянием из воды с медом или увенчанием головы венком».

22. «А вот послушай, — сказал Евкрат, — что я видел пять лет тому назад: тут я могу сослаться и на свидетелей».

Стояла пора виноградного сбора. В полдень, оставив работников, собиравших виноград, я, занятый своими мыслями и соображениями, удалился в лес. Очутившись в чаще, я услышал сперва лай собак и подумал, что Мнасон, мой сын, забавляется, по своему обыкновению, охотой, забравшись в гущу леса вместе со своими сверстниками. Но это было не так: спустя короткое время поколебалась почва, раздался громовой голос, и, я вижу, подходит ко мне страшная женщина высотой в полстадия. В левой руке она держала факел, а в правой меч приблизительно в двадцать локтей длины; головою подобна Горгоне — я говорю о выражении ее глаз и ужасном взгляде; вместо волос, как виноградные лозы, вокруг ее шеи сплетались змеи, а некоторые из них рассыпались по ее плечам. Поглядите, друзья, как дрожь охватила меня при моем рассказе».

И, говоря это, Евкрат показывал всем свои руки, на которых от страха волосы встали дыбом.

23. Напряженно, разинув рты, внимали ему люди, подобные Иону, Диномаху и Клеодему, старцы, которых водили за нос, в безмолвном преклонении перед таким невероятным колоссом, этим гигантским пугалом — женщиной ростом в полстадия. А я между тем размышлял о том, что представляют собой эти люди: из-за их мудрости юноши ищут с ними знакомства,

многие уважают их, а сами они лишь сединой и бородами отличаются от младенцев, в остальном же поддаются обману еще скорее детей.

24. Но вот заговорил Диномах:

«Скажи мне, Евкрат, какой величины были собаки богини?»

«Выше индийских слонов,— отвечал тот,— они были черны, мохнаты, с грязной шерстью. Увидев, я остановился и сейчас же повернул печать, которую дал мне араб, на внутреннюю сторону пальца. А Геката ударила своей чудовищной ногой о землю и образовала в ней громадное отверстие величиною с Тартар и вскоре затем ушла, прыгнув в пропасть. Я же, набравшись мужества, нагнулся над этой пропастью, ухватившись за росшее вблизи дерево, чтобы не свалиться вниз головой, если бы потерял сознание. И я увидел весь Аид, Пирифлегетон, озеро, Кербера, покойников; некоторых из них я даже мог узнать: я заметил, что мой отец был еще одет в ту одежду, в какой мы его похоронили».

«Что же делали души, Евкрат?» — спросил Ион.

«Да какое же другое у них занятие,— сказал Евкрат,— как не возлежать по племенам и фратриям в обществе друзей и родственников, на асфоделе!»

«И пусть после этого продолжают возражать последователи Эпикура святому Платону и его учению о душах! — воскликнул Ион.— А не видал ли ты, Евкрат, Сократа и Платона среди покойников?»

«Сократа — да, хотя неясно,— ответил Евкрат,— я догадывался по лысине и большому животу, что это он. Но Платона я не признал: полагаю, с друзьями надо быть откровенным. Итак, я подробно все осмотрел, и пропасть стала уже закрываться, но еще не закрылась, когда подошли искавшие меня рабы, в том числе и Пиррий. Скажи, Пиррий, говорю ли я правду?»

«Клянусь Зевсом,— воскликнул Пиррий,— и я слышал лай в пропасти, и, как мне казалось, просвечивал огонь от факела».

Показание свидетеля, от себя добавившего и лай и огонь, рассмешило меня.

25. А Клеодем сказал: «В том, что ты видел, нет ничего необычайного, не виданного другими, потому что и я созерцал нечто подобное во время моей недавней болезни. Наблюдал за мною и лечил меня присутству-

ющий здесь Антигон. Наступил седьмой день, и жар лихорадки был сильнее летнего зноя. Затворив за собою двери, все вышли из моей комнаты, оставив меня в одиночестве: так предписано было тобою, Антигон, в надежде, не удастся ли мне как-нибудь заснуть. И вот, когда я бодрствовал, подходит ко мне прекрасный юноша, одетый в белую одежду, поднимает меня и ведет через какую-то пропасть в Аид, который я тотчас признал, увидев Тантала, Тития и Сизифа; и нужно ли мне перечислять вам еще и все остальное? Я очутился в судилище, где присутствовали Эак, Харон, Мойры и эринии и сидел некто, вероятно, сам царь Плутон, читавший имена тех, кому надлежало стать покойниками и кто случайно прожил свыше положенного ему срока. Мой проводник быстро подвел меня к Плутону, но тот рассердился и сказал юноше, который привел меня: «Его пряжа еще не закончена, так что пускай уходит. А вместо него приведи сюда кузнеца Демила, который живет уже сверх веретена». Радостно выбежал я из подземного царства, и лихорадка прошла у меня. Всем сообщил я, что скоро умрет Демил: он жил по соседству с нами и, как говорили, был чем-то болен. И вскоре мы слышали вопли плакавших по Демилу».

26. «Чему тут удивляться? — спросил Антигон. — Я знаю человека, который поднялся через двадцать дней после того, как его похоронили. Я лечил этого человека и до его смерти, и после его воскресения».

«Но как же за эти двадцать дней не разложилось его тело? — спросил я. — Как, с другой стороны, он не погиб от голода, если только, разумеется, человек, которого ты лечил, не был каким-нибудь Эпименидом?»

27. Пока мы разговаривали, вошли сыновья Евкрата, вернувшиеся из палестры, — один уже в юношеском возрасте, другой — мальчик лет пятнадцати, — и, приветствовав нас, заняли место на ложе рядом с отцом; для меня же было принесено кресло. При виде сыновей в Евкрате пробудились как будто воспоминания.

«Пусть получу я в моих детях, — сказал он, положив на каждого из них руку, — такое же верное утешение, как истинно то, о чем я расскажу тебе, Тихиад. Все знают, как любил я их мать, покойную мою жену. Это видно не только по моему отношению к ней при ее жизни, но также и по тому, что после смерти жены

я сжег все ее украшения и одежду, которая нравилась ей при жизни. На седьмой день после кончины жены я, как и сейчас, лежал здесь на ложе, стараясь умирить свою печаль: в тишине я читал книгу Платона о душе. И вдруг входит сама Деменета и садится возле меня, как сидит теперь Евкратид,—и Евкрат указал на младшего сына, который, побледнев во время рассказа отца, совсем по-детски вздрогнул.—А я,—продолжал Евкрат,—как увидел ее, так сейчас же обнял и заплакал, издавая стоны. Но она мне не позволяла кричать и упрекала в том, что я, угодив ей во всем, не сжег золотого сандалия, который завалился, говорила она, под сундук: потому-то мы и не нашли его и сожгли лишь один сандалий. Мы еще разговаривали, как вдруг под ложем залаяла проклятая мальтийская собачонка, и Деменета исчезла, испуганная лаем. А сандалий мы действительно нашли под сундуком и впоследствии сожгли.

28. Правильно ли, Тихиад, не верить и таким видениям, очевидным и происходящим ежедневно?»

«Клянусь Зевсом,—воскликнул я,—тех, кто отказывается этому верить и тем оскорбляет истину, было бы правильно нашлапать золотым сандалием, как малых ребят!»

29. В это время вошел пифагореец Аригнот с длинными волосами и гордым выражением лица. Ты знаешь его, известного своей мудростью, прозванного священным. При виде его я облегченно вздохнул, думая, что он приходит мне на помощь, как секира на ложь. Мудрый муж заставит их прекратить рассказы о нелепостях,—говорил я себе. Я полагал, сама Судьба, как говорится, подкатала его ко мне, как в театре — бога. Усевшись в кресло, уступленное ему Клеодемом, Аригнот справился прежде всего о болезни и, услышав от Евкрата, что ему уже легче, спросил:

«О каких это предметах вы философствуете? Входя, я слышал ваш спор, и кажется мне, вы с пользой проводите время».

«Да вот мы все убеждаем этого железного человека,—ответил Евкрат, указывая на меня,—поверить в существование духов и призраков и согласиться признать, что души покойников блуждают на земле и показываются, кому пожелают».

Я покраснел и опустил глаза, устыдившись Аригнота; он сказал:

«Не утверждает ли Тихиад, что по земле блуждают только души умерших насильственной смертью, то есть души тех, например, кто был повешен, кому была отрублена голова, кто был распят или ушел из жизни иным подобным же способом; души же людей, скончавшихся своей смертью, уже не бродят? Если он будет утверждать это, то его слова заслуживают, Евкрат, внимания».

«Но, клянусь Зевсом,— воскликнул Диномах,— он думает, что подобного вовсе не бывает, что это недоступно зрению».

30. «Как говоришь ты? — обратился ко мне Аригнот, мрачно взглянув на меня.— Ты думаешь, что ничего такого не происходит, несмотря на то, что все, можно сказать, это видят?»

«За мое неверие вы должны меня извинить именно потому, что один только я не вижу,— сказал я,— а если бы я это видел, то, разумеется, верил бы так же, как вы».

«Но если тебе случится когда-нибудь быть в Коринфе,— сказал Аригнот,— расспроси, где находится дом Евбатиды, и, когда тебе укажут его у Кранейского холма, направься туда и скажи привратнику Тибию, что желаешь посмотреть место, откуда пифагореец Аригнот выкопал духа и, изгнав его, сделал на будущее время этот дом обитаемым».

31. «Что это за случай, Аригнот?» — задал вопрос Евкрат.

«Долгое время,— ответил Аригнот,— дом был необитаем из-за привидений; если кто в нем и поселялся, то в страхе бежал тотчас же, преследуемый каким-то призраком, беспокойным и страшным. Дом начал уже разрушаться, его крыша — рассыпаться, и не было никого, кто бы осмелился в него проникнуть. Услышав об этом, я взял книги (у меня много египетских книг, касающихся подобных предметов) и пришел в этот дом поздно вечером, хотя мой хозяин и отговаривал меня, чуть ли не силою хотел удержать меня, узнав, что я иду на явную, по его мнению, гибель. Взяв светильник, вхожу в дом один; поставив свет в самом просторном помещении, спокойно начинаю читать, усевшись на землю. Приближается ко мне дух, думая, что имеет дело с одним из многих, и надеясь, что я, как и прочие, испугаюсь. Дух лохматый и длинноволосый, чернее мрака, и вот, наступая, он испытывал мою силу и бро-

сался на меня со всех сторон, становясь то собакой, то быком, то львом. Я же, взяв в руки ужасающий заговор и громко читая его по-египетски, все время заклиная, загнал духа в один из углов темной горницы и заметил место, через которое он ушел под землю. Потом, остальную часть ночи, я отдыхал. Наутро, когда все были в отчаянии и думали, что меня, как других, найдут мертвым, я неожиданно для всех являюсь к Евбатида, неся для него радостное известие, что он может жить в очищенном и освобожденном от видений доме. Затем я привел Евбатида и многих других (они пошли за нами из-за необычайности происшедшего) к тому месту, где, как я видел, дух ушел под землю, и приказал им взяться за мотыги и лопаты и копать в этом углу. Когда работа была выполнена, на глубине приблизительно сажени был найден давно истлевший мертвец, от которого остались одни лишь кости. Выкопав кости, мы похоронили их, и с того времени призраки перестали тревожить дом.

32. После такой речи Аригнота, мужа чудесной премудрости и всеми уважаемого, среди присутствующих не осталось никого, кто бы не осудил моего великого безрассудства — не верить в подобные вещи, раз о них говорил Аригнот. Однако, несколько не устранившись ни длинных волос Аригнота, ни окружающей его славы, я воскликнул:

«Что же это, Аригнот? И ты таков же, единственная моя надежда! И ты полон дыма и призраков! Ты для меня оказался тем же, о чем говорит пословица: то, что мы считали сокровищем, оказалось углями».

«Но если,— обратился ко мне Аригнот,—ты не веришь ни моим словам, ни словам Диномаха, ни Клеодема, ни словам самого Евкрата, то скажи, кто же, по твоему мнению, заслуживает в таких вопросах большего доверия и расходится с нами во взглядах?»

«Таким весьма замечательным человеком, клянусь Зевсом,— ответил я Аригноту,— я считаю знаменитого Демокрита Абдерского: он был настолько убежден в невозможности подобных явлений, что запирался в надгробном памятнике, за городскими воротами, где ночью и днем писал свои сочинения. А когда какие-то юноши захотели попугать его ради шутки и, нарядившись покойниками, надев черное платье и личины, изображающие черепа, окружили его и стали плясать вокруг него плотной толпой, то он не только не испу-

гался их представления, но даже и не взглянул на них, а сказал, продолжая писать: «Перестаньте дурачиться». Так твердо он убежден был в том, что души, оказавшиеся вне тела,— ничто».

«Тем самым ты говоришь,— заметил Евкрат,— что и Демокрит был безумцем, раз он придерживался таких взглядов.

33. Я же вам расскажу и другое, и не с чужих слов, а пережитое мною самим. Может быть, и ты, Тихиад, слушая меня, согласишься признать правдивость моего рассказа. Будучи еще юношей, я находился в Египте, куда был послан отцом для образования. Я захотел доплыть до Копта, чтобы оттуда пройти до Мемнона и самому услышать, как Мемнон звучит при восходе солнца. И вот я услышал Мемнона, и не так, как обыкновенно слышит его большинство, воспринимая неясный какой-то голос. Нет, Мемнон мне дал предсказание в семи стихах, открыв для меня свои уста. Излишним кажется мне передавать вам эти стихи.

34. На обратном пути нашим товарищем по плаванью оказался один житель Мемфиса из числа священников писцов, человек удивительной мудрости, усвоивший всю образованность египтян. Говорили, он двадцать три года жил под землей, в святых помещениях, где учился магии у Исиды».

«Ты рассказываешь о Панкрате,— перебил Аригнот Евкрата,— о моем учителе, святом муже, бритом, в льняной одежде, рассудительном, нечисто говорящем по-гречески, о длинном курносом человеке с выдающимися вперед губами, высокого роста, на тонких ногах».

«Да,— ответил Евкрат,— о нем самом, о знаменитом Панкрате. Вначале я не знал, что это за человек, но, видя во время наших стоянок множество чудес, которые он творил, и то, как он катался на крокодилах и плавал рядом с ними, а те в страхе виляли перед ним хвостами, я понял, что это святой муж. Вскоре, выказывая ему дружеское расположение, я незаметно стал его товарищем, настолько близким, что он посвящал меня во все тайны. В конце концов он начал склонять меня последовать за ним, а всех моих слуг оставить в Мемфисе. «У нас не будет,— говорил мне Панкрат,— недостатка в прислуживающих». И с тех пор так мы и жили.

35. Когда приходили мы на постоянный двор, этот муж брал дверной засов, метлу или пест, набрасывал на этот предмет одежду и, произнося над ним какое-то заклинание, заставлял его двигаться, причем всем посторонним этот предмет казался человеком. Он черпал воду, ходил покупать съестные припасы, стряпал и во всем с ловкостью прислуживал и угождал нам. А затем, когда его услуг больше не требовалось, Панкрат, произнося другое заклинание, вновь делал метлу метлою или пест пестом. Несмотря на все старания, мне никак не удавалось научиться этому у Панкрата: во всем остальном чрезвычайно доступный, он был ревнив в этом случае. Но однажды, подойдя к нему в темноте совсем близко, я незаметно подслушал заклинание. Оно состояло из трех слогов. Поручив песту делать что надо, Панкрат ушел на городскую площадь.

36. А я на следующий день, пока он был занят в городе каким-то делом, взял пест и, произнося слоги подобно Панкрату, придал песту нужный вид и приказал ему носить воду. Когда же пест принес сосуд, я сказал ему: «Перестань носить воду и сделайся вновь пестом». Но он не желал меня слушаться и продолжал, черпая, носить воду, пока не наполнил водою весь наш дом. Не зная, что предпринять,—я боялся, как бы Панкрат не рассердился, вернувшись, а это как раз потом и случилось,—я хватаю топор и разрубаю пест на две половины. Но сейчас же обе половины берут сосуды и принимаются носить воду, и вместо одного водоноса у меня получаются два. Тут появляется Панкрат. Поняв происшедшее, он снова сделал их деревом, какими были они до заклинания, сам же, покинув меня, тайно ушел, неизвестно куда скрывшись».

«Итак, теперь,—заметил Диномах,—ты знаешь, как делать человека из песта».

«Клянусь Зевсом, только наполовину,—ответил Евкрат,—раз пест делается водоносом, я уже не смогу вернуть его к первоначальному состоянию, и наш дом, наполняемый водою, погибнет от наводнения».

37. «Не прекратите ли вы рассказывать свои небылицы?—сказал я.—Ведь вы уже пожилые люди. Или отложите ваши невероятные и страшные повествования хотя бы до другого раза, ради этих юнцов: ведь незаметно для нас они преисполняются ужасов и чудовищных басен. Надо щадить их и не приучать слушать такие вещи, которые постоянно будут тревожить

их в течение всей их жизни, заставят бояться всякого шума и отдадут во власть различных суеверий».

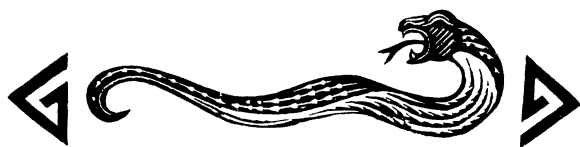
38. «Ты кстати напомнил о суевериях,— заметил Евкрат.— Какого ты мнения, Тихиад, об этом, то есть о пророческих предсказаниях, о том, что выкрикивается иными по наитию бога, о голосах, которые слышатся из сокровенных помещений святилища, о пророчествах и стихах, выкликаемых девой, предрекающей будущее? Ты не веришь, конечно, и этому. Но не буду говорить о том, что у меня есть колечко с печатью, на котором вырезано изображение Аполлона Пифийского, и что этот Аполлон подает мне голос,— боюсь, что ты примешь меня за хвастуна. Мне хочется сообщить вам о том, что я услышал в святилище Амфилоха в Малле, когда герой наяву вел со мной беседу и в моих делах дал мне совет,— сообщить вам о том, чему я сам был свидетелем, а затем рассказать, что видел я в Пергаме и что слышал в Патарах. Так как я много слышал о Малле как о самом знаменитом и чрезвычайно правдивом прорицалище, где предсказания подаются в виде ясных ответов на каждый из поставленных вопросов, которые записываются на доске, вручаемой пророку, то на обратном пути из Египта я счел за благо испытать проездом это прорицалище и испросить у бога совета относительно будущего».

39. Евкрат еще продолжал рассказывать, а я, видя, к чему клонится дело и что им затеяна немалая трагедия о пророчествах, нашел, что обязанность одному возражать всем — не по мне, и покинул Евкрата еще на его пути из Египта в Малл. К тому же я сознавал, что все, видя во мне противника лжи, тяготеют мною.

«Я ухожу,— сказал я,— искать Леонтиха. Мне необходимо с ним повидаться. Вы же, если находите, что мало с вас человеческих дел, приглашайте самих богов к участию в ваших выдумках». И с этими словами я вышел. А они, радуясь тому, что получили свободу, продолжали, конечно, насыщаться ложью, угощая ею друг друга. Так вот чего я наслушался у Евкрата, Филокл. И клянусь Зевсом, подобно людям, опившимся молоком, и я нуждаюсь в рвотном, чтобы очистить вздувшийся желудок. Охотно купил бы я за дорогую плату лекарство, которое заставило бы меня забыть о слышанном, чтобы воспоминание об этом, пребывая во мне, не причинило мне какого-нибудь вреда. Кажется, я вижу перед собой чудовищ, духов и гекат.

40. Ф и л о к л. И на меня твой рассказ, Тихиад, произвел такое же приблизительно действие. Говорят, бешенство и водобоязнь передаются людям не только через укус бешеной собаки: говорят, если человек, укушенный бешеной собакой, сам укусит кого-нибудь, этот укус имеет ту же силу, что и укус собаки, и вызывает также водобоязнь. Так и ты, укушенный в доме Евкрата множеством лжи, передал и мне этот укус: до того наполнил ты мой ум злыми духами.

Т и х и а д. Друг мой, не будем же терять бодрости. Против лжи есть у нас великое противоядие — истина и правильное обо всем суждение. И пусть вся эта ложь, пустая и напрасная, не смущает нас, прибегающих к этому противоядию.





ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Подобно тому, как атлеты и люди, заботящиеся о силе и здоровье своего тела, уделяют внимание не только физическим упражнениям, но и своевременно-му отдыху и считают его важнейшим условием правильного образа жизни, так и тем, кто занимается наукой, подобает, по-моему, после усиленной умственной работы дать уму отдых и укрепить его силы для предстоящих трудов.

2. Лучшим способом отдохновения является такое чтение, которое будет отличаться не только остроумием и приятностью, но также будет заключать в себе не лишнее изящество наставление. Предполагаю, что настоящее мое сочинение и будет представлять собою подобный вид чтения. В нем читателя будут привлекать не только своеобразие содержания и зрелость замысла, не только пестрота выдумок, изложенных убе-

дительным и правдоподобным языком, но и то, что каждый из рассказов содержит тонкий намек на одного из древних поэтов, историков и философов, написавших так много необычайного и неправдоподобного, я мог бы назвать их по имени, если бы ты при чтении сам не догадался, кого я имею в виду.

3. К ним относится, например, книдиец Ктесий, сын Ктесиюха, писавший о стране и о жизни индов, хотя он сам никогда там не бывал и не слышал о них ни одного правдивого рассказа. Ямбул также написал много удивительного о живущих в Великом море; всем было известно, что все это — сплошной вымысел, но тем не менее выдумка его была не лишена привлекательности. Многие другие превзошли их, описывая свои мнимые скитания и странствия, рассказывая про величину зверей, дикость людей и необычайность нравов. Руководителем, научившим описывать подобного рода несообразности, был Одиссей Гомера, который рассказывал у Алкиноя про рабскую службу у ветров, про одноглазых, про людоедов и про других подобных диких людей, про многоголовые существа, про превращение спутников, вызванное волшебными чарами; подобными рассказами Одиссей морочил легковверных феаков.

4. Я не ставлю всем этим рассказчикам вымыслы в особую вину, потому что мне приходилось видеть, как сочинительством занимаются также люди, посвящающие свое время, как они говорят, только философии. Одно всегда удивляло меня: уверенность, что вымысел может пройти незамеченным. Побуждаемый тщеславным желанием оставить и по себе какое-нибудь произведение, хотя истины в нем, увы, будет столько же, сколько у прочих писателей (в жизни моей не случилось ничего такого, о чем стоило бы поведать другим), я хочу прибегнуть к помощи вымысла более благородным образом, чем это делали остальные. Правдиво только то, что все излагаемое мною — вымысел. Это признание должно, по-моему, снять с меня обвинение, тяготеющее над другими, раз я сам признаю, что ни о чем не буду говорить правду. Итак, я буду писать о том, чего не видел, не испытал и ни от кого не слышал, к тому же о том, чего не только на деле нет, но и быть не может. Вследствие этого не следует верить ни одному из описанных ниже приключений.

5. Пустившись в плавание, я миновал столпы Геракла и выехал, сопровождаемый благоприятным ветром, в Западный океан. Причиной и поводом моего путешествия были отчасти любопытство, отчасти страстная любовь ко всему необычайному и желание узнать, где находится конец океана и что за люди живут по ту сторону его. Погрузив поэтому большое количество припасов и соответствующее количество воды, я набрал себе пятьдесят спутников одного со мною образа мыслей, запаса всевозможным оружием, нанял наилучшего кормчего, прельстив его большой платой, и снабдил мой корабль — судно легкое и быстроходное — всем необходимым для далекого и опасного плаванья.

6. Весь день и ночь мы плыли по ветру и, пока была видна земля, двигались не особенно быстро. На следующий день с восходом солнца ветер стал усиливаться, волны возрастать, наступила темнота, и не было никакой возможности подобрать паруса. Брошенные на волю ветров и поручив им свою жизнь, мы провели таким образом семьдесят девять дней, а на восьмидесятый при свете внезапно засиявшего солнца мы увидели невдалеке высокий, поросший лесом остров; прибой был не очень велик, ибо буря стала утихать. Приблизившись к острову, мы высадились и, после великих своих бедствий, пролежали долгое время на земле. Поднявшись, мы выбрали из своей среды тридцать человек, которые в качестве стражи должны были остаться у корабля; двадцать же остальных отправились со мною на разведку острова.

7. Пройдя приблизительно три стадии от моря в лес, мы увидели какой-то медный столб, а на нем греческую надпись, стершуюся и неразборчивую, гласившую: «До этого места дошли Геракл и Дионис». Вблизи на скалах мы увидели два следа, один величиною с плефр, другой поменьше, и я решил, что Дионису принадлежит след, который поменьше, первый же — Гераклу. Почтив следы коленопреклонением, мы отправились дальше. Не успели мы немного отойти, как были поражены, увидев реку, текущую вином, очень напоминающим собою хиосское. Русло реки было широко и глубоко, так что местами она, наверное, была судоходна. При виде столь явного доказательства путешествия Диониса мы еще сильнее уверовали в истинность надписи на столбе. Я решил обследовать

исток реки, и мы отправились вверх по течению, но не нашли никакого источника, а вместо него увидели множество больших виноградных лоз, увешанных гроздьями. У корня каждой лозы просачивалась прозрачная капля вина, и от слияния этих капель образовался поток. В нем виднелось много рыб, цветом и вкусом своим напоминавших вино. Мы изловили несколько штук, проглотили их и сразу опьянели; разрезав их, мы действительно нашли, что они были наполнены винным осадком. Впоследствии нам пришла мысль есть этих рыб вместе с пойманными в воде, и таким образом мы умили силу поглощаемого вина.

8. Перейдя реку в мелком месте, мы натолкнулись на удивительный род виноградных лоз: начиная от земли, ствол был свеж и толст, выше же он превращался в женщин, которые приблизительно от бедер были вполне развиты,—вроде того, как у нас рисуют Дафну, превращающуюся в дерево в то мгновение, когда Аполлон собирается ее схватить. Из концов пальцев у них вырастали ветки, сплошь увешанные гроздьями. Головы женщин были украшены вместо волос виноградными усиками, листьями и гроздьями. Когда мы подошли к ним, они встретили нас приветствиями и протянули нам руки; одни из них говорили на лидийском, другие на индийском, большинство же на греческом языке. Они целовали нас в уста. Кого они целовали, тот сразу пьянел и становился безумным. Плодов, однако, они не позволяли нам срывать, а если кто-нибудь рвал грозди, то они кричали, как от боли. Им страстно хотелось соединиться с нами любовью. Двое из наших товарищей исполнили их желание, но не могли потом освободиться, точно привязанные. Они действительно срослись с женщинами и пустили корни, а потом стали вырастать ветки из их пальцев,—они обвилились лозами; не хватало только того, чтобы и они стали производить плоды.

9. Покинув их, мы устремились к нашему судну и, придя к оставшимся на нем товарищам, рассказали им обо всех наших находках и о соитии наших товарищей с виноградными лозами. Взяв несколько кувшинов, мы наполнили их водой и вином из реки. Ночь мы провели на берегу невдалеке от потока, а ранним утром, сопровождаемые не особенно сильным ветром, пустились в дальнейший путь.

Около полудня, когда мы потеряли уже из виду остров, вдруг налетел вихрь и, закружив наш корабль, поднял его вверх на высоту около трех тысяч стадиев и не бросил обратно в море, а оставил высоко в воздухе. Ветер ударил в паруса и, раздувая их, погнал нас дальше.

10. Семь дней и столько же ночей мы плыли по воздуху, на восьмой же увидели в воздухе какую-то огромную землю, которая была похожа на сияющий шарообразный остров и испускала сильный свет. Подплыв к ней, мы пристали и высадились. Обозревая эту страну, мы убедились, что она обитаема и что почва обработана. Днем мы не могли хорошенько осмотреть всего, но, когда наступила ночь, вблизи показались многие другие острова, некоторые побольше, другие поменьше, и все огненного вида. Внизу же мы увидели какую-то другую землю, а на ней города и реки, моря, леса и горы. И мы догадались, что внизу под нами находилась та земля, на которой мы живем.

11. Мы решили отправиться дальше и вскоре встретили конекоршунов, как они здесь называются, и были ими захвачены. Эти конекоршуны не что иное, как мужчины, едущие верхом на коршунах и правящие ими, как конями. Коршуны эти огромных размеров, и почти у всех три головы. Чтобы дать понятие об их величине, достаточно сказать, что каждое из их маховых перьев длиннее и толще мачты большого грузового корабля. Конекоршуны были обязаны облетать страну и, увидев чужестранцев, отводить их к царю. Нас они, схватив, тоже повели к нему. Когда он увидел нас, то, судя, должно быть, по нашей одежде, спросил: «Вы эллины, о чужестранцы?» Мы ответили ему утвердительно. «Каким образом,— продолжал он,— проложили вы себе дорогу через воздух и явились сюда?» Мы ему рассказали обо всем, после чего и он, в свою очередь, стал нам рассказывать про себя, про то, что и он человек, по имени Эндимион, который был унесен с нашей земли спящим, и что, явившись сюда, он стал править этой страной. «А страна эта,— сказал он,— не что иное, как светящая вам, живущим внизу, Луна». Эндимион велел нам ободриться, так как нам не грозила никакая опасность, и обещал снабдить нас всем необходимым.

12. «Если мне посчастливится в войне,— продолжал он,— которую я собираюсь начать против жителей

Солнца, то вы заживете у меня самой блаженной жизнью». На наш вопрос о том, кто враги его и что является причиной раздоров, он рассказал следующее: «Фатон, царь Солнца (которое обитаемо так же, как и Луна), уже долгое время враждует с нами. Началось все это вот по какой причине: я как-то задумал, собрав самых бедных из моих подданных, переселить их на Утреннюю Звезду, которая представляет собою необитаемую пустыню. Враждебно настроенный к нам Фатон воспротивился этому замыслу и, стоя во главе муравьеконей, на полдороге преградил переселенцам путь. Ввиду того, что мы не были подготовлены к подобному нападению, мы понесли поражение и должны были отступить. Ныне же я собираюсь нагрянуть на него войной и вновь отправить переселенцев. Если вы желаете, то примкните к нашему войску, я предоставлю каждому из вас по одному из царских коршунов и все необходимое вооружение. В поход мы выступаем завтра». — «Если тебе это угодно, — ответил я, — пусть будет так».

13. Итак, мы остались у Эндимиона, поужинали, а на другой день поднялись с рассветом и выстроились в боевой порядок, так как наши лазутчики дали нам знать, что неприятель уже приближается. Войско наше, не считая обоза, осадных орудий, пехоты и союзных отрядов, состояло из ста тысяч человек; среди них было восемьдесят тысяч конекоршунов и двадцать тысяч человек на капустнокрылах, которые представляют собою огромных птиц, вместо перьев сплошь обросших капустой, и с крыльями, очень напоминающими листья латука. Рядом с ними выстроились просометатели и чеснокоборцы. Кроме того, явились еще союзники с Большой Медведицы, в количестве тридцати тысяч блохострелков и пятидесяти тысяч ветробежцев. Из них блохострелки ехали верхом на огромных блохах, от которых и получили свое название. Блохи эти были величиною с двенадцать слонов. Ветробежцы же были пехотинцами и мчались по воздуху, хотя у них и не было крыльев. Этого они достигают следующим образом: свои длинные, спускающиеся до ног одежды они подпоясывают так, что ветер раздувает их парусом, и они мчатся тогда, точно челн. В битвах они большей частью выступают в качестве легковооруженных. Говорили также о том, что со звезд, находящихся над Каппадокией, придут семьдесят тысяч воробыи-

ных желудей и пять тысяч журавлеконей. Но я их не видел: они не явились,— поэтому я и не решаюсь дать описание их вида, хотя о нем и рассказывали много чудесного и невероятного.

14. Таково было войско Эндимиона. Вооружение у всех было, впрочем, одинаковое. На головах были шлемы из бобов, а бобы у них громадной величины и крепости. Броня их представляла собою чешую, сшитую из кожуры волчьих бобов, которая здесь непробиваема, точно рог. Щиты и мечи напоминали собою греческие.

15. Когда наступило время, мы выстроились следующим образом. Правое крыло состояло из конекоршунов, предводителем которых был сам царь, окруженный отборными воинами,— среди них находились и мы. На левом крыле стояли капустнокрылы. Посредине находились союзные войска, выстроившиеся каждое по своему усмотрению. Главные силы пехоты, которой было около шестидесяти миллионов, расположились таким же образом. На Луне существует множество огромных пауков, из которых каждый больше любого из Кикладских островов. Им было приказано протянуть паутину через все воздушное пространство от Луны до Утренней Звезды. Приказание было тотчас же исполнено, и таким образом приготовлена равнина, где пехота и выстроилась в боевом порядке. Предводили ею Нетопырь, сын Властителя хорошей погоды, и еще двое других.

16. У врагов левое крыло составляли муравьекони, среди них находился Фаэтон. Муравьекони представляют собою всадников на огромных крылатых животных, отличающихся от наших муравьев только своими размерами. Самый большой из них был величиною в два плефра. В бою участвовали не только всадники, но и сами муравьи, которые сражались главным образом рогами. Число их определялось в пятьдесят тысяч. На правом крыле выстроились воздушные комары, числом также в пятьдесят тысяч. Это были стрелки верхом на огромных комарах. За ними стояли воздухоплянсы, легковооруженные пехотинцы, тоже опытные воины. Своими пращами они метали издалека громадные репы, и пораженный ими тут же умирал, а рана его издавала какое-то зловоние. Говорят, что они смачивают свое оружие ядом мальвы. За ними выстроились стеблегрибы — десятидесяти тысячное тяжелово-

оруженное войско, сражавшееся врукопашную. Стеблегрибами они называются потому, что щитами им служат грибы, а копьями — стебли спарж. Вблизи их стояло пять тысяч собачьих желудей, которые были посланы на помощь Фазтону жителями Сириуса. Это были мужчины с собачьими лицами, сражавшиеся на крылатых желудях. Говорили, что из союзников не явились еще пращники с Млечного пути и облакококтавры. Эти последние прибыли тогда, когда исход боя был уже решен; о, если бы они совсем не пришли! Пращники же вообще не явились, за что Фазтон, разгневанный, как говорят, этим поступком, истребил впоследствии страну их огнем. Такова была сила, которую Фазтон выслал против нас.

17. Когда войска встретились, был подан знак; с обеих сторон завывли ослы, — ими здесь пользуются как трубачами, — и битва началась. Левое крыло жителей Солнца сразу же бросилось бежать, не дождавшись даже приближения конекоршунов, а мы преследовали их, убивая всех на пути. Правое же крыло их стало одолевать наше левое, и воздушные комары, наступая на него, дошли до нашей пехоты, которая вступилась за оттесненных, так что неприятелю пришлось обратиться в бегство, особенно после того, как они заметили разгром левого фланга. Исход сражения стал теперь очевидным: многих мы забрали в плен живыми, многих убили. Кровь ручьями струилась на облака, так что они умылись ею и стали багряными, какими мы видим их на закате солнца. Кровь даже стала стекать на землю, и мне пришло в голову, что в древности здесь наверху произошло, должно быть, нечто подобное, на основании чего Гомер и говорит о кровавом дожде, который Зевс пролил на землю по поводу смерти Сарпедона.

18. Прекратив наконец преследование неприятеля, мы принялись воздвигать два победных трофея: один на паутине в честь нашего сражения, другой в облаках в честь воздушной битвы. Только что мы занялись этим, как разведчики дали нам знать о приближении облакококтавров, которые еще до сражения должны были явиться к Фазтону. Вскоре мы увидели, как они надвигались на нас, и зрелище это было более чем удивительное; эти чудовища состоят из крылатых коней и людей, причем человеческая часть их будет величиною в верхнюю половину колосса Родосского,

конская же приблизительно в огромное грузовое судно. Число их я называть не буду, — оно было настолько велико, что мне все равно никто не поверил бы. Предводителем их был Стрелец из Зодиака. Как только кентавры узнали про поражение друзей, они послали сказать Фазтону, чтобы он тотчас вернулся; сами же выстроились в боевой порядок и напали на ошеломленных жителей Луны, войско которых во время преследования врагов и сбора добычи пришло в замешательство. Им удалось поэтому обратить наших в бегство; самого царя они преследовали вплоть до города, перебили большинство его птиц, низвергли наши трофеи, разрушили сотканную пауками равнину, меня же и двух товарищей взяли в плен живыми. Тогда вновь появился сам Фазтон, и люди его воздвигли новые трофеи, а нас в этот же день отправили на Солнце, связав нам руки на спине обрывками паутины.

19. Они решили не осаждать город, а вместо этого выстроили вокруг него в воздухе стену, чтобы ни один луч Солнца не мог проникнуть на Луну. Стена эта была двойная и воздвигнута из облаков. Теперь затмение Луны стало неизбежным, и вся она погрузилась в непрерывную ночь. Эндимион, удрученный всем этим, отправил послов к Фазтону, которые должны были умолить его уничтожить воздвигнутое сооружение и не обрекать их жить во мраке. Сам же он обещал платить Фазтону дань, сделаться его союзником и никогда не начинать войны. В подтверждение этого он обещал дать заложников. Фазтон созвал тогда два Народных собрания, из которых первое ничего не могло постановить, так как возмущение было еще очень велико, второе же изменило уже свое мнение, и был заключен такой мирный договор:

20. «Жители Солнца со своими союзниками порешили заключить мир с обитателями Луны и их союзниками на следующих условиях: жители Солнца обязуются разрушить выстроенную ими стену, никогда больше не нападать на Луну и выдать пленников, каждого за отдельный выкуп. Обитатели же Луны, со своей стороны, обязуются не нарушать автономии других светил, не ходить войной на жителей Солнца, а являться им на помощь в случае нападения со стороны. Далее, царь обитателей Луны обязывается платить царю жителей Солнца ежегодную дань, состоящую из

десяти тысяч кувшинов росы, и выставить от себя десять тысяч заложников. Что касается колонии на Утренней Звезде, то они должны основать ее сообща, и другие желающие могут принять в этом участие. Договор этот должен быть записан на янтарном столбе и поставлен в воздухе на границе обоих государств. Со стороны жителей Солнца клятву принесли Огневик, Летник и Пламенник; со стороны обитателей Луны — Ночник, Лунник и Многосверкатель».

21. Таковы были условия мира. Стена была тотчас разрушена, а нас, пленников, освободили. Когда мы вернулись на Луну, товарищи наши и сам Эндимион встретили нас со слезами радости. Царь просил нас остаться у него, поселиться в новой колонии и обещал даже дать мне в жены своего собственного сына (женщин у них нет). Я не соглашался остаться, несмотря на все его слова и убеждения, просил его отправить нас опять вниз на море. Убедившись в том, что слова его не могут повлиять на нас, Эндимион угощал нас в продолжение семи дней, а затем отпустил.

22. Теперь я хочу рассказать обо всем новом и необычайном, что мы заметили на Луне во время нашего пребывания на ней. Во-первых, дети там рождаются не от женщин, а от мужчин. Браки здесь происходят между мужчинами, и слово «женщина» им совершенно незнакомо. До двадцати пяти лет лунный житель выходит замуж, после он женится сам. Детей своих они вынашивают не в животе, а в икрах. После зачатия одна из икр начинает толстеть; через некоторое время утолщение это взрезают, и из него вынимают детей мертвыми, но если положить их с открытым ртом на воздух, то они начинают дышать. Мне думается, греческое слово «икра» потому и образовалось, что у обитателей Луны в ней вызревает плод. Существует у них ряд людей по имени «древесники», которые рождаются следующим образом: у человека отрезают правое бедро и сажают в землю. Из него произрастает огромное мясистое дерево, подобное фаллу, покрытое ветвями и листвой. Плодами его являются желуды длиною в локоть. Когда эти желуды созревают, то их срывают, а из них вылупливаются люди. Половые органы у них — приставные, причем у некоторых они сделаны из слоновой кости, у бедняков же — из дерева, с их помощью между супругами и происходит сношение и оплодотворение.

23. Когда же человек стареет, то он не умирает, а растворяется, точно пар, становится воздухом. Пища у всех обитателей Луны одинаковая; разведя огонь, они жарят на углях лягушек, которые в большом количестве летают у них по воздуху. Они усаживаются вокруг огня, точно за обеденный стол, глотают поднимающийся от лягушек пар и таким образом насыщаются. В этом заключается все их питание. Питьем служит воздух, выжимаемый в чаши, которые при этом наполняются водой, похожей на росу. Они не мочатся и не испражняются, и не в тех местах у них отверстия, где у нас. Мальчики подставляют для соития не зад, а коленную впадину над икрой. Красивыми на Луне считаются только лысые и вообще безволосые, других они презирают. На кометах же, напротив, длинноволосые называются прекрасными, — об этом нам рассказывали уроженцы этих светил. Но над коленом у них все-таки имеются волосы. На ногах у каждого только по одному пальцу, а ногтей вообще нет. Над задом у каждого из обитателей Луны находится большой кочан капусты, точно курдюк: он постоянно свеж и в случае падения с высоты не отламывается.

24. При сморкании из носа у них выделяется очень кислый мед. Когда обитатели Луны работают или занимаются гимнастикой, то покрываются молоком вместо пота; в это молоко они прибавляют немного меду и полчают таким образом сыр. Из луковиц они приготавливают жирное масло, которое очень пахуче и напоминает благовонную мазь. Почва там производит много водянистого винограда; ягоды гроздьев похожи на крупинки града, и мне думается, что если набежавший ветер раскачивает виноградные деревья, то плоды, оторвавшись от лоз, в виде града падают на нашу землю. Живот служит лунным жителям вместо кармана, в котором они прячут все нужное. Он у них открывается и закрывается; печени в нем нет, но зато он внутри оброс густыми волосами, так что их младенцы в холодные дни прячутся в него.

25. Богачи на Луне носят одежды из мягкого стекла, у бедняков же платье выткано из меди, которою изобилует их почва; смачивая медь водою, они выделяют ее, точно шерсть. Что же касается глаз их, то я не решаюсь говорить об их совсем невероятном свойстве, чтобы не прослыть лжецом. Но, так и быть, расскажу уж и об этом. Глаза у них вставные, так что

при желании их можно вынуть и спрятать, а в случае надобности опять вставить и смотреть. Многие, потеряв свои, пользуются глазами, взятыми в долг у других. У богатых людей они имеются в запасе в очень большом количестве. Уши у них сделаны из листьев платана, а у тех людей, которые произошли из желудей, они деревянные.

26. В чертогах царя я видел еще одно чудо: не особенно глубокий колодец, прикрытый большим зеркалом. Если спуститься в этот колодец, то можно услышать все то, что говорится на нашей Земле. Если же заглянуть в это зеркало, то увидишь все города и народы, точно они находятся перед тобою. Заглянув в него, я действительно увидел моих близких и всю родину; видели ли они меня, об этом я не берусь сказать что-нибудь определенное. Кто не захочет поверить, пусть сам туда отправится.

27. Простившись с царем и его придворными, мы взошли на корабль и пустились в путь. Эндимион почтил меня еще дарами: двумя стеклянными хитонами, пятью медными и броней из волчьих бобов. Все это я оставил впоследствии в ките. Он отправил с нами вместе тысячу конекоршунов, которые должны были сопровождать нас пятьсот стадиев.

28. Проехав во время нашего плаванья еще мимо многих стран, мы высадились на Утренней Звезде, которая с недавних пор заселена колонистами. Отправляясь в дальнейший путь, мы пополнили запас воды. Затем мы въехали в Зодиак и оставили Солнце слева за собою, проплыв очень близко от него. Мы не высаживались на нем, хотя товарищи мои сильно желали этого; высадка была невозможна ввиду того, что ветер дул нам навстречу. Мы, однако, успели заметить, что страна Солнца — цветущая, плодородная, хорошо орошаемая и полная всяких благ. Вдруг нас заметили облакокентавры, наемники Фазтона, и набросились на наше судно, но, узнав, что мы союзники, удалились.

29. Теперь с нами расстались и конекоршуны. Все время держа путь вниз, мы проплыли всю следующую ночь и день, а под вечер приехали в город, называемый Лампоград. Город этот находится в воздухе между Гиадами и Плеядами, но значительно ниже Зодиака. Высадившись, мы не встретили ни одного человека, но видели множество светильников, снующих по всем направлениям и чем-то занятых на рынке и в га-

вани. Одни из них были невелики и казались бедняками; другие — весьма немногочисленные — принадлежали к большим и знатным: их можно было отличить по яркости и блеску. У каждого из них был свой собственный дом и подсвечник. Подобно человеку, каждый светильник назывался своим именем и был одарен голосом. Хотя они нас ничем не обижали, а, напротив, приглашали к себе в гости, мы все-таки боялись их, и никто из нас не решался ни пообедать, ни переночевать у них. Городское управление находится посреди города, и там всю ночь напролет восседает городской старшина и вызывает каждого из них по имени. Того, кто не явился на зов, как беглеца присуждают к смертной казни, которая состоит в том, что светильник гасят. Мы стояли тут же, глядели на все происходящее и слышали, как светильники оправдывались и излагали причины своего опоздания. При этом я узнал и наш домашний светильник; заговорив с ним, я стал расспрашивать его про домашние дела, и он поведал мне все, что знал. Пробыв всю ночь в Лампограде, мы на следующее утро собрались в путь и поплыли мимо облаков. Мы были очень удивлены, когда увидели здесь город Тучекукуевск, но, к сожалению, не могли причалить к нему, так как этому мешал ветер. Говорят, что там теперь царствует Ворон, сын Черного Дрозда. При этом я вспомнил поэта Аристофана, мудро и правдивого мужа, рассказам которого напрасно не верят. На третий день мы совсем отчетливо увидели океан, но наша Земля все еще не была заметна, и только в воздухе виднелись огненные и сверкающие земли. В полдень четвертого дня, когда ветер стал более мягким и понемногу улегся, мы опустились на море.

30. Что за радость, что за восторг охватили нас, когда мы прикоснулись опять к воде. Из оставшихся у нас запасов мы устроили хорошее угощение, а после стали купаться, так как наступило полное затишье и море стало совсем гладким.

Но оказывается, что переворот к лучшему зачастую бывает началом больших бедствий. Два дня мы плыли благополучно, на третий же, с восходом солнца, вдруг увидели множество чудовищ и китов, среди которых один отличался своей величиной: длина его равнялась приблизительно полутора тысячам стадиев. Он быстро надвигался на нас, разинув свою пасть, вол-

нуя все море и взметая брызги пены. Оскаленные зубы его были гораздо больше наших фаллов, острые, как копья, и белизною своею напоминали слоновую кость. Мы простились друг с другом навеки и, обнявшись, ожидали конца: кит приблизился и проглотил нас вместе с судном. Он, однако, не успел размножить нас своими зубами, и корабль проскользнул через просвет между ними внутрь.

31. Очутившись внутри, мы сначала ничего не могли рассмотреть, так как там господствовал полный мрак; но, когда кит опять разинул пасть, мы увидели, что находимся в темной пещере, такой необычайной ширины и высоты, что в ней мог бы уместиться город с десятью тысячами жителей. Всюду были разбросаны большие и маленькие рыбы, изуродованные животные, паруса и якоря кораблей, человеческие кости и корабельный груз. Посреди пещеры я увидел землю, покрытую холмами, образовавшуюся, по моему мнению, из того ила, который был проглочен китом. Земля эта вся поросла лесом, всевозможными деревьями и овощами и вообще производила впечатление обработанной почвы; в окружности она имела двести сорок стадиев. Морские птицы, чайки и зимородки, вили себе гнезда на деревьях.

32. Сначала мы долго плакали, но потом я ободрил моих товарищей; мы привязали наш корабль, высекли огонь, разложили костер и приготовили себе обед из рыбы, валявшейся всюду в изобилии. Вода у нас оставалась еще из запаса, взятого на Утренней Звезде. Проснувшись назавтра, мы видели урывками — когда кит разевал свою пасть — горы, небо, довольно часто острова и на основании всего этого заключили, что кит очень быстро передвигается по всему морскому пространству. Когда мы уже стали привыкать к месту нашего пребывания, я взял с собою семерых спутников и отправился с ними в лес, чтобы осмотреться. Не успели мы пройти и пяти стадиев, как натолкнулись на храм, судя по надписи, посвященный Посейдону. Неподалеку от него находился целый ряд могил с надгробными плитами, и вблизи протекал источник прозрачной воды. Послышался лай собак, впереди показался дым, и мы на основании всего этого заключили, что скоро дойдем до какого-нибудь жилья.

33. Мы быстро пошли дальше и вскоре увидели старика и юношу, усердно работавших в огороде

и проводивших в него воду из источника. Обрадованные, но вместе с тем испуганные, мы остановились. И они стояли безмолвные, испытывая, должно быть, то же самое, что и мы. Через некоторое время старец произнес: «Кто вы такие, чужестранцы? Божества ли вы морские или люди, товарищи нам по несчастью? И мы были людьми и жили на земле, теперь же стали жителями моря и плаваем вместе с этим чудовищем, в котором заключены. Мы не имеем точного представления о своем состоянии; с одной стороны, кажется, будто мы умерли, но с другой — нас не покидает уверенность, что мы еще живем». На это я ему ответил: «И мы, отец, люди, пришельцы; мы были проглочены вместе с нашим кораблем. Сюда же явились из желания посмотреть, что это за лес; он показался нам большим и очень густым. По-видимому, добрый дух привел нас к тебе; теперь мы видим и знаем, что не мы одни заключены в этом чудовище. Поведай же нам свою участь, кто ты таков и каким образом попал сюда». На это старик нам ответил, что не станет ни рассказывать, ни расспрашивать, не угостив нас сначала тем, что найдется у него. Затем он повел нас в свой дом, который оказался довольно удобным. В нем были устроены лежа из листьев и припасено все нужное. Старик угостил нас овощами, плодами и рыбой, налил нам вина и, когда мы в достаточной мере насытились, попросил рассказать о наших приключениях. Я стал ему рассказывать все по порядку, и про бурю, и про остров, и про плавание по воздуху, и про войну — короче говоря, про все случившееся с нами до того, как нас проглотил кит.

34. Весьма удивленный моей повестью, он, в свою очередь, стал рассказывать о своей судьбе: «Родом я, гости мои, с Кипра; по торговым делам я отправился из родных мест в Италию вместе с сыном, которого вы видите здесь, и многочисленными спутниками. Я вез разнообразные товары на моем большом судне, обломки которого вы, наверное, видели в пасти кита. До Сицилии мы плыли благополучно, но потом поднялся ужасный ветер. На третий день нас вынесло в океан, где мы и повстречались с этим китом и были проглочены вместе с нашим кораблем. Только мы вдвоем спаслись, все остальные погибли. Мы похоронили товарищей наших, выстроили храм Посейдону и проводим здесь жизнь, разводя овощи и питаясь плодами и ры-

бой. Огромный лес, который вы видите вокруг, полон виноградных лоз, которые дают нам очень сладкое вино. Вы видели, должно быть, также источник, снабжающий нас прекрасной и прохладной водой. Ложе мы себе приготовляем из листьев; разводим, когда надо, огонь и охотимся за птицами, расставляя силки. Иногда мы отправляемся к жабрам чудовища, где ловим живую рыбу; там же мы и купаемся, когда нам захочется. Неподалеку от нас находится соленое озеро, имеющее двадцать стадиев в окружности, и в нем водится всевозможная рыба; мы плаваем и катаемся на маленькой лодке, которую я соорудил. Таким-то образом мы прожили с того дня, как были проглочены, двадцать семь лет.

35. Мы могли бы и впредь жить так, если бы нам не мешали очень неприятные и злостные соседи — дикий и неуживчивый народ». — «Как, — воскликнул я, — в ките живут еще и другие люди?» — «Очень многочисленные, — ответил он, — все они необычайного вида и очень необщительны. В западной, хвостовой части леса, живут солитеры рыбы, с глазами угря и лицом жука, воинственный, отважный и плотоядный народ. На другой стороне, ближе к правому краю, живут тритомечи, которые верхней частью своего тела напоминают человека, нижней же — меч-рыбу. Им более знакома справедливость, чем всем остальным живущим здесь народам. По левую сторону обитают рако-рукие и тунцеголовые, живущие в союзе и дружбе между собой. Середину же занимают крабники и камбалонogie, воинственное и быстро передвигающееся племя. Земля, лежащая к востоку, около пасти кита, по большей части необитаема, так как ее омывает море. Несмотря на это, я живу на ней, платя камбалоногим ежегодную дань, состоящую из пятисот устриц.

36. Такова эта страна. Вы теперь должны понять, каково нам приходится, живя с этими народами и поддерживая свое существование». — «А сколько их будет всего?» — спросил я. «Больше тысячи», — ответил он. «А какое у них оружие?» — «Никакого, — получил я ответ, — кроме рыбьих костей». — «Итак, — сказал я, — лучше всего будет, если мы начнем войну с ними, ввиду того что они безоружны, а мы в полном вооружении. Если мы их осилим, то безбоязненно проживем остаток жизни».

Порешив таким образом, мы вернулись на наш корабль и приступили к приготовлениям. Поводом к войне должен был послужить отказ старика от уплаты дани, срок которой уже приближался. Явились послы и потребовали дани, но старик отказался и с надменным видом прогнал их. Тогда рассвирепевшие камбалонogie, а за ними и крабники с громким криком напали на Скинтару — так звали старика.

37. Мы уже приготовились к нападению, ожидая их в полном вооружении. Двадцать пять человек я послал в засаду, приказав им напасть на вражеский отряд, как только он минет их; так они и сделали. Напав на врагов с тыла, наши принялись бить их, а я с отрядом также в двадцать пять человек, — ибо Скинтар и его сын тоже принимали участие в сражении, — двинулся им навстречу; мы вступили в борьбу, подвергая опасности душу и тело. Наконец мы обратили их в бегство и преследовали до самых пещер. У врагов было сто семьдесят убитых, у нас же только один — наш кормчий, пронзенный хребтовой костью барабульки.

38. День этот и ночь мы провели на поле битвы и водрузили трофей — высушенный позвоночный столб дельфина. На следующее утро явились другие племена, услышавшие о поражении: правое их крыло занимали солители рыбы под предводительством Тунца, левое — тунцеголовые, середину же — ракурукие. Что касается тритономечей, то они, соблюдая мирные отношения, предпочли не примкнуть ни к той, ни к другой стороне. Мы встретили врагов у храма Посейдона и со страшным криком начали сражение; наш вопль отдавался внутри кита, точно в пещере. Ввиду того что противники были безоружны, мы обратили их в бегство и преследовали до самого леса. Таким образом мы овладели всей страной.

39. Вскоре они прислали послов, которые должны были похоронить мертвых и войти с нами в мирные переговоры. Мы же решили не заключать мира, а, отправившись на следующий день опять в поход, уничтожили их всех окончательно, за исключением только тритономечей, которые при виде всего происходящего бросились бежать и с жабр кита попрыгали все в море. Вслед за этим мы обошли всю страну, нашли ее очищенной от неприятеля и стали с этих пор спокойно жить, занимаясь гимнастическими упражнениями

и охотой, разводя виноград и собирая плоды с деревьев,— словом, ведя приятный и независимый образ жизни в этой огромной темнице, из которой нам не было исхода. Таким образом прожили мы год и восемь месяцев.

40. В пятый день девятого месяца, в пору второго разевания пасти,— а кит производил это ежечасно, так что по нему мы определяли время,— итак, в пору второго разевания пасти вдруг слышались грозный крик и шум, будто приказание гребцам и плеск весел. Обеспокоенные этим шумом, мы вылезли в самую пасть чудовища и, стоя позади зубов, увидели самое удивительное зрелище, какое я когда-либо наблюдал. На огромных островах, точно на триерах, плыли громадные люди, полстадия ростом. Я знаю, что рассказ мой покажется невероятным, тем не менее я продолжу его.

Острова эти были длинные, но не особенно высокие, и имели около ста стадиев в окружности. Плыло на каждом из них примерно сто двадцать таких людей, некоторые из них сидели в два ряда по обеим сторонам острова и гребли, точно веслами, огромными кипарисами, покрытыми ветвями и зеленью. Позади, так сказать, на корме, стоял на высоком холме кормчий, держа медный руль длиною в пять стадиев. На носу стояло человек сорок в полном вооружении и вело бой. Во всем они походили на людей, только вместо волос их голову окружал пылающий огонь, так что они не нуждались в шлемах. Парусом служил лес, который в изобилии рос на каждом острове; ветер ударял в него, раздувал и мчал судно в ту сторону, в которую его направлял кормчий. Здесь же находился начальник гребцов, и острова подвигались вперед очень быстро, точно огромные корабли.

41. Сначала мы заметили только два или три таких острова, но затем их показалось около шестисот. Выстроившись в боевом порядке, они вели морское сражение. Многие из них сталкивались носами и от сильного сотрясения шли ко дну; другие же, сцепившись, вступали в отчаянный бой, и не легко было им разойтись. Воины, выстроившиеся на носу, обнаруживали необычайную храбрость, взбираясь на чужие суда и уничтожая все на своем пути. Никого в плен не брали. Вместо железных крючьев они бросали друг в друга огромных полипов на привязи; те своими щупальцами оплетали весь лес и удерживали таким образом

остров. Кроме того, они метали устриц, из которых каждая заняла бы целую повозку, и губки с плефр величиною и наносили ими рану врагу. Предводительствовали ими Ветряной Кентавр и Морской Пьяница, и битва шла, как кажется, из-за добычи. Можно было слышать, как они перекликались, называя имена царей; речь шла о том, что Морской Пьяница увел у Ветряного Кентавра большие стада дельфинов. Наконец победило войско Ветряного Кентавра, которое потопило сто пятьдесят вражеских островов; три других они захватили вместе с находившимися на них людьми, остальные же, повернув вспять, пустились в бегство. Победители преследовали их некоторое время, а с наступлением вечера вернулись к поврежденным кораблям, захватили многие из вражеских судов и подобрали свои. Ведь и у них было потоплено не менее восьмидесяти островов. Они воздвигли также трофей в честь островного сражения, прибавив один из неприятельских островов к голове кита. Ночь эту они провели около чудовища, прикрепив к нему причалы и бросив поблизости якоря. Они пользуются якорями большими, стеклянными, прочными. На следующий день они совершили на ките жертвоприношение, погребли на нем своих и, очень довольные, уплыли, распевая пены. Это все, что я хотел рассказать про островное сражение.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. С этого времени пребывание внутри кита стало мне казаться невыносимым; все здесь мне до того надоело, что я стал придумывать какое-нибудь средство, с помощью которого мы могли бы освободиться. Сначала мы решили бежать, прокопав правый бок кита, и тотчас же принялись за дело. Углубившись на пять стадиев и ничего не достигнув этим, мы прекратили работу и порешили зажечь лес. От пожара внутри кит должен был умереть, и освобождение тогда не представило бы никакого затруднения. Мы приступили к делу и зажгли лес, начиная с хвоста. Прошло семь дней и столько же ночей, а кит как будто не замечал пожара, но на восьмой и на девятый день он, видимо, заболел, так как стал медленно разевать свою пасть, а когда открывал ее, то очень скоро захлопывал

снова. На десятый и одиннадцатый день можно было заметить, что конец его приближается, так как он стал уже распространять дурной запах. На двенадцатый день мы, к счастью, догадались, что если мы не воткнем при разевании пасти подпорок, то нам угрожает опасность остаться заключенными в мертвом теле кита и таким образом погибнуть. Итак, мы сунули ему в пасть огромные бревна, оснастили наше судно и запаслись водой и всем необходимым в возможно большем количестве. Скинтар согласился быть нашим кормчим. Уже на следующее утро кит умер.

2. Мы вытащили тогда наш корабль наверх, провели его через отверстие между зубами и, привязав к одному из зубов кита, медленно спустили на воду. Затем мы взобрались на спину кита, принесли жертву Посейдону и провели три дня около трофея, так как было затишье,— на четвертый же пустились в путь. Мы наткнулись на многочисленные трупы погибших во время морского сражения, подплыли к ним и, измерив их величину, немало ей подивились. Несколько дней мы плыли, сопровождаемые самым благоприятным ветром, но потом вдруг подул ветер с севера, и настал мороз; все море замерзло, и не только на поверхности, но и в глубину на четыреста саженей, так что, сойдя с корабля, можно было бегать по льду. Так как ветер все еще продолжался и становился совсем невыносимым, мы решили,— эта мысль была высказана Скинтаром,— выкопать во льду огромную пещеру. Мысль эта была приведена нами в исполнение, и мы провели в пещере тридцать дней, разводя огонь и питаясь рыбой, которую мы нашли, копая яму. Когда же у нас все запасы вышли, мы поднялись наверх, вытащили наш примерзший корабль, распустили паруса, и наше судно стало ровно и спокойно скользить по ледяной поверхности, точно по воде. На пятый день наступила теплая погода, лед растаял, и повсюду опять появилась вода.

3. Проплыв около трехсот стадиев, мы приблизились к маленькому и пустынному острову, где запаслись водою, так как ее у нас уже не было, убили стрелами двух диких быков и поплыли дальше. У быков этих рога находились не на голове, а под глазами, как этого желал Мом. Вскоре мы въехали в море, которое состояло не из воды, а из молока, и в нем мы увидели белый остров, поросший виноградом. Остров этот был

огромным куском сыра, очень плотного, как мы узнали впоследствии, отведав его; в окружности он имел двадцать пять стадиев. Виноградные лозы были усеяны гроздьями, из которых мы выжимали не вино, а молоко. Посреди острова был построен храм, посвященный nereиде Галатее, как об этом гласила надпись. Покуда мы оставались на этом острове, пищу нам давала земля, питье же — молоко из гроздьев. Мы узнали, что на этом острове царит Тиро, дочь Салмоней, которой этот почет оказал Посейдон после ее ухода из жизни.

4. На этом острове мы пробыли пять дней, на шестой же пустились в дальнейшее плавание, так как ветер был попутный, а море совсем гладкое. На восьмой день, плывя уже не по молоку, а по соленой и синей воде, мы увидели множество людей, бегавших по морю. Телом и величиною они совсем походили на нас, только ноги у них были особенные, из пробки, отчего они, по-моему, и получили название пробконогих. Мы были удивлены, когда увидели, что они не тонут, но держатся на волнах и шагают по ним безбоязненно. Они приблизились к нам, приветствовали нас на греческом языке и сказали, что спешат на Пробку, свою родину. Некоторое время они бежали рядом с нами, провожая нас, но потом свернули в сторону, пожелав счастливого плавания.

Вскоре мы увидели ряд островов; из них первый слева и был Пробка, куда они спешили. Самый город их расположен на огромной и круглой пробке. Вдали же и значительно правее виднелись пять огромных и высоких островов, на которых горели многочисленные огни.

5. Остров, лежавший как раз впереди, был широк и низок и находился от нас на расстоянии не менее пятисот стадиев. Когда мы приблизились к нему, на нас подул удивительный ветер, сладкий и благоухающий, какой, по словам историка Геродота, веет в счастливой Аравии. Он был настолько сладок, что казался нам насыщенным запахом роз, нарциссов, гиацинтов, лилий и фиалок, а кроме того, мирта, лавра и цветущего винограда. Мы вдыхали это благоухание и, исполненные надеждой на то, что здесь нас ждет награда за великие наши труды, постепенно приблизились к острову. По разным сторонам его мы увидели большие и спокойные бухты. Прозрачные реки бесшумно вливались в море. Всюду виднелись луга и леса, пти-

цы распевали на берегу и в ветвях. Нежный и благоуханный воздух был разлит по всей стране. Ласковые ветерки тихо раскачивали лес, а с колеблющихся веток струилась чудная и непрерывная песнь, точно звуки флейт в пустынном месте. Слышался смешанный и сливающийся из многих голосов гул, не беспокойный, но такой, как бывает во время пира, когда одни играют на флейте, другие восхищаются, третьи одобряют рукоплесканиями игру на флейте или лире.

6. Очарованные всем этим, мы причалили к берегу, привязали наш корабль и, оставив в нем Скинтара и еще двух товарищей, отправились вперед. Идя по лугу, покрытому цветами, мы встретили и караульщиков и стражников; они схватили нас, связали венками из роз, которые считаются у них самыми крепкими узами, и повели к своему властителю. От них мы по дороге узнали, что остров этот называется Островом Блаженных и на нем владычествует критянин Радамант. Когда нас привели к нему, мы заняли в числе подсудимых четвертое место.

7. Первое дело касалось Аянта, Теламонова сына: разбирался вопрос, возможно ли принять его в число героев или нет. Обвинялся он в том, что лишился рассудка и кончил жизнь самоубийством. После многих речей Радамант постановил следующее: передать его теперь Гиппократу, врачу с Коса, — пусть пьет чемерицу, а впоследствии, когда к нему вернется разум, допустить его к пирам.

8. Вторая тяжба была на любовной почве: Менелай и Тесей спорили из-за Елены — о том, с кем из них она должна жить. Радамант присудил ее Менелаю ввиду тех трудов и опасностей, которые он перенес из-за этого брака. К тому же у Тесея были и другие женщины — известная амазонка и дочери Миноса.

9. Третье дело касалось Александра, сына Филиппа, и карфагенянина Ганнибала, споривших из-за первенства, которое в конце концов было присуждено Александру, и кресло его было поставлено рядом с местом Кира Старшего, перса.

10. Четвертыми приблизились мы. Радамант спросил нас, каким чудом еще при жизни явились мы в эту священную область. Мы рассказали ему все по порядку. Выслушав нас, Радамант велел нам отойти и, собрав своих советников, долго обсуждал, как ему поступить с нами. Среди многочисленных советников его

находился и афинский судья Аристид. Он-то и предложил следующее решение: за любопытство наше и за странствия наказать нас после смерти, теперь же позволить нам пробыть известное время на острове в обществе героев, после чего мы обязаны будем удалиться. Определил он и срок нашего пребывания здесь: не более семи месяцев.

11. Венки из роз, связывавшие нас, спали тут сами собой, и мы отправились в город на пир блаженных. Весь город построен из золота, окружающие его стены — из изумруда, каждые из семи ворот сделаны были из цельного коричневого дерева; почва же города и всей земли, лежащей в пределах стен, состоит из слоновой кости. Храмы богов воздвигнуты из берилла, а каждый жертвенник — это огромный аметист, на котором и сжигают гекатомбы. Вокруг города течет река из прекраснейшей мирры, шириною в сто царских локтей, глубиною в пятьдесят, так что в ней можно легко плавать. Бани у них — это огромные стеклянные дома, которые отапливаются коричневым деревом; ванны в них наполнены вместо воды теплой росой.

12. Одеждой служит тончайшая пурпуровая паутина. У них нет тела, они совсем бесплотны и прозрачны и являют собою только вид и обличие человека. Несмотря на бесплотность свою они стоят, двигаются, мыслят и издают звуки и, в общем, напоминают собою обнаженную душу, которая бродит, набросив на себя подобие тела. Только прикоснувшись к ним, можно убедиться, что они бестелесны и не что иное, как вставшие прямо тени; вся разница только в том, что они не черны. Никто из них не старится, но пребывает в том возрасте, в котором явился сюда. У них нет ни ночи, ни сияющего дня, а страна их наполнена светом, какой бывает в предрассветные сумерки, за которыми здесь не следует восход солнца. Они знают одно только время года, так как у них вечно царит весна, и только один ветер дует у них — зефир.

13. Вся земля их пестрит цветами и покрыта тенистыми садовыми деревьями. Виноград приносит плоды двенадцать раз в год, то есть каждый месяц; гранаты, яблони и другие фруктовые деревья — даже тринадцать раз в год, так как в один из месяцев, названный по имени Миноса, они дважды дают урожай. Колосья похожи на грибы; вместо пшеничных зерен над ними вырастают готовые хлеба. Вблизи от города текут три-

ста шестьдесят пять источников воды и столько же рек меду, пятьдесят речек поменьше текут миррой, семь рек молоком и восемь вином.

14. Пирь их происходят вне города, на так называемых Елисейских полях. Это прекраснейший луг, со всех сторон окруженный густым лесом; лес осеняет возлежащих на цветущем лугу. Им прислуживают ветерки, которые приносят все, чего бы они ни пожелали, только вина им не наливают, в чем нет надобности, так как около места пиршества находятся большие деревья из прозрачайшего стекла, а на них вместо плодов растут кубки всевозможных форм и размеров; отправляясь на пир, они срывают один или два из этих кубков, ставят их перед собою, и они тотчас же наполняются вином. Так они утоляют жажду. На головах у них нет венков; вместо того соловьи и другие певчие птицы с ближайших лугов приносят в клювах цветы и осыпают, как снегом, пирующих, с песнями кружась над ними. Умачаются они следующим образом: густые облака насыщаются миррой из рек и источников и останавливаются над местом пира, где ветерки понемногу выжимают облака, и они проливаются тогда нежной росой.

15. Во время обеда они развлекаются музыкой и песнями; у них поются главным образом песни Гомера, который находится тут же и пирует с ними, возлежа рядом с Одиссеем. У них имеется хор юношей и девушек, а запевалами выступают Евном из Локриды, Арион с Лесбоса, Анакреонт и Стесихор, которого я тоже увидел среди блаженных, так как Елена уже помирилась с ним. После этого хора появляется второй, состоящий из лебедей, ласточек и соловьев. Когда же и эти птицы отпоют, то весь лес, колеблемый ветерками, оглашается звуками флейт.

16. Их веселью особенно способствуют два ключа, которые бьют около места пиршества: один из них — источник радости, другой — смеха. Отправляясь на пир, все пьют из обоих ключей, поэтому-то и царят у них радость и смех.

17. Теперь я хочу рассказать, кого из знаменитых людей я видел у них: там находятся все полубоги и герои, сражавшиеся под Илионом, за исключением локрийца Аянта, который один из всех, как говорят, несет наказание в стране нечестивых.

Из варваров там пребывают оба Кира, скиф Анахарсис, фракиец Замолксид и италиец Нума, а кроме них еще лакедемонянин Ликург, из афинян Фокион и Телл и все мудрецы, за исключением Периандра. Видел я там и Сократа, сына Софрониска; он болтал с Нестором и Паламедом, его окружали прекрасные отроки: Гиацинт-лакедемонянин, феспиец Нарцисс, Гил и многие другие. Мне показалось, что он влюблен в первого из них, по крайней мере многое говорило за это. Я слышал, что Радамант был недоволен Сократом и не раз грозил ему, что прогонит с острова, если он не перестанет болтать глупости и не откажется от своей иронии во время пиршества. Только Платона не было среди блаженных; говорили, что он живет в созданном им же городе, руководствуясь государственным устройством и законами, которые сам сочинил.

18. Первое место среди блаженных принадлежит Аристиппу и Эпикуру, людям милым и веселым и наилучшим сотрапезникам. И фригиец Эзоп находился среди них, разыгрывая роль скомороха. Что касается синопца Диогена, то он настолько изменил свой образ жизни, что женился на гетере Лаиде, нередко навеселе пускался в пляс и, упившись, вел себя непристойно. Из числа стоиков здесь никто не присутствовал: про них рассказывали, что они все еще поднимаются на крутой холм Добродетели. Про Хрисиппа мы слышали, что ему будет позволено явиться на остров не раньше, чем он подвергнется в четвертый раз лечению чемерицей. Что касается академиков, то они собирались прийти, но пока медлили и размышляли, так как все еще не могли решить вопроса, существует ли вообще подобный остров. Мне думается, впрочем, что они побаивались осуждения Радаманта за то, что подорвали значение суждений. Поговаривали также и о том, что многие последователи тех, кто уже явился сюда, из-за лениности своей стали отставать и, не в силах догнать учителей, с полдороги вернулись обратно.

19. Вот те замечательные люди, которые находились на этом острове. Самым большим почетом у них пользовался Ахилл, а после него Тесей. Что же касается любовных наслаждений, то женщины и мужчины предаются им здесь совсем открыто, на виду у всех, и не находят в этом ничего предосудительного. Сократ только клялся в том, что его отношения к юношам носят непорочный характер, все же, однако, знали, что

он клянется ложно. Гиацинт и Нарцисс по крайней мере иногда сознавались в этом, он же продолжал отрекаться. Женщины у них все общие, и никто не ревнует; в этом отношении они в полном смысле слова последователи Платона. Что же касается юношей, то они предоставляют себя каждому желающему без всякого сопротивления.

20. Не прошло еще двух или трех дней, как я направился к поэту Гомеру, и, так как нам обоим нечего было делать, я стал расспрашивать его и, между прочим, спросил, откуда он родом, говоря, что вопрос этот и ныне все еще подвергается у нас подробному исследованию. Ему ведомо, ответил он мне, что его называют уроженцем Хиоса, Смирны и колофонцем; на самом же деле он родом из Вавилона, граждане которого называли его не Гомером, а Тиграном, и что только впоследствии, находясь в качестве заложника в Элладѣ, он получил свое имя. Затем я спросил его относительно сомнительных стихов, им ли они написаны, и получил ответ, что все написано им. Из этого я мог заключить, что грамматики, идущие по стопам Зенодота и Аристарха, многое болтают по-пустому. Когда он мне все это подробно объяснил, я снова спросил его, почему он начал свое произведение именно со слова «гнев». Оказывается, что это произошло совершенно случайно и без всякой предвзятой мысли. Затем мне хотелось узнать, правда ли то, что он написал «Одиссею» до «Илиады», как это утверждают многие: на это Гомер ответил отрицательно. Я сразу же заметил, что он вовсе не слеп, как это рассказывается о нем, и это было настолько очевидно, что не надо было даже спрашивать. Время от времени, видя, что он ничем не занят,— а это бывало довольно часто,— я приближался к нему и принимался расспрашивать. Он очень охотно отвечал на все мои вопросы, особенно же после того, как выиграл тяжбу: дело в том, что на него пожаловался оскорбленный Терсит, над которым он издевался в своих произведениях. Гомера защищал Одиссей, и он выиграл дело.

21. Около этого времени явился и Пифагор с Самоса, душа которого, семь раз менявшая свой облик и в образе разных животных снова возвращавшаяся к жизни, наконец закончила свои странствования. Вся правая сторона его состояла из золота. Было решено принять его в число блаженных; оставалось только не-

которое сомнение относительно того, как называть его, Пифагором или Евфорбом. Вскоре появился и Эмпедокл, все тело которого было обварено и сожжено. Его, однако, не приняли, хотя он очень просил об этом.

22. По истечении некоторого времени на острове были устроены состязания, носящие здесь название Танатусии. Судьями при состязаниях были Ахилл в пятый и Тесей в седьмой раз. Было бы слишком долго рассказывать обо всем подробно, — я ограничусь поэтому самыми главными событиями. Победный венок за борьбу получил Катран, потомок Геракла, осиливший Одиссея. Кулачный бой, происшедший между египтянином Ареем, похороненным в Коринфе, и Энеем, окончился вничью. Что касается многоборья, то за него у них не присуждаются награды. Не могу сейчас припомнить, кто остался победителем в беге. Среди поэтов первое место бесспорно занимал Гомер, но тем не менее победил Гесиод. Наградой победителям служил венок, сплетенный из павлиньих перьев.

23. Только что успели закончиться игры, как пришла весть о том, что преступники, отбывающие свое наказание в стране нечестивых, порвали узы, осилили стражей и двинулись на Остров Блаженных под предводительством акрагантца Фаларида, египтянина Бусирида, фракийца Диомеда, Скирона и Питиокампта. Узнав об этом, Радамант отправил героев на берег, причем во главе их стали Тесей, Ахилл и Аянт, сын Теламона, к которому уже возвратился рассудок. Встретившись с врагами, они вступили с ними в битву, и герои одержали верх, благодаря главным образом заслугам Ахилла. Сократ, бывший на правом крыле, отличился на этот раз, так как сражался куда лучше, чем при жизни под Делием. При виде наступавших врагов он не побежал и не изменился в лице. За храбрость ему потом присудили прекрасную загородную рощу, где он впоследствии, собрав своих друзей, вел беседы. Он назвал это место Академией Мертвых.

24. Побежденные враги были схвачены, связаны и отосланы обратно, где их ожидало еще большее наказание. Описал и это сражение Гомер и на прощание подарил мне свои сочинения с тем, чтобы я снес их людям; но я потом потерял их, как и многое другое. Поэма эта начиналась словами:

Ныне, о Муза, воспой умерших героев победу.

Затем они стали варить бобы (так у них принято отмечать благополучное окончание войны) и ими угощались во время большого праздника, устроенного в честь победы. Только Пифагор не принимал в нем участия: голодный, он сидел поодаль, так как питал отвращение к бобам.

25. Прошло уже шесть месяцев, и около середины седьмого случилось неожиданное происшествие. Кинир, сын Скинтара, рослый и красивый юноша, с некоторого времени полюбил Елену, и было безызвестно, что и она страстно влюблена в него. Во время пиршества они, например, часто кивали друг другу, пили за здоровье друг друга и, встав из-за стола, вдвоем уходили бродить по лесу. Влекомый любовью и не видя другого исхода, Кинир наконец решил похитить Елену, на что и она согласилась, и бежать с нею на один из соседних островов: либо на Пробку, либо на Сырный. Заблаговременно они подговорили трех своих товарищей, самых отважных, помочь им в этом деле. Отцу своему Кинир ни слова не сказал, так как знал, что тот постарается удержать его от этого предприятия. Когда, по их мнению, настало удобное время, они решили привести в исполнение задуманное. С наступлением ночи — меня при этом не было, так как я заснул во время пира — они, никем не замеченные, захватили Елену и поспешно отплыли.

26. Около полуночи Менелай проснулся и, найдя ложе своей супруги пустым, поднял крик и вместе с братом своим отправился к царю Радаманту. Когда забрезжил день, дозорные сообщили, что видят судно, но уже на очень большом расстоянии. Тогда Радамант отправил вдогонку пятьдесят героев на корабле, сделанном из цельного асфодела. Они принялись грести с таким рвением, что около полудня нагнали беглецов, как раз в то время, когда те вплывали в молочный океан около Сырного острова. Они едва не скрылись совсем. Герои привязали их судно к своему цепями из роз и поплыли обратно. Елена плакала от стыда и прятала лицо в покрывало. Радамант прежде всего подверг Кинира и его товарищей допросу, выясняя, не было ли у них и других сообщников, и получил ответ, что никто больше об этом не знал. После этого он связал их за срамные части и, выстегав предварительно мальвой, отправил в страну нечестивых.

27. Было также вынесено решение изгнать нас с острова, не дожидаясь установленного срока: нам позволено было задержаться только до вечера следующего дня. Услышав о том, что я должен уже покинуть эту прекрасную страну и пуститься в дальнейшие скитания, я стал горевать и плакать. Герои утешали меня тем, что я вскоре опять вернусь к ним, и показали мне уже теперь мои будущие кресло и ложе, которые будут находиться вблизи от лучших. Потом я отправился к Радаманту и очень просил его предсказать мне будущее и дать советы относительно дальнейшего плавания. Он мне на это ответил, что я буду еще много странствовать и подвергаться разным опасностям, прежде чем вернусь на родину, но определить точно время моего возвращения он ни за что не хотел. Затем он указал мне на соседние острова (их было видно пять и шестой вдаль) и сказал, что ближайшие — это острова нечестивых. «На них,— добавил он,— ты видишь множество горящих огней. Шестой остров — это Страна Сновидений. За ним находится остров Калипсо, которого отсюда не видно. Миновав все эти острова, ты доедешь до огромного материка, лежащего в противоположной стороне от того, на котором вы живете. Там ты перенесешь много страданий, будешь странствовать среди всевозможных народов и, прожив некоторое время среди диких людей, попадешь наконец на другой материк». Вот что он сказал.

28. Затем он вырвал из земли корень мальвы, подал его мне и наказал в минуту величайшей опасности обратиться к нему с мольбой. Он посоветовал мне еще, в том случае, если я когда-нибудь попаду в вышеупомянутую страну, никогда не мешать в очаге мечом, не есть волчьих бобов и не общаться с юношами старше восемнадцати лет. Соблюдая все это, я могу надеяться, что возвращусь когда-нибудь на Остров Блаженных.

После этого я приготовился к дальнейшему плаванью и в обычное время пировал с героями в последний раз. На следующее утро я отправился к поэту Гомеру и попросил его написать для меня эпиграмму из двух стихов. После того как он сочинил ее, я воздвиг стену из берилла, поставил ее лицом к гавани и начертил на ней эпиграмму. Она гласила:

Боги блаженные любят тебя, Лукиан: ты увидишь
Страны чужие и вновь в город вернешься родной.

29. Пробыв этот вечер еще на острове, я на следующее утро пустился в дальнейший путь. Все герои вышли на берег, чтобы проводить нас. Одиссей отвел меня в сторону и тайно от Пенелопы дал мне письмо, которое я на острове Оигии должен был передать Калипсо. Радамант дал нам на дорогу кормчего Навплия, на тот случай, если бы мы попали на соседние острова и нам угрожала опасность быть схваченными, — Навплий мог бы засвидетельствовать, что мы путешествуем по своим делам.

Как только мы отъехали настолько, что благовоение острова перестало к нам доноситься, нас охватил ужасный запах сжигаемых одновременно серы и смолы и еще более отвратительный и совсем невыносимый чад, точно от поджариваемых людей. Воздух наполнился мраком и чадом, и на нас закапала смоляная роса. Мы слышали также удары плетью и вопли множества людей.

30. Ко всем островам мы не стали приставать, а высадились только на одном из них. Весь этот остров был окружен отвесной стеной скал, камнями и голыми утесами, на которых не видно было ни деревца, ни ручья. Мы вскарабкались, однако, по отвесному берегу, прошли по тропинке, поросшей терновником и колючими кустарниками, и попали в еще более неприглядные места. Когда же мы добрались до тюрем и орудий пыток, то пришли в удивление от этих краев. Вместо цветов почва здесь производила мечи и острые колья. Кругом текли реки: одна — грязью, другая — кровью, а между ними третья, огромная река, переправа через которую была делом немыслимым, текла огнем, который переливался в ней, точно вода, и перекачивался волнами, словно море. В реке этой плавало очень много рыб; одни из них были похожи на головни, другие, поменьше, на горящие уголья и назывались «огоньками».

31. Через все эти места вел один только узкий проход, перед которым в качестве привратника стоял афинянин Тимон. Под предводительством Навплия мы решились пойти еще дальше и увидели многочисленных царей, несущих наказание, и простых смертных, среди которых находились и некоторые из наших знакомых, например Кинир, который был повешен за

чресла и медленно тлел над очагом. Проводники наши рассказывали нам про жизнь каждого из несчастных и про преступления, за которые они несли наказание. Самые ужасные из всех наказаний претерпевали те, которые при жизни лгали и писали неправду; среди этих преступников находились Книдиец Ктесий, Геродот и многие другие. Глядя на них, я преисполнялся доброй надеждой на будущее, так как знал, что никогда не рассказывал лжи.

32. Вскоре мы вернулись на корабль, потому что не в состоянии были дольше вынести это зрелище, распрощались с Навплием и поплыли дальше. Через некоторое время вблизи показалась Страна Сновидений, но очень неясно и в полумраке. У этого острова было одно общее со снами свойство, а именно — он удалялся и убегал от нас все дальше и дальше, по мере того как мы к нему приближались. Наконец мы его все-таки достигли и вошли в гавань, называемую Сон, вблизи от ворот из слоновой кости, где находится храм Петуха. Мы высадились в вечерних сумерках и, войдя в город, увидели множество самых разнообразных снов. Но прежде всего я хочу рассказать о самом городе, который упоминается только у Гомера, да и то описан недостаточно точно.

33. Город этот со всех сторон окружен лесом, где вместо деревьев — высочайшие маки и мандрагоры и где обитает несметное количество летучих мышей — единственные крылатые этого острова. Вблизи от города протекает река, которую обитатели острова называют Ночным Бродом, а около ворот бьют два ключа, из которых один называется Непробудным, другой — Всенощным. Город окружен высокой и пестрой стеной, окраска которой очень напоминает цвета радуги. В этой стене находятся не двое ворот, как сообщает Гомер, а целых четверо. Двое из них выходят на равнину Глупости, причем одни из них сделаны из железа, другие — из кирпичей; говорят, что из этих ворот выходят все страшные, кровавые и мучительные сны. Двое других ворот обращены к гавани и к морю; одни сделаны из рога, другие, через которые прошли мы, — из слоновой кости. Как войдешь в город, сразу направо находится храм Ночи; из всех богов здесь больше всего чтят ее и Петуха, которому

обитатели воздвигли храм около гавани. По левую руку находятся чертоги Сна, который правит этим городом с помощью двух сатрапов и наместников: Страшителя, сына Напраснорожденного, и Богатослава, сына Фантасиона. Посреди площади находится источник по имени Сонник, а поблизости от него — два храма, посвященных Истине и Обману. Тут же находится и главное святилище их и прорицалище, во главе которого стоит вещатель и толкователь снов — Антифон; этой почести удостоил его Сон.

34. Что касается самих снов, то все они различаются своим видом и свойством: некоторые из них большого роста и прекрасны собой, другие же малы и невзрачны; одни кажутся совсем золотыми, а другие — обыденны и ничего не стоят. Есть среди них и крылатые сны, и совсем сказочные, и такие, которые, как бы приготовившись к празднеству, нарядились царями, богами и тому подобное. Многие из них были нам знакомы, так как некогда мы уже сами видели их. Сны подошли к нам и приветствовали как старых знакомых, затем повели к себе и, усыпив, оказали нам блестящий прием: приготовили великолепное угощение и посулили сделать нас царями и сатрапами. Некоторые сны отводили нас на родину, показывали наших домашних и в тот же день приводили обратно.

35. Тридцать дней и столько же ночей пробыли мы у них, проводя время в сонных пиршествах, пока нас внезапно не разбудил оглушительный удар грома; мы тотчас же вскочили и, забрав съестных припасов, отправились в дальнейшее плавание. Через три дня мы приблизились к острову Огигии и высадились на нем. Тут я первоначально вскрыл письмо и познакомился с его содержанием. Оно гласило: «Одиссей шлет Калипсо привет! Сообщаю тебе, что вскоре после того, как я отплыл от тебя на сооруженном мною плоту, я потерпел крушение и только с помощью Левкотеи едва выбрался на землю феаков, которые и отправили меня домой. Здесь я нашел множество женихов моей жены, которые пировали в моем доме. Я их всех убил, но впоследствии погиб от руки Телегона, моего сына от Кирки. Ныне я нахожусь на Острове Блаженных и очень раскаиваюсь в том, что покинул тебя и отка-

зался от предложенного тобою бессмертия. Как только мне представится удобный случай — я убегу отсюда и явлюсь к тебе». Так гласило письмо, в конце которого была прибавлена просьба ласково принять нас.

36. Отойдя немного от моря, я нашел пещеру — совсем такую, как она описана у Гомера, — а в ней Калипсо за прядением шерсти. Взяв от меня письмо и прочитав его, она сначала долго плакала, а потом пригласила нас на роскошный обед, во время которого расспрашивала про Одиссея и про Пенелопу, какая она с виду и правда ли, что она отличается супружеской верностью, за которую ее когда-то так восхвалял Одиссей. На эти вопросы мы ей давали такие ответы, которые, по нашему мнению, могли быть ей приятными.

37. Затем мы вернулись на наш корабль и провели ночь недалеко от берега. На следующее утро, когда мы опять вышли в море, дул довольно сильный ветер. Вскоре поднялась буря, которая продолжалась целых два дня. На третий день мы столкнулись с тиквопиратами — дикими людьми с соседних островов, которые грабят проезжающих. Корабли их сделаны из огромных тыкв, длиною в шестьдесят локтей, которые они предварительно высушивают и выдалбливают, удаляя все содержимое; вместо мачт они употребляют трости, а вместо парусов — листья тыквы. Они напали на нас на двух кораблях, и завязалась битва, в продолжение которой они, вместо камней, бросали тыквенные семена и ранили многих из наших. Мы сражались довольно долго с переменным успехом. Около полудня мы вдруг позади тиквопиратов увидели суда орехокорабельщиков. Как оказалось, они враждовали с тиквопиратами, которые, заметив их приближение, тотчас же оставили нас, набросились на них и вступили с ними в бой.

38. Увидев это, мы подняли паруса и пустились в бегство. Они же продолжали сражение, но было очевидно, что победа останется на стороне орехокорабельщиков, так как своею численностью они превосходили тиквопиратов, — у них было целых пять кораблей — а кроме того, они сражались на более прочных судах, корабли их представляли собой пустые поло-

винки ореховой скорлупы, из которых каждая была длиною в пятнадцать сажень. Скрывшись от врагов, мы принялись лечить наших раненых и решили вообще не снимать впредь оружия, чтобы быть готовыми в случае какого бы то ни было нападения. И не напрасно.

39. Не успело еще зайти солнце, как с одного пустынного острова на нас накинuloсь около двадцати человек верхом на дельфинах; и это были разбойники. Дельфины несли их на себе очень уверенно и иногда вздымались даже на дыбы и ржали, точно кони. Приблизившись к нам, они набросились на нас с двух сторон и стали метать в нас высушенных каракатиц и рачьих глаза. Мы, в свою очередь, закидали их стрелами и дротиками; враги не смогли устоять перед нами и, когда многие из них были ранены, бросились бежать обратно к острову.

40. Около полуночи, во время штиля, мы нечаянно натолкнулись на огромное гнездо зимородка, имевшее около шестидесяти стадиев в окружности. Самка зимородка как раз сидела на яйцах; она была не меньше своего гнезда. Взлетая, она едва не потопила наш корабль — такой ветер поднялся от ее крыльев; однако она улетела от нас, издавая жалобный крик. Когда рассвело, мы высадились, чтобы осмотреть гнездо, которое очень напоминало собой большой плот, так как было сооружено из огромных деревьев. В нем лежало пятьсот яиц, из которых каждое было гораздо больше хиосской бочки; внутри них уже пищали птенцы. С помощью топора мы раскололи одно из этих яиц, и из него вылупился не оперившийся еще птенец, более сильный, чем двадцать коршунов.

41. Не успели мы отплыть и двухсот стадиев от гнезда, как с нами стали твориться невероятные чудеса: корма наша, имевшая форму гуся, вдруг покрылась перьями и стала гоготать; у кормчего Скинтара, бывшего до сих пор лысым, вдруг выросли волосы, и — что еще более удивительно — на мачте корабля появились почки, выросли ветви, а на верхушке показались даже плоды смоквы и ягоды черного винограда, но не совсем еще зрелые. При виде этих сверхъестественных явлений нас охватил ужас, и мы стали молиться богам.

42. Не успели мы проплыть пятисот стадиев, как увидели огромный густой лес, состоящий из сосен и кипарисов. Мы сначала решили, что это материк, но потом оказалось, что перед нами находится бездонное море, поросшее деревьями без корней, которые, несмотря на это, стояли неподвижно и прямо и казались плывущими нам навстречу. Приблизившись к этому лесу, мы осмотрели его со всех сторон и были приведены в полное недоумение, потому что не знали, как нам теперь поступить. Проплыть между деревьями не было никакой возможности, так как они поднимались сплошной стеной; возвращаться назад тоже было нелегко. Тогда я взобрался на самое высокое дерево и стал обозревать окрестности. Оказалось, что лес этот простирается на протяжении пятидесяти стадиев или даже немного больше и что сразу за ним находится другой океан. Мы порешили тогда втащить наше судно на верхушки деревьев, которые отличались своей густотой, и переправиться по ним до следующего моря, если только это будет возможно. Так мы и сделали: привязали к нашему кораблю толстый канат и втащили судно на деревья — что стоило нам больших усилий, — опустили его на ветви, распустили паруса и, подгоняемые попутным ветром, поплыли, точно по морю. При этом мне вспомнились слова поэта Антимеха:

Путь мой свершивши на судне по волнам лесистой равнины.

43. В силу необходимости мы перебрались этим путем через лес, спустили потом тем же образом корабль на море и поплыли по чистой и прозрачной воде, пока нам не пришлось внезапно остановиться перед огромным ущельем — его образовали расступившиеся воды, — напоминавшим собою те расщелины, которые часто образуются в почве после землетрясений. Если бы мы не успели вовремя убрать паруса, то наше судно, наверное, провалилось бы в эту пропасть. Высунувшись за борт, мы заглянули в этот провал, глубиной по крайней мере в тысячу стадиев, и ужаснулись его необычайному виду, так как вода, разделившись, стояла совсем неподвижно. Затем мы стали озиаться по сторонам и увидели справа недалеке водяной мост, перекинутый от одной водной поверхности к другой; он вытекал из одного моря и втекал в другое. Приняв-

шись усиленно грести, мы вскоре приблизились к этому мосту и с большим трудом переправились через пропасть, хотя сначала и не думали, что это будет возможно.

44. Там нас приняло очень спокойное море, и мы увидели перед собой небольшой обитаемый остров, легко доступный. На этом острове жили быкоглавые дикие люди, с рогами на голове, как у нас изображают Минотавра. Пристав к берегу, мы пошли искать воду и съестных припасов, которых у нас больше не было. Воду мы отыскиали поблизости, но больше ничего уже найти не могли. Судя по громкому мычанию, раздававшемуся поблизости, мы решили, что здесь должно находиться стадо быков, и двинулись поэтому дальше, но вскоре натолкнулись на людей, которые тут же набросились на нас и захватили трех из наших товарищей, я же со всеми остальными бросился бежать к морю. Ввиду того что нам совсем не хотелось оставлять у них безнаказанно наших друзей, мы все вооружились и напали в свою очередь на быкоглавов, которые только что собрались поделить между собою мясо убитых наших спутников. Устрашенные нашим нападением, они бросились бежать, мы же преследовали их и убили при этом около пятидесяти человек, двух захватили в плен и вместе с ними тотчас же вернулись обратно. Съестных припасов мы так и не нашли. Хотя мне все и советовали убить наших пленников, но я не соглашался на это, а вместо того решил связать их и стеречь до тех пор, пока не явятся послы от быкоглавов и не предложат нам за них выкупа. Вскоре они действительно появились, стали кивать головою и жалобно мычать, точно умоляя нас о чем-то. Предложенный ими выкуп состоял из большого количества сыра, сушеной рыбы, лука и четырех оленей о трех ногах: две ноги у них были позади, а две передние срослись в одну. Мы приняли этот выкуп, выдали им пленников и, пробыв здесь еще один день, пустились в дальнейший путь.

45. Через некоторое время в воде показалась рыба, вокруг нас стали летать птицы,— все признаки, свидетельствующие о близости земли, были налицо. Вскоре мы увидели и людей, которые занимались совсем новым способом мореплавания. Они были одновременно

и кораблями и корабельщиками и достигали этого следующим образом: ложась в воду на спину, они выпрямляли фалл, который отличается у них своими огромными размерами, затем прикрепляли к нему парус и, держа концы его в руках, плыли таким образом по ветру. За этими людьми показались другие, сидевшие на пробках, запряженных двумя дельфинами, которых они подгоняли или сдерживали, смотря по надобности. Подвигаясь вперед, дельфины везли за собою пробки. Эти люди не причинили нам никакого вреда и сами нас не испугались, а безбоязненно и самым мирным образом приблизились к нам, стали осматривать наше судно со всех сторон и удивляться его виду.

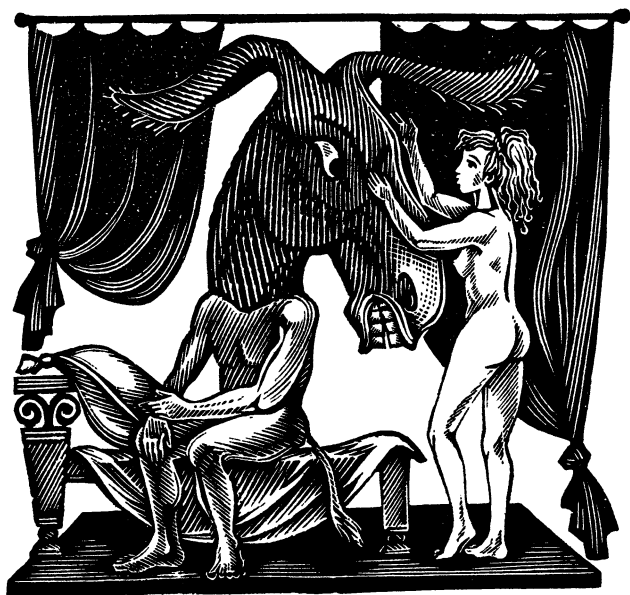
46. К вечеру мы приблизились к небольшому острову, заселенному женщинами, которые, как нам показалось, говорили на эллинском языке, они подошли к нам, взяли нас за руки и ласково приветствовали. Все они были молоды, красивы и разряжены наподобие гетер: длинные хитоны их тянулись за ними по земле. Остров их назывался Каббалусой, а город — Гидомардией. Каждая из этих женщин взяла одного из нас к себе как своего гостя. Я же отстал немного, так как чувствовал, что тут творится нечто неладное, стал тщательно осматриваться по сторонам и увидел множество человеческих костей и черепов, лежащих на земле. Поднять теперь крик, созвать товарищей и взяться за оружие показалось мне несколько опасным. Не видя другого исхода, я взял в руки мальву и обратился к ней с горячей мольбой о том, чтобы она отвратила от нас грозящие нам бедствия. Когда моя хозяйка стала мне через некоторое время прислуживать, я заметил, что у нее вместо женских ног были ослиные копыта. Тут я бросился на нее с обнаженным мечом, связал ее и заставил отвечать на вопросы. Она сообщила мне, хотя и очень неохотно, что они — морские ослоногие женщины, питаются заезжающими на их остров чужестранцами. «Мы их сначала опьяняем, — сказала она, — а потом, усыпив их в наших объятиях, нападаем на них». После того как я услышал все это, я оставил ее связанною, сам же поднялся на крышу дома и криком созвал своих товарищей. Когда они все сбежались, я сообщил им о том, что узнал, по-

казал им кости и повел внутрь дома к моей пленнице, которая тут же превратилась в воду и исчезла. Желая проверить, правду ли она сказала, я опустил меч в эту воду, и она превратилась в кровь.

47. Затем мы изо всех сил бросились бежать на наш корабль и сразу же отплыли. Когда забрезжил следующий день, мы увидели какую-то землю и решили, что это и есть материк, лежащий в противоположной стороне от нашего. При виде его мы упали на колени и стали молиться и обсуждать предстоящее. Некоторые из нас думали, что лучше всего будет, если мы, высадившись ненадолго, сразу же возвратимся; другим же захотелось покинуть судно, пробраться в глубь страны и познакомиться с нравами туземцев. Пока мы обсуждали этот вопрос, налетела отчаянная буря и, ударив наше судно о берег, разбила его вдребезги. Мы едва выплыли, захватив оружие и кое-какие вещи.

Вот все, что случилось со мною,— до прибытия на другой материк,— на море, во время плавания среди островов, в воздухе, в ките, а после нашего освобождения из него — в стране героев и снов и, наконец, у быкоголовых и ослоногих. Что же касается моих приключений на суше, то о них я поведаю в следующих книгах.





ЛУКИЙ,
ИЛИ
ОСЕЛ

1. Однажды я отправился в Фессалию; у меня было какое-то поручение от отца к одному местному человеку. Лошадь везла меня и мои вещи, и сопровождал меня один слуга. Ехал я большой проезжей дорогой; во время пути встретились мне также другие путники, направляющиеся в Гипату, город Фессалии, откуда они были родом. Угощая друг друга, мы таким образом одолели трудный путь и были уже близко от города, когда я спросил фессалийцев, не знают ли они жителя Гипаты по имени Гиппарх, — я вез ему письмо из дому и думал остановиться у него. Они ответили, что знают этого Гиппарха и в каком месте города он живет, и что денег у него довольно, но он содержит только одну служанку и свою жену: он страшно скуп. Когда мы приблизились к городу, то нашли ка-

кой-то сад и в нем приличный домик; здесь и жил Гиппарх.

2. Спутники мои, обняв меня, уехали, а я, подойдя к двери, стучу; не скоро и с трудом меня услышала служанка и наконец вышла. Я спросил, дома ли Гиппарх. «Дома,— сказала она,— но кто ты, что тебе нужно?» — «Я приехал к нему с письмом от Декриана, патрейского софиста». — «Подожди меня здесь», — сказала она и снова ушла в дом, заперев дверь. Потом, вернувшись, пригласила нас войти. Войдя к Гиппарху, я обнял его и передал письмо. Это было в начале ужина; он лежал на узком ложе, жена сидела рядом, и перед ними стоял стол, на котором ничего не было. Прочтя письмо, Гиппарх сказал: «Декриан — мой лучший друг и самый выдающийся эллин. Он прекрасно делает, смело посылая ко мне своих друзей. Ты видишь, Лукий, как мой домик невелик, но он радушен, ты будешь чувствовать себя в нем так же, как если бы мирно жил в большом доме». Тут он обратился к девушке: «Палестра, дай комнату приятелю моему и сложи в ней вещи, какие он привез, потом отведи его в баню: ведь он проделал немалый путь».

3. По этому приказанию Палестра увела меня и показала прекрасную комнату, сказав: «Ты будешь спать на этой кровати, а слуге твоему я устрою постель рядом и положу ему подушку». Потом мы отправились мыться, давши ей денег на ячмень для лошади, а она принесла наши вещи и положила их в комнату.

Вернувшись из бани, мы тотчас присоединились к хозяевам. Гиппарх, взяв меня за руку, пригласил меня занять место рядом с ним за столом. Ужин был не плох, вино вкусное и старое. Когда ужин был окончен, мы стали пить, и пошли разговоры, как это всегда бывает, когда принимают гостя; проведя таким образом вечер за вином, мы отправились спать. На следующий день Гиппарх спросил меня, какой путь мне теперь предстоит и проведу ли я все дни у него. «Я поеду в Лариссу,— ответил я,— но, вероятно, пробуду в городе от трех до пяти дней».

4. Но это было притворство; мне страшно хотелось, задержавшись здесь, разыскать какую-нибудь женщину, знающую магию, и быть свидетелем каких-нибудь чудес, вроде летающего человека или обращенного в камень. Охваченный желанием увидеть подобное

зрелище, я бродил по городу, не зная, как приступить к поискам, но все же бродил. Вдруг, вижу, навстречу идет женщина, еще молодая, богатая, насколько можно судить по внешности: цветное платье, толпа слуг и множество золота. Когда я подошел ближе, она обратилась ко мне с приветом, и я ответил ей тем же. «Я Аброя,— сказала она,— ты должен меня знать, если слышал о друзьях своей матери. И вас, ее детей, я люблю, как тех, которых сама родила. Что же ты, мой мальчик, не у меня остановился?» — «Большое тебе спасибо,— сказал я,— но мне совестно уходить из дома друга, раз мне не в чем его упрекнуть, но от души я хотел бы быть с тобой». — «Где же ты живешь?» — спросила она. «У Гиппарха». — «У этого скупца?» — «Не говори этого, матушка,— ответил я,— он был щедр и очень радушен ко мне, так что скорее его можно упрекнуть в роскоши». Улыбнувшись, она взяла меня за руку и, отведя в сторону, сказала: «Остерегайся всяких уловок со стороны жены Гиппарха: она страшная колдунья и развратница и обращает свое внимание на каждого молодого человека. А кто ей не поддается, тому она мстит своим искусством: многих она превратила в животных, а иных и совсем погубила. Ты же, мой мальчик, еще молод и так красив, что тотчас же понравишься этой женщине, к тому же ты чужестранец, и по отношению к тебе все разрешается».

5. Но я, узнав, что то, что так давно искал, находится у меня дома, уже не обращал внимания на Аброю и, как только она отпустила меня, пошел домой, болтая сам с собою по дороге: «Ну, вот ты все повторял, что жаждешь такого необыкновенного зрелища, встряхнись же и найди хитрый способ, которым мог бы добиться того, чего желаешь: подберись к служанке, к Палестре,— нельзя же сблизиться с женой своего хозяина и друга,— обхаживай ее, возись с ней, и, соединясь с ней, ты легко все узнаешь, будь уверен: ведь слуги знают все про господ, и дурное и хорошее».

Рассуждая с собою таким образом, я пришел домой. Ни Гиппарха, ни его жены я не застал дома, а Палестра хлопотала у очага, приготовляя нам ужин.

6. И я тут же, не упуская случая, сказал: «Как ловко ты, прекрасная Палестра, свой задок вместе с горшком вертишь и покачиваешь. У меня от нежности даже бедра сводит: счастлив, кто сумеет в горшок окунуться». Палестра была очень задорная и полная прелести

девочка. «Беги, мальчишечка,— сказала она,— если у тебя есть ум и ты хочешь остаться в живых: горшок полон огня и угара. Если ты хоть раз его коснешься, ты у меня останешься здесь с пылающей раной, и никто тебя не исцелит, даже бог-целитель, а только одна я, которая тебя обожгла. Но, что всего страннее, я заставлю тебя желать того же все сильнее, и, хотя мое ухаживание будет лишь обновлять твою боль, ты стерпишь все, и даже камнями тебя не отгонишь от сладкой боли. Что ты смеешься? Ты видишь перед собой настоящую людоедку, ведь я не только такие простые блюда приготавливаю. Я знаю кое-что получше и побольше: человека резать, кожу с него сдирать и на куски крошить, а особенно люблю касаться внутренностей и сердца».— «Ты правду говоришь,— сказал я.— Хотя я и близко не подходил к тебе, но ты издали меня — не обожгла, клянусь Зевсом, нет — ты ввергла в самый огонь. Через глаза мои ты влила мне в грудь свое невидимое пламя и жжешь меня, а я ничем перед тобой не виноват. Поэтому, ради богов, исцели меня своим жестоким и сладким лечением, о котором сама говорила... Возьми меня, я уже без ножа зарезан, снимай с меня кожу, как сама хочешь».

Она громко и весело расхохоталась в ответ и стала во всем моей. Между нами было условлено, что она придет ко мне, когда уложит спать господ, и проведет со мной ночь.

7. Спустя некоторое время пришел Гиппарх, и мы, совершив омовение, легли ужинать, и много было выпито во время нашей беседы. Наконец, притворившись, что хочу спать, я встал и ушел в свою комнату. Все в ней было устроено прекрасно: слуге было постлано за дверью, а у моей постели стоял стол с чашей. Тут были и вино и вода наготове, холодная и горячая,— все это было дело Палестры. На ложе было разбросано множество роз, полных и осыпавшихся и заплетенных в венки. Найдя все готовым к пиру, я стал ждать подругу.

8. Уложив свою госпожу, она поспешно пришла ко мне, и пошло у нас веселье, вино сменялось поцелуями, и мы пили за здоровье друг друга. Когда же хмель вполне нас подготовил к предстоящей ночи, Палестра мне сказала: «Помни, юноша, больше всего, что ты наткнулся на Палестру, и тебе придется теперь показать, был ли ты искусным эфебом и много ли заучил

упражнений». — «Ты увидишь, что я не отступлю перед таким вызовом: итак, раздевайся и давай состязаться». — «Ну, вот тебе испытание, — сказала Палестра, — посмотрим, выполнишь ли ты у меня его так, как я хочу: я, как учитель и наставник, буду придумывать упражнения, какие захочу, а ты будешь готов повиноваться и исполнять все мои приказания». — «Ну, приказывай, — отвечал я, — увидишь, как сильны, ловки и крепки будут мои приемы».

9. Она сняла с себя одежду и, став передо мной совсем нагая, начала приказывать: «Юноша, разденься и, натеревшись маслом, обхвати соперника; стисни его обеими ногами, вали его навзничь, затем, налегая сверху и раздвигая его колени, встань, подними вверх его ноги и не отпускай и, совладавши с ним, нажимай, дави и толкай его всячески, пока не устанешь. Пусть бедра твои окрепнут, тогда, вытащив оружие, нанеси широкую рану, снова толкай в стену, потом бей. Когда увидишь, что он слабеет, хватай его и, связав узлом ноги, поддерживай его, только старайся не спешить, а бороться с некоторой выдержкой. Теперь довольно».

10. Когда я все это исполнил с легкостью, и упражнениям нашим пришел конец, я сказал Палестре, смеясь: «Ты видишь, учитель, как ловко и послушно я боролся; смотри же, не предлагай упражнения без меры: ты отдаешь одно приказание за другим». Но она ударила меня по щеке. «Что за вздорного ученика я приняла, — сказала она. — Берегись, как бы тебе не получить еще больше ударов, если ты станешь делать что-нибудь, без приказания». С этими словами она встала и, приведя себя в порядок, сказала: «Теперь ты покажешь, молод ли ты и крепкий ли боец и умеешь ли бороться с колена». И, упав в постели на колени: «Ну-ка, боец, — сказала она, — места заняты, так что нападай и борись смело. Видишь, вот перед тобой обнаженный противник, пользуйся этим. Первое по порядку, обхвати его, как кольцом, потом, наклонив его, навались, держи крепко и не отпускай его. Когда он ослабеет, тотчас же приподнявшись, подвинься ближе и овладевай им и смотри не отпускай раньше, чем получишь приказание, а, изогнувшись, vedi нападение снизу и старайся изо всех сил; теперь отпусти врага: он обессилен и весь в поту».

Тут уж я со смехом сказал: «Я тоже хочу, учитель, приказать тебе сделать кое-какие упражнения, а ты, слушайся: поднимись и сядь, потом ляг в мои объятия, прильнув всем телом, и, обняв меня, ласкай и усыпи меня, ради Геракла».

11. Стараясь превзойти друг друга в таких удовольствиях и забавах борьбы, мы увенчали себя венками в знак побед на наших ночных состязаниях, и столько было в этом наслаждения, что я совсем забыл о пути в Лариссу. Однако как-то мне пришло на ум узнать то, ради чего я состязался, и сказал Палестре: «Покажи мне, дорогая, свою госпожу за чарами или превращениями. Я давно уж жажду такого необыкновенного зрелища. А еще лучше, если умеешь, сделай сама что-нибудь магическое и явись мне в разных образах. Ведь, я думаю, и ты имеешь немалый опыт в этом искусстве. Я это знаю не понаслышке от других, а испытал на своем собственном сердце, так как прежде, как говорили женщины, я был «стальным» и не бросал ни на кого влюбленных взглядов, а ты все-таки овладела мной при помощи этого искусства, и теперь я твой пленник, соблазненный любовной борьбой». Но она ответила: «Перестань шутить. Какое заклинание может приворожить любовь, когда она сама владеет этим искусством? А я, мой дорогой, ничего подобного не умею, клянусь твоей жизнью и этим блаженным ложем. Я не училась заклинаниям, а госпожа моя ревнива в своем искусстве. Но, если придется случай, я постараюсь дать тебе посмотреть на ее превращения». На этом мы заснули.

12. Несколько дней спустя Палестра мне объявила, что госпожа ее собирается превратиться в птицу и улететь к любовнику. «Вот случай, милая Палестра,— сказал я,— показать мне твое расположение: ты можешь теперь удовлетворить давнишнее мое желание, о котором я просил тебя».— «Будь спокоен»,— отвечала она. Когда наступил вечер, она повела меня к дверям комнаты, где спали муж с женой, и приказала мне прильнуть к небольшой щели в двери и смотреть, что происходит внутри. Я увидел жену Гиппарха, которая раздевалась, потом обнаженная подошла к свету и, взяв две крупинки ладана, бросила их в огонь светильника и долго приговаривала над огнем. Потом открыла объемистый ларец, в котором находилось множество баночек, и вынула одну из них. Что в ней заключалось,

я не знаю, но по запаху мне показалось, что это было масло. Набрав его, она вся им натерлась, начиная с пальцев ног, и вдруг у нее начали вырастать перья, нос стал вороньим и кривым — словом, она приобрела все свойства и признаки птиц: сделалась она не чем иным, как ночным вороном. Когда она увидела, что вся покрылась перьями, она страшно каркнула и, подпрыгнув, как ворона, вылетела в окно.

13. Думая, что я вижу все это во сне, я тер себе пальцами веки, не веря собственным глазам, что они видят, что все это наяву. С большим трудом я убедился наконец, что не сплю, и стал просить Палестру окрылить меня и, смазав этим же снадобьем, дать и мне возможность полететь: я хотел на опыте узнать, не стану ли я, превратившись из человека в птицу, и душой пернатым. Приоткрыв дверь в комнату, Палестра достала ящичек, а я, уже раздевшись, поспешно весь натерся мазью, но я сделался, несчастный, не птицей: сзади у меня вырос хвост, пальцы мои исчезли неизвестно куда, а ногтей у меня сделалось всего четыре, — но вот уже это только копыта, руки и ноги у меня становятся ногами вьючного животного, уши длинными и лицо громадным. Когда я огляделся кругом, я увидел, что превратился в осла, и, чтобы упрекнуть Палестру, не имел человеческого голоса. Только вытянутой нижней губой и всем своим обликом, глядя, как осел, исподлобья, я жаловался ей, как мог, на то, что превратился в осла, а не в птицу.

14. Палестра била себя по лицу руками. «Ах, я несчастная, — говорила она, — такую беду я наделала. Я заторопилась и ошиблась баночкой из-за их сходства, взяла не ту, которая выращивает крылья, а другую. Но не беспокойся, мой дорогой. Это легко поправить. Если ты поешь роз, с тебя тотчас спадет личина зверя, и ты снова вернешь мне моего любовника. Но, голубчик, на одну эту ночь тебе придется остаться ослом, а поутру я прибегу и принесу тебе роз, ты поешь их и исцелишься». Говоря мне это, она ласкала мне уши и шерсть.

15. А я, хоть во всем остальном стал ослом, душой и умом остался человеком, тем же Лукием, за исключением голоса.

Итак, в душе сильно упрекая Палестру за ее ошибку и кусая себе губу, я пошел туда, где, как я знал, стояли моя лошадь и настоящий осел Гиппарха. Но они,

почуяв, что я подошел, и боясь, чтобы я не подобрался к их сену, прижали уши и приготовились копытами защищать свои животы. А я, сообразив это, подальше отодвинулся к конюшне и стоял, смеясь, но смех мой был ржанием. Что за неумеренное любопытство! — говорил я себе. Что, если заберется волк или иной зверь? Я могу погибнуть, хоть не сделал ничего дурного. Рассуждая так, я не подозревал, несчастный, грядущей беды.

16. Уже глубокой ночью, когда наступила полная тишина и все погрузилось в сладкий сон, вдруг затрещала стена снаружи, как будто ее проламывали. И в самом деле проламывали. Дыра была уже такая, что человеку можно было пролезть, и вот через нее проходит один, за ним другой тем же путем, и вот их уже много внутри, и у всех мечи. Связав в комнатах Гиппарха, Палестру и моего раба, они без боязни опустошили дом и вытащили наружу деньги, платье и вещи. После того как в доме больше ничего не осталось, они взяли меня, другого осла и лошадь, нагрузили нас и все награбленное связали. С таким большим грузом они нас погнали в гору ударами палок, стараясь бежать по малоезженной дороге. Что другие животные испытывали, не могу сказать, но я, не подкованный и не привыкший к ходьбе по острым камням, просто погибал, неся такие тяжести. Часто я спотыкался, но падать было нельзя, так как тотчас же сзади кто-нибудь ударял меня палкой по бедрам. Не раз я хотел закричать: «О, Цезарь», но испускал только рев. «О» я кричал сильно и звонко, но «Цезарь» не выходило. Между тем за это меня били, так как я выдавал разбойников своим ревом. Сообразив, что я кричу напрасно, я решил далее идти молча и выгадать по крайней мере на ударах.

17. Между тем настал день. Мы перебрались уже через несколько гор. Рты наши были завязаны, чтобы мы, срывая траву по пути, не теряли времени, так что и на этот день я остался ослом. Когда прошла половина этого дня, мы остановились во дворе у каких-то знакомых наших грабителей, судя по всему происходившему: они встретили их объятиями, просили остановиться и угостили обедом, а нам, животным, засыпали ячменю. Другие пообедали, а мне пришлось голодать самым жалким образом. И так как в то время я никогда еще не получал на обед сырого ячменя, я стал по-

смаковать, не найдется ли чего-нибудь более съедобного. Вдруг вижу сад тут же за двором; в нем было много прекрасных овощей, а за ними виднелись розы. Потихоньку от всех, беспечно сидевших внутри за обедом, я вошел в сад, отчасти чтобы наестся сырых овощей, отчасти ради роз, так как я полагал, что, поев этих цветов, я снова стану человеком. Итак, вступив в сад, я набил себе живот репой, петрушкой, латуком — всем, что только ест сырым человек; но розы эти были не настоящие розы, а те, что цветут на диком лавре, — люди называют его рододендрон, — плохое кушанье для всякого осла или лошади: говорят, что съевший его тотчас умирает.

18. Тут садовник, почуяв беду и схватив палку, вошел в сад и, обнаружив врага и порчу овощей, возомнил себя каким-то грозным судьей, карающим преступника, и так избил меня палкой, не щадя ни боков моих, ни бедер, что даже разбил мне уши и лицо поранил. Но я, потеряв терпение, ударил его обеими ногами и свалил навзничь прямо в овощи, а сам побежал вверх в гору. Когда он увидел, что я быстро удаляюсь, он закричал, чтобы выпустили собак за мной. А собак было много и очень больших, которые могли бы сцепиться с медведем. Я сообразил, что если они поймут меня, то растерзают, и, отбежав несколько в сторону, решил по совету пословицы: «лучше вернуться назад, чем плохо бежать». Итак, я повернулся и возвратился прямо в стойло. Тогда разбойники удержали собак, бросившихся в погоню, и привязали их, а меня начали бить и остановились не раньше, чем я от боли извергнул все съеденные овощи обратно.

19. Когда пора было отправляться в путь, на меня навалили больше всего награбленных вещей и самых тяжелых. И таким образом мы двинулись отсюда. Так как я уже был доведен до отчаяния ударами, изнемогал под бременем поклажи и изранил в пути все свои копыта, я решил тут же свалиться и не вставать, хотя бы они меня убили своими палками. Я надеялся получить большую выгоду от этого решения, так как думал, что грабители во всяком случае покорятся обстоятельствам, разделят мой груз между лошадью и мулом, а меня оставят лежать на съедение волкам. Но какой-то завистливый дух, проникнув в мои мысли, обратил все это против меня. Внезапно другой осел, может быть рассуждавший совершенно так же, как я, па-

дает на дороге. Разбойники побуждают несчастного встать сначала ударами палок, когда же он не слушается ударов, то одни берут его за уши, другие за хвост и стараются заставить его очнуться. Так как ничего не выходило и осел оставался лежать без движения на дороге, как камень, то они, придя к мысли, что напрасно стараются и тратят время, нужное для бегства, на возню с дохлым ослом, распределили между мной и конем все вещи, которые он нес, а несчастного нашего товарища по плену и грузу, подрезав ему мечом ноги, сталкивают, еще содрогающегося, в пропасть. И он скатывается вниз, отплясывая пляску смерти.

20. Видя на примере моего спутника, каков был бы конец моих расчетов, я решил твердо переносить свое положение и бодро шагал дальше, в надежде когда-нибудь наткнуться на розы и с их помощью спастись, ставши самым собой.

От воров я слышал, что уж немного пути осталось и что мы отдохнем там, где остановимся; поэтому всю поклажу мы тащили рысью и до наступления вечера достигли дома. В нем сидела старая женщина; пылал большой огонь. Разбойники сложили в доме всё, что мы привезли. Потом спросили старуху: «Чего это ты сидишь себе этак и не готовишь обеда?» — «Да все для вас припасено, — сказала она, — хлеба достаточно много, много кадок старого вина, и у меня приготовлена для вас жареная дичь». Похвалив старуху, они разделись, натерлись у огня салом и, доставши котел горячей воды, обмылись в этой наскоро устроенной бане.

21. Потом, немного времени спустя, пришло много молодых людей, которые принесли множество вещей, все золотых и серебряных, и кучу одежды, и нарядов мужских и женских. Они присоединились к ворам и, когда сложили все это в доме, также вымылись; затем последовали обильный обед и длинные беседы разбойников за попойкой. А мне и лошади старуха положила ячменя. Лошадь поспешно съела ячмень, боясь, как и следует, найти во мне сотрапезника. Но я, как только видел, что старуха выходит из дому, тотчас ел хлеб. На следующий день все остальные ушли из дому на работу, а старухе оставили одного юношу на подмогу. Я изнывал от такой тщательной охраны. Я мог не заботиться о старухе и имел возможность ускользнуть от ее надзора, но юноша был силен и смо-

трел весьма свирепо, всегда носил меч и двери держал на запоре.

22. Три дня спустя среди ночи возвратились разбойники, не неся ни золота, ни серебра, ни других вещей, а привели только девушку в расцвете лет, очень красивую; она плакала и рвала на себе платье и волосы. Посадив ее в доме на подстилку, они уговаривали ее не бояться, а старухе приказали постоянно оставаться дома, держать девушку под надзором. Но девушка не хотела ничего ни есть ни пить, а все плакала и рвала на себе волосы, так что я сам, стоя близко у стойла, плакал вместе с этой прекрасной девушкой. Между тем разбойники ужинали в передней дома. Близился уже день, когда кто-то из дозорных, которому выпал жребий сторожить дорогу, пришел и сказал, что какой-то чужестранец собирается проехать этой дорогой и везет с собой большие деньги. Разбойники, как были, вскочили из-за ужина и, вооружившись и оседлав меня и лошадь, погнали вперед. Но, я, несчастный, сознавая что меня гонят на бой и на грабеж, подвигался лениво, а так как они спешили, то били меня палками. Когда же мы дошли до дороги, где путешественник должен был проехать, разбойники, напав на повозки, убили и его самого и слугу его, а все, что было самого ценного, похитили и взвалили на коня и меня; остальные вещи спрятали тут же в лесу. Потом погнали нас таким же образом обратно и меня опять погоняли и били палкой; я ударился копытом об острый камень и от ушиба получил мучительную рану, так что остальную дорогу я ступал, хромая. Тут разбойники стали говорить между собой: «К чему кормить этого осла, который постоянно спотыкается? Сбросим его с обрыва, этого вестника несчастья». «Да,— сказал другой,— сбросим его как очистительную жертву нашего отряда». И они уже сговорились покончить со мной, но я, слыша это, зашагал, как будто отныне рана принадлежала не мне, а кому-то другому: страх смерти сделал меня нечувствительным к боли.

23. Когда мы дошли туда, где была наша стоянка, разбойники сложили в доме вещи, снятые с наших плеч, а сами, повалившись за стол, стали ужинать. Когда наступила ночь, они отправились снова, чтобы перевезти домой остальные вещи, оставленные в лесу. «К чему нам уводить с собой этого несчастного осла, — сказал кто-то из них,— ведь он из-за своего копыта

для нас бесполезен? А вещи частью потащим мы, частью лошадь». — «Чего же ты еще ожидаешь здесь, несчастный? Тобой поужинают коршуны и их птенцы. Разве ты не слышал, что с тобой решили сделать? Не хочешь ли и ты скатиться с обрыва? Теперь уже ночь и полная луна, они уходят из дому: спасайся бегством от кровожадных хозяев».

Размышляя так с самим собою, я заметил, что я ни к чему не привязан, а повод, на котором меня тащили в пути, висит у меня на боку свободно. Это меня побудило еще больше к бегству, и я бегом пустился прочь. Старуха, увидев, что я готов убежать, схватила меня за хвост и стала держать. Но быть задержанным старухой — значило для меня свержение с обрыва или другую смерть в этом роде, я и потащил ее за собой, а она громко закричала, зовя пленную девушку. Та вышла из дому и, видя старуху, уцепившуюся за хвост осла, решилась на благородную смелость, достойную отчаявшегося юноши: она вспрыгнула на меня и, усевшись мне на спину, стала погонять. А я, увлеченный желанием спасти себя и девушку, усердно пустился конской рысью. Старуха осталась позади. Девушка молила богов спасти ее в бегстве. Мне же она сказала: «Если ты отвезешь меня к отцу, о мой красавец, я освобожу тебя от всякой работы, и на обед тебе будет каждый день мера ячменя». А я, чтобы убежать от моих убийц и надеясь на полную заботу и попечение от спасенной мною девушки, бежал, не обращая внимания на рану.

24. Когда мы достигли места, где дорога разветвлялась на-трое, нам попались навстречу наши враги, возвращавшиеся назад, и при луне издали тотчас же узнали своих несчастных пленников и, подбежав к нам, схватили меня: «Ах ты, добрая красавица, куда, бедняжка, ты отправляешься в такой поздний час? Разве ты не боишься привидений? Иди-ка сюда, к нам, мы тебя твоим родным отдадим», — говорили они с злобным смехом. И, повернув меня, потащили обратно. Тут я вспомнил о своей ноге и ране и стал хромать.

«Теперь ты стал хромать, — говорили они, — как только тебя поймали на побеге? А когда тебе хотелось бежать, ты выздоровел и стал проворнее коня, как будто у тебя выросли крылья». За этими словами следовали удары, и вот у меня уж вскочили волдыри на бедре от таких наставлений.

Вернувшись обратно домой, мы нашли старуху повесившейся на веревке: испугавшись гнева хозяев из-за побега девушки, она задушила себя, затянув себе петлю на шее. Разбойники удивлялись такому достоинству старухи, отвязали ее от скалы, чтобы она могла упасть с обрыва вниз, как была, с петлей на шее, а девушку привязали внутри дома; потом сели за ужин, и у них была обильная попойка.

25. Между прочим они рассуждали между собой относительно девушки.

«Что нам делать с беглянкой?» — спросил один из них. «Что же иное, — сказал другой, — как не сбросить ее вниз вслед за старухой, раз она лишила нас больших денег, которые мы за ней считали, и выдала наше убежище? Будьте уверены, друзья, если бы она убежала к себе домой, ни один из нас не остался бы в живых: мы все были бы схвачены, если враги напали бы на нас подготовленными. Итак, уничтожим злодейку. Но, чтобы она не погибла слишком скоро, свалившись на камни, придумаем ей смерть самую мучительную и продолжительную, которая подвергла бы ее длительной пытке и только потом погубила бы». Тут они стали придумывать смерть, и кто-то сказал: «Я знаю, что вы похвалите мою выдумку. Нужно истребить осла, так как он ленив, а теперь вдобавок еще притворится хромым, к тому же он оказался пособником в бегстве девушки. Итак, мы его спозаранку уьем, разрежем ему живот и выбросим вон все внутренности, а эту добрую девушку поместим внутрь осла, головой наружу, чтобы она не задохлась сразу, а все туловище оставим засунутым внутри. Уложив ее таким образом, мы хорошенько зашьем ее в трупе осла и выбросим обоих на съедение коршунам, как новоизобретенный обед. Обратите внимание, друзья, на весь ужас пытки: во-первых, находиться в трупe издохшего осла, потом — томиться защитой в животном летней порой под знойным солнцем, умирать от вечно губительного голода и не иметь возможности умереть. О том, что ей еще придется вытерпеть от запаха разлагающегося осла и быть оскверненной червями, я уже не говорю. Наконец коршуны доберутся и до внутренности осла, и как его, так потом и ее растерзают, может быть еще живую».

26. Эту чудовищную выдумку все встретили громкими восклицаниями, как нечто превосходное, а я уже

оплакивал себя как приговоренный к смерти; даже мертвым я не буду лежать мирно: в меня поместят несчастную девушку, и я стану гробницей ни в чем не повинного ребенка. Уж близился рассвет, как вдруг появляется множество солдат, посланных против этих злодеев, и быстро всех заковывают в цепи и уводят к начальнику этой местности. Среди пришедших был и суженый девушки; он-то и указал убежище разбойников. Итак, получив обратно девушку, он усадил ее на меня и повез домой. Их односельчане, завидев нас еще издали, догадались о счастливом исходе дела, ибо я объявлял им радостную весть веселым ржанием, и, выбежав навстречу, приветствовали нас и повели домой.

27. Девушка чувствовала ко мне большую признательность, видя во мне, по справедливости, товарища по плену и бегству и по грозившей нам обоим смерти. Мне дали от хозяйки на обед меру ячменя и столько сена, сколько хватило бы верблюду. И тут я в особенности проклинал Палестру за то, что она превратила меня колдовством в осла, а не в собаку. Потому что я видел, как собаки, проникнув на кухню, пожирали множество всякой всячины, которая бывает на свадьбах богатых молодых.

Немного дней спустя после свадьбы, так как госпожа сказала отцу, что чувствует ко мне благодарность и желает произвести справедливую перемену в моем положении, отец приказал меня отпустить на волю пастись под открытым небом с табунами лошадей. «Пусть он живет на свободе,— сказал он,— и гоняется за кобылицами». Это казалось тогда самой справедливой переменой, если бы дело попало судье-ослу. Итак, призвав одного из табунщиков, он передал меня ему, а я радовался, что больше не буду носить тяжестей; когда мы пришли на место, табунщик присоединил меня к кобылицам и повел весь табун на пастбище.

28. И нужно же было, чтобы и здесь со мной случилось то же, что с Кандавлом. Надсмотрщик за лошадьми оставил меня своей жене Мегаполе, а она запрягла меня в мельницу, чтобы молоть ей пшеницу и неочищенный ячмень. Это еще небольшой труд для благородного осла — молоть зерно для своих господ. Но почтеннейшая Мегапола и от всех других живших в этих местах — а их было очень много — хотела получать муку в качестве платы и закабалила мою несчастную

шею. Даже ячмень, назначенный мне к обеду, она поджаривала и меня же заставляла молоть, а сделанные из него ячменные лепешки съедала сама, мне же к обеду оставались отруби. Если когда-нибудь надсмотрщик и подпускал меня к кобылам, то я погибал от ударов и укусов жеребцов. Они постоянно подозревали меня в незаконных отношениях к кобылам, их женам, и преследовали меня, лягаясь обеими ногами, так что я не мог долго выдержать этой конской ревности. Таким образом за короткое время я стал худ и безобразен и не имел покоя ни дома с моей мельницей, ни на пастбище под открытым небом, где меня преследовали сотабунщики.

29. Между прочим я часто должен был подниматься в гору и нести дрова. Это было главное из моих зол: во-первых, приходилось взбираться на высокую гору по ужасно отвесной дороге, затем я был неподкован, а место было каменистое. К тому же вместе со мной посылали погонщика, негодного мальчишку. Он всякий раз мучил меня на новый лад: сначала он сильно бил меня, даже если я бежал рысью, не простой палкой, а с твердыми и острыми сучьями, и все время ударял в одно и то же место, так что в бедре от ударов открывалась рана, а он продолжал по ней бить. Потом он накладывал на меня тяжесть, которую даже слону трудно было бы снести. В особенности сверху спускаться было очень мучительно, а он и тут бил меня. Если же мальчишка видел, что ноша у меня спадает и переваливается на сторону и следовало бы снять часть дров и переложить на легкую сторону, чтобы уравнивать их, он никогда этого не делал, а поднимал с горы громадные камни и наваливал на более легкую и неуравновешенную часть груза. И я спускался, несчастный, неся вместе с дровами и ненужные камни. На пути лежал невысыхающий ручей: жалея свою обувь, он садился на меня позади дров и так переезжал через ручей.

30. Если же я когда-нибудь падал от изнеможения и тяжести, тогда беда становилась совсем нестерпимой. Ведь погонщик тогда должен был слезать с меня, поддерживать при спуске, поднимать с земли и снимать ношу, если понадобится, а он сидел и не помогал, но избивал меня палкой, начиная с головы и ушей, пока удары не заставляли встать. К тому же он придумал другую злую шутку, нестерпимую для меня. Он

перемешивал мою ношу с колючими репейниками и, перевязав все это веревкой, свешивал сзади с хвоста; естественно, что подвешенные колючки ударяли меня на ходу и уколами своими ранили мне весь зад. Защититься мне было невозможно, так как иглы были привешены и все время преследовали меня и ранили. Если я, остерегаясь размаха репейников, подвигался вперед шагом, я изнемогал под ударами палки, а если избегал палки, тогда беда мучила меня сзади. Вообще мой погонщик всячески старался погубить меня.

31. Если же я когда-нибудь, терпя всякие беды, не выдерживал и лягал его, он этот удар всегда держал в памяти. Как-то погонщику приказано было перевезти пряжу с одного места на другое. Он привел меня и, собрав множество пряжи, навалил на меня и крепкой веревкой хорошо привязал ко мне ношу, замышляя мне большую беду. Когда надо было отправляться в путь, он утащил из очага пылавшую еще головешку и, как только мы очутились вдали от двора, засунул угли в пряжу. Пряжа тотчас же вспыхнула, — что же другое могло случиться — и вот я нес на себе уже не что иное, как огромный костер.

Понимая, что сейчас я загорюсь, и встретив в пути глубокий ручей, я бросился в самое многоводное место.

Потом опрокидываю там пряжу и, вертясь и барахтаясь в тине, заливаю огонь и мою жестокую ношу, и таким образом с большой безопасностью совершаю остальной путь, мальчишке было невозможно еще раз зажечь пряжу, смешанную с мокрой тиной. Но, конечно, наглый мальчишка по возвращении оклеветал меня, говоря, что я по доброй воле, проходя мимо, бросился в очаг.

32. Но проклятый мальчишка изобрел для меня гораздо большую беду: он повел меня на гору и навалил на меня тяжелый груз дров и продал их земледельцу, жившему поблизости. Приведя меня домой налегке и без дров, он стал клеветать на меня перед своим господином, обвиняя в безбожном деле. «Я не знаю, господин, — говорил он, — для чего мы кормим этого осла, который страшно ленив и тяжел на подъем. К тому же он теперь обнаруживает и иное: как только он завидит женщину или девушку прекрасную и взрослую, или юношу, он, брыкаясь, бегом преследует их и ведет себя как мужчина с любимой женщиной, кусает их, точ-

но целует, и старается приблизиться к ним. Он тебе доставит много хлопот и тяжб, так как всех оскорбляет и пугает. Вот и теперь, неся дрова и увидев женщину, идущую на поле, он сбросил и рассыпал все дрова на землю, а женщину повалил на дорогу и хотел вступить с нею в брак, пока сбежавшиеся кто откуда не защитили ее от опасности быть растерзанной этим красавцем любовником».

33. Услышав об этом, надсмотрщик сказал: «Ну, если осел не хочет ни двигаться, ни поднимать тяжести и человеческой любовью влюбляется в женщин и детей, беснуясь при виде их, тогда убейте его, внутренности отдайте собакам, а тело сохраните для рабочих. И если спросят, как он умер, свалите это на волка».

Тут этот проклятый мальчишка, мой погонщик, обрадовался и тотчас же хотел меня убить. Но в это время случился здесь кто-то из соседних землевладельцев, он спас меня от смерти, посоветовав страшную вещь. «Отнюдь не убивайте осла,— сказал он,— который способен молоть и возить тяжести, не велико это дело. Если он бросается на людей от любви и похоти, возьмите его и оскопите. Лишенный любовного влечения, он немедленно станет спокойным и жирным и будет носить большие тяжести, не уставая. Если же ты несведущ в этом деле, то я приду сюда через три-четыре дня и сделаю его послушнее ягненка». Все домашние одобрили этот совет, говоря, что он хорошо сказал, а я уже оплакивал себя, как обреченного на гибель мужчину под видом осла, и повторял, что больше жить не хочу, если стану евнухом. Я думал даже совсем отказаться впредь от пищи или броситься с горы, свалившись с которой я умер бы хотя и весьма жалкой смертью, но по крайней мере труп мой был бы цел и не изуродован.

34. Когда наступила глубокая ночь, прибыл какой-то вестник из усадьбы в селение и во двор к нам и сообщил, что молодая новобрачная, бывшая в плену у разбойников, и ее муж — оба, гуляя под вечер по берегу моря, были захвачены морским приливом и исчезли в волнах. Так кончились смертью их приключения. Раз дом лишился молодых господ, то слуги решили не оставаться больше в рабстве, а все в доме захватать и спасаться бегством.

Мной завладел табунщик и, захватив все, что было возможно, нагрузил на меня и на коней. Мне было тя-

жело нести ношу настоящего осла, но все-таки я радовался помехе в ожидавшем меня оскотлении. Целую ночь мы шли трудной дорогой и, проведя в пути еще три других дня, достигли Берреи, большого и многолюдного города Македонии.

35. Наши люди решили здесь остановиться и дать нам отдых. И тут же устроили распродажу всех животных и вещей: зычный глашатай, стоя посреди площади, объявлял цены. Проходившие покупатели, желая нас осмотреть, открывали нам рты и смотрели каждому в зубы для определения возраста; всех раскупили — этого один, того — другой, а меня, оставшегося последним, глашатай приказал снова увести домой. «Видишь, — говорил он, — этот один не нашел себе господина». Но Немезида, многократно переворачивающая и изменяющая судьбу, привела и мне господина, какого я меньше всего хотел. Это был старый греховодник, один из тех, которые носят по селам и деревням Сирийскую богиню и заставляют ее просить милостыню. Меня продали ему за тридцать драхм — действительно, большая цена. Со стоном последовал я за моим господином, который меня повел к себе.

36. Когда мы пришли туда, где жил Филеб, — так звали моего покупателя, — он тотчас же громко закричал перед дверью: «Эй, девочки, я купил вам раба, красивого и крепкого и родом из Каппадокии». «Девочки» — это была толпа распущенных пособников Филеба, и все они в ответ на его крик захлопали в ладоши: они подумали, что и вправду куплен был человек. Когда же увидели, что этот раб — осел, тут они стали насмехаться над Филебом: «Это не раба, а жениха ты себе ведешь. Откуда ты его взял? Да будет счастлив этот прекрасный брак и да родишь ты нам скорее таких же ослят».

37. И все смеялись. На следующий день они собрались «на работу», как сами говорили, и, нарядив богиню, поместили на меня. Потом мы вышли из города и стали обходить страну. Когда мы вступали в какое-нибудь село, я останавливался в качестве богоносца, толпа флейтистов вызывала божественное исступление, и все, сбросив митры и запрокидывая назад головы, разрезывали себе мечами руки, и каждый, сжимая зубами язык, так ранил его, что мгновенно все было полно женственной крови. Видя все это, я в первое время стоял, дрожа, как бы не оказалась нужна бо-

гине и ослиная кровь. Изувечив себя таким образом, они собирали оболы и драхмы со стоящих кругом зрителей. Иной давал в придачу смоквы, сыру или кувшин вина, меру пшеницы и ячменя для осла. А они этим кормились и служили богине, которую я вез на себе.

38. Однажды, когда мы попали в какую-то деревню, они завлекли взрослого юношу из поселян и привели его туда, где мы остановились, а потом воспользовались от него всем, что обычно и приятно таким безбожным развратникам. А я ужасался перемене своей судьбы. «До сих пор я терплю несчастья, о жестокий Зевс», — хотел я воскликнуть, но из моей глотки вышел не мой голос, а ослиный крик, и я громко заревел. Случилось так, что в это время какие-то поселяне потеряли осла и, отправившись на поиски пропавшего, услышали мой громкий вопль, проникли к нам во двор, никому не говоря ни слова, как будто я был их ослом, и застигли развратников при совершении их непристойностей. Громкий хохот поднялся среди неожиданных посетителей. Выбежав вон, они сообщили всей деревне о бесстыдстве жрецов. Последние в большом смятении от того, что все это обнаружилось, как только настала ночь, уехали прочь и, когда очутились в глухом месте, излили на мне гнев и злобу за то, что я разоблачил их таинство. Было еще терпимо слышать их ужасные слова, но что за ними последовало — было совсем уже нестерпимо. Сняв с меня богиню и положив на землю, они стащили с меня все ковры и совсем уже обнаженного привязали к большому дереву, потом своим бичом, составленным из костяшек, стали меня истязать и чуть не убили, наставляя на будущее время быть безмолвным богоносцем. После бичевания жрецы даже обсуждали, не умертвить ли меня за то, что я набросил на них позор и выгнал из деревни прежде, чем они окончили свою работу. Но вид богини, лежащей на земле и не имеющей возможности продолжать путь, сильно их устыдил, так что они меня не убили.

39. Таким образом после бичевания я отправился в путь с богиней на спине, и к вечеру мы уже остановились в усадьбе одного богатого человека. Последний был дома и с большой радостью принял богиню в свой дом и принес ей жертвоприношение. Я помню, что здесь я подвергся большой опасности: один из друзей прислал владельцу усадьбы в подарок бедро дико-

го осла; повар взял его, чтобы приготовить, но по небрежности утерял, так как собаки потихоньку пробрались в кухню. Боясь ударов и пытки из-за пропажи бедра, повар решил повеситься. Но жена его, несчастье мое, сказала: «Не убивай себя, мой дорогой, не предавайся такому отчаянию. Если ты меня послушаешься, ты будешь вполне благополучен. Уведи осла жрецов в укромное место и там убей его и, отрезав эту самую часть тела, бедро, принеси сюда и приготовь его, подай хозяину, а труп осла сбрось где-нибудь в пропасть. Все подумают, что он убежал куда-нибудь и исчез. Ведь ты посмотри: он в теле и во всяком случае лучше этого дикого осла». Повар одобрил совет жены. «Это великолепно, жена,— сказал он,— и я только таким образом могу избежать плетей. Так и будет у меня сделано». Вот как мой безбожный повар, стоя рядом со мной, во всем согласился с женой.

40. Зная заранее о том, что готовится, и решив, что важнее всего для меня спастись из-под ножа, я оборвал ремень, на котором меня водили, и бросился прыжками бежать в дом, где ужинали жрецы с владельцем имения. Вбежав туда, я все опрокидываю одним ударом — и подсвечники и столы. Я думал, что изобрел для своего спасения нечто хитрое и что хозяин усадьбы прикажет меня, как взбесившегося осла, куда-нибудь запереть и строго сторожить. Но эта хитрость принесла мне крайнюю опасность. Сочтя меня бешеным, они уже схватились за мечи и копья и большие палки и намеревались меня убить. Но я, увидя размеры опасности, пробежал вскачь внутрь дома, где мои хозяева должны были лечь спать. Заметив это, они заперли тщательно дверь снаружи.

41. Когда рассвело, подняв опять богиню на спину, я удалился отсюда вместе со своими бродячими жрецами, и мы прибыли в другую деревню, большую и многолюдную, в которой они придумали новую шутку, именно: чтобы богиня не входила в человеческое жилище, а поселилась в храме местной богини, весьма почитаемой среди населения. Поселяне приняли чужую богиню и даже очень радостно, и поместили ее вместе со своей, а нам отвели для ночлега дом бедных людей.

Проведя здесь несколько дней подряд, хозяева мои решили уехать в соседний город и потребовали у поселян свою богиню. Войдя сами в святилище, они вынесли ее и, поместив на меня, поехали прочь. Но ока-

залось, что нечестивцы, проникнув в это святилище, украли приношение, посвященное местной богине, — золотую чашу, — и унесли ее под одеждой богини. Обнаружив это, поселяне тотчас же бросились в погоню и, очутившись близко, прыгнули с лошадей и задержали похитителей на дороге, называя их нечестивцами и требуя обратно украденное приношение.

Обыскав все, они нашли его за пазухой у богини. Тогда, связав этих изуверов, они привели их обратно и бросили в тюрьму, а богиню, которую я вез, сняли и отдали в другой храм. Золото вернули обратно местной богине.

42. На следующий день решили продать и меня и всю поклажу. Меня отдали земляку — человеку, жившему в соседней деревне, ремеслом которого было печь хлеб. Этот хлебопек взял меня и, купив десять мер пшеницы, взвалил на меня и поехал к себе домой по тяжелой дороге. Когда мы приехали, он привел меня на мельницу, и я увидел в ней множество подъяремных животных, собратьев по рабству; там было много жерновов, которые все приводились ими в движение, и все было полно муки. На этот раз, так как я был новичком, нес очень тяжелую ношу и прошел трудный путь, то меня отпустили отдохнуть, но на следующий день, закрыв мне глаза тряпкой, они припрягли меня к стержню жернова и стали погонять. Я отлично знал, как нужно молотить, так как проделывал это много раз, но притворился, что не умею. Однако я напрасно надеялся: толпа людей с мельницы с палками стала кругом меня, который даже ничего не подозревал, так как ничего не видел, и стала осыпать меня градом ударов так, что я завертелся сразу как волчок и на опыте убедился, что раб для исполнения нужной работы не должен ожидать руки господина.

43. И вот я так сильно исхудал и ослабел телом, что хозяин решил меня продать и отдал меня огороднику по ремеслу. Он содержал огород, который сам возделывал. Работа у него состояла в следующем: поутру хозяин, навьючив на меня овощи, отправлялся на рынок и, распродав их покупателям, гнал меня обратно в огород. Тут хозяин копал, сажил и поливал водой растения, а я все это время стоял без дела. Но эта жизнь была мне страшно тяжела, во-первых, потому, что уже была зима, а он и себе не мог купить что-нибудь, чтобы покрыться, не то что мне. Кроме того, я хо-

дил неподкованный по мокрой грязи и острому твердому льду, а на еду у нас обоих был только горький и жесткий латук.

44. Однажды, когда мы вышли, чтобы направиться в город, нам встретился рослый мужчина, одетый в одежду воина, и сначала заговорил с нами на итальянском языке и спросил садовника, куда он ведет осла, то есть меня. Огородник, по-видимому, не понимал этого языка, ничего не ответил. Тот рассердился, полагая, что его хотели обидеть, и ударил садовника кнутом. Садовник обхватил его и, подставив подножку, растянул на дороге и стал бить лежачего и руками, и ногами, и камнем, поднятым с дороги. Солдат сначала отбивался и грозился, если встанет, убить его мечом, но тот, узнав от него, в чем заключается опасность, вырвал у него меч и отбросил подальше и потом снова стал бить лежачего. Солдат, видя неминуемую беду, притворился мертвым от ударов. Садовник, испугавшись этого, оставил его лежать на месте, как он был, и, захвативши меч, верхом на мне помчался в город.

45. Когда мы приехали, хозяин передал обработку своего огорода какому-то своему сотруднику, а сам, опасаясь последствий приключения на дороге, укрылся вместе со мной у одного из городских знакомых. На следующий день они решили устроить так: хозяина моего спрятали в сундук, а меня поскорей подняли и потащили вверх по лестнице на чердак и там наверху заперли.

Между тем солдат, с трудом поднявшись с дороги, как говорили, так как у него голова кружилась от ударов, пришел в город и, встретив своих сослуживцев, рассказал им о дерзости огородника. Те пошли за ним, узнали, где мы спрятаны, и взяли с собой городские власти. Послав внутрь дома одного из понятых, они велели всем бывшим в доме выйти вон. Все вышли, но садовника нигде не было видно. Солдаты утверждали, что хозяин и я, его осел, находятся здесь. Но те говорили, что в доме никого не осталось — ни человека, ни осла. На дворе стоял сильный шум и крик. Возбужденный этим и любопытный от природы, я высунулся сверху и заглянул вниз через дверцу, желая узнать, кто были кричавшие. Солдаты, увидя меня, тотчас подняли крики, обитатели дома были уличены во лжи, и власти, войдя в дом и все обыскав, нашли моего хозяина, лежащего в сундуке, взяли его и отправили

в тюрьму, чтобы он дал ответ за свое дерзкое поведение. Меня же, стащив вниз, отдали солдатам. Все смеялись над обличителем с чердака и предателем своего хозяина. С этого времени с меня первого пошла среди людей эта поговорка: «из-за осла, который высунулся».

46. Что на следующий день испытал огородник, мой хозяин, я не знаю, но меня воин решил продать и уступил меня за двадцать пять аттических драхм. Купил меня слуга очень богатого человека из Фессалоник, самого большого города Македонии. Его ремесло состояло в том, что он приготавливал пищу своему господину, а брат его, тоже раб, умел печь хлеба и замешивать медовые пряники. Оба брата всегда жили вместе, спали в одной комнате, и приспособления для их ремесла были у них общие. Поэтому и меня они поставили тут же, где сами спали. После господского ужина они оба принесли множество остатков — один мяса и рыбы, другой — хлеба и печений. Заперев меня внутри со всем этим добром и поставив меня на стражу, сладчайшую из всех, они удалились мыться. Тут я, пожелав надолго провалиться засыпанному мне жалкому ячменю, весь отдался искусству и роскоши господина и не скоро вдоволь наелся человеческой пищи. Вернувшись домой, они сначала совсем не заметили моего обжорства, так как припасов было множество, и я еще со страхом и осторожностью украл обед. Когда же я вполне убедился в их неведении, я стал пожирать лучшие части и всякую всячину. Заметив наконец ущерб, они сначала оба подозрительно стали поглядывать друг на друга и называть один другого вором и грабителем общего добра и человеком без совести, а потом сделали оба внимательны и завели счет остаткам.

47. А я проводил жизнь в радости и наслаждении, и тело мое от привычной пищи снова стало красивым, и шерсть лоснилась свежей шерстью. Наконец почтеннейшие мои хозяева, видя, что я делаюсь рослым и толстым, а ячмень не расходуется и остается в том же количестве, начинают подозревать мои дерзкие проделки и, удалившись, как будто с целью пойти в баню, запирают за собой двери, а сами, припав глазом к щели в дверях, наблюдают, что происходит внутри. Я, ничего не зная о такой хитрости, приступаю к обеду. Они сначала смеются, видя этот невероятный обед, потом зовут других на это зрелище, и поднимается громкий хохот, так что даже господин услышал их смех, такой

шум стоял на дворе, и спросил кого-то, чего они так хохочут. Услышав, в чем дело, он встает из-за стола и, заглянув в комнату, видит, как я уничтожаю кусок дикого кабана, и, громко завопив от хохота, вбегает ко мне. Я был сильно раздосадован тем, что был уличен перед хозяином в воровстве и обжорстве. Но он громко хохотал надо мной и сначала приказал привести меня в дом к своему столу, потом распорядился, чтобы передо мной поставили множество вещей, которые другой осел не мог бы есть: мяса, устриц, подливок, рыбы в масле и приправленной горчицей. Видя, что судьба теперь мне улыбается приветливо, и понимая, что меня спасет только такая забава, я стал обедать, стоя перед столом, хотя уже был сыт. Все помещение дрожало от смеха. «Он даже будет пить вино, этот осел,— сказал кто-то,— если смешают вино и подадут ему». Хозяин распорядился, и я выпил принесенное.

48. Видя во мне, естественно, животное необыкновенное, господин приказал приказчику уплатить купившему меня его цену и еще столько же, а меня отдал своему отпущеннику, молодому человеку, и поручил научить меня таким вещам, которыми я мог бы его особенно повеселить. Для него все это не было трудно: я тотчас же повиновался и всему научился. Сначала он заставлял меня ложиться за стол, как человек, опираясь на локоть, потом бороться с ним и даже плясать, стоя на двух ногах, кивать и качать отрицательно головой на вопросы и прочее, что я мог бы делать и без учения. Об этом стали говорить кругом: «осел моего господина, который пьет вино и умеет бороться, осел, который танцует». А самое замечательное, что я на вопросы весьма кстати качал головой в знак согласия или несогласия, и если хотел пить, то просил об этом виночерпия движением глаз. Не зная, что в осле заключен человек, все удивлялись этому, как чему-то необычайному; а я их неведение обращал на свое благополучие. Кроме того, я учился, везя господина на спине, идти шагом и бегать рысью наименее тряской и ощутительной для всадника. Сбруя у меня была великолепно, на меня было накинуто покрывало, я был взнуздан удилами, украшенными серебром и золотом и обвешан бубенцами, издававшими чистейшие звуки.

49. Менекл, наш господин, приехал, как я сказал, из Фессалоник сюда по следующей причине: он обещал своей общине устроить зрелище с участием людей, сражающихся в одиночном бою. Люди уже подго-

товлялись для поединка, и подходило время отъезда. Мы выехали поутру, и я вез хозяина в тех местах, где дорога была неудобна и тяжела для езды на повозке. Когда мы прибыли в Фессалоники, не было никого, кто бы не поспешил на зрелище и не явился посмотреть на меня, потому что задолго еще меня опередила слава о моих разнообразных и совсем человеческих танцах и штуках. Мой господин показывал меня за выпивкой знатнейшим согражданам и предложил им за обедом необычайные развлечения, которые я доставлял.

50. Мой надзиратель нашел во мне источник больших денег. Он держал меня взаперти в доме и открывал дверь за плату тем, кто желал видеть меня и мои удивительные подвиги. Посетители приносили каждый что-нибудь съестное, что им казалось самым вредным для ослиного желудка, а я съедал это. Таким образом в несколько дней, обедая с господином и горожанами, я сделался большим и страшно толстым. И вот однажды какая-то приезжая женщина, необыкновенно богатая и недурная на вид лицом, придя посмотреть, как я обедаю, пламенно в меня влюбилась, отчасти видя красоту осла, отчасти вследствие необычайного моего поведения, и дошла до желания вступить со мной в связь. Она повела переговоры с моим надзирателем и обещала ему богатое вознаграждение, если он позволит ей провести со мной ночь. А тот, ничуть не заботясь, добьется ли она чего-нибудь или нет, эти деньги взял.

51. Когда наступил вечер и господин наш отпустил нас после ужина, мы возвратились туда, где мы спали, и нашли женщину, давно уже пришедшую к моей постели. Для нее были принесены мягкие подушки и покрывала и разостланы в комнате, так что ложе у нее было великолепное. Потом слуги ее улеглись где-то тут же поблизости, за дверьми, а она зажгла в комнате большой светильник, сверкавший пламенем, и, раздевшись, стала близ него вся обнаженная и, вылив благовония из алебастрового сосуда, натерла ими и себя и меня, в особенности наполнила ими мне ноздри. Потом она стала целовать меня и говорить со мной как с любимым ею человеком, схватила меня за повод и потянула к ложу. Я не нуждался ничуть в настояниях для этого: одурманенный старым вином, выпитым в большом количестве, и возбужденный запахом духов, видя перед собою молодую и во всех отношениях

красивую девочку, я лег, но был сильно смущен, как покрыть женщину. Ведь с тех пор, как я превратился в осла, я не испытал любви, свойственной ослам, и не имел дела с ослицами. Притом меня приводило в немалое затруднение, как бы не изуродовать ее и не понести наказания за убийство женщины.

Но я не знал, что опасался без нужды. Женщина, видя, что я не обнимаю ее, поцелуями и всякими ласками привлекла меня к себе, лежа как с мужчиной, обняла меня и, приподнявшись, приняла всего меня. Я все еще не решался и из осторожности тихонько отстранялся от нее, но она крепко сжимала меня в объятиях, не давала мне отойти и ловила уходящего. Поняв наконец вполне, чего недостает для ее наслаждения и удовольствия, я уже без страха исполнил остальное, думая про себя, что я ничем не хуже любовника Пасифаи. Женщина эта была так неутомима и ненасытна в любви, что всю ночь напролет расточала мне свои ласки.

52. Встав с рассветом, она ушла, сговорившись с моим надзирателем об уплате такого же вознаграждения за новую ночь. Богатея через меня и желая показать господину мои новые способности, он опять оставил меня с этой женщиной, которая страшно мною злоупотребляла. Между тем надзиратель рассказал господину эту историю, как будто сам научил меня этому, и без моего ведома привел его по наступлении вечера туда, где мы спали, и сквозь щель в двери показал меня в то время, когда я лежал рядом с молодой женщиной. Хозяин мой очень веселился при этом зрелище и задумал показать меня всенародно за таким занятием. Приказав никому из посторонних об этом не рассказывать, он сказал: «Мы приведем осла в день представления в театр с какой-нибудь осужденной женщиной, и пусть он на глазах всех овладеет ею». Они ввели ко мне женщину, которая была осуждена на растерзание зверями, и приказали ей подойти ко мне и погладить меня.

53. Наконец, когда настал день, в который господин мой должен был дать городу свой праздник, решили меня привести в театр. Я вошел таким образом: было устроено большое ложе, украшенное индийской черепахой и отделанное золотом; меня уложили на нем и рядом со мной приказали лечь женщине. Потом в таком положении нас поставили на какое-то приспособление и вкатили в театр, поместив на самую сере-

дину, а зрители громко закричали, и шум всех ладошей дошел до меня. Перед нами расположили стол, установленный всем, что бывает у людей на роскошных пирах. При нас состояли красивые рабы-виночерпии и подавали нам вино в золотых сосудах. Мой надзиратель, стоя сзади, приказывал мне обедать, но мне стыдно было лежать в театре и страшно, как бы не высочил откуда-нибудь медведь или лев.

54. Между тем проходит кто-то мимо с цветами, и среди прочих цветов я вижу листья свежесорванных роз. Не медля долго, соскочив с ложа, я бросаюсь вперед. Все думают, что я встал, чтобы танцевать, но я перебегаю от одних цветов к другим и обрываю и поедаю розы. Они еще удивляются моему поведению, а уж с меня спала личина скотины и совсем пропала, и вот нет больше прежнего осла, а перед ними стоит голый Лукий, бывший внутри осла. Пораженные таким чудесным и неожиданным зрелищем, все подняли страшный шум, и театр разделился на две стороны. Одни думали, что я — чудовище, умеющее принимать различные виды и знающее ужасные чары, и хотели меня тут же сжечь на огне; другие же говорили, что нужно обождать сначала моей речи и расследования, а потом уже судить об этом. А я побежал к управляющему округом, который оказался на этом представлении, и рассказал ему с самого начала, как фессалийская женщина, рабыня фессалиянки, превратила меня в осла, смазав магическим снадобьем, и просил его взять меня и держать под стражей, пока он не убедится, что я не лгу, что все так случилось.

«Скажи нам, — говорит архонт, — имена — твое и родителей и родственников твоих, если, по твоим словам, у тебя есть близкие по роду, и существует твой город». — «Отца моего зовут¹, а меня Лукий, — сказал я, — брата моего — Гай. Остальные два имени у нас у обоих общие. Я составитель историй и других сочинений, а он элегический поэт и хороший прорицатель. Родина наша — Патры в Ахее». Услышав это, правитель сказал: «Ты сын моих друзей, связанных со мной обетом гостеприимства, которые меня принимали в своем доме и почтили меня дарами, и я уверен, что ты ничего не солгал, раз ты их сын». И, соскочив с своей двуколки, он обнял меня и поцеловал много раз и повел меня к себе домой. Между тем прибыл и мой брат

¹ В данном месте текста пропуск. — *Примеч. ред.*

и привез мне денег и все прочее. Тогда архонт освободил меня всенародно, так что все слышали. Пройдя к морю, мы нашли корабль и погрузили вещи.

55. Я решил, что с моей стороны самое лучшее пойти к женщине, которая была влюблена в меня, когда я был ослом, полагая, что теперь, став человеком, я ей покажусь еще красивее. Она приняла меня с радостью, очарованная, по-видимому, необычайностью приключения, и просила поужинать и провести ночь с ней. Я согласился, считая достойным порицания после того, как был любим в виде осла, отвергать ее и пренебречь любовницей теперь, когда я стал человеком.

Я поужинал с ней и сильно натерся миррой и увенчал себя милыми розами, спасшими меня и вернувшими к человеческому образу. Уже глубокой ночью, когда нужно было ложиться спать, я поднимаюсь из-за стола, с гордостью раздеваюсь и стою нагой, надеясь быть еще более привлекательным по сравнению с ослом. Но, как только она увидела, что я во всех отношениях стал человеком, она с презрением плюнула на меня и сказала: «Прочь от меня и из дома моего! Убирайся спать подальше!» — «В чем я так провинился перед тобой?» — спросил я. «Клянусь Зевсом, — сказала она, — я любила не тебя, а осла твоего, и с ним, а не с тобой проводила ночи; я думала, что ты сумел спасти и сохранить единственно приятный для меня и великий признак осла. А ты пришел ко мне, превратясь из этого прекрасного и полезного существа в обезьяну!» И тотчас она позвала рабов и приказала им вытащить меня из дома на своих спинах. Так, изгнанный, обнаженный, украшенный цветами и надушенный, я лег спать перед домом ее, обняв голую землю. С рассветом я голым прибежал на корабль и рассказал брату мое смехотворное приключение. Потом, так как со стороны города подул попутный ветер, мы немедленно отплыли, и через несколько дней я прибыл в родной город. Здесь я принес жертвоприношение богам-спасителям и отдал в храм приношения за то, что спасся не «из-под собачьего хвоста», как говорится, а из шкуры осла, попав в нее из-за чрезмерного любопытства, и вернулся домой спустя долгое время и с таким трудом.





О ПЛЯСКЕ

1. **Л и к и н.** Однако, Кратон, тяжелое же ты выставил обвинение, давно, видимо, к нему подготовившись, против пляски и заодно против нас, находящих радость в подобном зрелище! Выходит, что мы — как будто дурному и женскому делу отдаемся. Поэтому — послушай, как сильно ты уклонился от истины и как, сам того не заметив, направил свои обвинения против величайшего из жизненных благ. Единственное твое извинение, что ты с начала своего существования жил грустной жизнью, в одних только лишениях находишь благо и, не испытав того, о чем говоришь, признал его достойным порицания.

2. **К р а т о н.** Неужели, Ликин, друг любезный, настоящий мужчина, к тому же не чуждый образования и к философии в известной мере причастный, способен оставить стремление к лучшему и свое общение

с древними мудрецами и, наоборот, находить удовольствие, слушая игры на флейте и любуясь на изнеженного человека, который выставляет себя в тонких одеждах и тешится распутными песнями, изображая влюбленных бабенок, самых, что ни на есть, в древние времена блудливых — разных Федр, Партенон и Родоп, — сопровождая свои действия звучанием струн и напевами, отбивая ногою размер? Разве это действие не смехотворное развлечение и не менее всего приличествующее человеку свободного происхождения и подобному тебе? Поэтому, когда я узнал, что ты тратишь время на подобные зрелища, мне стало не только стыдно за тебя, но и обидно: как, забыв Платона, Хризиппа и Аристотеля, ты проводишь время, предаваясь занятию, напоминающему щекотанье перышком в ухе? А между тем для слуха, и для зрения найдется многое множество других, достойных развлечений, — раз ты в них нуждаешься: хоровод флейтистов или размеренное пение с сопровождением кифары, а в особенности величавая трагедия и живая веселая комедия — словом, все то, что удостоилось быть содержанием общественных состязаний.

3. Итак, мой милый, тебе придется усиленно защищаться перед людьми образованными, если ты не хочешь быть совершенно исключенным и изгнанным из круга добродетельных людей. Впрочем, лучше всего для тебя будет, я полагаю, исцелиться с помощью полного отречения от этих забав и признаться с самого начала, что ты никогда не был повинен в чем-нибудь подобном. А на будущее время будь осторожен, чтобы не сделаться незаметно для нас из недавнего мужчины какой-нибудь Лидой-флейтисткой или вакханкой. Правда, это будет столько же твоя вина, как и наша, если мы не сумеем оторвать тебя, как Одиссея, от лотоса забвения и возвратить к обычным занятиям раньше, чем театральные сирены незаметно не овладели тобой окончательно. Впрочем, те гомеровские обольстительницы злоумышляли только против ушей пловца, почему плывший мимо них нуждался в воске, а ты, видно, попал в полное рабство благодаря еще и глазам.

4. Л и к и н. Ай-ай-ай, Кратон! Ну, и зубастую же ты спустил на меня собаку, вашу, киническую! И все-таки пример, приведенный тобою, сравнение с лотофагами и сиренами, по-моему, несколько не подходит к моему положению. Ведь те, кто вкусил лотоса и слышал си-

рен, гибелью платились за угощение и слушанье, а для меня помимо того, что само удовольствие мне досталось куда более сладостное, еще и конец оказывается благополучным: со мною не случается, чтобы я домашних забывал и себя не помнил! Напротив, скажу без малейшего колебания — всякий раз я возвращаюсь из театра гораздо более умудренным и проницательным в делах житейских. Весьма уместно сказать словами Гомера, что видевший подобное зрелище

...далее плывет, насладившись и ставши мудрее.

Кратон. О! Геракл! Как тяжело твое состояние, Ликин, если ты не только не стыдишься, но даже как будто гордишься им. Ведь во всем этом самое ужасное то, что ты не подаешь нам никакой малейшей надежды на исцеление, отваживаясь восхвалять столь позорные и отвратительные развлечения.

Ликин. Скажи мне, Кратон: ты так неодобрительно отзываешься о пляске и театральных представлениях потому, что сам неоднократно на них присутствовал, или, не испытав подобного зрелища, все же считаешь его позорным и отвратительным, по собственному твоему выражению? Ведь если ты сам видел, значит, и ты находишься в одинаковом с нами положении; в противном же случае — смотри, как бы не оказалось безрассудным твое осуждение и дерзким, ибо ты порицаешь то, чего не знаешь.

Кратон. Только этого еще доставало. Чтобы я с моей длинной бородой и седой головой уселся среди всех этих бабенок и обезумевших зрителей и стал вдобавок в ладоши бить и выкрикивать самые неподобающие похвалы какому-то негоднику, ломающемуся без всякой надобности!

Ликин. Ты заслуживаешь снисхождения, Кратон! Но если ты когда-нибудь меня послушаешься и, так сказать, ради опыта предоставишь себя в мое распоряжение, пошире раскрыв глаза, — я уверен, ты впредь не успокоишься, пока не захватишь раньше других удобное место на представление, откуда будет хорошо видно и слышно все, до мельчайших подробностей.

Кратон. Не дожить мне до лета, если я когда-нибудь себе позволю что-нибудь подобное, пока у меня будут голени волосатые и борода не выщипана! До тех пор могу тебя лишь сожалеть, так как ты вконец у меня завакханствовал!

6. **Л и к и н.** Так вот что, дружище: не хочешь ли, прекратив свои порицания, послушать немного, что я тебе скажу о пляске и о том, какие красоты в ней заключаются? Скажу о том, что пляска не только услаждает, но также приносит пользу зрителям, хорошо их воспитывает, многому научает. Пляска вносит лад и меру в душу смотрящего, изоцряя взоры красивейшими зрелищами, увлекая слух прекраснейшими звуками и являя прекрасное единство душевной и телесной красоты. А если в союзе с музыкой и ритмом пляска всего этого достигает, то за это она заслуживает не порицания, а скорее хвалы.

К р а т о н. Ну, не очень-то у меня много досуга слушать, как обезумевший человек станет собственный недуг расхваливать. Но если уж так тебе хочется облить меня потоком разного пустословия, я готов взять на себя эту дружескую повинность и предоставить свои уши к твоим услугам, так как и без воску могу внимать зловредным речам. Итак, отныне я буду нем перед тобой, а ты говори все что угодно, как будто никто тебя не слушает.

7. **Л и к и н.** Прекрасно, Кратон! Этого-то мне больше всего и хотелось. Немного спустя ты сам увидишь, покажется ли пустяками то, что я намереваюсь сказать. Итак, прежде всего тебе, по-видимому, совершенно неизвестно, что пляска — это занятие не новое, не со вчерашнего и не с третьего дня начавшееся, — например, от времени наших пращуров или от их родителей, — нет: люди, сообщающие наидостовернейшие сведения о родословной пляски, смогут сказать тебе, что одновременно с происхождением первых начал вселенной возникла и пляска, появившаяся на свет вместе с ним, древним Эросом. А именно: хоровод звезд, сплетенье блуждающих светил с неподвижными, их стройное содружество и мерный лад движений суть проявления первородной пляски. После, мало-помалу, развиваясь непрерывно и совершенствуясь, пляска теперь, как кажется, достигла последних вершин и стала разнообразным и всегармоничным благом, сочетавшим в себе дары многих Муз.

8. Первой, говорят, Рея нашла усладу в искусстве пляски, повелев плясать во Фригии корибантам, а на Крите — куретам. Богиня не малую получила пользу от их искусства: они спасли Зевса, совершая вокруг него свою пляску, и сам Зевс, наверно, признает, что

он в долгу у куретов за сохранение жизни, так как только благодаря их пляске избежал он отцовских зубов. Это была вооруженная пляска: справляя ее, куреты ударяли с шумом мечами о щиты и скакали весьма воинственно, словно одержимые каким-то божеством. Впоследствии лучшие из критян, ревностно предавшись пляске, сделались отличными плясунами. При этом не только простые граждане, но и люди царственного происхождения почитали за честь быть первыми в пляске. Так и Гомер, желая Мериона прославить, а не опозорить, назвал его «плясуном». И, действительно, Мерион был настолько знаменит и всем известен в искусстве пляски, что не только эллины, но и сами троянцы, хотя они были ему врагами, знали об этом, ибо даже среди битвы, я полагаю, они могли видеть в движениях Мериона легкость и размеренность, приобретенные им в пляске. В таком приблизительно смысле и у Гомера говорится:

Быстро тебя, Мерион, хотя и плясун ты искусный,
Это копье укротило бы.

И все же говорящий это не укротил Мериона, так как последний, в пляске усвоивший ловкость, без труда, думается мне, уклонялся от направляемых в него копий.

9. Много и других героев я мог бы назвать, упражнявшихся в пляске и превративших это занятие в искусство, но достаточно будет, полагаю, упомянуть о Неоптолеме. Он был сыном Ахилла и в то же время весьма прославился как отличный плясун, обогативший свое искусство новым прекраснейшим видом пляски, который по его прозвищу «пиррихием» назван. И я уверен, что самому Ахиллу весть об изобретении его сына принесла больше радости, чем красота и мужество Неоптолема. Ведь в конце концов и непобедимый дотле Илион искусством этого плясуна был взят и сравнен с землею.

10. Лакедемоняне, славящиеся храбрейшими из эллинов, усвоили от Полидевка и Кастора особый вид пляски, которому можно обучаться в лаконском местечке Кариях,— он так и зовется «кариатидой». Во всех своих делах спартанцы прибегают к Музам вплоть до того, что даже воюют под звуки флейт, выступая мерно и с музыкою в лад. И к битве первый знак у спартанцев подается флейтой. Потому-то спар-

танцы и одержали над всеми верх, что музыка и стройная размеренность движений вели их в бой. И донныне можно видеть, что молодежь спартанская обучается пляске не меньше, чем искусству владеть оружием. В самом деле: закончив рукопашную, побив других и сами, в свой черед, побитые другими, юноши всякий раз завершают состязанье пляской. Флейтист усаживается в середине и начинает наигрывать, отбивая размер ногою, а юноши, друг за другом, по порядку, показывают свое искусство, выступая под музыку и принимая всевозможные положения: то воинственные, то спустя немного, просто плясовые, приятные Дионису и Афродите.

11. Поэтому и песнь, которую юноши поют во время пляски, содержит призыв к Афродите и эротам принять участие в веселии и с ними вместе поплясать. А другая песня,— их поется две,— дает наставление, как надлежит плясать. В них говорится: «Дальше ногу отставляйте, юноши, и выступайте дружной!» Другими словами: «лучше пляшите!» Подобным же образом поступают и пляшущие так называемое «ожерелье».

12. «Ожерелье» — это совместная пляска юношей и девушек, чередующихся в хороводе, который, действительно, напоминает ожерелье: ведет хоровод юноша, выполняющий сильные плясовые движения,— позднее они пригодятся ему на войне; за ним следует девушка, поучающая женский пол вести хоровод благопристойно, и таким образом как бы сплетается цепь из скромности и доблести. Равным образом есть у них в танце и обнажение молодых тел.

13. Что касается Ариадны и хоровода, искусно установленного для нее Дедалом, которому уподобляет Гомер изображение на щите Ахилла, то о них я говорить не буду, поскольку ты об этом читал; опущу я и двух плясунов, заправил хоровода, которых поэт в том же месте назвал «кувыркалы»; равно обойду я молчаньем и к тому же щиту относящийся стих:

Юноши в пляске кружились...—

картина, очевидно, своей красотой побудившая Гефеста изобразить ее на щите. Наконец, для феаков было весьма естественным тешиться пляской при их роскошной, всяческом благополучии преисполненной жизни. И, действительно, Гомер заставляет своего

Одиссея именно этому искусству феаков всего больше дивиться и следить с изумлением за «сверканием ног».

14. В Фессалии искусство пляски развивалось настолько успешно, что даже о своих вождях и передовых бойцах жители говорили будто о предводителях хоровода, так и называя их «коноводами». Это ясно видно из надписей на воздвигнутых отличившимся статуях. «Град избрал его,— гласит одна надпись,— своим коноводом». Другая: «Илатиону, хорошо сплывшему битву,— народ поставил его образ».

15. Не стану говорить о том, что не сыщется ни одного древнего таинства, чуждого пляски, так как Орфей и Музей, принадлежавшие к лучшим плясунам своего времени, учреждая свои таинства, конечно, и пляску, как нечто прекрасное, включили в свои уставы, предписав сопровождать посвящения размеренностью движений и пляской. В подтверждение этого,— поскольку о самих священнодействиях молчать подобает, памятуя о непосвященных,— я сошлюсь на всем известное выражение: когда кто-нибудь разглашает неизреченные тайны, люди говорят, что он «расплясал» их.

16. А на Делосе даже обычные жертвоприношения не обходились без пляски, но сопровождались ею и совершались под музыку. Собранные в хоровод отроки под звуки флейты и кифары мерно выступали по кругу, а самую пляску исполняли избранные из их числа лучшие плясуны. Поэтому и песни, написанные для этих хороводов, носили название «плясовых припевов», и вся лирическая поэзия полна ими.

17. Впрочем, что говорить об эллинах, когда даже индийцы, встав на заре, поклоняются Солнцу, но в то время, как мы, поцеловав собственную руку, считаем нашу молитву свершенной, индийцы поступают иначе: обратившись к востоку, они пляской приветствуют Солнце безмолвно, одними движениями своего тела подражая круговому шествию бога. Это — молитвы индийцев, их хороводы, их жертва; поэтому дважды в течение суток они таким образом умилоствуют бога: в начале и на закате дня.

18. А эфиопы — те, даже сражаясь, сопровождают свои действия пляской, и не выпустит эфиопский воин стрелы, с головы им снятой,— ибо собственной головой они пользуются вместо колчана, окружая ее стрелами наподобие лучей,— пока не пропляшет сначала, не

пригрозит неприятелю своим видом, не устрасит его предварительной пляской.

19. А теперь подобает нам, пройдя Индию и Эфиопию, спуститься нашим рассуждением в соседний Египет. Ведь и старинное сказание о египтянине Протее говорит, по-моему, лишь о том, что это был некий плясун, человек, искусный в подражании, умевший всячески изменять свой облик, так что и влажность воды он мог изобразить, и стремительность огня в неистовстве его движенья, и льва свирепость, и ярость барса, и трепетанье древесных листьев — словом, все что угодно. Но сказанье взяло природные способности Протея и превратило их в своем изложении в небылицу, будто Протей превращался в то, чему в действительности только подражал. А это последнее присуще плясунам и в наши дни: ведь всякий может видеть, с какою быстротой плясуны, применяясь к случаю, тотчас же меняются, следуя примеру самого Протея. Надо думать, что и в образе Эмпусы, изменявшей свой вид на тысячу ладов, преданье сохранило память о такой же плясуне — женщине.

20. Далее справедливость требует не забыть о римской пляске, которую благороднейшие из граждан, так называемые Салии — одно братство жрецов носит такое имя, — справляют воинственнейшему из богов — Арею; эта пляска почитается у римлян делом весьма почтенным и священным.

21. По вифинскому преданию, не слишком расходящемуся с италийским, воинственному божеству Приапу (по-видимому, один из Титанов или один из идейских дактилов, которые как раз занимались этим делом, то есть обучением военной пляске) Гера поручила своего Арея, тогда еще мальчика, но уже обнаруживавшего суровый нрав и мужественного непомерно. Приап обучил Арея владеть оружием, но не прежде, чем сделал из него законченного плясуна. И за это даже плата Приапу от Геры была положена: во все времена получать от Арея десятину с приходящейся на его долю военной добычи.

22. Что касается дионисических и вакхических празднеств, то, я думаю, тебе и без моего рассказа известно, что они сплошь состояли из пляски. Три главнейшие вида ее — кордак, сикинида и эммелия — были изображены тремя сатирами, слугами Диониса, и по их именам получили свои названия. При помощи это-

го искусства Дионис одолел тирренцев, индейцев и лидийцев, и все это столь воинственное племя оказалось очарованным пляской этих шумных дионисических содружеств.

23. А потому, странный ты человек, смотри, как бы не впасть тебе в нечестие, возводя обвинение на занятие, по происхождению своему божественное и к таинствам причастное, множеству богов любезное, в их честь творимое и доставляющее одновременно великую радость и полезную назидательность. Дивлюсь я тебе и потому еще, что ты, будучи знатоком Гомера и великим почитателем Гесиода,—я, как видишь, обращаюсь к поэтам,—ты вдруг дерзаешь им противоречить — им, которые восхваляют пляску преимущественно перед всем! Так, Гомер, перечисляя все, что есть на свете наиболее приятного и прекрасного — сон, любовь, пенье и пляску,—только последнюю назвал «безупречной». Мало того: видит Зевс, поэт подтверждает и сладостность пенья, а как раз то и другое присуще искусству, о котором мы говорим: и сладкозвучная песня и непорочная пляска, которую ты ныне задумал порочить. И повторно, в других местах своих поэм, Гомер говорит:

Боги одних наделили стремлением к подвигам бранным,
Даром пляски — других и даром песни желанной.

Да, поистине желанно пение, сопряженное с пляской, и это прекраснейший дар богов. И Гомер, по-видимому, разделив все дела людские на два разряда — войну и мир,—только одну пляску, как самое прекрасное, противопоставляет воинским подвигам.

24. И Гесиод, который не с чужих слов, а сам видел Муз, пляшущих вместе с появлением зари, в начале своей поэмы описывает, как величайшую похвалу богиням, как они

Вкруг голубого источника ножками нежными пляшут,
Вода хоровод кругом алтаря их родителя.

А ты, милейший, чуть не до богоборства доходишь, произнося хулы на искусство пляски.

25. Сам Сократ, мудрейший из людей, если верить словам Аполлона пифийского, не только отзывался с одобрением об искусстве пляски, но и достойным изучения его почитал, высоко ценя строгую размерен-

ность, изящество и стройность отдельных движений и благородную осанку движущегося человека. Несмотря на свои преклонные годы, Сократ не стыдился видеть в пляске одну из важнейших наук. И, видимо, Сократ собирался не мало потрудиться над пляской, так как он без колебания брался за изучение и маловажных предметов, ходил даже в школы флейтистов не раз и с Аспазией беседовал, не пренебрегая умным словом, хотя бы оно исходило от женщины, от гетеры. Между тем Сократ видел лишь начало искусства, еще не развившегося тогда до столь совершенной красоты. А если бы увидел Сократ тех, кто поднял пляску на огромную высоту, я уверен, он оставил бы все остальное, на одно это зрелище устремил свое внимание и признал, что детей прежде всего надо обучать именно пляске.

26. Когда ты восхваляешь комедию и трагедию, ты, мне кажется, забываешь, что каждой из них свойствен особый вид пляски: трагедии — строгая и соразмеренная эммелия, а комедии — необузданный кордак; иногда к ним присоединяется еще третий вид — вольная пляска сатира Сикинида. Но, поскольку ты с самого начала предпочел пляске трагедию, комедию, а равно хоровод флейтистов и пение певцов-лириков, назвав эти виды искусства достойными уважения, ибо они входят во всенародные игры, — давай сопоставим каждый из них с пляской. Впрочем, флейту и лиру мы, пожалуй, оставим в стороне, так как они тоже являются вспомогательными орудиями танцора.

27. Итак, обратимся к трагедии и по внешности ее исполнителей постараемся понять, что она собою представляет. Какое отвратительное и жуткое зрелище — человек, вытянутый в длину, взобравшийся на высокие каблуки, напяливший на себя личину, что подымается выше головы, с огромным раскрытым ртом, будто он проглотить собирается зрителей. Я уже не говорю о нагрудниках и набрюшниках, тех накладках, которыми актер придает себе искусственную полноту, чтобы худоба тела не слишком выдавала несообразность его роста. Затем актер начинает кричать из-под этой оболочки, то напрягая, то надламывая голос, а порою даже распевая свои ямбы. Но всего позорней, что, разливаясь в песне о страданиях героя, актер несет ответственность всего лишь за свой голос, так как об остальном без него позаботились поэты,

жившие давным-давно. Впрочем, пока пред ними какая-нибудь Андромаха или Гекуба, это пенье еще можно стерпеть, но когда выйдет сам Геракл и затынет в одиночку песню, себя не помня, не стыдясь ни львиной шкуры, что составляет его наряд, ни палицы, — тогда, конечно, всякий благомыслящий признает это ошибкой непростительной.

28. Далее, ты упрекал искусство пляски за то, что в нем мужчины изображают собою женщин. Но то же обвинение можно было бы поставить и трагедии и комедии, поскольку в них среди действующих лиц женщин даже больше, чем мужчин.

29. Комедия считает смешную сторону своих масок за главную часть доставляемого наслаждения: таковы маски каких-нибудь рабов — Давов плутов, Тибиев и шутников-поваров. Напротив, наружность танцора всегда нарядна и благопристойна; но об этом нет нужды распространяться: это ясно всем, кто не слеп. А как прекрасна сама маска! Как она подходит к разыгрываемому действию! И не зияет, как драматические, а плотно сжимает губы, ибо у танцора нет недостатка в тех, кто кричит вместо него.

30. Дело в том, что в старину одни и те же люди и пели, и плясали, но позднее, поскольку усиленное дыхание при движении сбивало песню, порешили, что будет лучше, если плясунам будут подпевать другие.

31. Что касается изображаемого содержания, то в обоих случаях они одни и те же, — пляска в этом смысле ничуть не отличается от трагедии, разве только тем, что она — разнообразней, гораздо богаче содержанием и допускает бесчисленные превращения.

32. Если ж пляска не включена во всенародные игрища, — этому причиной, я утверждаю, то, что судьи признали пляску делом слишком большим и важным, чтобы вызывать ее на испытания. Впрочем, я мог бы указать на самый лучший в Италии город халкидонского происхождения, который дополнил состязания, происходящие в нем, как неким украшеньем, именно пляской.

33. Ну, а теперь пора мне оправдаться перед собою в моих умышленных пропусках, притом весьма многочисленных, чтобы не прослыть мне невеждой или неучем. Мне, конечно, неизвестно, что многие, до меня писавшие о пляске, наибольшее внимание уделяли тому, чтобы разобрать все виды пляски и названия их

перечислить и указать, в чем состоит каждая из них и кем придумана; этим авторы надеялись дать доказательство своей многоучености. Я же прежде всего считаю подобное честолюбие безвкусицей, и мне этому учиться уже поздно, да и не ко времени оно мне, а потому я опускаю все это.

34. Далее, я прошу тебя иметь в виду и не забывать, что в мое намерение сейчас не входит выводить родословную пляски в целом. Я также не ставил себе задачей в своем сочинении перечислить названия разных плясок, кроме тех немногих, о которых упомянул вначале, наметив лишь самые крупные, родовые подразделения. Нет, в настоящем по крайней мере случае мое рассуждение стремится главным образом к тому, чтобы воздать хвалу нынешнему состоянию пляски и показать, сколько она в себе содержит и наслаждения и пользы, — развилась она до столь полной красоты не с самого начала, но преимущественно в правление Августа. Ибо первичные разновидности пляски были как бы ее корнями и основанием постройки, а цвет ее и совершенный плод, который как раз теперь и достиг особенно высокого развития, — об этом-то ныне я и веду речь; поэтому я опущу пляску вприсядку «клещей», танец «журавля» и другие виды пляски, как отнюдь не свойственные искусству наших дней. Так и всем известный фригийский вид, что пляшет на пирушках в опьянении во время попойки деревенщина, выделывая, часто под дудку женщины, порывистые, тяжелые прыжки, — и эту разновидность, донныне еще преобладающую в деревнях, я пропустил не по незнанию, а потому, что она ничего не имеет общего с совершенным танцем. Ведь и Платон в своих «Законах» одни виды пляски одобряет, о других говорит с большим презрением, различая одни, служащие для увеселения, другие — для пользы, отвергая все непристойные, о других же отзываясь с уважением и даже с восхищением.

35. Вот и все — о самой пляске, так как удлинять речь введением всяческих подробностей может лишь невежда. А теперь я расскажу тебе о самом плясуне: какими качествами он должен обладать, какие упражнения ему надлежит проделывать, что надо знать и как овладеть своим искусством. Искусство это — ты сам убедишься — не из легких и быстро преодолимых, но требует подъема на высочайшие ступени всех наук:

не одной только музыки, но и ритмики, геометрии и особенно излюбленной твоей философии, как естественной, так и нравственной,—только диалектику ее пляска признает для себя занятием праздным и неуместным. Пляска и риторики не сторонится; напротив, и ей она причастна, поскольку она стремится к той же цели, что и ораторы: показать людские нравы и страсти. Не чужды пляске также живопись и ваяние, и с нескрываемым усердием подражает она стройной соразмерности произведений, так что ни сам Фидий, ни Апеллес не оказываются стоящими выше искусства танца.

36. Но прежде всего плясуну предстоит снискать себе милость Мнемозины и дочери ее Полимнии и постараться обо всем помнить, ибо, по примеру гомеровского Калханта, плясун должен знать

...все, что есть и что будет и было доселе,—

чтобы ничто не ускользало из его памяти, но всегда находилось у него наготове. Главная задача плясуна в том и состоит, чтобы овладеть своеобразной наукой подражания, изображения, выражения мыслей, умения сделать ясным даже сокровенное. То, что говорит Фукидид в отношении Перикла, превознося этого выдающегося человека, могло бы и для плясуна быть наивысшей похвалой: «Он знал все, что нужно, и умел истолковать это». В нашем случае под «истолкованием» я разумею выразительность отдельных фигур.

37. По сути дела, повторяю, пляска в целом есть не что иное, как история далекого прошлого, которое актеру надлежит всегда иметь наготове в своей памяти и уметь изобразить приличествующим образом: он должен знать все, начиная с самого хаоса и возникновения первооснов вселенной, вплоть до времен Клеопатры Египетской. Таким промежутком времени надлежит ограничить у нас многосторонние знания плясуна. В особенности внутри отведенного ему времени должны быть известны в совершенстве оскотление Урана, появление на свет Афродиты, битва с Титанами, рождение Зевса, обман Реи, подкладывание камня, заключение в узы Крона, раздел мира по жребию между тремя братьями.

38. Далее чередой идут: восстание Гигантов, кража огня, лепка из глины людей, наказание Прометея, силы двух Эротов, а после: блуждание Делоса и муки

Латоны рожающей, уничтожение Пифона, покушение Тития и обнаружение середины земли путем слета двух орлов.

39. Затем — Девкалион и происшедшее при нем великое крушение жизни в волнах потопа, одинокий ковчег, сохранивший остатки человеческого рода, и новое возникновение людей из камней; потом — растерзание Иакха, коварство Геры, сожжение Семелы, двойное рождение Диониса, все предания про Афину, про Гефеста и Эрихтония, спор об Аттике и Галирротий, и первый суд на холме Арея — словом, все целиком аттическое баснословие.

40. Особенно блуждание Деметры и обретение Коры, гостеприимство Келея, земледелие Триптолема, виноградарство Икария, несчастье Эригоны и все предания о Борее, все предания об Орифии, Тезее и Эгее. Кроме того — прием Медеи Эгеем, новое бегство ее к персам, дочери Эрехтея и дочери Пандиона, их страдания и деяния во Фракии. Потом Акамант и Филлида, первое похищение Елены, поход Диоскуров против Афин, страдания Ипполита и возвращение гераклидов в Пелопоннес, — ибо и эти сказания с полным правом можно считать аттическими. Таковы те весьма немногие из афинских преданий, которые я привожу здесь в качестве примера, опустив множество других.

41. По порядку следует Мегара — Нис и дочь Скилла, красный волосок Ниса, плавание Миноса и неблагодарность его к своей спасительнице. За Мегарой — Киферон, бедствия фиванцев и лабдакидов, прибытие Кадма на чужбину, отдых коровы, зубы дракона, рождение из почвы спартов-сеянцев, превращение Кадма, в свою очередь, в змея, постройка стен под звуки лиры и безумие стеностроителя, надменность его жены Ниобеи, ее безмолвие, скорби, судьба Пенфея и Актеона, история Эдипа и Геракла со всеми его подвигами и убийство им своих детей.

42. Дальше — Коринф, тоже полный сказаний. Тут и Главка с Креонтом, а до них еще Беллерофонт и Сфенобея, борьба Солнца с Посейдоном, а за нею — безумие Афаманта, бегство детей Нефелы по воздуху на златорунном баране и прием Ино и Меликерта морской пучиной.

43. Вслед за этим пойдут деяния Пелопидов: Микены и все, что случилось в них и раньше их. Это — Инах, Ио и стерегущий ее Аргус, Атрей, Фиест

и Аэропа, золотое руно, брак Пелопеи, убийство Агамемнона и наказание Клитемнестры, а еще до этих событий — поход семи вождей, прием Адрастом изгнанников зятьев и предсказание о них оракула, лишение погребения павших и вызванная этим гибель Антигоны и Менекея.

44. Также о происшествиях в Немее, об Ипсипиле и Археморе всенепременно должен помнить танцор. Да и случившееся раньше он обязан знать: девство Данаи и рождение от нее Персея и предназначенное ему на долю состязание с Горгонами. С Персеем же тесно связаны и эфиопские сказания о Кассиопее, Андромеде и Кефее, тех самых, что позднейшие верования сопричислили к созвездьям. Надо будет знать и древнюю повесть про Египет и Даная и про злодейский умысел первой брачной ночи.

45. Не мало таких сказаний представляет и Лакедемон: Гиакинф, соперник Аполлона — Зефир, убийство отрока ударом диска, о цветке, из крови выросшем, жалобные знаки на нем по этому поводу, воскрешение Тиндарея и гнев Зевса на Асклепия. И дальше: радушный прием Париса и похищение Елены после разрешения спора о яблоке.

46. Надо сказать, что со спартанской историей тесно связана также история Илиона; история, богатая событиями и действующими лицами; и, конечно, каждый павший под Троей даст содержание для представления на сцене. Необходимо все это постоянно держать в памяти, в особенности же события начиная с самого похищения Елены и вплоть до совершившихся при возвращении героев из-под Трои, а равно и скитания Энея и любовь Дидоны. Не чужды этим и те события, что разыгрались вокруг Ореста, включая и отважные деяния героя в Скифии. И более ранние сказания не вносят разногласицы, но тоже родственны илионским: Ахилл в девичьем платье на Скиросе, мнимое безумие Одиссея, уединение Филоктета, все вообще скитания Одиссея, Кирка, Телегон, власть над ветрами Эола и остальные похождения вплоть до наказания женихов. А из случившегося ранее — заговор против Паламеда, гнев Навплия, безумие Аянта, гибель второго Аянта у скал Евбеи.

47. Не мало и в Элиде найдется такого, от чего может отправляться тот, кто ищет содержания для пля-

ски: Эномай, Миртилл, Крон, Зевс, первые борцы на олимпийских состязаниях.

48. Много преданий и с Ариадной связано: бегство Дафны, превращенье Каллисто в зверя, кентавров пьяное бесчинство, рождение Пана, влюбленность Алфея и его подводный бег.

49. Перенесемся мысленно на Крит,— и здесь искусство пляски соберет себе богатую добычу: Европу, Пасифаю, двух быков, Лабиринт, Ариадну, Федру, Андрогее, Дедала, Икара, Главка, Полиида дар прорицателя и Тала, медного сторожа, обходившего Крит.

50. Перейдем в Этолию,— и от нее пляска получит многое: Алфею, Мелеагра, Аталанту, тлеющую голову и реки с Гераклом борьбу, и рождение Сирен, и появление на море Эхинадских островов, ставших жилищем Алкмеона после безумия; наконец, кентавра Несса и ревность Деяниры, а за нею — костер на Эте.

51. И Фракия имеет много такого, что должно быть известно всякому, кто посвящает себя пляске: Орфей и растерзание его на части, говорящая голова его, плывущая на лире; Гем, Родопа, наказание Ликурга.

52. Еще больше дает Фессалия: Пелия, Язона, Алкестиду, поход пятидесяти юношей, Арго и говорящий его киль.

53. А на Лемносе — Эет, сон Медеи, растерзание Апсирта, события в пути, а после — Протесилай и Лаодамия.

54. Переправимся снова в Азию, и здесь также много подходящего для сцены: сразу перед нами — Самос, горестная участь Поликрата, скитания его дочери вплоть до страны персов и преданья еще того древней: болтливость Тантала, угощение за его столом богов, разрубание на куски Пелопса и его плечо из слоновой кости.

55. В Италии — Эридан и Фаэтон и сестры-тополя, скорбящие и источающие янтарные слезы.

56. Придется знать нашему танцору и Гесперид, дракона, сторожившего золотые плоды, бремя Атланта, Гериона и угнанных из Эрифии быков.

57. Не останутся неизвестными ему и все рассказы о превращениях людей, изменивших человеческий облик в древесный, звериный или птичий, о женщинах, ставших мужчинами,— я разумею Кенея, Тиресия и им подобных.

58. А в Финикии танцор узнает Мирру и знаменитый плач ассирийцев по Адонисе, сменяемый веселым, а равно и позднейшие события: все то, на что отважились уже при македонском владычестве Антипатр и Селевк из-за любви к Стратонике.

59. По существу таинственные сказания египтян танцор также должен знать, но толковать их в пляске иносказательно, — я разумею Эпафа и Озириса и превращения богов в животных. Но прежде всего любовные похождения их, в том числе и самого Зевса, все многочисленные образы, которые он принимал.

60. Наконец, пусть не останутся танцору неизвестными все мрачные картины подземного царства, все наказания и вины каждого из осужденных, а равно и дружба Тезея с Перифоем, не остановившаяся даже перед сошествием в Аид.

61. Короче говоря, танцору необходимо знать все, о чем повествуют Гомер и Гесиод и лучшие из остальных поэтов, в особенности — трагики. Итак, вот то весьма немногое, что я на выбор взял из огромного — лучше сказать, бесконечного — количества преданий. Я перечислил лишь главнейшие, опустив остальные: пусть воспевают их поэты и изображают пляской сами танцоры. А ты постарайся сам отыскать их по сходству с уже указанными мною. Все это должно быть у танцора всегда под руками, наготове для каждого случая, как бы хранящееся про запас.

62. Но поскольку искусство танцора — подражательное, поскольку он обязуется движениями изобразить содержание песни, — танцор должен подобно ораторам упражняться, добываясь наибольшей ясности, чтобы все, им изображаемое, было понятным, не требуя никакого толкователя. Зритель, видящий пляску, как сказал однажды пифийский оракул:

Должен немного понять и слушать хранящих молчанье.

63. Как раз это и случилось, говорят, с киником Димитрием. И он тоже подобно тебе порицал искусство пляски, утверждая, что танцор является всего лишь каким-то придатком к флейте, свирелям и отбиванию такта, не внося от себя ничего в развитие действия. Танцор-де движется, но движения эти — совершенно нелепы и бессодержательны, в них нет никакого смысла, а зрителей одурачивает лишь оправа представления: шелковые наряды, красивая маска, флейта, ее пе-

реливы и стройное пение хора — все то, чем украшается игра актера, сама по себе полное ничтожество. Случилось это во времена Нерона. И вот один пользовавшийся тогда известностью танцор, человек, как говорят, весьма неглупый, лучше чем кто-нибудь знавший историю и отличавшийся красотой движений, обратился к Димитрию с разумнейшею, на мой взгляд, просьбой: посмотреть сначала на его пляску, а потом уже бранить его, и обещал при этом показать свое искусство без сопровождения флейты и пения. Так он и сделал. Приказав молчать отбивавшим размер флейтистам и даже хору, танцор сам, одною лишь пляской, изобразил противозаконную любовь Афродиты и Арея, донос Гелиоса, коварство Гефеста, кующего сеть и набрасывающего ее на обоих, на Афродиту и на Арея, представив богов, стоящих тут же, в отдельности каждого, охваченную стыдом Афродиту и смущенные мольбы Арея — словом, все, что составляет содержание этого приключения. После этого Димитрий, сверх меры восхищенный виденным, выразил танцору величайшее свое одобрение, воскликнув громким голосом: «Удивительный ты человек! Я слышу, что ты делаешь, а не только вижу! Мне кажется: самые руки твои говорят!»

64. А теперь, поскольку мы уже заговорили о временах Нерона, я хочу рассказать тебе про случай с человеком не эллинского происхождения, имевший отношение к тому же самому танцовщику. Происшествие это может послужить к величайшей славе этого искусства. Один из живущих в Понте варваров, человек царской крови, посетил по каким-то делам Нерона и наряду с другими зрелищами увидел также этого актера, плясавшего столь выразительно, что иноземец, хотя и не разбирал слов хора, — ведь он был греком лишь наполовину, — однако всё понял. И вот, когда, уже собираясь обратно на родину, он прощался с Нероном и тот предложил гостю просить, что он хочет, обещая исполнить просьбу, иноземец сказал: «Танцора этого мне подари, и тем доставишь мне величайшую радость». Нерон спросил: «Да на что же он тебе будет нужен?» — «Соседи у меня есть, — отвечал чужестранец, — варвары, на другом языке говорящие, и переводчиков для них достать не легко. Так вот, если мне что-нибудь понадобится, этот плясун все им растолкует знаками». Вот сколь сильное впечатление произве-

ла на чужестранца игра танцора, сколь выразительной и понятной она ему показалась.

65. Эта игра, как я сказал, составляет основное содержание пляски, является ее целью, и это роднит ее с искусством ораторов, в особенности выступающих с так называемыми декламациями. Ибо ораторы, пользующиеся наибольшим успехом, бывают обязаны им правдоподобной передачей изображенных лиц. Оратор добивается того, чтобы слова его не расходились с образами выводимых им вельмож, тираноубийц, бедняков или поселян, и стремится, чтобы в каждом из них выступали на вид своеобразные, именно ему свойственные черты.

66. Мне хочется привести тебе слова, сказанные по этому же поводу еще другим человеком не греческой крови. Увидавши пять масок, приготовленных для танцора, — из стольких частей состояло представление, — и видя только одного актера, чужестранец стал расспрашивать: кто же будет плясать и играть остальных действующих лиц? Когда же узнал, что один и тот же танцор будет играть и плясать всех, он сказал: «Я и не знал, приятель, что, имея одно это тело, ты обладаешь множеством душ».

67. Так сказал иноземец. Не без оснований и жители Италии именуют танцоров «пантомимами», то есть «всеподрожателями»; это название передает довольно точно то, что танцоры делают. Помнишь прекрасный совет поэта юноше: «Повадку, мой мальчик, усвоив зверя морского, полипа, в скалах живущего, со всеми городами общайся». Вот то же необходимо делать танцору: нужно срастаться со своей ролью и вживаться в каждое из изображаемых лиц. Вообще пляска обязуется показать и изобразить нам нравы и страсти людские, выводя на сцену то человека влюбленного, то разгневанного; один раз изображая безумного, другой — огорченного; и все это — с соблюдением должной меры. Кажется почти невероятным, что в один и тот же день актер, только что бывший безумным Афамантом, сейчас же предстает нам как робкая Ино; он и Атрей и, немного спустя, Фиест, а потом — Эгисф или Аэропа. И все это — один и тот же человек!

68. Ведь во всех остальных случаях зритель или слушатель находится под воздействием лишь чего-нибудь одного: например — флейты или кифары, или напева, выводимого голосом, или высокой игры трагиче-

ского актера, или забавных выходок комика, — танцор же все это в себе соединяет, и каждый может видеть собственными глазами, сколь разнообразно и сложно обставлено его представление: тут и флейта, и свирель, и отбивание размера ногами, и звон кимвала, и звучный голос актера, и стройное пение хора.

Далее, в прочих зрелищах проявляется лишь одна сторона человеческой природы: либо его душевные, либо телесные способности. В пляске же неразрывно связано то и другое: ее действие обнаруживает и ум танцора и напряженность его телесных упражнений. И что самое важное, в пляске каждое движение преисполнено мудрости, и нет ни одного бессмысленного поступка. Поэтому митиленец Лесбонакт, достойный во всех отношениях человек, прозвал танцоров «мудрорукими». Он посещал их представления, чтобы вернуться из театра, сделавшись лучше. А Тимократ, учитель Лесбонакта, попав как-то раз случайно на представление и увидев танцора, показывавшего свое искусство, сказал: «Какого зрелища лишился я из почтения к философии!»

70. И если истинно то, что говорит о душе человека Платон, то в танцоре прекрасно видны три составных ее части: гневная, когда он показывает нам человека рассерженного, страстная, когда изображает влюбленных, и — разумная, когда танцор налагает узду на каждое из душевных движений. Эта сдержанность навсёз проникает всю пляску, как осязание — все остальные ощущения. Уделяя особое внимание красоте и благообразию пляски, разве тем самым не заявляет танцор о правоте Аристотеля, восхваляющего красоту и считающего, что она тоже входит в состав добра, как одна из трех частей его? Я слышал даже, как один человек, в мальчишеском увлечении, толковал и самое безмолвие масок, употребляемых в пляске, как некоторый намек на учение Пифагора.

71. Далее, в то время как все прочие занятия сулят либо наслаждение, либо пользу, только одна пляска охватывает и то и другое. И, разумеется, польза, ею приносимая, оказывается тем значительнее, что она сопряжена с удовольствием. В самом деле, насколько приятнее смотреть на пляску, чем на юношей, состояющихся в кулачном бою и обливающихся кровью или на борющихся и катающихся в пыли. Пляска же часто изображает то же самое, только с большей безопасно-

стью и, вместе, с большей красотой и приятностью. И, конечно, напряженные движения танцора, его повороты, круговращение, прыжки, откидывание тела доставляют наслаждение другим, смотрящим на танцора, и для него самого оказываются чрезвычайно здоровым занятием: я по крайней мере склонен считать пляску прекраснейшим из упражнений и притом превосходно ритмизованным. Сообщая телу мягкость, гибкость, легкость, проворство и разнообразие движений, пляска в то же время дает ему и немалую силу.

72. Не оказывается ли таким образом пляска чем-то исполненным высшего лада, раз она изощряет душу, развивает тело, услаждает зрителей, обогащает их знанием старины,— все это под звуки флейт и кимвалов, под мерное пение хора, чаруя и зрение и слух? Итак, ищешь ли ты стройного сочетания человеческого голоса с другими,— где ты найдешь это, как не здесь? Где услышишь пение более многоголосное и мелодичное? Или хочешь флейт и свирелей более звонких,— вдоволь и этим сможешь усладить себя в пляске. Я не говорю уж о том, что и нравственно ты станешь лучше, общаясь с подобным зрелищем, когда увидишь, что театр ненавидит дурные деяния, оплакивает обиженных и вообще воспитывает зрителей и улучшает их нравы.

73. А теперь, говоря о том, за что танцор заслуживает величайшей похвалы, скажу так: заботиться одновременно и равно усердно как о силе частей своего тела, так и о мягкости и гибкости их — это, по моему, столь же удивительно, как если бы человек изобразил вместе и мощь Геракла и изнеженность Афродиты!

74. Продолжая далее мое слово, я намерен показать тебе, каким должен быть совершенный танцор по своим душевным и телесным качествам. Впрочем, о душевных я уже почти все сказал: я утверждаю, что танцор должен обладать хорошей памятью, быть даровитым, сметливым, остроумным и особенно метким в каждом отдельном случае. Кроме того, танцору необходимо иметь свое суждение о поэмах и песнях, уметь отобрать наилучшие напевы и отвергнуть сложенные плохо.

75. Что же касается тела, то, мне кажется, танцор должен отвечать строгим правилам Поликлета: не быть ни чересчур высоким и неумеренно длинным, ни

малорослым, как карлик, но безукоризненно соразмерным; ни толстым, иначе игра его будет неубедительна, ни чрезмерно худым, чтобы не походить на скелет и не производить мертвенного впечатления.

76. Мне хочется привести тебе кое-какие возгласы из толпы зрителей, умеющей весьма неплохо разбираться во всем этом. Так, антиохийцы, славящиеся своим остроумием и высоко чтущие пляску, тщательно следят за всем, что говорится и делается на сцене, и ни для кого из них ничего не пройдет незамеченным. Однажды выступил малорослый актер и стал танцевать Гектора, но тотчас же все в один голос закричали: «Это Астианакт, а где же Гектор?» В другой раз случилось, что чрезмерно долговязый танцор вздумал плясать Капанея и братъ приступом стены фиванцев. «Шагай через стену, — воскликнули зрители, — не нужна тебе вовсе лестница!» Тучному толстяку, пытавшемуся высоко подпрыгивать, зрители заявили: «Осторожней, пожалуйста! Не провали подмостков!» Чересчур худощавого, напротив, встретили, будто больного, криками: «Поправляйся скорее!» Обо всем этом я вспомнил не ради смеха, но желая показать тебе, что даже целые города оказывают чрезвычайное внимание пляске, будучи в состоянии взвесить достоинства ее и недостатки.

77. Далее, пусть наш танцор будет проворен и ловок во всяких движениях и умеет как ослаблять, так и напрягать мышцы тела, чтобы оно могло изгибаться при случае и стоять твердо, если это понадобится.

78. Не чужды пляске и движения рук, что применяется при борьбе. Напротив, в борьбе есть красота, которая отличает таких мастеров, как Гермес, Полидевк и Геракл. В этом ты сам убедишься на любом из танцоров, изображающих их, если посмотришь внимательно. Геродоту кажется более достоверным то, что мы видим, а не то, что слышим. А пляске свойственны впечатления для слуха и зрения.

79. Пляска обладает такими чарами, что человек, пришедший в театр влюбленным, выходит образумившимся, увидев, как часто любовь кончается бедой. Одержимый печалью возвращается из театра смотря светлее, будто он выпил какое-то дающее забвенье лекарство, «боли врачующее и желчь унимающее», по

слову поэта. Доказательством того, что происходящее на сцене нам близко и понятно каждому из смотрящих на представление, служат те слезы, которые нередко проливаются зрителями, когда им показывают что-нибудь жалостное и трогательное. Вакхическая пляска, особенно процветающая в Ионии и в Понте, несмотря на свой шуточный характер, до такой степени покорила тамошних жителей, что в установленный срок они поголовно, забыв все другие дела, сидят в театре целыми днями и смотрят на титанов, корибантов, сатиров и пастухов. Мало того: исполняют эти пляски в каждом городе самые знатные люди, занимающие первенствующее положение. Они не только не стыдятся этого занятия, но, напротив, даже гордятся им больше, чем благородством своего происхождения, почетными обязанностями и заслугами предков.

80. Но, поскольку я сказал тебе, в чем добродетель танцора, послушай теперь об его недостатках. Телесные я тебе уже показал, а те, что коренятся в его душевных свойствах, ты, я думаю, сейчас сумеешь подметить. Дело в том, что многие из наших актеров по своему невежеству — неосуществимо, чтобы все были людьми учеными — ошибки грубые в пляске обнаруживают. Одни совершают нелепые движения, совсем, как говорится, не под струну, так что ноги их говорят одно, а ритм музыки — другое. Другие соблюдают хорошо размер, но путают изображаемые события, представляя то позднейшее, то случившееся раньше. Помню, я видел однажды такой случай: один актер, плясавший рождение Зевса и пожирание Кроном своих детей, по ошибке сплясал несчастье Фиеста, сбитый сходством обоих происшествий. А другой, представляя Семелу, поражаемую перуном Зевса, сделал ее похожей на Главку, которая жила гораздо позже. Однако за таких неудачных танцоров не следует, я думаю, осуждать самое искусство пляски. Нет, их надлежит считать тем, что они есть, невеждами — и всячески поощрять тех, чье исполнение отвечает в достаточной мере всем правилам искусства и ритму музыки.

81. Теперь подведу итоги. Танцору надлежит быть во всех отношениях безукоризненным: то есть каждое его движение должно быть строго ритмично, красиво, размеренно, согласно с самим собой, неуязвимо для

клеветы, безусловно, вполне закончено, составлено из наилучших качеств, остро по замыслу, глубоко по знанию прошлого, а главное — человечно по выражаемому чувству. Ибо актер лишь тогда заслужит полное одобрение зрителей, когда каждый смотрящий игру узнает в ней нечто, им самим пережитое; сказать точнее — как в зеркале увидит в танцоре самого себя, со всеми своими страданиями и привычными поступками. Вот тогда люди от восхищения оказываются не в силах сдержаться, но все без исключений начинают рассыпаться в похвалах, ибо каждый видит образ своей собственной души и узнает самого себя. Говоря проще, это зрелище осуществляет для собравшихся знаменитое дельфийское предписание: «Познай самого себя». Тогда зрители уходят из театра, поняв, на чем надлежит им остановить свой выбор и чего, напротив, избегать; уходят, научившись тому, чего раньше не знали.

82. Случается и танцору, как и оратору, что называется «переусердствовать», когда он в своей игре теряет чувство меры и обнаруживает совершенно излишнюю напряженность: если нужно показать зрителю что-нибудь значительное, он показывает чудовищно огромное, нежность выходит у него преувеличенно женственной, а мужество превращается в какую-то дикость и зверство.

83. Подобный случай, припоминая, имел место однажды на моих глазах с танцором, который до этого пользовался большим успехом, был вообще человеком умным и действительно достойным удивления, но тут, не знаю, по какой роковой случайности, он заблудился в преувеличениях и впал в безобразное переигрывание. Он плясал Аянта, охваченного безумием тотчас после поражения, и до такой степени сбился с пути, что зритель с полным правом мог бы принять его самого за сумасшедшего, а не за играющего роль безумного: у одного из тех, что отбивали такт железною сандалией, танцор разорвал одежду; у другого, флейтиста, вырвал флейту и, обрушившись с нею на Одиссея, стоявшего рядом и гордившегося своей победой, раскрыл ему голову. Если бы не защищала Одиссея его войлочная шапка, принявшая на себя большую часть удара, погиб бы злосчастный Одиссей, попавши в руки

сбившемся с толку плясуну. Впрочем, весь театр безумствовал вместе с Аянтом: зрители вскакивали с мест, кричали, бросали одежды, — так, по крайней мере, вела себя грязная чернь, уже тем самым невежественная, превратно понимающая красоту, не видящая, что — худо и что — хорошо, и считающая подобное изображение страсти верхом совершенства. Люди же более развитые понимали, что делается на сцене, и краснели за танцора, однако из вежливости не хотели позорить его своим молчанием, но тоже выражали одобрение и прикрывали этим безумие пляски, так как совершенно ясно видели, что перед ними разыгрывается безумие не Аянта, а самого актера. Бедняге показалось мало всего перечисленного, и он проделал нечто еще того забавнее: спустившись со сцены в места для зрителей, он уселся среди сенаторов между двух консуларов, очень боявшихся, что он и кого-нибудь из них, как барана, возьмет и отхлещет плетью. Одни дивились этому происшествию, другие смеялись над ним, третьи подозревали, уж не охватил ли танцора действительный недуг от стремления изобразить его чересчур естественно.

84. Впрочем, и сам он, говорят, когда отрезвел, сильно раскаивался в ошибках, которых наделал, и даже заболел с горя, что его могли действительно заподозрить в сумасшествии. И это сам высказал с полной отчетливостью. Именно, когда поклонники стали просить танцора еще раз сплясать им Аянта, он поставил вместо себя другого актера, объявив зрителям: «Достаточно один раз сойти с ума». Но сильно его огорчил соперник по искусству, взявший его роль: когда для него был написан подобный же Аянт, он изобразил безумие с большой благопристойностью и скромностью и заслужил общее одобрение за то, что сумел остаться в границах пляски и не дошел в игре до пьяного бесчинства.

85. Этим немногим, милый друг, я ограничусь из всего, что можно было бы сказать о задачах пляски и ремесле танцора. Все это я изложил тебе, чтобы ты не слишком сердился на меня за мою страсть к этому зрелищу. А если ты согласишься пойти со мною посмотреть на пляску, я уверен, ты будешь совершенно пленен этим искусством и, мало того, будешь охвачен

плясобебезумием. Так что мне не будет нужды говорить тебе, как Кирка Одиссею:

Дивно: ты выпил зелье мое, но не зачарован.

Ибо ты будешь зачарован, и, клянусь Зевсом, не ослиную голову, не кабанье сердце принесут тебе эти чары, но рассудок твой станет тверже, и, радуясь свершившемуся, ты и другим позволишь большими глотками испить того же напитка. Помнишь, Гомер говорит о золотом жезле Гермеса, что он им

...сном чарует очи людские

И отверзает сном затворенные очи у спящих.

То же самое делает и пляска: она завораживает взоры и в то же время заставляет бодрствовать и будит мысль каждой подробностью своего действия.

Кратон. Так, Ликин. Я уже покорился тебе. И глаза и уши мои во всю ширь распахнуты. Не забудь же, приятель: когда пойдешь в театр, займи и мне место рядом с собою, чтобы ты не один возвращался домой умнее нас.





СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ
ПЕТУХ

1. М и к и л л. Негодный петух! Пусть тебя сам Зевс поразит за то, что ты такой завистливый и звонкоголосый! Я был богат, видел сладкий сон, обладал удивительным божеством, а ты громко и пронзительно закричал и разбудил меня, чтобы даже ночью я не мог никуда скрыться от бедности, которая мне опротивела больше, чем ты сам. Судя по тому, что кругом еще стоит полная тишина и предрассветный холод не заставляет меня ежиться, как всегда по утрам,— он вернее всяких часов возвещает приближение дня,— ночь еще не перевалила за половину, а эта бессонная тварь, точно она охраняет золотое руно, с самого вечера уже начала зловеще кричать! Но погоди радоваться! Я тебе отомщу, так и знай! Пусть только наступит день, я разможжу тебе голову палкой: сейчас очень уже хлопотно гоняться за тобой в такой темноте.

Петух. Господин мой Микилл! Я хотел оказать тебе небольшую услугу, опередив ночь, насколько был в силах, чтобы, встав до зари, ты мог справить побольше дел: ведь если ты прежде, чем взойдет солнце, сработаешь один башмак, то заработаешь себе часть дневного пропитания. Но если тебе приятнее спать, изволь: я замолчу и стану немее рыб. Только смотри, во сне будешь богат, а проснувшись — голоден.

2. Микилл. О Зевс Чудотворец! И ты, заступник Геракл! Это что еще за новое бедствие? Петух заболтал по-человечьи!

Петух. Как? Тебе кажется чудом, что я говорю по-вашему?

Микилл. Неужели же это не чудо? О боги! Отвратите от меня беду!

Петух. Ты, по-моему, совершенно необразованный человек, Микилл! Ты не читал поэм Гомера, где конь Ахилла, Ксанф, распростившись с ржанием, стоит среди битвы и рассуждает, произнося, как рапсод, целые стихи, — не то что я сейчас говорю неразумной речью. И пророчествовал конь, и грядущее возвещал, и все-таки поведение его не казалось странным, и внимавший ему не призывал, подобно тебе, заступника, считая, что надо отвратить беду. А что бы ты стал делать, если б у тебя залепетал киль корабля Арго, или додонский дуб заговорил и стал пророчествовать, или если бы увидел ты ползущие шкуры и услышал, как мычит мясо быков, наполовину уже изжаренное и вздетое на вертела? Что касается меня, то, будучи помощником Гермеса, самого разговорчивого и красноречивого из богов, и разделяя к тому же с людьми и кров и пищу, я без труда изучил людской язык. Если ты пообещаешь помалкивать, я, пожалуй, открою тебе истинную причину, почему я говорю по-вашему и откуда взялась у меня эта способность.

3. Микилл. Уж не сон ли это: петух, беседующий со мною так рассудительно? Ну что же, рассказывай, любезный, ради твоего Гермеса, какая там у тебя есть причина говорить по-человечьи. А так как я буду молчать и никому про это не скажу — то чего же тебе бояться? Кто поверит мне, если я начну рассказывать, ссылаясь в подтверждение моих слов на петуха?

Петух. Итак, слушай! Я сам знаю, что поведу речь очень для тебя странную, Микилл, но ведь тот, кто сей-

час представляется тебе петухом, еще не так давно был человеком.

М и к и л л. Слышал я действительно когда-то подобную историю про петухов: говорят, юноша, которого звали Алектрионом, стал другом Арею, вместе с богом выпивал и участвовал в веселых прогулках и был сообщником в его любовных делах. Когда Арей отправлялся к Афродите распутничать, то брал с собою и Алектриона; а так как больше всего бог опасался, как бы Гелиос не подсмотрел и не рассказал Гефесту, то он всегда оставлял юношу снаружи, у дверей, чтобы тот давал знак, когда Гелиос начнет вставать. Но вот однажды Алектрион задремал, стоя на страже, и невольно оказался предателем: Гелиос незаметно появился перед Афродитой и Ареем, который беззаботно отдыхал, так как был уверен, что Алектрион предупредит его, если кто-нибудь вздумает подойти. Тут-то Гефест, извещенный Гелиосом, поймал обоих, опутав наброшенной на них сетью, которую давно для них изготовил. Отпущенный на свободу, Арей рассердился на Алектриона и превратил его в эту самую птицу, вместе со всеми его доспехами, так что и сейчас на голове у петуха гребень шлема. Вот почему вы, петухи, желая оправдаться перед Ареем, — хотя теперь это уже бесполезно, — едва почувствуете восход солнца, поднимаете крик, — задолго до того, как оно появится.

4. П е т у х. Рассказывают и так, Микилл... Однако со мною случилось совсем по-другому: ведь я совсем недавно превратился в петуха.

М и к и л л. Каким образом? Вот что мне больше всего хочется знать.

П е т у х. Слышал ты о самосце Пифагоре, сыне Мнесарха?

М и к и л л. Ты говоришь, очевидно, о том болтуне-софисте, который не разрешал ни отведать мяса, ни поест бобов и самое что ни на есть любимое мое кушанье объявлял изгнанным со стола? Да, еще он убеждал людей, чтобы они в течение пяти лет не разговаривали.

П е т у х. Знаешь ты, конечно, и то, что, прежде чем стать Пифагором, он был Евфорбом?

М и к и л л. Говорят, милый мой петух, что этот человек был обманщик и колдун.

Петух. Так вот, перед тобой Пифагор. А потому, милый мой, перестань поносить меня: тем более что ты ведь не знаешь, какой это был человек по своему нраву.

Микилл. Еще того чудеснее: петух-философ! Расскажи все же, о сын Мнесарха, как ты оказался вместо человека с Самоса птицей из Танагры. Неправдоподобно это и не очень-то легко поверить; ведь я, по-моему, уже подметил в тебе два качества, чуждые Пифагору.

Петух. Какие же?

Микилл. Во-первых, ты болтун и крикун, а Пифагор советовал молчать целых пять лет; и во-вторых, нечто уже совершенно противозаконное: вчера мне нечего было дать тебе поклевать, и я, как тебе известно, вернувшись, принес бобов, а ты, нисколько не задумываясь, подобрал их. Таким образом, необходимо предположить одно из двух: или ты солгал и на самом деле ты — кто-то другой, или, если ты действительно Пифагор, значит, ты преступил закон и, поевши бобов, согрешил не меньше, чем если бы пожрал голову собственного отца!

5. Петух. Ты говоришь так, Микилл, потому, что не знаешь, чем это вызвано и что приличествует каждой жизни. Я в прежние времена не вкушал бобов, потому что был философом, ныне же не прочь поесть их, так как бобы пища птичья и нам не запрещенная. Впрочем, если хочешь, выслушай, как из Пифагора стал я тем, чем являюсь сейчас, какие жизни до этого прожил и какие были последствия каждого превращения.

Микилл. Говори, пожалуйста: мне будет донельзя приятно послушать тебя, и если бы мне предложили на выбор: слушать ли твой рассказ или снова узреть мой всеблаженный сон, который я недавно видел, — не знаю, что бы я выбрал: до того родственными считаю я твои речи с тем сладостным видением и признаю равноценными вас обоих — тебя и драгоценное сновидение.

Петух. Ты все еще не можешь расстаться со своим сном, каким бы он ни был? И все еще пытаешься удержать какую-то пустую видимость, преследуя своим воспоминанием призрачное и, по слову поэта, «лишенное силы» блаженство?

6. М и к и л л. Да, петух, будь уверен: я никогда не забуду этого видения. Так много меду на глазах оставило отлетевшее сновидение, что с трудом освобожденные от него веки вновь сковывает дремота. Виденное во сне доставляло мне такое же удовольствие, как щекотание перышком в ухе.

П е т у х. Клянусь Гераклом, ты говоришь так, словно какая-то страшная любовная сила скрыта в твоём сновидении. Утверждают, что сновидения крылаты и вместе с тем ограничены в своём полете областью сна; а твоё перепархивает через проведенную границу и продолжает наяву носиться перед твоими открытыми глазами, такое сладостное и яркое. Мне хотелось бы поэтому послушать, что же это за сон, столь для тебя желанный.

М и к и л л. Готов рассказать: мне так приятно вспомнить и поговорить о нём! А когда же ты, Пифагор, расскажешь о своих превращениях?

П е т у х. Когда ты, Микилл, перестанешь грезить и сотрешь мед со своих век; а пока говори первым, чтобы мне знать, через какие врата — из слоновой кости или из рога — пришел посланный тебе сон.

М и к и л л. Ни через те, ни через другие, Пифагор.

П е т у х. Однако Гомер говорит только об этих двух.

М и к и л л. Оставь, пожалуйста, в покое этого болтуна-поэта: ничего он не понимал в сновидениях. Сны-нищие, может быть, действительно выходят из этих ворот, то есть сны вроде тех, какие видел Гомер, да и то не слишком отчетливо, потому что был слеп. Ко мне же, должно быть, мой сладостный сон прибыл сквозь золотые ворота, сам облаченный в золото и много золота неся с собой.

П е т у х. Довольно золотых разговоров, любезный Мидас... Я думаю, по его молитве приснился тебе весь этот сон с целыми золотыми россыпями.

7. М и к и л л. Я видел много золота, Пифагор, — много золота. Знаешь, как оно прекрасно? Какие сверкающие мечет молнии? Как это сказал Пиндар, восхваляя золото? Напомни мне, если знаешь, то место, где он говорит, что «вода лучше всего», но потом восхищается золотом, и вполне справедливо; это — в самом начале книги — самое прекрасное из всех его стихотворений.

Петух. Ты спрашиваешь об этих словах:

Лучше всего вода, но словно сверкающий пламень,
В сумраке золото светит в чертогах богатого мужа.

Микилл. Вот-вот, это самое место. Пиндар как будто видел мой сон: так хорошо он восхваляет золото. Но пора тебе наконец узнать, что это был за сон; слушай же, о мудрейший из петухов. Как тебе известно, я вчера не ужинал дома. Богатый Евкрат, встретившись со мной на рынке, велел помыться и к обычному часу прийти к нему ужинать.

8. Петух. Еще бы не знать, когда я целый день просидел голодный, пока наконец, уже поздно вечером, ты не вернулся слегка подвыпивши и не принес с собою пять бобов,— не слишком-то обильный ужин для петуха, который когда-то был атлетом и не без славы выступал на Олимпийских состязаниях.

Микилл. Когда же после ужина я вернулся домой и тотчас лег спать, насыпав тебе бобов,— тут-то «благоуханною ночью», по выражению Гомера, предстал мне поистине божественный сон и...

Петух. Расскажи сперва, что было у Евкрата, Микилл: какой приготовлен был ужин и все, что случилось во время пиршества. Не мешает тебе еще раз поужинать, воссоздавая, как бы в сновидении, вчерашний ужин и пережевывая воспоминания о съеденном вчера.

9. Микилл. Я боялся наскучить тебе, рассказывая еще и про это, но, если ты сам того хочешь, я готов сообщить. До вчерашнего дня, Пифагор, я ни разу за всю мою жизнь не бывал за столом у богатого человека. И вот вчера по какой-то счастливой случайности я встречаюсь с Евкратом. Я поздоровался с ним, назвав, по обыкновению, «господином», и хотел удалиться, чтобы не срамить его, следуя за ним в моем истертом плаще. А он говорит: «Микилл, я сегодня праздную день рождения дочери и пригласил к себе очень много друзей. Одному из них, говорят, нездоровится, и он не может поэтому ужинать с нами. Так помойся и приходи вместо него, если только этот гость не захочет сам прийти, потому что он еще колеблется». Выслушав это, я поклонился низко и пошел прочь, моля всех богов послать какую-нибудь лихорадку, колотье в боку или подагру на этого больного гостя, чье ложе за ужином я был приглашен занять как его замести-

тель и наследник. Время до бани показалось мне целой вечностью. Я то и дело измерял глазами длину тени на часах и думал, не пора ли уже идти мыться. И когда пришел наконец желанный час, я поспешно смыл с себя грязь и вышел, наведя красоту; даже плащ перевернул наизнанку, более чистой стороной кверху.

10. У дверей дома застал я много других гостей: в их числе находился и тот, кого я должен был заместить за ужином и кто считался больным; его принесли на носилках четверо рабов, и видно было, что он чувствует себя прескверно: весь желтый и опухший, он кряхтел, кашлял и отхаркивался, так что всем было противно. На вид ему было лет шестьдесят, говорили, что это философ, один из тех, кто несет всякий вздор перед молодежью. Борода у него была как у настоящего козла и весьма нуждалась в помощи цирюльника. Когда Архибий, врач, спросил его, чего ради он в таком состоянии явился в гости, больной ответил: «Никто не должен изменять долгу, а в особенности человек, занимающийся философией, хотя бы тысячи недугов вставали на пути его: Евкрат ведь подумает, что я пренебрегаю им». — «Не подумает, — заметил я, — а, напротив, будет тебе благодарен за то, что ты захотел лучше умереть у себя дома, чем у него за столом выхаркнуть вместе с мокротой и душу». Тот из высокомерия сделал вид, будто не слышит моей насмешки. Немного времени спустя является, после омовения, Евкрат и, увидав Фесмополида, — так звали философа, — говорит: «Учитель, хорошо, что ты сам ко мне пожаловал, хотя ты ничего бы не потерял, если бы и не пришел: все было бы немедленно послано тебе домой». И с этими словами Евкрат вошел в дом, ведя под руку Фесмополида, которого, кроме того, поддерживали еще и рабы.

11. Я уже собирался уходить, когда Евкрат обернулся и, заметив мой сумрачный вид, сказал после долгих колебаний: «Заходи и ты, Микилл, и поужинай с нами. Я велю сыну поесть с матерью на женской половине, чтобы и тебе было место за столом». Итак, я вошел, едва не оставшись как «волк с разинутой пастью». Стыдно было только, что я как будто прогнал с пирушки сына Евкрата. Когда пришло время возлечь, то прежде всего человек пять дюжих парней подняли и, кланусь Зевсом, не без труда возложили за

стол Фесмополида, подоткнув под него со всех сторон подушки, чтобы он сохранял приличный вид и мог выдерживать подольше. Затем, так как никто не решался возлечь рядом с ним, то ближайшее место отвели мне, так что мы оказались с ним сотрапезниками. Потом, Пифагор, мы принялись за ужин, за многочисленные и разнообразные кушанья, поданные на золоте и на серебре. Были тут и золотые кубки, и молодые, красивые прислужники, и музыканты, и шуты — вообще это было приятнейшее времяпрепровождение, и только, к безмерной моей досаде, Фесмополид надоедал мне, постоянно рассказывая о какой-то там добродетели, поучая, что два отрицания дают утверждение, что если есть «день», то нет «ночи» и будто у меня даже есть рога. Вообще он без спросу приставал ко мне со множеством философских хитросплетений, портя мне удовольствие и мешая слушать игру на кифарах и пение. Вот каков был, петух, вчерашний ужин!

Петух. Не из приятных, Микилл, особенно если жребий свел тебя с этим старым пустомелей.

12. Микилл. А теперь слушай, я расскажу тебе про сон. Мне грезилось, будто Евкрат бездетен и, не знаю отчего, умирает. И вот, призвав меня, он составил завещание, по которому наследником всего его имущества являлся я. Вскоре он умер, я же, вступив во владение, стал черпать золото и серебро большими ковшами, но сокровища не иссякали, а, напротив, притекали все снова и снова. И все остальное — платья, столы, кубки, прислуга, — все, разумеется, стало моим. Затем я начал выезжать на белой упряжке, развальясь, привлекая на себя все взоры и вызывая зависть встречных. Много народу бежало или скакало верхом впереди меня, а еще больше следовало позади. Я же, облачившись в платье Евкрата, нанизав на пальцы штук шестнадцать тяжелых перстней, отдавал приказы изготовить на славу блестящее угощение для приема гостей. Друзья же, как это бывает во сне, оказались тут как тут; тотчас подали ужин, и начиналась уже дружная попойка. Так обстояло дело. Я пил из золотой чаши за здоровье каждого из присутствующих, и уже начали подносить к столу пирожное, как вдруг ты закричал не вовремя и смешал наше пиршество, опрокинул столы, а все мои богатства рассыпал и пустил по ветру... Ну что ты скажешь? Разве я не вправе

был рассердиться на тебя? Ах, пусть бы еще три ночи кряду снился мне этот сон!

13. Петух. Неужто ты так любишь золото и богатство, Микилл, что восхищаешься только ими и счастье видишь в том, чтобы иметь много денег?

Микилл. Не только я так думаю, Пифагор; ведь и ты сам, когда был Евфорбом, выходя на битву с ахейцами, перевязал свои кудри золотом и серебром — даже на войне, где больше пристало облачаться в железо, чем в золото. Однако ты и тогда находил нужным сражаться с золотой повязкой на волосах. И мне кажется, Гомер потому и сравнил твои кудри с харитами, что

златом и серебром были они перехвачены...

И конечно, волосы казались гораздо красивее и приятнее, когда были перевиты золотом и соединяли с его блеском свой собственный. Впрочем, златокудрый, тебе — сыну Панфа, еще пристало ценить золото. Но сам отец людей и богов, сын Крона и Реи, влюбившись в ту деву из Арголиды и не находя, во что ему превратиться, чтобы прельстить и подкупить стражу Акрисия, — сделался золотом и, пролившись сквозь кровлю, соединился с возлюбленной (ты, конечно, слышал об этом). К чему же еще перечислять тебе, сколько пользы приносит золото, как оно делает красивыми, и умными, и сильными тех, у кого оно есть, как доставляет им честь и славу, как за короткое время превращает незаметных и неизвестных в славных и воспеваемых.

14. Ты ведь знаешь Симона, моего соседа и товарища по ремеслу? Еще недавно он ужинал у меня, когда я во время праздника кроний варил протертые овощи, подбросив два куска колбасы?

Петух. Как не знать этого курносого коротышку: он стащил тогда после ужина и унес под мышкой глиняную чашку — единственную, что была у нас. Я сам это видел, Микилл.

Микилл. Значит, это он ее украл; а потом клялся всеми богами, что не виновен. Что же ты не крикнул мне тогда, петух, если видел, как нас обкрадывают?

Петух. Я кричал кукареку — все, что я мог тогда сделать. Но что же случилось с Симоном? Ты как будто хотел о нем рассказать.

М и к и л л. Был у него двоюродный брат, чрезвычайно богатый,— по имени Дримил. При жизни он ни обола не дал Симону. Как же! Дримил и сам-то боялся тронуть свои сокровища. Но так как он недавно умер, то все по закону принадлежит Симону, и теперь этот оборванец, вылизывавший чужие блюда, весело разгуливает, облеченный в багрец и пурпур, имеет рабов, выезд, золотые кубки, столы на ножках слоновой кости; все ему низко кланяются, а на нас он и не глядит больше. Недавно, увидев, что он идет мне навстречу, я сказал: «Здравствуй, Симон»,— а он с досадой ответил: «Прикажите этому нищему не преуменьшать моего имени: меня зовут не Симоном, а Симонидом». А главное, женщины уже влюбляются в него, а он ломается перед ними и глядит свысока: одних допускает до себя и оказывает им милости, другие же, отвергнутые им, грозят повеситься с отчаяния. Вот видишь, источником скольких благ является золото, раз оно даже уродов превращает в красавцев и делает их достойными любви, словно воспетый в поэмах пояс Афродиты. Ты слышал у поэтов:

О золото, желанный гость,

или еще:

Одно лишь злато над людьми имеет власть.

Но что же ты усмехнулся, петух, над моим словом?

15. П е т у х. Ты, Микилл, по своему невежеству, заблуждаешься насчет богатых так же, как большинство людей. Будь уверен, они живут гораздо более жалкою жизнью, чем ты. Говорю тебе это потому, что я часто бывал и бедняком и богачом и всякую жизнь испытал. Пройдет немного времени, и ты сам все узнаешь.

М и к и л л. Видит Зевс, пора наконец и тебе рассказать, как это ты превращался и что повидал в каждой из твоих жизней.

П е т у х. Слушай же. Но прежде узнай, что я еще не видал человека, который жил бы счастливее тебя.

М и к и л л. Меня, петух? Тебе бы так счастливо жить! Ты сам доведешь меня до того, что я обругаю тебя. Однако рассказывай, начиная с Евфорба, как ты превратился в Пифагора, и дальше по порядку вплоть до петуха. Ты, наверное, многое видел и испытал в своих многообразных жизнях.

16. Петух. О том, как моя душа, выйдя из Аполлона, впервые слетела на землю и облеклась в человеческое тело, выполняя некий приговор, было бы слишком долго рассказывать. Да и не подобает мне говорить, а тебе слушать о подобных вещах. Затем я стал Евфорбом...

Микилл. Подожди! Раньше вот что скажи мне: а я тоже когда-нибудь превращался, подобно тебе?

Петух. Разумеется.

Микилл. Кем же я был, хотелось бы знать? Скажи, если можешь.

Петух. Ты? Ты был индийским муравьем, из тех, что выкапывают золото.

Микилл. Что? И я не осмелился, злосчастный, принести с собой про запас хоть несколько золотых крупинок из той жизни в эту? Ну, а чем же я потом буду? Скажи,—ты, наверное, знаешь. Если чем-нибудь хорошим, я немедленно встану и повешусь на перекладине, где ты сейчас сидишь.

17. Петух. Этого тебе не узнать никакими ухищрениями... Так вот, когда я стал Евфорбом,—возвращаюсь к моему рассказу,—я сражался под Илионом и принял смерть от Менелая; несколько позднее перешел в Пифагора. До этого я некоторое время оставался бездомным, пока Мнесарх не изготовил для меня жилище.

Микилл. Без пищи и питья, дружище?

Петух. Разумеется; ведь только тело нуждается в подобных вещах.

Микилл. Тогда расскажи мне сперва о том, что происходило в Илионе. Так все это и было, как повествует Гомер?

Петух. Откуда же он мог знать, Микилл, когда во время этих событий Гомер был верблюдом в Бактрии? Я скажу тебе, что ничего такого чересчур необыкновенного тогда не было: и Аянт был вовсе не так огромен, и сама Елена совсем не так прекрасна, как думают. Я помню какую-то женщину с белой, длинной шеей, которая выдавала в ней дочь лебеда,—но в остальном она выглядела очень немолодой, почти ровесницей Гекубе: ведь первым обладал ею в Афиднах похитивший ее Тесей, который жил во времена Геракла. Геракл же захватил Трою еще задолго до нас, приблизительно во времена тех, кто тогда были нашими отцами,—мне рассказывал об этом Панф, го-

воря, что видел Геракла, будучи еще совсем мальчишкой.

Микилл. Ну, а как Ахилл? Он и в самом деле превосходил всех доблестью, или и это лишь пустые слова?

Петух. С ним я совершенно не сталкивался, Микилл, и вообще я не мог бы сообщить тебе с такою уж точностью то, что происходило у ахейцев. Откуда мне знать, когда я был их противником? Однако друга его Патрокла я без большого труда сразил, пронзив копьем.

Микилл. А вслед за тем Менелай — тебя, еще того легче... Но довольно об этом. Рассказывай о Пифагоре.

18. Петух. Собственно говоря, я был просто софистом: нечего, право, скрывать истину. А впрочем, был я человеком не без образования, не без познаний в разных прекрасных науках. Побывал я и в Египте, чтобы приобщиться к мудрости тамошних пророков, и, проникши в их тайники, изучал книги Гора и Исиды, а потом снова отплыл в Италию и так расположил к себе живших там эллинов, что они стали почитать меня за бога.

Микилл. Слышал я и об этом, и о том, что они считали тебя восставшим из мертвых, и о том, будто ты показывал им однажды свое золотое бедро... Скажи, однако: что это тебе пришлось в голову установить закон, запрещающий есть мясо и бобы?

Петух. Не спрашивай об этом, Микилл!

Микилл. Почему же не расспрашивать, петух?

Петух. Потому что мне совестно говорить тебе об этом правду.

Микилл. А между тем нечего стесняться говорить с человеком, который тебе сожитель и друг, — хозяином я, пожалуй, не осмелюсь больше назваться.

Петух. Ни здравого смысла, ни мудрости в этом не было. Просто я видел, что, если буду издавать обычные постановления и законодательствовать как все, то мне никогда не удастся вызвать у людей восхищение и удивление. Напротив, я знал, что чем более странным я буду, тем почтеннее им покажусь. А потому я счел за лучшее, вводя новшества, запретить даже говорить об их причинах, чтобы один предполагал одно, другой — другое и все пребывали в изумлении, как

при темных предсказаниях оракула. Ну? Видишь: теперь твой черед насмеяться надо мною.

М и к и л л. Не столько над тобой, сколько над кротонцами, метапонтийцами и тарентийцами и над всеми прочими, кто безмолвно следовал за тобой и целовал следы, которые ты оставлял, ступая по земле...

19. Ну, а совлекши с себя Пифагора, в кого ты облачился после него?

П е т у х. В Аспасию, гетеру из Милета.

М и к и л л. Тьфу! Что ты говоришь! Так, значит, ты и женщиной, среди прочих превращений, побывал, Пифагор? И было время, когда и ты, о достопочтеннейший из всех петухов, нес яйца? Ты, будучи Аспасией, спал с Периклом, беременел от него, и шерсть чесал, заставляя челнок сновать по основе, и вел распутную жизнь гетеры?

П е т у х. Да, и не я один все это делал: а был до меня еще Тиресий и сын Элата, Кеней, так что все насмешки, которые ты отправишь против меня, будут обращены и против них.

М и к и л л. Что же? Какая жизнь была тебе слаще: когда ты был мужчиной или когда Перикл взял тебя в жены?

П е т у х. Вот так вопрос! Самому Тиресию не по силам ответить на него.

М и к и л л. Но если ты не хочешь ответить, то Еврипид дал на этот вопрос удовлетворительный ответ, сказав, что предпочел бы трижды встать в строй, чем один раз рожать.

П е т у х. Однако я напомним тебе это, Микилл, когда, немного времени спустя, ты должен будешь мучиться родами; потому что и ты в многократном круговращении не раз будешь женщиной.

М и к и л л. Удаться бы тебе, петух! Что же ты думаешь: все люди попеременно становятся то милетцами, то самосцами? Ты, говорят, и в бытность свою Пифагором в расцвете юности не раз служил Аспасией для самосского тирана.

20. А в каком же облике ты возник снова после Аспасии? Мужчиной или женщиной?

П е т у х. Киником Кратетом.

М и к и л л. О Диоскуры, какое несоответствие: из гетеры — в философы!

П е т у х. Затем я был царем, потом нищим, немного погодя сатрапом, после конем, галкой, лягушкой и так

далее без конца; было бы долго перечислять все. Напоследок, вот уже несколько раз, я воплощаюсь в петуха, потому что мне понравилась эта жизнь; побывав в услужении у многих — и у царей, и у нищих, и у богачей, — я в конце концов живу сейчас при тебе и смеюсь, слушая твои ежедневные стоны и жалобы на бедность и видя, как ты дивишься богачам, не ведая об их постоянных бедах. Да если бы ты знал, сколько у них забот, то стал бы смеяться над самим собой, над тем, что раньше считал богача счастливым.

М и к и л л. Итак, Пифагор, или как там тебе больше нравится называться, чтобы мне не вносить беспорядка в нашу беседу, величая тебя то так, то этак...

П е т у х. Совершенно безразлично, будешь ли ты именовать меня Евфорбом, или Пифагором, или Аспасией, или Кратетом, так как все это — я. А впрочем, называй тем, что видишь сейчас, зови петухом, — это, пожалуй, будет всего лучше, чтобы не оскорблять эту с виду, правда, незначительную птицу, которая, однако, включает в себе столько душ.

21. М и к и л л. Итак, петух, поскольку ты испытал почти все жизни и всем побывал, — может быть, ты наконец расскажешь подробно и отдельно относительно богатых, как они живут, и особо о бедных, чтобы мне видеть, правду ли ты говоришь, объявляя, что я счастливее богача.

П е т у х. Так вот поразмысли, Микилл. Тебе дела мало до войны, и, когда придет весть о приближении врага, тебя не тревожат заботы, как бы вторгшийся неприятель не опустошил твоё поле, не вытоптал сад, не вырубил виноградники. При звуках трубы, — если только ты их расслышишь, — ты, самое большое, оглядываясь кругом, ищешь, куда скрыться, чтобы спастись самому и избежать опасности. А люди зажиточные не только трепещут за собственную жизнь, но страдают еще, смотря с городских стен, как увозят и растаскивают все, что было у них на полях... Нужно ли платить налог — обращаются к ним одним. Идти в бой — богачи первыми подвергаются опасности, выступая стратегами или начальствуя над конницей. А ты идешь с ивовым щитом, легкий и проворный, если придется спасти свою жизнь, и готовый ублажить себя едой на торжественном пире, когда победитель-стратег будет приносить благодарственную жертву.

22. С другой стороны, в мирное время ты, один из многих, являешься в Народное собрание, тиранишь богатых, которые дрожат перед тобою, и гнут спины, и стараются умиловить раздачей денег. Они заботятся, чтобы у тебя были бани, состязания, зрелища и все остальное вдосталь; ты же, как суровый надзиратель, иной раз, словно хозяин, не даешь им вымолвить слова и, если тебе заблагорассудится, щедро осыпашь их градом камней и отбираешь в казну их достоинство. А сам не боишься ни доносчика, ни грабителя, который мог бы украсть твое золото, перескочив через ограду или подкопав стену. Ты не знаешь никаких хлопот, подводя счета, требуя уплаты долгов, споря чуть не до драки с негодяем управляющим, раздираемый на части тысячами забот. Нет, окончив башмак и получив семь оболлов платы, ты выходишь вечером из дому и, помывшись, если захочется, покупаешь себе селедочку, или другую рыбешку, или несколько головок луку и ублажаешь сам себя, распевая песни и рассуждая о своей достойной бедности.

23. Благодаря этому ты здоров и крепок телом и вынослив к холоду. Работа закаляет тебя и делает неплохим борцом с трудностями, которые другим кажутся непреодолимыми. Небось к тебе не придет ни один из обычных тяжелых недугов; а если даже и схватит тебя иногда легкая лихорадка, ты, прослужив ей немного времени, вскакиваешь с постели, быстро стряхиваешь с себя нездоровье, и болезнь поспешно убегает, видя со страхом, как ты вволю пьешь холодную воду и посылаешь подальше врачей с их ухищрениями. А богачи? Какими только недугами не страдают эти несчастные по своей неводержанности! Подагры, чахотки, воспаления, водянки! И все это — порождение их роскошных обедов.

Таким образом многие из них, подобно Икару, поднимаются слишком высоко и приближаются к солнцу, не зная, что их крылья скреплены воском и что подчас они производят великий шум, летя вниз головою в море. Те же, кто, подобно Дедалу, не стремясь мыслью слишком высоко к небу, держатся ближе к земле, охлаждая по временам воск морскою влагой, — те по большей части благополучно совершают перелет.

М и к и л л. Ты хочешь сказать: умеренные и благо-
разумные люди?

Петух. Да, Микилл, ведь ты нередко видишь, как другие терпят позорное крушение, как Крез, растопивший свои крылья и под смех персов взошедший на костер, или как Дионисий, утопивший в волнах свое царство и после такой огромной власти предстающий нам в Коринфе простым учителем, который обучает ребят читать по слогам.

24. Микилл. Но скажи, петух: когда ты сам был царем,—ты ведь говоришь, что и поцарствовать тебе пришлось,—какой тебе тогда показалась жизнь? Наверное, ты был донельзя счастлив, достигнув самого главного из благ?

Петух. И не напоминай мне об этом времени, Микилл, таким трижды несчастным был я тогда: со стороны казалось, что я, как ты сейчас сказал, донельзя счастлив, но внутренне со мною неразлучными были бесчисленные горести.

Микилл. Какие же? Ты говоришь что-то странное и не очень правдоподобное.

Петух. Я правил немалой страной, Микилл; по своему плодородию, многолюдству, по красоте городов она заслуживала всяческого восхищения. Судоводные реки протекали по моему царству, и море с прекрасными гаванями находилось в моем распоряжении. Была у меня многочисленная пехота, и хорошо обученная конница, и немало телохранителей и военных кораблей, и денег я имел без счета, многое множество золотых сосудов, и все, с помощью чего разыгрывает свои напыщенные представления каждое правительство. Во время моих выходов многие склонялись предо мною, видя во мне божество; толпы народа сбегались посмотреть на меня, некоторые даже всходили на крыши, за великое счастье почитая рассмотреть подробно мою упряжку, пурпурный плащ, золотую повязку, и бегущих впереди глашатаев, и следующую за мной свиту. Я же, знавший все, что мучило меня и терзало, прощал этим людям их неведение и исполнялся жалостью к себе самому, ибо походил на те огромные изваяния, которые созданы были Фидием, Мироном или Праксителем: каждое из них тоже представляет снаружи какого-нибудь Посейдона или Зевса, прекрасного, сделанного из золота и слоновой кости, со стрелами молний или трезубцем в деснице; но если наклонишься и посмотришь, что находится внутри их, то заметишь какие-то перекладыны, скрепы,

насквозь торчащие гвозди, подпорки и клинья, смолу, глину и все прочее, скрытое от зрителя безобразия. Я не говорю уже о множестве мышей и землероек, которые нередко их населяют. Вот нечто подобное представляет собою и царская власть.

25. Микилл. Но ты так и не сказал, что это за глина, перекладки и скрепы власти. В чем состоит ее великое внутреннее безобразие? Привлекать взоры всех своим выездом, над столькими людьми властвовать, принимать божеские почести — все это действительно подходит к приведенному тобою сравнению с огромным изваянием бога, ибо все это поистине божественно. А теперь скажи, что же заключено внутри этого изваяния?

Петух. Не знаю, с чего начать, Микилл! Назвать ли тебе все страхи, опасения, подозрения, ненависть окружающих, их заговоры, а отсюда — сон непродолжительный и всегда лишь неглубокий, и сновидения, полные тревоги, и клубок забот, и постоянное предчувствие недоброго, — или говорить тебе о постоянной занятости, заботах о казне, судах, походах, указах, договорах, расчетах? За всеми этими делами даже во сне не удастся вкусить никакой радости, но приходится одному за всех все обдумывать и пребывать в бесконечных хлопотах.

Лишь к Агамемнону, сыну Атрея...

Сладостный сон не сходил, ибо многое двигалось в мыслях...

А между тем все ахейцы спокойно храпели. Царя Лидии беспокоит сын, проявляющий тупоумие, царя персов — Клеарх, набирающий наемников для Кира; того тревожит Дион, что-то нашептывающий на ухо одному из сиракузян, другого — Парменион, славословимый всеми; Пердикке не дает покоя Птолемей, а Птолею — Селевк. Но есть и другие невзгоды: любовник, уступающий лишь необходимости; наложница, питающая склонность к другому; слухи о том, что этот и тот собираются отложиться от тебя; два-три оруженосца о чем-то шушукаются между собою. А самое главное — это то, что приходится с особенной подозрительностью относиться к самым близким людям и всегда ожидать от них чего-нибудь ужасного. Ведь один умирает от яда, поданного ему сыном, другой подобным же образом гибнет от руки своего любовника, да и третьего постигает такая же смерть.

26. М и к и л л. Довольно! Ты говоришь ужасные вещи, петух. Разумеется, куда безопаснее гнуть спину, сапожничая, чем пить за здоровье из золотой чаши вино с подмешанным ядом с цикутой или аконитом. Самое большее, мне грозит опасность, что по ошибке соскользнет ножичек в сторону, вместо того чтобы сделать прямой разрез, и я немного окровеню себе пальцы, порезавшись. А те люди, по твоим словам, услаждаются смертельными угощениями, живя к тому же среди бесчисленных бед. И потом, когда совершится их падение, они оказываются в положении, очень напоминающем трагических актеров: нередко можно видеть, как действующие лица, будто настоящие Кекропы, Сизифы или Телефы, разгуливают до поры до времени в царских повязках и шитых золотом плащах, с развевающимися кудрями, держа мечи с рукоятью из слоновой кости. Но если кто-нибудь из них, как нередко случается, оступится и упадет посреди сцены, то вызовет, конечно, смех зрителей: маска вместе с диадемой ломается на куски, показывается, все в крови, подлинное лицо актера; голени обнажаются, из-под платья виднеются жалкие лохмотья и безобразные, не по ноге сделанные котурны. Видишь, любезный петух, как я выучился у тебя пользоваться сравнениями? Ну, такова, по рассмотрении, оказалась жизнь полновластных правителей. А когда ты превращался в коня, собаку, рыбу или лягушку, как жилось тебе в такие времена?

27. П е т у х. Долгий ты затеваешь разговор, и не ко времени он сейчас будет. Впрочем, вот самое главное: не было среди всех этих существ никого, чья жизнь показалась бы мне более суетной, чем жизнь человека, так как каждый ограничивается лишь естественными влечениями и потребностями. Ведь среди животных ты никогда не встретишь коня-откупщика, лягушку-доносчицу, галку-софиста, комара-кулинара, петуха-распутника или что-нибудь еще в этом роде, из того, что вы выдумали.

28. М и к и л л. Все это, может быть, и правда, петух. Но я не постесняюсь сказать тебе, что со мной происходит: я еще не могу отучиться от желания стать богатым, которое питал с детства. Напротив, мой сон все еще стоит перед моими глазами, показывая мне груды золота, а главное — у меня просто дух захватывает при

мыслях о проклятом Симоне, который роскошествует среди всяких благ.

Петух. Я тебя вылечу, Микилл. Покуда на дворе еще ночь, вставай и следуй за мною. Я отведу тебя к этому Симону и к домам других богачей, чтобы ты посмотрел, что у них делается.

Микилл. Да как же, когда двери везде на запоре? Ведь не заставишь же ты меня подкапываться под стены?

Петух. Ни в каком случае. Но Гермес, которому я посвящен, наделил меня исключительной способностью: самое длинное перо в моем хвосте загибающееся, настолько оно мягкое...

Микилл. У тебя два таких пера.

Петух. Правое из них... Так вот, тот, кто с моего разрешения его вытащит и будет держать при себе, пока я этого хочу, сможет открыть любую дверь и все видеть, сам оставаясь невидимым.

Микилл. Ты скрыл от меня, петух, что ты — тоже волшебник. Дай мне только на один раз твое перо, и ты увидишь, что немного погодя все имущество Симона будет перетащено сюда. Я все вынесу, проникнув к нему тайком, а он снова будет тянуть и перегрызть дратву.

Петух. Нет, так не полагается! Гермес повелел: если кто-нибудь, владея пером, совершит нечто подобное, — я обязан закричать и уличить его в воровстве.

Микилл. Невероятные ты говоришь вещи: чтобы Гермес, сам будучи вором, стал запрещать другим заниматься тем же делом... Но все же пойдем. Я воздержусь от золота, если смогу.

Петух. Сперва выдерни, Микилл, перо... Но что ты делаешь! Ты оба выдернул!

Микилл. Так оно будет надежнее, петух, да и тебя это меньше обезобразит: нехорошо, если ты останешься с хвостом, изуродованным с одной стороны.

29. Петух. Допустим. Куда же мы сперва пойдем? К Симону или к какому-нибудь другому богачу?

Микилл. Ни к кому другому, только к Симону, который, разбогатевав, почитает себя достойным носить имя уже не в два слога, а в целых три. Ну, вот мы и у дверей. Что же мне теперь делать?

Петух. Прикоснись пером к запору.

Микилл. Готово! О Гермес! Двери распахнулись, будто их ключом отперли.

Петух. Иди же вперед. Видишь? Вот он сидит, не спит и что-то считает.

Микилл. О Зевс, действительно Симон сидит перед тусклой светильней, в которой не хватает масла. Но какой он желтый, иссохший, исхудавший — наверное, от забот, петух: ведь, говорят, ничем он не болен.

Петух. Послушай, что он говорит, и узнаешь, почему он в таком состоянии.

Симон. Итак, те семьдесят талантов, зарытые под моей постелью, в полной безопасности, и решительно никто их не видел; что касается шестнадцати, то, должно быть, конюх Сосил подсмотрел, как я их прятал под яслями: то-то он и вертится все время около конюшни, хотя раньше совсем не был старательным и трудолюбивым. Раскрадено, кажется, у меня еще того больше. Иначе откуда бы взялись деньги у Тибия, чтобы покупать вчера, как рассказывают, таких огромных соленых рыб или дарить жене серьги, стоящие целых пять драхм? Мои они денежки проматывают, злосчастный я человек! Опять же чаши — их так много — хранятся у меня в ненадежном месте. Боюсь, как бы кто-нибудь не подкопался под стену и не украл их. Сколько людей мне завидует и замышляет недоброе, а больше всех сосед Микилл.

Микилл. Слышит Зевс, правильно: потому что я не хуже тебя и, уходя, тоже унесу блюдо за пазухой.

Петух. Тише, Микилл! Не выдавай нашего присутствия!

Симон. Лучше всего не спать и самому все сторожить. Встану и обойду кругом дом... Ты кто такой? Стой! Попался, разбойник!.. Зевс! Оказывается, ты — столб; ну, хорошо! Дай-ка я откопаю мои деньги и пересчитаю снова: не ошибся ли я третьего дня... Вот... снова стукнул кто-то... Наверное, ко мне идут... Я в осаде, все против меня... Где мой кинжал?.. Если мне кто-нибудь попадется... Схороню снова деньги.

30. Петух. Вот как обстоят дела, Микилл, дела Симона! Что ж? Пойдем к кому-нибудь другому, пока еще остается у нас немного ночного времени.

Микилл. Несчастный! Что за жизнь Симон ведет! Пусть врагам моим достанется такое богатство. Но мне хочется дать ему по уху, прежде чем уйти.

Симон. Кто меня ударил? Грабят! Беда!

Микилл. Вопи! Не знай сна и стань таким же желтым, как золото, с которым ты сплавился. А мы, ес-

ли ты согласен, пойдем к Гнифону, ростовщику. Не-
подалеку он живет... Ну вот: и эта дверь для нас от-
крыта.

31. Петух. Видишь, и этот не спит от забот, вычи-
тывая проценты на иссохших пальцах. А спустя
немного придется ему все это оставить и сделаться мо-
лью, комаром или песьей мухой.

М и к и л л. Вижу жалкого и глупого человека, кото-
рый уж и сейчас живет немногим лучше моли или ко-
мара: и он тоже весь исчах от своих расчетов... Пойдем
к другому!

32. Петух. Не хочешь ли к твоему Евкрату? Смо-
три-ка: и эта дверь открыта. Войдем же.

М и к и л л. Все это еще недавно было моим.

Петух. Ты все еще гредишь богатством? Смотри
же. Видишь? Вот он, сам Евкрат, человек почтенного
возраста,— лежит под собственным рабом.

М и к и л л. Великий Зевс! Что я вижу! С черного хо-
да! Какое нечеловеческое сластолюбие и разврат!
А с другой стороны — жена под поваром! Тоже распут-
ством занимается.

33. Петух. Ну что же? Хочешь получить такое на-
следство, Микилл, и жить вполне по-евкратовски?

М и к и л л. Ни за что, петух! Лучше умереть с голо-
ду! Прощайте и деньги и ужины! Пусть лучше все мое
богатство состоит из двух оболов, чем позволять собст-
венному рабу подкапывать меня...

Петух. Однако уже рассветает, занимается день.
Пойдем теперь к себе домой. А остальное, Микилл,
в другой раз досмотрим!





КАК СЛЕДУЕТ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

1. Говорят, милый Филон, что абдеритов еще в правление Лисимаха постигла вот какая болезнь: сперва все поголовно заболели, началась сильная и упорная лихорадка; на седьмой день у одних пошла обильная кровь из носа, а у других выступил пот, тоже обильный, который прекратил лихорадку, но привел их умы в какое-то смехотворное состояние. Все абдериты помешались на трагедии и стали произносить ямбы и громко кричать, чаще же всего исполняли монологи Еврипидовой Андромеды, чередуя их с речью Персея. Город полон был людьми, которые на седьмой день лихорадки стали трагиками.

Все они были бледны и худы и восклицали громким голосом:

Ты, царь богов и царь людей, Эрот...—

и тому подобное. Это продолжалось долгое время, пока зима и наступивший сильный холод не прекратили их бреда. Виновником подобного случая был, как мне кажется, знаменитый в то время трагик Архелай, который среди лета, в сильную жару, так играл перед ними роль Андромеды, что от этого представления большинство пришло в лихорадочное состояние, а после прекращения болезни все помешались на трагедии. Андромеда долго оставалась в их памяти, а Персей вместе с Медузой носился в мыслях каждого.

2. Итак, сопоставляя, как говорится, одно с другим, можно сказать, что тогдашняя болезнь абдеритов постигла и теперь большинство образованных людей. Они, правда, не декламируют трагедий,—было бы меньшим безумием, если бы они помешались на чужих ямбах, и притом недурных,—но с тех пор, как начались теперешние события: война с варварами, поражение в Армении и постоянные победы,—нет человека, который бы не писал истории; больше того, все у нас стали Фукидидами, Геродотами и Ксенофонтами, так что, по-видимому, верно было сказано, что «война — мать всего», если одним махом произвела столько историков.

3. И вот, мой друг, наблюдая и слыша все это, я вспомнил слова синопского философа. Когда распространился слух, что Филипп приближается, на коринфян напал ужас, и все принялись за дело: кто готовил оружие, кто таскал камни, кто исправлял стену, кто укреплял насыпь,—каждый был по-своему полезен. Диоген, видя это и не зная, за что бы взяться, так как никто совершенно не пользовался его услугами, подпоясал свое рубище и стал усерднейшим образом катать взад и вперед по Кранию большой горшок, в котором он тогда жил. На вопрос кого-то из знакомых: «Что это ты делаешь, Диоген?».—Он отвечал: «Катаю мой горшок, чтобы не казалось, будто я один бездельничаю, когда столько людей работает».

4. Вот и я, милый Филон, чтобы мне молчать одному среди такого разнообразия голосов или чтобы не ходить взад и вперед, зевая, как статист в комедии, счел уместным по мере сил катать мой горшок; не то чтобы я сам решил писать историю или описывать великие деяния,—я не так высокомерен, в этом отношении ты можешь за меня не бояться. Я знаю, как опасно катить горшок вниз со скалы, тем более мой горшо-

чек,— он совсем некрепко вылеплен. Стоит ему удариться о маленький камешек — и придется собирать черепки. Я тебе расскажу, что я решил и как могу безопасно принять участие в войне, находясь сам вне обстрела. Я буду благоразумно держаться вдали от «этого дыма и волнения» и забот, с которыми сопряжено писание истории; вместо этого я предложу историкам небольшое наставление и несколько советов, чтобы и мне принять участие в их постройке; хоть на ней и не будет стоять моего имени, но все-таки концом пальцев и я коснусь глины.

5. Правда, большинство думает, что не надо никаких наставлений в этом деле, так же как не надо умения для того, чтобы ходить, смотреть или есть, и считает, что писать историю — дело совсем легкое, простое и доступное каждому, кто только может изложить все, что ему придет в голову. Но ты, конечно, и сам знаешь, мой друг, что это дело не из легких, и его нельзя делать спустя рукава; как и всякое другое дело в литературе, оно требует наибольшей работы мысли, если желаешь, как говорит Фукидид, создать вечный памятник. Я знаю, что обращаю немногих из историков, а некоторым покажусь даже докучливым, особенно тем, сочинения которых уже окончены и изданы. Если историки встретили похвалу со стороны слушателей, то просто безумно надеяться, будто они переделают или напишут заново что-либо из того, что раз получило утверждение и как бы покоится в царских чертогах. Однако не лишним будет обратиться с речью к ним, чтобы, если когда-либо возникнет новая война, у кельтов с гетами или у индов с бактрийцами,— ведь с нами, уж конечно, никто не решится воевать после того, как все покорены,— историки могли лучше строить свое здание, пользуясь установленным образцом,— если, конечно, он покажется им правильным; если же нет, пусть они меряют той же меркой, как теперь; врач не будет очень огорчен, если все абдериты станут добровольно декламировать «Андромеду».

6. Так как всякие советы преследуют двойную задачу: учат одно выбирать, а другого избегать,— скажем сначала, чего должен избегать пишущий историю и от чего прежде всего должен освободиться, а затем — что он должен желать, чтобы не уклониться от прямого и кратчайшего пути. Как ему следует начать и в каком порядке расположить события, как он во

всем должен соблюдать меру, о чем умалчивать и на чем останавливаться, а о чем лучше упомянуть лишь вскользь, и как все это изложить и связать одно с другим,— обо всем этом и о подобных вещах после. А теперь скажем о недостатках, которые присущи плохим историкам. Те погрешности, которые свойственны всякой прозе,— погрешности в языке, в плане, в мыслях, происходящие вообще от недостатка сноровки,— было бы слишком долго перечислять, и это не относится к нашей задаче.

7. А то, чем грешат историки (я не раз, слушая их, отмечал это), ты, вероятно, и сам, если будешь внимателен, заметишь, особенно если уши твои будут открыты для всех. А пока не мешает напомнить кое-что для примера из написанных уже таким образом историй. Прежде всего рассмотрим, как сильно они грешат в следующем: большинство историков, пренебрегая описанием событий, останавливается на восхвалениях начальников и полководцев, вознося своих до небес, а враждебных неумеренно унижая. При этом они забывают, что разграничивает и отделяет историю от похвального слова не узкая полоса, а огромная стена, стоящая между ними, или, употребляя выражение музыкантов, они отстоят друг от друга на две октавы; хвалитель заботится только об одном: как можно выше превознести хвалимого и доставить ему удовольствие, хотя бы этой цели возможно было достигнуть только путем лжи; история же не выносит никакой, даже случайной и незначительной, лжи, подобно тому как, по словам врачей, дыхательное горло не выносит, чтобы в него что-нибудь попало.

8. Затем, эти люди, по-видимому, не знают, что у поэзии и поэтических произведений одни задачи и свои особые законы, у истории — другие. Там — полная свобода, и единый закон — воля поэта, так как он преисполнен божества и находится во власти муз. Ему нет запрета, если он захочет запрячь в колесницу крылатых коней или если сядет на скакуна, чтобы нестись по водам или по вершинам колосьев. И когда у поэтов Зевс на одной цепи поднимает всю землю и море,— никто не боится, чтобы она не оборвалась и все, упав, не погибло. Если же они хотят прославить Агамемнона, то никто не запретит, чтобы он головой и глазами был подобен Зевсу, грудью — его брату Посейдону,

станом — Аресу, и вообще чтобы сын Атрея и Аэропы был соединением частей всех богов, так как ни Зевс, ни Посейдон, ни Арес в отдельности не могут дать полного выражения его красоты. Чем же окажется история, если она будет применять подобную лесть, как не прозаической поэзией? При этом она будет лишена поэтической звучности, а выдумки, не скрашиваемые стихом, станут еще более бросаться в глаза. Да, это большой, вернее — огромный недостаток, если кто не умеет отличать историю от поэзии и начнет вносить в историю принадлежащие поэзии украшения, мифы, похвальные речи и свойственные им преувеличения. Это все равно, как если бы кто-нибудь одного из лучших атлетов, точно выточенных из дуба, нарядил в пурпуровое платье, снабдил украшениями гетер и стал румянить и белить ему лицо; каким смешным, о Геракл, он сделал бы его, опозорив подобным нарядом!

9. Я не хочу этим сказать, чтобы нельзя было иногда и похвалить в истории, но похвала должна быть уместна, и в ней должна соблюдаться мера, чтобы она не была неприятна будущим читателям; вообще мерилом подобных вещей должно быть мнение будущих поколений, о чем я скажу немного позже. Те же, которые думают, что правильно делить историю на приятное и полезное, и вследствие этого вносят в нее также и похвальные речи как нечто приятное и радующее читателя, — ты сам видишь, насколько они ошибаются. Прежде всего — это противопоставление ложное: у истории одна задача и цель — полезное, а оно может вытекать только из истины. Что же касается приятного, то, конечно, лучше, если и оно будет сопутствовать, как красота борцу, но если ее и не окажется, все же ничто не мешает знаменитому Никострату, сыну Исидота, считаться преемником Геракла, раз он сильнее всех своих противников, хотя бы он был и безобразен на вид и хотя бы с ним боролся красавец Алкей из Милета, как говорят, его любимец. Так и история: если в ней случайно окажется изящество, — она привлечет к себе многих поклонников, но если даже в ней будет хорошо выполнена только ее собственная задача, то есть обнаружение истины, — ей нечего заботиться о красоте.

10. Заслуживает упоминания также то, что баснословные рассказы вовсе не служат украшением для

истории, а похвалы являются вещью обоюдоострой, если, конечно, ты имеешь в виду не толпу всякого сброда, а людей, слушающих, как строгие судьи, пожалуй даже как сикофанты, от которых ничто не ускользнет, так как взор их острее, чем у Аргуса, и они видят всеми частями тела; каждое слово они взвешивают, как менялы монету, и все поддельное сейчас же отбрасывают, а берут себе только подлинное, настоящее и чисто отчеканенное. Только с такими слушателями обязан считаться пишущий, а на всех остальных не должен обращать внимания, как бы они ни рассыпались в похвалах. Если же ты, пренебрегая первыми, будешь подслащивать историю баснями и похвалами и другого рода приманками,— ты сделаешь ее подобной Гераклу, каким он был в Лидии: ведь ты, конечно, видел где-нибудь на картине его в рабстве у Омфалы, одетого в странную одежду; у Омфалы накинута на плечи львиная шкура, а в руке она держит палицу, точно она — Геракл; он же, в шафрановой и пурпуровой одежде, чешет шерсть, и Омфала бьет его сандалией. Неприятное зрелище представляет отстающая от тела и не облегающая его одежда и принявшее женственные формы мужественное тело бога.

11. Толпа, может быть, будет хвалить тебя за это, но образованные люди, которыми ты пренебрегаешь, будут смеяться досыта, видя, как искусственно склеены в твоём труде разнородные и не соответствующие друг другу части; ведь всякой вещи свойственна особая красота, и, если ее перенести на что-нибудь другое, она становится уродством. Уж я не говорю о том, что похвала приятна только тому, кого хвалят, остальным же она надоедает, особенно если в ней есть чрезмерные преувеличения,— а такой похвала бывает у большинства писателей, так как они ищут одобрения со стороны хвалимых и посвящают ей так много времени, что лесть становится всем очевидной. Такие люди не умеют поступить искусно и не затушевывают свою лесть, но, берясь за дело грубой рукой, смешивают все в одну кучу и рассказывают просто неправдоподобные вещи.

12. Таким образом, они не достигают даже того, к чему более всего стремятся; напротив, те, кого они хвалят, особенно если это люди мужественного образа мыслей,— ненавидят их и справедливо отворачиваются от них, как от льстецов. Так поступил, например,

Александр; когда Аристокбул описал поединок его с Пором и прочел ему именно это место из своего сочинения, — он рассчитывал сделать царю приятное, выдумывая ему новые подвиги и сочиняя дела бóльшие, чем на самом деле, — Александр взял книгу и бросил ее в воду (они в это время как раз плыли по реке Гидаспу) со словами: «И с тобой бы следовало сделать то же, Аристокбул, за то, что ты за меня сражался и убивал слонов одним ударом». И понятно, что Александр должен был так рассердиться, раз он не потерпел самонадеянности архитектора, который обещал превратить Афон в его изображение и придать горе черты царя, но сейчас же узнал в этом человеке льстеца и уже не привлекал его более ни к каким работам.

13. Где же после этого приятность в подобных произведениях? Пожалуй, только совершенно безрассудный человек станет радоваться подобным похвалам, которые можно сейчас же изобличить. Так безобразные люди, и в особенности женщины, приказывают художникам писать их как можно более красивыми: они думают, что станут лучше, если художник расцветит их румянцем и примешает к краске побольше белил. Таково большинство историков: они заботятся каждый о сегодняшнем дне и о пользе, которую надеются извлечь из истории; их, по справедливости, надо ненавидеть, так как по отношению к современникам они — явные и неискусные льстецы, а в глазах будущих поколений они своими преувеличениями ставят под сомнение весь труд историков. Если же кто-нибудь думает, что все-таки некоторая приятность должна быть введена в историю, то сколько есть истинно приятных вещей, заключающихся в красотах изложения! Однако большинство, пренебрегая этим, насильно вносит в историческое сочинение то, что ему совершенно чуждо.

14. Я слышал не так давно в Ионии, да, клянусь, также и в Ахайе, как историки повествовали об этой самой войне. Постараюсь пересказать, насколько помню, и пусть, во имя харит, никто не относится с недоверием к моим словам. В том, что все это правда, я бы охотно поклялся, если бы было прилично включить в сочинение клятву. Один из историков, например, начал с призыва муз, прося богинь принять участие в его труде. Видишь, какое красивое начало, как оно к лицу

истории и как оно подходит к этому виду литературы. Затем немного далее он сравнил нашего правителя с Ахиллом, а персидского царя — с Терситом, не зная, что Ахилл был куда более славен тем, что убил Гектора, а не Терсита, и тем, что впереди него бежал храбрец,

но преследовал много славнейший.

Затем он вставил самовосхваление, доказывая, что он достоин изобразить такие славные деяния. Описывая возвращение войска, он восхваляет и свою родину Милет, добавляя, что поступает лучше Гомера, который ничего не упомянул о своей родине. Затем к концу предисловия он определенно и ясно обещает наших превозносить, а с варварами воевать, насколько это будет в его силах. Начинает же он свою историю такими словами, в которых указывает вместе с тем причину начала войны: «Нечестивейший и проклятый Вологаз начал войну по следующей причине...»

15. Так пишет этот историк.

Другой — крайний последователь Фукидида, очень близко подошедший к своему образцу; он и начал так же, как тот, с собственного имени, избрав это начало, самое изящное из всех и преисполненное аттическим духом. Вот посмотри: «Креперей Кальпурниан Помпейополит написал историю войны парфян и римлян, как они воевали друг против друга, начавши свой труд тотчас после ее возникновения». После такого начала стоит ли говорить об остальном, какие у него в Армении произносят речи, состязаясь с коркирским оратором, или какую чуму он заставляет претерпеть жителей Нисибеса за то, что они не стали на сторону римлян, — все описание он заимствует целиком у Фукидида, за исключением только Пеласгикона и Длинных стен, внутри которых жили тогда большие чумой. В остальном же чума так же началась в Эфиопии, затем перешла в Египет и в обширные владения персидского царя и там, к счастью, остановилась. Я оставил его хоронящим несчастных афинян в Нисибесе, так как все равно отлично знал, что он будет говорить после моего ухода. Это — тоже одно из достаточно распространенных в наше время мнений, будто бы подражание Фукидиду состоит в том, чтобы с небольшими изменениями повторять его слова. Да,

я чуть не забыл еще об одном: этот самый историк пишет названия многих из видов оружия и военных приспособлений так, как их называют римляне, а также такие сооружения, как ров, мост и многое другое. Подумай, как это возвышает историю и как достойно Фукидида, чтобы среди аттических слов встречались италийские, подобно пурпуровой полосе, украшающей тогу, и какой блеск это придает речи и вообще как это соответствует одно другому.

16. Третий составил в своем сочинении сухой перечень событий, вполне прозаический и низкого стиля, какой мог бы написать любой воин, записывая происшествия каждого дня, или какой-нибудь плотник или торговец, следующий за войском. Но этот автор по крайней мере был скромен, — из его труда сразу видно, кто он такой; при этом он сделал подготовительную работу для какого-нибудь другого образованного человека, который сумеет взяться за написание настоящей истории. Я осуждаю его только за то, что он озаглавил свои книги высокопарно, в полном противоречии с характером его сочинения: «Каллиморфа, врача шестой когорты копьеносцев, парфянские истории», и каждую историю пронумеровал. Кроме того, он написал в высшей степени бессодержательное предисловие, в котором рассуждает таким образом: врачу свойственно писать истории, так как Асклепий — сын Аполлона, а Аполлон — предводитель муз и родоначальник всякой образованности. При этом, начав писать на ионическом наречии, не знаю зачем, он вдруг переходит на общеэллинское: то он говорит, например: «лечба», «опытанье», «колико», «болящий», то употребляет выражения, присущие обыденной речи какие можно слышать где угодно.

17. Если я должен упомянуть также о философе, то имя его пусть останется скрытым; об его образе мыслей и сочинении, которое я слышал недавно в Коринфе и которое превосходит все ожидания, я все-таки скажу кое-что. Уже в самом начале, в первой же фразе предисловия, он спрашивал читателей, спеша показать им образчик своей мудрости: разве не один только философ способен писать историю? Затем немного далее следует новый силлогизм, потом опять новый, и, таким образом, все его предисловие состоит из разных фигур силлогизмов. Льстит он до отвращения, похвалы его тяжеловесны и очень грубы, хотя

и облечены, конечно, в форму силлогизмов, построенных в виде вопросов. Неприличными и недостойными длинной седой бороды философа показались мне его слова в предисловии, будто особенно замечателен полководец тем, что описывать его деяния не считают ниже своего достоинства даже философы. Об этом, — если уж вообще у него явилась подобная мысль, — надо было предоставить судить нам, а не самому высказывать это.

18. Нельзя обойтись без упоминания и того историка, который начал таким образом: «Я хочу повествовать о римлянах и персах»; и немного далее: «Было суждено, чтобы персы потерпели поражение»; затем: «Был Хосрой, которого эллины именуют Оксироем», и так далее. Ты видишь, как он похож на второго из упомянутых мною историков, с тою только разницей, что тот воспроизводил Фукидида, а этот — Геродота.

19. Следующий, прославленный за свое красноречие, тоже похож на Фукидида или немного лучше его. Обо всех городах и горах, равнинах и реках он дал подробные разъяснения — для пущей ясности и для прочности усвоения, как он думал; но пусть лучше бог обратит эти бедствия на головы врагов. В его описании было больше холода, чем в каспийском снеге или в кельтском льду. Описание щита императора едва уместилось в целую книгу — тут и Горгона в середине щита, и ее глаза — стальные, и белые, и черные, и пояс, подобный радуге, и змеи, извивающиеся кольцами, как локоны. Но это еще ничто по сравнению с тем, сколько тысяч слов потребовалось для описания штанов Вологаза и узды его лошади, для волос Хосроя, когда он переплывал Тигр, и того, в какую пещеру он бежал, и как плющ, мирт и лавр сплели свои ветви и совершенно скрыли его в своей тени. Суди сам, насколько это все входит в задачи истории: без этого о тогдашних событиях мы бы ничего не узнали.

20. Бессильные создать что-нибудь полезное, не зная, что надо говорить, такие историки обращаются к подобным описаниям местностей и пещер; когда же они наталкиваются на крупные события, становятся похожими на разбогатевшего раба, только что получившего наследство от своего господина и не умеющего ни накинуть как следует плащ, ни порядочно есть: когда на столе птица, свинина и зайцы, он наедается вареными овощами или соленой рыбой так, что готов

лопнуть. Историк, о котором я начал говорить, описывает также совершенно невероятные раны и небывалую смерть: один у него немедленно умирает от ранения в большой палец на ноге и от крика полководца Приска двадцать семь воинов падают, потеряв сознание. А относительно числа убитых он врал, противореча даже донесениям военачальников. Например, у Еуропа, по его словам, врагов погибло 370 206 человек, а римлян — только двое и девять было ранено. Не знаю, как здравомыслящий человек может этому поверить.

21. Надо упомянуть еще об одном немаловажном обстоятельстве. Вследствие своего крайнего аттицизма и в стремлении к строгому и чистому языку он нашел нужным переделывать римские имена и переводить их на греческий язык. Так, Сатурнина он называет Кронием, Фронтон — Фронтидом, Титиана — Титанием, и так далее, часто еще смешнее. Кроме того, этот самый человек написал еще о кончине Севериана, будто все остальные заблуждаются, думая, что он умер от меча, на самом же деле он будто бы умер голодной смертью; такая смерть ему кажется наиболее легкой. Но он, очевидно, не знает, что все страдания Севериана продолжались не более трех дней, а воздерживающиеся от пищи в большинстве случаев живут до семи дней, так что остается предположить, что Хосрой выжидал, пока Севериан не умрет от голоду, и потому не наступал в продолжение недели.

22. А как оценить, мой милый Филон, тех, которые употребляют в историческом сочинении поэтические выражения и говорят, например: «Двинулась осадная машина, и стена с шумом мощно пала на землю», и затем в другой части своей прекрасной истории: «Так Эдесса бряцала оружием, и все так оглашалось гулом и треском», или: «Вождь был полон дум, как лучше всего подвести войска к стене». И среди этого вдруг вводят такие дешевые и простонародные, даже нищенские обороты, как: «Начальник лагеря написал господину», или: «Солдаты стали покупать съестное», или: «Они уже выкупались и занялись собою», и т. п. Таким образом, их работа напоминает трагического актера, у которого на одной ноге котурн, а на другой — сандалия.

23. А то еще встречаешь других, тех, что пишут предисловия в блестящем, высоком стиле и делают их

излишне длинными, так что готовишься услышать после этого чуда; главная же часть сочинения оказывается у них маленькой и невзрачной, и вся книга напоминает ребенка, скажем Эрота, в шутку надевшего огромную маску Геракла или Титана. Слушатели сейчас же кричат им: «Гора родила мышь». По-моему, надо поступать иначе: необходимо выдерживать все в одном тоне, так, чтобы тело подходило к голове и чтобы не был шлем золотым, панцирь же — сшитым из каких-то смешных лохмотьев или из кусков гнилой кожи, щит — из ивовых веток, а поножи — из свиной кожи. В таких историках, которые не задумались бы, пожалуй, приставить голову Родосского колосса к телу карлика, недостатка нет; другие, напротив, выводят безголовые тела и ссылаются при этом как на своего союзника на Ксенофонта, который начал так: «У Дария и Парисатиды было двое детей», и на многих других из старых историков. Но они не знают, что бывают предисловия, которых многие не замечают, хотя они по существу являются таковыми, как мы это и покажем в другом месте.

24. Эти погрешности в языке или в общем построении еще можно терпеть, но если историки врут относительно местности и притом ошибаются не на парасанги, а на целые дневные переходы, то как это называть? Один, например, так легкомысленно отнесся к делу, что, не видя никогда сирийцев и, как говорится, даже в цирюльнях не слыша рассказов о подобных вещах, пишет о Европе: «Европ лежит в Месопотамии, в двух днях пути от Евфрата, и является колонией Эдессы». Но и этого ему было мало: и мой родной город Самосату этот благородный муж в той же книге, подняв с места вместе с акрополем и стенами, перенес в Месопотамию, так что обтекают город две реки и чуть ли не касаются стен. И не смешно ли, что мне приходится теперь оправдываться перед тобой, милый Филон, и доказывать, что я не уроженец Парфии или Месопотамии, куда переселил меня этот удивительный историк.

25. Этот человек передает следующий — клянусь Зевсом — совершенно правдоподобный рассказ о Севериане, торжественно заверяя, что слышал его от одного из бежавших с самого поля боя: Севериан, оказывается, не захотел лишиться себя жизни при помощи меча, яда или петли, но изобрел достойный трагедии способ

самоубийства, до сих пор совершенно неизвестный: у него были случайно очень большие кубки отличного стекла; когда Севериан окончательно решил умереть, он разбил самый большой из этих кубков и воспользовался осколком, чтобы лишить себя жизни, перерезав себе стеклом горло. Итак, он не нашел ни кинжала, ни завалящего копья, чтобы умереть смертью, достойной мужчины и героя.

26. Затем, поскольку Фукидид написал надгробную речь в честь первых из павших на описанной им войне, наш историк нашел нужным напутствовать Севериана в могилу; ведь все историки состязаются с Фукидидом, хоть он и не несет ответственности за поражения в Армении. Похоронив великолепным образом Севериана, он выводит на могилу какого-то центуриона Афрания Силона, соперника Перикла, который говорил так долго и такие вещи, что, клянусь харитами, я плакал от смеха, особенно когда к концу речи оратор Афраний со слезами и болезненными воплями стал вспоминать щедрые пиры и попойки, а затем присовокупил совершенно аянтовскую концовку: выхватил меч и благородно, как и подобало Афранию, на глазах у всех, убил себя на могиле, — и действительно, клянусь Эниалием, он вполне заслужил смерть на том месте, где произнес такую речь.

Видя это, как он говорит, все присутствующие восхищались и восхваляли Афрания. Я же, осуждая его за то, что он вспоминал чуть ли не похлебки и посуду и плакал при мысли о кренделях, осудил его еще более за то, что он умер, не убив сначала автора всей этой трагедии.

27. Я мог бы перечислить, мой друг, еще много других подобных историков, но довольно и тех, что я уже упомянул. Перейду ко второму моему обещанию — к советам, каким образом можно лучше описать историю. Есть люди, которые пропускают или только бегло упоминают крупные и достойные памяти события и, вследствие неумения или недостатка вкуса не зная, о чем надо говорить и о чем молчать, останавливаются на мелочах, долго и тщательно описывая их; они поступают подобно тому, кто в Олимпии не смотрел бы на всю величественную и замечательную красоту изображения Зевса, не хвалил бы ее и не рассказывал бы о ней тем, кто ее не видел, а стал бы удивляться хо-

рошей и тонкой отделке подножия и соразмерности основания и все это тщательно описывал.

28. Я, например, слышал, как один историк упомянул о битве при Европе менее чем в семи строках, но зато потратил двадцать или еще более того мер воды на пустой и не имеющий никакого отношения к делу рассказ о том, как какой-то всадник, мавр, по имени Мавсак, блуждал по горам, ища воды, чтобы напиться, и встретил несколько сирийских земледельцев за завтраком. Сначала те испугались его, но затем, узнав, что он из их друзей, приняли его и угостили; оказалось, что один из них сам был в Мавритании, так как там служил в войске его брат.

Затем следуют длинные рассказы и отступления о том, как он охотился в Мавритании, как видел там слонов, пасущихся стадами, и как едва не был съеден львом, и каких больших рыб покупал в Цезарее. И вот наш удивительный историк, оставив ужасную резню при Европе, конные сражения и вынужденное перемирие, свою и вражескую стражу, до позднего вечера стоял и смотрел, как сириец Мальхион дешево покупал в Цезарее огромных рыб, и, если бы не наступила ночь, он, вероятно, дождался бы, когда эти рыбы будут приготовлены, и пообедал бы с ним. Если бы он всего этого тщательно не записал в своей истории, мы оставались бы в неведении относительно важных вещей и для римлян было бы непоправимым ущербом, если бы мавр Мавсан, страдая от жажды, не нашел воды и вернулся в лагерь, не пообедав. А я, однако, умышленно опустил много еще более важного: что к ним пришла флейтистка из соседней деревни, и что они обменялись подарками, мавр подарил Мальхиону кинжал, а тот Мавсаку — пряжку, и еще многое другое, составляющее, очевидно, самую сущность битвы при Европе. Таким образом, по справедливости можно сказать, что подобные люди не видят самой розы, но отлично усматривают шипы на ее стебле.

29. Другой историк, также довольно странный человек, не выходивший никогда ни на шаг из Коринфа, не бывавший даже в Кенхреях, а не то чтобы в Сирии или Армении, начал такими словами, — они мне запомнились: «Ушам следует доверять менее, чем глазам, а потому я пишу, что видел, а не то, о чем слышал». А видел он все так хорошо, что считает парфянских змей, которые являются значками военных

отрядов (если не ошибаюсь, один змей полагается на отряд в тысячу человек), огромными живыми змеями, которые водятся в Персии, за Иберией. Этих змей парфяне, по его словам, привязывают к длинным палкам и держат высоко над головой, чтобы издали нагонять страх, наступая, и затем, уже в сражении, отвязывают их и посылают на врагов. Очевидно, многие из наших были проглочены таким образом, а другие, обвитые змеями, задушены и раздавлены. А историк стоял и смотрел на это, конечно, в безопасном месте и с высокого дерева делал свои наблюдения; и он хорошо поступил, что не начал боя с этими животными, иначе у нас не было бы теперь такого удивительного историка и притом лично совершившего столько великих и славных подвигов в этой войне. Он ведь подвергался опасности и был ранен под Сурой, очевидно, когда гулял от Крания к берегу Лерны.

И все это наш историк читал перед коринфянами, которые отлично знали, что он даже на картине не видел никогда войны. Мало того, он не был знаком ни с оружием, ни с осадными машинами и не знал названий военных построений и отрядов; поэтому он и не придавал большого значения тому, что называл флангу — флангом, а крыло смешивал с центром.

30. Один какой-то чужак все события, случившиеся с начала до конца войны в Армении, в Сирии, в Месопотамии, на Тигре и в Лидии, скомкал, уместив менее чем в пятьсот строк, и думает, что написал историю. Заглавие же поставил чуть ли не длиннее, чем его сочинение: «Антиохиана, победителя на священных играх Аполлона (вероятно, будучи ребенком, он победил в беге), изложение недавних деяний римлян в Армении, Месопотамии и Лидии».

31. Я слышал также историка, написавшего историю будущих событий: взятие в плен Вологаза и смерть Хосроя, который будет брошен льву, а в особенности так страстно желаемый нами триумф. Очевидно, он владел даром пророчества, а кроме того, ему хотелось дойти до конца своей работы. Он построил даже город в Месопотамии, величайший и красивейший в мире, и теперь обдумывает и колеблется, как его назвать: «Победным» ли в память победы, или «Городом Согласия», или «Городом Мира». Это еще не решено, и прекрасный город, полный болтовни и тупоумия историков, остается пока безымянным. Кроме то-

го, он обещал описать и предстоящие подвиги в Индии, и плавание вдоль берегов океана, и это не остается одними обещаниями: уже готово предисловие к индийской истории, и третий легион, галаты и небольшой отряд мавров, во главе с Кассием, уже перешли реку Инд. А что они там будут делать и каким образом выдержат нападение слонов,— об этом в скором времени этот удивительный историк сообщит нам из Музириды или из страны оксидраков.

32. Много подобных вещей болтают историки вследствие своего невежества, ибо не видят нужного, а если бы и видели, то не в состоянии были бы как следует рассказать; они изобретают и выдумывают, что только придет в голову, гордятся числом книг и особенно их названиями, которые также бывают забавными; «Такого-то, Побед над парфянами столько-то книг», или «Парфиды (явно наподобие Аттид), книга первая и вторая»; другой называет свое сочинение гораздо изысканнее, я это сам читал: «Деметрия из Сагаласса, Победоносная война с парфянами».

Я привел все это не для того, чтобы выставить в смешном виде такие прекрасные исторические труды и позабавиться на их счет, но ради пользы: тот, кто избегает этих и подобных ошибок, достигнет уже значительного успеха в писании; вернее, ему будет недоставать лишь немногого, коль скоро правильно учит диалектика, что если два положения противоположны друг другу, а третьего не дано, то при уничтожении одного неизбежно вступает в силу другое.

33. Кто-нибудь может сказать: теперь для тебя почва хорошо расчищена, все шипы уничтожены, терновник вырублен, чужие обломки унесены, и если были где-либо неровности — они сглажены, поэтому построй теперь что-нибудь и сам с целью доказать, что ты умеешь не только разрушать чужое, но и сам можешь придумать дельное, над чем никто, даже сам Мом, не в состоянии будет посмеяться.

34. Итак, я утверждаю, что желающий написать хорошую книгу по истории должен с самого начала обладать двумя основными достоинствами: государственным чутьем и умением излагать; первому нельзя научиться,— оно является даром природы; второе достигается в значительной степени упражнением, непрерывным трудом и подражанием древним. Ни то, ни другое не требует никакой теории и не нуждается

в моих советах. И моя книжка не обещает сделать умными и проницательными тех, кто не обладает этими качествами от природы; она была бы очень драгоценной,— вернее, неоценимой, если бы способна была совершать превращения, например свинец обращать в золото, или олово — в серебро, или Конона — в Титорма, а Леотрофида — в Милона.

35. Но для чего же могут быть полезны теория и советы? Они не создают надлежащих свойств, но учат, каким образом ими следует пользоваться. Так, очевидно, Икк, или Геродик, или Феан, или какой-нибудь другой учитель гимнастики, имея учеником Пердикку [если это действительно он, влюбившись в известную свою мачеху, совсем зачах, а не Антиох, сын Селевка, влюбившийся в известную Стратонику], не возьмется сделать его победителем на Олимпийских играх и соперником Феагена с Фасоса или Полидаманта из Скотусы, но сможет лишь усовершенствовать при помощи теории хорошие природные задатки для гимнастики. Так и нам пусть будут чужды такие опасные обещания. Мы не утверждаем, что изобрели теорию того великого трудного дела, не говорим каждому встречному, что сделаем из него историка, но обещаем только человеку умному от природы и искусному в речах указать несколько верных путей, пользуясь которыми,— конечно, если они покажутся ему верными,— он скорее и легче достигнет цели.

36. Ты, конечно, не станешь утверждать, будто умный человек не нуждается в теории и обучении тому, чего не знает. Если бы это было так, он мог бы, не учась, все-таки играть на лире или на флейте и все умел бы делать; однако он этого не сделает, не учившись, но если кто-нибудь ему покажет, он легко научится и хорошо справится с работой.

37. Пусть и мне будет дан такой ученик — способный понимать и излагать свои мысли, проницательный, могущий справиться с порученными ему общественными делами, обладающий военными и государственными способностями, опытный в военном деле и, конечно, бывавший в лагере и видевший, как упражняются и строятся солдаты, знакомый с оружием и осадными сооружениями, знающий, что такое фланг и фронт и каковы задачи пеших отрядов конницы, откуда и как следует развертываться и обходить против-

ника,— словом, нам нужен не домосед и не человек, способный только верить рассказам.

38. Прежде же всего пусть суждения его будут свободны и пусть он не боится никого и ни на что не надеется, иначе он будет похож на плохих судей, которые судят пристрастно и за деньги; и пусть ученик не боится изобразить Филиппа таким, как он был при Олинфе,— с глазом, выбитым стрелком Астером из Амфиполя, пусть не боится, что Александр останется недоволен, если без прикрас будет описано жестокое убийство Клита во время пира; хотя Клеон имеет такую силу в Народном собрании и держит в своей власти ораторскую трибуну,— пусть он все-таки не побояется сказать, что он вредный и безумный человек, а страх перед целым городом афинян пусть не остановит его поведать о сицилийском поражении, взятии в плен Демосфена, смерти Никия и о том, как они там страдали от жажды и какую воду пили и как большинство из них в это время было перебито. Он должен считать — и это справедливо, — что не один здравомыслящий человек не поставит ему в упрек описания несчастий и безумных поступков, согласного с действительностью. Ведь не он их виновник, он только повествователь. Так что, если афиняне терпят крушение,— не автор их топит, если принуждены обратиться в бегство,— не он их преследует, разве только он забыл помолиться, когда следовало. Если бы Фукидид мог исправить несчастья, умолчав или рассказав обратное,— конечно, ему ничего не стоило бы легким движением пера разрушить вражеское укрепление в Эпиполах, потопить триеру Гемократа и убить проклятого Гилиппа в то время, как он перерезал дороги валами и рвами, и, наконец, сиракузян отправить в каменоломни, а афинянам дать возможность обогнуть Сицилию и Италию согласно первоначальным надеждам Алкивиада. Но, я думаю, то, что совершилось, даже Клото не может уже восстановить или Атропос изменить.

39. Итак, единственное дело историка — рассказывать все так, как оно было. А этого он не может сделать, если боится Артаксеркса, будучи его врачом, или надеется получить в награду, за похвалы, содержащиеся в его книге, пурпурный кафтан, золотой панцирь, нисейскую лошадь. Но этого не сделает ни Ксенофонт — настоящий историк, ни Фукидид; напротив, ес-

ли он лично и ненавидит кого-нибудь, — общий интерес будет ему ближе, и истину он поставит выше личной вражды и любимого человека не пощадит, если тот ошибается; вот в чем (я уже говорил) сущность истории, и тот, кто собирается заниматься ею, должен служить только одной истине, а всем остальным пренебрегать; вообще у него может быть только одно верное мерило: считаться не с теперешними слушателями, а с теми, кто впоследствии будет читать его книги.

40. Если же человек служит сегодняшнему дню — его по справедливости можно причислить к шайке льстецов, которых история уже давно, с самого начала, отвергла так же, как гимнастика — косметикку. По этому поводу можно вспомнить слова Александра, который сказал: «Я хотел бы, Онесикрит, после смерти ненадолго воскреснуть, чтобы видеть, как люди тогда будут читать твою работу. Если они теперь ее хвалят и приветствуют, — не удивляйся: они думают, что это является приманкой, на которую каждый из них поймает мое благоволение». Гомеру, хотя он и написал много баснословного об Ахилле, некоторые склонны верить и приводят как доказательство истины тот важный довод, что поэт писал о нем после его смерти, а потому они не видят оснований, почему бы Гомер стал говорить неправду.

41. Итак, да будет мой историк таков: бесстрашен, неподкупен, независим, друг свободного слова и истины, называющий, как говорит комический писатель, смокву смоквой, а корыто — корытом, не руководящийся ни в чем дружбой или враждой, не знающий пощады или жалости, ложного стыда или страха, справедливый судья, доброжелательный ко всем настолько, чтобы никому не давать больше, чем он того заслужил, чужестранец, пока он пишет свой труд, не имеющий родины, не знающий никакого закона, кроме самого себя, не имеющий над собой никакого владыки, не мечущийся во все стороны в зависимости от чужого мнения, но описывающий то, что есть на самом деле.

42. Ведь Фукидид дал этому прекрасное определение, разграничив достоинства и пороки в историческом сочинении. Он наблюдал сильнейшее восхищение Геродотом, книги которого даже получили имена муз, и сказал тогда Фукидид, что высшее достоинство состоит в том, чтобы писать для вечности, а не в пого-

не за популярностью у современников, не в том оно, чтобы наслаждаться баснями, но в том, чтобы передать потомкам правдивый рассказ о событиях. Фукидид имеет в виду, по его словам, ту пользу, какую могут извлечь из истории здравомыслящие люди, а именно: если произойдут когда-либо аналогичные события, то они, читая написанное раньше, сумеют правильно отнестись к современности.

43. Пусть же явится историк с такими взглядами на свою задачу. Относительно же языка и способа изложения я скажу следующее: пусть историк приступает к работе, не отточив свой язык для страстного и едкого стиля, изобилующего периодами, запутанными умозаключениями и вообще всевозможными хитросплетениями риторики, но пусть он будет настроен мягче. Суждение его должно быть метким и богатым мыслями, а язык — ясным и достойным образованного человека, чтобы им можно было наиболее отчетливо выражать мысль.

44. Подобно тому как главным для направления мыслей историка мы считаем искренность и правдолюбие, так для его изложения единственной и первой задачей является: ясно выразить и как можно нагляднее описать события, не пользуясь непонятными и непотребительными, ни будничными и вульгарными словами, но такими, чтобы все понимали их, а образованные — хвалили. Изложение может быть украшено фигурами, а особенно такими, которые не носят на себе отпечатка искусственности, и в такой степени, чтобы они не надоедали; благодаря им речь делается похожей на хорошо приготовленное блюдо.

45. Характер историка пусть не будет чужд поэзии, но соприкасается с нею, поскольку историческое сочинение предполагает велеречивость и возвышенность, в особенности когда речь заходит о военном строе, о битвах и морских сражениях; историк нуждается тогда как бы в дуновении поэтического ветра, попутного для его корабля, который будет гордо нести его по гребням волн. Язык же историка все-таки пусть не возносится над землей, красота и величие предмета должны его возвышать и как можно более уподоблять себе, но он не должен искать необычных выражений и некстати вдохновляться, — иначе ему грозит большая опасность выйти из колеи и быть унесенным в безумной поэтической пляске. Таким образом, надо пови-

новаться узде и быть сдержанным, помня: «высоко парить» даже на словах представляет большую опасность. Лучше, когда мысли мчатся на коне, а язык следует за ними пешком, держась за седло и не отставая при беге.

46. И в построении фраз следует соблюдать соразмерность и норму: не нужно вовсе чуждаться ритма, ибо иначе речь станет шероховатой, но и не следует (а так поступают многие) почти целиком переходить на ритмическую прозу; второе вызывает осуждение, первое неприятно для слуха.

47. Что же касается до фактов, то их надо отбирать не как придется, но трудолюбиво и тщательно, обдумывая все по нескольку раз; лучше всего писать о том, что сам видел и наблюдал. Если же это невозможно, то прислушайся к тем, кто наиболее беспристрастно рассказывает и кто, как можно предполагать, из любви или вражды ни о чем не умолчит и ничего не прибавит к действительности. Для этого историку нужно особое чутье и дар сопоставлять, находя наиболее заслуживающее доверия.

48. После того как историк соберет все или большую часть материала, пусть он сделает набросок, представляющий собой остов, еще лишенный украшений и не разделенный на части; затем, приведя все в порядок, пусть наводит красоту и расцветчивает свой рассказ фигурами речи и занимается ритмом.

49. Вообще историк должен быть похож в это время на гомеровского Зевса, который созерцает то области всадников-фракийцев, то землю мизийцев: так и он должен видеть и изображать нам то события в нашем лагере, как они представляются ему, наблюдающему как бы с птичьего полета, то у персов или и то и другое вместе, если происходит сражение. И во время самой битвы он должен смотреть не на одну какую-нибудь часть и не на одного определенного всадника или пехотинца,—если только это не Брасид, стремящийся вперед, и не Демосфен, препятствующий высадке,—но сначала на полководцев, и, если они будут ободрять воинов, он должен и это слышать и заметить, как они построили свое войско, из каких соображений и в каких целях. Затем, когда все смешаются, взор должен охватывать все; историк должен взвешивать события, как на весах, и следовать за преследующими и за бегущими.

50. Всему автор должен знать меру, чтобы рассказ не надоел, чтобы он не был безвкусным или игривым; историк должен уметь с легкостью оборвать повествование, должен переходить с места на место, если происходят важные события, и снова возвращаться, если дело этого требует. Всюду автор должен поспевать и, насколько возможно, соблюдать последовательность, переносясь из Армении в Мидию, а оттуда одним взмахом крыльев в Иберию, затем в Италию, чтобы нигде не упустить ни одного обстоятельства.

51. Но важнее всего, чтобы ум историка походил на зеркало, чистое, блестящее и правильно отшлифованное; какими оно принимает образы вещей, такими должно и отражать, ничего не показывая искривленным, или неправильно окрашенным, или измененным. Задача историков не такова, как у ораторов; то, о чем надо говорить, должно быть рассказано так, как оно есть на самом деле. Ведь все это уже совершилось,— надо только расположить все и изложить.

Таким образом, историк должен обдумывать не *что* сказать, но *как* сказать. Вообще надо считать, что историк должен походить на Фидия и Праксителя или Алкамена или на кого-либо другого из художников, так как и они не создавали золота, или серебра, или слоновой кости, или другого материала: он уже существовал и имелся налицо, добываемый элейцами, или афинянами, или аргивянами. Художники же только ваяли, пилили слоновую кость, обтачивали ее, склеивали, и придавали соразмерный вид, и украшали золотом. Искусство состояло в том, чтобы должным образом использовать материал. Такова приблизительно и задача историка: хорошо распределить события и возможно более отчетливо их передать. Если кому-нибудь из слушателей покажется после этого, что перед его глазами проходит все, о чем говорится, и за это он похвалит историка, тогда, значит, действительно историк хорошо выполнил труд Фидия и получил похвалу по заслугам.

52. Когда уже все подготовлено, историк может начать иногда и без особого предисловия, если он не чувствует особой потребности подготовить к главной части; по существу, у него и тогда будет предисловие, разъясняющее, что он будет говорить.

53. Если же историк пишет предисловие,— в него должны входить две вещи, а не три, как у ораторов: не

взывая к благосклонности слушателей, пусть он возбуждает в них только внимание и любознательность. Они будут внимательны, если автор укажет, что будет говорить о вещах важных, или необходимых, или близких им, или полезных; а доступным и ясным он сделает дальнейшее изложение, указывая заранее причины и выдвигая главнейшие события.

54. Таковы были предисловия у лучших историков: так, Геродот заботится, чтобы время не изгладило великих и достойных удивления событий, свидетельствующих о победах эллинов и поражениях варваров. Фукидид также начинает писать, ожидая, что эта война будет великой, и достопамятной, и более значительной, чем все бывшие до тех пор, так как и бедствия во время нее были велики.

55. После предисловия, которое, сообразно с предметом, будет или пространным, или сжатым, переход к изложению должен быть плавным и не резким. Вся остальная часть исторического сочинения является длинным изложением, поэтому она должна обладать свойственными изложению качествами: течь гладко и ровно, всегда одинаково, без скачков вверх и вниз, отличаться ясностью, что достигается, с одной стороны, способом выражения, как я уже говорил, с другой стороны — соответственным распределением материала. Пусть историк все расчленит и округлит одно, а затем, закончив, переходит к дальнейшему. При этом одно должно вытекать из другого и быть связано с ним, как связаны между собой звенья цепи, — так, чтобы изложение не разбивалось и не получались отдельные рассказы, один рядом с другим, а чтобы всегда они не только внешним образом соприкасались, но были связаны друг с другом общностью и сливались на границах.

56. Прежде всего полезна краткость, особенно если нет недостатка в сведениях; и ее надо достигать не столько сокращением числа слов, сколько данных. Я хочу этим сказать, что надо упоминать вскользь мелочи и менее важное, зато достаточно долго останавливаться на крупном; многое можно даже совсем пропустить. Ведь когда ты угощаешь друзей и у тебя все приготовлено, не станешь ты среди пирогов, птиц, ветреп, зайцев, грудинки и всевозможных блюд подавать также соленую рыбу и вареные овощи потому

только, что и это приготовлено,— ты пренебрежешь этими дешевыми вещами.

57. Всего более надо проявлять сдержанность в отношении гор, стен или рек, чтобы не казалось, что ты, между прочим, хочешь выказать, и притом очень некстати, твое искусство в речи и, забывая об истории, занимаешься тем, что тебе ближе; слегка коснувшись этого, насколько это полезно для твоей цели и требуется ясностью изложения, возвращаясь к основной задаче, избегая соблазна, который заключается в этих отступлениях. Ты видишь, что и вдохновенный Гомер поступал так же, несмотря на то, что был поэт: он вскользь упоминает Тантала, Иксиона, Тития и других, а если бы это описывал Парфений, или Евфорион, или Каллимах, как ты думаешь, сколько бы стихов понадобилось, чтобы донести воду до губ Тантала, или в скольких стихах он кружил бы Иксиона? Посмотри, как Фукидид, умеренно пользуясь этим литературным приемом, кратко описывает какую-нибудь машину, или способ осады, или укрепление Эпипол, или сиракузскую гавань и сейчас же переходит к другому, хотя описываемое близко относится к делу и полезно. Правда, в описании чумы он может показаться многоречивым, но всмотришься в суть дела — и ты увидишь его краткость: самый предмет своею важностью как бы задерживает его стремление вперед.

58. Если же понадобится, чтобы кто-нибудь произносил речь,— прежде всего необходимо, чтобы эта речь соответствовала данному лицу и близко касалась дела, а затем и тут надо стремиться к возможной ясности; впрочем, здесь тебе представится возможность проявить твое знакомство с ораторскими приемами и красноречие.

59. Похвала и хула должны быть крайне сдержанными, осторожными, чуждыми клеветы, снабженными доказательствами, краткими, уместными, так как историк говорит не перед судом. Иначе тебя будут обвинять в том, в чем обвиняют Феопомпа, который сварливо осуждал почти все и сделал это своим любимым занятием, так что он более судит, чем излагает события.

60. Если придется к слову, можно передать и миф, но не следует ему безусловно доверять, лучше не решать этого вопроса, чтобы каждый судил об этом как

захочет; таким образом, ты, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону, будешь свободен от упреков.

61. В общем же помни следующее — я это часто повторяю: не пиши, считаясь только с настоящим, чтобы современники тебя хвалили и почитали, но работай, имея в виду будущее, пиши лучше для последующих поколений и от них добивайся награды за свой труд, чтобы и о тебе говорили: «Это действительно был свободный человек, исполненный искренности; в нем не было ничего льстивого или рабского, и во всем, что он говорил, заключается правда». Вот что разумный человек поставит выше всех предметов стремлений, которые так недолговечны.

62. Посмотрите, как поступил книдский архитектор: построил величайшее и прекраснейшее сооружение — маяк на Фаросе, чтобы он на большое пространство светил мореплавателям и чтобы они благодаря этому не уклонялись в сторону Паретония, — как говорят, очень опасного места, откуда нельзя спастись, если наткнешься на подводные камни. Итак, построив такое сооружение, строитель внутри на камнях написал собственное имя, а затем, покрыв его известью, написал поверх имя тогдашнего царя, предвидя, как это и случилось, что оно очень скоро упадет вместе со штукатуркой и обнаружится надпись: «Сострат, сын Дексифона, книдиец, богам-спасителям во здравие мореплавателей». Он считался не со своим временем, а с вечностью, пока будет стоять маяк — произведение его искусства.

63. Так надо писать и историю: правдиво, имея в виду то, чего можно ожидать от будущего, а не льстиво, ради удовольствия современников. Вот тебе правило и мерило истинной исторической книги; если им будут мерить, — хорошо: значит, оно верно написано, если же нет, — все-таки и я катал «глиняный горшок на Крании».





КОММЕНТАРИИ

Основные рукописи греческого корпуса сочинений Лукиана относятся к византийскому периоду (X—XI вв.). Первое издание Лукиана появилось во Флоренции (1496 г.) под редакцией известного греческого филолога И. Ласкариса. Наиболее важные научные издания сочинений Лукиана: С. Jakobitz (1836—1841), J. Sommerbrodt (1886—1899), W. Dindorf (1858), F.-N. Nillen (1906, 1923), A.-M. Harmon and M.-D. Macleod (1979), выпущенные в Германии и Англии.

Первый полный русский перевод сочинений Лукиана в двух томах под редакцией Б. Л. Богаевского опубликован в 1935 г. издательством «Academia». В 1962 г. вышел однотомник: Лукиан и Замосаты. Избранное. М.: ГИХЛ. В 1987 г. в серии «Библиотека античной литературы» издано: Лукиан. Избранное. М.: Художественная литература.

Имена, названия и термины, не объясненные в комментариях, следует смотреть в Словаре мифологических, исторических имен, терминов и географических наименований.

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ ЖИЗНЬ ЛУКИАНА

Данное сочинение относится к жанру вступительной речи и было обращено к землякам Лукиана в Самосате, куда он вернулся уже прославленным софистом. В свои автобиографические воспоминания Лукиан включил эпизод сна, в котором ему пригрезились две соперничающие женщины — Скулыгтура и Образованность, каждая из которых старалась склонить его на свой путь. Прообразом этого сна послужила знаменитая притча софиста Продика о Геракле на распутье, пересказанная Ксенофонтом («Воспоминания о Сократе», II, I, 21), где Геракл должен был выбрать трудный путь к добродетели.

2. ...я соскабливал с дощечки воск...— В Греции и в Риме писали на табличках, покрытых воском, специальной заостренной палочкой — стилем.

5. Цитата из «Илиады» (II, 56 сл.).

11. сидеть на почетном месте в театре.— Граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед государством, получали почетное право сидеть в первом ряду на празднествах и в театре.

12. ...Сократ, воспитанный Скульптурой...— Сократ был сыном скульптора и повитухи.

17. ...Ксенофонт как-то рассказывал о своем сне...— См. «Анабасис» (III, I, 11).

ПОХВАЛА РОДИНЕ

1. ...«нет ничего сладостнее отчизны».— «Одиссея» (IX, 34).

10. ...«камениста и скудна плодородною почвой».— «Одиссея» (IV, 605).

...«питающую добрых юношей».— «Одиссея» (IX, 27).

11. ...даже если он островитянин...— Имеется в виду Одиссей, царь острова Итаки, долго скитавшийся по чужим странам.

ЧЕЛОВЕКУ, НАЗВАВШЕМУ МЕНЯ «ПРОМЕТЕЕМ КРАСНОРЕЧИЯ»

2. ...в каком прозвал... Клеона комический поэт.— Клеон выведен в пародийной роли пафлагонского раба в комедии Аристофана «Всадники» (424 г. до н.э.).

Да и сами афиняне имеют обыкновение «Прометейми» звать горшечников...— См. Ювенал, «Сатиры» (IV, 133).

6. ...что они-де занимаются неземными тонкостями.— Философский диалог был создан в школе учеников Сократа, высмеянного Аристофаном в комедии «Облака». В ней Сократ и его ученики занимаются всяческими нелепостями: измеряют блошинные прыжки, исследуют, чем питается комар, поклоняются облакам и т.п. (см. «Облака», 144 сл., 229 сл.).

7. ...подсунул им кости, прикрытые туком...— После победы над титанами Зевс и другие олимпийские боги договорились с людьми о жертвоприношениях. Прометей, представляя людей, решил перехитрить Зевса и подсунул ему кости, покрытые сверху жиром (ср. «Разговоры богов», I, 1).

ГЕРМОТИМ, ИЛИ О ВЫБОРЕ ФИЛОСОФИИ

Этот самый большой из лукиановских диалогов написан в духе Платона и вполне серьезно критикует положения традиционных философских школ, обнаруживая их противоречивость и эпигонский характер. Автором ставится вопрос о правильном выборе философской школы. Лукиан, выступающий под именем Ликина (см. «Пир, или Лапифы», коммент.), делает свой трудный выбор. Оказав-

шись в тупиковой ситуации, он как будто бы отказывается от философии вообще, но, по сути, отрицает лишь спекулятивную, умозрительную философию, а не философию, связанную с жизнью. Его совет избегать философов как бешеных собак и обратиться к жизни простых людей (86) означает не что иное, как разочарование в современной ему лжефилософии и обращение к той единственной, что еще сохранила живой дух критицизма и призывает к борьбе с несправедливостью, то есть к кинизму. «Гермотим...» относится к периоду перехода Лукиана от риторики к философии (конец 50-х и начало 60-х гг. II в.).

1. *Косский врач*—«отец медицины» Гиппократ, уроженец острова Коса.

2. *...Добродетель живет очень далеко...*— Имеются в виду слова Гесиода («Труды и дни», 288).

3. *...начало...*— половина всего дела...— См. Гесиод («Труды и дни», 40).

...он спускает... золотую цепь...— См. «Разговоры богов», коммент. (XXI, 1).

4. *...после мистерий или по окончании панафинейских праздников?*— Имеются в виду Элевсинские мистерии в честь богини Деметры, отмечаемые ежегодно. Панафинеи — торжества в честь покровительницы города Афины, проводились раз в четыре года в конце лета.

...к следующей олимпиаде?— См. «О смерти Перегриня», коммент. (20). Летосчисление по олимпиадам (четырёхлетиям) связывается с именем сицилийского историка Тимея (IV в. до н.э.).

9. *Архонт*— высшая административная должность в Афинах; избирались Народным собранием на один год.

12. *Кубок Нестора*.— См. «Илиада» (XI, 636).

15. *Пифиец, что ли, направил тебя, как Херефонта...*— Дельфийский оракул Пифийца, то есть Аполлона, спрошенный Херефонтом, направил его к Сократу, назвав его самым мудрым из людей (см. Платон, «Апология Сократа», 21a).

28. *...я говорю о Тевкре*.— Тевкр — персонаж из «Илиады», сын саламинского царя Теламона, знаменитый стрелок из лука (см. «Илиада», XXIII, 867).

33. *...слова, сказанные Ахиллом о Гекторе...*— См. «Илиада» (XVI, 70).

47. *Слова одного мудреца*.— См. Эпихарм (фрагм. 250). Эпихарм — виднейший представитель сицилийской комедии (VI—V вв. до н.э.). В древности славился его афоризмы.

48. *Пять лет молчания*— одно из главных требований к последователям Пифагора.

63. *...сошлюсь на самого поэта...*— Гомер, «Илиада» (XI, 654).

76. *...до архонта Евклида*.— В Афинах год называли по имени одного из правителей государства. Евклид был архонтом в 403—402 гг. до н.э., когда в Афинах была восстановлена демократия.

81. *...как крокодил утащил ребенка... рога нам хочет отстрелить...*— Здесь упоминаются примеры силлогизмов, софизмы, поня-

тия и термины («случайное», «постоянное», «понимание», «воображение»), популярные у стоиков и высмеиваемые автором. Пример с крокодилом — одно из популярных в античности упражнений на сообразительность: крокодил обещает вернуть отцу похищенного ребенка, если тот угадает, что у крокодила на уме; приписывается стоику Хрисиппу. О силлогизме «рогатый» — см. «Разговоры в царстве мертвых», коммент. (I, 2).

...*будто бог не на небе живет, а прогуливается по всем вещам*... — Характерный для стоиков пантеистический тезис.

86. ...*пить... отвар чемерицы*... — Чемерица — растение, которое употреблялось как слабительное, а также, по мнению древних, исцеляло душевные болезни.

...*как божество в трагедии*. — Намек на театральный прием, характерный, в частности, для трагедий Еврипида. Актера, игравшего бога, выкатывали к зрителю на специальной машине — отсюда выражение «*deus ex machina*» («бог из машины»), употреблявшееся для обозначения неожиданной развязки

НИГРИН

П и с ь м о к Н и г р и н у. ...«*возить сову в Афины*» — греческая поговорка, наподобие русской: «в Тулу со своим самоваром». Город Афины назван именем богини Афины, чей символ — сова, птица мудрости. Изображение совы встречалось там повсюду как герб.

...*слова Фукидида*... — См. «История Пелопоннесской войны» (II, 40, 3).

1. ...*я вместо раба стал свободным*... — Вероятно, цитата из несохранившейся трагедии.

3. *Сирены, волшебницы-певицы, гомеровский лотос*. — См. «Одиссея» (XII, 39, 167; XIX, 518; IX, 94).

6. ... *могу ответить тебе словами Гомера*... — «Илиада» (VIII, 293).

7. ... *по выражению комического поэта*... — Имеется в виду автор древнеаттической комедии, соперник Аристофана, афинский комедиограф Евполид (2-я пол. V в. до н.э.); в своей наиболее прославленной пьесе «Демы» он говорит об ораторском искусстве Перикла, который своими речами оставлял как бы жало в душах слушателей.

9. *Вестник в трагедии*. — В античной драме Вестник обычно рассказывает о том, что происходило вне сценической площадки.

10. *Клянусь Гермесом*... — В этой клятве Гермес упоминается как покровитель ораторов.

16. ...*все улицы и все площади полны тем*... — Здесь перефразируются слова Арата из поэмы «Небесные явления» (см. «Икаронеипп», 24 и коммент.).

17. ...*слова Гомера*... — «Одиссея» (XI, 93). С этими словами Тиресий обратился к Одиссею.

18. ...*так и Зевс укрыл Гектора*... — См. «Илиада» (XI, 163).

21. *Пурпуровая одежда*. — Тоги с пурпурной каймой обычно носили в Древнем Риме сенаторы и аристократы-всадники.

...*приветствуют встречаемых при помощи чужого голоса*... — Имеются в виду так называемые «номенклаторы», т.е. рабы, которые бы-

ли обязаны знать и называть своему господину всех встречавшихся ему граждан.

30. *...римляне... только раз в жизни бывают искренни,— он раз-умел завещания.*— На памяти у всех был пример — завещание римского писателя-сатирика и вельможи Петрония (погиб в 66 г.), где он сказал все, что действительно думал об императоре Нероне.

31. *Солецизм (солекизм)* — неправильное употребление или несоответствие слов, несогласованность членов предложения, ошибки в речи. Здесь этот термин употреблен метафорически.

32. *...порицал бога, создавшего быка...*— Речь о боге моря Посейдоне (Нептуне), который часто выступает в облике быка или коня.

35. *...со мной произошло то же, что с феаками...*— См. «Одиссея» (XI, 333).

36. *...слегка только раят душу...*— Ср. «Илиада» (XVII, 599).

37. *Мне вспомнились как раз слова...*— «Илиада» (VIII, 282).

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕМОНАКТА

1. *О Сострате уже написано в другом моем произведении...*— Это произведение до нас не дошло.

5. *Синопский философ*— Диоген.

10. *...по выражению комического поэта...*— Имеется в виду комический поэт Евполид, один из авторов древней аттической комедии (V в. до н.э.).

14. *...если же меня позовет Пифагор, буду молчать.*— По преданию, в общество пифагорейцев принимали людей, испытывая их пятилетним молчанием.

31. *Вот идет Аполлоний... со своими аргонавтами.*— Намек на одноименного с этим философом поэта Аполлония Родосского (III в. до н.э.), автора эпической поэмы «Аргонавтика».

33. *...готовить угощения и для Региллы, и для Полидевка...*— Регилла — покойная жена Герода Аттика (см. словарь), Полидевк — его любимый раб (см. 24).

47. *...ведь ты не Даная, дочь Акрисия — Неподсудного.*— Игра слов: имя Акрисий выводится Демонактом от глагола «сгίно» — «сужу» и приставки «а», выражающей отрицание.

60. *«Илиада»* (IX, 320).

КИНИК

В этом серьезном (в отличие от сатирических) диалоге «сократического» типа, т.е. построенном на вопросах и ответах, участники — некий киник и Ликин (подразумевается Лукиан) — выясняют истинную сущность кинического образа жизни. Ликин «подбрасывает» философу острые вопросы, которые должны сразить его, но тот весьма разумно и аргументированно на них возражает, защищая свой выбор. Ликин побежден в споре, но выигрывает истина... Взгляды Лукиана во многом определяются влиянием кинизма, популярного в первые века Римской империи. Писатель четко отграничива-

ет лежекиников, фигляров и шарлатанов, к которым причисляет, например, Перегрину, от подлинных киников и с большим пиететом относится к Диогену, Мениппу, Демонакту и другим приверженцам кинического учения.

1. *Киник* — последователь кинической школы, основанной Антисфеном и Диогеном (V—IV вв. до н.э.), которая проповедовала близость к природе, опрощение, идеализировала добродетельную бедность, простоту нравов и решительно критиковала все ценности рабовладельческого общества, роскошь и безудержное потребительство, считая главным богатство души.

5. *Подобно собакам* — обычно слово «киник» производят от греч. «кион» (собака), подчеркивая «собачий» образ жизни тех, кто придерживался принципов этой школы.

11. *...ухитряется обратить ее в краски...* — Из сока улитки (багрянки) приготавливали пурпурную краску, которой окрашивали ткани. *Кратер* — сосуд для смешивания вина с водой.

17. *...вы... подобны искажающим природу распутникам...* — имеются в виду гомосексуалисты.

20. *...рассмотри изображение богов...* — античные скульпторы обычно изображали богов с пышной шевелюрой, бородой и усами.

ТОКСАРИД, ИЛИ ДРУЖБА

3. *...не испугались и того, что оно называлось «негостеприимным»...* — Речь идет о Черном море, получившем впоследствии название «понт Евксинский», т.е. букв. «Гостеприимное море» (греч.). Первоначально оно называлось «Аксинским», т.е. «негостеприимным».

27. *...знаменитого родосского софиста...* — Возможно, Лукиан имеет в виду Агатобула, о котором говорится в «Жизнеописании Демонакта» (3).

28. *Серебряные фигурки с собачьими головами* — статуэтки египетского бога Анубиса.

УЧИТЕЛЬ КРАСНОРЕЧИЯ

Схолиаст, автор древних комментариев к этой язвительной сатире, сообщает, что Лукиан имел здесь в виду Поллукса, лексикографа и придворного риторика родом из Навкратиса (Египет), которому покровительствовал сам император Коммод. Последний поручил ему возглавить кафедру риторики в Афинах (178 г. н.э.). Но замысел Лукиана шире персональной инвективы — это приговор всему верноподданническому и формалистическому красноречию эпохи Антонинов. Сатира тем действеннее, что облачена в форму своеобразного *протрептика*, побудительных советов, даваемых некоему юному прозелиту, с достаточной долей саморазоблачительных сарказмов. Автор прозрачно намекает на вышеупомянутого Поллукса, указывая на его египетское происхождение и на имя, которое носил один из сыновей Зевса и Леды (Поллукс-Полидевк). Лукиан разоб-

лачает ту самую риторику, от которой он решительно отказался в свои сорок лет (см. «Дважды обвиненный», 32).

1. *...чтимое имя софиста.*— Софист — мудрец (греч.). В V—IV вв. до н.э. так назывались представители популярного философского течения, занимавшегося вопросами этики, красноречия, языка, теории познания и т.п. (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик и др.). Во времена Второй софистики (см. предисловие, с. 8) софистами называли риториков и писателей, обычно произносивших свои речи, ориентируясь на классические образцы, и привлекавших внимание слушателей своей формальной виртуозностью.

...о таком святом деле, как добрый совет.— Ср. Менандр, «Моностихи» (356).

...Способным уразуметь все потребное и истолковать его.— Намек на речь Перикла в Народном собрании. См. Фукидид, «История» (II, 60).

3. *Мы поведем тебя не какой-нибудь каменистой стезей, крутою...*— Ср. знаменитую притчу софиста Продика (V в. до н.э.) о Геракле на распутье, где герой поставлен перед выбором — долгий и тяжелый путь Добродетели или приятный и краткий путь Порока. Аллегорический рассказ Продика подробно передается у Ксенофонта («Меморалии», 2, 1, 21).

4. *...во имя Зевса нашей дружбы...*— То есть во имя дружбы, покровителем которой считался Зевс.

...Гесиод, взяв несколько лавровых листков с Геликона...— Гесиод, великий эпический поэт VII в. до н.э., — родом из Беотии, где, согласно мифу, на горе Геликон находилось обиталище Муз (см. «Теогония», 22 сл.).

5. *...после битвы при Арбелах...*— Арбелы — поселение в Ассирии, где находилась штаб-квартира Дария III, персидского царя. В 331 г. до н.э. Александр Македонский одержал здесь победу над Дарием.

6. *...изображение Нила?*— Живописцы и скульпторы охотно пользовались этим сюжетом. В музее Ватикана хранится скульптурная группа, изображающая возлежащего могучего бородатого мужчину в окружении шестнадцати маленьких мальчиков («локотки»), символизирующих высоту, поднимаясь на которую воды Нила обеспечивали орошение прилегающих земель.

7. *...какой представилась сначала гора Аорн македонянам...*— Аорн — неприступная горная крепость на Инде, которую покорил Александр Македонский в 331 г. до н.э. во время своего похода в Индию.

...Гесиод предупредил (т.е. опередил.— И. Н.) меня...— См. «Труды и дни» (286—292).

8. *...прав наш поэт, утверждающий, будто только из трудов рождаются блага.*— См. «Труды и дни» (289) и Эпихарм (ср. Ксенофонт, «Меморалии», 2, 1, 20).

Золотой век Крона.— См. «Одиссея» (IX, 109) и «Труды и дни» (117—118).

9. *Гегесий (Гегий)* — знаменитый ваятель, учитель Фидия (1-я пол. V в. до н.э.); *Критий, Несиот* — современники Гегесия, создате-

ли знаменитого памятника «тираноубийцам» Гармодию и Аристогтону в Афинах.

...исчисляя... целыми олимпиадами...— То есть четырехлетиями. См. «О смерти Перегринана», коммент. (20), и «Гермотим», коммент. (4).

10. ...с сыном мастера, выделяющего мечи, или с сыном учителя Атромета...— Имеются в виду великие ораторы Древней Греции Демосфен и Эсхин (IV в. до н.э.).

11. ...Сарданапал, Кинир или сам Агафон...— Три персонажа, олицетворяющие в древности богатство, власть, роскошь и изнеженность. Сарданапал — легендарный ассирийский царь (VII в. до н.э.). Кинир — первый мифический царь Кипра, основатель культа Афродиты, пророк и музыкант. Агафон — афинский трагический поэт, известный своей женственной красотой (V—IV вв. до н.э.).

...гиметского меда...— Этот мед, собираемый на лесистых отрогах горного хребта Гимета на юго-востоке Аттики, славился в древности.

...не один из нас, питающихся плодами земли...— Ср. «Илиада» (VI, 142).

13. ...подобно тому, как некогда Херефонту...— См. выше «Гермотим», коммент. (15).

15. ...возьми с собою.. запас невежества.. самоуверенности.. наглости...— Примерно с этой главы сатира Лукиана приобретает особую остроту, его сарказмы достигают большой силы, и устами «профессора риторики» говорит уже не столько «герой» послания, но как бы сам автор, выплескивая свое неприятие современной ему формалистической официальной риторики.

17. ...так называемые «упражнения»...— Речь идет о «мелетах», декламациях, служивших первоначально для оттачивания мастерства, а затем ставших одним из популярных жанров «второй софистики». Этот жанр представлен и в творчестве Лукиана.

18. ...о событиях в Индии и Экбатанах...— Имеются в виду завоевательные походы Александра Македонского на Восток (IV в. до н.э.). Здесь и далее названы стандартные исторические темы риторических декламаций.

...Марафон и храбрец Кинегир...— Речь идет о событиях греко-персидской войны и о подвигах греков, отстаивавших свою независимость (см. словарь).

...через Афон плывут корабли...— Персидский царь Ксеркс приказал прорыть канал на полуострове Халкидика, где находится гора Афон, во время своего бесславного похода на Грецию в 480 г. до н.э.

...Геллеспонт переходят посуху...— Подготавливая новый поход на Грецию (480 г.), персы наводили переправу через пролив Геллеспонт (Дарданеллы).

...солнце покрывается стрелами мидян...— Когда персидский посланец потребовал от защитников Фермопил (см. коммент. ниже) сдаться, говоря, что от множества стрел персов затмится солнце, один из греческих воинов заметил: «Значит, мы будем сражаться в тени».

...Леонид возбуждает изумление...— Спартанский царь Леонид вместе со своим отрядом из трехсот воинов долго сдерживал огромное войско персов в Фермопильском ущелье, и лишь предательство всех их погубило (480 г. до н.э.).

...надпись Отриада.— В бою с аргосцами (ок. 550 г. до н.э.) в живых остался единственный из спартанцев — Отриад. Стыдясь вернуться живым в Спарту, когда все его товарищи погибли, он решил лишиться себя жизни, о чем сам и поведал.

21. *Пеаниец* — великий оратор Демосфен (384—322 гг. до н.э.), уроженец аттического дема (округа) Пеании.

24. *Ксойд*, *Тмуис* — поселения в дельте Нила.

Диоскорид — Поллукс (греч. Полидевк). На основании этого места и был сделан вывод, что «герой» сатиры — популярный во времена Лукиана, близкий ко двору ритор Поллукс (см. с. 568).

26. ...*ты несешься на знаменитой крылатой колеснице Платона*...— См. Платон, «Федр» (246е): «Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь».

ПОХВАЛА МУХЕ

4. ...*но сначала червяком из погибших людей или животных*...— Распространенное в древности представление.

5. ...*Гомер — не со львом, не с леопардом и не с вепрем сравнивает отвагу лучшего из героев*...— Намек на «Илиаду» (XVII, 570—572). Следующие упоминания о мухе — также намеки на стихи «Илиады» (II, 469—471; XVI, 641—643; IV, 130—131; II, 469).

11. *Муха Пифагора*.— Имеется в виду дочь философа по имени Муха. Ей приписывали письмо, где рассматривается вопрос о выборе кормилицы.

12. *Сын Гермеса и Афродиты* — Гермафродит.

ПИР, ИЛИ ЛАПИФЫ

Это произведение принадлежит к так называемым «ликиновским» диалогам, где автор выводит себя под именем Ликина (см. ниже, коммент. 1). Время написания — 60-е годы — наиболее плодотворный период в творчестве Лукиана, отмеченный растущим влиянием кинической философии, кинической эстетики и таких распространенных кинических жанров, как диатриба, пародия, мениппея и др. В «Пире...» критикуются все традиционные философские школы (академики, перипатетики, эпикурейцы, стоики), пародируется самый жанр «пира» (*симпосий*), весьма распространенный в философской прозе. У истока этого жанра стоял «Пир» Платона, где философы обменивались утонченными рассуждениями о проблемах эроса. Лукиан же все превращает в бурлеск. Побойще, затеянное пьяными философами из-за жирного куса курицы, издевательски сравнивается с легендарной битвой лапифов с кентаврами. Больше всего автор высмеивает лжекиника Алкидаманта, позорящего близкую сердцу Лукиана киническую философию. Лукиан

выразительно рисует современное ему жалкое состояние философии и образы ее адептов, игравших роль шутов на пиру у богачей. Не случайно, говоря о философах периода римского господства, Маркс и Энгельс прямо ссылаются на Лукиана (см. вступит. ст.).

1. *Филон* — друг Лукиана, которому он посвятил трактат «Как следует писать историю»; *Ликин* — греческая форма имени Лукиана.

3. *Диониса, бога, который не оставил... ни одного человека не посвященным в вакхические таинства.* — Иначе говоря, всем знакомо состояние опьянения.

6. ...«меч» или «нож», как зовут его ученики. — В оригинале игра слов: «*coris*» по-гречески значит нож, «*coris*» — лгун, пустозвон.

12. *«Менелай без зова явился».* — «Илиада» (II, 408). Эти слова говорит в диалоге Платона «Пир» Сократ, когда он зовет приятеля отправиться на ужин без приглашения. Алкидамант только повторяет чужую остроту.

«Но не по нраву пришлось...» — «Илиада» (I, 24).

14. *«Геракла в пещере Фола».* — Фол — кентавр, радушно принявший у себя в пещере Геракла, когда тот отправился охотиться на Эриманфского вепря.

17. Цитаты из «Илиады» (IV, 447, 450).

19. *Мальтийская собачка.* — На острове Мальте была выведена порода маленьких собачек для забавы богатых женщин.

23. *«...о каких-нибудь трудных вопросах вроде «рогов», «кучи» или «жнеца».* — О софизме «Рогатый» см. «Разговоры в царстве мертвых», коммент. (I, 2). Софизм «куча» представляет собой следующее рассуждение: если мы от кучи камней будем отнимать по одному камню, когда куча перестанет быть кучей? Софизм «жнец» состоит вот в чем: философ говорит жнецу, что тот не может сжать своего поля; на недоуменный вопрос жнеца философ отвечает: «Ты можешь сжать или не сжать свое поле; если ты сожнешь его, то уже не сможешь сжать или не сжать его; точно так же, если ты выберешь второе и не станешь жать, ты уже не сможешь или сжать, или не сжать его; следовательно, ты вообще не можешь сжать свое поле». Вместо ответа жнец взял серп и сжал все поле.

25. *«вспомни рассказ об Оинее».* — См. «Илиада» (IX, 538).

«Страна та — Калидон...» — Фрагмент из несохранившейся трагедии Еврипида «Мелеагр».

«Чудовищного вепря...» — Фрагмент из несохранившейся трагедии Софокла «Мелеагр».

31. *«...ведь Хрисипп считал все подобные вещи «безразличными»!* — Безразличное — термин стоической философии: все, чем должен пренебрегать мудрец.

42. *«...словно труп Патрокла...»* — После убийства Патрокла греки бились с троянцами за обладание его телом («Илиада», XVII, XVIII).

44. Цитата из «Илиады» (XI, 233).

45. *«...говоря словами любимого им Гомера...»* — «Илиада» (XV, 11).

48. *«Много странных даров...»* — Слова хора, завершающие «Алкестиду», «Андромаху», «Вакханок» и ряд других трагедий Еврипида.

О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ
С ИЗЛИШНЕЙ ДОВЕРЧИВОСТЬЮ К КЛЕВЕТЕ

Данное сочинение относят к раннему «софистическому» периоду творчества Лукиана, однако, несмотря на ощутимое влияние риторики, автору нельзя отказать в наблюдательности, остроте мысли и актуальности избранной темы, которая, увы, приобрела непреходящую значимость. Лукиан связывает клевету с лестию, вероломством и ложными слухами и предупреждает потомков против легковерия и опрометчивых шагов. Красочное описание в сочинении аллегорической картины Апеллеса, посвященной Клевете, вдохновило Боттичелли создать свою «Клевету». Тема была использована также другими художниками эпохи Возрождения.

1. ...о лабдакидах, Пелопидах... увидишь Невежество, словно некоего демона трагедии.— Имеется в виду не только невежество, но и простое незнание, невольная ошибка. Так, среди лабдакидов, т.е. потомков мифического фиванского царя Лабдака, был его внук Эдип, который случайно убил своего отца Лайя и по неведению женился на своей матери Иокасте. Этот сюжет положен в основу знаменитой трагедии Софокла «Царь Эдип». На роде Пелопидов лежало проклятие. Сын Пелопса Фиест из-за незнания насытился мясом своих детей («трапеза Фиеста»), которых умертвил его брат микенский царь Атрей, отец героев Троянской войны Агамемнона и Менелая. Перечисленные ужасные события легли в основу многих античных трагедий, смысл которых, конечно, не исчерпывается обличением человеческого невежества и неведения.

2. Апеллес из Эфеса — величайший греческий живописец IV в. до н.э., придворный художник Александра Македонского. Рассказанная здесь история об участии Апеллеса в заговоре против Птолемея Филадельфа — выдумка, поскольку к этому времени (219 г. до н.э.) художник был уже давно мертв.

6. ...Как в комедии, имеются три действующих лица...— В зрелых комедиях и трагедиях античных классиков обычно участвовали три актера и хор.

8. Солон (ок. 640—560 гг. до н.э.) и Дракон (VII в. до н.э.) — великие афинские законодатели и реформаторы.

«Суд, не суди, пока тот и другой...» — широко известный, как свидетельствуют источники, стих, приписываемый разным поэтам (Фоклиду, Гесиоду, Питфею).

10. «Равен для всех без изъятья Арей...» — «Илиада» (XVIII, 309). Смысл цитаты: вражда, ссора, столкновения, война поражают всех, не щадя никого — ни убийц, ни убиенных.

12. ...хороший бегун, едва только упадет сдерживающая участников бега веревка...— В древности старт для состязающихся в беге давали при помощи быстро опущенного каната или доски, которые держали перед спортсменами.

16. ...при дворе Птолемея— По-видимому, имеется в виду царь Птолемей Авлет (I в. до н.э.), который называл себя «новым Дионисом». Дионисии — праздники в честь Диониса (Вакха) сопровождались шествием вакханок.

В тарентском женском наряде — платье из легкой прозрачной ткани, изготовленной в Таренте (Южн. Италия). Обычно его носили женщины легкого поведения (гетеры).

17. *Гефестион* — близкий друг Александра Великого, смерть которого он горько оплакивал.

24. «*Глубоко воздвигает гнев*» — формульный стих у Гомера («Одиссея», IV, 676; IX, 316; XVII, 66 и др.).

26. *Антея, Прэт, Беллерофонт* — см. «Илиада» (VI, 164 сл.). Антея влюбилась в Беллерофонта, но не встретив взаимности, оклеветала юношу перед своим мужем Прэтом. Оболганный Беллерофонт должен был сразиться с чудовищной химерой.

Федра и Ипполит — герои трагедии Еврипида «Ипполит». *Собственный отец* — аттический герой Тезей.

27. *Справедливый Аристид* — афинский аристократический политический деятель и военачальник, архонт 489 г. до н.э., прославившийся своей справедливостью и неподкупностью. Враг вожда демократии Фемистокла.

28. *Умнейший из ахейцев* — Одиссей.

Паламед — участник Троянской войны, обвиненный из мести Одиссеем в предательстве и связях с троянским царем Приамом. В результате клеветы Паламед был убит.

30. «...*Гомер в рассказе о Сиренах*...» — «Одиссея» (XII, 158 сл.).

НЕУЧУ, КОТОРЫЙ ПОКУПАЛ МНОГО КНИГ

Эта сатира представляет большой интерес как для истории поздней античной культуры, так и для характеристики творчества Лукиана. Обращают на себя внимание сведения о распространенности и престижности книжной культуры, о книжной торговле и переписчиках, личных библиотеках, дорогих изданиях, владение которыми должно было свидетельствовать о богатстве и интеллектуальных запросах владельца. Бросается в глаза острота личной инвективы Лукиана против не названного по имени своего земляка-сирийца — невежды с варварским акцентом, тщеславного богача, глупца и распутника. В сатире найдем также указание на круг чтения и спроса — популярные у «вторых софистов» древние авторы — Гомер, Фукидид, Демосфен, Евполид и др., отражение эстетических пристрастий Лукиана, превыше всего ценившего природное дарование. В «Неуче...» есть также опорные пункты для датировки — время после самосожжения киника Перегрин-Протея (165 г.) и правления имп. Марка Аврелия (161—180 гг.). В своей основе сатира Лукиана не утратила актуальности и в наши дни.

2. *Каллм и Аттик* — известные издатели рукописей.

...*глаза... опережают язык*. — Эти слова свидетельствуют, что древние читали не «про себя», глазами, а вслух — громко или шепотом.

3. *Известный пастух* — Гесиод, великий поэт Греции, автор эпических поэм «Труды и дни» и «Теогония» (VII в. до н.э.).

Геликон — гора в Беотии, где, согласно легенде, обитали Музы.

Ольмион и Гиппокрена — источники у Геликона, посвященные Музам (Гесиод. Теогония, 5).

4. *...Сулла отправил из Азии в Италию...* — Римский полководец и диктатор Луций Корнелий Сулла (138—78 гг. до н.э.), захватив в 86 г. Афины, вывез оттуда множество предметов искусства и книжные собрания.

5. *...флейта Тимофея или... Исмения...* — Тимофей и Исмений — известные флейтисты из Фив в Беотии (IV в. до н.э.).

Олимп — здесь: греческий флейтист VII в. до н.э. (?), чье историческое существование весьма сомнительно.

...несущей в тавре коринфский знак... — То есть знак, который выжигался на крупе коня, удостоверяя чистоту его породы и качество.

7. *Ферсит* — безобразный горбун, «ругатель царей», выступавший за возвращение греков из-под Трои домой (Гомер. «Илиада», II, 212 сл.).

...кровью убитых фракийцев... — См. «Илиада» (XXI, 1 сл.).

Лиқаон, сын Приама, и Астеропей, сын Пелегона, — троянцы, убитые Ахиллом.

...мастера, создавшего доспехи... — Оружие для Ахилла изготовил божественный кузнец Гефест.

...прекраснейшую книгу, облеченную в пурпурную кожу... — Во времена Лукиана книга все еще имела форму свитка, рулона, который хранился в футляре. Книга современного типа (кодекс) появилась позднее.

...позорно коверкая слова... — Лукиан имеет в виду варварское произношение греческих слов своим земляком-сирийцем, которого он высмеивает в сатире. Ср. гл. 19.

8. *Пифийские игры* были посвящены Аполлону и проходили в центре его культа — *Дельфах*.

14. *Киник Протей* — кинический философ и религиозный фанатик, глава христианской общины Перегрин, его сатирическое жизнеописание оставил Лукиан в одноименном сочинении. В театральной обстановке Перегрин сжег себя на костре при огромном стечении народа в 165 г. н.э.

Тегеаты — жители аркадского города Тегей.

Калидонский вепрь, кости Гериона, локоны Изиды — детали популярных мифологических сюжетов, высмеиваемых Лукианом.

15. *Дионисий* — речь идет о сиракузском тиране Дионисии Старшем (405—367 гг. до н.э.), который писал трагедии, не сохранившиеся до нашего времени.

17. Идеологи «второй софистики» призывали учиться у древних. Здесь Лукиан говорит, как он понимает этот призыв.

18. *...новый Беллерофонт, на свою голову носящий с собой книгу...* — В коринфского героя Беллерофонта влюбилась жена тиринфского царя Сфенебей и пыталась его соблазнить, но юноша отверг ее любовь. Оскорбленная царица оговорила его перед мужем, который решил отомстить Беллерофонту. Для этого он послал его к своему тестю в Ликию и снабдил запечатанным письмом, где просил убить его подателя. История Беллерофонта рассказана в «Илиаде» (п. VI).

19. *...вестник рассказывает о страданиях Пенфея...*— См. Еврипид («Вакханки», 1043 сл.). Пенфей погиб от руки своей матери Агавы, растерзавшей сына в вакхическом экстазе.

20. *...похож... на одного из императоров...*— Вероятно, намек на императора Марка Аврелия.

Лжеалександр — некий Балас, который в 162 г. до н.э. выдавал себя за Александра, сына Антиоха IV Эпифана, и четыре года правил в Сирии.

Лжефилипп — раб по имени Андриск выдавал себя за сына последнего македонского царя Персея и под именем Филиппа в 149 г. поднял восстание против римлян, но продержался около года и был разбит.

Лженерон — появился вскоре после смерти императора Нерона (68 г. н.э.).

21. *Пирр Эпирский* — царь молосцев (319—272 гг. до н.э.) одержал в 279 г. при Аускуле (Апулия) с большими потерями победу над римлянами (пиррова победа). Считал себя «новым Александром».

22. *Император, человек ученый* — Марк Аврелий.

23. *Баталл* — флейтист, прославившийся своим распутством и женственностью (IV в. до н.э.).

27. *...прочел комедию «Ныряльщики»...*— Пьеса Евполида (416—415 гг. до н.э.) не сохранилась. В ней высмеивался оргиастический культ фракийской богини Котис (Котитто), который отличался бесстыдным и распущенным характером.

САТУРНАЛИИ

Продолжением этого, по-видимому, позднего диалога является «Кроно-Солон» и «Переписка с Кроном», где приводятся якобы установленные Кроном для богачей законы по случаю посвященного ему праздника, а также письмо, где его автор (сам Лукиан) считает бессмысленнейшим порядок, когда одни богатеют сверх меры и живут в роскоши, а другие от голода погибают, и предлагает разумное перераспределение благ и переустройство мира. Все эти вопросы мучили писателя, и он пользуется старинным народным праздником Сатурналий, чтобы создать своеобразную политическую утопию. Сатурн — один из древнейших римских богов, который отождествлялся с греческим титаном Кроном, сыном Урана (Небо) и Геи (Земля). Его супруга Рея спасла своего сына Зевса, который сверг Крона в тартар. Согласно мифу, при Сатурне (Кроне) на земле царил Золотой век — иллюзорное отражение порядков родового строя, когда все были свободны, равны, жили в изобилии и благоденствовали. Праздник, посвященный Сатурну (Сатурналии или Кронии), начинался 17 декабря и продолжался во времена Лукиана целую неделю. Это было веселое торжество, сопровождаемое карнавальными раскованностью, переодеваниями, переменами социальных ролей (на пирах хозяева прислуживали рабам), подарками и т.п. «Сатурналии» — одно из свидетельств умонастроения великого сатирика из Самосаты.

2. *Попроси у Зевса, когда к нему перейдет власть...*— после окончания праздничных дней.

Царь праздника— избрание такого «царя»— старый обычай, существующий и ныне в ряде стран Западной Европы.

...с лицом, вымазанным сажеей...— Первоначально магическое действие, превратившееся в смеховое, шуточное действо.

6. *Этот пастух*— Гесиод.

Фиест— см. коммент. к «О том, что не следует относиться с излишней доверчивостью к клевете» (1).

7. *...я был уже стар и страдал... подагрой...*— Яркая демонстрация антропоморфности богов и рационалистического осмысления древней мифологии, которую остроумно высмеивает Лукиан.

Япет— сын Урана и Геи, титан, брат Крона, отец Прометея.

...Все рождалось несеянное, неспатанное... вовсе не было рабов.— Описание Золотого века— вид сказочной античной утопии.

АЛЕКСАНДР, ИЛИ ЛЖЕПРОРОК

Объект сатиры— Александр из Абонотиха (городок в Пафлагонии, области на южном побережье Черного моря), личность историческая, засвидетельствованная в надписях, монетах, геммах, хотя в литературных источниках, помимо Лукиана, сведений о нем нет. Бурная религиозная деятельность Александра падает на период 150—170 гг. Памфлет адресован Цельсу, вероятнее всего, крупному антихристианскому писателю II в. н.э., автору «Правдивого слова», фрагментарно сохраненного Оригеном (II—III вв.). Судя по намеку на смерть императора Марка Аврелия (гл. 48), сочинение Лукиана написано после 180 г. Формально «Александра» можно рассматривать как своеобразную пародию на «жития святых» с их деяниями, которые здесь принимают вид «антиподвигов» (гл. 11—52). В биографию лжепророка Александра вплетены также элементы менипповой сатиры (стихи в прозаическом тексте).

5. *...если судить, как говорится, по соломе...*— То есть по тому, чем он стал в пожилом возрасте (ср. «Одиссея», XIV, 213—215).

«Много составить полезных лекарств...»— «Одиссея» (IV, 230).

7. *Предание об Олимпиаде*.— Мать Александра Македонского Олимпиада, согласно преданию (см. Плутарх. Тит Ливий), зачала его от змеи.

8. *С этого и началась война, как говорит Фукидид*.— С этих слов начинается вторая книга «Истории» Фукидида.

11. *Было отыскано и предсказание, как будто изреченное Сивиллой...*— Следующий оракул основан на числовом значении греческих букв, составляющих начало имени Александра, что в переводе значит «муж-защитник». А—1, Λ—30, Ε—5, Ξ—6, то есть АЛЕКС.

13. *...жрецы Великой Матери*.— Культ Великой Матери богов Кибелы носил оргиастический характер. Участники оргий, приходя в исступление, иногда даже оскотпляли себя.

14. *Александр взял в руки змейку*.— Змеи считались посвященными Асклепию (чаша и змея до наших дней остаются символами медицины).

...рожденного не Коронидой и... не вороной... — Нимфа Коронида — мать Асклепия. Ее имя произошло от греч. *corone* — ворона. На этом основана игра слов.

18. ...ее звали Гликоном... — Достоверность рассказа Лукиана подтверждается, в частности, тем, что до нашего времени дошли монеты с изображением змеи и надписью «Гликон».

21. ...в своем сочинении против магов... — Как следует из первой главы, памфлет Лукиана посвящен некоему Цельсу (см. о нем с. 665).

27. Севериан Марк Седатий — римский полководец, родом из Галлии. В 161 г. его войско было разбито в Армении при Элегее на Евфрате, где он сам и погиб (ср. «Как следует писать историю», 21).

38. Иерофанты — жрецы, устраивавшие в Афинах праздник Великих элевсинских мистерий. Иерофант показывал и объяснял посвященным святыни элевсинского культа. В первый день от участия в мистериях отстранялись все преступники.

39. Дадис — это слово образовано от греч. *phakel*.

Евмоллиды и Керики — аристократические афинские роды, ведшие свое начало от мифических героев; из них избирались руководители Элевсинских мистерий.

46. «Ну его к воронам!» — распространенное у греков бранное выражение.

48. Война в Германии — Маркоманнская война (см. словарь «Маркоманны»).

Аквилея — укрепленная римская колония, осажденная германскими племенами в 167 г.

...известным оправданием Дельф после предсказания Крезу... — См. «Зевс уличаемый», коммент. (14).

57. ...о которых упоминает и дивный Гомер... — См. «Илиада» (II, 855).

Авит Луций Лоллиан — римский консул в 144 г., а в описываемое время — правитель Вифинии.

О СМЕРТИ ПЕРЕГРИНА

Герой этого одного из самых ярких памфлетов древности — Перегрин-Протей, фигура историческая, упомянутая в ряде позднеантичных источников (Авл Геллий, Афинагор, Аммиан Марцеллин, Татиан и др.). Соответствует действительности и факт его самосожжения во время Олимпийских игр ранней осенью 165 г., когда, по-видимому, и был написан этот памфлет. «О смерти Перегрина», как и жизнеописание лжепророка Александра (см. выше), можно рассматривать как своеобразное «антижитие», разоблачающее не только лжекиника и лжесвятого, но и вообще религиозный фанатизм, доверчивость толпы, невежество и мистицизм. В XVI веке этот антихристианский памфлет Лукиана был включен церковниками в первый ватиканский «Индекс запрещенных книг». Уже в древности были предприняты попытки реабилитировать Перегрин. Так, Авл Геллий в «Аттических ночах» (8, 3 и 12, 11) рисует совсем иной образ и называет Перегрин человека серьезным и уравновешенным. В положительном аспекте рисуется Перегрин и в романе, кото-

рый посвятил ему немецкий просветитель К.-М. Виланд. Ф. Энгельс, однако, не подвергает сомнению характеристику Лукиана и считает его свидетельство объективным и беспристрастным (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 469). Памфлет «О смерти Перегрин» является одним из важнейших источников по истории первоначального христианства.

Кроний, философ-платоник, к которому обращается Лукиан, в других источниках не упоминается.

4. *...и ты, родной Геракл!*— Киники считали Геракла своим покровителем, рассматривая его как образец для подражания.

5. *Феаген*— историческая личность, кинический философ сер. II в., соратник Перегрин.

6. *Зевс Олимпийский*— статуя Зевса в Олимпии, созданная великим скульптором Фидием.

7. *...слезами Гераклита... смехом Демокрита.*— В античности Гераклит всегда изображался мрачным и угрюмым, а Демокрит— жизнерадостным, веселым. У первого людские пороки были причиной плача, у второго— смеха.

9. *Поликлетов канон*— статуя копьеносца (Дорифора) работы великого греческого скульптора Поликлета (V в. до н.э.) считалась образцом (каноном) красоты и пропорций мужской фигуры.

...с редькой в заднице.— Такое наказание за разврат засвидетельствовано и другими древними авторами (например, см. Аристофан, «Облака», ст. 1083).

11. *...того человека, который был распят в Палестине...*— Имеется в виду Христос, которого Лукиан считает человеком. Возможно, что это место вставлено каким-нибудь поздним христианским переписчиком.

13. *Первый их законодатель*— Иисус Христос.

14. *...Пегрегин пришел на родину...*— Родина Перегрин— Парий (римская колония на берегу Геллеспонта). Жители этого города были полноправными римскими гражданами.

18. *...начал поносить всех, а в особенности императора...*— Имеется в виду Антонин Пий (138—161).

...Пегрегина сопоставляли с Мусонием, Дионом и Эпиктетом...— Римский философ-стоик Мусоний Руф (I в.) был наказан Нероном, оратор и философ Дион Хрисостом и стоик Эпиктет— императором Домицианом (I в.).

19. *...то зловосхит о выдающемся... человеке...*— Имеется в виду Герод Аттик.

...искал убежища у алтаря Зевса...— У греков преступники, скрывавшиеся в храме и припавшие к алтарю, пользовались неприкосновенностью.

20. *На следующей же олимпиаде...*— Каждые четыре года, начиная с 776 г. до н.э., в Олимпии происходили общегреческие спортивные состязания (Олимпийские игры), участие и победа в которых были особенно почетны.

21. *Бык Фаларида.*— Тиран сицилийского города Акраганта Фаларид (VI в. до н.э.) применял орудие жестокой казни: преступников бросали в чрево огромного медного быка, под которым разводи-

ли сильный огонь; благодаря особому устройству крики жертв преобразовывались в мычание.

22. *...сжег храм Артемиды Эфесской.*— Имеется в виду Герострат. Храм Артемиды сгорел в 356 г. до н.э. Эфесцы навсегда запретили упоминать имя Герострата.

25. *...как говорит трагедия.*— Трагедия Софокла «Трахинянки» (ст. 750—860).

Онесикрит— участник похода Александра Македонского в Азию, один из руководителей его флота. Оставил апологетическое и баснословное описание деятельности Александра. *Калан*— брахман, находившийся в войске Александра и предавший себя саможжению.

30. *Бакид*— мифический предсказатель, автор собрания пророчеств, которые пользовались популярностью в Беотии, Аттике и Аркадии. Этот оракул, а также приведенный выше (29) оракул Сивиллы—лукиановские пародии.

31. *...«от Нестора шум не сокрылся»...*— «Илиада» (XIV, 1).

35. *Гарпина*— местечко в четырех километрах от Олимпии.

37. *...«ученики Сократа в тюрьме?»*— Когда Сократ был заключен в тюрьму по обвинению в почитании новых богов и в развращении юношества (399 г. до н.э.), ученики навещали его и вели долгие беседы. О последних днях Сократа рассказывается в диалогах «Критон» и «Федон» Платона.

40. *Семигласный портик*— колоннада, где эхо повторялось семь раз. Портик находился недалеко от храма Зевса Олимпийского (Павсаний, «Описание Эллады», IX, 38, 34).

41. *...как на могилу Гесиода...*— Жителям города Орхомена, по преданию, могилу поэта Гесиода указала ворона (Павсаний, «Описание Эллады», V, 21, 17).

43. *...в роли Алкивиада...*— Об ученике Сократа, юном Алкивиаде, распускали слухи, будто он находился в связи со своим учителем.

СОБРАНИЕ БОГОВ

4. *...Диониса... который... даже не эллин, а внук какого-то Кадма...*— Дионис был сыном Зевса и Семелы, дочери Кадма, сына финикийского царя Агенора.

Фратрия, фила— единицы административного деления в родовом обществе, сохранившиеся и в греческих рабовладельческих полисах.

5. *Дочь Икария, землепашца*— Эригона (см. словарь).

6. *...«и многих один он достоин»...*— См. «Илиада» (XI, 514).

...и могилу твою показывают.— Около критского города Кносса показывали могилу Зевса, который родился на Крите и почитался там как умирающее и воскресающее божество.

...утверждают, что ты был подкидышем.— Согласно одному из вариантов мифа, Зевс был рожден в ахейском городе Эгионе и вскормлен там козой.

10. *Египтянин с собачьей мордой*— египетское божество Ану-бис, связанное с культом мертвых.

Бык из Мемфиса.— В Мемфисе почитался священный бык Апис, считавшийся воплощением Осириса.

Как терпишь ты, Зевс, бараньи рога...— С эпохи эллинизма Зевс отождествлялся с египетским богом солнца Аммоном. Зевс-Аммон изображался человеком с бараньими рогами.

15. *...из числа Двенадцати...*— Основных олимпийских богов было двенадцать.

РАЗГОВОРЫ БОГОВ

Это одно из самых известных произведений Лукиана объединяет двадцать шесть небольших диалогических сценок, по жанру подобных «Морским разговорам», «Разговорам мертвых» и др. В их основе лежат традиционные мифы, подвергаемые переосмыслению. Боги греческого Олимпа, поставленные в нарочито бытовые, сниженные ситуации, лишаются своего священного ореола и вызывают смех, антропоморфность доведена до своего логического предела, продиктованного кризисом всего античного мировосприятия. Время написания — 60-е или 70-е годы II в., когда автор испытывал наиболее сильное влияние кинической философии. Стрелы лукиановской сатиры направлены здесь как против веры в языческих богов, так и против человеческих слабостей, поэтому «Разговоры богов» не лишены морализаторского духа.

II. 1. *...ты делал меня сатиром, быком...*— Зевс овладел Антиопой в образе сатира, Европой — превратившись в быка, Данаей — в виде золотого дождя, Ледой — в образе лебедя. Ганимеда Зевс утащил на небо, превратившись в орла.

VIII. 1. *Дева в полном вооружении* — богиня Афина.

XI. 1. *...водил меня... к... ассирийскому юноше...*— Имеется в виду прекрасный юноша Адонис.

XII. 1. *Молодой фригиец* — Аттис.

XIII. 2. *...с телом, обожженным... несчастным хитоном...*— Геракл умер, надев хитон, пропитанный ядовитой кровью кентавра Несса.

XIV. 2. *...на нем видны знаки, выражающие плач по умершему.*— Аполлон создал из крови убитого темный цветок — гиацинт; на нем будто бы можно было различить скорбные возгласы — AI—AI (ай-ай).

XVI. 1. *Дочь мужеподобна сверх меры...*— Имеется в виду Артемида.

XVIII. 1. *...если бы у меня был сын такой женоподобный...*— Имеется в виду Дионис (Вакх), воспитанный нимфами и сопровождаемый безумствующими женщинами-вакханками.

...связав виноградной лозой или заставив мать преступника разорвать своего сына на части...— Фракийский царь Ликург, оскорбивший Диониса, был наказан богами и, связанный, брошен на растерзание зверям; фиванский царь Пенфей преследовал Диониса, и за это бог наслал безумие на фиванских женщин, которые во главе с матерью Пенфея Агавой растерзали царя.

XIX. 1. *...а на груди у нее какое-то страшное лицо...*— Голова Горгоны Медузы (см. словарь «Горгоны»), один взгляд на которую превращал смертного в камень.

XX. 3. *Женщина с Иды*— нимфа Энона, первая жена Париса.

XXI. 1. *Если я... захочу, то спущу с неба цепь...*— Эту угрозу Зевса Лукиан заимствовал из «Илиады» (VIII, 19—21).

XXII. 3. *...я недавно так отличился в Марафонской битве...*— Битва при Марафоне между греками и персами (490 г. до н.э.) окончилась поражением персов. По преданию, грекам помог Пан, наставший на персов «панический» страх.

XXIV. 2. *Сестра Кадма*— Европа.

XXV. 1. *...доверив свою колесницу глупому мальчишке...*— Речь идет о Фазтоне.

XXVI. 1. *...шапка в пол-яйца...*— Намек на яйцо, которое снесла Леда после того, как сочеталась с Зевсом, принявшим образ Лебедя. Из этого яйца родились Кастор и Поллукс (Полидевк) — Диоскуры. Детями Леды были также Елена и Клитемнестра.

МОРСКИЕ РАЗГОВОРЫ

Эти диалоги, в которых участвуют боги, так или иначе связанные с морем, свидетельствуют о неистощимой фантазии и большом драматическом даровании Лукиана, которого вдохновляли народные верования, мифология, гомеровская и послегомеровская поэзия, древняя комедия, сатирическая драма, мимы, буколическая поэзия, шедевры греческой пластики и живописи. Автор как бы вводит нас в «жизнь богов», превращая ее в нечто обыденное, иронично-рациональное, как он это делал в других сериях «божественных» разговоров, по сути дела, мало отличающихся от «Разговоров гетер».

I. 1. *Дорида*— у Лукиана всегда дочь, а не супруга Нерее, морского бога, отца Фетиды, Галатеи и других nereид.

Сицилийский пастух— одноглазый великан циклоп Полифем, о котором рассказано у Гомера в «Одиссее» (IX, 105—556).

Эхó— нимфа, возлюбленная Пана, аркадского бога пастухов и стад, сына Гермеса.

V. 1. *...чтобы море не разбушевалось.*— Нимфа Галена (морская гладь) обеспечивала спокойствие на море.

Эрида— богиня раздора. Лукиан по-своему рассказывает о возникновении спора между тремя богинями и о «суде Париса».

VI. 1. *Лерна*— озеро в Арголиде, где Геракл убил лернейскую гидру. Там же был и город Лерна.

3. *...одна среди сестер не будешь носить воду.*— За убийство своих мужей пятьдесят дочерей мифического царя Даная (данаиды) были наказаны тем, что в подземном царстве наполняли водой дырявую бочку, вечно выполняя бесцельную работу. Только одна данаида Гипермистра спасла от смерти своего жениха и поэтому избежала наказания. Амимона — другая дочь Даная, которая сошлась с Посейдоном.

VII. I. *...Зевс сочетался... с телкой...*— Это была Ио, их сын — Эпаф.

2. *...делается похожим с лица на собаку.*— Греческий бог Гермес приобретает черты Анубиса, египетского бога, который изображался человеком с головой пса (отражение религиозного синкретизма, характерного для времени Лукиана).

VIII. 1. *Сын Ино*— Меликерт, которого она родила от морского божества Палемона.

Кифаред из Метимны— Арион, поэт и музыкант из лесбосского города Метимна (VII в. до н.э.), спасенный, по легенде, от морских разбойников дельфином.

...сами мы превратились в рыб из людей.— Попав в руки тирренских пиратов, Дионис превратил их в дельфинов.

IX. 1. *Море Геллы*— по греч. Геллеспонт. Гелла— дочь Афаманта и Нефелы. Ее мачеха— Ино.

X. 1. *Блуждающий...остров...сделать видимым...*— Имеется в виду о-в Делос (в переводе с греческого— «видимый», «ясный»), который, как гласит миф, двигался по морю до тех пор, пока он должен был дать приют Латоне, чтобы та родила.

2. *...двух младенцев...*— Аполлон и Артемида, рожденные Латоной от Зевса на о-ве Делос.

А что касается дракона...— Имеется в виду Пифон, который преследовал беременную Латону. Позже был убит Аполлоном.

XI. 1. *Ксанф*— река в Трояде, называемая также Скамандром (Гомер. «Илиада», XXI, 211). В ее долине разыгрывалось действие «Илиады».

Сын Фетиды— Ахилл.

2. *На моего внука*— Ахилла.

XII. 1. *...женщину, запертую отцом в ящик, и с ней ее новорожденного младенца.*— Речь идет об Акрисии, отце Данаи, и ее сыне Персее.

XIV. 2. *Горгоны*— три страшных чудища греческой мифологии, их взгляд все превращал в камень. Одну из них— Медузу-Горгону убил Персей по приказу царя Полидекта, который хотел устранить Персея, чтобы жениться на его матери Данае.

XV. 4. *Диктейская пещера.*— Дикта— гора на востоке о. Крита.

ЗЕВС УЛИЧАЕМЫЙ

2. Цитата из «Илиады» (XX, 336).

4. Цитата из «Илиады» (VIII, 24).

8. *А что мне сказать о твоём отце...*— Отец Зевса, Крон, был свергнут им и сброшен в Тартар.

12. *И Адраст... убьет сына Креза...*— Сын фригийского царя Гордия, Адраст, бежал в Лидию к царю Крезу и нечаянно убил на охоте царского сына Атиса, которого Крез (VI в. до н. э.) поручил ему охранять. После этого Адраст покончил с собой на могиле царевича (Геродот, I, 34—44).

13. Цитата из Еврипида («Финикиянки», 18—19).

14. *...свое ли разрушит царство перешедший через Галис...*— Крез, собираясь начать войну с Киром (546 г. до н. э.), обратился к дельфийскому оракулу и получил ответ, что, перейдя пограничную реку Галис, он разрушит великое царство. Крез высту-

пил в поход и потерпел поражение, а жрецы Аполлона заявили, что они вовсе не указывали заранее, чье царство погубит Крез — свое или Кира.

...сварил баранье мясо вместе с черепахой. — Крез сделал это, желая испытать всеведение оракулов вопросом, что сварено в котле. Только дельфийский оракул дал правильный ответ, поэтому Крез ему доверился (см. выше).

16. ...Сократ был предан в руки Одиннадцати... — Имеется в виду суд над Сократом, который приговорил его к смертной казни (399 г. до н. э.). Одиннадцать — коллегия должностных лиц, заведовавших в Афинах приведением в исполнение приговоров над преступниками.

ЗЕВС ТРАГИЧЕСКИЙ

1. В стихотворных строчках, которыми начинается диалог (как, впрочем, и далее), используются и пародируются выражения, характерные для Гомера («Илиада», I, 363; VIII, 31 и др.) и для трагедий Еврипида («Орест», 1—3; «Геракл», 538 и др.). Стихи, вплетенные в прозу, — примета «менипповой сатиры», особого жанра античной литературы, который традиция связывает с творчеством философа-киника Мениппа из Гадары (III в. до н. э.) и который дошел до нас, в частности, благодаря Лукиану.

2. ...хочешь стать быком, сатиром или золотом... — В таком виде любвеобильный Зевс сходил с смертными женщинами, перед которыми не мог предстать в своем истинном обличье.

3. Пол, Аристодем — знаменитые трагические актеры IV в. до н. э.

5. ...весь шум из-за... Данаи или Антиопы? — С Антиопой Зевс сошелся в образе сатира, с Данаей — в виде золотого дождя.

6. Пусть же никто из блаженных... — Пародия на гомеровский стиль (ср. «Илиада», VIII, 7; XX, 7 и др.).

9. Египтянин с собачьей головой — Анубис.

Колблющий землю — гомеровский эпитет Посейдона.

11. Колосс Родосский — гигантская статуя бога Солнца Гелиоса на острове Родосе у входа в гавань, одно из «семи чудес света». Был отлит из бронзы в 285 г. до н. э. Харесом из Линда и достигал высоты около 37 метров.

14. ...опустив золотую цепь. — Ср. «Илиада» (VIII, 19).

Слушайте слово мое... — Ср. «Илиада» (VIII, 5).

15. Граждане-боги! — Зевс начинает свою речь словами, напоминающими начало Первой Олинфской речи Демосфена.

16. Расписной портик — Стоя (см. ниже коммент. к 32 и словарь).

19. ...рассыплетесь водою и прахом! — Ср. «Илиада» (VII, 99).

20. ...перешедший Галис разрушит большое царство... — См. «Зевс уличаемый», коммент. (14).

«Много, о Саламин, ты погубишь...» — Слова из оракула, полученного Фемистоклом (см. Геродот, VII, 140 сл.).

21. ...о Гидре и стимфалийских птицах, о фракийских лошадях, о дерзости... кентавров! — Намек на подвиги Геракла.

26. *Эфеб* — у эллинов молодой гражданин от 18 до 20 лет.
...*внесен в список Двенадцати*... — То есть в список богов Олимпийского пантеона.

30. ...*до золотых кирпичей*... — Намек на золотые кирпичи, подаренные лидийским царем Крезом дельфийскому оракулу.

...*пророческого Кастальского ключа?* — Этот ключ течет у подножия Парнаса в Дельфах, неподалеку от храма Аполлона. Пифия перед пророчеством обычно пила воду из этого источника.

32. ...*и Стою вместе с Марафоном, Мильтиадом и Кинегиром!* — Стоя — Расписной портик в Афинах (Стоа Пойкиле, греч.); был расписан фресками, посвященными битве греков с персами при Марафоне (490 г. до н. э.). Мильтиад и Кинегир — герои, прославившиеся в этой битве. В Расписном портике Зенон, основатель школы стоиков, беседовал со своими учениками.

33. *В тот миг как раз работали литейщики*... — Пародируются стихи в духе трагедий Еврипида.

34. ...*чтоб нас Дамид не услышал*. — Перефразируется стих из «Илиады» (VII, 195).

35. *Что говоришь ты, о Дамид*... — С этой реплики Тимокла действие свободно перемещается с неба на землю и наоборот. Такая перемена места действия характерна для менипповой сатиры.

37. ...*они отправились за Океан, к «эфиопам безупречным»*... — Ср. «Илиада» (I, 423).

40. ...*что он говорит о Зевсе, когда его дочь, брат и жена устроили заговор*... — Здесь и далее намеки на события, описанные в «Илиаде» (см. I, 396; II, 5; V, 335, 855; XX, 54; XXI, 403; XX, 72; IX, 533).

41. *Пол, Аристодем, Сатур* — имена известных в древности актеров.

«*Вверху ты видишь небо беспредельное*...» — Цитата из несохранившейся трагедии Еврипида, которую приводит Цицерон (см. «О природе богов», II, 25, 65).

«*О Зевс, а кто есть Зевс*...» — Цитата из частично сохранившейся трагедии Еврипида «Меланиппа Премудрая».

42. *Киллены* — жители горной Аркадии (см. в словаре «Киллений»). Они почитали *Фаллета* — бога плодородия.

44. ...*дева наслаждалась известными всем жертвоприношениями*... — Речь идет о человеческих жертвоприношениях Артемиде.

«*Всех по порядку сразил он*...» — «Илиада» (XV, 137).

45. ...*ты спустишь к ним золотую цепь*... — См. «Собрание богов», коммент. (XXI, 1).

53. ...*правильно сказал комический поэт*... — Речь идет о классике новоаттической комедии Менандре (342—293 гг. до н. э.).

...*слова Дария о Зопире*... — Персидский царь Дарий (522—486 гг. до н. э.) долго и безуспешно осаждал Вавилон, тогда к нему явился знатный перс Зопир и предложил свою помощь. Он сам нанес себе тяжкие увечья и в таком виде перебежал к защитникам Вавилона, а те поверили, что его искалечил Дарий, и полностью доверились ему. В результате хитрых действий Зопира Вавилон пал, но Дарий говорил, что «предпочел бы видеть Зопира неизувеченным, чем владеть двадцатью Вавилонами» (см. Геродот, III, 160).

Как и в других диалогах, Лукиан продолжает сатирическое разоблачение языческих богов, изображая их людьми со всеми присущими им недостатками (антропоморфизм). Драматическое столкновение древних и новых богов, отражавшее фундаментальные сдвиги в человеческом сознании и общественном развитии, превращается сирийским насмешником в судебную тяжбу между Прометеем и Гермесом, которые словно забыли, что титану предстоят тягчайшие мучения, уготованные ему олимпийским владыкой Зевсом. Благотель рода человеческого изображен хитрецом, «превосходным софистом», ловким спорщиком. И все же симпатии автора на стороне Прометея, который побеждает врагов не физической силой, а мудростью и духовностью. Миф о Прометее-провидце и богоборце, мученике, творце прогресса и цивилизации, типологически сходном с грузинским героем Амирани, приобрел большую популярность и впервые обработан в трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» (V в. до н.э.). В связи с кризисом античной культуры в ряде философских учений встречаются антипрометеистские настроения (у киников, например). Обработки мифа о Прометее появлялись и в Новое время, вплоть до наших дней (вспомним поэму о древнегреческом герое Мустая Карима).

2. У прикованного к скале Прометея орел (или коршун) — символ Зевса — будет *разрывать ...печень*, которая, по представлениям древних, была вместилищем всех аффектов, страстей, любви, жизненной силы, как у нас сердце.

3. *Крон, Иапет и ты, моя мать...* — Прометей взывает к древнейшим, доолимпийским божествам — титан Крон — отец Зевса, титан Иапет — отец Прометея, мать его — океанида Климена (по другой версии — Фемиде).

«Жиром их белым покрывши» — Гесиод («Теогония», 541). Комизм данного места заключается в том, что Гермес, цитируя Гесиода, словно хочет показать, что узнал историю Прометея из произведения беотийского поэта.

4. *«Невинного сделать виновным»* — Гомер («Илиада», XIII, 775).

Пританей — общественное здание в центре античных городов, где находились начальственные лица — пританы. Бесплатное столование в пританее устанавливалось как почетная награда сначала для олимпийских чемпионов, затем и других заслуженных граждан — временно или пожизненно. Сократ, приговоренный судом присяжных за свободомыслие к смерти, требовал себе не оправдания, а награды в виде питания в пританее.

13. *«Смешав с водою землю»* — Гесиод («Труды и дни», 61 сл.).

...замыслят восстать против него... — Речь идет о гигантах и титанах, древнейших богах, символизировавших стихийные силы природы.

14. *«Все улицы, все площади городов наполнены Зевсом»* — строка из астрономической поэмы «Феномены», 2—3 Арата (III в. до н.э.).

16. *Уран и Гея* — Небо и Земля, породившие титанов.

17. *...влюбляетесь в них (женщин) и не перестаете сходиться к ним...*—Зевс сочетался со своими возлюбленными под видом быка—с Европой, в образе сатира—с Антиопой, лебеда—с Ледой.
«К безупречным идти эфиопам»—Гомер («Илиада», I, 423).
18. *«Податели благ»*—Гомер («Одиссея», VIII, 325 и др.).
19. *«И вьется кольцами дыма»*—Гомер («Илиада», I, 317).
20. *Скоро придет некто из Фив*—имеется в виду Геракл.
...лучше сохранить тайну...—О ней рассказывается в лукиановских «Разговорах богов», I.

РАЗГОВОРЫ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ

Эти диалогические миниатюры были написаны примерно в 166—167 гг. Вместе с «Разговорами гетер», «Разговорами богов», «Морскими разговорами» они образуют серию небольших сценок в жанре менипповой сатиры и, вероятно, включают ряд менипповских сочинений Лукиана. В этом произведении наиболее отчетливо проявились кинические симпатии писателя: радикальная переоценка общепринятых ценностей, осуждение тиранов, сатрапов и богатей, жажда социальной справедливости. Фольклорная тема сошествия в преисподнюю, впервые запечатленная в «Одиссее» (XI), была использована впоследствии многими авторами древности, средневековья и нового времени.

I. 1. *Угощение Гекаты.*—В конце каждого месяца Гекате перед домами и на перекрестках ставилась еда, которую подбирали бедняки и нищие.

2. *«Рога», «крокодилы»*—различные виды силлогизмов, популярных в древности. Например, силлогизм «рогатый»: чего ты не потерял, то у тебя есть; рогов ты не терял—значит, они у тебя есть.

4. *Дорогой лаконец*—Полидевк. Диоскуры считались в Спарте покровителями государства и гимнастики.

II. 2. *«Познай самого себя»*—изречение, написанное в преддверии знаменитого храма Аполлона Пифийского в Дельфах.

IX. 2. *...как некогда Фаон Афродиту с Хиоса...*—Митиленский судовладелец Фаон, старый и безобразный, перевез Афродиту с Хиоса на материк и не пожелал брать с нее платы; в награду богиня дала ему сосуд с благовониями, сделавшими его юным красавцем и внушившим многим женщинам, в том числе поэтессе Сапфо, любовь к Фаону.

4. *Евпатриды*—аристократы.

XI. 1. *...«или меня подыми от земли...»*—«Илиада» (XXIII, 724—725).

Пифийский бог—Аполлон.

XII. 1. *Ливиец*—Ганнибал. Ливией называлась Африка.

2. *Я с небольшим войском отправился в Иберию...*—Ганнибал рассказывает подлинную историю своей жизни и борьбы с римлянами во время второй Пунической войны.

...не называя себя сыном Аммона...—Александр Македонский объявил себя богом и охотно поддерживал версию жрецов Аммона, что он его сын.

XIII. 3. *...после моей смерти, перевезти меня в Египет...*— Спустя несколько недель после смерти Александра в Вавилоне тело его было перевезено в Мемфис, а затем в Александрию.

...кто раз переплыл на эту сторону озера...— Через Ахеронт, в подземное царство.

6. *Клит*— соратник Александра, спасший ему жизнь в битве при Гранике. *Каллисфен*— известный историк и философ, участвовавший в восточном походе Александра. Клит был убит Александром на пиру в припадке гнева в 328 г., Каллисфена обвинили в заговоре против царя и казнили (327 г.).

XIV. 2. *Эллинов покорить— вот это настоящее дело...*— Филипп Македонский завоевал всю Грецию, а его сын Александр покорил варваров, что, по мнению Филиппа, было значительно проще.

...их победили десять тысяч...— Брат персидского царя Артаксеркса II Кир Младший организовал против него поход с целью захватить престол. В этом походе участвовали греческие наемники под предводительством Клеарха (401 г. до н.э.) После гибели Кира в битве при Кунаксе недалеко от Вавилона греки были вынуждены вернуться на родину. Эти события описаны их участником Ксенофонтom в «Анабасисе».

3. *...как я наказал фиванцев?*— Восставший против ига македонцев греческий город Фивы был почти весь уничтожен, а жители его проданы в рабство (335 г.).

4. *...то, что ты не тронул... жены Дария...*— Все родственники Дария III попали после битвы при Иссе в плен к Александру.

XV. 1. Цитата из «Одиссеи» (XI, 488—491).

XVIII. 2. «Илиада» (III, 156—157).

XX. 3. *Здравствуй, Евфорб...*— Пифагор утверждал, что его душа, как и души других людей, переселяется из одной оболочки в другую (теория метемпсихоза). Так, он уже якобы существовал в образе храброго троянского воина Евфорба («Илиада», XVI, 806; XVII, 1), а до того — Аполлона.

...что бобы и головы предков совсем не одно и то же.— Пифагору приписывались слова: «Поедать бобы — значит, есть головы предков» (бобы имели отношение к культу умерших).

4. *...всего их семь.*— Семь греческих мудрецов: Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Периандр и Хилон.

Меднообутый мудрец.— По преданию, Эмпедокл, желая казаться божественным, носил пурпурную мантию и сандалии на медных подошвах.

5. *Аристипп и Платон*— оба были учениками Сократа. Аристипп, основатель гедонистической школы, жил и учил в роскоши при дворе сиракузского тирана Дионисия Младшего. При дворе сиракузских тиранов жил и Платон; однако он не только не льстил им, но был продан ими в рабство за попытки поучать их.

6. *Сын Клиния*— Алкивиад.

XXVIII. 2. *...что говорит Медея у Еврипида...*— «Медея» (230 сл. и 250 сл.).

3. *Дочь Ликаона*— Каллисто.

XXIX. 1. *...моему двоюродному брату.*— То есть Ахиллу.

Сын Лазрта— Одиссей.

XXX. 1. *Сострат*— историческая личность, пират, живший в IV в. до н.э.

Эти занимательные диалогические сценки свидетельствуют о мастерстве Лукиана — художника слова и бытописателя. В них явно прорывается атмосфера II в. с ее нравами, суевериями и мелкими житейскими интересами рядовых людей, они полны легкой иронии, улыбочивого понимания и озорства. По тематике переключаются с «Письмами гетер» писателя Алкифрона (также II в.).

I. 2. *...знает какие-то фессалийские заклинания...* — Фессалия считалась страной колдовства.

VII. 1. *...в жертву Афродите... Небесной, что в огородах...* — Изображение Афродиты Небесной, стоявшее в Афинах в месте, носившем название «Огороды».

...поклонялся... обеими богинями... — То есть Деметрой и Персефой.

ДВЕ ЛЮБВИ

1. *Аристид.* — Речь идет об Аристиде Милетском (I в. до н. э.), авторе несохранившегося сборника скабресных «Милетских рассказов».

2. *Ведь я не потомок Солнца...* — Намек относится к одной из дочерей Солнца, Пасифае, которая вызвала гнев Афродиты своей противояственной страстью к быку.

3. *...длинном, словно у Гесиода, списке...* — Речь идет о не дошедшем до нас произведении Гесиода «Каталог женщин».

...у дочери Лиамба... — То есть у Необулы, возлюбленной поэта Архилоха (VII в. до н. э.)

5. Цитата из «Одиссеи» (X, 85) и «Илиады» (IX, 191).

9. *...женщин ненавидел так сильно, что проклинал Прометея.* — За создание людей и особенно за создание женщин.

11. *...сама богиня... послала ясную погоду...* — Имеется в виду почитавшаяся на Книде Афродита Евплой, богиня Счастливого плаванья.

13. *«...Арес, связанный ради нее!»* — В «Одиссее» рассказывается о том, как супруг Афродиты Гефест, которому она изменяла с Аресом, поймал их обоих в сети.

18. *Процессия в Платеях.* — Имеется в виду ежегодное траурное шествие жителей в память бойцов, погибших при Платеях в 479 г. до н. э.

23. Цитаты из «Одиссеи» (VIII, 169—173 и XVII, 654).

27. *...если мы не признаем судьей в этом деле Тиресия...* — См. «Разговоры в царстве мертвых» (XXVIII, 1).

29. *...красноречие десяти ораторов...* — То есть ораторов V—IV вв. до н. э., составлявших канон ораторского искусства греков. В него входили: Демосфен, Исократ, Лисий, Исей, Эсхин, Антифон, Андокид, Гиперид, Ликург и Динарх. Эсхин известен как сторонник македонской ориентации.

30. *...и Перикл, наверно, не говорил так, защищая Аспасию.* — Намек на известное выступление Перикла в защиту Аспасии,

его возлюбленной, обвиненной в безбожии врагами Перикла. Аспасия была оправдана.

31. *...платан, когда-то внимавший словам Сократа...*— Намек на начало диалога Платона «Федр» (Сократ ведет беседу, расположившись в тени платана на берегу реки Илисса).

Додонский дуб—оракул Зевса в Додоне, где предсказания давались по шуму листьев священного дуба и журчанию источника, вытекавшего из-под его корней.

Цитата из «Илиады» (I, 156—157).

32. Цитата из «Илиады» (VII, 15).

37. *Другой Эрот—отец Огиговых времен...*—То есть еще древнее, чем Огиг, первый властитель фиванской земли.

Цитата из Гесиода «Труды и дни», 11 сл., пер. В. Вересаева).

38. *...как говорит... Еврипид...*—В трагедии «Ипполит» (692—701).

39. *...противнее тех тварей, которых и назвать...*—дурная примета.—Лукиан имеет в виду обезьян.

42. *...Фригийскую богиню чтут они, совершая шествия в память ее... любви к пастуху.*—Речь идет о Кибеле и Адонисе.

46. *...чтобы я сидел против друга и слышал вблизи его милые речи...*—Скрытая цитата из оды Саффо, начинающейся так:

«Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос».

(Пер. В. Вересаева)

47. *С младенческого возраста соединила Фокида Ореста с Пиладом...*—Согласно мифам, Орест в младенчестве был отправлен из Микен в Фокиду к царю Строфию и там воспитывался вместе с царским сыном Пиладом.

Цитаты из трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» (311—312, 397—399, пер. И. Анненского).

48. *...«Тот, чьи слуги юны...»*—Эти слова приписываются поэту Каллимаху (IV—III вв. до н. э.).

«Среди людей земных Сократ мудрее всех».—Так, по преданию, ответил оракул Аполлона в Дельфах на вопрос, кто самый мудрый из людей. См. «Гермотим», коммент. (15).

49. Фрагмент из несохранившегося произведения Каллимаха.

54. *«Ждать Эакиду...»*—«Илиада» (IX, 191).

«О, бедер друга близость...»—Стих из недошедшей до нас трагедии Эсхила «Мирмидоняне» (фрагм. 136).

МЕНИПП, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

Этот сатирический диалог, написанный, вероятно, в начале 60-х годов II в. н. э. весьма характерен для демократических взглядов Лукиана, его активной социальной позиции и философии жизни. Образцом для данного произведения послужило «Нисхождение в Аид» замечательного киинического философа и писателя сирийца Мениппа из Гадары (III в. до н. э.), которого Лукиан «откопал» и ко-

торый помог ему выработать мировоззрение и создать свой оригинальный жанр — сатирический диалог. Под знаком Мениппа писатель создал свои лучшие и наиболее зрелые произведения, где бьют ключом сатирическая мощь, причудливый полет мысли, фантастичность и живопись диалогов, фейерверк образов, смешение реальности и вымысла, прозы и поэзии. Все это признаки «менипповой сатиры», оказавшей заметное влияние на античную (Варрон, Сенека, Петроний, Лукиан и др.) и вообще мировую литературу.

М. М. Бахтин видит это влияние и в творчестве Достоевского. Элементы «мениппеи» просматриваются в классической европейской сатире (Рабле, Свифт), в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова. Отдаленным предшественником фантастических путешествий можно считать и «Одиссею» Гомера, которой следовали Вергилий и Данте, авторы древнерусских «хождений» и даже Т. Мор и Д. Дефо, Сирано де Бержерак и Кабе. Путешествия в неведомые страны нередко смыкаются с утопиями. Лукиан, создав сатиру на «сильных мира сего» и якобы оторванных от жизни философов, дела которых расходятся с их теориями и проповедями, приходит к выводу, что «лучшая жизнь — это жизнь простых людей», тружеников. Сатира Лукиана и в наши дни не утратила своей остроты и актуальности.

1. *Приветствую тебя, родного дома кров...* — Менипп начинает свой рассказ трагическими ямбами, повторяя слова вернувшегося из Аида Геракла (Еврипид. «Геракл», 523 сл.).

Дорожная шляпа, лира, львиная шкура — это символы Одиссея, Орфея и Геракла (ср. гл. 8).

Я здесь, покину мертвых дом... как и следующие фразы Мениппа «Аид еще живому мне врата отверз» и «И молодость, и дерзость смелого ума» — навеяны различными трагедиями Еврипида.

Друг мой, в мрачный Аид я сошел... — Чуть измененная цитата из «Одиссеи» (XI, 164), где герой обращается к своей матери.

2. *Мистерии* — тайные религиозные культы, к ритуалам которых допускались лишь посвященные. Разглашение тайн каралось вплоть до смерти.

4. *...стихи Гесиода...* о восхождении... — «Труды и дни», 287 сл. Крестьянский поэт из Беотии прославлял сельскохозяйственный труд и добродетель.

6. *Зороастр (Заратустра)* — иранский реформатор и пророк I тыс. до н. э., которого греки считали философом и магом. Основатель древнеиранской религии зороастризма.

Тиресий — фиванский старец-пророк, лишенный зрения, но наделенный Зевсом даром провидца.

Халдеи — вавилонские жрецы, знатоки астрономии и астрологии, первоначально — семитические древние племена, населявшие Южн. Месопотамию.

8. *Мидийская одежда* — иначе говоря, персидская, поскольку мидийцы, жители западного Ирана, были в VI в. до н. э. завоеваны персами.

9. *«Проливая обильные слезы»* — Гомер («Одиссея», XI, 5).

И ночную Гекату, и мрачную Персефону — также стихотворная строка из неизвестного автора.

10. *«Страх охватил в преисподней Аида...»* — «Илиада» (XX, 61). *Пирифлегетон* — огненная река в Аиде.

...они явились с какой-нибудь войны. — Намек на бедствия Парфянской войны римлян, которую вел Марк Аврелий в 161—166 гг. н. э. с иранским племенем парфов.

13. *Дионисий Сицилийский* — речь идет о сиракузском тиране Дионисии II (367—344 гг. до н.э.), прославившимся своей жестокостью. С ним боролся за власть другой тиран, ученик Платона Дийон, убитый в 354 г. Аристипп Киренский, основатель гедонистической философской школы, жил, наряду с другими известными мудрецами, при дворе Дионисия II.

Химера — мифологическое чудовище, соединившее в себе льва, козу и змею.

16. *Пол и Сатурн* — знаменитые актеры IV в. до н.э.

18. *Ноги у него все еще больны и вздуты от выпитого яда.* — Имеется в виду Сократ, который за свои взгляды был подвергнут смертной казни. Он умер, выпив яд (цикуту). Это произошло в 399 г. до н.э. О жизни и смерти мудреца можно прочесть у Платона, его ученика.

20. *Бримб* — «Страшная» — эпитет одной из богинь подземного царства Персефоны или Гекаты.

21. *«Так он сказал и на луг асфодельский...»* — вольная вариация на тему стихов Гомера («Одиссея», XI, 539 сл.).

22. *Трофоний* — герой города Лебадеи в Беотии, где был храм и оракул Аполлона.

ИКАРОМЕНИПП, ИЛИ ЗАОБЛАЧНЫЙ ПОЛЕТ

Написано примерно в 161 г. Как показывает само название, диалог не только вдохновлен Мениппом, но этот кинический философ и писатель сам является его главным действующим лицом, как и в другом лукиановском диалоге — «Менипп, или Путешествие в подземное царство». Формальный признак мениппеи — стихотворные скрепы в прозаическом тексте, элементы фантастики, серьезно-веселая переоценка общепринятых ценностей и социальная критика в содержании. «Икароменипп» направлен против мистицизма, религиозного синкретизма поздней античности и обличает пустую болтовню и беспутную жизнь лжефилософов, разврат богачей и всеобщее падение нравов.

2. *...на пресловутого фригийца...* — Имеется в виду Ганимед.

7. *...солнце есть раскаленный шар...* — Представление греческого философа Анаксагора.

8. *...рассуждения об идеях...* — Речь идет об учении Платона.

...существует большое число миров... — Взгляд Демокрита.

...считает раздор отцом всего миропорядка. — Учение Гераклита.

9. *...божество представляется числом...* — Мистическое учение Пифагора.

...другие клянутся собаками... — Намек на Сократа, обычно клявшегося псом.

...передают власть над миром единому божеству...— Стоики учили, что Вселенную пронизывает мировой разум.

...некоторые освобождают богов от всяких забот...— По учению эпикурейцев боги обитают меж звездных миров, не вмешиваясь в земную жизнь, текущую по своим законам.

...боги у них не отличаются от телохранителей...— Иначе говоря, от театральных статистов, которые обычно играли эту роль.

10. ...«желанье иное владело».— «Одиссея» (IX, 302).

...долетел до самого театра.— Имеется в виду театр Диониса, расположенный у западного подножья холма, на котором находится Акрополь в Афинах.

11. ...подобно Зевсу у Гомера...— Лукиан перефразирует «Илиаду» (XIII, 4—5).

12. Колосс Родосский.— См. «Зевс трагический», коммент. (11). Ко времени написания диалога «Икароменипп» статуя Колосса уже несколько веков лежала, поверженная землетрясением. Во весь свой гигантский рост Колосс стоял лишь 56 лет (ок. 283—227 гг. до н.э.), т.е. в эпоху эллинизма, что позволяет возвести диалог к самому Мениппу (см. с. 20). Башня на Фаросе —высокий маяк на о. Фарос, неподалеку от Александрии (см. «Как следует писать историю», коммент., 62).

...«питает плодородная почва».— «Одиссея» (IV, 229).

13. Цитата из «Одиссеи» (XVI, 187).

15. ...Птолемей спал со своей сестрой...— Египетские фараоны брали в жены родных сестер. Египетский царь Птолемей Филадельф (285—247 гг. до н.э.) был женат на своей сестре Арсиное. Сын Лисимаха.— Старший сын Лисимаха Агафокл был казнен в 284 г. до н.э. по обвинению в покушении на жизнь отца. ...Антиох, сын Селевка, потихоньку подмигивал Стратонике, своей мачехе...— По преданию, будущий сирийский царь Антиох I Сотер (280—261 гг. до н.э.) в юности влюбился в свою мачеху Стратонику, и отец его Селевк уступил жену сыну ...жена Александра-фессалийца убивала мужа...— Убийство правителя города Феры в Фессалии Александра организовала его жена Феба (IV в. до н.э.).

Антигон, Аттал, Арсак, Арбак, Спатин — неизвестные лица.

16. Гермодор, Агафокл, Клиний, Герофил — имена, известные лишь из сочинений Лукиана.

...что, по словам Гомера, было изображено на щите Ахилла.— См. «Илиада» (XVIII, 490 сл.).

...я мог наблюдать обрабатывающих землю египтян...— Лукиан перечисляет наиболее характерные занятия разных народов: геты воюют; скифы кочуют; египтяне, снабжавшие хлебом многие страны, обрабатывают землю; финикийцы, купцы и мореплаватели, путешествуют; кикийцы, в чьей области находились опорные пункты пиратов, разбойничают; лаконяне, по своему обычаю, секут юношей у алтаря Артемиды; афиняне, по привычке, высмеивают еще Аристофаном, сутяжничают.

18. ...обрабатывают равнину Сикиона... у Марафона, в соседстве с Эноей и ...в Ахарнах.— Земля в Греции для земледелия малопригодна, Лукиан называет наиболее плодородные участки в Пелопоннесе и Аттике.

Эпикуровский атом.— По материалистическому учению философа Эпикура (341—270 гг. до н.э.), мир состоит из мельчайших неделимых частиц — атомов.

...заметив Кинурию...— В битве за Кинурию (близ Аргоса, в Пелопоннесе) (VI в. до н.э.) между спартанцами и аргосцами из 600 воинов осталось в живых только трое (Геродот, I, 82; ср. Харон, 24).

19. Цитата из «Илиады» (I, 222).

22. Цитата из «Одиссеи» (X, 98).

23. Цитата из «Одиссеи» (I, 166; X, 325).

24. *...почему афиняне столько лет не справляли диасий...*— Празднества в честь Зевса (диасии) не отмечались в Афинах после смерти Александра Македонского (323 г. до н.э.) до эпохи императора Адриана (117—138 гг.).

...думает ли... закончить постройку Олимпийского храма...— Храм Зевса Олимпийского в Афинах начали строить при тирани Писистрате (VI в. до н.э.) и закончили в 129 г. при Адриане. Значит, во времена Мениппа строительство еще не было закончено.

...задержаны ли ограбившие храм в Додоне.— Факт, по другим источникам неизвестный. Храм Зевса в Додоне с конца III в. до н. э. пришел в упадок.

...«Площади, улицы — все полно...»— Начало дошедшей до нас дидактической поэмы Арата из Сол (Киликия) «Небесные явления» (III в. до н.э.).

«Законы»— последнее сочинение Платона, где анализировались различные формы государственного правления. По живости изложения оно уступает другим произведениям этого философа.

Хрисипп (см. словарь) вообще писал свои многочисленные сочинения небрежно.

25. *...«То благосклонно взирал...»*— «Илиада» (XVI, 250).

...испытывал чисто академическую нерешительность...— В III в. до н.э., когда школу Платона возглавил Аркесилай, академики, подобно скептикам, отрицали возможность постичь истину.

...он предпочел, подобно Пиррону, «отказ от суждения».— Отказ от суждения — основное положение скептиков, наиболее крупным представителем которых был Пиррон (365—275 гг. до н.э.).

27. *Боги, согласно словам Гомера...*— См. «Илиада» (V, 342).

28. Цитата из «Илиады» (II, 1—2).

29. «Илиада» (XVIII, 104).

30. «Илиада» (II, 202).

33. «Илиада» (I, 528).

34. *Расписной портик* — см. «Зевс трагический», коммент. (32).

ЛЮБИТЕЛЬ ЛЖИ, ИЛИ НЕВЕР

Этот сатирический диалог, несомненно, принадлежит к зрелому творчеству Лукиана. В образе Тихиада здесь выступает сам автор, с характерным для него здравым смыслом, рационализмом и сарказмом. Евкрат представляет собой собирательный образ мистически настроенного платоника. Сатира направлена против мифологических небылиц и весьма популярных в поздней античности суеверий, духовидения, заклинаний, волшебства, магии и т. п. В нее

включен ряд кратких живых рассказов о воскресших мертвецах, заговорах, изгнаниях злых духов и т. п., в духе «черной новеллы» (термин нового времени). Наряду с этим Лукиан подвергает насмешке идеи Платона (в частности, нашедшие отражение в его диалоге «Федон») и Пифагора.

3. *...афиняне говорят, что Эрихтоний вышел из земли...*—Лукиан смеется здесь над афинянами, которые считали себя «автохтонами», то есть «порожденными почвой своей страны».

Спарты — букв.: посеянные. Намек на легенду о Кадме, основателе Фив, посеявшем зубы дракона, из которых выросли вооруженные воины.

4. *Проводники*.—Профессия проводников была широко распространена в Греции, богатой историческими памятниками и привлекавшей множество путешественников.

6. *Клеодем-перипатетик, Ион*.—Оба они фигурируют в диалоге «Пир, или Лапифы».

12. *Аконтии* — вид змей; *фисалы* — разновидность жаб.

14. «*Физика*».—То есть «Учение о природе», произведение Аристотеля.

16. *...все знают сирийца из Палестины...*—Очевидно, намек на евангельские рассказы о Христе, исцелявшем больных.

...различаешь даже идеи, указанные отцом вашим Платоном...—Насмешка над учением Платона об идеях — общих понятиях, существующих независимо от реальных предметов.

18. *Дискобол* — статуя Мирона (см. словарь).

Полководец Пелих — историческое лицо, жившее в V в. до н. э. О нем упоминает Фукидид («История», I, 89, 2).

19. *Мне ведомо, какую силу имеет эта статуя...*—В эпоху Лукиана многим статуям приписывали силу исцелять больных (ср. «Собрание богов», 12).

24. *Озеро* — Ахеронт.

27. *Книга Платона о душе* — диалог «Федон», где говорится о бессмертии души.

29. *...как в театре* — бога. — Намек на известный театральный прием — см. «Гермотим», коммент. (86).

36. *А я на следующий день, пока он был занят в городе...*—Этот сюжет был обработан Гете в балладе «Ученик Чародея».

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

В этом произведении с присущим Лукиану остроумием и выдумкой пародируются и высмеиваются весьма популярные в поздней античности повествования о путешествиях в неведомые страны и приключениях. От этой массовой беллетристики, к сожалению, почти ничего не сохранилось, за исключением небольших отрывков (Ктесий, Ямбул, Антоний Диоген и др.). У истоков такого рода рассказов стоит «Одиссея», где герой во время своих странствий постоянно сталкивается со всякими чудесами. «Правдивая история» относится к зрелому периоду творчества Лукиана, о чем свидетельствуют мотивы, уже встречавшиеся в его менипповых сатирах, созданных в 60-е годы.

Часть 1

3. ...о живущих в Великом море...—То есть в Индийском океане.

7. ...Дионису принадлежит след, который поменьше, первый же — Гераклу.— Эти слова содержат намек на «Историю» Геродота (IV, 82), где сказано, что скифы показывали у себя след от ступни Геракла длиною в два локтя.

17. ...Гомер... говорит о кровавом дожде...—«Илиада» (XVI, 459—461).

29. Город Тучекукуевск.—Выдуман Аристофаном («Птицы», 819, 821 и др.).

Часть 2

3. У быков этих рога находились не на голове, а под глазами, как этого желал Мом...—У Лукиана («Нигрин», 32) Мом «порицал бога, создавшего быка, за то, что он не поместил рогов перед глазами».

Галатея.—Имя nereиды — Галатея — Лукиан связывает с греческим словом «gala» — молоко.

7. ...пусть пьет чемерицу...—См. «Гермотим», коммент. (86).

15. ...Елена уже помирилась с ним.— По преданию, поэт Стесихор (VII—VI вв. до н. э.) оскорбил своей песней Елену, ставшую богиней, и она наслала на него слепоту; тогда поэт написал «Палинодию» («обратную песню»), в которой отказывался от прежнего мнения, и прозрел.

17. ...за исключением... Аянта, который один из всех... несет наказание в стране нечестивых.— Аянт, согласно мифу, был наказан за то, что совершил насилие над Кассандрой, дочерью Приама.

...там пребывают оба Кира...—То есть Кир Старший и Кир Младший, персидские цари.

...и все мудрецы, за исключением Периандра.—См. «Разговоры в царстве мертвых», коммент. (XX, 4).

18. ...за то, что подорвали значение суждений.— Приверженцы академической философии еще раньше впали в крайний скептицизм и сомневались в самой возможности познания.

20. ...находясь в качестве заложника в Элладе, он получил свое имя.— Слово «hómēros» значит по-гречески «заложник».

23. Сократ... сражался куда лучше, чем при жизни под Делием.— Во время Пелопоннесской войны афиняне потерпели здесь поражение от беотийцев.

32. ...о самом городе, который упоминается только у Гомера.—См. «Одиссея» (XIX, 562—567).

36. ...пещеру — совсем такую, как она описана у Гомера...—«Одиссея» (V, 57 и 63—64).

47. ...о них я поведаю в следующих книгах.— Эти книги, по-видимому, так и не были написаны.

Публикуемая авантюрно-эротическая новелла написана Лукианом (?) на популярный в древности сюжет о превращении человека в осла и его приключениях. По свидетельству византийского патриарха Фотия (IX в.), сюжет был использован неким Лукием Патрским (его сочинение не сохранилось). Лег он и в основу знаменитого романа «Метаморфозы» (Золотой осел) римского писателя Апулея, современника Лукиана. Если у Лукия и Апулея повествование наполнено мистическими и религиозными мотивами, то у трезвого сатирика Лукиана оно исполнено лукавой иронии и пародийности, служа критике мистицизма и суеверий.

1. *Фессалия* — северная область Балканской Греции, славившаяся в древности своими колдунами и магами.

2. *Патрейский софист* — ритор из Патр, города в Ахайе.

3. *Палестра* — «говорящее имя», означающее примерно «ловкая и умелая в борьбе».

Ларисса — город в Фессалии.

8. *Эфебы* — юноши, получившие в 18 лет гражданские права и два года служившие в армии.

28. *Кандавл* — царь Лидии, о гибели которого рассказывает Геродот (8 сл.). Кандавл пал жертвой своих благодеяний.

35. *Немезида* — богиня возмездия и судьбы.

Сирийская богиня — Атаргатис. Ее культ отличался экстаическим и изуверским характером.

36. *Каппадокия* — область в Малой Азии, известная своими скаковыми конями, вьючным скотом и рабами.

51. *Пасифая* — жена критского царя Миноса. Соединившись с быком, родила чудовище Минотавра (*миф.*).

53. *...должен был дать городу свой праздник...* — Претендент на высокую должность должен был завоевать своей щедростью расположение граждан.

54. *Архонт* — высшее должностное лицо в греческом городе-государстве. Здесь: вероятно, правитель Македонии.

О ПЛЯСКЕ

«О пляске» (скорее — «Об искусстве танца») по форме представляет собой диалог, по сути же, чуть драматизированный трактат, где в разговоре принимают участие Ликий, т. е. сам Лукиан, и его сначала критически настроенный оппонент кинический философ Кротон, который в итоге становится поклонником танцевального искусства. Балет в поздней античности — пантомима, понятный всем язык жестов, поз и движений, опирающихся на пластические и выразительные возможности человеческого тела, сопровождаемых пояснительной декламацией актера и хора, а также ритмической игрой небольшого инструментального ансамбля, состоящего из духовых и ударных музыкальных инструментов. Актеры танцевали в масках, которые могли сменяться по ходу действия. Сюжетами древних «балетов» служили общеизвестные мифы, используемые

также авторами трагедий. Лукиан не ставил перед собой задачи дать полную историю танца в древности, а главным образом «воздать хвалу нынешнему состоянию пляски и показать, сколько она в себе содержит и наслаждения и пользы», являя нам «людские нравы и страсти», делая «явным даже сокровенное». Расцвет искусства профессионального танца автор связывает с эпохой Августа. Помимо краткого экскурса в историю танца, автор говорит также о качествах настоящего танцовщика, гармонично сочетающего физическую и духовную подготовку, — знание музыки, ритмики, мифологии, истории, литературы, всей художественной культуры, риторики и даже философии. Диалог «О пляске» написан, вероятно, в начале 60-х годов II в.

В истории античного балетного театра значение сочинения Лукиана можно, пожалуй, сравнить с «Письмами о танце» (1760 г.) «отца современного балета», французского хореографа и танцовщика Ж. Ж. Новерра, посвященными теории и эстетике балетного спектакля и пантомимы.

2. *...блудливых... Федр, Партеноп и Родоп...* — Партенопа, возлюбленная фригийского владыки, героиня утраченного любовного романа II в. н. э. Родопы (ср. гл. 51) — фракиянка, вышедшая замуж за собственного брата Гема (миф.) Оба были превращены в горы.

...отбивая ногою размер... (ср. гл. 83) — Нога специально обученного человека была обута в башмак с железной подошвой; ею он отбивал такт для исполнителей.

...Пение с сопровождением кифары... — Речь идет о кифаредах, которые сами пели и аккомпанировали себе на лире. Их песни назывались номами.

4. *Лотофаги и сирены* — мифологические существа, описанные в «Одиссее».

«...дальше плывет, насладившись...» — «Одиссея» (XII, 188).

5. *...я с моей длинной бородой...* — Борода, котомка, посох — внешние признаки принадлежности к школе киников.

7. *...вместе с ним, древним Эросом...* — По Гесиоду, Эрос — одна из древнейших первоначальных космических потенций (Теогония, 116—122. Ср. Платон. «Пир», 178 в).

8. *...повелев плясать во Фригии корибантам, а на Крите — куретам...* — Корибанты — мифологические демонические существа, слуги младенца Зевса, которые своими воинственными танцами заглушали крики божественного мальчика, чтобы уберечь его от убийства своим отцом Кроносом (ср. Лукреций. «О природе вещей». II, 629 сл.).

«Быстро тебя, Мерион, хотя и плясун ты...» — «Илиада» (XVI, 617—618).

9. *...по его прозвищу «пиррихий» назван...* — Неоптолем, носивший также имя Пирр, считается изобретателем этого танца, носившего воинственный характер. Этимология названия пиррихия сомнительна.

12. *...есть у них в танце и обнажение молодых тел.* — Так называемые гимназии, о которых известно только то, что в Спарте это слово обозначало состязание обнаженных молодых людей в пении и пляске.

13. *...изображение на щите Ахилла...*— «Илиада» (XVIII, 593).

«Юноши в пляске кружились...»— «Илиада» (XVIII, 605—606).

...следить... за «сверканием ног».— «Одиссея» (XIII, 256—258).

16. *...носили название «плясовых припевов»...*— Речь идет о гипорхеме, песне для хоровых танцев, сопровождаемых игрой на струнных инструментах. Фрагменты гипорхем сохранились у Пиндара и Вакхилида, о чем говорит Лукиан: «Вся лирическая поэзия полна ими».

18. *А эфиопы... сопровождают свои действия пляской...*— Подробности о танцах эфиопов сообщает Гелиодор в «Эфиопике», IX, 19.

19. *...сказание о египтянине Протее...*— Протей — морское божество, сын Посейдона, наделенный даром перевоплощения и пророчества (Ср. «Одиссея», IV, 417 сл.). *Эмпуса* — мифологическое существо, принимавшее различные образы, неожиданно, как призрак, возникавшее из темноты и пугавшее людей.

22. *...что касается дионисических и вакхических празднеств...*— С именем Диониса (Вакха) связано возникновение театрального искусства. Для каждого вида драмы, родившегося из дионисийского культа и обряда, был характерен свой вид танца. Для трагедии — эммелия, для комедии — кордак, для сатировской драмы — сикинида. Возведение названий танцев к именам сатиров маловероятно. Ср. ниже гл. 26.

23. *«Гомер, перечисляя все, что есть на свете наиболее приятного и прекрасного...»*— «Илиада» (XIII, 637); «Одиссея» (XXIII, 145).

«Боги одних наделили стремлением...»— «Илиада» (XIII, 730 сл.), «Одиссея» (I, 421).

24. *«Вокруг голубого источника...»*— Гесиод. «Теогония», 3 сл.

25. *«Сам Сократ... его почитал...»*— Ксенофонт («Пир», II, 15—16). Ср. Диоген Лаэртский (II, 5, 15).

...и с Аспазией беседовал...— Аспазия, родом из Милета, красивая, умная, образованная и талантливая женщина, стала второй женой Перикла. Комедия изображала ее легкомысленной гетерой, философы относились к ней с почтением. Древние ученые подчеркивали, что философии она училась у Сократа и помогала Периклу составлять его речи. См. Платон («Менексен», 235e; 249c), Ксенофонт («Экономик», III, 14).

32. *...самый лучший в Италии город халкидонского происхождения...*— Имеется в виду Неаполь, где Август в начале I в. н. э. учредил спортивные игры и своеобразный фестиваль искусств.

34. *...воздавать хвалу нынешнему состоянию пляски...*— Здесь имеется в виду искусство пантомимы, которое было введено в Риме, как полагают, в эпоху Августа выдающимися танцовщиками Бафиллом и Пиладом (Афиней, I, 20d).

«...Платон... одни виды пляски одобряет...»— Законы (VII, 814 e—816 c.).

36. *«...все, что есть и что будет...»*— «Илиада» (I, 70).

...то, что говорит Фукидид...— в «Истории Пелопоннесской войны» (II, 60).

37. *...он (актер) должен знать все...*— Главы 37—60 включают краткую каталогизацию привязанных к определенным регионам

сюжетов и героев греческой мифологии, которые, вероятно, активно использовались в античных балетах (пантомимах). Иными словами, актер балетного театра обязан знать «все, о чем повествует Гомер, Гесиод и трагики» (гл. 61).

47. *...Крон, Зевс, первые борцы на олимпийских состязаниях...*— В одном из старинных мифов рассказывается, что Крон и Зевс решили вопрос о власти на Олимпе при помощи борьбы.

57. *...рассказы о превращениях людей...*— Примеры таких метаморфоз находим в поэме «Метаморфозы» Овидия.

70. *...что говорит о душе человека Платон...*— См. главным образом «Государство» «Филеб», «Тимей» «Федр», «Федон».

...Аристотеля, восхваляющего красоту и считающего, что она... входит в состав добра...— См. «Этика Никомаха» (I, 8).

78. *Геродоту кажется более достоверным то, что мы видим...*— Геродот (I, 8).

79. *«Боли врачующее и желчь унимающее»* — «Одиссея» (IV, 221).

81. *«Познай самого себя»* — знаменитое изречение, написанное золотыми буквами на стене храма Аполлона в Дельфах.

83. *...отбивали такт железною сандалией...*— См. комментарии выше, к гл. 2.

85. *«Дивно: ты выпил зелье мое...»* — слова волшебницы Кирки, обращенные к Одиссею, которого ей не удалось превратить в свинью («Одиссея», X, 326).

«...сном чарует очи людские...» — «Одиссея» (V, 47 сл.).

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ ПЕТУХ

Эта наиболее зрелая, наиболее чистая менипповская сатира, как полагают, была написана около 163 г. Представляет собой диалог между бедняком Микиллом (обобщенный образ, жизненное воплощение кинических принципов) и его петухом, в которого чудесным образом переселился дух Пифагора. С Микиллом мы встречаемся и в диалоге «Переправа». Образ сапожника Микилла появлялся в кинической литературе и до Лукиана — в «Силлах» (сатирических стихах) Кратета, в сатирах Мениппа и, вероятно, в диалогах Федра (см. Диоген Лазертский, II, 105). В «Петухе» остроумной критике подвергаются мистическая философия (в частности, пифагореизм), слепая вера в чудеса и мифы, осуждается богатство и прославляется честная трудовая бедность.

1. *Охраняет золотое руно...*— В сказаниях об аргонавтах герои добывали в Колхиде золотое руно сказочного барана, которое по приказу царя колхов охранял дракон.

2. *Ты не читал поэм Гомера, где конь Атиллы...*— См. «Илиада» (XIX, 408—417).

Рапсоды — (греч. «сшиватели песен») — слагатели и исполнители эпических поэм, сказители.

...или додонский дуб заговорил...— В киль корабля Арго Афина заделала кусок посвященного Зевсу дуба из Додоны, который обладал пророческим даром.

...если бы увидел ты ползущие шкуры...— Это случилось со спутниками Одиссея, убившими быков бога Солнца («Одиссея», XII, 395).

...будучи помощником Гермеса...— Боевые петухи посвящались Гермесу, покровителю гимнастических состязаний.

3. *Алектрион* — петух (греч.).

Гефест поймал обоих... и т. д.— «Одиссея» (VIII. 300 сл.) Ср.: Лукиан. «Разговоры богов», XXI.

4. *...прежде чем стать Пифагором, он был Евфорбом?*— См. «Разговоры в царстве мертвых», коммент. (XX, 3).

...как ты оказался вместо человека с Самоса птицей из Танагры.— Пифагор был родом с Самоса; беотийский город Танагра славился своими боевыми петухами.

...поевши бобов, согрешил не меньше...— См. «Разговоры в царстве мертвых», коммент. (XX, 3).

5. *...по слову поэта, «лишенное силы» блаженство?*— См. «Одиссея» (XI, 29; X, 521; XIX, 562).

6. *Утверждают, что сновидения крылаты... а твое перепархивает через проведенную границу...*— Метафора из спортивного обихода: небольшими канавками или насыпями отмечались прыжки; побеждал тот, кто прыгал дальше самой крайней отметины.

...Гомер говорит только об этих двух.— «Одиссея» (XIX, 562 сл.).

7. *«Лучше всего вода...»*— начало «Первой Олимпийской оды» Пиндара.

...когда-то был атлетом...— еще одно из пифагорейских перевоплощений.

8. *...«благоуханною ночью», по выражению Гомера...*— «Илиада» (II, 56—57).

9. *Я то и дело измерял глазами длину тени на часах...*— Речь идет о солнечных часах.

11. *...как «волк с разинутой пастью».*— Поговорка.

...и будто у меня даже есть рога.— См. «Разговоры в царстве мертвых» (1, 2 и коммент.).

13. *...«златом и серебром были они...»*— «Илиада» (XVII, 52).

Но сам отец людей и богов... сделался золотом...— Зевс проник к Данае в виде золотого дождя (ср. «Разговоры богов», II, 1)

Дева из Арголиды— Даная.

14. *«...меня зовут не Симоном, а Симином».*— Богатые выскочки любили подобные изменения своих имен на аристократический манер.

...словно воспетый в поэмах пояс Афродиты.— См. «Илиада» (XIV, 214—215).

«О золото, желанный гость»...— Стих из недошедшей трагедии Еврипида «Беллерофонт».

16. *О том, как моя душа, выйдя из Аполлона...*— Последователи Пифагора распространяли о философе легенду, будто он сын Аполлона или Гермеса.

Ты был индийским муравьем...— Об огромных сказочных золотосных муравьях в Индии рассказывает Геродот (III, 102).

17. *...когда я стал Евфорбом...*— См. «Илиада» (XVII, 9—81).

...дочь лебедя...— От брака Леды и Зевса, принявшего образ лебедя, родилась прекрасная Елена.

...ведь первым обладал ею в Афидах похитивший ее Тесей.—Лукиан здесь и в других местах («Разговоры богов», XX, 14) передает этот миф для усиления сатирического звучания. Афидны — аттический дем.

Геракл же захватил Троию...—См. «Илиада» (V, 640—642).

...друга его Патрокла я без большого труда сразил...—Согласно Гомеру, Евфорб только ранил Патрокла («Илиада», XVI, 812—813).

18. ...показывал им однажды свое золотое бедро...—См. «Разговоры в царстве мертвых» (XX, 3).

...кротонцами, метапонтийцами и тарентийцами...—жители Кротона, Метапонта и Тарента, городов, находившихся в Южной Италии, где особенно было распространено пифагорейское учение. Тарент был центром пифагореизма, Кротон — вторая родина Пифагора, а в Метапонте Пифагор, возможно, умер.

19. ...Тиресий и сын Элата, Кеней...—Слепой фиванский пророк Тиресий семь лет был женщиной. Лапиф Кеней был женщиной, которую по ее просьбе Посейдон превратил в мужчину.

21. А ты идешь с ивовым щитом...—В качестве оборонительного оружия у бедняков, призванных на военную службу, был легкий, сплетенный из ивовых прутьев щит — пельта.

25. «Лишь к Агамемнону, сыну Атрея...» — «Илиада» (X, 3—4).

Царя Лидии беспокоит сын...—Один из сыновей лидийского царя Креза был глухонемым (Геродот, I, 34). ...царя персов — Клеарх...—По заданию Кира Младшего, стремившегося захватить власть у своего брата, персидского царя Артаксеркса II Мнемона (405—359 гг. до н. э.), Клеарх набрал войско греческих наемников. Дион — дядя Дионисия Младшего, ученик Платона; пытался воздействовать на тирана, чтобы изменить его правление в духе идей своего учителя, и за это был изгнан и лишен всех богатств. ...другого — Парменион...—Александр Македонский убил своего полководца Пармениона по подозрению в измене. Пердикка, Птолемей, Селевк — полководцы Александра Македонского, соперничавшие при разделе наследия царя (IV в. до н. э.).

КАК СЛЕДУЕТ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Это сочинение, обращенное к некоему другу Лукиана Филону, к которому он адресовался и в диалоге «Пир, или Лапифы», шире своего заглавия — оно носит эстетический и литературно-критический характер и не является лишь размышлениями о труде историка. Трактат написан, вероятно, около 164 г. в конце завоевательной Парфянской войны (162—165 гг.), которая началась с победы парфянского царя Вологаза III (после того, как полководец римлян Севериан проиграл сражение при Элегейе, где погиб сам), затем шла с переменным успехом, принося тяжелые потери обеим сторонам. В итоге римляне все же разбили парфянское войско и разрушили древние города на Востоке — столицу Парфии Артаксату, Вавилон и Ктесифон. Придворные историки поспешили восславить победу и старались превзойти друг друга в лести и похвалах римским полководцам и императорам, не утруждая себя изучением событий и их достоверностью. Важность поставленной цели настроила Лукиана

на серьезный лад, который, впрочем, не лишен известной иронии и насмешки. Главная задача истории, как и всей литературы, согласно Лукиану, — писать правду. Трактат, согласно замыслу автора, делится как бы на две части: критическую (6 и далее), где приводятся примеры того, чего должен избегать историк, и положительную — где говорится, чем он должен руководствоваться (34 и сл.). Лукиан по-своему развивает мысли Фукидида (460—396 гг. до н. э.), требовавшего от историографа объективности в расчете на оценку потомков («творение на все времена»).

1. *...абдеритов еще в правление Лисимаха...* — После смерти Александра Македонского его полководцу Лисимаху досталась Фракия, где в 306 г. до н. э. он принял титул царя.

Еврипидова Андромеда. — Из этой трагедии сохранилось всего около ста стихов; ниже Лукиан цитирует из нее фрагмент.

2. *...война с варварами, поражение в Армении и постоянные победы...* — Речь идет о Парфянской войне (см. выше), в результате которой Армения снова попала под власть римлян.

3. *Синопский философ* — Диоген, который летом жил в предместье Коринфа Крании в огромной глиняной бочке.

...распространился слух, что Филипп приближается... — Во время битвы при Херонее, в которой Филипп победил греческие города (338 г. до н. э.).

4. *...вдали от «этого дыма и волнения»...* — «Одиссея» (XII, 219).

5. *...как говорит Фукидид...* — «История» (I, 22).

8. *Ему нет запрета... чтобы нестись по водам или по вершинам колосьев.* — Здесь и далее в этой главе скрытые цитаты из «Илиады» (XX, 226—229; VIII, 18—27; II, 477—479). *Сын Атрея и Аэропы* — Агамемнон.

9. *Никострат, сын Исидота* — известный борец.

Алкей из Милета — по другим источникам неизвестен.

10. *...подобной Гераклу, каким он был в Лидии.* — Геракл был три года в рабстве у лидийской царицы Омфалы, которая, с тем чтобы унижить героя, заставляла его носить женское платье и исполнять женские работы. Мозаичные картины на этот сюжет были распространены в древности и дошли до нашего времени.

12. *...когда Аристовул описал поединок его с Пором...* — Сочинение Аристовула об Александре не дошло; возможно, Лукиан смешивает его с другим историком Александра — Онесикритом. Поединок Александра с индийским вождем Пором упоминается в других источниках.

14. *...нашего правителя...* — Вероятно, Луция Вера (130—169 гг.), правившего вместе с Марком Аврелием.

...«но преследовал много славнейший». — «Илиада» (XXII, 158).

15. *...крайний последователь Фукидида...* — Этот историк неизвестен. Начало его труда дословно списано у Фукидида; у него же взято и описание чумы (Фукидид, II, 17).

20. *Приск Стаций* — легат (помощник) Луция Вера, который участвовал во взятии резиденции парфянского царя Вологаза Артаксаты, что привело к окончанию Парфянской войны.

В битве при *Европе* войско парфян потерпело решительное поражение от римлян (165 г.).

23. *«У Дария и Парисатиды было двое детей...»*— Начало «Анабасиса» Ксенофонта.

26. *«Фукидид написал надгробную речь...»*— Эту речь произносит у Фукидида (II, 34—36) Перикл над телами павших в битвах со спартапцами афинян.

28. *«потратил двадцать или еще более того мер воды...»*— В судах ораторам отводился регламент, измеряемый водяными часами (клепсидрой). Указанное здесь время превосходит все вероятные нормы.

29. *«Ушам следует доверять менее, чем глазам...»*— Цитата из Геродота (I, 8).

«...в Персии, за Иберией.»— Насмешка над географическими познаниями историка: Иберия — древнее название Грузии, которая находится за Персией (а не наоборот).

«...когда гулял от Крания к берегу Лерны.»— Иронический намек на то, что историк никогда не выезжал из Коринфа: рану, якобы полученную под Сурюю (в Малой Азии), он мог получить только гуляя по Коринфу, от гимнасия Краний до источника Лерна.

32. *Аттидами* в Греции назывались сочинения по истории Афин.

34. *«Конона — в Титорма, а Леотрофида — в Милона.»*— Знаменитый афинский полководец Конон отличался небольшим ростом, Титорм — силач огромного роста; Леотрофид — афинянин, живший во времена Аристофана. Его тщедушное телосложение было предметом насмешек комических поэтов. Милон Кротонский — знаменитый атлет древности (VI в. до н. э.).

35. Слова, взятые в квадратные скобки, очевидно, представляют позднейшую вставку. Действительно неясно, какое отношение к Пердикке имеет история Антиоха (см. «Икароменипп», коммент., 15).

38. *«...изобразить Филиппа таким, как он был при Олинфе...»*— Это было не под Олинфом, а при осаде Метоны.

«...пусть не боится, что Александр останется недоволен...»— Философ и историк Каллисфен за свои правдивые упреки Александру был брошен в тюрьму, где и умер; Клит, полководец и друг Александра, был убит им во время пира за то, что ставил Филиппа выше самого Александра.

Сицилийское поражение — катастрофическое поражение афинян во время Пелопоннесской войны: их флот и армия под Сиракузами были разгромлены, полководцы Никий и Демосфен (его не следует путать со знаменитым оратором) взяты в плен и убиты, оставшиеся в живых обращены в рабство (413 г. до н. э.).

Эпиболы — часть Сиракуз, где сицилийцы построили укрепления, отрезавшие афинянам путь к отступлению (Фукидид, VII, 7).

Гемократ — сиракузский полководец, которому приписывались победы над афинянами, хотя во главе флота сиракузян стояли Сикан и Агатарх.

«...убить проклятого Гилиппа...»— Гилипп — спартанский военачальник, посланный с войском на помощь сиракузянам.

«...первоначальным надеждам Алкивиада.»— Алкивиад собирался завоевать Сицилию, а затем и Карфаген.

39. *...боится Артаксеркса, будучи его врачом...*— Имеется в виду личный врач персидского царя Артаксеркса II Мнемона Ктесий из Книда в Кarii, грек, написавший историю персидского царства (IV в. до н. э.).

Нисейская лошадь.— В Нисейской долине в Мидии выводили особенно красивую породу лошадей, которых приобретали азиатские владыки.

41. *...как говорит комический писатель...*— Имя его неизвестно. Возможно, Аристофан.

42. *...книги которого даже получили имена муз...*— Античные ученые разделили «Историю» Геродота на 9 книг по числу муз. *...и сказал тогда Фукидид...*— «История» (I, 22, 4).

49. *...историк должен быть похож в это время на гомеровского Зевса...*— См. начало XIII песни «Илиады».

Брасид— спартанский полководец (погиб в 422 г. до н. э.); своими энергичными и быстрыми действиями нанес тяжелые удары афинянам в первую половину Пелопоннесской войны. Затем он неудачно пытался вернуть захваченный в 425 г. афинянами Пилос. Афинскому полководцу *Демосфену* удалось удержать этот остров (Фукидид, IV, 11—12).

54. *...Геродот заботится...*— «История» (I, 1).

Фукидид также начинает писать...— «История» (I, 1).

57. *...Гомер... вскользь упоминает Тантала, Иксиона, Тития...*— «Одиссея» (XI, 576—592). Иксион здесь не упоминается.

62. *Книдский архитектор*— Сострат из г. Книда в Малой Азии (III в. до н. э.), построивший маяк на *Фаросе* (см. «Икарменипп», коммент., 12). Постройка маяка началась при Александре Македонском, окончилась только при Птолемах; этот маяк имел 135 м в высоту и считался одним из чудес света.



С Л О В А Р Ь

МИФОЛОГИЧЕСКИХ, ИСТОРИЧЕСКИХ ИМЕН, ТЕРМИНОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Абдера — фракийский город в устье реки Неста, основанный в VII в. до н. э. Его жители, абдериты, были известны в древности своим простодушием и чудачествами.

Абонотих (Абонутих, или Иополис) — город в Пафлагонии (Малая Азия) на берегу Черного моря.

Авгий — сын Гелиоса, царь Элиды. Геракл очистил его огромный скотный двор (авгиевы конюшни).

Авзония — древнее название Италии.

Агамемнон — легендарный царь Микен, командовавший греческим ополчением в Троянской войне (XIII—XII вв. до н. э.). После возвращения на родину был убит своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом.

Агатобул — кинический философ, живший в Александрии во II в. н. э.

Агафон — афинский трагик времен Сократа и Платона (кон. V в. до н. э.), который сделал его участником своего «Пира» (416 г.).

Адмет — владыка г. Фер в Фессалии, один из аргонавтов, участник калидонской охоты. У него служил пастухом Аполлон, наказанный за убийство Киклопов. Жена Адмета Алкестида согласилась отдать свою жизнь, когда Аполлон пообещал Адмету бессмертие, если кто-нибудь согласится умереть за него. Геракл отнял Алкестиду у демона смерти.

Адонис — прекрасный ассирийский юноша, возлюбленный Афродиты (по другим мифам — Кибелы) и Персефоны. По решению Зевса, с каждой из них он должен был проводить часть года. Когда Адонис был растерзан на охоте вепрем, Афродита превратила его в мирт.

Адраст — первоначально царь Аргоса, затем Сикиона, где его чтили как героя. Он был инициатором двух походов семерых вождей против Фив.

Адрастея — фригийская богиня-девственница, иногда отождествлялась с Немезидой.

Аид (Аидоней, Гадес, Плутон) — сын Крона и Реи, брат Зевса, бог подземного царства. Иногда — само царство мертвых.

Академия — живописный парк к северо-западу от Афин, где находились площадки для гимнастических занятий, аллеи, статуи, жертвенники. Здесь помещалась школа Платона, получившая название академической.

Акарнания — гористая западная область Средней Греции с многочисленными удобными гаванями. В римское время была присоединена к Эпиру.

Акрисий — аргосский царь, отец Данаи, сын которой, Персей, нечаянно убил деда.

Акрокоринф — городская крепость в Коринфе.

Акрополь — городская крепость; чаще всего этим словом обозначается акрополь в Афинах, где находились замечательные памятники античной архитектуры (Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи и др.).

Актеон — знаменитый фиванский охотник, превращенный за хвастовство Артемидой в оленя и растерзанный псами. По другой версии, Актеон был наказан за то, что видел Артемиду нагой.

Аланы — народ, родственный сарматам, обитавший главным образом на Сев. Кавказе. Во II в. образовали большое государство.

Алекто — одна из трех эриний, богинь возмездия и проклятия, каравших за нарушение неписаных законов.

Алкмен из Афин — знаменитый скульптор, младший современник и ученик Фидия (V в. до н. э.).

Алкестида — см. Адмет.

Алкивиад (ок. 451—404 гг. до н. э.) — известный политический деятель Афин, ученик Сократа. Во время Пелопоннесской войны перешел на сторону Спарты, откуда бежал в Персию.

Алкиной — царь счастливого народа феакийцев, оказавший гостеприимство Одиссею на своем острове Схерии во время его возвращения на родную Итаку.

Алкмена — жена фиванского царя Амфитриона, сочетавшаяся с Зевсом и родившая ему Геракла.

Алопека — дем (сельский округ) в Аттике.

Амалфея — нимфа, питавшая младенца Зевса на острове Крит козьим молоком, по другой версии мифа — коза, вскормившая владыку богов и людей. Козий рог, наполненный плодами и украшенный цветами («рог изобилия»), символизировал щедрость богов.

Амастрида Понтийская — город в Вифинии на южном берегу Черного моря (Понта).

Амик — сын Посейдона, царь мифического народа бебрыков; славился как кулачный боец.

Амиклы — древняя столица Лаконии (Спарты).

Аммон — верховный египетский бог солнца, которого в эллинистическую эпоху греки почитали наравне с Зевсом.

Амфиарай — царь Аргоса, прорицатель. Участвовал в первом походе Семерых против Фив, был заживо поглощен землей.

Амфилох — брат Алкмеона, предводителя второго похода на Фивы; участвовал в этом походе и в Троянской войне; вместе с братом убил свою мать Эрифилу, погубившую их отца. Амфилох основал прорицалище в Малле.

Амфитрион — фиванский царь, муж Алкмены, родившей от Зевса Геракла.

Анакреонт (ок. 570—478 гг. до н. э.) — лирический поэт, родом с острова Теос, жил при дворах тиранов, писал стихотворения, воспевающие любовь и вино.

Анаксагор (ок. 500—428 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ, считавший движущей силой мира «нус» (разум), который он понимал как тончайшую материю.

Анахарсис — мудрый скиф, с образовательной целью путешествовавший по древнему миру (VI в. до н. э.). Традиция считала его другом Солона. За попытку ввести у себя чужую культуру Анахарсис был убит (Геродот, IV, 76).

Андромеда — дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи, оскорбившей морских нимф. Посейдон наказал царство Кефея, наслав на него морское чудовище, которому должны были отдать на съедение Андромеду. Ее спас Персей.

Анит — богатый афинский торговец, один из обвинителей Сократа.

Антилох — старший сын Нестора, отважный герой, после смерти Патрокла ставший другом Ахилла. Погиб в сражении, прикрывая отца.

Антимах Колофонский — эпический поэт и ученый, живший во 2-й пол. V в. до н. э. Его труды не сохранились.

Антиопа — дочь речного бога Асопа или царя Фив Никтея, которая родила от Зевса, превратившегося в сатира, близнецов Зета и Амфиона.

Антисфен (ок. 435—370 гг. до н. э.) — ученик Сократа, основатель философской школы киников.

Антонин Пий — римский император (138—161). Его правление было сравнительно мирным.

Анубис — египетское божество, изображавшееся в виде человека с головой собаки или шакала.

Анхис — царь Дардании (Малая Азия). Афродита родила от него Энея.

Аорнская крепость — на берегу Инда; была взята Александром Македонским в 327 г. до н. э.

Аполлоний Родосский (III в. до н. э.) — Эпический поэт и ученый-грамматик александрийской школы, автор поэмы «Аргонавтика».

Аполлоний Тианский (I в.) — философ-неоплатоник, аскет и чудотворец; много путешествовал по древнему миру. Жизнь его окутана легендами.

Аракс — правый приток Куры.

Арахна — лидийка, научившаяся от Афины прясть и вызвавшая богиню на соревнование. Разгневанная Афина превратила ее в пауку (арахна — по-греч. паук).

Арго — название корабля, на котором Ясон со своими спутниками (аргонавтами) совершил поход в Колхиду за золотым руном.

Аргос — древнейший город в Арголиде.

Аргус — многоглазый великан, у которого часть глаз спала, а часть бодрствовала. Его имя стало нарицательным для обозначения неусыпного стража.

Ареопаг — верховное судилище в Афинах, заседавшее на холме Ареса.

Ариадна — дочь критского царя Миноса. Помогла своему возлюбленному Тесею выбраться из лабиринта, но была покинута им. Впоследствии ее взял в жены Дионис и одарил бессмертием.

Арион — древнегреческий дифирамбический поэт (VII—VI вв. до н. э.), о котором легенда говорит, что его спас во время кораблекрушения дельфин, зачарованный его пением.

Аристарх Самофракийский (ок. 217—145 гг. до н. э.) — александрийский ученый-филолог, комментатор Гомера и других древних авторов.

Аристей — сын Аполлона и нимфы Кирены, бог изобилия древнейших обитателей Греции; почитался как покровитель сельского хозяйства.

Аристид (ок. 540—467 гг. до н. э.) — афинский полководец и влиятельный политический деятель, участник освободительных греко-персидских войн, встал во главе первого афинского морского союза.

Аристипп из Кирены (ок. 435—360 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, проповедовавший гедонизм (наслаждение жизнью) и пренебрежение к обществу.

Аристофан (ок. 452—388 гг. до н. э.) — комедиограф, виднейший представитель древней аттической комедии.

Аркадия — гористая область в центре Пелопоннеса; легендарная страна счастливой, беззаботной жизни.

Арриан — греческий писатель II в. н. э., ученик философа-стоика Эпиктета, автор многих книг по истории, географии, философии.

Артемида — богиня-охотница, сестра Аполлона.

Асклепий — сын Аполлона и Корониды, бог врачевания. Зевс поразил его молнией за то, что он своим искусством воскрешал умерших.

Асфодель — мифический цветок, растущий в царстве Аида.

Атропос — одна из Мойр, обрезающая нить жизни.

Аттис — прекрасный юноша, возлюбленный и жрец фригийской богини Кибелы.

Афродисии — праздник в честь Афродиты.

Ахайя — во времена Лукиана римская провинция, охватывавшая Среднюю Грецию и Пелопоннес.

Ахарны — местечко и дем в Аттике, к северу от Афин.

Ахеронт — озеро в царстве мертвых.

Ахилл — герой «Илиады» Гомера, один из предводителей греков, осаждавших Троию.

Аэдона — жена фиванского царя Зета, которая по ошибке убила своего сына Итиса. Зевс превратил ее в соловья, оплакивающего сына.

Аэропа — жена Атрея, соблазненная его братом Фиестом.

Аянт (Аякс) — сын саламинского царя Теламона, самый могучий после Ахилла воин в греческом лагере под Троей; после смерти Ахилла поднял спор о его боевом оружии и, так как оружие было отдано Одиссею, впал в безумие и покончил с собой.

Бактрия (Бактриана) — одна из северных персидских провинций, со столицей Бактра (ныне Балх).

Беллерофонт — герой, победивший с помощью крылатого коня Пегаса чудовище Химеру. Зевс низвергнул Беллерофонта с неба.

Бендида — фракийская богиня луны, отождествляемая с Артемидой.

Беотия — область в Средней Греции.

Борей — северный ветер.

Борисфен — современный Днепр; также город на этой реке.

Боспор — 1. Боспор Киммерийский — современный Керченский пролив; 2. Боспор Фракийский — современный Босфор; 3. Боспорское царство — государство, возникшее в V в. до н. э.

и существовавшее до IV в. н. э. Оно образовалось из греческих колоний и земель, прилегающих к Боспору Киммерийскому.

Бранх — выходец из Дельф; Аполлон наделил его пророческим даром.

Бранхиды — греческий род, ведший свое происхождение от Бранха и заведовавший оракулом Аполлона в Дидиме близ Милета.

Брасид — спартанский полководец, нанесший тяжелые поражения афинянам в ходе Пелопоннесской войны. Погиб в 427 г. до н. э.

Брахманы — жреческая каста в Индии.

Бриарей — сторукий великан, обладавший чудовищной силой.

Бусирид — сын Посейдона, мифический царь Египта, приносивший иностранцев в жертву.

Вавилон — столица Вавилонско-Халдейского царства.

Византий — город в Малой Азии.

Вифиния — область на северо-западе Малой Азии; во II в. римская провинция.

Вологаз III — парфянский царь, вступил на престол в 149 г. Боролся против римского владычества.

Галатея — морская нимфа, в которую был влюблен киклоп Полифем.

Галатия — римская провинция в Малой Азии, населенная галатами, племенем кельтского происхождения.

Галикарнас — греческий город в Кари (Малая Азия). Здесь находилась знаменитая гробница царя Мавзола (мавзолей).

Галис — главная река в Малой Азии.

Галоа — аттический праздник плодородия и урожая, посвященный Деметре. Праздник сопровождался обильными трапезами и разнузданными оргиями.

Ганимед — прекрасный мальчик, которого Зевс, приняв образ орла, похитил и унес на небо; там Ганимед прислуживал богам на их пирах.

Ганнибал (ок. 247—183 гг. до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец, который во второй Пунической войне нанес тяжелые поражения римлянам.

Гаргара — одна из самых высоких вершин горного хребта Иды в Троаде (Малая Азия).

Гарпии — крылатые чудовища, птицы с девичьими лицами.

Геба — дочь Зевса и Геры, богиня юности, прислуживающая вместе с Ганимедом на пирах богов.

Геката — мрачная богиня подземного царства, владычица злых демонов.

Гекатомба — первоначально: жертва богам из 100 быков, затем — любое жертвоприношение.

Гектор — см. Гекуба.

Гекуба — в цикле сказаний о Троянской войне супруга царя Трои Приама, мать ее главного защитника Гектора, пережившая всех своих детей.

Гелиея — судебная коллегия в Афинах, номинально состоявшая из 6000 присяжных.

Гелла — дочь орхоменского царя Афаманта и богини Нефелы.

Спасаясь от преследований мачехи, утонула в море, получившем затем ее имя (Геллеспонт — море Геллы).

Гелон (V в. до н. э.) — тиран Гелы, город на юге Сицилии, а затем Сиракуз.

Генетиллида — одно из имен Афродиты как покровительницы родов.

Гера — супруга Зевса, дочь Крона и Реи, богиня неба.

Гераклит из Эфеса (ок. 530—470 гг. до н. э.) — великий философ-материалист, основатель диалектики.

Геранея — возвышенность у Мегар, на Коринфском перешейке.

Герион — трехглавый дикий великан, владевший огромными стадами на крайнем Западе. Их угнал Геракл.

Гермафродит — сын Гермеса и Афродиты, сочетавший признаки женщины и мужчины.

Гермес — сын Зевса и Майи, бог дорог, торговли, посланец богов, покровитель странников, красноречия, школ, палестр и др.

Гермотим из Клазомен — греческий философ, живший в конце VI — нач. V в. до н. э.

Герод Аттик (ок. 101—179 гг.) — знаменитый богач, на средства которого были возведены постройки в Афинах, Олимпии, Риме и других городах. Был консулом в 143 г., учил императоров Марка Аврелия и Луция Вера. Прославленный ритор, сторонник аттицизма.

Геродик — учитель гимнастики и врач, основатель врачебной физкультуры.

Геродот (ок. 484—425 гг. до н. э.) — «отец истории», написал историю греко-персидских войн.

Гесиод — древнегреческий эпический поэт VIII—VII вв. до н. э., автор поэм «Труды и дни» и «Теогония».

Гестия — сестра Зевса, богиня домашнего очага, защитница чужестранцев.

Геты — фракийские племена, в первые века н. э. жили в пределах Дакии, в бассейне Дуная.

Гестеион — любовник Александра Македонского.

Гиady — семизвездие в созвездии Тельца.

Гиацинт — прекрасный юноша, любимец Аполлона, случайно убитый им. После смерти Гиацинт был превращен в цветок.

Гиг (VII в. до н. э.) — первый царь Лидии; владелец волшебного перстня, делавшего человека невидимым.

Гидасп — река в Индии, на левом берегу которой в 326 г. Александр Македонский разбил войска индийского царя Пора.

Гил — возлюбленный Геракла, отправившийся вместе с ним в поход аргонавтов и похищенный нимфами на одной из стоянок.

Гименей — бог брака.

Гимерос — божество, олицетворяющее любовное влечение.

Гимет — гора на юге Аттики; знаменита мрамором и собираемым здесь медом.

Гимнасий — помещение для занятий гимнастическими упражнениями; философы также часто беседовали с молодежью в гимнасиях.

Гипербореицы — сказочный счастливый народ, живущий там, куда не проникает северный ветер Борей.

Гиппокентавр — см. кентавры.

Гиппократ (ок. 460—377 гг. до н. э.) — один из основателей античной медицины, знаменитый ученый и врач с о. Коса.

Главк — 1. Понтийский — беотийский бог рыбаков и мореходов.
2. Сын Сизифа, отец Беллерофонта.

Гор — египетский бог, сын Осириса.

Горгоны — три крылатых женщины-чудовища со змеями вместо волос. Их взгляд превращал все в камень. Только одна из Горгон — Медуза — была смертной. Персей отрубил ей голову и отдал ее Афине.

Горы — богини времен года, стерегущие Олимп.

Граник — река в Малой Азии, где в 334 г. до н. э. произошла первая битва Александра с персами.

Данаиды — 50 дочерей египетского царя Даная. По приказу отца они убили своих мужей. В наказание в подземном царстве они все время наливали воду в бездонную бочку.

Даная — дочь аргосского царя Акрисия, заключенная отцом в подземелье, так как ему было предсказано, что сын Даная убьет его. Однако к Данае проник Зевс, пролившийся на нее золотым дождем. После этого Даная родила Персея.

Дарий I Гистасп — персидский царь из династии Ахеменидов (522—486). При нем начались греко-персидские войны.

Дарий III Кодоман — последний персидский царь; разбит и свергнут Александром Македонским.

Датис — персидский военачальник, потерпевший поражение от греков в битве при Марафоне (490 г. до н. э.).

Дафна — нимфа, превратившаяся в лавровое дерево, когда ее преследовал Аполлон.

Девкалион — сын титана Прометея. Когда на землю обрушился потоп, от него спаслись только Девкалион и его жена Пирра. По приказу Зевса они стали бросать камни, из которых возникли мужчины и женщины. Так Девкалион и Пирра стали родоначальниками людей.

Дедал — мифический афинский архитектор и изобретатель. За убийство был изгнан на Крит. Здесь построил лабиринт для царя Миноса. Бежал с острова вместе с сыном Икаром, сделав крылья. Икар, пренебрегши советами отца, упал в море и утонул (Икарийское море — юго-восточная часть Эгейского моря).

Декелея — местечко и дем в Аттике.

Делос — один из Кикладских островов в Эгейском море. Считался местом рождения Аполлона и Артемиды.

Дельфы — древнегреческий город в Фокиде у подножия Парнаса, где находился знаменитый храм и оракул Аполлона. Дельфы были религиозным центром всей Греции.

Дем — в Аттике — обычно сельский округ, община, часть филы.

Деметрий из Суний — философ-киник, живший в I в. в Риме.

Демокрит из Абдеры (ок. 460—370 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, основоположник атомистического учения.

Демосфен (384—322 гг. до н. э.) — великий афинский оратор и политический деятель; боролся против македонцев.

Дидимы — местность вблизи Милета, где находилось святилище Аполлона.

Диндим — гористая местность во Фригии, где особенно почиталась богиня Кибела.

Диоген из Синоп (ок. 404—323 гг. до н. э.) — философ-киник, ученик и преемник Антисфена. О жизни его рассказывают много преданий и анекдотов.

Диомед — греческий герой, в сражении под Троей ранивший Афродиту и Ареса.

Дион из Прусы (Хрисостом) — ритор и философ-стоик, живший во времена Домициана, Нервы и Траяна.

Дионисий I Старший — сиракузский тиран (406—367 гг. до н. э.).

Дионисий II Младший — сын Дионисия I, сиракузский тиран, свергнутый с престола в 343 г. до н. э.; он бежал из Сиракуз и стал учителем в Коринфе.

Диоскуры — сыновья Зевса и Леды: смертный Кастор и бессмертный Полидевк. Братья поделили бессмертие между собой.

Дипилон — ворота в Афинах.

Длинные стены — каменные стены от Афин до Пирея.

Додона — древнее местонахождение оракула Зевса в Эпире. Предсказания давались по шуму листвы священного дуба или по полету священных голубей.

Драхма — мелкая греческая монета из серебра, равная шести оболам.

Евклид (ок. 450—380 гг. до н. э.) — ученик Сократа, основатель мегарской философской школы.

Евмолп — сын Посейдона, властитель фракийцев, воевал с афинянами, основал Элевсинские мистерии. От него вели начало евмолпиды — знатный афинский род.

Евпатор — владыка Боспорского царства (155—171).

Евполид (V в. до н. э.) — современник Аристофана, представитель древнеаттической комедии.

Евридика — жена Орфея. После ее смерти Орфей упростил Аида отпустить ее на землю. Аид согласился, но с условием, что Орфей не оглянется на Евридику до возвращения на землю. Орфей нарушил условие, и Евридика осталась в подземном царстве.

Еврисфей — микенский царь, которому обязан был служить Геркулес.

Европ — город в Кари, недалеко от Евфрата.

Европа — финикийская царевна, которую Зевс в образе быка похитил и перенес через море на Крит.

ЕвфORB — троянец, ранивший Патрокла и убитый Менелаем. По учению Пифагора о переселении душ (метемпсихоз), был одним из воплощений души этого философа.

Евфорион (III в. до н. э.) — ученый, поэт и писатель, отличавшийся изысканным и темным слогом.

Евфранор — знаменитый живописец и ваятель IV в. до н. э. Работал в Афинах.

Елена — жена спартанского царя Менелая, красивейшая из земных женщин, рожденная Ледой от Зевса, принявшего образ лебедя; похищение Елены Парисом стало причиной Троянской войны.

Елисейские поля (иначе — Острова Блаженных) — сказочная страна на краю земли, где ведут счастливую загробную жизнь праведные избранники богов. По преданию, находилась на крайнем Западе.

Ехидна — хищное чудовище, полудева-полузмея, породившая различные чудовища — Кербера, Химеру, Лернейскую гидру, Скилла и др.

Закинф — остров в Ионическом море и город с тем же названием.

Замолксид (Залмоксид) — легендарная личность из фракийского племени гетов. Предание рассказывает, что он был рабом у Пифагора, затем был отпущен на родину, где стал распространять пифагорейское учение.

Зенон из Китиона (ок. 336—264 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель стоической школы.

Зефир — западный ветер, бог западного ветра.

Иапет — титан, сын Урана и Геи, отец Прометея, Эпиметея, Атланта и Менетия.

Иасион — сын Зевса, любимец Деметры, посвященный в ее таинства. Иасион считался духом плодородной земли.

Иберия — древнее название Испании, а также Закавказья.

Ида — высокие горы, захватывающие Фригию, Троаду и Мизику в Малой Азии.

Идомей — сын Миноса, критянин, герой Троянской войны.

Иерофант — жрец Элевсинских мистерий.

Икар — см. Дедал.

Икарий — брат Тиндара, отец Пенелопы; другой Икарий — афинянин, который получил от самого Диониса виноградную лозу (см. Эригона).

Икк — знаменитый атлет, победитель Олимпийских игр, упоминаемый Платоном. Предписывал спортсменам строгий режим.

Иксион — царь лапифов, посягнувший на Геру. В наказание был обречен в подземном царстве вращаться привязанным к колесу.

Илион — второе название Трои.

Илифия — одно из имен Геры как покровительницы родов.

Инах — древнейший царь Аргоса, бог реки того же названия.

Ино — дочь Кадма, жена Афаманта, у которого от первого брака были двое детей — Фрикс и Гелла.

Ио — дочь аргосского царя Инаха, возлюбленная Зевса, превратившего ее в телку, чтобы укрыть от ревнивого гнева Геры; но Гера приставила к ней стоглазого Аргуса, а затем наслала слепня, гнавшего телку с места на место.

Иолай — племянник и соратник Геракла, убивший с ним Гидру. Когда Еврисфей преследовал детей Геракла, боги на время вернули Иолаю молодость, чтобы он мог сразиться с войском Еврисфея.

Иония — область в Малой Азии, между Карией и Эолидой.

Ипполит — сын афинского героя Тесея и амазонки Антиопы. Оклеветанный своей мачехой Федрой, погиб под собственной колесницей.

Исида — египетская богиня плодородия, жена Осириса.

Истм — Коринфский перешеек, соединяющий Пелопоннес со Средней Грецией.

Исс — городок в Киликии, где Александр наголову разбил Дария III.

Итис (*Итил*) — сын Зета и Аэдоны, по ошибке убитый матерью.

Ифигения — дочь Агамемнона и Клитемнестры. Греки должны были принести ее в жертву для благополучного отплытия под Трою, но богиня Артемида заменила Ифигению ланью и унесла деву в Тавриду, где сделала своей жрицей.

Ификл — царь фессалийского города Филаки, отец Протесилая.

Кадм — мифический основатель беотийских Фив. Его дочь Семела была матерью Диониса.

Калидон — город в Этолии, где царствовал Оиней, прогнавший Артемиду, которая наслала на его страну страшного вепря. В охоте на него участвовало много героев.

Калипсо — нимфа сказочного острова Огигия, где Одиссей, возвращаясь на родину, пробыл 7 лет.

Каллимах — знаменитый александрийский ученый и поэт. Расцвет его творчества приходится на сер. III в. до н. э.

Каллий — имя представителей богатейшего рода в Афинах (V—IV вв. до н. э.).

Каллисфен (IV в. до н. э.) — ученик и родственник Аристотеля, историк, сопровождал Александра Македонского в его походах.

Каллисто — дочь Ликаона, охотница и спутница Артемиды. Из-за гнева Геры была превращена в медведицу и перенесена на небо в виде созвездия.

Камбиз — сын Кира, первого царя Персии (VI в. до н. э.), покорил Египет. Отличался большой жестокостью.

Каппадокия — горная страна на востоке Малой Азии. Часть ее в 17 г. сделалась римской провинцией.

Карамба — мыс в Пафлагонии, выдающийся в Черное море.

Кария — юго-западная часть Малой Азии.

Кастор — см. Диоскуры.

Квады — германское племя, жившее по северному течению Дуная. Постоянно воевали с римлянами, участвовали в Маркоманнской войне.

Кебет Фиванский — философ-пифагореец, ученик Сократа (конец V в. до н. э.). Ему приписывается аллегорическое сочинение моралистического характера «Картина», написанное, вероятно, в I в. н. э.

Кекропс — сын Земли, мифический основатель Афин.

Кельгиберы — испанское племя; произошло от слияния первоначальных обитателей Испании — иберов и пришедших из Галлии кельтов. Славились своим мужеством.

Кеней — аргонавт, сын царя лапифов Элата.

Кентавры — полулюди-полукони, с которыми боролись Геракл, Тесей и другие герои.

Кенхрей — главная гавань Коринфа на Сароническом заливе.

Керамик — предместье Афин, населенное беднотой и ремесленниками (гончарами — отсюда название). Здесь находились могилы некоторых выдающихся деятелей Афин.

Кербер (Цербер) — ужасный трехглавый пес с хвостом дракона, стороживший вход в подземное царство Аида.

Керкира (Коркира) — современный Корфу, остров, расположенный против Эпира; жители Керкиры занимались торговлей и мореплаванием.

Керкопы — мифическое племя обезьяноподобных существ, обитавшее в районе Фермопил.

Кибела — фригийская богиня плодородия; Великая Мать богов, иногда отождествлялась с Реей. Культ Кибелы носил оргиастический и экстатический характер.

Киклады — небольшие острова в Эгейском море.

Киликия — береговая страна на юго-востоке Малой Азии. Славились пиратами.

Киллений — одно из имен Гермеса по названию горы Киллены в Аркадии, где он родился.

Кимвал — шарообразный инструмент из меди, издававший трескучие звуки. Употреблялся на праздниках Кибелы и Сатурналиях.

Кинегир — популярный герой греко-персидских войн, пал в битве при Марафоне (490 г. до н. э.).

Кинир — любимец Аполлона и Афродиты, был в греховной связи со своей дочерью; его богатства вошли в поговорку.

Кинурия — горная страна на юго-западе Аркадии.

Киприда — одно из имен Афродиты, впервые ступившей на сушу на острове Кипр.

Кир Старший — создатель огромной персидской державы и первый ее царь, погиб в борьбе со скифами (VI в. до н. э.).

Кир Младший — брат царя Артаксеркса, поднявший против него мятеж и пытавшийся захватить власть с помощью десяти тысяч греческих наемников.

Кирка (Цирцея) — волшебница, у которой Одиссей провел год, возвращаясь из Трои на родину.

Кирра — прибрежный город в Фокиде, недалеко от Дельф.

Кифара — древнегреческий струнный инструмент, родственник лире. Игрой на кифаре сопровождалось пение.

Кифаред — одно из наименований Аполлона.

Киферон — лесистые горы между Беотией и Аттикой.

Клар — небольшой город в Ионии, недалеко от Колофона. Здесь находились храм и священная роща Аполлона. Во времена Лукиана Клар славился своим оракулом Аполлона.

Клеанф — ученик Зенона, один из основателей философской школы стоиков (III в. до н. э.).

Клеон — богатый кожевник, глава демократической партии в Афинах (погиб в 422 г. до н. э.); Аристофан заклеил его как вредного демагога; то же повторяет Лукиан.

Климена — мать Фазтона, родившая его от Гелиоса.

Клиний — отец Алкивиада, богатый афинянин, участник греко-персидской войны.

Клизма — город и гавань в Египте.

Клото — одна из трех Мойр, которая прядет нить судьбы.

Книд — город в Карии, известный культом Афродиты. Здесь находилась знаменитая статуя Афродиты работы Праксителя.

Кодр — по преданию, последний царь в Аттике, пожертвовавший собой для спасения родины при вторжении дорийцев из Пелопоннеса (1068 г. до н. э.).

Кокит (Коцит) — одна из рек в подземном царстве.

Колиада — предгорье в Аттике, к югу от Фалерона. Здесь находился храм Афродиты.

Колосс Родосский — гигантская медная статуя бога солнца в гавани острова Родос, разрушенная землетрясением в 222 г.

Колофон — один из двенадцати ионических городов в Малой Азии.

Колхида — страна на Кавказе (Западная Грузия), известная по мифу об аргонавтах.

Кордак — древнегреческий танец с неприличными телодвижениями.

Короб — дурачок из греческих народных сказаний.

Корибанты — спутники и жрецы богини Кибелы.

Коронида — мать бога Асклепия.

Котил — мера емкости, около четверти литра.

Котурны — обувь с высокими деревянными подошвами для увеличения роста актеров в древнегреческом театре.

Краний — пригород Коринфа, известный своей живописной кипарисовой рощей; излюбленное место отдыха горожан. Здесь жил Диоген — в бочке (вернее, в огромном глиняном кувшине — пифосе).

Кратет Фиванский — известный киник, ученик Диогена (IV в. до н. э.).

Крез — царь Лидии, славившийся своими огромными богатствами (VI в. до н. э.). Персидский царь Кир, победивший его, чуть не сжег Креза на костре.

Креонт — один из героев фиванского цикла сказаний, царь Фив. Преследовал Антигону, дочь царя Эдипа, похоронившую брата вопреки воле Креонта.

Крон — сын Урана и Геи, младший из титанов, овладевший властью над миром, но затем свергнутый своим сыном Зевсом.

Кронид — сын Крона — Зевс. Кронид пучин — Посейдон.

Кротон — богатый город на юге Италии, на берегу Ионического моря. Основан греками в VIII в. до н. э.

Ксанф — бог реки того же имени, протекавшей около Трои.

Ксенофонт Афинский (ок. 430—355/4 гг. до н. э.) — древнегреческий историк и политический деятель, сторонник аристократической Спарты, ученик Сократа.

Ксеркс — персидский царь (486—465 гг. до н. э.), возглавивший третий поход персов на Грецию. Потерпел полное поражение (480 г.).

Ктесий Книдский — врач, отправившийся ок. 416 г. до н. э. в Персию. Участвовал в борьбе Артаксеркса против его брата Кира, написал историю Персии и Индии.

Лазы — племя, обитавшее в Колхиде.

Лаида (Лаис) — Старшая и Младшая — две гетеры, имя которых часто упоминается в эпиграммах. Их почитателями были многие видные люди V—IV вв. до н. э.

Лай — фиванский царь; ему было предсказано, что он погибнет от руки своего сына; Лай велел унести своего младенца сына в горы, но тот был спасен, вырос и случайно убил отца.

Лакедемон (Лакония, Спарта) — город и область в Пелопоннесе; на ее территории было образовано одно из классических рабовладельческих государств — Спарта.

Ламия — страшное мифическое чудовище, ужасный призрак, которым пугали детей.

Лампих — тиран Гелы, города на юге Сицилии, процветавшего в VII—VI вв. до н. э.

Лампсак — город в Мизии на Геллеспонте.

Лаомедонт — троянский царь, отец Приама. Был убит Гераклом. Посейдон строил для него Троянскую стену.

Лапифы — воинственное племя в Фессалии, боровшееся с кентаврами.

Латона (Лето) — мать близнецов Аполлона и Артемиды.

Лакесис — одна из трех Мойр, назначавшая человеку участь.

Лаэрт — отец Одиссея, царь острова Итака.

Леарх — сын царя г. Орхомена в Беотии Афаманта и дочери Кадама Ино. Был убит отцом, на которого Гера наслала безумие.

Лебадея — город в Беотии, недалеко от которого находился оракул Трофония.

Левкотей — спасающее морское божество, в которое превратилась жена Афаманта Ино, утонувшая в море.

Леда — жена спартанского царя Тиндарея, с которой сочетался Зевс в образе лебедя. Леда стала матерью Елены и Полидевка, а от Тиндарея родила Клитемнестру и Кастора (см. Диоскуры).

Лемниады — женщины острова Лемнос, перебившие, согласно мифу, всех мужчин острова.

Лепид — современник Лукиана, философ-эпикурец.

Лернейская гидра — многоголовое чудовище, обитавшее в окрестностях Аргоса и убитое Гераклом.

Лета — река забвения в царстве мертвых.

Летó — см. Латона.

Лидия — область на западном побережье Малой Азии с главным городом Сарды.

Ликий (Лицей) — парк и гимнасий в Афинах; здесь учил Аристотель.

Ликия — гористая область в Малой Азии.

Ликург — легендарный законодатель Спарты в IX в. до н. э.

Линкей — участник калидонской охоты и похода аргонавтов, славился остротой зрения, мог видеть даже сквозь камни.

Лисий — знаменитый афинский оратор (V в. до н. э.).

Лисимах — полководец и телохранитель Александра Македонского. После его смерти — царь Фракии, воевал с наследниками Александра, пал в битве в 281 г. до н. э.

Лисипп — великий греческий скульптор 2-й пол. IV в. до н. э., один из ранних представителей искусства эпохи эллинизма.

Лоллиан из Эфеса — плодовитый ритор и импровизатор. Занимал кафедру риторики в Афинах во II в. н. э.

Мавзол — царь Карии. В 362 г. до н. э. освободился от владычества Персии. После смерти Мавзола жена соорудила ему великолепную гробницу (мавзолей) в Галикарнасе, считавшуюся одним из чудес света.

Мавритания — западная часть северного побережья Африки.

Майя — дочь титана Атланта, родила от Зевса Гермеса.

Малл — киликийский город в Малой Азии, где большой популярность пользовался оракул Амфилоха.

Марафон — долина на восточном берегу Аттики, где в 490 г. до н. э. греки одержали победу над превосходящими силами персов.

Маргит — герой греческих народных сказок — глупец, считающий себя очень умным. Герой комической поэмы, приписываемой Гомеру.

Марк Аврелий — римский император (121—180). Воевал с германцами и другими придунайскими племенами. Один из крупных философов-стоиков II в. Автор книги «Наедине с собой».

Маркоманны — одно из крупных германских племен. При Марке Аврелии в 166 г. началась Маркоманнская война, которая окончилась в 181 г. позорным для римлян миром.

Марсий — фригийский силен, нашедший флейту Афины и вступивший в состязание с самим Аполлоном. С побежденного Марсия Аполлон содрал кожу и повесил в пещере близ Келен во Фригии.

Массалия (Массилия) — современный Марсель — город в Галлии, основанный в VI в. до н. э. фокейцами. В 49 г. до н. э. захвачен римлянами.

Мега́ра — главный город Мегариды, области к западу от Атики.

Медея — дочь Ээта, царя Колхиды. С ее помощью Ясон завладел золотым руном. Медея бежала с ним в Грецию и стала его женой. Когда Ясон захотел вторично жениться на дочери коринфского царя Креонта, Главке (Креусе), Медея погубила Креонта и Главку при помощи отравленных платья и диадемы и, убив своих детей от Ясона, бежала в Афины, где стала женой царя Эгея.

Медимн — греческая мера сыпучих тел, равная 51,84 литра.

Мелет — незначительный афинский поэт, один из трех обвинителей Сократа на суде.

Мелетид — имя глупца, вошедшее в поговорку; синоним дурака.

Меликерт — сын Ино, ставший, как и мать, морским божеством.

Мемно́н — сын Зари и Тифона, мифический царь Восточной Эфиопии (Ассирии), союзник Приама в Троянской войне. Погиб от руки Ахилла. Колоссальную статую близ Фив Египетских (колосс Мемнона) считали его изображением.

Мемфис — древняя столица Египта, резиденция фараонов. Находилась в северной части Среднего Египта.

Мен — бог луны, почитаемый в Сирии и всей Малой Азии.

Менады (вакханки) — служительницы и спутницы Диониса.

Менандр (ок. 342—292 гг. до н. э.) — крупнейший поэт новой аттической комедии.

Менелай — спартанский царь, муж Елены, участник Троянской войны.

Менипп (III в. до н. э.) — кинический философ и писатель из Гадыры (Сирия), оказавший большое влияние на Лукиана.

Меотида — Азовское море.

Метапонт — греческий город в Лукании, на берегу Тарентского залива (Южная Италия).

Метеки — иностранцы, неграждане, жившие под покровительством законов государства и платившие за это особую дань.

Метродор — философ-эпикурец (III в. до н. э.).

Мидас — мифический царь Фригии. Аполлон наделил его ослиными ушами за то, что тот отдал предпочтение Пану в музыкальном состязании Пана с Аполлоном. У Мидаса был дар своим прикосновением превращать в золото любой предмет.

Мидий — афинский богач, живший в IV в. до н. э.

Мидяне — народ, населявший одну из областей Персии, Мидию. Часто слово «мидяне» употреблялось в значении «персы».

Микены — город в Арголиде (Пелопоннес).

Милет — крупный торговый и промышленный город на Ионийском побережье Малой Азии.

Мильтиад — знатный афинянин, герой греко-персидских войн. В 490 г. до н. э., будучи стратегом, нанес сокрушительный удар по персидскому войску в битве при Маратоне.

Мина — крупная денежная единица, 100 драхм.

Минос — сын Зевса и Европы, царь Крита. После смерти стал одним из трех судей подземного царства.

Мирмидоняне — ахейское племя, населявшее Южную Фессалию. Царем мирмидонян был Ахилл. По преданию, в мирмидонян Зевс превратил муравьев по просьбе своего сына Эака, после того как его царство было опустошено мором.

Мирон — родом из Элевтер в Беотии, знаменитый греческий скульптор V в. до н. э.

Мисия — область в северо-западной части Малой Азии.

Мисты — посвященные в таинства (мистерии) какого-либо божества.

Митра — древнеперсидский бог солнца и света.

Мойры — три богини судьбы, олицетворение неотвратимого рока.

Мом — бог злословия и насмешки.

Мормо — ночной дух с ослиными ногами. По представлениям греков, Мормо высасывала кровь у красивых юношей.

Муририда — город в Индии, где велась оживленная торговля.

Мусоний Руф — философ-стоик, живший в эпоху Нерона (54—68). В 65 г. был выслан из Рима по подозрению в причастности к заговору против императора.

Нарцисс — прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение в воде и скончавшийся от этой неразделенной любви. После смерти превратился в цветок нарцисс.

Немея — долина в Арголиде (Греция), где Гераклом был убит Немейский лев. Каждый три года там устраивались игры в честь Зевса Немейского.

Нерей — морской бог, отец пятидесяти дочерей, Нереид. Вместе с ними Нерей — олицетворение спокойного моря.

Несиот — скульптор V в. до н. э. Вместе с Критием создал памятник тираноубийцам, Гармодию и Аристоклону.

Нестор — царь Пилоса, участник похода аргонавтов и Троянской войны. Известен своей мудростью, опытностью и красноречием.

Никий — афинский государственный деятель и полководец V в. до н. э. Один из руководителей неудачной для афинян сицилийской экспедиции.

Ниоба — жена фиванского царя Амфиона, мать двенадцати детей. Гордясь ими, издевалась над богиней Лето, у которой детей было только двое. Дети Лето, Аполлон и Артемида, отомстили за мать, истребив всех детей Ниобы. Сама Ниоба превратилась в каменное изваяние, стоящее на вершине горы Сипила (в Лидии).

Нирей — самый красивый (после Ахилла) греческий герой, принимавший участие в осаде Трои.

Нисея — поле в Персии, где находились царские конюшни. По преданию, в них содержалось более 150 000 лошадей.

Нисибей — крупный торговый город в Месопотамии.

Нот — бог южного ветра. Обыкновенно несет с собой дожди и туманы.

Нума — Нума Помпилий (VIII—VII вв. до н. э.), мудрый римский царь и законодатель.

Обол — мелкая серебряная греческая монета (около 4 копеек). Ее клали за щеку умершему, чтобы тот мог заплатить за перевоз в царство мертвых Харону.

Огигия — остров нимфы Калипсо, находившийся в отдаленной части моря.

Одриссы — народ, населявший Фракию. Славились как прекрасные наездники.

Оиней — царь города Калидона (Этолия), отец героя Мелеагра.

Оксидраки (букв.—дальнозоркие) — народ, живший в Индии. С ними сражался Александр Македонский. Так же назывался главный город этого народа.

Олимпия — равнина в Элиде, где раз в 4 года происходили Олимпийские игры и где находился храм Зевса со статуей бога работы Фидия. Статуя эта, сделанная из золота и слоновой кости, считалась одним из семи чудес света.

Олимпиада — мать Александра Македонского.

Олинф — город в Халкидике (Македония), разрушенный в 347 г. до н. э. Филиппом Македонским.

Омфала — лидийская царица. Геракл в наказание за убийство своего друга Ифита был 3 года ее рабом.

Оракул — 1. храм, место, где божество давало предсказания; 2. изречение оракула, данное вопрошившему божество.

Оргия — греческая мера длины, равная 1/100 стадия.

Орест — сын Агамемнона и Клитемнестры. Мстя за убийство матерью отца, убил ее. Известен своей дружкой с героем Пиладом.

Орифия — дочь афинского царя Эрехтея, жена похитившего ее бога северного ветра, Борея.

Орфей — сын музы Каллиопы, мифический певец и пророк. Своим пением укрощал диких зверей. Спускался в Аид, пытался вернуть к жизни свою умершую жену Евридику. Растерзан фракийскими женщинами за безразличие, которое он проявлял ко всем женщинам после смерти Евридики.

Осирис — главный египетский бог, олицетворение Нила, оплодотворяющего своим течением долину этой реки.

Острова Блаженных — см. Елисейские поля.

Офион — один из самых древних титанов, живший ранее Крона, отца Зевса.

Паламед — греческий герой, участник Троянской войны. За разоблачение хитрости Одиссея был оклеветан и погублен им.

Памфилия — область на юге Малой Азии (между Ликией и Киликией).

Пан — сын Гермеса, бог лесов и рощ, покровитель пастухов и их стад. Имел рога и ноги козла.

Панафинеи — празднества в честь Афины, учрежденные Эрихтонием и справлявшиеся на третьем году каждой из Олимпиад.

Пангей — горная цепь в Македонии, богатая драгоценными металлами и камнями.

Пандионида — одна из афинских фил (округов).

Парасанг — персидская мера длины, равная 30 стадиям, то есть около 5 километров.

Паретония — приморский город и крепость в Египте, западнее Александрии.

Париане — жители города Пария, находившегося на побережье Геллеспонта в Троаде (Малая Азия).

Парис (Александр) — сын Приама и Гекубы. В споре богинь Геры, Афины и Афродиты о том, кто из них самая прекрасная, прису-

дил победу Афродите. За это Афродита помогла ему похитить Елену, жену спартанского царя Менелая.

Парнет — гора в Аттике, близ Декелеи.

Партений — гора на границе Арголиды и Аркадии.

Парфений — поэт I в. до н. э. Оказал влияние на римскую поэзию.

Парфяне — народ, населявший в римскую эпоху территорию древнего Персидского царства.

Патары — приморский город в Ликии (Малая Азия), знаменитый оракулом Аполлона Патарского.

Патрокл — греческий герой, друг Ахилла, убитый Гектором под Троей.

Патры — город в области Ахайе (Пелопоннес).

Пафия — эпитет богини Афродиты (по месту ее культа, городу Пафосу на Кипре).

Пафлагония — область Малой Азии, примыкающая к южному побережью Евксинского понта (Черное море).

Пеан — 1. эпитет Аполлона Целителя; 2. победная песнь.

Пегас — крылатый конь. С его помощью Беллерофонт победил чудовище Химеру.

Пеласгикон — район, примыкавший с запада к афинскому Акрополю.

Пелид — сын Пелея, то есть Ахилл.

Пелла — столица древней Македонии, место рождения Александра Македонского.

Пелопиды — потомки сына Тантала, Пелопа, царя Элиды и Аргоса.

Пенелопа — 1. жена Одиссея; 2. возлюбленная Гермеса, мать бога Пана.

Пергам — крупный город в Мисии, на реке Каик (Малая Азия). Там находился знаменитый храм Асклепия.

Пердикка — полководец и приближенный Александра Македонского. После смерти царя был регентом государства.

Периандр — коринфский тиран VII в. до н. э.

Перипатетики — последователи философской школы, основанной Аристотелем. Свое название получили от «перипатос» — галереи в афинском гимнасии Ликее, где философское учение излагалось во время прогулки. Отсюда перипатетиков называли еще «прогуливающимися философами» (см. «Жизнеописание Демонакта», 54).

Персей — сын Зевса и Данаи, победитель Медузы. Он же спас от морского чудовища эфиопскую царевну Андромеду.

Персефона — дочь Зевса и Деметры, жена Аида, владыки подземного царства.

Пилад — греческий герой, друг Ореста.

Пилос — 1. город в Мессении; 2. город в Элиде.

Пиндар — знаменитый хоровой лирический поэт (521—442 гг. до н. э.), автор эпиникиев (победных од).

Пирей — гавань города Афин.

Пирифлегетон (букв. — огненный поток) — одна из рек в подземном царстве.

Пирифой — царь лапифов, друг Тесея. На его свадьбе с Гипподамией, дочерью лапифа Атрака, произошла схватка лапифов с кентаврами, в опьянении набросившимися на лапифских женщин.

Пирра — см. Девкалион.

Пиррон — основатель философской школы скептиков (IV в. до н. э.).

Писа — город в Элиде (Пелопоннес), близ Олимпии.

Питиокампт (он же Синис) — разбойник. Губил захваченных им путников, привязывая их к верхушкам двух согнутых сосен. Убит Тесеем.

Питтак — тиран города Митилены (на острове Лесбос). Один из «семи мудрецов». По преданию, прожил до 100 лет.

Пифагор — греческий философ VI в. до н. э., родом с Самоса, основатель философской школы в Кротоне (Южная Италия).

Пифия — жрица Аполлона, изрекала предсказания бога в Дельфийском храме.

Платей — город в Беотии. Здесь в 479 г. до н. э. греки одержали победу над персами.

Плефр — мера длины, равная $\frac{1}{6}$ стадия, т. е. около 31 метра.

Плеяды — созвездие из семи звезд. По мифу, Плеяды — семь дочерей Атланта, умертвившие себя и превращенные богами в звезды.

Плистен — сын царя Микен, Атрея.

Плутон — второе имя Аида, властелина подземного царства.

Плутос — бог богатства. В древнеаттической комедии изображался слепым, чтобы оправдать несправедливое распределение благ.

Пникс — холм в Афинах, служивший местом Народных собраний.

Подалирий — сын Асклепия. Вместе с братом Махаоном участвовал как врач в Троянской войне.

Полемон — I. III в. до н. э. — философ, ученик Ксенократа; 2. II в. до н. э. — философ и географ-путешественник.

Полидамант — известный атлет времен Сократа (469—399 гг. до н. э.), родом из Скотусы во Фракии.

Полидевк — см. Диоскуры.

Поликлет — из Сикиона, знаменитый греческий скульптор и архитектор (сер. V в. до н. э.).

Поликсена — дочь Приама и Гекубы. Согласно мифу, после падения Трои была принесена в жертву на могиле Ахилла его сыном Неоптолемом.

Пор — индийский царь, побежденный Александром Македонским, но сохранивший свое царство.

Посейдон — могучий бог водной стихии. Сын Крона, брат Зевса и Аида, один из властителей мира.

Потос — сын Афродиты, божество, олицетворяющее любовные желания.

Пракситель — греческий скульптор IV в. до н. э. Его работы: Афродита Книдская и Эрот из Феспий.

Приам — троянский царь, муж Гекубы, убитый сыном Ахилла, Пирром.

Приап — бог плодородия и деторождения, а также полей и садов.

Пританы — должностные лица городского управления.

Пританей — городское управление в греческих городах, где заседали пританы и где питались за счет государства лица, имевшие особые заслуги.

Прокуратор — чиновник императора, собиравший подати в частную казну императора — «фиск». В небольших провинциях являлся правителем.

Протей — одно из морских божеств. Обладал даром перевоплощения и пророческим даром.

Протесилай — предводитель фессалийцев, первый греческий герой, погибший при осаде Трои от руки Гектора. По просьбе его же

ны Лаодамии боги отпустили его на три часа из царства мертвых. Когда Протесилай должен был туда вернуться, Лаодамия умерла вместе с ним.

Проздр — один из представителей от фил, председательствовавший в афинском совете и Народном собрании.

Прусий — царь Вифинии (236—186 гг. до н. э.), у которого нашел последнее убежище преследуемый римлянами Ганнибал.

Птолемей, сын Лага — один из видных полководцев Александра Македонского, впоследствии царь Египта под именем Птолемея I Сотера (323—283 гг. до н. э.).

Радамант — сын Зевса и Европы. После смерти стал одним из судей подземного царства.

Рабсод — певец, исполнявший речитативом эпические произведения в Древней Греции.

Рея — жена Крона, мать Зевса, Геры и других богов. Отождествлялась с Кибелой, Великой Матерью богов.

Родос — остров близ южного побережья Малой Азии.

Сабасий — фригийское божество. Впоследствии отождествлялся с Дионисом.

Савроматы (сарматы) — древние племена, населявшие Восточно-Европейскую низменность вплоть до Волги на востоке.

Сальмоней — сын бога ветров Эола, брат Сизифа. Подражал Зевсу, производя молнию и гром. За это Зевс низверг его в Тартар.

Самофракийские боги (Кабиры) — божества, которые почитались на острове Самофракия (в Эгейском море) как охранители от бурь.

Сапфо — знаменитая лирическая поэтесса VII—VI вв. до н. э. с острова Лесбос.

Сарданапал — последний древнеассирийский царь, отличавшийся любовью к роскоши. Погиб при осаде Ниневии в 880 г. до н. э.

Сарпедон — сын Зевса и Европы, ликийский царь и союзник троянцев. Погиб от руки Патрокла.

Сагиры — низшие божества, козлоногие спутники Диониса, олицетворявшие буйные силы природы.

Селевк — Селевк I, Никатор (ок. 356—281 гг. до н. э.). Один из полководцев Александра Македонского, а впоследствии царь огромного государства, включавшего в себя многие земли Малой Азии.

Семела — дочь Кадма и Гармонии, мать бога Диониса, родившая его от Зевса.

Селена — 1. богиня луны; 2. луна.

Сивилла — имя, ставшее нарицательным для пророчицы вообще.

Сидон — крупный торговый порт и промышленный город в Финикии.

Сизиф — легендарный основатель и царь Коринфа. За разглашение тайн богов осужден в Аиде вкатывать на вершину горы огромный камень, который постоянно срывался вниз («сизифов труд»).

Сикион — город в Арголиде, на северо-востоке Пелопоннеса.
Сикофанты — доносчики, клеветники.

Силен — сын Пана, вечно пьяный спутник Диониса.

Синды — народ, населявший область, примыкавшую к Евксинскому понту (Черное море) у Боспора Киммерийского (Керченский пролив).

Сипил — ответвление горной цепи Тмола в Лидии.

Скирон — разбойник, который сталкивал путников в море. Был убит Тесеем.

Скифы — общее в древности название различных кочевых народов Восточной Европы и Азии.

Солон — афинский законодатель (VII—VI вв. до н. э.). Считался одним из «семи мудрецов».

Сосандра — статуя афинского скульптора Каламида (V в. до н. э.).

Сострат — имя нескольких исторических лиц: 1. сын Дексифана (1-я пол. III в. до н. э.), строитель Фаросского маяка у берегов Египта, считавшегося одним из семи чудес света; 2. беотиец, атлет, прозванный за свою силу Гераклом; 3. разбойник.

Стадий — греческая мера длины, равная 184,97 м.

Стесихор — лирический поэт (632—556 гг. до н. э.).

Стикс — река в подземном царстве.

Стоики — последователи философской школы, основанной Зеноном из Китиона (ок. 300 г. до н. э.) (см. Стоя).

Столпы Геракла — Гибралтарский пролив.

Стоя — колоннада, портик в Афинах, где Зенон, основатель школы стоиков, беседовал со своими учениками. Стены ее были расписаны Полигнотом, на них была изображена борьба Тесея с амазонками, взятие Трои, Марафонская битва и т. д. Оттого колоннаду называли Расписным портиком.

Суний — мыс на юго-восточной оконечности Аттики.

Сура — город в Ликии (Малая Азия).

Сципион — Публий Корнелий Сципион Африканский (конец III — начало II в. до н. э.), выдающийся римский полководец, победитель Ганнибала.

Тавры — народ, населявший территорию Крымского полуострова, Тавриду.

Тайгет — горная цепь в Спарте.

Талант — греческая мера веса, равная 26,2 кг. Как денежная единица 1 талант равнялся около 1500 золотых рублей.

Талос — медный великан, подаренный Гефестом царю Крита, Миносу. Охраняя остров, трижды в день обегал его кругом.

Танаис — река в Сарматии, ныне Дон.

Тантал — сын Зевса, царь Фригии. За преступления против богов осужден в подземном царстве на вечный голод и жажду.

Тарент — город в Южной Италии.

Тевкр — 1. первый троянский царь; 2. сводный брат Аякса (Аян-та), лучший стрелок среди греков, осаждавших Трою.

Тегея — город в Аргониде (Пелопоннес).

Телесилла — по преданию, во главе аргивских женщин отразила нападение спартанского царя Клеомена на Аргос (конец VI в. до н. э.).

Телеф — сын Геракла, царь Мисии. Был случайно ранен Ахиллом и им же исцелен.

Теогония — см. Гесиод.

Терсит — самый уродливый из греков, принимавших участие в осаде Трои.

Тесей — сын Эгея, афинский царь, победитель Минотавра и участник похода аргонавтов за золотым руном.

Тимократ — философ-эпикурец из Гераклеи (ок. 260 г. до н. э.).

Тимон — афинянин, живший в конце V в. до н. э. Его ненависть к людям вошла в поговорку (мизантроп).

Тимпан — музыкальный инструмент, бубен. Употреблялся обычно на празднествах в честь Вакха и Кибелы.

Тир — крупный торговый город на Финикийском побережье Малой Азии.

Тиридат — имя нескольких царей Армении и Парфии.

Тиро — дочь Сальмоней, жена Кефея, царя Фессалии.

Тирс — увитый плющом жезл вакханок.

Титаны — сыновья и дочери Урана (Неба) и Геи (Земли). Завладели небом, но затем были побеждены Зевсом и низвергнуты им в Тартар.

Титий — великан, сын Геи. За оскорбление богини Лето низвергнут в Тартар, где два коршуна терзали его печень.

Тифон — троянский царевич, возлюбленный богини зари Эос, которая выпросила для него у богов бессмертие, но забыла выпросить вечную юность.

Тмол — горная цепь и город в Лидии (Малая Азия).

Трикка — город в Фессалии.

Триптолем из Элевсина — любимец богини Деметры, основатель земледелия.

Тритония — эпитет богини Афины.

Тритоны — низшие морские божества, полурыбы, полулюди. Сопровождали главных морских богов Посейдона и Амфитриту.

Троада — область на северо-западе Малой Азии.

Трофоний — сын царя города Орхомена в Беотии, убивший своего брата и поглощенный за это землей. На месте, где это случилось, в городе Лебадее, был устроен оракул Трофония.

Фаворин — родом из Арля, в Галлии. Ученик Диона Хрисостома, философ и ритор времен Адриана (117—138 гг.).

Фаланга — отряд воинов в сомкнутом строю. Македонская фаланга, например, имела 50 человек по фронту и 12—16 в глубину.

Фаларид — жестокий тиран города Агригента (Сицилия, VI в. до н. э.).

Фалес — философ из Милета (начало VI в. до н. э.). Учил, что вода — начало всех вещей. Его считали одним из «семи мудрецов».

Фасос — остров у берегов Македонии и Фракии.

Фазтон — сын бога солнца. Не мог справиться с огненной колесницей отца и едва не зажег землю. Зевс поразил его молнией.

Феаген — знаменитый атлет с острова Фасос, живший в V в. до н. э. Также — известный киник II в.

Феаки (феакийцы) — мифический народ, обитавший на острове Схерии. Феаки славились как искусные мореходы.

Феано — из Фурий или Метапонта. По преданию, была дочерью Пифагора. Ей приписывают несколько сочинений о нем.

Феб-Пеан — эпитет Аполлона Целителя.

Федр — герой одноименного диалога Платона, прекрасный юноша, друг Сократа.

Феникс — сказочная птица, которая, прожив 500 лет, сжигала себя в своем гнезде и возрождалась обновленной из пепла.

Феопомп — греческий историк IV в. до н. э.

Ферамен — афинский государственный деятель и полководец. За свое непостоянство был прозван «котурном» (род сапога, который можно было надеть на любую ногу). Казнен в 403 г. до н. э.

Фесмофории — праздник, справлявшийся в честь Деметры, учредительницы земледелия и брака. На нем могли присутствовать только женщины.

Фетида — морская богиня, супруга Пелея и мать Ахилла.

Фидий — знаменитый афинский скульптор и архитектор (ок. 500—431 гг. до н. э.), автор скульптур Парфенона.

Филипп — царь Македонии, сын Аминты, отец Александра Македонского; правил с 359 по 336 г. до н. э.

Филоктет — спутник Геракла, зажегший его погребальный костер на Эте. На пути под Трою был укушен змеей и десять лет страдал от этой раны. Исцелен Махаоном.

Финей — фракийский царь и прорицатель. Он открывал людям намерения богов, и за это они его ослепили и наслали на него крылатых чудовищ — гарпий, от которых его спасли аргонавты.

Фокида — область в Средней Греции. На ее территории находились Парнас и Геликон.

Фоант — мифический скифский царь, при котором Ифигения была жрицей в Тавриде.

Фокион — афинский государственный деятель и полководец, сторонник македонской ориентации. Казнен в 318 г. до н. э.

Фолея — гора в Элиде (Пелопоннес).

Фракия — область в Северо-Восточной Греции, на границе с Македонией. Омывалась водами Черного моря, Геллеспонта и Пропонтиды.

Фригия — область в Малой Азии.

Фтиотида — горный район в Фессалии (Северная Греция).

Фукидид — греческий историк (464—400 гг. до н. э.), написавший «Историю Пелопоннесской войны».

Халдеи — семитское племя, завоевавшее Вавилон и ассимилировавшееся с вавилонянами.

Халкедон — город в Вифинии (Малая Азия).

Халкида — столица острова Евбея.

Хариты — богини изящества, красоты и веселья.

Хармид — философ 2-й пол. IV в. до н. э., ученик Сократа.

Харон — старик перевозчик душ умерших в Аид. За перевоз ему платили один обол, который клали за щеку умершему.

Хелидонские острова — острова у побережья Ликии (Малая Азия).

Херефонт — ревностный ученик и последователь Сократа.

Херсонес — полуостров во Фракии, на севере Греции, ныне Галлиполи.

Химера — мифическое чудовище с головой льва, телом козы и хвостом дракона.

Хирон — мудрый кентавр, воспитатель Асклепия, Ясона и Ахилла. Был бессмертен, но отдал свое бессмертие Прометею.

Хитон — греческая одежда, род рубахи из шерсти или льняной ткани, обычно с поясом.

Хосрой (Оксирой) — парфянский царь II в., с которым римляне ввели войну в 165—170 гг.

Хрисипп — философ-стоик (ок. 282—208 гг. до н. э.), ученик Клеанфа и, возможно, Зенона. В древности ему приписывали около 700 сочинений.

Цезаря — название нескольких городов. Здесь имеется в виду Цезаря — столица Мавритании, город на Средиземном море.

Центурион — командир центурии, отряда в 100, а впоследствии в 60 человек.

Цикута — ядовитое растение, использовалось для совершения смертных приговоров. Ею был отравлен Сократ.

Эак — один из трех судей в подземном царстве.

Эгаалы — город в Пафлагонии, на берегу Черного моря.

Эгида — козья шкура со вставленной в нее головой Медузы Горгоны, которую обыкновенно носили Зевс и Афина. Потрясая ею, Зевс приводил в трепет как богов, так и людей.

Эгий — город в Ахайе, у Коринфского залива.

Эдесса (или Орроя) — город в Месопотамии.

Эзоп — полубог-легендарный греческий баснописец, под именем которого дошел сборник прозаических басен.

Эланодик — судья на Олимпийских играх.

Элафеболион — девятый месяц года (с половины марта до половины апреля).

Элевсин — город в Аттике, недалеко от Афин.

Элевсинские мистерии — празднества в честь Деметры и Персефоны, принявшие впоследствии характер мистических и таинственных обрядов.

Элефтеры — город в Аттике, на границе с Беотией.

Элея — город в Лукании, место рождения философов Парменида и Зенона, родина так называемой «Элейской» философской школы.

Элида — город и область в северо-западной части Пелопоннеса.

Эмпедокл — философ и естествоиспытатель, жил в V в. до н. э. в Агригенте (Сицилия). По преданию, погиб, бросившись в кратер вулкана Этна.

Эндимион — прекрасный, вечно спящий юноша, возлюбленный богини Селены.

Эниалий — эпитет бога войны Ареса.

Эноя — дем (округ) близ Марафона, на границе с Беотией.

Эпей — герой, построивший с помощью Афины Троянского коня. Известен также как искусный кулачный боец.

Эпиктет — философ-стоик (2-я пол. I — нач. II в.).

Эпикур — философ-материалист, основатель философской школы эпикурейцев (341—270 гг. до н. э.).

Эпименид — критский мудрец и прорицатель (VII— начало VI в. до н. э.). Легенда приписывала ему долголетие в несколько веков. 50 лет он будто бы проспал в пещере.

Эпиметей — неразумный брат Прометея. Своей женитьбой на Пандоре навлек на людей всевозможные бедствия.

Эпистат — должностное лицо в Афинах, ведавшее общественными работами.

Эригона — дочь афинянина Икария, которому Дионис подарил виноградную лозу. Когда пастухи увидели своих товарищей, опьяненных вином, которое им дал Икарий, они решили, что он их отравил, и убили его. Эригона с помощью своей собаки Меры нашла труп отца и повесилась над его могилой. После смерти превращена в созвездие Девы, а ее собака — в созвездие Пса.

Эридан — мифическая река на западе Европы (позднее отождествлена с По).

Эриманф — гора на границе Аркадии с Ахайей и Элидой, обиталище свирепого эриманфского вепря, убитого Гераклом.

Эринии — божества мести и кары за пролитую кровь родных.

Эрихтоний — мифический царь Аттики, рожденный землей.

Эсхин — афинский оратор и политический деятель (389—около 314 г. до н. э.), сторонник ориентации на Македонию и противник Демосфена.

Эта — горная цепь в Фессалии. По преданию, там сжег себя Геракл.

Эфебы — юноши в возрасте от 18 до 20 лет.

Эфес — крупнейший город на Ионийском побережье Малой Азии. Известен храмом Артемиды, одним из семи чудес света.

Эфиальт — великан. Вместе с братом Отом хотел взгромоздить Оссу на Олимп, а на Оссу Пелион, чтобы забраться на небо и овладеть Герой и Артемидой. Оба они были убиты стрелами Аполлона.

Эхо — горная нимфа. Богиня Гера наказала ее тем, что Эхо не могла говорить, когда молчали другие, и молчать, когда другие говорили.

Ямбул — писатель эпохи эллинизма, автор утопического произведения «Путешествие на острова солнца». Оно дошло до нашего времени в пересказе историка Диодора Сицилийского (I в. до н. э.).

Ясон — греческий герой. Предводитель аргонавтов в их походе в Колхиду за золотым руном.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Нахов. Лукиан из Самосаты</i>	<i>5</i>
---	----------

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

<i>Сновидение, или Жизнь Лукиана. Перевод Э. Диль</i>	<i>25</i>
<i>Похвала родине. Перевод В. Чемберджи</i>	<i>32</i>
<i>Человеку, назвавшему меня «Прометеем красноречия». Перевод Н. Баранова</i>	<i>36</i>
<i>Гермотим, или О выборе философии. Перевод Н. Баранова</i>	<i>40</i>
<i>Нигрин. Перевод С. Толстой</i>	<i>89</i>
<i>Жизнеописание Демонакта. Перевод Я. Любарского</i>	<i>103</i>
<i>Киник. Перевод Н. Баранова</i>	<i>116</i>
<i>Токсарид, или Дружба. Перевод Д. Сергеевского</i>	<i>126</i>
<i>Учитель красноречия. Перевод Н. Баранова</i>	<i>157</i>
<i>Похвала мухе. Перевод К. Колобовой</i>	<i>170</i>
<i>Пир, или Лапифы. Перевод Н. Баранова</i>	<i>174</i>
<i>О том, что не следует относиться с излишней доверчивостью к клевете. Перевод Н. Баранова</i>	<i>192</i>
<i>Неучу, который покупал много книг. Перевод Н. Баранова</i>	<i>205</i>
<i>Сатурналии. Перевод Н. Баранова</i>	<i>219</i>
<i>Александр, или Лжепророк. Перевод Д. Сергеевского</i>	<i>225</i>
<i>О смерти Перегрина. Перевод Н. Баранова</i>	<i>250</i>
<i>Собрание богов. Перевод С. Радлова</i>	<i>265</i>
<i>Разговоры богов. Переводы С. Сребрного</i>	<i>272</i>

Морские разговоры. <i>Перевод С. Лукьянова</i>	308
Зевс уличаемый. <i>Перевод С. Радлова</i>	324
Зевс трагический. <i>Перевод С. Радлова</i>	332
Прометей, или Кавказ. <i>Перевод Б. Казанского</i>	355
Разговоры в царстве мертвых. <i>Перевод С. Сребрного</i>	364
Разговоры гетер. <i>Перевод Б. Казанского</i>	408
Две любви. <i>Перевод С. Ошерова</i>	435
Менипп, или Путешествие в подземное царство. <i>Перевод</i> <i>С. Лукьянова</i>	462
Икарменипп, или Заоблачный полет. <i>Перевод С. Лукьянова</i> .	474
Любитель лжи, или Невер. <i>Перевод И. Толстого</i>	492
Правдивая история. <i>Перевод К. Тревер</i>	513
Лукий, или Осел. <i>Перевод Б. Казанского</i>	551
О пляске. <i>Перевод Н. Баранова</i>	579
Сновидение, или Петух. <i>Перевод Н. Баранова</i>	605
Как следует писать историю. <i>Перевод С. Толстой</i>	626
 Комментарии	 651
Словарь мифологических, исторических имен, терминов и географических назва- ний	694

Лукиан

Л 84 Избранная проза: Пер. с древнегреч. / Сост., вступ. ст., коммент. И. Нахова; Ил. В. Носкова-Нелюбова. — М.: Правда, 1991. — 720 с., ил.

ISBN 5—253—00167—0

Выдающегося древнегреческого писателя Лукиана из Самосаты (ок. 120—180), создавшего блестящие образцы философско-сатирического жанра, Ф. Энгельс назвал «Вольтером классической древности». Нет ни одной области жизни Римской империи его времени, которую не затронул бы в своем творчестве этот насмешник, атеист, вольнодумец: риторику и философию, религию и быт, литературу и искусство.

В книгу его избранных произведений входят диалоги, речи и другие сочинения.

Л $\frac{4703000000-2043}{080(02)-91}$ 2043—91

84(0)3

Литературно-художественное издание

Лукиан

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Составитель

Нахов Исай Михайлович

Редактор Л. М. Кроткова

Художественный редактор Г. О. Барбашинова

Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 2043

Слано в набор 16 06 89 Подписано к печати 15 11.90.

Формат 84×108¹/₃₂ Бумага типографская № 2.

Гарнитура «Диги Антиква». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 37,80. Усл. кр.-отт. 38,64 Уч.-изд. л. 41,02.

Тираж 200 000 экз. Заказ 1383. Цена 4 р. 40 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Калининградская правда» 236000 Калининград. обл.,
ул. Карла Маркса, 18.

